
Ф.Ф. ТЮТЧЕВ


Ф.Ф.
ТЮТЧЕВ

Необъятно богата сокровищница
русской литературы.
Помимо гениев, обозначивших вехи
в духовном развитии человечества,
свой вклад в нее вносили
и многие менее известные писатели,
заслуживающие нашего внимания
и доброй памяти.
Заботу об изданиях таких писателей
заповедал нам Владимир Ильич Ленин:
«...мы должны вытаскивать из забвения,
собирать их произведения
и обязательно публиковать отдельными томиками.
Ведь это документы той эпохи».
(Ленин В. И. О литературе и искусстве.
6-е изд. М., 1979, с. 699)



Тютчев

ИЗ НАСЛЕДИЯ

Ф. Ф.
ТЮТЧЕВ

Кто прав?

Роман, повести, рассказы

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1985

Составитель,
автор вступительной статьи
и комментариев *Г. В. Чагин*

Тютчев Ф. Ф.

Т98 Кто прав?: Роман, повести, рассказы /Автор вступ. статьи и коммент. Г. В. Чагин.— М.: Современник, 1985.— 512 с., портр.— (Из наследия).

В пер.: 2 р. 60 к.

Федор Федорович Тютчев (1860—1916) — писатель-демократ, сын гениального русского поэта Ф. И. Тютчева. Много лет он отдал военной службе, побывал в отдаленных краях России. Быт окраин, будни пограничной службы, жизнь небогатой интеллигенции в столице правдиво показаны в его повестях и рассказах. Ф. Ф. Тютчев погиб от ранений, полученных на фронте империалистической войны. Его произведения вскоре были преданы незаслуженному забвению.

Т $\frac{4702010100-345}{М106(03)85}$ 11—86

ББК84Р7
Р1

Сын поэта

Несколько лет назад член-корреспондент АН СССР Д. Д Благой на вопрос, не помнит ли он, кто из литературоведов мог бы заниматься творческим наследием Ф. Ф Тютчева, сына поэта Ф И. Тютчева, подумав, ответил отрицательно. Как ни странно, даже известная в литературе фамилия не способствовала популяризации произведений талантливого прозаика конца прошлого и начала нашего века.

Можно сказать, что не только Ф. Ф. Тютчев в той или иной мере причастными к литературе оказались и другие дети поэта. Е. Ф Тютчева занималась журналистикой и переводами, А. Ф Аксакова-Тютчева оставила воспоминания и дневники, вышедшие в 1928 1929 годах под заголовком «При дворе двух императоров» под редакцией С. В. Бахрушина и М. А. Цявловского. Д. Ф. Тютчева и И. Ф Тютчев принимали участие в подготовке к изданию литературного наследия поэта. Но самым одаренным среди них оказался Ф Ф Тютчев. И быть бы ему главным продолжателем писательской династии Тютчевых, наследником литературной известности семьи, не будь он незаконнорожденным сыном своего отца...

В начале пятидесятых годов прошлого столетия великосветское петербургское общество было шокировано связью старшего цензора Министерства иностранных дел поэта Ф И. Тютчева с Еленой Денисьевой племянницей инспектрисы Смольного института, в котором учились дочери Федора Ивановича Дарья и Екатерина. Противозаконная любовь женатого, почти пятидесятилетнего мужчины и девушки вдвое моложе его быстро создала вокруг них полосу отчуждения. Но, в то время как Елена Александровна и родившиеся потом ее дети занимали в обществе довольно двусмысленное положение, семейная жизнь Тютчева, по крайней мере внешне, оставалась прежней.

Старший сын поэта и Денисьевой, Федор, родился 11 октября 1860 года в Женеве, где в то время пребывали его родители. Сын действительного статского советника и родовитой дворянки хотя и был, как и двое других их детей, усыновлен отцом, тем не менее, как незаконнорожденный, на своей настоящей родине был приписан к мещанскому сословию Петербурга.

Жизнь сурово обошлась с этой длившейся полтора десятилетия любовью Тютчева. В августе 1864 года, в возрасте всего тридцати восьми лет, от чахотки умирает Елена Александровна, а в мае следующего — в один день — ее четырнадцатилетняя дочь Елена и годовалый сын Николай. Федор Иванович сразу постарел, еще больше замкнулся в себе. В октябре 1864 года с чувством позднего раскаяния он пишет А. И. Георгиевскому, мужу сестры Денисьевой: «Память о ней — это чувство голода в голодном, ненасытимо голодном. Не живется, мой друг Александр Иванович, не живется... Гноится рана, не заживает. Будь это малодушие, будь это бессилие, мне все равно. Только при ней и для нее я был личностью, только в ее любви, в ее беспредельной ко мне любви, я сознавал себя... Теперь я что-то бессмысленное живущее, какое-то живое, мучительное ничтожество...»

Немым укором отцу остался четырехлетний сын Федор. Даже усыновление давало мальчику слишком мало прав в том обществе, где он воспитывался. На долгие годы потом эта незаконнорожденность станет постоянным предметом озабоченности будущего писателя. И все-таки нерадостное детство «затертого и засованного по углам в доме родных» ребенка не ожесточило его душу, оказавшуюся сильной и доброй. Живой, любознательный, он рос сначала в Петербурге на руках старой няни и тетки его матери А. Д. Денисьевой, а потом, по настоянию отца, сына отправили в Москву, к старшей дочери поэта А. Ф. Аксаковой-Тютчевой, не имевшей своих детей.

Отец мало радовал сына своим вниманием. Федор Федорович писал о том времени: «С моего отъезда в Москву в 1870 году и до смерти Ф. И. (1873) я видел его два раза. В первый раз в Лицее цесаревича Николая[1], в Москве, куда он приехал ко мне, а второй незадолго до его смерти в Петербурге...» Сколько боли и горечи, пережитых подростком и не забытых позже, скрывается за этой фразой. Но, несмотря на столь редкие встречи, Федор продолжал горячо любить отца, гордиться им, беречь семейные реликвии, особенно те, которые относились к его матери, которую Федор Федорович боготворил. Именно Ф. Ф. Тютчеву мы обязаны сохранением и первой публикацией большей части стихотворений поэта, относящихся к его любовному, «денисьевскому» циклу.

Через пять лет после смерти отца восемнадцатилетний Федор Тютчев, успешно окончивший Лицей, по совету родственников отправляет-

ся для получения высшего образования в Лейпциг. Рабочий класс Германии активно боролся за свои права, волновалось немецкое студенчество. Движимый общим порывом, к одному из нелегальных студенческих кружков примкнул и русский студент Федор Тютчев. Видимо, не без помощи полиции, весть об этом вскоре дошла до Москвы. По просьбе мужа Анны Федоровны, И. С. Аксакова, за юношей отправляется священник православной церкви в Карлсбаде, знакомый семьи, и увозит Федора к себе. Так и закончились студенческие годы Ф. Ф. Тютчева.

По возвращении Федора в Москву уже нельзя было говорить о добрых отношениях между ним и родственниками. Поэтому, еще не достигнув девятнадцати лет, он начинает самостоятельную жизнь, в июне 1879 года вступив вольноопределяющимся[2] в Первый Московский драгунский полк. А 1 сентября того же года он зачисляется в Тверское кавалерийское юнкерское училище.

С тех пор, за тридцать пять лет во всех отношениях примерной службы, Ф. Ф. Тютчев пройдет трудный путь от вольноопределяющегося до полковника. Только смерть прервет эту нередко полную опасностей, насыщенную множеством событий жизнь замечательного человека, большого патриота своей родины, про которого солдаты говорили, что он «кругом хороший».

Начало военной службы можно считать и началом его литературного творчества. Юнкер Тютчев много читает, занимается самообразованием, вечерами, уединившись, ведет записи в тетрадях-дневниках. С появлением первых стихотворений, небольших рассказов появляется и желание печататься. А этого не разрешалось учащимся военных заведений. В конце концов страсть к сочинительству все пересиливает, и Тютчев, аттестуясь на подпрапорщика[3], увольняется в запас.

Не имея средств к существованию, Федор Федорович связывал свои дальнейшие планы с возможностью службы в каком-нибудь печатном органе. Вскоре он получает предложение от издателя организуемой в Петербурге газеты «Свет» и дает согласие работать в ней секретарем. Работа в редакции газеты была каторжной. Тютчев очень уставал. Серые громады Петербурга давили своей тяжестью, делали невыносимой жизнь бедняков, таких, как он, разночинцев, мелких служащих, журналистов, считавших каждый заработанный рубль, да так и не выбирающихся из нужды. О такой жизни им писалось не одно стихотворение:

Город мрачный, но сердцу родной,
Как ты мне ненавистен порой!
Как нередко тебя проклинаю,
Обессилен неравной борьбой,

И как страстно, глубоко страдаю,—
Как томлюсь, как душой изнываю,
Мой тюремщик, в разлуке с тобой!..

Федор Федорович, по существу бедняк, без каких-либо средств, вынужден был много трудиться. К этому обязывала его и вскоре появившаяся семья. В апреле 1884 года у Тютчевых родилась первая дочь, названная отцом в честь своей матери Еленой, а через два года, в июле, вторая дочь — Надежда.

Почти пятилетие напряженной работы не принесло журналисту удовлетворения. Темы в газете мельчали, все более проникались черносотенным духом, времени для серьезной работы не оставалось. Все это обусловило его решение вновь поступить на военную службу. К тому же внезапно обострилась болезнь жены, врачи советовали сменить климат.

В июле 1888 года Тютчев зачисляется в армию подпоручиком[4]. Вскоре ему предоставляется возможность определиться в Пограничную стражу, во многом сходную порядками со службой в кавалерии, которая ему нравилась с юнкерского училища. Для перехода в пограничники были и другие причины. Федор Федорович понимал, что военному нужен твердый характер, поэтому никогда не давал себе расслабляться, пасовать перед трудностями. Кроме того, в военной службе ему импонировала известная доля опасности. Всего этого с лихвой хватало в Пограничной страже.

Он корнетом начинает службу на границе с Пруссией, в Ченстоховской бригаде. Ему уже под тридцать... Отныне на многие годы ему станут близкими одиночные пограничные посты, малочисленные отряды русских солдат, расположенные вдоль границы, чаще всего в захолустных, забытых богом и начальством местах. Один из таких постов на линии вечных снегов он потом до мельчайших подробностей описал в одноименном рассказе.

Новая служба дала начинающему бытописателю немало новых, превосходных тем, полных специфическими особенностями пограничной жизни. Не менее ценным для него в этой службе было и наличие досуга. Тогда как сослуживцы-офицеры прожигали время в карточной игре, кутежах и попойках, он всецело посвящал его литературному труду.

Казалось, стал налаживаться быт пограничного офицера, росли дочери. Но только чуть больше года смогла прожить в болотистой местности слабая здоровьем жена. В тридцать лет Тютчев остается вдовцом с малолетними дочерьми. Мучимый угрызениями совести, чувствуя себя причиной смерти горячо любимой жены, Федор Федорович в память о ней написал автобиографический роман «Кто прав?».

Но поручик[5] Тютчев читал авторский экземпляр его уже на новом месте службы — в Бессарабии. Тоска, беспокойство на душе гонит его все дальше. И новый рапорт о переводе удовлетворяется. Теперь он, пристроив дочерей у родственников жены в Петербурге, отправляется в Закавказье, участвует в создании пограничной стражи на границах с Турцией и Ираном. По-прежнему, не теряя времени даром, он изучает быт, обычаи и даже языки местных жителей. Он задумывает новые произведения уже кавказского периода.

Вместе с тем Тютчеву начинают поручать командование небольшими пограничными отрядами — Зорским, Джульфинским, Азинским и другими. Служба не всегда спокойна, нередки стычки с горцами. В апреле 1898 года штабс-ротмистр[6] Тютчев награждается первым орденом — Станислава 3-й степени, а через год с небольшим переводится в Петербург, в штаб Отдельного корпуса Пограничной стражи ротмистром.

Теперь можно заняться личной жизнью, обнять повзрослевших дочерей, насладиться тишиной и удобствами столичной жизни. Но отдыхать как будто некогда. Нужно поскорее пристроить все написанное за минувшее десятилетие. Многое удается. Появляется в свет второй том Избранных сочинений, затем почти одновременно выходят романы «Беглец» и «На скалах и долинах Дагестана». Публикуются эссе-воспоминания «Федор Иванович Тютчев», вышедшие к столетнему юбилею поэта.

За выходом в свет этих произведений опять последовали изменения в судьбе автора. Спокойной службы в столице не получилось. Развернулись события на Дальнем Востоке, война с Японией. Сорокатрехлетний ротмистр[7] подает рапорт с просьбой отправить его в Дальневосточную армию. Вскоре приказом от 17 февраля 1904 года Тютчев переводится в Первый Аргунский полк Забайкальского казачьего войска и переименуется в есаулы.

Всю военную службу Федор Федорович не переставал сотрудничать во многих периодических изданиях — «Русском вестнике», «Историческом вестнике», «Военном сборнике», журналах «Природа и люди», «Разведчик», «Нива», «Живописное обозрение», многих петербургских и московских газетах. Его рассказы, короткие зарисовки, репортажи с воинских учений и театров военных действий всегда ожидались с интересом. Вот и на этот раз он ехал на Дальний Восток с удостоверением специального корреспондента газеты «Новое время», в которой вскоре появятся лаконичные, правдивые корреспонденции, чаще всего под псевдонимом «ЭФТЭ».

Подписывать газетные материалы, статьи, а нередко рассказы и даже повести инициалами «Ф. Т.» или «ЭФТЭ» — это тоже типично тютчевское. Так, зачастую, проявляя излишнюю скромность, поступал поэт. И понятно стремление сына в память о нем продолжить традицию, пусть даже и

разнятся мотивы публикаций. Отец — стыдится популярности стихотворца, сын — огромным трудом завоевывает популярность литератора.

Естественно, что Тютчев стремился попасть на фронт не как армейский корреспондент. Движимый патриотическими чувствами, не без основания считая себя опытным офицером и командиром, он хотел поскорее применить этот опыт в военном деле.

С середины апреля 1904 года есаул Тютчев на боевых позициях, во главе сотни казаков Аргунского полка участвует в разведках боем, не раз показывая образцы личной храбрости. Особенно удается одна из них, в которой он во главе добровольцев из Читинского полка под прикрытием двух рот Омского полка вывозит из-под носа противника большую группу раненых воинов, уже потерявших надежду на спасение.

Командование отмечает боевого офицера, солдаты уважают, любят своего командира, без страха следуют за ним в самые опасные вылазки. 6 августа 1904 года есаул Тютчев за отличия в боях против японцев награждается орденом Анны 4-й степени с надписью: «За храбрость». Его вскоре переводят в штаб главнокомандующего, но и там, используя любую возможность, он стремится не пропустить ни одного сражения. 15 октября Тютчев награждается орденом Станислава 2-й степени с мечами, а через две недели производится в войсковые старшины[8]. Еще месяц спустя он награждается третьим боевым орденом — Анны 2-й степени с мечами.

Но, несмотря на повсеместный героизм русских солдат и офицеров младшего звена, война была безнадежно проиграна командованием во главе с генералом Куропаткиным. В своих корреспонденциях Тютчев пытается указать на отдельные причины этого поражения. В частности, он пишет о прекрасной осведомленности, с помощью шпионажа, японцев, успевающих нанести упреждающие удары по русской армии. Противнику помогала и нерешительность командующего, постоянно медлящего с отдачей приказов.

О бездарности некоторых генералов ходили даже анекдоты. «Из уст в уста,— пишет Тютчев,— передавалась злополучная, ставшая исторической, телефонограмма генерала, не сумевшего отстоять эти (хорошо укрепленные позиции наших войск под Цихинченом.— *Г. Ч.*) столь важные для нас твердыни: «Счастлив донести вашему высокопревосходительству, что стрелки отошли с позиций с песнями...»

Через полгода Тютчев получает возможность по болезни побывать в отпуске. Вновь был знакомый до мелочей Петербург, несколько недель наслаждения домашним уютом, встречи с родными... А потом снова Дальний Восток. 3 марта 1906 года он получает последнюю за эту войну награду — орден Владимира 4-й степени с мечами и бантом — и в середине июля командируется в Отдельный корпус Пограничной стражи с переименованием в подполковники.

Вновь потянулись на первый взгляд обычные будни границы. Тютчев опять на западных рубежах России, командует Скулянским, а потом Цаганским пограничными отрядами. В конце 1906 года ему поручают писать историю Таурогенской пограничной бригады, для чего переводят в ее штаб начальником отдела. Четыре последующих года он много занимается литературной работой, несмотря на неудовольствие своего начальства, заканчивает две повести из военного быта минувшей войны.

Надо сказать, что публиковать в «Военном сборнике» — журнале Генерального штаба — материалы, нередко обличающие упаднический дух, царящий в старой русской армии, особенно в период затягивающейся войны, разложение ее офицерства, было не так-то просто. Но с талантом военного бытописателя уже приходилось считаться и руководству журнала, и военной цензуре. Его рассказы и повести не раз украшали это специфическое издание, а военный читатель с нетерпением ждал новых полюбившихся ему произведений.

Начало империалистической войны и последовавшую за ней мобилизацию Федор Федорович встретил в отпуске. 28 июля 1914 года он возвращается к месту службы, сам себе сократив отдых. 54-летний подполковник назначается командиром 2-го эксплуатационного батальона Кавказской парковой конно-железной бригады. Хотя подобное назначение в таком возрасте многие посчитали бы почетным, Тютчев принял его за обиду.

После долгих просьб ему все-таки удается получить назначение в действующую армию. В октябре того же года он прибывает в прифронтовую полосу. Но еще не приступив к обязанностям военного коменданта местечка Заболотье, заручившись поддержкой командования, знавшего Тютчева по прежней войне, он назначается командиром батальона в 36-й Орловский полк и в ноябре уже ходит в штыковые атаки во главе батальона. За особенно тяжелый бой 8 декабря 1914 года, в котором его батальон успешно атаковал неприятельские позиции и захватил много пленных, подполковник Тютчев награждается почетным Георгиевским оружием.

С февраля следующего года, как пограничный офицер, он переводится в Сводный пограничный полк заместителем командира, участвует в знаменитых атаках русской кавалерии, наводившей ужас на противника. В мае 1915 года в бою у местечка Бергамет немецким снарядом, разорвавшимся поблизости, Тютчев был контужен в левую часть головы и левую ногу. Отлежавшись, он так и не отправился в госпиталь, продолжал руководить боем.

Но это ранение боевому командиру, которому месяц спустя за отличия было присвоено звание полковника, не прошло даром. Все чаще он прибегал к лечению, не помогли и трехмесячный отпуск, и назначение

на более легкую должность. Все-таки он по-прежнему добивается отправки на фронт, мечтая, если и умереть, то как подобает воину — в седле, в одной из кавалерийских атак. И ему как будто вновь «везет» — он назначается командиром Дрисского пехотного полка, но через два дня, 9 февраля 1916 года по дороге в полк, в полевом военном госпитале в Бердичеве он внезапно скончался от старых ран.

Друзья и родственники перевезли тело его в Петроград и похоронили на Волковом кладбище, рядом с могилами матери Елены Александровны Денисьевой, тетки, сестры и брата. Можно добавить, что совсем недавно ленинградцами был восстановлен памятник на могиле Ф. Ф. Тютчева и его матери. Тютчев был женат вторым браком, от которого у него не было детей. Дочери его, Елена и Надежда, умерли в пятидесятых годах.

В одном из некрологов вместе с военными заслугами полковника Ф. Ф. Тютчева отмечались и его литературные успехи: «Предметом покойного писателя была изящная словесность на темы из военного быта. И, надобно сказать правду, он не имел себе соперников на этом поприще в последние годы (1912—1916) — по силе высказанного таланта. От отца, известного поэта, он наследовал, бесспорно, свой талант: безупречный русский язык, бестенденциозность (в чем грешны все современные ему беллетристы), красоту, пластичность изображения и редкую простоту замысла... Это была крупная величина в нашем безвременье среди русской беллетристики... Текущая война потеряла в Ф. Ф. одного из правдивых и чутких своих изобразителей. В литературе не только военной, но и во всей общей русской художественной литературе он оставил видный, талантливый след».

Начинал свой писательский труд Ф. Ф. Тютчев в сложное для России время. С убийством Александра II в марте 1881 года в стране началась неприкрытая реакция, наложившая отпечаток на всю духовную жизнь русской интеллигенции восьмидесятых годов, вызвав в ее среде кризис идей, волну отчаяния и пессимизма. В определенной мере отголоски этого пессимизма мы встречаем и в первых произведениях молодого сочинителя, особенно заметны они в его стихотворениях. Большая часть произведений Тютчева была написана в своеобразной пограничной полосе развития русской литературы, когда для нее кончалась эпоха безраздельного торжества старого критического реализма и начиналась эпоха российского модернизма в форме декаданса, символизма, сменовеховства и т. д. На этом фоне особенно явственно проступает эстетическая свежесть повествования Ф. Ф. Тютчева.

Он был человеком военным, прослужившим в армии практически всю сознательную жизнь. Поэтому понятен его интерес именно к военной тематике, которую писатель на собственном опыте изучил превосходно

Ценно здесь то, что он, пожалуй, первый из русских писателей так полно показал читателю в своих произведениях жизнь пограничников и таможенной службы России последней четверти прошлого века. Его произведения биографичны, в них чувствуется присутствие автора. Даже имена главных героев, как, например, Федор Федорович Денисьев, более чем прозаично напоминают самого повествователя и его близких.

В объемном томе сочинений Ф. Ф. Тютчева, вышедшем в 1888 году в Петербурге, было представлено многое из написанного сочинителем. Три десятка стихотворений, историческая повесть из времен военных поселений в России «Кровавые дни», большой психологический рассказ «Денщик», несколько более мелких рассказов-эссе, из которых наиболее запоминаются «Литератор» и «Отомстил».

Определенную известность молодому писателю принес его рассказ «Денщик», в чем-то существенно перекликающийся с купринским «Поединком» и отчасти с пьесами Островского о неприкаянной жизни странствующих по России актеров провинциальных театров. Но главный герой рассказа — штабс-капитан Алексей Сергеевич Ястребов — не пьяница, не картежник, то есть лишен тех черт, которые мы нередко находим в изображении офицеров старой русской армии. Он — цельная натура, прямой человек, искренний, из однолюбов. Солдаты его ценят за справедливость, уважение в них человеческого достоинства. Героиня повести актриса Даша Шигалина — внешне красивая женщина, имеющая постоянный успех у провинциальной публики.

Казалось бы, повесть — одно из повторений уже не раз встречавшихся в литературе драматических коллизий любовно-психологического порядка. Но, к счастью, это не так. Здесь автором найден неожиданный поворот в сюжете. Денщик Ястребова — Степан Морозов — решился на убийство, чтобы спасти своего командира, которого он за долгие годы полюбил. В повести рождается яркий образ солдата из простых людей, сохранившего богатство души, не изуродованной тяжелой солдатчиной, трагическими жизненными обстоятельствами.

Роман «Кто прав?», которым завершается первый период творчества писателя, во многом автобиографичен. Он написан в начале восьмидесятых годов прошлого века, когда общий дух безысходности, упадочничества широко проник в слои русской интеллигенции. Герою романа недостает воспитанности, сдержанности, самообладания. Он не хочет проявить уступчивости в отношениях с женой, легко поддается низменным побуждениям, отсюда и трагическая развязка.

В сущности, Ф. Ф. Тютчев рассматривает в своем романе одно из проявлений той вседозволенности, которая неизбежно приводит героя к нравственному падению, а его жену к гибели.

Роман читается легко, с интересом, наводит на серьезные размышления. По остроте постановки нравственных проблем он нисколько не уступает, а может быть, и превосходит некоторые современные повести на аналогичную тему. Превосходит живостью повествования и выпуклостью описания подробностей быта, уже давно исчезнувших, а главное — обостренностью переживания рассматриваемой проблемы: она именно переживается, а не изучается со стороны.

Экзотикой напитаны произведения Ф. Ф. Тютчева, написанные им в период пребывания на границе с Румынией в старых бессарабских местечках. И опять главными действующими лицами его произведений являются молодые, как и сам автор, военные в младших офицерских чинах, только начинающие свою службу на границе. Случаи, нередко трагические, происходящие с ними, ложатся в основу сюжетов писателя.

В последний год прошлого века в одной из московских типографий печатается второй том Избранных произведений Ф. Ф. Тютчева «На границе». В него вошли повести «Ясновельможная контрабандистка» и «Убили», рассказы «Герои долга» и «В Бразилию», два этюда и очерк. Почти полностью эти произведения посвящены вечно опасной жизни границы, хитростям, нередко переходящим в жестокость, к которым прибегают контрабандисты при переправе за кордон краденого, мастерству и мужеству пограничников при их задержании.

Одним из характерных произведений того периода может служить напечатанная отдельно от сборника короткая повесть «Комары». В ней изложено несколько эпизодов из жизни удачливого пограничника из низших солдатских чинов, Игната, и хищного контрабандиста, цыгана Петра.

Кто из героев ближе читателю: сочувствовать ли Петру, как горьковскому Челкашу, и отказывать в симпатии царскому служаке, пограничнику Игнату? Да ведь цыган крадет крестьянских лошадей — иногда сбивает целый табун лошадей из пятнадцати! А пограничник перехватывает этот табун при попытке переправить его в Румынию и возвращает лошадей крестьянам. Ф. Ф. Тютчев без деклараций, не в лоб, а исподволь, возбуждает у читателя негодование одним и сочувствие другому, размышляет о судьбах людей и привлекает внимание к социальной проблематике повествования.

К этому же «молдаванскому» периоду относится и роман «Злая сила», своевременному выходу в свет которого помешала, видимо, русско-японская война. События в нем разворачиваются в небольшом бессарабском городке, где разыгрывается семейная драма. У все более и более опускавшегося из-за пьянства отставного офицера две взрослые дочери-красавицы волею судьбы оказываются в двух противоположных лагерях. Старшая давно уже замужем за интеллигентным, умным, довольно состоятельным местным помещиком, а вторая, Елена, становится одной из самых ловких

в крае контрабандисток. Она-то и вовлекла в свои махинации ничего не подозревавшего, только что начавшего службу прапорщика и в конце концов привела его к трагической гибели. Здесь, как и в других романах Ф. Ф. Тютчева, существенную роль в интриге играет красота женщины, восхищение которой, страстная любовь будут нередко вести к гибели сильных, мужественных мужчин.

Мы уже упоминали о трудностях публикаций произведений для писателей «второго плана», к которым принадлежал и Ф. Ф. Тютчев. Это вынуждало их сообща печататься в дешевых сборниках, небольших книжках в серии «Для школ и грамотного народа». Так, у Тютчева в 1899-м — начале 900-х годов в издательстве И. Ф. Жиркова неоднократно выходили рассказы «Один день на поле сражения», «Товарищ», «Жучка», «Сапожник и музыкант», «Герои долга» и другие. Интересно, что в этой же серии помещали свои произведения С. Т. Семенов, Н. А. Рубакин, И. А. Белоусов и другие писатели-разночинцы.

С середины девяностых годов начинается третий, кавказский период в творчестве писателя. Ф. Ф. Тютчев пишет рассказ «На линии вечных снегов», в котором он показал тяжелую службу русского пограничника. Несведущему читателю, кроме, пожалуй, кадровых военных, сюжет рассказа может показаться выдумкой, за которой стоит неизбежный вопрос: а нужна ли такая служба, зачастую связанная с человеческими потерями, со страданиями родных и близких пограничников? Но ведь это мужская профессия — родину защищать!

Читая написанное Ф. Ф. Тютчевым, невольно поражаешься его всестороннему знанию темы, жизни героев его романов и повестей, всех мельчайших деталей быта плохо изученных тогда многочисленных народностей Кавказа, их обычаев, национальных черт, наклонностей, разнообразия характеров. Но мы уже говорили, что автор был на Кавказе не сторонним наблюдателем, а непосредственным участником совершавшихся событий. Ф. Ф. Тютчев в своих повествованиях беспристрастен и всегда с уважением относится как к русскому пограничнику, так и к горцу.

В основе первого «кавказского» романа Ф. Ф. Тютчева «Беглец» лежит судьба человека, покинувшего свою родину, которого даже через много лет постигает справедливая кара за совершенное когда-то злодеяние. Казалось бы, медленно развиваются в нем события, и еще далеко не ясно (как это нередко встретишь в современном детективе), что же последует дальше. Но какие это события! Здесь и сцены охоты на кабанов в камышовых зарослях, и путешествия на лошадях по горным кручам, а потом на лодках по бурной стремительной реке. И везде спутников поджидают непредвиденные опасности. А сколько интересных былей и легенд рассказывает автор устами горцев на уютных привалах или в полных тайн

ханских дворцах Можно только удивляться, как быстро сравнительно молодой пограничный офицер, петербуржец, еще совсем недавно не отли чавшийся крепким здоровьем, входит в эту жизнь, участвует вместе с горцами и пограничниками в их приключениях

Второй роман «На скалах и долинах Дагестана» исторический. О событиях, происходящих в нем, о борьбе с Шамилем автор мог узнать только от армейских ветеранов да по историческим документам, которые ему, видимо, пришлось изучить Но и здесь он не далек от истины в изображении происходящих событий, их он списывает с тех стычек с горцами, которые еще застал. А его герои это по-прежнему сослуживцы Ф Ф Тютчева, начальники и подчиненные пограничного офицера, несу щие охранительную службу на дальних рубежах России.

Произведения следующего периода творчества Ф Ф Тютчева време ни русско-японской войны сравнительно долго ждали выхода в свет Автор не спешил с их публикацией, тщательно разбирая свои военные дневники И не случайно, что в них будет немало от очерковой манеры, характерной для творчества многих русских писателей современников Ф Ф Тютчева Достаточно назвать А В Амфитеатрова, Вас Ив. Немировича Данченко, Д. Л Мордовцева и других

Долго ждала своей публикации повесть «На призыв сердца» которая вышла только шесть лет спустя после окончания войны, другая «Сила любви» перед самым началом первой империалистической войны

И в той, и в другой повести, которые во многом сходны сюжетами, героинями выступают молодые сестры милосердия, Татьяна Михайловна и Надежда Ивановна. Следуя патриотическому долгу, движимые силой любви к своим избранникам, и та и другая приезжают на театр военных действий. Примерно одинаково развивается и действие в повествованиях. У одной муж оказывается в плену у японцев, и она отправляется его искать за линию фронта, в результате чего погибает от рук хунхузов. Для другой события складываются гораздо счастливее. Она находит своего раненого жениха и с помощью бежавшего из плена русского солдата и старика китайца благополучно возвращается в расположение русских войск. По ходу разворачивающихся событий описываются малоизвестные эпизоды начального периода войны когда еще не определилось неизбежное поражение России, но уже предугадывалась такая возможность. На необычайно живописном фоне маньчжурской жизни развертывается почти сказочное повествование о силе любви русских женщин, бесстрашно отправившихся в японский тыл, чтобы выручить любимых.

Наконец последний период представлен в нашем сборнике повестью в письмах «Гордиев узел» Идет первая мировая война. Действие повести развертывается на русско-австрийском фронте. Подробности военного быта в повести увидены автором в самой жизни, поэтому необычайно за-

интересовывают. Здесь, как и в романе «Кто прав?», основу повествования составляет тот треугольник любовно-психологической интриги, который придает трагический оттенок описанному происшествию.

Завершает наш сборник произведений Ф. Ф. Тютчева его, пожалуй, самая важная работа — очерк об отце «Федор Иванович Тютчев (материалы к его биографии)». Хотя на него и ссылались последующие биографы поэта, но сам очерк ни разу в наше время не переиздавался. Здесь писатель-сын раскрыл одну из сторон личности Ф. И. Тютчева, задав вопрос, «как могло случиться, что поэт и мыслитель, государственный ум такого масштаба, каким он был, «прошел если и не совсем бесследно, то, во всяком случае, не сыграв в истории России и десятой доли того, что он при его данных должен был сыграть?»

Если задуматься всерьез, с полным пониманием отнестись к тому, что пишет, отвечая на этот вопрос, сын поэта,— во многом с Ф. Ф. Тютчевым надо согласиться.

Мы настолько привыкли уже к характеристикам мировоззрения поэта, исходящим из анализа общественно-политических взглядов его, что явно упускаем ту сторону, на которую его сын обратил, может быть, даже слишком повышенное внимание. Действительно, для великого поэта та сторона его жизни, его сложной и противоречивой личности, которую Ф. Ф. Тютчев называет «каким-то особенным, даже редко встречающимся в такой степени, обожанием женщин и преклонением перед ними»,— чрезвычайно значительна. И если сравнивать поэта с кем-либо, то — не менее чем с Данте, с его философией Любви и Женщины. Прекрасно сказал об этом Ф. Ф. Тютчев в статье о своем великом отце: «Как древнегреческий жрец, созидающий храм, населяющий его богами и затем всю жизнь свою служащий им и их боготворящий, так и Федор Иванович в сердце своем воздвиг великолепный, поэтический храм, устроил жертвенник и на нем возжег фимиам своему божеству — женщине».

Трудно, да и невозможно в одной статье рассказать о всем жизненном и литературном пути замечательного русского военного бытописателя Ф. Ф. Тютчева. В статье осталась нераскрытой его журналистская деятельность, которой, как уже говорилось, Федор Федорович занимался параллельно с писательским трудом всю свою сознательную жизнь. Еще ждут своего разбора и, возможно, публикации великолепные дневники военного журналиста, которые он подробно и добросовестно вел на протяжении многих лет. К счастью, часть из них перед смертью успела передать в Овстугский музей Ф. И. Тютчева дочь писателя, Надежда Федоровна Тютчева. Думается, что настоящий сборник избранных произведений Ф. Ф. Тютчева будет с интересом встречен читателями. Русская литература той поры во многом «обходила» тему армии, хотя, как и во

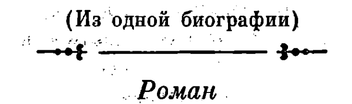
все времена, ее ядром были миллионы людей, преимущественно крестьян, одетых в солдатские шинели. Не надо забывать и то, что в составе русской армии были не только бурбоны-офицеры и невежды-генералы. Были офицеры, входившие в состав «Народной воли», были выдающиеся военные деятели, продолжавшие суворовские традиции. Достаточно назвать Д. А. Милютина, с именем которого связаны выдающиеся преобразования русской армии в эпоху реформ, или замечательного военного писателя М. И. Драгомирова. Это ведь из их среды вышли потом выдающиеся советские военачальники Б. М. Шапошников, Д. М. Карбышев, Е. А. Снесарев и многие другие. Были в их среде и замечательные военные писатели, к которым мы можем причислить и Федора Федоровича Тютчева.

ГЕННАДИЙ ЧАГИН



Кто прав?

(Из одной биографии)



Роман

I

Всего только месяц прошел с того дня, как похоронили нашего товарища корнета[1] Чуева, а мне кажется — это было так давно, так давно, что даже некоторые подробности как похорон, так и его смерти начали изглаживаться из памяти. Умер Чуев не своей смертью, а — как он часто мечтал — самоубийством.

Кончить с собою, «изобразив из своей башки мишень для револьвера», как он сам выражался, было его заветной мечтою, и вот она теперь исполнилась.

Не скажу, чтобы смерть его кого-нибудь очень изумила, мы все давно уже решили, что Чуев так или иначе, а добром не кончит, или сам себя ухлопает, или лошадь его укокошит, или другая какая история с ним приключится, словом, по выражению одного нашего товарища, «не сносить ему головы». Застрелился он у себя на посту «Твердовицы». Я один из первых узнал о его смерти и поспешил приехать взглянуть на него. Чуев лежал у себя в квартире на постели и, казалось, спал, так спокойно было его лицо. Стрелял он себе в сердце, чтобы не испортить лица. Месяца за два до смерти он говорил: «Если я когда буду стреляться, то не иначе как в сердце,— в голову страшно, еще череп разнесет, безобразие выйдет».

По рассказам денщика, самоубийство произошло при следующих обстоятельствах.

В день смерти Чуев встал довольно рано и с особенной заботливостью принялся за свой туалет: принял ванну, на-

душился, надел все свежее белье... Я думал, их благородие куда в гости едут — пояснял денщик, а оно вона что вышло?!

Приготовив себя таким образом, Чуев приказал убрать комнату, а сам снова лег.

— Убрал это я комнату,— рассказывал денщик,— и пошел на кухню самовар ставить, не успел это я воды налить, вдруг слышу «трах», выстрел из комнаты их благородия и запах пошел такой пороховой, меня словно что под сердце вдарило, бросился я туда, гляжу, их благородие, запрокинувшись навзничь, на постели лежат, а сами словно챠 ресточка на огне коробятся, не успел я опамятоваться, а они уже и вытянулись, значит — дух вон!

Когда самоубийцу снимали с постели, под подушкой в головах нашли конверт с надписью: «Полковнику N в собственные руки». В конверте этом лежало письмо, в котором Чуев просил, если можно, не анатомировать его. «Я умираю,— писал он,— в полном рассудке и здравой памяти, умираю, потому что не вижу надобности жить, если меня и будут анатомировать, то все равно нового ничего не узнают, стало быть, и резать нет нужды». Далее в письме выписан был список мелких его долгов и просьба, как распорядиться с его небольшим имуществом. В заключение стоял адрес родственников Чуева, у которых воспитывались его две дочери. Чуев был вдовец. Жена его умерла год тому назад, и как мы тогда думали, смерть эта и была причиной его самоубийства, но это было не совсем так. Чуев застрелился не столько оттого, что скучал по жене, сколько прямо в силу убеждения, что не видел надобности жить. Да если рассуждать здраво, он был по-своему прав. Чуев принадлежал к категории тех людей, к которым так идет эпитет «лишний». Да, он действительно был человек вполне лишний, пятая спица в колеснице, и это рельефнее всего выразилось на его похоронах. Несмотря на то, что он был в самых лучших, можно сказать дружественных, отношениях со всем остальным нашим офицерством, что за все свое двухлетнее пребывание у нас я не помню, чтобы он с кем-нибудь не только поссорился, но даже крупно поговорил или сказал кому какое обидное слово, за что все считали его «добрым малым»,— его особенно никто не пожалел. Врагов у него не было, но не было и друзей. Даже я, бывший с ним ближе всех и, казалось, любивший его, даже я не грустил по нем. А почему? Бог его ведает. А ведь в

сущности он был человек довольно симпатичный, не глупый и по-своему даже оригинальный, только никому не нужный, ни на что серьезное непригодный; его отсутствие из нашей среды даже не было замечено, словно бы его никогда и не было.

Дней пять спустя после его похорон вздумалось мне как-то заехать на пост «Твердовицы». Признаюсь, меня тянуло взглянуть еще раз на квартиру Чуева, посидеть в комнате, в которой мы еще так недавно сидели с ним вдвоем, словно бы я боялся, что уже очень скоро, непозволительно скоро для друга, каковым я считался, я забуду его, и мне хотелось свежими впечатлениями подогреть свою память. В квартире я застал все так же, как и было: кровать стояла на том же месте, так же висели по стенам портреты, которых у Чуева было множество, седло на деревянном козелке под шерстяной попоной ютилось в углу, полочка с книгами, нагайка и хлысты на гвоздиках — словом, точно Чуев только что вышел; только обильное присутствие пыли на письменном столе, да мертвенный холод долго нетопленной комнаты давали знать, что квартира необитаема.

Я постоял несколько минут и уже собирался уходить, как вдруг взгляд мой упал на нижнюю полочку этажерки. Она была пуста, только какая-то толстая тетрадь в четвертку листа небрежно валялась на ней.

Денщик Чуева, отворивший мне и все время почтительно стоявший у дверей и по солдатской привычке не спускавший с меня глаз, должно быть, по направлению моего взгляда догадался, что я обратил внимание на лежащую тетрадь, и счел нужным вставить свое замечание.

— Это, ваше б-ие, я третьего дня под кроватью нашел, за чемодан завалилась, должно, как читали вечером, накануне того самого дня, задремали и уронили, так она и лежала.

Это сообщение заинтересовало меня. Я взял тетрадь и развернул ее.

— Значит, он читал ее перед смертью? — спросил я

— Так точно, последнюю неделю, почитай, каждый вечер, как лягут, возьмут ее в руки и читают, а сами нет-нет да карандашиком и черкнут в ней или встанут, подойдут к столу и начнут писать.

«Это любопытно,— подумал я, пробегая глазами страницы, мелко исписанные угловатым, некрасивым, но до-

вольно разборчивым почерком,— уж не последний ли его роман, о котором он мне говорил, наверно, так».

Чуев, до поступления к нам, лет пять занимался литературой. Заправским писателем он, правда, никогда не был и, к чести его нужно сказать, никогда таковым себя и не считал и гораздо больше гордился и интересовался своей посадкой и тем, что мог сесть на самую бешеную лошадь, чем небольшим изданием своих стихотворений и прозы, которые, впрочем, в свое время произвели кое-какое впечатление и в которых даже некоторые чересчур увлекающиеся критики провидели что-то новое, выдающееся. Во всяком случае, Чуев не был только дилетант, пишущий для кузин и дам сердца, а был хоть мало, но известен публике и редакциям. Словом, представлял из себя литературную единицу. Немудрено, что меня очень заинтересовала его, так сказать, «Лебединая песня». Я объявил денщику, что беру тетрадь с собою, на что он мне отвечал обыкновенным «Слушаюсь, ваше б-ие», и, не теряя времени, поехал домой.

Оказалось, я несколько ошибся, это не был роман, а скорее биография, и то неполная, касающаяся последних лет жизни Чуева. Биография эта показалась мне настолько интересной, что я решаюсь предложить ее публике, тем более что, зная семейное положение Чуева, вперед уверен, никто за это на меня не будет претендовать, да и сам он, если бы жил, ни на минуту не рассердился бы на меня за мое самоуправство.

Но раньше всего несколько слов о самой тетради. Как я уже сказал — тетрадь в четвертку листа, в синем папковом переплете. Вся она испещрена помарками, поправками — то карандашом, то красными чернилами — местами целые страницы зачеркнуты, так тщательно, что совершенно невозможно прочесть, что было написано, в изобилии усеяна чернильными кляксами. На первом листе ниже заглавия «Кто прав?», очевидно, недавно было приписано следующее:

«Вот уже полгода прошло с тех пор, как кончил я эту вещь, писал я ее вскоре после смерти жены, а для чего писал — и сам не знаю. Кому это может быть интересно, кроме меня самого? Какая участь постигнет эту тетрадь, когда меня не станет? Прочтет ли ее кто, или, может быть, мой денщик растопит ею плиту? Не все ли равно? А между тем, решившись уничтожить себя, я не могу решиться

уничтожить ее. Мне жаль тебя, мое последнее произведение, моя последняя исповедь. Я писал тебя в унылые осенние вечера, под шум непрерывных дождей, под тоскливые рулады холодного ветра, одиноко сидя в пустой квартире на краю глухого леса. Я писал тебя в той самой комнате, где безропотно, тихо угасла жизнь той, для которой еще можно было жить и без которой жизнь — насмешка. Писал тебя, то и дело взглядывая на стоящие передо мною дорогие портреты, писал тебя, а в уме уже зрела черная мысль, и глаза невольно приковывались к лежащему тут же около портретов — револьверу. Мне жаль тебя — ты часть моей души, живи же после меня».

Как скоро жизнь прошла моя!
Едва успел начать
Я жить, а смерть зовет меня:
    — Пора, брат, умирать,
    Все, что так в жизни ты любил,
    Тобой погребено.
    Чего же ждать, страдать нет сил,
    Забвенья не дано.
Ты слышишь грустный, тяжкий звон
Гудит в тиши ночной?
В последний раз в день похорон
Пробьет он над тобой,
    И ты исчезнешь, тленья сын.
    Душой ты мертв давно,
    А жить ли день, иль час один,
    Иль год — не все ль равно?

Это стихотворение, очевидно, было приписано перед смертью, по всей вероятности, накануне самоубийства, так как этим стихотворением оканчивалась приписка и затем, под густо проведенной чертой, начиналась оконченная полгода назад его — как он сам назвал — исповедь.

II

«Хотя немного странно начинать свою биографию со дня свадьбы, но предыдущая жизнь моя так мало интересна, что я нахожу лучшим даже и не вспоминать о ней иначе как вскользь, к случаю, в связи с последующим рассказом.

Женился я очень рано, мне едва стукнуло 22 года, жена была одних лет со мною, но при ее замечательной моложавости она выглядела не старше семнадцати — восемнадцати лет. Первый раз встретились мы с моей будущей

женой, когда нам было по шести лет. В то время мы были очень далеки друг от друга на ступенях общественной лестницы. Она была дочь управляющего фабрикой, мещанина по происхождению, получавшего каких-нибудь тысячу рублей в год, тогда как мой отец, камергер[2], сенатор, действительный тайный советник[3], получал одного дохода с своих огромных имений тысяч до тридцати в год. Впрочем, отец мой в то время уже не жил с нами, так как после смерти моей матери снова женился, и я с сестрою воспитывался у своей бабушки, аристократки до мозга костей, в молодости игравшей немаловажную роль в салонах высшего общества. Воспитание в то время я получал самое барское, у меня были две гувернантки, кроме няни, и я не мог хладнокровно смотреть, несмотря на свои шесть лет, на лейб-гусарский мундир[4] и на вопрос тетушек: «Чем ты хотел бы быть, Федя?» — авторитетно отвечал: «Лейбгуссалом».

Если бы няне моей, для которой я в то время был «генеральский сынок», кто-нибудь сказал тогда: «Вот эта девочка — будущая жена твоего балованного воспитанника»,— она бы вознегодовала не на шутку и сочла бы подобную мысль ужасною ересью.

Жена впоследствии уверяла меня, что отлично помнит нашу первую встречу: произошла она на нашей даче, куда отец ее приезжал по поручению своего принципала[5] к моему отцу, гостившему у нас в то время и имевшему также какие-то счеты с фабрикой, которою управлял Николай Петрович Господинцев (фамилия отца моей жены). Жена описывала мне даже костюмы мои и моей старшей сестры, впоследствии умершей в чахотке на 14-м году. Передавала даже содержание игры, заключавшейся в том, что мы, рассевшись по разным углам садика, ездили друг к другу с визитом, причем роль лошади играл огромный ньюфаундленд, запряженный в легонькую соломенную тележку и которому мы под конец так надоели, что он чуть-чуть не откусил нам носы. При этом жена уверяла меня, что, несмотря на мою шелковую клетчатую рубашечку, золотой пояс и мелкие букольки на голове, я выглядел таким невзрачным, прыщеватым, слюнявым мальчишкой, что ей даже было неприятно играть со мною, она только, боясь отца, скрепя сердце подпускала меня к себе и даже на прощанье расцеловалась со мною.

— Ты был тогда точно идиотик, губы развесил, глазами хлопал, совсем юродивый! — говорила она мне со смехом всякий раз, когда вспоминала эту нашу первую встречу. Я ничего этого не помню, ни собаки, ни колясочки, ни тогдашней моей подруги игр, ни даже сестры, которая умерла года полтора спустя.

Вторая наша встреча произошла ровно через двенадцать лет. Ее отец в то время был управляющим небольшого дома и получал сравнительно ничтожное жалованье, жили они только-только что не бедно, на четвертом этаже, в небольшой квартирке в три комнаты. Встреча наша была случайная, через мою няню, которая по смерти моей бабушки открыла меблированные комнаты, где я останавливался, приезжая из N-ского кавалерийского училища на праздники.

Я чрезвычайно живо помню эту нашу вторую встречу, но раньше, чем рассказать о своих впечатлениях, считаю необходимым передать впечатление, произведенное мною на нее. Как она мне потом рассказывала, я ей очень мало понравился. Во-первых, я не был красив, и не столько лицом, как всею фигурой, так как был небольшого роста, тщедушный, слегка сутуловатый. К довершению всего, я в то время был страшный фат, гримасничал, щурился, пофыркивал, как невыезженный конь, слова цедил сквозь зубы, то и дело прибавляя частичку «э» и воображал, что это должно было быть прекрасно. Я весь был до мозга костей пропитан тем особенным кавалерийским чванством, которому поддаются так охотно почти все молодые люди в начале своей службы в полках и которое заключается в том, чтобы неподражаемо произносить: челоэк, скаатина, паэслушайте, эй вы, как вас! и т. п. любимые словечки. Для Мани, которая была заклятый враг всякой лжи, неестественности и ходульности, все эти кривлянья особенно были противны, она их не переносила, а потому, чем я больше старался понравиться ей, т. е. чем я больше ломался, тем все больше и больше терял в ее глазах, и она едва-едва выносила мое пошлое ухаживанье, хотя в то же время была сильно польщена им. Объяснить подобное противоречие очень легко: как я ни был смешон в ее глазах, все же я был человек высшего круга, представитель того недосягаемого для нее общества, которое по улицам ездило мимо нее в каретах, в театрах занимало первые ряды, в магазинах

требовало лучшие товары. Я имел право не заметить ее, а между тем не только заметил, но, очевидно, увлекался. Ей льстило, что она в своем простеньком, домашней работы, дешевом платьице производит на меня сильное впечатление, а что впечатление было сильно и даже очень сильно — в этом не было сомненья. Приехав с целью пробыть каких-нибудь полчаса, уладить одно пустячное дело, касавшееся меблированных комнат няни, я просидел весь вечер, под конец перестал ломаться, разговорился по душе, словом почувствовал себя как дома. Весь вечер я не спускал глаз с Мани и в душе искренно восхищался ею, а между тем она не была красавицей; но скажу откровенно, что другой такой девушки я не встречал ни до, ни после того. В ней что-то было особенное, сразу подкупающее, заставляющее невольно обратить на нее внимание, любоваться ею. Она была замечательно мила и симпатична: темно-карие, искрящиеся глаза, полные, красиво очерченные губы, бледно-розовый цвет лица, неправильные, с выемочками, но поразительно белые зубки, а главное, две ямочки на щеках, отчего, когда она смеялась, она была лучше, чем красавица. Сложена она была идеально: круглые, полные плечи, высокая грудь при чрезвычайно тонкой талии, и ко всему этому какая-то, у ней одной мною замечаемая, раздражающая грациозность. Грациозность ее не была заученной, не так, как у большинства наших полузаморенных зашнурованных барышень, у которых всякое движение рассчитано, заучено и прорепетировано перед зеркалом, нет — Маня сама не замечала своей грациозности, как не замечает ее резвящаяся кошка. Я сразу заметил, что Маня была большая кокетка, но и кокетничала она, и грациозна была не столько по сознанию, сколько в силу того, что не кокетливого, не грациозного движения она не могла сделать — так уж, видно, было устроено ее тело. Даже самые недостатки ее, по-моему, ее не портили, например, нос ее был немного вздернут и толстоват, но зато он придавал ее лицу плутовато-задорное выражение, так к ней шедшее; рука и нога у нее были велики, но этот недостаток я заметил только через пять лет супружеской жизни, когда она начала сильно худеть. Помню, я просидел тогда очень долго и как в чаду вернулся домой. Не знаю, как назвать то чувство, которое я тогда испытывал, я был как в тумане, что-то ныло, сосало под сердцем, мне было не то грустно, не то досадно, не то

жаль чего-то, словно бы я стоял на краю безбрежной голой степи, за которой — я знал — ожидает чудная страна, мне страстно хочется проникнуть в эту страну и в то же время, обводя безнадежным взглядом необозримое пространство песков,— я сознаю, что мне не пройти их...

Мало-помалу чувство это замерло под ножом холодного анализа. Жениться я не мог, во-первых, потому, что был несовершеннолетним юнкером[6], а во-вторых — наше общественное положение было слишком неравно, чтобы могла зародиться самая мысль о браке. Соблазнить ее... но я инстинктивно понимал, что Маня из тех девушек, которых не одурачишь легко, да и времени не было — срок моего отпуска кончался и я должен был возвращаться в юнкерское училище.

Так в этот приезд мы и не видались, но зато на следующий (я приезжал в Петербург раза четыре в год) не успел наш поезд с грохотом вкатиться под своды Николаевского[7] вокзала, как из окна вагона мелькнуло передо мной знакомое личико. Я увидал Марью Николаевну, под руку с племянницей моей няни, тоже очень хорошенькой и молоденькой девушкой, довольно интеллигентной, впоследствии вышедшей замуж за одного чиновника. Далее в толпе мелькал знакомый мне с детства шелковый капор моей няни, старушка отчаянно протискивалась сквозь толпу, подымалась на цыпочки, стараясь заглянуть через головы и жадно ища меня между выходящими из вагонов. Не знаю, почудилось ли мне или действительно так было, но мне показалось, что, увидев меня, Марья Николаевна вспыхнула. Я подошел к ним здороваться и не без гордости видел, как товарищи мои, проходя мимо из вагона, пристально взглядывали на хорошенькие личики моих барышень. Я теперь на других видел то, что испытывал сам, а именно, что Маня была из тех, которых нельзя было не заметить.

К моему большому удовольствию, я тотчас узнал, что замужняя сестра Марьи Николаевны наняла в меблированных комнатах няни две большие комнаты и что Маня это время гостит у них. Далее мне сообщили, что дом, которым управлял их отец, продан и старик переехал на Выборгскую, снял в аренду какую-то лавку, но что торговля идет плохо и т. п. новости.

С этого дня, все три недели, которые я провел в отпуске, мы почти не разлучались с Маней. Стоило было ей куда

собраться, я тотчас вызывался проводить ее; когда она была дома, я как тень неотступно был при ней. Целые вечера проводили мы с ней вместе, сидя или у них в комнатах, или в крошечной, но уютной няниной комнатке. Это была идиллия чистой воды. Маня, видимо, полюбила меня, но не любовью влюбленной, а просто как сестра, так же просто, как и все, что она делала, без всякого жеманства и ложной стыдливости. Отношения наши были настолько просты, родственны, что никому даже и в голову не приходило находить в них что-либо предосудительного. Мы как ребята шутили, хохотали, возились, тормошили мою кроткую ворчунью няню, не давали ей покою, пока она наконец не выгонит нас. Тогда мы отправлялись к сестре Мани, или к кому из ее родственников, или просто гулять. Несмотря на то, что я в то время был уже сильно развращен, я так всецело подпал под влияние Мани, что и сам незаметно для себя, влюбленный в нее по уши, в то время считал ее своей сестрою настолько искренно, что мне ни разу ни на минуту не пришла в голову какая дурная мысль. Как я уже говорил, это была чистая идиллия, очень смешная, особенно в столице и в конце XIX века, но уже вполне искренняя и безвинная. Накануне отъезда обратно в училище мы просидели весь вечер вдвоем, я был в самом грустном расположении духа и все приставал, чтобы Маня поехала меня проводить и непременно бы писала мне, хоть изредка. Она трунила надо мною, говорила, что ей некогда провожать, так как надо завтра идти по одному делу, а что писать она не будет: «О чем я вам буду писать, вам няня и то каждую неделю два раза пишет». Я сердился, обижался, снова начинал просить и клянчить. Словом, все это вечно старая, хотя у каждого новая, история.

В следующий мой приезд со мною произошло событие, навсегда оставившее по себе память. Одним из ближайших родственников Мани со стороны ее матери был некий отставной майор Брасулин, весьма милая и симпатичная личность. Он был женат, имел взрослую дочку, к сожалению, далеко не красивую, но также очень симпатичную девушку. Майор Брасулин был человек денежный и очень любил иногда собирать у себя молодежь поплясать, повеселиться и поужинать. Знакомых у него было пропасть, притом из самых разнообразных слоев общества. У него собирались офицеры, студенты, почему-то преимущественно медики,

чиновники, начиная от надворного советника и кончая простым канцелярским служащим, семинаристы и т. п., словом, то пестрое, смешанное общество, какое только можно встретить в столицах, где давно все перемешалось в одной общей сутолоке. Благодаря свойственному столичным жителям всеуравнивающему общему лоску, вы, попадая в такое общество, долго не сможете отличить гувернантку от продавщицы французского магазина, какого-нибудь школьного учителя от учителя гимназии, семинариста от технолога или доктора. Тут вы встретите людей очень образованных и рядом с ними едва умеющих подписаться, например какого-нибудь сынка или дочь лавочника. Вы часа два разговариваете с молодым человеком приличной наружности, с умным выразительным лицом и удивляетесь его всестороннему образованию, его изумительному знанию иностранной литературы.

— Извините, пожалуйста, где вы кончили курс? — спрашиваете вы наконец.

— В Англии, в Кембриджском университете. Вас это удивляет, но я родился и вырос в Англии и только наездами приезжал в Россию, теперь, впрочем, я уже второй год в Петербурге.

— Разве ваш отец англичанин?

— О нет, чистый русак — Спиридон Дементьевич Сидоров,— и, видя, что вы продолжаете недоумевать, он с легкой усмешкой объясняет вам: — Мой отец был камердинер у графа Караухова, граф же почти безвыездно жил в Англии, у него там свой замок в двух милях от Лондона. Из расположения к отцу он дал мне, по возможности, лучшее образование, за что, конечно, я ему весьма благодарен.

— У вашего отца нет других детей?

— Есть, дочь еще, она камеристкою у княгини Долгузинской. Карауховы в родстве с Долгузинскими, моя сестра тоже здесь, вон она сидит со старушкой, это жена одного французского гувернера.— Вы оглядываетесь и видите в нескольких шагах от себя просто, но со вкусом одетую барышню, симпатичную и очень миловидную собою, она чистым, прекрасным французским языком весело передает своей собеседнице впечатления, вынесенные ею из последней поездки в Париж.

— Кто это? — указываете вы глазами на высокого чернявого простого солдата в лейб-гусарском мундире.

— Это сын князя Дедежиани. Отец его генерал-майор, а сынок простым рядовым.

— Разжалован?

— Какое! не мог выдержать экзамена на вольноопределяющегося и попал в солдаты на общих правах.

Одно из подобных обществ собиралось обыкновенно и у отставного майора Брасулина. В тот раз, о котором я хочу рассказать, у Брасулина был костюмированный вечер. Народу набралось много, больше всего молодежи.

Я уже был знаком с Брасулиным в прошлый приезд, а потому, как только узнал, что Маня собирается к ним на вечер, тоже поспешил раздобыть себе костюм, нанял тройку для Мани и для ее сестры с мужем, с которыми она поехала к Брасулиным, и мы все вчетвером отправились на Васильевский остров, где жил майор в своем собственном деревянном, но очень миленьком домике.

Я весь день допытывался у Мани, в каком костюме она будет, на что она упорно отвечала мне: поедете — увидите! Из своей комнаты она вышла в шубке, так мне и не удалось ничего узнать. Я оделся ямщиком. Красная канаусовая[8] рубаха, бархатные шаровары, поярковая шляпа с павлиньим пером, кнут за галунным поясом и синяя суконная безрукавка. Сказать по совести, этот костюм мне лучше шел, чем мой юнкерский мундир, так как в широких складках его скрывалась моя сутуловатость и непомерная худоба. Когда мы приехали к Брасулиным, у них уже вся квартира была полным-полна. Небольшая передняя была чуть не доверху завалена всевозможными пальто, шубами, шубками, ротондами[9], платками, бурнусами[10]. Под предлогом, что негде раздеться, а вернее, не желая до поры до времени показать мне своего костюма, Маня с сестрою прошли прямо в спальню старухи майорши, а мы с мужем ее сестры, сбросив он свою енотку, а я юнкерскую шинель, прошли в залу.

Там уже стоял дым коромыслом, под звуки очень недурного пианино носились парочки по налощенному старинного фасона паркету. Молодежь почти вся была костюмирована, большинство в масках. Я поздоровался с хозяином, который в своем отставном старинного покроя мундире, с благодушной улыбкой, бочком, чтобы не быть задетым танцующими, пробирался в эту минуту из залы в кабинет и затем отошел в сторону, приглядываясь к мимо не-

сущимся парам. Танцы на минуту затихли. Измученный старичок тапер[11], кряхтя и отдуваясь, с усилием вытирал свою лоснящуюся мокрую лысину и расправлял до судорог онемевшие пальцы. Ксенофонт, лакей майора, отставной солдат, бывший его денщик, неразлучно проживший с ним целых двадцать пять лет, разносил на большом подносе лимонад, мороженое и чай для желающих. Я только что протянул руку, чтобы взять себе стакан чаю, как увидел недалеко от себя двух барышень, и хотя обе они были в масках, но я готов был прозакладывать душу, что обе наверно прехорошенькие. Одна из них была в костюме цыганки; пестрый, ярких цветов, платок небрежно перекинут через плечо; черные как смоль косы перевиты красными и белыми бусами и прихотливо закручены на затылке; на полуобнаженной смуглой шее бренчало ожерелье из фальшивых серебряных и золотых монет. Подруга ее изображала из себя русскую боярышню; голубой сарафан из какой-то легкой материи туго стягивал ее стройную фигурку; белая батистовая рубашка, с довольно глубоким вырезом на груди; кокошник голубой, отделанный белыми бусами, и несколько нитей поддельного жемчуга на шее, словом, тот стереотипный боярский костюм, которым может вас снабдить за пару рублей любая табачная лавочка. Несмотря на то, что бархатная полумаска с кружевами до самого подбородка закрывала лицо боярышни, мне она сразу показалась знакомой. Но пока я приглядывался к ним, они первые подошли ко мне.

— Я вас знаю,— сказала мне цыганка, сверкая из-под маски ослепительными зубами,— вы Федор Федорович Чуев, юнкер N-ского кавалерийского училища, а вот кто я? — вам не угадать.

— А вы последуйте моему примеру,— шутя отвечал я,— снимите маску.

— Вот еще, что выдумали, вы в масках узнайте. Вот это, например, кто? — указала она на свою подругу, упорно молчавшую и слегка отворачивающуюся в сторону, чтобы не быть узнанной.

Я еще раз взглянул на боярышню, в прорезях маски сверкнули на меня карие искрящиеся глаза и неровные зубки с выемочкой. Теперь я сразу узнал, кто передо мной.

— Маня, это вы,— воскликнул я,— но вы очаровательны!

Маня досадливо топнула ножкой, уж очень обидно ей

было, что я так скоро узнал ее, но через минуту она громко рассмеялась и сорвала маску.

Никогда не видал я ее такой хорошенькой. Ее розовое личико дышало оживлением и беззаботной веселостью, губы разгорелись, и карие глаза так и искрились, так и сверкали из-под густых ресниц. Притом я первый раз видел ее декольте[12], а шея и грудь у нее были поистине такие, что хоть сейчас на полотно.

Подруга Мани оказалась сестрой мужа сестры Мани, я до того времени ее не знал, и Маня познакомила нас.

Весь этот вечер я глаз не спускал с Мани, с замиранием сердца любуясь, как грациозно носилась она то с тем, то с другим кавалером. В этот вечер она превзошла самое себя и была поистине лучше всех.

Как досадовал я в тот вечер, что не умею хорошо танцевать — я бы никому не уступил ее, но, к сожалению, я так плохо танцевал, что не решился даже рискнуть танцевать в малознакомом мне обществе.

В одиннадцать часов подали ужинать; ужин прошел весело среди смеха, крика и шуток. После ужина снова все собрались в зале.

— Господа,— возгласил вдруг майор,— по правилам моих вечеров, если в маскараде есть русская боярышня — она должна сплясать нам «русскую», так ведь?

— Так, так,— раздались голоса,— «русскую», «русскую».

— Слышишь, Маня,— обратился к ней майор,— Vox populi — Vox dei*, ты должна плясать.

— Я не прочь,— слегка зардевшись, отвечала Маня,— но кто же будет кавалером?

— А вот «ямщик лихой, он встал с полночи, ему взгрустнулося в тиши»,— балагурил майор, указывая на меня. Все оглянулись в мою сторону — я сконфузился и начал отнекиваться, ссылаясь на неуменье.

— Вздор,— крикнула Маня,— он сам говорил как-то, что «русскую» умеет хорошо,— и, обратясь ко мне, она добавила: — Зачем вы ломаетесь, видите, я не ломаюсь.

Этот аргумент подействовал на меня убедительно; я действительно плясал недурно, выучившись этому искусству от нечего делать в лагерной стоянке у нашего первого

* глас народа глас божий *(лат.)* Здесь и далее сноски, помеченные звездочкой,— авторские.— *Ред.*

лихача, запевалы и танцора — взводного вахмистра Скоробогатова.

Майор крикнул таперу:

— «Русского»!

Гости расступились, образовав круг.

Словно по воздуху, не касаясь пола, грациозно изгибаясь, поплыла Маня по залу, только монеты слегка побрякивали на ее шее. В эту минуту она была восхитительна. Плясала она очень хорошо, несколько по-театральному, так как этому танцу училась у одной своей подруги, воспитанницы театральной дирекции, но неподражаемо грациозно. Я так загляделся на нее, что, наверно, прозевал бы свою очередь, если бы меня вовремя не подтолкнул майор, все время стоявший сзади.

Я очень люблю «русского» — это целый дуэт, целая история любви; сколько удали, сколько лихости в этом танце.

Я вспомнил Скоробогатова, насколько умел, лихо повел плечом, как поводил, бывало, он перед собравшимся взводом, подбоченился и, часто выстукивая каблуком мелкую дробь, быстро пошел навстречу своей даме. Крик одобрения прошел по залу. Этот крик еще больше придал мне силы и энергии, никогда ни до, ни после я не танцевал с таким увлечением. Сорвав с головы шапку, я то, плавно помахивая ею, медленно шел вперед, то, вдруг сильно взмахнув руками над головой, звонко прищелкнув каблуками, круто поворачивался кругом, на мгновенье замирал на месте, а затем, быстро семеня ногами, начинал пятиться назад, увлекая за собой свою даму, а когда она приближалась ко мне, я внезапно бросался вперед, приседая и почти касаясь пола, тогда уже она плыла от меня, отмахиваясь платочком, а я ее преследовал, простирая вперед руки.

Я видел, что Маня любуется мною в эту минуту, и старался превзойти самого себя, откуда взялись у меня и лихость, и ловкость, я сам себя не узнавал.

Когда мы кончили, оба измученные, разгоревшиеся и запыхавшиеся, оглушительные аплодисменты были нам наградой.

— Ай да ну,— воскликнул восхищенный майор,— а еще отнекивались, говорили — не умеете, да вас прямо в балет. Вот парочка так парочка, восторг, да и только — правда, Ксенофонт?

Ксенофонт, стоявший все время в дверях, снисходительно осклабился[13] и в свою очередь одобрительно покачал головой.

Впоследствии я несколько раз имел успех и в более серьезном деле, чем танец, и никогда эти успехи меня так не радовали, как в тот незабвенный вечер. Случайность — после этого вечера я никогда уже не плясал.

Была глухая ночь, когда мы возвращались назад по пустынным улицам. Посребренный волшебно-матовым лунным сиянием, снег пронзительно визжал под полозьями, лошади мчались как бешеные, ямщик, которого добродушный майор тоже успел употчивать на кухне допьяна, весело посвистывал и покрикивал на своих «залетных». Хорошо и жутко было на душе.

Кто не испытал, тот не знает, сколько поэзии в этой отчаянной скачке по глухим, безмолвным улицам в холодном, мертвенно-унылом сиянье луны под заливающийся звон бубенцов. Хочется и смеяться и плакать, и, глядя на огромные каменные глыбы домов, подобно гигантским саркофагам теснящиеся по обеим сторонам улицы,— невольно задаешь себе вопросы, сколько горя, сколько драм и трагедий, сколько безнадежных слез проливается, может быть, теперь под этими железными тяжелыми крышами. А тройка летит все вперед и вперед, словно увлекаемая роком. Мы сидели рядом с Маней, оба взволнованные донельзя. Мне казалось, что я слышу биение наших сердец; я по временам взглядывал на нее, но, кроме разрумянившейся от мороза щечки, до половины прикрытой мягким шерстяным платком, и мерцающего из-под опушки меховой шапочки глаза,— ничего не мог разглядеть. О чем она думала — бог весть, никогда она мне потом об этом не говорила, я же тогда думал, как бы хорошо было всю жизнь ехать так плечо с плечом, ничего не думая, ни о чем не заботясь.

Когда мы подымались по темной лестнице в нашу квартиру, я не выдержал и украдкой обнял Маню за талию и поцеловал ее. Она ответила тем же. Губы наши встретились, я почувствовал жар ее дыхания, прикосновение ее горячих губ — это был наш первый поцелуй, и, сказать по правде, самый пылкий — никогда впоследствии не целовались мы так. Да и немудрено — вторично мы поцеловались, когда были муж и жена, а недаром говорят, что будто венчанье · похороны.

III

Странное дело, припоминая теперь мои тогдашние ощущения и впечатления, я отлично помню, что в числе самых нелепых проектов, наполнявших тогда мою голову, не было самого простого — окончить курс в юнкерском училище и жениться на Мане, но в то время, с моей тогдашней точки зрения, подобный проект, пожалуй, казался самым нелепым, настолько нелепым, что он мне и в ум не пришел. Слишком сильно и глубоко въелась в мою плоть и кровь кастовая спесь. В то время я был блестящий юнкер одного из лучших армейских полков, имел собственного капиталу более двадцати тысяч, с которого получал проценты, не считая тех сумм, кои высылались мне моей московской родственницею, воспитывавшей меня. Я в то время серьезно мечтал о переходе в гвардию, о невесте с огромным состоянием, о тысячных рысаках, о царскосельских скачках. И нельзя сказать, чтобы мечты мои были несбыточными. Моя московская родственница только ждала окончания курса и производства в офицеры, чтобы женить меня на дочери одного пензенского помещика, страшно богатой, но еще более безобразной. Впрочем, сын своего общества, я отлично уже понимал, что с красавицей, но бедной, денег не добудешь, тогда как с богатым уродом можно достать хоть сто красавиц. Я уже предвкушал всю прелесть привольной, богатой жизни с рысаками, собственными экипажами и красавицами содержанками. Но увы! судьбе заблагорассудилось иначе, и все мои мечты разлетелись как дым, и, что всего замечательней, все случилось так просто, так обыкновенно, как нельзя быть проще. В августе я вышел из юнкерского училища с грехом пополам, и то только благодаря протекции окончив курс, а в октябре свершилось мое совершеннолетие, и я должен был ехать в Москву принять свой капитал от опекунов. Тут-то и случилось то обстоятельство, благодаря которому мне пришлось навсегда забыть о богатых невестах, кровных скакунах и т. п. прелестях.

Страшная вещь — большие деньги с непривычки. Я, у которого никогда более двухсот, трехсот рублей одновременно в руках не бывало, в первую минуту совершенно растерялся, когда по окончании всех формальностей мне

вручили несколько пачек кредиток. В эту минуту мне казались мои двадцать пять тысяч — миллиардами.

По похвальной юнкерской привычке, следовало эти миллиарды вспрыснуть, но одному это сделать было неудобно. На мое счастье — всегда в этих случаях людям везет,— я тут же, выходя из Государственного банка, столкнулся с одним моим приятелем, которого в другое время таковым бы и не счел и с которым мы когда-то воспитывались в одном из московских пансионов. Приятель мой, которого я даже фамилии теперь путем не припомню, знаю, что его почему-то звали Котя-Брум, что означало Константин Борисович, был в свое время человек с большими средствами, но давно уже успел спустить их и, как мастер этого дела, мог мне быть хорошим учителем. Мы тут же, не долго думая, наняли лихача и помчались в Эрмитаж.

Не буду передавать подробностей нашего отчаянного кутежа, продолжавшегося недели две, скажу только, что в Москве не было ни одного уголка, где бы мы не побывали. Я возвращался в гостиницу, где остановился, только чтобы вздремнуть часика два, три тревожным, болезненным сном, оттуда летел в банкирскую контору, куда я на время поместил свой капитал, запасался сторублевками и затем снова нырял как в омут. Из одного Коти-Брума разрослось три, или, вернее, Котя-Брум № 1 родил еще двух если не Котя-Брумов, то Петя-Се и Коля-Бо, словом, что-то вроде того. Помню только, что все это время около меня вертелись неизвестный франт в цветной фуражке, выдававший себя за отставного гусара, и какой-то актер не у дел, личность действительно весьма комичная, заставлявшая нас умирать со смеху своими шутками, анекдотами и остротами. Деньги мои таяли яко воск от лица огня. Срок моего отпуска давно прошел, но я ни о чем не думал, а с какой-то ненасытной жадностью искал все новых и новых развлечений.

Не берусь описывать фурор, произведенный моими подвигами на всех моих родственников. У всех моих тетушек и бабушек стали дыбом их тощие, седые косицы, когда они узнали о моем поведении. Что я прокутил половину своего состояния, это еще полбеды, кутеж вещь извинительная, в известном кругу на это смотрят сквозь пальцы, но связать себя с такой женщиной, привезти ее в аристократический полк — c'est tout à fait affreux!* А тут пришли и

* это совершенно ужасно! *(франц.)*

новые вести, что я выхожу из полка после ссоры с одним офицером, которого я, штандарт-юнкер[14], за неуместную остроту по поводу той же женщины,— публично назвал ослом. Это уже было вне всего возможного. Чепчики от величайшего негодования полетели на землю, а затем все двери квартир моих важных родственников торжественно захлопнулись передо мною как святая святых. С этого момента я был величественно и окончательно изгнан из нашей среды, надо мною разразилась грозная анафема и даже имя мое сделалось чем-то скабрезным и никогда не упоминалось в кружке моих родных. К чести или позору моему я уже этого сказать не умею, но только тогда я очень мало обратил внимания на такой пассаж. Я был молод, у меня еще оставалось тысяч двенадцать капитала, большое самомнение в придачу, и я, ничего же не сумнясь, помчался в Петербург, воображая, что стоит мне появиться там, то тотчас же получу место, вроде как у Коли Забистова или Саши Каинского, моих двух московских знакомых, получавших тысяч до трех в год. Я только одно упустил из виду, что Каинский окончил лицей Каткова[15], а Забистов — университет, тогда как у меня в кармане было одно только свидетельство об окончании курса в юнкерском кавалерийском училище, свидетельство, дававшее только право разъезжать верхом перед взводом или маршировать на парадах.

К счастию, вся эта глупость продолжалась недолго. В полгода я успел до того надоесть Дуне нравоучениями на словах и развратом на деле, что в один прекрасный день, в отсутствие мое захватив у меня из письменного стола свой паспорт, рублей сто денег и собрав все свои золотые и серебряные безделушки, Дуня исчезла. Куда бог один ведает, да я и не пытался разузнавать, так как сам был очень рад ее изчезновению. Думаю, что она поехала туда же, откуда и приехала. Тем и кончилась моя дурацкая затея — спасать других, не умея спасти себя,— затея, разбившая мою военную карьеру, унесшая у меня несколько тысяч и чуть-чуть было не отвратившая окончательно и навсегда единственное существо, искренно меня любившее, принесшее мне впоследствии огромную пользу — я говорю о своей будущей жене Марии Николаевне Господинцевой.

IV

Во все продолжение, пока Дуня пребывала со мною, в тех же самых меблированных комнатах няни моей, где я нанимал для нее отдельную комнату рядом с своею и где она жила в качестве обыкновенной жилички, за все эти полгода я очень редко виделся с Маней. Сестра ее с мужем продолжали жить у нас, но она довольно редко посещала их, живя с родителями. Притом часто случалось так, что, когда она приходила к ним, меня не бывало дома. Если же случайно когда мы и встречались, она относилась ко мне весьма сдержанно и даже холодно. От прежней нашей приятельской близости не осталось и следа, мы, очевидно, даже избегали друг друга, причем я избегал ее, потому что чувствовал себя перед нею не то чтобы виноватым, а как бы пристыженным. После того памятного вечера у Брасулиных мое теперешнее поведение относительно Мани было не совсем хорошо — я это невольно сознавал и конфузился.

Как ни было приятно для меня бегство Дуни, я все-таки первое время после него словно потерялся. Я не знал, что с собой делать. Выйдя из полка и разбив тем свою карьеру, я еще не успел пристроиться к какому-либо делу и жил процентами с своего оставшегося и отданного в частные руки капитала, мало заботясь о будущем. Пока Дуня жила со мною, она, как бы сказать, была олицетворением моей жизни, то «нечто», ради чего я бросил все, и это «нечто», в некотором роде, заменяло мне мое прежнее. Словом, я был похож на того «дурня» в сказке, который, найдя на дороге кусок золота, сменял его цыгану на коня, затем коня сменял на корову, корову на овцу, овцу на курицу и, наконец, обменяв курицу на иголку, потерял ее после одного перелаза через забор. Очевидно, иголка не стоила куска золота, но пока она была еще в руках «дурня» — она олицетворяла собой это золото, была его заместителем, реальным воплощением находки; с потерей же ее «дурню» оставалось только эфемерное воспоминание о том, что у него когда-то было золото, которое, не сменяй он его на утерянную иголку,— обогатило бы его.

К счастью человека, в известном возрасте все принимается как-то особенно легко,— умрет у пятилетнего крошки мать — он плачет, купили ему куклу — он счастлив. Фарфоровая кукла заменила мать. Мне куклой, заменив-

шей всю мою навек разбитую жизнь, послужил кружок товарищей, с которыми я сошелся в последнее время, с которыми вел самую буйную, нелепую жизнь. Редкий день, чтобы мы не кутили; угощал обыкновенно тот, у кого в эту минуту были деньги. Это была своего рода коммуна, состоявшая из пяти человек: отставного драгунского офицера Лопашова, сына богатого бакалейщика Петьки Черногривова, отставного юнкера, товарища моего по училищу Глибочки (Готлиб) Гейкерга, одного чиновника Разсухина, которого мы звали Размухин, намекая тем, что он всегда был в «мухе», и, наконец, меня. Несмотря на то, что ни у Глибочки, ни у Лопашова никаких ни собственных, ни благоприобретенных капиталов не водилось, а Разсухин получал очень скромное жалованье, так что богатым был один Черногривов, наша коммуна была почти всегда при деньгах. Положим, что у поручика Лопашова, занимавшегося частным ходатайством по делам, была какая-то старая скряга тетка, которую он как-то умудрялся, по его собственному выражению, «удачно подковывать», а у Глибочки на Песках имелась своя преклонных лет «вдовушка», но мы этим не интересовались. Мы вечно были веселы, кутили, устраивали по всем концам богоспасаемого Петрограда всевозможные скандалы, словом, жили в свое удовольствие, а до остального нам дела не было. Трудно поверить тому, чтобы в столице, на глазах сотни полицейских, можно было проделывать такие штуки, какие проделывали мы в большинстве случаев вполне безнаказанно. Душою всех этих проделок и инициаторов большинства из них был отставной поручик Лопашов. По природе это был человек очень добродушный, большой комик. Как теперь вижу его высокую полную фигуру с большими серыми глазами, добродушной улыбкой на толстых губах, слышу его басок и раскатистый смех. Он обладал большой физической силой, замечательным хладнокровием и большой смелостью. Он часто, ради шутки, переходя улицу, останавливал несущегося во всю прыть рысака за узду и вежливо, приподняв котелок, спрашивал сидящих в экипаже: «Куда они так торопятся?»

Одна из его проделок почему-то осталась мне особенно в памяти. Дело было в Таврическом саду, раннею весною, когда Петербург представляет смесь зимних, весенних, осенних и летних костюмов, судя по темпераменту, достатку, вкусам и запасливости их носителей. Наша компания

без цели слонялась по дорожкам сада, придумывая, что бы такое выкинуть в ознаменование своего прибытия. В эту минуту навстречу нам, из глухой, уединенной аллеи, показалась парочка. Он — высокий, стройный брюнет, красивый собой, в барашковом пальто и таковой же шапке, она — миниатюрное, миловидное созданьице, с голубыми глазками и розовыми щечками, в кокетливой, мехом обшитой кофточке и котиковой шапочке. Оба, очевидно, были поглощены один другим, они шли под руку, весело разговаривая и не обращая ни на кого внимания.

— Или молодожены, или влюбленные,— заметил Глибочка, умильно поглядывая на хорошенькую блондинку.

— Самый опасный народ,— сказал я,— таких не задевай, как раз нос откусят.

— А хочешь, я сейчас подойду и поцелую ее,— предложил Лопашов.

— Ну и получишь «от него» в морду.

— Нет, не получу, хотите пари на бутылку шампанского, я такое петушиное слово знаю, что не получу.

— Идет, только если получишь — мы не ставим.

— Согласен!

Сказав это, Лопашов быстрыми шагами пошел навстречу незнакомцам. Не доходя шагов десяти, он широко распахнул свои мощные объятия и радостным голосом воскликнул:

— Ах, Петр Петрович, ты ли это, братец мой, вот радость, сколько лет, сколько зим, насилу-то мы встретились с тобой! — Говоря так, Лопашов крепко обнял незнакомца и горячо принялся целовать его в обе щеки.

Тот стоял как кирпичом ушибленный...

— Позвольте, милостивый государь, я вас, кажется, совсем не знаю...

— А это супруга твоя, Марья Ивановна, давненько, давненько не видались мы с вами,— продолжал тарантить Лопашов, извиваясь перед хорошенькой блондиночкой,— очень вы изменились с тех пор, похорошели еще больше, позвольте же вашу ручку, впрочем, что ручку, мы ведь с вами в родстве, помните, тетушка Степанида Семеновна все еще утверждала, что нас бы даже и венчать не стали, так вот по родству позвольте мне уже по русскому обычаю, без церемонии...— И, не дав им опомниться, он быстро наклонился

и взасос чмокнул прямо в губы молодую женщину. Та испуганно вскрикнула и отшатнулась.

— Однако черт вас возьми! — с бешенством крикнул ее кавалер, хватая Лопашова за плечо и тщетно пытаясь встряхнуть его мощную объемистую тушу,— кто вы такой, какой там родственник, я вас совсем не знаю, а вы тут лижетесь как щенок.

Лопашов с неподражаемым изумлением отступил шаг назад и воззрился на него.

— Как, Петя, тебя ли слышу? — горестно всплеснул он руками.— Ты забыл меня, своего лучшего друга?! — Все это он говорил так просто, естественно, что, очевидно, окончательно ставил их обоих в тупик.

— Уверяю вас, вы ошибаетесь, я вас решительно не знаю, да и, наконец, я вовсе не Петр, а Александр,— горячился молодой человек.— Черт знает за кого вы меня принимаете?! — Лопашов вдруг преобразился. Хитрая улыбка озарила его лицо.

— За кого? — медленно переспросил он, делая несколько шагов назад.— За весьма неревнивого мужа, позволяющего первому встречному публично целоваться с его женою.

— Как?! — не своим голосом завопил молодой человек.— Так это вы осмелились шутки шутить, городовой, городовой!!! — Все это происходило недалеко от выхода, где всегда торчат полицейские.

Услышав крик, один из них поспешно подошел к спорящим.

— Послушай, братец,— остановил его Лопашов,— вот этот господин мне должен 400 рублей и не желает сказать, где он теперь живет, спроси его.

Самоуверенный, спокойный тон Лопашова, его серьезная, солидная фигура, изящный костюм, все это подействовало на блюстителя порядка.

— Послушайте, сударь, отчего вы не желаете сказать ваш адрес, они вправе требовать...

— Что вы тут врете, какой долг... он скандальничает, а не долг,— бесился молодой человек чуть не с пеной у рта. Но пока, волнуясь и горячась, он успел втолковать полицейскому, в чем дело, и тот оборотился к Лопашову, ни Лопашова, ни нас уже давно не было. Мы ускакали на извозчи-

ках, помирая со смеху, представляя, как теперь бесится одураченный так ловко незнакомец.

Другая проделка Лопашова была еще остроумнее. Я уже говорил, что у него была какая-то тетка из «простых», большая ханжа, богомолка и скареда, всю свою жизнь проводившая по церквам и в болтовне с разными странниками, странницами и монахинями. Странные отношения были между теткой и племянником, она не столько любила его, так как любить подобная мегера не могла никого, сколько боялась, уважала его, прибегала к его советам и, хотя с большими оговорками, причитаниями и нытьем, все же время от времени снабжала его деньгами, что, впрочем, не мешало Лопашову всеми силами ненавидеть ее. Однажды, после того как она отказала ему в субсидии, ссылаясь на то, что дала таковую на прошлой неделе, Лопашов и придумал следующий фарс. Достав где-то монашескую рясу, он прицепил себе длинную черную бороду, такой же парик и отправился к своей тетке. Отрекомендовался монахом с Афона и весь вечер разводил ей турусы на колесах про святой град Иерусалим, про Афон, про Константинополь, повествовал о встрече своей с турецким султаном и как сей язычник чуть было не принял от него православия, но жены воспротивились, так как у него 333 жены, а с принятием православия султану пришлось бы с ними расстаться, ну они, понятно, на дыбы, отговорили его.

— Ах они паскуды,— волновалась тетка.

— Паскуды, паскуды и есть! — авторитетно подтвердил Лопашов.

Затем он очень тонко намекнул, что хотя духовному лицу и грех гадать, но что он, грешный, в сем зело умудрен.

Полоумная старуха принялась, конечно, его упрашивать погадать ей. Тот долго отнекивался, но наконец согласился. Зная жизнь тетки, Лопашову, конечно, ничего не стоило разыграть роль прорицателя, чем он и привел суеверную старуху под конец в такой ужас, что та бросилась ему в ноги и начала каяться во всех грехах своих.

Кончилась вся эта комедия тем, что Лопашов выудил у нее сто рублей следующим ловким манером. Отходя спать, он отдал ей свою книжку и кисет с якобы собранными деньгами на хранение, причем при ней сосчитал лежащие там бумажки и серебро... Там действительно было сто рублей, добытые им где-то на одни сутки. На другой

день, за утренним чаем, он потребовал их назад, тетка отдала. Лопашов поблагодарил ее и, собираясь уходить, благословил каким-то черным образком.

— А это, матушка, тебе косточки,— сказал он, передавая ей какую-то ладанку*,— как не дай бог — заболеешь, положи на больное место — пройдет, как рукой снимет.

Старушка с благоговением приняла ладанку и, спрятав ее за пазуху, предложила ему в дар пару ассигнаций, но к большому изумлению ее, монах от денег отказался. На памяти старухи это был первый божий человек, который показал такое бескорыстие, чем еще больше заставил ее преклоняться перед своею святынью.

Выходя из комнаты, Лопашов вдруг словно бы что вспомнил:

— Вот что, пречестивая вдовица, хочешь мне добро сотворить, смени мои деньги на одну сторублевку, а то боязно носить, как бы не украли, а одну сторублевку я зашью в рясу — никто не догадается.

Та охотно согласилась и, пойдя к себе в спальню, через минуту вынесла ассигнацию.

— На тебе, возьми с кошелем, он тебе счастье принесет,— вручил ей монах свой кошель, который как от нее за чаем получил, так, по-видимому, и не выпускал из рук.

Таким образом мена совершилась. Монах ушел, а когда глупая старуха заглянула в кошель, то увидела там на дне вместо денег всякую дрянь: старые пуговицы, катушки, обрезки жести и, наконец, несколько фотографических карточек нецензурного содержания.

Всего курьезней то, что она тотчас же послала за Лопашовым и, когда тот явился, конечно, уже преображенный, она с плачем рассказала ему о случившемся. Лопашов серьезно выслушал ее, раз двадцать заставил повторить все с самого начала, со всеми подробностями и посоветовал подать заявление в полицию; сам написал ей это заявление и, пользуясь угнетенным состоянием ее духа, выпросил у нее десять рублей и ушел, уверив ее, что монаха этого наверно разыщут и деньги ей возвратят. Старуха успокоилась и осталась ждать у моря погоды, а Лопашов в тот же вечер, кутя в нашей компании, с хохотом рассказывал о своей проделке.

* Ладанка — сумочка с какой-нибудь святыней, носимая вместе с крестом на шее.

Козлом отпущения, или, вернее, «жертвой» нашей веселой компании, был Петя Черногривов, или, как звал его Лопашов,— Пегашка Черногривка. Несмотря на то, что он больше всех нас тратил и гораздо чаще «угощал», чем был «угощаем», мы безбожно трунили над ним, подымали его на смех и подчас выкидывали злые шутки, но он с истинно христианским терпением сносил все это, утешаясь тем, что водит компанию не с каким-нибудь своим братом «серяком», а с людьми благородными. Он старался и в одежде и манере подражать нам, и так как мы не все же болтали пустяки, а случалось, иногда затевались и умные разговоры — Пегашка Черногривка чутко прислушивался к ним, и по лицу его было видно, как он доволен.

Тип смешной, но, воля ваша, по-своему благородный. Он жаждал чему-нибудь научиться и не виноват был, что придурковатый самодур-отец слышать не хотел ни о каких науках.

— Тебе чего,— говорил он сыну,— читать умеешь, писать умеешь, арихметику знаешь, какого же тебе рожна надо. Брысь!!! — и Пегашка уходил от отца, повеся нос и как бы в отместку запустив в выручку лапу, вечером кутил где-нибудь, зря разматывая утаенные от отца деньги.

Скверно, безалаберно, пошло шла моя жизнь среди постоянного кутежа, пьянства, всяких дебоширств, под звон рюмок и стаканов, под гуденье трактирных органов, в обществе ночных фей. Я сам чувствовал, как я с каждым днем опускаюсь все ниже и ниже, как грубеют и опошливаются мои манеры; как я все больше и больше удаляюсь от того кавалерийского юнкера, фата и щеголя, каким я был еще год тому назад, и приближаюсь к типу так называемых трактирных завсегдатаев, окончательным выразителем которого является та всем петербуржцам знакомая личность в отрепанном пальто, в офицерской фуражке, останавливающая вас в сумерках, где-нибудь в переулочке, и просяще-грубым, нахально-робеющим голосом, скороговоркой говорящая:

— Monsieur*, для бедного, но благородного человека, служил в кавалерии и пехоте, в армии и во флоте и для пользы службы уволен в отставку.

Я видел свое постепенное падение в грустном лице моей

* Господин *(франц.)*.

старушки няни, которая, не смея ничего мне сказать, только горько вздыхала, когда я, пьяный и растрепанный, под утро возвращался домой, видел я свое падение в том пренебрежительном тоне, с которым относились ко мне, встречаясь со мною на улице, мои прежние знакомые и знакомые моей покойной бабушки, но больше всего видел я свое падение в темных, красивых глазах Мани. Видел в ее пристальном, как бы сожалеющем взгляде, каким окидывала она меня при наших встречах, чувствовал в том недоверии, с каким она относилась ко мне. Она, которая год тому назад не побоялась бы пойти со мною одна куда угодно, теперь всякий раз, когда я предлагал ей проводить ее, если и соглашалась, то с некоторым колебанием. Она опасалась проявления моего буйства, когда я был навеселе, и не верила в мою трезвость, когда я действительно не был пьян.

— Вы теперь так много пьете,— сказала она мне однажды, подозрительно оглядывая меня,— что вас теперь и не узнаешь, в нормальном вы настроении или нет.

Сознавая всю справедливость этого замечания, я ничего не ответил, но на сердце мне стало тяжело, и, чтобы заглушить в себе грустное чувство, навеянное на весь день этими словами, я в тот же вечер напился вдвое против обыкновенного и, возвратясь домой, произвел целый дебош.

— Тише, Федя, ради бога тише,— уговаривала меня няня, отворившая мне дверь,— ведь два часа ночи, все спят... Мария Николаевна сегодня ночует у сестры, ты испугаешь их.

Напоминанием о присутствии Марии Николаевны няня, знавшая мое глубокое уважение, питаемое к ней, думала обезоружить меня. Но на этот раз вышло еще хуже. Вспомнив наш утренний разговор, я вдруг почувствовал сильное озлобление против Мани и мне пришло в голову выкинуть какое-нибудь безобразие, чтобы только чем-нибудь досадить ей.

Когда Маня ночевала у сестры, она спала в комнатке, служившей им гостиной и приходившейся бок о бок с моей комнатой. Диванчик, на котором она спала, и моя кровать находились у одной стены, разделявшей нас. Стена была, впрочем, довольно толстая, так как дом был старинный и строен прочно.

Не долго думая, я изо всей силы принялся барабанить в стену.

— Мария Николаевна,— завопил я на всю квартиру,— вы не спите?

Ответа не последовало, но по шороху я догадался, что она проснулась.

— Доброй ночи,— кричал я через стену,— желаю вам во сне жениха увидать, впрочем, вы и так, я думаю, только женихами и бредите.— Не помню, что я тогда еще молол, но, должно быть, у меня вырвалось что-нибудь обидное, потому что она наконец не выдержала и дрожащим от слез и негодования голосом крикнула мне:

— Федор Федорович, я вас не узнаю, давно ли вы стали оскорблять женщин?!

Сказав это, она заплакала. Я слышал ее сдерживаемые рыдания, и мне стало страшно совестно. Я сразу опомнился, торопливо, не производя никакого шума, разделся и, укутавшись головою в одеяло, как бы желая спрятаться от самого себя, затих. Но я не спал. Многое пришло мне тогда в голову. Я в первый раз, со дня выхода своего из полка, серьезно оглянулся на самого себя, и мне стало жутко. На другой день, чтобы не встретиться с Маней, я пораньше встал и ушел из дому на целый день.

Не зная, куда деться, я отправился к Глибочке Гейкергу и застал его в ботфортах со шпорами, приготовляющимся ехать кататься верхом, с хлыстом в руках. В своей шелковой синей жокейке, небрежно надвинутой набок, и в изящной жакетке Гейкерг выглядел положительно красавцем. Он очень обрадовался моему приходу.

— Слушай, поедем вместе, вспомним старину, ведь сегодня 1-е Мая, моя «вдовушка» будет, я тебе покажу ее.

— А ну ее к черту, ты лучше скажи, где ты лошадь достал.

— Я еще не достал, хочу нанять в манеже, и ты возьми.

Так как мне было все равно, куда ни идти и что бы ни делать, то я и согласился. Не прошло и часа, как мы уже тряслись на англизированных, тощих, как скелеты, старых браковках, обгоняемые изящными экипажами и в пух и прах разодетыми барынями. На пуанте[16], как и обыкновенно в этот день, народу была масса. Несмотря на весеннее солнце, мы с Глибочкой порядочно промерзли, а потому, бросив лошадей на руки сопровождавшему нас груму[17], отпра-

вились в ресторан, где тотчас же столкнулись с двумя франтами, знакомыми Глибочки. Кстати сказать, в Петербурге не было той дыры, где бы у Глибочки не было друзей. Такой уже был общительный человек. На сей раз Глибочка был при деньгах и вызвался нас угостить. Выпили. Франты тоже не захотели быть в долгу, и таким образом, угощая друг друга, мы менее чем часа в два времени пришли в такое состояние, что когда вспомнили наконец о своих лошадях и вышли садиться, то нам показалось, что вместо трех лошадей перед нами — пять. С большим трудом, и то только при помощи грума, вскарабкались мы наконец на наших пятивершковых кляч, украшавших собою некогда фронт Гатчинского кирасирского полка, и отправились в кругосветное плавание. Россинанты[18] наши, немного, немного не заставшие Севастопольскую кампанию, как водится, давно уже окончательно обезножили, причем моя оказалась к тому же страшно пуглива. Особенно потрясающее действие производили на нее зонтики, она с таким ужасом косилась на них, точно бы это были тигры, готовящиеся поглотить ее. Она шарахалась из стороны в сторону, и мне в том состоянии, в каком я находился, немалого труда стоило балансировать на заезженном, старом английском седле, скользком, как жидовская совесть. Несмотря на все эти маленькие неудобства, мы не унывали и не без сознания своего достоинства гарцевали по аллеям, нахально поглядывая на идущих и едущих барынь. Вдруг, на повороте в одну из аллей, мы услышали страшный крик, какой-то грохот, неистовый топот, и не успели мы понять, в чем дело, как на нас наскочила бешеная пара. На козлах никого не было, вожжи болтались по спинам и между ногами лошадей, заднее колесо отскочило, накренившийся кузов коляски с визгом и треском тащился по земле, лошади с налитыми кровью глазами, все в мыле, мчались как угорелые. Не знаю, каким образом увернулись мы и не попали под колеса, но тут случилась другая беда. Спасаясь от крушения, я вскочил на пешеходную аллейку, где было очень много гуляющих, раздались визги, крики, моя лошадь окончательно ополоумела и стала как вкопанная, со страхом озираясь во все стороны и упрямо отказываясь повиноваться поводьям... На беду и ужас, со всех сторон поднялись столь ненавистные ей зонтики; как привидения замелькали они в воздухе, а один большой, пунцовый, как кровь

разбойника, устремился прямо ей в нос... Этого она уже не могла вынести. Взвившись на дыбы, так что я едва-едва удержался, несчастная кляча высоко взметнула задом и понесла. Если бы она была настолько крепконога, как пуглива и тугоузда, все кончилось благополучно, но увы! одно другому было диаметрально обратно. Не успело проклятое животное сделать и десяти скачков, как запуталось в собственных ногах, длинных, как у водяного комара, споткнулось и со всего маху полетело к черту, выкинув меня сажени на две из седла. Падение было так сильно, что я едва-едва поднялся на ноги и тут же почувствовал сильную боль в руке; машинально дотронувшись до головы, мои пальцы нащупали что-то склизкое, липкое — это была кровь. О дальнейшем продолжении нашего partie de plaisir* нечего было и думать, пришлось отправить лошадей в манеж, а самому нанять извозчика и ехать домой. Боль в руке с каждой минутой усиливалась и скоро сделалась почти нестерпимой, нога тоже ныла порядком.

Няня моя, увидав меня в таком печальном виде, перепугалась страшно и послала прислугу за доктором, жившим в том же доме. Это был препотешный немец, лысый, с вихром седых волос на лбу, краснолицый, маленького роста, в больших золотых очках со стеклами, круглыми, как глаза филина. Он заставил меня раздеться, лечь в постель и, осмотрев с пунктуальностью, на какую способны только одни немцы, объявил:

Что alles ist qanz qut (все прекрасно), только маленькая ушиб на голофа, да еще Hand (рука) bischen (немного) вывихнута, да еще вот auf dem колен eine wunde, sonst alles ist qut, все цел, ничего не поломайт.

Но хотя и все оказалось qanz (совсем) целым, однако встать мне доктор не позволил, прописал лекарство и ушел, сказав, что morqen (завтра) он будет еще смотрейт.

Пришлось остаться в постели. Я лежал, морщась от боли во всех костях, посылая ко всем чертям как треклятую клячу, по милости которой я попал в пациенты Herr'а Квибекса (фамилия доктора), так и Глибочку Гейкерга, подбившего меня на это милое partie de plaisir пур селепетан, как говорит Лейкок (pour passer le temps — для препровождения времени) Я лежал и злился, а тут еще воспоминание

* препровождение времени *(франц.)*

о моем пошлом поведении сегодня ночью, оскорбившем так незаслуженно Марию Николаевну. Я лежал и думал о ней, думал о нашей прежней дружбе, и мне стало очень грустно. Я уже хотел позвать няню, спросить ее о Мане, где она, у сестры еще или ушла, как вдруг услышал стук в дверь и голос Мани.

— Федор Федорович, можно к вам?

Забывая боль в забинтованной руке, я быстро натянул до самого подбородка одеяло и, не помня себя от радости, крикнул:

— Войдите, буду, конечно, счастлив.

Дверь отворилась, и я увидел Маню. Она была, как и всегда, такая беленькая, свежая, румяная... кашемировое платье цвета бордо, обшитое кружевами, плотно облегало ее стройную, изящную фигурку, черная бархатная ленточка с золотым медальоном оттеняла ее белую, полную шейку. Давно не казалась она мне такой хорошенькой, как в эту минуту, я искренно позабыл свою боль и только любовался ею. Легкой грациозной походкой подошла она к моей постели и, пожав мою руку, опустилась на кресло, на котором за минуту до этого сидел почтенный доктор.

— Ну что, как вы себя чувствуете,— зазвучал у меня в ушах ее слегка грустный, симпатичный голос,— мне Анна Ивановна (так звали мою няню) сказала, что вы страшно расшиблись, я уже собралась было уходить, да вот захотелось проведать вас.

— Спасибо вам, пустяки, я думаю, к завтрему пройдет.

— Ну я бы не хотела этого, хорошо бы было, если бы вы полежали недельки три-четыре.

— Почему? — удивился я.

— А для того, чтобы вы не кутили, посмотрите, вы на себя не стали похожи, я просто не узнаю вас.

Я засмеялся.

— Чему вы смеетесь?

— Мне вспомнились слова митрополита Филиппа, обращенные к Иоанну Грозному: «Не узнаю царя русского в этой одежде, не узнаю и в делах царства».

Она чуть-чуть улыбнулась:

— Вот вы всегда так, вам дело говоришь, а вы шутите. Помните, когда вы в первый раз приехали к нам юнкером, какой вы были тогда и какой вы стали теперь...

— Не хороший?! — подсказал я.

— Хуже чем не хороший...— засмеялась она.

— Знаю, барышня, сам знаю,— полушутливо, полугрустно сказал я,— но, может быть, оттого-то я теперь такой, что не могу быть таким, как был.

— Это вздор, малодушие, эка беда, что вышли из полка, жаль, конечно, но еще не все потеряно, ободритесь, а главное, бросьте вы ваших товарищей, эти знакомые — гибель ваша.

Она долго и горячо говорила. Я не слушал ее, всецело поглощенный созерцанием ее все больше и больше оживлявшегося личика. Я глядел, как разгорались ее щеки, как шевелились ее губы, открывая кончики белых зубов, я прислушивался к музыке ее голоса, не вникая в смысл произносимых слов, и чувствовал, как что-то новое поднимается у меня в душе и непонятное мне волнение охватило меня, я готов был и смеяться, и в одно и то же время плакать. Машинально дотронувшись до головы, я почувствовал, что повязка моя сползает, я хотел поправить ее, но одною рукою это было неудобно, я еще больше растормошил ее.

— Постойте, я вам завяжу как следует,— сказала Маня, поспешно развернув бинт, она с ловкостью опытного хирурга снова повязала мне голову, еще лучше, чем доктор. Когда она кончила, я здоровой рукой поймал ее руку, крепко прижал к своим губам и вдруг почувствовал, как слезы подступили мне к глазам.

— Мария Николаевна, вы — ангел,— только мог сказать я, делая сверхъестественные усилия, чтобы не расплакаться.

До позднего вечера просидели мы так, болтая и вспоминая о прежнем. Ледяная стена, разделявшая нас последние полгода, растопилась, и мы снова сделались теми друзьями, какими были в то счастливое время, когда я юнкером приезжал из N в отпуск в Петербург.

Прошла неделя, я давно уже настолько поправился, что мог выходить, но мне как-то жалко было расстаться со своею комнатой, меня не тянуло, как прежде, к моим друзьям, и я даже, к большой радости няни, просил ее, что если кто из них придет, сказать, что меня нет дома. Уступив моим неотступным просьбам, Маня согласилась остаться погостить у сестры, и мы снова, как прежде, проводили вечера втроем: я, Маня и няня, но того прежнего веселья не было. Грустная нотка слышалась во всех наших разговорах, ни я, ни няня не могли забыть, что карьера моя разбита, что

вместо двадцати тысяч капитала, свободного и независимого, у меня осталось всего десять, да и те были отданы в такие малонадежные руки, что не сегодня-завтра могли пропасть. Человек, взявший устроить их, с которым я дружил с детства, который был принят в доме моей бабушки как родной, которому я доверился как брату, оказывался далеко не таким, каким мы его представляли себе, и хотя еще нельзя было утверждать, что он обманет меня, но подобные подозрения начали заползать в наши души, и я не раз уже горько и горько раскаивался в своем опрометчивом доверии.

V

— Слышали, какое ужасное убийство, на Песках? — спросил меня Владимир Иванович Красенский, муж сестры Мани, входя как-то ко мне в комнату с газетой в руках.

— Нет, а что?

— Прочтите.— И он передал мне газету, пальцем указывая, откуда читать.

«Зверское убийство.

В ночь с 20 на 21 мая в... улице Песков в доме № 00 совершено двойное убийство, ужасное по своему зверству и по той дерзости, с которой оно было произведено. Убита сама домовладелица вышеупомянутого дома, купеческая вдова Анастасия Карповна Шубкина, 63 лет, и ее единственная прислуга, крестьянка Тверской губернии, Матрена Рыбкина, 44 лет. Убийство обнаружено при следующих обстоятельствах. Каждое утро дворник дома г-жи Шубкиной приносил в квартиру своей хозяйки дров и воды. В тот день, когда было обнаружено преступленье, он, по обыкновению поднявшись с вязанкой дров во второй этаж в квартиру № 4, где жила хозяйка дома, нашел дверь в кухню запертой, тогда, думая, что кухарка спит, он стал стучаться, но ответа не последовало. Несколько удивленный подобным обстоятельством, но оставаясь при том же убеждении, что кухарка спит, дворник снес дрова другим жильцам и полчаса спустя с новой связкой опять постучался в кухню хозяйки, но опять не получил ответа. Он стал стучать сильнее, но ответа не было. Тогда, несколько встревоженный подобным странным молчанием, он стал стучать изо всей

силы, настолько громко, что услышали в других квартирах и многие из жильцов вышли на лестницу, спросить, в чем дело. Дворник рассказал им причину, добавил, что подозревает тут что-то неладное. Дали знать полиции, и, когда наконец при помощи призванного слесаря, в присутствии полиции, дверь была открыта, присутствующим представилось ужасное зрелище. Посередине кухни лежала кухарка, ничком на полу, вся голова ее была буквально разбита, и из зияющей раны выползли окровавленные мозги, подле нее валялось и орудие убийства, большой медный пестик. Из кухни дверь вела в коридор, оканчивающийся спальней самой хозяйки. Когда полиция вошла туда, то нашла г-жу Шубкину полураздетую и лежащую поперек постели, со свесившимися на пол ногами. Судя по положению трупа и по отсутствию крови и по подтекам на шее и горле, она была просто задушена. Очевидно, убийца обладал большой физической силой, потому что, по заключению врача, смерть произошла почти моментально и именно в ту минуту, когда покойная хотела соскочить с постели, по всей вероятности услыхав крик в кухне, так как служанка, должно быть, была убита раньше. Никакого беспорядка в комнате не замечалось, все стояло на своем месте, следов какого-либо грабежа тоже не было. В платье убитой, лежавшем на стуле, нашли ключи, один из них подошел к сундуку, стоявшему под кроватью. Когда сундук открыли, нашли в нем какие-то тряпки, и больше ничего. В комоде, стоявшем в комнате, кроме белья и кое-какого хламу, тоже ничего не было. Являются теперь два вопроса. Были ли у покойной при себе деньги? Если были и хранились в сундучке или комоде, то, стало быть, они похищены, если же не было, то не было грабежа. Второй вопрос — как убийцы попали в квартиру, откуда они вышли, заперев за собою дверь, ибо после тщательных поисков ключ от входной кухонной двери был найден брошенным под лестницу. Дворник говорит, что накануне он видел на дворе двух, по одежде похожих на странников, и что, кажется, они прошли в квартиру покойной, которая, по его выражению, «особенно была охоча» до всяких божьих людей, ходивших к ней очень часто, — но проходили ли они назад и когда, этого он наверно не знает, так как в это время ходил в участок с «листками». Если предположить, что деньги были украдены, то, очевидно, убийцы хорошо знали как расположение квартиры, так

и обычаи хозяйки, настолько хорошо, что, не прибегая ко взлому, воспользовались ключами и прямо взяли то, что искали, не производя обыкновенного в подобных случаях беспорядка, происходящего вследствие поисков неизвестно где спрятанных денег. К розыску таинственных убийц приняты все меры».

Чем я дальше читал, тем мне больше казалось во всем этом что-то знакомое.

«Анастасия Карповна Шубкина,— думал я,— где я слышал это имя? Ба, да ведь это тетка Лопашова, как это я сразу не вспомнил, те, те, те, догулялась, вот тебе и странники, укокошили-таки!» И я вспомнил, как еще недавно Лопашов говорил мне: «Моя тетка рано ли, поздно ли дождется того, что ее ухлопают; как же, живет одна с полоумной кухаркой, весь околодок знает, что у нее деньги в сундуке под кроватью, принимает разных бродяг, оставляет их ночевать, долго ли до греха!» И вот предсказания Лопашова сбылись. «Впрочем, он должен быть доволен,— подумал я,— он ведь единственный наследник, а у старухи, кроме денег, которые не все же она держала под кроватью, дом каменный тысяч в сорок, нигде не заложенный. Заживет теперь наш Лопашов» И я даже позавидовал ему немного.

Однажды, возвращаясь откуда-то домой, я на лестнице столкнулся со старшим дворником.

— Вам, сударь, повестка из окружного суда.

Какая повестка?

— Не могим знать, пришла без вас, я расписался, извольте получить.

Я взял повестку, распечатал ее и прочел, что судебный следователь по особенно важным делам, Ашанов, приглашает подпрапорщика, Федора Чуева, завтра, 1-го июня, в камеру свою С.-Петербургского окружного суда, в качестве свидетеля по делу убийства купеческой вдовы Анастасьи Шубкиной.

«Что за чепуха,— подумал я,— каким манером могу я быть свидетелем того, что сам узнал из газеты». Однако, делать нечего, надо было идти. С некоторым замиранием сердца поднялся я на следующее утро по широкой лестнице окружного суда и вступил в узкий длинный коридор, с правой и с левой стороны которого шли двери в камеры судебных следователей. Сторож, указав мне дверь камеры Ашано

ва, пошел докладывать, и через минуту я очутился в большой комнате, с полукруглым окном, желтыми шкафами по стенам и лежащими на их полках делами и длинным, покрытым зеленым сукном столом, за которым восседал сам Ашанов и его два писца.

Ашанов, небольшого роста, господин лет за тридцать, далеко не выглядел симпатично. Бледное, худощавое лицо, острый, как клюв хищной птицы, большой нос, украшенный золотым pince-nez*, большие, серые, холодные глаза, которыми он так и впивался в лицо своего собеседника, и тонкие, цепкие, как щупальца спрута, пальцы костлявых рук невольно производили весьма неприятное впечатление.

Пригласив меня жестом присесть против себя, Ашанов спросил у меня мои имя, фамилию, звание и затем, предупредив, что все, что я покажу, я, в случае требования суда, должен буду подтвердить присягой, приступил к самому допросу.

— Вам знаком отставной поручик N-ского драгунского полка, Иван Иванович Лопашов?

— Знаком.

— Вы, кажется, с ним большие друзья? — и глаза следователя так и впились в меня, словно желая проникнуть насквозь.

— Ну, друзья — это, пожалуй, громко сказано, а что приятели мы с ним были — это правда, часто кутили вместе.

— Мне это известно,— как-то особенно напирая на слово «известно», отрезал следователь и, помолчав с минуту, продолжал: — Если вы были с ним так близки, не рассказывал ли он вам когда о том забавном маскараде, который он проделал раз, одевшись монахом и обманом выменяв у своей тетки, г-жи Шубкиной, сто рублей на кошель, наполненный всякою дрянью. Наверно, рассказывал?

— Нет, такой вещи я от него не слыхал никогда,— заперся я, не желая подводить своего приятеля.

— Не слышали,— саркастически прищурился г-н Ашанов,— будто бы, припомните-ка хорошенько. Может, вы забыли.

— Решительно не знаю, о чем вы говорите,— пожал я плечами.

— Так-с,— протянул следователь,— ну-с, а г-на Черногривова вы знаете.

* пенсне *(франц.)*.

— Знаю.

— С ним вы тоже, кажется, иногда покучивали в компании с господами Лопашовым и Разсухиным.

— Кутил, так что же из этого?

— Ничего особенного, дело в том, что этот самый г-н Черногривов здесь же дал мне следующее показание, извольте прослушать.

Говоря это, Ашанов медленно вытащил из кучи лежащих перед ним бумаг какой-то мелкоисписанный лист и, пробежав его глазами, стал читать из середины, покачиваясь слегка и особенно напирая на некоторые слова:

«...тогда же г-н Лопашов рассказал нам о том, как он, одевшись монахом, обманул свою тетку, г-жу Шубкину. Дело было так (тут следовал уже известный читателю рассказ про похождения Лопашова). При этом разговоре были: г-н Разсухин и г-н Чуев. Последнего я особенно помню, потому что после того мы поехали с ним к одной знакомой женщине, у которой провели весь вечер, и только поздно ночью отправились домой, причем г-н Чуев меня подвез до самой моей квартиры и затем поехал к себе».

— Видите, а вы говорите, что не знаете ничего,— ехидно заметил следователь,— оказывается, г-н Лопашов при вас рассказывал.

— Не знаю, может быть, я только что-то этого не помню, может, я очень пьян был да забыл.

— Может быть, только я бы вас попросил как-нибудь возбудить свою память, потому что должен предупредить вас: убийство г-жи Шубкиной весьма еще темное дело, и подозреваются многие такие, что и сами, может быть, не подозревают, что они в подозрении. Извините меня за этот каламбур,— и он неприятно усмехнулся. Несколько минут длилось молчание. Следователь рылся в бумагах, а я сидел в кресле против него и не могу сказать, чтобы был в эту минуту очень спокоен.

— Скажите, пожалуйста,— заговорил вдруг Ашанов,— вы не помните, рассказывал вам г-н Лопашов о своих отношениях к тетке?

— Каких отношениях? — спросил я.

— О семейно-юридических... одним словом, рассчитывал он быть ее наследником или нет?

— Насколько мне кажется, рассчитывал, впрочем, иног-

да я слышал от него опасения, чтобы старуха не оставила всего своего состояния на какой-нибудь монастырь.

— Гм... ну а как, в какой сумме считал он состояние покойной?

— Дом он ценил в тысяч сорок, а сколько капитала у нее — он, наверно, и сам не знал даже приблизительно, так как старуха, по его словам, о деньгах говорить не любила.

— Гм... а не знаете, не замечали ли вы между г-ном Разсухиным и г-ном Лопашовым особенной какой дружбы, не переговаривались ли они о чем при вас?

— Этого не слыхал.

— Гм... может, так же не слыхали, как и об анекдоте с переодеванием? — съехидничал он.

Я молчал.

Следователь задал мне еще несколько вопросов. Все они вертелись на одном: не слыхал ли я от Разсухина или Лопашова такого-то выражения, таких-то слов, не замечал ли того-то или того-то! На все эти вопросы я отвечал как можно короче и сдержанней, ссылаясь больше на незнание. Ашанов, очевидно, бесился.

— Ну-с, теперь я должен вам сказать,— как-то особенно зловеще начал он, пронизывая меня взглядом,— что оба, и Лопашов, и Разсухин, арестованы по подозрению в убийстве тетки Лопашова г-жи Шубкиной, причем Лопашов был главным деятелем, а Разсухин его помощником, но кроме Разсухина, должны быть, судя по некоторым данным, еще сообщники этого дела,— он на минуту замолчал, выжидая, не скажу ли я чего, но я тоже молчал, и он снова начал,— сообщники, которые до сих пор не открыты, что дает полное право подозревать всякого, так или иначе близко стоявшего к Лопашову и Разсухину.

«Уж не подозревает ли он меня?» — подумал я, но ничего не сказал, сознавая, что всякое слово может только усилить подозрение. Видя, что он молчит и больше ни о чем не спрашивает, я решился наконец спросить его, могу ли я уходить.

— А вам не угодно будет видеть Лопашова, он должен сейчас быть здесь?

— Отчего же, я с удовольствием, тем более что я давно с ним не видался.

— А как давно?

— Да более месяца, последний раз я его видел тридцатого апреля, а сегодня второе июня.

Следователь встрепенулся.

— Отчего вы, который, как я заметил, обладаете такой слабой памятью,— он иронически улыбнулся,— так хорошо запомнили число вашего последнего свидания?

— Это очень просто объяснить,— возразил я,— я оттого так хорошо помню, что виделся с Лопашовым тридцатого апреля, что на другой день было гулянье 1 Мая, я поехал верхом, упал с лошади, расшибся, пролежал целую неделю и затем долго не выходил из дому. Тогда же я узнал и о смерти Шубкиной.

— От кого?

— Не от кого, а из газет.

— Но неужели за все это время вы так никого и не видали из своих друзей?

— Никого, приезжал раз Черногривов, но я его не принял.

— Почему?

— Просто потому, что не хотел. Они мне все надоели, мне опротивела жизнь, которую я вел, кутежи, постоянное пьянство, и я решил окончательно порвать с ними со всеми, а потому и не приказал никого принимать.

Я говорил все более и более волнуясь, этот нелепый допрос начинал бесить меня, но, взглянув в лицо следователя, я к ужасу своему заметил, по всему его выражению, по его глазам, что последнее мое показание показалось ему весьма знаменательным.

«Боже мой,— подумал я,— да неужели он и взаправду подозревает меня?» В уме моем мелькнула страшная мысль возможности ареста, допросов, суда, и при мысли этой я сам чувствовал, как страшно побледнел.

— Почему же желание ваше бросить их пришло так внезапно? — нудил тем временем г-н Ашанов.

— Потому что, лежа в постели больной, я много думал и пришел к мысли, что такая жизнь, какую я веду, губит меня.— Я хотел добавить еще и влияние на меня Мани, но удержался. «Такая нуда, как этот Ашанов, чего доброго, и ее потянет к ответу»,— подумал я и смолчал.

— Так вы желаете видеть Лопашова? — снова переспросил Ашанов.

— Я уже вам говорил, что хотя особенного желания

не имею, но тем не менее не прочь. «Скажи,— подумал я про себя,— не желаю, пожалуй, вообразит, что мне страшно встретиться глаз на глаз со своим сообщником».

Не прошло и пяти минут, как в коридоре раздались тяжелые шаги, дверь отворилась и в комнату под конвоем вступил Лопашов. Я сразу не узнал его. Его некогда полное лицо, с пухлыми и румяными, как московские сайки, щеками, осунулось, на давно не бритом подбородке густо разрослась рыжеватая щетина. Щегольской костюм измялся и неуклюже сидел на сильно похудевших плечах, весь он как-то согнулся, сгорбился, только добродушные глаза его оставались те же, хотя в них теперь вместо прежней беззаботной веселости проглядывало какое-то уныние. С первой минуты, как Лопашов вошел в комнату, судебный следователь так и впился в меня глазами, пристально следя за выражением моего лица.

Положительно он в чем-то подозревал меня, и я начинал окончательно теряться.

— Г-н Лопашов,— начал следователь,— я вам хочу прочесть показание г-на Чуева. Потрудитесь прослушать! — Лопашов в знак согласия кивнул головой. Следователь прочел мои показания, в которых, впрочем, решительно ничего не было, что бы могло служить какой-либо уликой. Я даже не понимал, почему ему вздумалось читать их, я не догадывался, что все это одна комедия и что главное, ради чего меня призвали и дали очную ставку с Лопашовым, впереди. Следователь берег под конец, рассчитывая на неожиданность и силу удара. Насколько я понял, против Лопашова не было ни одной серьезной улики.

Основанием к его аресту послужило, во-первых, то, что в квартире покойной не найдено было духовного завещания, тогда как у приходского священника, ее душеприказчика, хранилась копия с него. По этому завещанию все имущество свое покойница действительно отказывала часть церкви, в приходе которой она жила, часть на монастыри, часть своей верной Матрене, остальное, обратив в деньги, на раздачу нищей братии за упокой ее души. Племяннику своему Лопашову, мать которого была ее родная сестра, она оставляла всего пять тысяч да какой-то образ. Положим, завещание это могло быть уничтожено покойницей, но против вероятности подобного случая было то обстоятельство, что покойница оставила завещание незадолго до смерти и

еще дня за три, встретившись с батюшкой, говорила ему о том, как она рада, составив наконец завещание. «Теперь и душе легче»,— прибавила она в заключение. Другая улика против Лопашова была та, что за несколько дней до убийства он, выходя из трактира, сказал шедшему с ним Разсухину: «Жаль, не знал я, что эта сумасшедшая старуха сделает такое завещание, я бы ее задушил, каналью!» На допросе же у следователя он, отрицая эти слова, упорно утверждал, что вовсе не знает содержания завещания, даже не знает, сделано ли оно. Наконец, при обыске, у Разсухина нашли рыжую бороду и оловянные очки, в то же время лавочник дома Шубкиной показал, что накануне того дня, как обнаружено было убийство, он видел двух монахов: одного с рыжей бородой, в очках, небольшого роста и худенького — Разсухин был как раз такой, а другого — высокого, полного, с седой бородой и тоже в очках, а тут на беду Черногривов кому-то проговорился о том, как месяца четыре тому назад Лопашов переодевался монахом. Все эти данные, а главное, соображение, что одному только Лопашову, как прямому наследнику, было выгодно исчезновение духовного завещания, заставили следователя арестовать его, а с ним и Разсухина, но так как ни у того, ни у другого ничего решительно не было найдено, то следователю и пришла в голову мысль, не был ли тут замешан третий соучастник, у которого убийцы спрятали как все то, что взяли из квартиры убитой, так и те атрибуты, с помощью которых произведено убийство.

Все это я узнал впоследствии, тогда же только недоумевал, чего следователю от меня надо, а он тем временем вынул из стола какую-то записочку и поднес ее к глазам Лопашова.

— Чья это рука? — спросил он его.

— А вот его,— указал на меня Лопашов.

— Вы наверно знаете?

— Конечно, знаю, это я получил еще в прошлом месяце.

— А вы что скажете,— обратился вдруг следователь ко мне,— ваша это рука?

Я взглянул на записку и узнал свой почерк, но какая это была записка, хоть убей не помнил.

— Моя, вот и подпись моя, большое Ч и хвостик, я всег-

да так подписываюсь, когда пишу тем, кто наверно знает мою руку.

— А вы помните содержание записки?

— Сказать по совести,— нет.

— Странно, так я вам прочту! — и, отчеканивая каждое слово, Ашанов громко и медленно прочел:

«Милый Лапашка,— мы иногда так звали Лопашова,— если твое дело выгорит, то не забудь и меня, а я готов в свою очередь помогать тебе всем, чем могу. Твой друг Чуев». В постскриптуме стояло: «Не бойся за меня, я сумею вывернуться, что бы ни вышло, а уже тебя не выдам».

— Что вы на это скажете? — каким-то зловеще-торжествующим голосом спросил Ашанов.— Как вы объясните эту довольно странную, загадочную записку, найденную при обыске у Лопашова.

На этот раз я почувствовал в сердце своем прилив настоящего ужаса, такая записка, хотя происхождение ее было и самое невинное, в руках следователя, подобного Ашанову, да еще при теперешних обстоятельствах, была равносильна прямой улике.

Собрав все свое хладнокровие, я постарался беззаботно улыбнуться и, по возможности, равнодушнейшим тоном ответил:

— Я не понимаю, г-н следователь, при чем эта записка, которая в свое время была маловажна, что я даже забыл о ней и только теперь, когда вы прочли ее, вспомнил, о чем тут речь. Писана она, если я не ошибаюсь, в конце марта или в начале апреля.

— Совершенно верно, тут помечено — второго апреля.

— Ну так и должно быть. В то время Лопашов ухаживал за одной купеческой девицей с целью жениться на ней, а я за ее замужней сестрой, и вот мы решили, что будем помогать друг другу достигнуть каждому своей цели. Лопашову, как жениху, было легко ввести меня в дом, но он боялся, чтобы мое ухаживание не помешало как-нибудь его свадьбе, особливо если в доме невесты заметят его покровительство в моих ухаживаниях за сестрой своей нареченной. Вот к этому-то и относится мое выражение: я сумею вывернуться, что бы ни вышло, и не выдам его как своего сообщника. Впрочем, из всей этой затеи ничего не вышло, так как Черногривов проболтался, что у Лопашова, кроме

долгов, ничего нет, ему отказали от дома, а тогда уже и мне нельзя было больше ходить к ним.

Ашанов выслушал меня очень внимательно, не знаю, поверил ли, но только больше он меня уже ни о чем не спрашивал и отпустил наконец домой, взяв на всякий случай расписку о невыезде из столицы до окончания дела.

Недели через полторы меня снова вызвали, но уже к другому следователю, к которому перешло это дело, очень милому и любезному господину, и от него я узнал, что Лопашов сознался. Убийство произведено было действительно им и Разсухиным, причем Разсухин-то и подбил его на это дело, сам вызвался помогать во всем, под условием, чтобы Лопашов, в случае успеха, по вводе во владение наследством, уступил ему половину. Они оделись монахами и в таком виде прошли к Шубкиной. Дело было днем, и их пустили без особого страха в кухню. Разсухин, выхватив из стоявшей на полке ступки пестик, одним взмахом расколол им череп Матрене. Удар был так неожидан и силен, что та упала, не вскрикнув даже, двумя последовательными ударами он доконал ее. Все это произошло почти без всякого шума, так что никто ничего не слыхал. Увидеть тоже было некому, так как окно кухни выходило на пустырь. Покончив с кухаркой, оба пошли в спальню к старухе, которая после обеда спала. Услыхав шаги, она было вскочила, но Разсухин схватил ее за горло, опрокинул навзничь и стал душить. Лопашов тем же временем вынул у нее из кармана платья ключи, открыл стоявший под кроватью сундучок, на дне которого лежал портфель. В портфеле этом, старинной работы с бисерным изображением какой-то сцены из священной истории, который он тут же взломал, он прежде всего нашел духовное завещание, около тысячи рублей деньгами и документы на хранящийся в Государственном банке капитал в двадцать пять тысяч. Вынув портфель со всем в нем хранящимся, он снова запер сундучок, задвинул его под кровать, а ключи сунул в то же платье. Разсухин тем временем успел окончательно задушить старуху. Тогда они поспешно ушли, заперев за собой выходную дверь, ключ бросили под лестницу, а сами через сломанный в заднем углу забор пролезли в чужой двор, а оттуда уже другой улицей пошли за город. За Смольным монастырем они в кустах скинули с себя клобуки и рясы, под которыми одето было их обыкновенное платье, завязали в них несколько

штук камней и бросили в Неву. Второпях Разсухин свою накладную с очками бороду сунул себе в карман, Лопашов же свой парик и бороду утопил. Опорожненный портфель, а также и изорванное в клочья завещание бросили туда же и уже поздно вечером, другой дорогой, по одиночке, возвратились домой.

Я искренно пожалел Лопашова, еще более искренно подивился, как мог такой добродушный, во всю свою жизнь мухи не обидевший человек решиться на двойное убийство. Разсухин, положим, всегда выглядел человеком, за деньги готовым на все, притом и сердце у него было злое, что мы не раз в нем подмечали. Бывало, поймает в трактире кота и начнет его мучить или на улице подзовет к себе какую-нибудь заблудившуюся собачонку, и, когда та, дрожа и поджимаясь, робко подойдет к нему в надежде получить какую-нибудь подачку, он изо всей силы поддаст ее носком сапога или вытянет палкой вдоль спины. Разбогатеть была его постоянная мечта.

Месяца через два их судили и сослали обоих на каторгу. Я хотел было идти на суд, но в это время я был в таком счастливо довольном настроении духа, что не хотел расстраивать себя видом своих недавних собутыльников, да и Маня отговорила меня идти. Ее, видимо, немного шокировало, что я как-никак был друг убийц, и она старалась заглушить даже самое воспоминание об этом.

VI

И так наша компания расстроилась. Лопашова и Разсухина не было, Пегашку Черногривку отец его, узнавши только теперь во всех подробностях о его кутежах и тратах, после достодолжного отеческого внушения отправил на время в Москву, к брату своему, а его дяде «под начало», и остались в Петербурге я да Глибочка Гейкерг, но ни тому, ни другому было не до кутежей. Гейкерг поступил на службу в какую-то контору, а я в это время переживал чуть ли не самую счастливую эпоху моей жизни.

После того памятного вечера, как Маня пришла навестить меня больного, мы с каждым днем все тесней и тесней сближались с ней.

Хорошее было это время. Любимым нашим удовольст-

вием было отправляться, под вечерок, когда жара несколько начинала спадать, в Летний сад. Там мы до позднего вечера бродили с нею по густым аллеям или подолгу сидели в каком-нибудь укромном уголке, в стороне от постороннего любопытного взгляда, и конца не было нашим беседам. О чем мы тогда говорили, я теперь не могу не только вспоминать, но даже представить себе, помню только мое тогдашнее жутко-сладостное ощущение, мое тревожно-радостное настроение духа. Как живая встает передо мною стройная фигура Мани, в песочного цвета ватерпруфе[19], в соломенной скромной шляпочке, с летним цветным зонтиком в руках. Словно воочию с бесконечной тоскою переживаю я эти чудные, теплые вечера, светлые, как день, когда мы, утомленные, медленно, шаг за шагом, возвращались домой, не замечая окружающей жизни, шума и пыли. В многолюдном, ошалевшем от постоянной суеты городе — мы были как в пустыне. Окружавшая нас жизнь почти не касалась нас, мы были совершенно одни. Впрочем, это не новость, что нет одиночества более глубокого, как одиночество в многолюдном городе.

Под ропот исполинских лип Летнего сада, в тусклом мерцании бледной северной луны, под шепот легкого вечернего ветерка у меня явилась и созрела мысль — жениться на Мане. Я несколько раз покушался сделать ей предложение, но какое-то странное не то недоверие, не то сомнение — удерживало меня. Иногда мне казалось, что я обожаю ее и если бы меня лишили возможности ее видеть, я бы был в отчаянии, иногда, наоборот, я глядел на нее холодным, анализирующим взглядом, и насколько в первом случае казалась она мне чистой, прекрасной и идеальной, настолько во втором — обыкновенной, ничем особенно не отличающейся девушкой. Часто, после приятно проведенного вечера с нею, вернувшись домой еще полный сладостных ощущений, я вдруг начинал чувствовать в себе присутствие какого-то злого духа. Чей-то голос насмешливо шептал мне:

— Глупец, неужели ты не видишь, тебя ловят как жениха?

Я старался отогнать эту идею, но рассудок, как невозмутимый анатом, беспощадно погружал свой скальпель в мои мысли и хладнокровно начинал их разъяснять и раскладывать передо мною, как какой-нибудь хирург-профессор, демонстрирующий перед собравшейся аудиторией.

— Подумай,— говорил мне мой рассудок,— бедная девушка, двадцати двух лет, простого происхождения, мало образованная, на что может она рассчитывать? Остаться в девах или, на хороший конец, выйти за какого-нибудь мелкого канцеляриста, писца или т. п. Правда, она красива, изящна, но мало ли в Петербурге таких и еще лучше ее, гибнущих в нищете, идущих на места, берущихся за самую ничтожную работу. Мудрено ли, что она ухаживает за тобой. Ты для нее — клад, где найти ей в ее среде мужа с твоим воспитанием, происхождением, наконец, с деньгами. Но это еще не беда, ты упускаешь из виду, что, выйдя замуж, она тотчас же обабится, и ты не успеешь опомниться, как из грациозного котенка выродится простая кумушка-колотовка, с вульгарными манерами, грубым языком, интересующаяся только самыми низменными интересами жизни, кухней, тряпками и сплетнями. Вы с первых же дней перестанете понимать друг друга, а тут явится еще роковой вопрос, каков ее характер. Все девушки ангелы, откуда же берутся ведьмы-жены? А если и характер ее окажется, как и у большинства женщин ее круга, мелочной, придирчивый и сварливый — тогда что?

Я с ужасом зажимал уши, но при следующей встрече особенно внимательно приглядывался к Мане, взвешивал каждое ее слово, анализировал каждый ее жест, а она, бедняжка, тем временем была настолько далека от всяких планов, как земля от луны. Ей ни на одну секунду не приходила мысль ловить меня, напротив, она искренно сожалела меня и возилась со мною единственно из чувства сострадания, видя во мне человека, сбившегося с пути, потерявшего под собою почву. Как бы оскорбилась и удивилась она, если бы могла проникнуть в мои тайные помыслы; я уверен, что она бы с этой минуты не сказала бы со мной ни единого слова. В том-то и заключалось мое заблуждение, что, думая о себе, я слишком был высокого мнения о своих достоинствах и качествах и не понимал тогда простой вещи, что, избалованный, изленившийся барчонок, ни к чему, кроме кутежей, неспособный, выбитый из своей среды и колеи, с капиталом, который не сегодня-завтра, того и гляди, улетит, как журавль в небо, капризный и вздорный, как купеческая молодуха на сносях, я был, безусловно, бесполезнее любого канцеляриста труженика, привыкшего вдвое зарабатывать, чем проживать, и проживать заработанное. Увле-

ченный самомнением, я, с высоты своего величия, как ни таращил глаза на Маню, не мог увидать в ней того, что открылось мне гораздо позже, когда я сам значительно поумнел. Я судил ее по другим и не понял, что в ней таится бездна оригинальности и самобытности.

Маня была малообразована, это правда, но, когда впоследствии я начал серьезно заниматься литературным трудом, она высказывала иногда замечания, какие затем и почти теми же словами говорили мне серьезные критики и люди с огромным научным опытом. Выслушивая мои черновики, она мне часто подсказывала то, что впоследствии составляло лучшие места моих произведений. Когда мы бывали в обществе, она, правда, избегала серьезных разговоров, но уже раз они начинались, она умела вести их так, что я иногда в сравнении с ней выглядел чуть не дурачком. Это была замечательно цельная натура, с светлым, благородным взглядом на вещи, способная на героизм — что она и доказала,— враг всякой мелочности, глубоко ненавидящая всякую фальшь, ложь и злоязычие, так что впоследствии я, боявшийся, чтобы из нее не вышла «кумушка-колотовка», сам очень часто был упрекаем ею в излишней болтливости, мелочности интересов и склонности к пересудам. Теперь я просто краснею, вспоминая, с какой чисто торгашеской осторожностью приглядывался я тогда к Мане, приценивался, выпытывал, словно боясь продешевить себя или дать слишком дорого; я был тогда точно барышник на конной ярмарке, облюбовавший себе «коняку», но долго не решающийся приобрести его, из боязни не влопаться бы. Подозрительно зорким взглядом оглядывает он по нескольку раз со всех сторон покупаемую лошадь, словно ожидая, не выскочит ли где и не бросится ли в глаза какой порок, а в то же время смакует, какую цену дать, чтобы борони бог не передать.

Маня и не подозревала, какого рода хаос разнородных чувств и мыслей борются во мне, и продолжала держать себя со мною как любящая сестра, горячо интересуясь всеми моими делами и искренне желая мне всякого успеха. Наступила осень. Красенские покинули меблированные комнаты моей няни и переехали в свою собственную квартиру в одной из рот Измайловского полка[20].

Няня моя, которой, при ее расстроенном здоровье, в ее преклонных летах, тяжела была возня с большой кварти-

рой и многочисленными жильцами, порешила сменить ее на другую, где хотя опять открыла меблированные комнаты, но уже значительно в меньших размерах. В силу этих обстоятельств наши свидания с Маней на время прекратились, так как ей к нам, после отъезда Красенских, ходить уже не было резону, а я считал в свою очередь тоже не совсем удобным часто посещать их.

Грустно, монотонно потекла моя жизнь. Дела или занятий у меня никаких не было, знакомых мало, дома была тоска. Няня все хворала и, видимо, угасала, большую часть дня проводя в постели, кашляя и охая на всю квартиру.

Никогда не чувствовал я себя таким одиноким, обиженным судьбой, как эти два-три месяца. Пошел я было разыскивать Глибочку — он куда-то временно выехал из Петербурга, вздумал навестить Красенских, в надежде застать у них Маню, мне сказали, что Маня живет теперь у родителей в Чекушах и уже давно не была у сестры. Мне дали адрес, но ехать в Чекуши, на край света — я как-то не решился. «К чему? — думал я.— Чем может помочь Маня в моей тоске, да наконец, может быть, ей даже мое посещение будет и неприятно, в какую минуту придешь, еще стеснишь стариков». Я знал, что живут они бедно, в крошечной квартире, а старик был человек гордый и очень не любил, чтобы кто видел его нужду. Так я и не пошел.

Зима в этот год стала поздняя. Только в конце ноября установился наконец прочный санный путь. От нечего делать, вздумалось мне как-то, по петербургскому обычаю, справить «первопутку». Наняв лихача, я приказал ему везти себя по Адмиралтейству, чтобы потом прокатиться набережной Невы, где, как известно, пролегает лучшая санная дорога в Петербурге.

Красиво выбрасывая жилистые ноги, легко мчался резвый рысак, как скорлупку увлекая весело постукивающие на выбоинах саночки. Холодный ветер, вместе с морозной снеговой пылью, выкидываемой копытами, слегка резал лицо. Ваньки[21] на торопливо подскакивающих лохматых клячах, неуклюжие щапинские сани-дилижансы, пестрые вереницы пешеходов и бесчисленнейшие разнокалиберные вывески магазинов — все это словно в панораме мелькало перед моим скучающим взглядом, не оставляя никакого впечатления.

Вдруг, против самого Пассажа, где всегда происходит особенная суетня, мой лихач чуть-чуть не налетел на пересекающего дорогу Ваньку. Только благодаря изумительному мастерству, которым обладают московские и петербургские лихачи, удалось ему сразу осадить разгоряченную лошадь, так и севшую назад почти над самыми санями зазевавшегося Ваньки. Я видел, как седоки, мужчина и женщина, с легким вскриком поспешно отшатнулись в сторону. В первую минуту я не мог разглядеть их лиц, но когда сани вынырнули из-под морды нашей лошади, я с удивлением узнал в женщине Маню. Лицо ее кавалера мне было незнакомо. Испуганная столкновением, Маня, очевидно, не узнала меня, тем более что, разминувшись, сани их подкатили к аркам Гостиного двора. Меня ужасно заинтересовал вопрос, кто же это с нею. Всех ее близких знакомых и родственников я знал, с человеком посторонним она бы одна не поехала. Я приказал лихачу остановиться и, выйдя из саней, стал издали следить за ними. К моему большому изумлению, они шли под руку и вскоре скрылись в одном из магазинов. Подняв воротник, нахлобучив шапку, я остановился за аркой и стал выглядывать. Мне еще не удалось как следует разглядеть лица ее кавалера. Прошло с добрых полчаса, раньше чем они вышли, и тут только удалось мне удовлетворить свое любопытство. Прежде всего я заметил, что господин этот уже не молодой, лет за сорок, худощавый, жилистый, с длинными, слишком черными, что указывало на присутствие краски, усами, с бритым морщинистым лицом и в золотых очках. Одет он был в темно-гороховое пальто с дешевым бобровым воротником, уже не первой свежести, и плюшевую шапку-армянку, напяленную на самые уши. На ногах высокие резиновые калоши, на шее пестрый шерстяной шарф. В общем — фигура довольно курьезная, особенно с двумя картонками под мышками. Пропустив их вперед, я потихоньку пошел за ними. Зайдя еще в один магазин, причем коллекция картонок увеличилась двумя какими-то свертками, они направились наконец к своему извозчику. Тут только я заметил, что и сани были уже порядочно нагружены картонками, свертками и пакетами.

Мое любопытство достигло своего апогея, и я решил проследить за ними до самого конечного их путешествия. Сев на своего лихача, я приказал ему ехать следом за их

извозчиком, впрочем, настолько в почтительном отдалении, чтобы не быть узнанным, на случай, если бы Маня оглянулась. Но она не оглядывалась. Всю дорогу ехали они почти молча, изредка перекидываясь отрывочными фразами.

Проехав Невский, извозчик свернул на набережную к Николаевскому мосту, переехал Неву и поехал другим ее берегом, по дороге к Чекушам.

Заморенная кляча его едва плелась, мой рысак, принужденный следовать ее примеру, просто из себя выходил, так что лихачу стоило большого труда сдерживать его буйные порывы.

Свернув в какую-то довольно глухую улицу, выходящую, как и большинство улиц той местности, одним концом на Неву, а другим на тот край света, извозчик подкатил к подъезду небольшого двухэтажного полукаменного дома, так неожиданно остановился, что мы с лихачом, чтобы не наткнуться на них, должны были метнуться в первые попавшиеся ворота, маневр, исполненный моим лихачом с изумительным проворством и по собственному соображению гораздо раньше, чем я ему сказал об этом.

Человек бывалый, ему уже не раз случалось выслеживать подобным образом разную «петербургскую дичь».

Тем временем Манин кавалер не торопясь вылез из саней, позвонил дворника и методично принялся нагружать его привезенными свертками, пакетами и картонками. Когда последняя покупка взгромоздилась наконец где-то на самой холке навьюченного, как осел, дворника, он медленно стащил перчатку, протянул руку сидевшей в санях Мане и, как мне показалось, фамильярно стал прощаться с ней. Я видел, как мелькнула из муфты ее беленькая ручка и на мгновенье исчезла в его жилистой руке, как затем она ему кивнула головкой, что-то сказала, чего я не мог расслышать. Извозчик взмахнул кнутом, и сани поползли от подъезда, как беременная черепаха. Странный господин постоял с минуту на месте, поглядел им в спины и затем важной журавлиной походкой отправился вслед за удалившимся дворником.

— Трогай! — крикнул я лихачу. Тот только того и ждал. Как бешеный рванулся вперед изнервничавший вконец рысак и в три-четыре взмаха мы уже поравнялись с ползущими впереди санями.

— Мария Николаевна,— крикнул я взволнованным, нетерпеливым голосом,— здравствуйте.

Она вздрогнула и торопливо оглянулась. На мгновенье яркая краска залила ее щеки.

— Ах, это вы, откуда вас бог несет?

— Оттуда же, откуда и вас, я провожаю вас от самого Гостиного двора, это ведь я налетел на ваши сани у Пассажа, я тотчас же узнал вас и с тех пор еду по пятам, а вы и не догадались...

— Ну, а теперь вы куда ж? — прервала вдруг она мое торопливое словоизвержение.

Признаться, этот вопрос меня несколько озадачил.

— Куда? Пока вот провожаю вас, а потом, надеюсь, вы мне позволите зайти к вам, я, кстати, буду очень рад видеть Николая Петровича, я давно уже не видался с ним.

Она ничего не ответила. Минуту мы ехали рядом молча.

— Послушайте, Мария Николаевна, знаете что? отправьте-ка вы вашего возницу к черту и пересаживайтесь ко мне, а то он ползет как ушибленный. Право, ну.

Маня с минуту колебалась. Но, видно, ей самой до смерти надоело это похоронное шествие, потому что, подумав с минуту, она остановила своего извозчика, расплатилась с ним и, захватив с собой небольшой пакет, единственно оставшийся у нее изо всей массы покупок, пересела ко мне. Я был в восторге.

— Семен (знать имя своего лихача священная обязанность всякого нанимателя), рубль на чай, пошевеливайся!

Лихач только головой тряхнул. «Знаем, мол, не учи!» Он лихо подобрал вожжи, как-то особенно чмокнул, отчего горячий конь вздрогнул всем телом, гордо козырем поднял красивую морду, рванулся, словно бы хотел сбросить своей широкой грудью мешающее ему препятствие, и помчался, точно поплыл, едва касаясь копытами земли.

— Послушайте, Мария Николаевна,— начал я,— скажите на милость, что это за гоголевский тип был сегодня с вами.

— А вам очень интересно это знать? — усмехнулась она.

— Очень!

— Мой жених.

— Ваш жених?

— Да-с, мой жених, Алексей Александрович Муходавлев, титулярный советник, служит в Министерстве госу-

дарственных имуществ, получает 90 рублей жалованья и имеет собственный дом, тот самый, у которого он только что слез. Видите, как я вам подробно докладываю. Ах, да, забыла еще: вдовец — жена умерла пять лет тому назад, имеет дочь десяти лет. Вот, кажется, и все подробности. Что вы так удивленно смотрите?

— Вы шутите, быть этого не может! — воскликнул я.

— То есть чего быть не может? Что он вдовец или что у него дочь десяти лет?

— Быть не может, чтобы он был ваш жених!

— Почему?

— Да, во-первых, потому, что он обезьяна, а во-вторых, как же это так скоро. Давно ли мы виделись с вами, и ни о каких Блоходавлевых и речи не было.

— То есть как давно ли, ни меньше ни больше как два с половиной месяца, а в такой срок иной раз многое может случиться.

В последних словах мне почудился как бы упрек, но я так был огорошен неожиданным известием, что почти лишился способности что-либо соображать.

— Да нет, перестаньте, вы себе представить не можете, как вы меня ошеломили, это невозможно,— бормотал я, стараясь собраться с мыслями.— Неужели это дело решенное?

— Почти, он уже переговорил с отцом, мне тоже изъяснился...

— Ну и вы...

— Конечно, согласна, он для меня очень хорошая партия, по крайней мере, все так говорят, в чине, с деньгами, чего же больше.

— Я вижу — он вам не по сердцу.

— Вот вздор какой, почему это вы так думаете, напротив, он мне очень нравится, такой солидный, серьезный, учтивый.

— Да из каких он?

— Как из каких, я же вам говорила — чиновник, титулярный советник, служит...

— Э, да не то, не то вовсе, я спрашиваю, из каких он, то есть из «наших» или из хамов?

— Ах вот что,— иронически улыбнулась Маня,— предки на сцену. Ну, предки его не из важных, отец был простым вахтером, а сестра до сих пор где-то прачешное заведение держит, и он этого не скрывает, да, впрочем, и то ска-

зать, не всем же быть пятисотлетними дворянами и происходить от воевод Дмитрия Донского.

Последняя фраза была уже прямо не в бровь, а в глаз,— я несколько раз говорил Мане, что род Чуевых происходит от воеводы Чуя, убитого на Куликовском поле.

— Послушайте, за что вы на меня сердитесь?

— Я на вас, избави бог, и не думала, да и за что? Вы мне ничего худого не сделали, а если что и вышло худого, то я сама виновата, слишком неосторожна.

— Что такое, что вышло? Вы меня пугаете!

— Ничего особенного, слишком часто нас с вами видели вместе это лето, ну и вышли разные сплетни, впрочем, теперь все уже опять утихло. Что было, то прошло. Однако вот мы и приехали, стой, стой! Вот тут, у ворот.

Мы остановились.

— Мария Николаевна,— начал я решительным тоном,— мне необходимо с вами переговорить серьезно.

— О чем?

— Этого в двух словах не перескажешь.

— Ну так идите к нам, кстати, вечером, наверно, жених мой приедет, я вас познакомлю. Он к тому же заочно вас знает из моих рассказов и даже весьма одно время интересовался вами.— Говоря это, она как-то загадочно-иронически улыбнулась. Всякий раз, когда она говорила слова «мой жених», меня точно что по сердцу резало.

Имея возможность давным бы давно назвать Маню своей женой, но не решившись до сих пор сделать ей предложение, на которое, наверно бы, последовало ее согласие, я теперь, когда она сделалась невестой другого и ускользала от меня, готов был идти на все, чтобы не допустить этого брака. В эту минуту мне искренно казалось, что, если она выйдет замуж за Муходавлева, я не переживу этого, уже по меньшей мере буду в большом отчаянии.

Старики Господинцевы встретили меня очень радушно. Жили они вовсе не так плохо, как я думал. Маленькая квартирка в две светлые и одну темную комнатки была хоть бедно, но чисто убрана, что придавало ей веселый, уютный вид. Тотчас же подали самовар, и так как мы оба порядочно прозябли, то с удовольствием принялись за чай. После чаю я упросил Маню провести меня в ее комнату, и там, оставшись наедине, я снова приступил к ней с расспросами.

Мне хотелось прежде всего узнать, насколько далеко зашло их сватовство.

К большому моему удовольствию, я из первых же слов понял, что хотя предложение и сделано и принято, но дальнейшее ничего не выяснено. День свадьбы не только что не был назначен, но даже и приблизительно не было решено, когда ее справлять. Очевидно, господин Муходавлев был порядочная мямля и, как видно, придерживался пословицы, что «поспешность хороша только блох ловить». Другая черта его характера, уловленная мною из рассказов Мани, была скупость, доходящая почти до скаредности. Несмотря на то, что вот уже вторую неделю как он, считаясь женихом, почти каждый день бывал у них, он до сих пор не сделал своей невесте ни одного подарка, если не считать двух довольно мизерненьких бонбоньерок с шоколадными конфетами.

Наконец третья черта — он был, по-видимому, сильно ревнив, это можно было заключить из того, что, узнав от кого-то о моем существовании и о дружбе нашей с Маней, он долго допытывался у нее: что и как, все время подозрительно не спуская с нее глаз, и, не успокоившись, начал наводить стороной кое-какие справки и только тогда, когда за это получил выговор от Мани, которая ему прямо объявила, что, если он не доверяет ей, может искать себе другую невесту, он, по-видимому, угомонился.

— Да откуда вы его выкопали, такое чудище. Я не думал, что в Петербурге водятся «ископаемые».

— Никто его не выкапывал. Сам объявился.— И Маня рассказала следующее.

Вскоре после того как Красенские переехали от нас на свое новое место жительства, а мы в свою очередь перебрались на другую квартиру, отец Мани получил место, где и пребывает теперь на одном из чекушенских заводов смотрителем материалов. Жалованье, правда, ничтожное, но казенная квартирка с отоплением, освещением и кое-какие доходишки. Старик был рад и тому, так как в то время находился без занятий, и тотчас же поспешил вступить в свою новую должность.

Недели через две по приезде на новое место Розалия Эдуардовна — мать Мани — пошла за покупками в суровскую лавку и там неожиданно встретилась с одной своей старинной подругой, с которой не видалась лет пять. Под-

руга ее была замужем за одним чиновником, недавно овдовела и жила с ними по соседству в доме Муходавлева.

Обе подруги чрезвычайно обрадовались друг другу, и в тот же вечер Анна Ивановна пришла к Господинцевым.

— Что же это вы, Розалия Эдуардовна, Маничку замуж не выдаете, уже пора,— сказала как-то в разговоре Анна Ивановна, ласковым взглядом окидывая стройную фигурку Мани,— вишь, какая она у вас красавица.

— Жениха нет,— улыбнулась Розалия Эдуардовна,— теперь женихи богатых невест ищут, а у нас вы знаете какие достатки.

— А что дадите, я вам сосватаю жениха, и с деньгами, и чина хорошего, степенный, собой не урод, а?

— А вы нам покажите ваш товар, тогда и сторгуемся,— отшутилась Розалия Эдуардовна. Тем разговор и кончился. Но когда в следующее воскресенье Розалия Эдуардовна с Маней пришли в гости к Анне Ивановне, они застали у ней какого-то пожилого, сухощавого господина, который при входе их как-то особенно пытливо посмотрел на Маню.

— Позвольте представить,— затараторила Анна Ивановна,— хозяин здешнего дома, Алексей Александрович Муходавлев. Вот он самый жених и есть,— незаметно шепнула она на ухо Мане и Розалии Эдуардовне,— смотрите каков!

Весь вечер Алексей Александрович глаз не спускал с Мани, она ему, видимо, очень понравилась, и, когда они собирались домой, вызвался их проводить.

На другой день он явился к ним вечерком, под предлогом какого-то поручения от Анны Ивановны, и с этого дня стал все чаще и чаще навещать их.

У Мани был талант — замечательно искусно делать всякие безделушки из бисера, гаруса и шелка. Время от времени она брала заказы из одного магазина в Перинной линии, и эта работа давала ей порядочный заработок.

Алексей Александрович оказался страстным любителем всего этого вздора. Он по целым вечерам сидел, не спуская глаз с рук Мани, с детским любопытством следя, как из кусочков разной материи и моточков шелка из-под ее пальцев выходили разные безделушки. Особенно ему понравилась одна вещица для вытиранья перьев, представлявшая араба под шатром, и, когда Маня, смеясь, подарила ее ему, он пришел в настоящий детский восторг. В тот же вечер сделал ей предложение.

Маня, пораженная такой неожиданностью, не решилась сразу ничего ответить и попросила подождать; то же самое ответила и отцу с матерью, которым сватовство Муходавлева было, очевидно, очень приятно.

С этого дня Муходавлев начал бывать у них каждый день, и хотя Маня еще не сказала ему окончательного «да», но мало-помалу так привыкла к мысли о неизбежности этого брака, что стала глядеть на него как на жениха. Впрочем, сам Муходавлев не особенно торопил и терпеливо ждал решения Мани.

В таком положении было дело, когда я встретил их в Гостином дворе.

Зная, что Муходавлев должен прийти сегодня вечером, я решился остаться, мне хотелось поближе познакомиться с человеком, у которого приходилось теперь отбивать то, что в эту минуту я считал для себя дороже всего на свете, по крайней мере, тогда мне так казалось.

VII

Не успели мы, что называется, по душе наболтаться с Маней, как в маленькой прихожей раздался дребезжащий звонок, и через минуту в комнату, служившею Господинцевым и гостиной, и столовой, появился сам Алексей Александрович. Увидев меня, он как-то удивленно воззрился глазами, точно спрашивая: «А это что за птица, откуда?» Когда же он узнал мою фамилию, его, очевидно, покоробило. Я уже говорил, что он знал о наших дружеских отношениях с Маней, и теперь мое присутствие ему, видимо, было не по сердцу, однако он постарался не подать мне виду и с особенной любезностью протянул свою жилистую, сухую, как петушиная лапа, руку. Поздоровавшись с ним, я без церемонии стал его рассматривать. Теперь он показался мне еще курьезнее, чем на улице. Одет он был в черный, длиннополый сюртук, старинного фасона, сидевший на нем как-то нескладно, словно на покойнике; высокие, туго накрахмаленные воротники подпирали гладко выбритый подбородок. Как я уже говорил, ему было лет за сорок, если не под пятьдесят, волосы его значительно поредели, зачесывал он их по-старинному, на височки, и, очевидно, сильно красил. Держал он себя весьма степенно, говорил

чуть-чуть в нос, улыбался какой-то деревянной, деланной улыбкой. Очевидно, он кого-то копировал, по всей вероятности, кого-нибудь из своих бывших начальников. После получасовой беседы я убедился, что он страшно неразвит, почти не образован, но от природы не глуп, или, вернее, хитер, себе на уме.

Он несколько раз пробовал заговорить со мною, но, видя, что я упорно отмалчиваюсь, он оставил меня в покое и, небрежно развалясь на кресле, принялся с апломбом рассуждать по поводу волновавших тогда весь Петербург недоразумений в университете. В разговоре, несколько раз, он косвенным образом старался задеть меня, рассуждая на тему о непостоянстве и легкомыслии теперешней молодежи, о ее якобы огульной неблагонадежности и т. п. Видя, что разговор этот мало нас интересует, он перешел на свои личные дела, заговорил о службе, о своих планах, надеждах и предположениях. Николай Петрович и Розалия Эдуардовна слушали его с большим вниманием, мне показалось, что они даже заискивают перед ним. Это меня раздражило, и я нарочно довольно громко заговорил с Маней, сидевшей за самоваром, умышленно сосредоточивая разговор на воспоминаниях о наших летних прогулках.

— Помните, Мария Николаевна, как мы ездили с вами в Зоологический сад? Какая чудная ночь была, когда мы возвращались. Еще вы так интересовались, существуют ли люди на какой-нибудь из звезд, и если существуют, то такие ли они, как мы. Я еще сказал тогда вам, что мне иногда кажется, что после смерти нам откроется весь этот видимый, но неведомый мир, на что вы ответили: — Если бы знать наверно, что это так, это было бы утешением в смерти. Помните?

Как только я заговорил, Муходавлев тотчас же замолчал и насторожил уши, он пытливо взглянул на Маню, а когда та, почувствовав на себе его пристальный взгляд, слегка вспыхнула, он перевел глаза на Николая Петровича, точно спрашивая его: «Что, мол, это значит?» Я видел, что как отцу Мани, так и ее матери тема моего разговора была очень не по сердцу, но я нарочно продолжал, не обращая ни на кого внимания и обращаясь к одной Мане.

— А помните наши прогулки в Летнем саду, я еще недавно был там, знаете, нашу любимую скамейку снесли и переставили гораздо дальше, помните, там на повороте, у

разбитого дерева, еще мы его стариком звали. Знаете, теперь зимою, под вой ветра и вьюги, я особенно как-то люблю вспоминать эти дни.

— Воспоминания бывают приятны только тогда,— обратился вдруг ко мне Муходавлев,— когда в них не раскаиваешься.

— Вы из какой прописи это вычитали? — насмешливо прищурился я на него.

— Как из прописи, это не из прописи.

— А я думал из прописей, вы, я заметил, ужасный любитель прописных истин. Лень — мать пороков. Человек должен довольствоваться тем, что имеет, и т. п. Можно подумать, что вы или недавно со школьной скамьи, или занимаетесь преподаванием каллиграфии.

— Напрасно вы смеетесь, молодой человек, над прописными истинами, как вы их называете, не забудьте, что все эти изречения в большинстве случаев господ философов, людей гораздо умнее, чем мы, грешные.

— Я не спорю, что все эти истины выдуманы людьми умными, я говорю только, что в зубах всем навязли, так как давным-давно всеми дураками вызубрены.

Он злобно взглянул на меня, но смолчал и даже сделал вид, что не понял моего намека.

— Беда, как молодежь неосторожна в наши дни,— продолжал он,— иная молодая особа, по легкомыслию, позволит себе слишком уже близкое знакомство с каким-нибудь молодым человеком, а там, глядишь, и выйдет что-нибудь, а почему? — все от своеволия, не хотят старших слушать: мы, дескать, сами знаем, что и как делать, не учите нас; а что знают, дальше своего носу ничего, любой хлыщ надует. А там на всю жизнь горе да слезы. Так-то.

— Это правда,— угрюмо заметил Николай Петрович,— теперь дети не особенно-то слушают. Что говори, что нет. Умны уж очень стали.

Я нарочно взглянул на Маню, она сидела закусив губку и сурово наморщив брови, оборот разговора ей, очевидно, был не по сердцу. Видя, что я не возражаю, Муходавлев набрался духу.

— Вот бы хоть курсы взять; ну для чего женщинам курсы, только чтобы со студентами шляться. Это, видите ли, ухаживание называется, луна, звезды, соловей, лямур, поэзия. «Ты меня любишь?» — «Люблю!» Ангел, сокрови-

ще! чмок, чмок, а там глядишь — ангела и след простыл, слушает соловьев с другою. Нет, у кого честные цели, соловьев слушать не пойдет...

— А выберет себе жену, как цыган лошадь, осмотрит ее со всех сторон, нет ли какого изъяну, купит да и впряжет в работу. Вези, мол, зарабатывай гроши, что я за тебя дал. Так, что ли? — усмехнулся я.

— Шутить изволите, молодой человек,— зашипел Муходавлев,— так никто-с не поступает-с, всякий умный человек делает с разумом. Понравится ему девушка, обдумает он, может ли содержать жену, и годится ли она ему, пара ли, и если окажется пара,— то прямо за свадьбу без прогулочек-с, так-то-с.

— Ну а что вы называете парой? Интересно знать. Как, по-вашему,— пара это будет? Красивая, молодая девушка и старик лет пятьдесят, с лысиной, крашеный, весь на фланели, а?

— Это смотря как,— зашипел Муходавлев, задыхаясь от злости,— смотря по обстоятельствам, если у девушки за душой, кроме красоты, ничего нет, то пара.

— А, вот как. Но как вы полагаете, неужели старик, берущий такую девушку, думает, что она его будет любить?

— То есть что вы называете любить. Лямура, конечно, не будет, да и бог с ним, а любить, отчего же не любить. Должна же она чувствовать, что вот человек устроил ее судьбу, и беречь его за то.

— Штопать ему носки, варить обед, а на ночь уксусом растирать, да ведь это может и кухарка делать. Зачем же жена?

— Как зачем — подруга жизни.

— Да какая же она ему подруга жизни, когда ей, например, 22, а ему 50. Или вы держитесь того правила: «Люби не люби, а почаще взглядывай».

— Э, что вы понимаете в семейной жизни,— досадливо махнул он рукой,— поживите с мое, тогда поймете.

— Ну, уж если я доживу до ваших лет, то поверьте, что не буду жениться.

— Это почему?

— А потому что в ваши года не о свадьбе думать, а о духовном завещании, вы меня простите, я человек откровенный.

— Я это вижу,— криво усмехнулся он,— только напрас-

но так думаете, помните басню Крылова «Старик и трое молодых», как трое юношей смеялись над старцем, что сажает дерево на смерть глядя, ан вышло, что он же их всех троих пережил.

— Федор Федорович! — умоляюще шепнула мне Маня.— Ради бога перестаньте, смотрите, как папа сердится, бросьте.

Мне стало ее жаль, и я замолчал. Видя, что я не возражаю, Муходавлев успокоился и принялся снова ораторствовать о своем департаменте, а затем ловко перевел разговор и на свой дом. Он выложил перед нами все подробности: сколько он за него заплатил,— дом куплен был на деньги его первой жены при помощи каких-то особенно счастливых комбинаций, граничащих с мошенничеством,— сколько доходу он дает, какие выгоды от того или другого вида помещения и т. д. Очевидно, все это он говорил для меня: «Вот, дескать, я каков, а у тебя что есть — шиш. А тоже рассуждаешь!»

Ко мне весь остальной вечер Муходавлев относился сдержанно, но крайне холодно и уже больше не обращался ни с какими разговорами. Только раз, когда с чиновничьим благоговением упомянул он имя одного высокопоставленного лица, а я при этом лаконически вставил далеко не лестный эпитет, относящийся до этого лица, он язвительно обратился ко мне:

— А позвольте спросить, почему вы такого мнения о сем достойнейшем господине, разве он вам знаком?

— Я думаю, больше, чем вам, я у него иногда бываю в доме, ведь это же мой дядя.

— Ваш дядя? — воскликнул Муходавлев, и, несмотря на явную антипатию ко мне, вся его фигура изобразила вдруг совершенно машинально в силу рефлекса глубокое подобострастие.— Я и не думал!

— Что же это вас удивляет? — усмехнулся я.— У меня не он один, вы знаете Z?

— Еще бы, помилуйте, не знать такое лицо, да его вся Россия знает,— всплеснул он руками.

— Ну Россия не Россия, а в Петербурге, пожалуй, знают, ну так вот жена его, рожденная Чуева, сестра моего отца.

— Сестра вашего отца?! — воскликнул Муходавлев.— И при таком родстве вы не служите!!! Боже мой, да дайте

мне такое родство, я бы давно из столоначальников прямо в директора попал!

Я молча пожал плечами.

— Всякий устраивает свое счастье по-своему,— усмехнулся я,— мы с вами друг друга не поймем, потому я вам и объяснять не буду, почему я не служу.

Этот ответ уязвил его, и он снова тотчас же перешел в тот тон, какого держался со мною доселе, но я видел, что открытие во мне родственника Z, имевшего большое влияние в министерстве, где служил Муходавлев, значительно обескуражило его, ясно даже показалось, что он как бы стал остерегаться меня, взвешивать каждое слово. Уж не боялся ли он, что я донесу на него?

Было уже порядочно поздно, когда Алексей Александрович, взглянув на свои золотые часы, начал собираться домой. Он несколько раз повторял: «А я сегодня засиделся, пора, пора, давно пора, у меня еще и дело есть, две-три бумажонки не кончены, завтра чуть свет вставать придется!», но сам не уходил. Очевидно, он ждал, что я тоже соберусь уходить, и хотел уйти после, но я нарочно, как будто не понимая, в чем дело, сидел себе и вполголоса болтал о чем-то с Маней. Потеряв надежду пересидеть меня, Муходавлев наконец не вытерпел, встал и стал прощаться.

— Мне надо бы было кое-что сказать вам, Мария Николаевна,— начал он,— но сегодня это неудобно, я уже другой раз, без посторонних лиц,— он сделал особенное ударение на этих словах,— скажу вам, а до тех пор позвольте вашу ручку.— Он особенно нежно пожал руку Мани и несколько раз поцеловал ее немного выше кисти.

— Ну а вы, молодой человек,— заискивающе-шутливым тоном обратился он ко мне,— конечно, со мною? вместе и поплывем, знаете пословицу: «Дорога вдвоем — полдороги»!

— Нет, благодарю вас, я еще посижу с полчасика,— невозмутимо спокойно ответил я,— мне тоже надо сказать пару слов Марии Николаевне и тоже без посторонних свидетелей.

Надо было видеть выражение его лица, он сразу как-то весь позеленел и сморщился, точно уксусу лизнул.

— Интересно знать, какие могут быть у вас секреты с чужою невестою, милостивый государь,— зашипел он, впиваясь в меня своими злыми глазами.

— Какою невестою,— удивился я,— о какой невесте вы говорите?

— О моей невесте, Марии Николаевне Господинцевой, которой я уже сделал предложение и которую надеюсь скоро назвать своей женой, а потому по праву жениха требую от вас оставить мою невесту в покое и не утруждать ее вашими секретами, которых ей вовсе и знать не надо.

При этих словах я почувствовал, как вся кровь хлынула мне в голову. Я готов был отвечать ему дерзостями, но в эту минуту в спор вступила сама Маня. С достоинством поднявшись с своего места, она холодно смерила Муходавлева с ног до головы своим лучистым взглядом и спокойно сказала:

— Алексей Александрович, вы забываете, что я еще вам не сказала своего окончательного решения, а до тех пор я свободна и никаких прав над собою не признаю, я охотно выслушаю завтра все, что вы имеете мне сказать, а теперь я бы просила вас не ссориться с одним из моих лучших друзей, с которым мы знакомы чуть ли не с детства, а вас, Федор Федорович,— прибавила она шутливо,— прошу не бунтовать у меня, сегодня поздно, поезжайте домой, мы после поговорим.

Эта речь сразу утихомирила Муходавлева, он даже постарался улыбнуться.

— Покоряюсь,— шутливо воскликнул он,— недаром французы давно уже сказали: «Чего женщина хочет — бог хочет!»

— Когда мы увидимся? — шепнул я Мане на ухо, пока Муходавлев, провожаемый ее родителями, выбирался на лестницу.

— Зачем нам видеться? — спросила она, грустно взглянув мне в лицо.

— Так надо,— нетерпеливо топнул я ногой,— говорите скорей когда, иначе я того натворю, чего вы и не думаете.

— Ну, хорошо, не волнуйтесь. Завтра я утром поеду к сестре.

— В котором часу?

— Да часов около двенадцати.

— Хорошо же, я буду ждать вас тут на углу, подле будки, я с вами поеду, смотрите же — приходите, а пока в задаток...

И раньше чем она успела опомниться, я крепко обнял ее и порывисто поцеловал в самые губы. Она с испугом отскочила от меня.

— Что вы делаете, вы забываете, что я почти невеста другого.

— Никогда вы ничьей невестой, кроме моей, не будете, хотя бы мне для этого пришлось свернуть шею четырем Муходавлевым, помните это, а пока прощайте, до завтра.

Накинув пальто, я поспешно выскочил на лестницу. Николай Петрович, с лампой, стоял на верхней площадке лестницы и светил спускавшемуся Муходавлеву. Розалия Эдуардовна стояла подле и приветливо ему кланялась. Со мною оба они простились очень холодно, очевидно, они были крайне недовольны моим поведением, но мне это было безразлично.

Выйдя на улицу, я увидел Муходавлева, он стоял в нескольких шагах, очевидно поджидая меня.

— Послушайте,— заговорил он каким-то сдавленным голосом,— что вам от нас надо, зачем вы мешаетесь в это дело?

— В какое дело? — холодно спросил я, останавливаясь против него и в упор глядя ему в лицо.

— В дело моей свадьбы. Я хочу жениться на Марии Николаевне...

— Но вы не женитесь,— перебил я его.

— Почему, кто мне может помешать?

— Я. Вы не женитесь, потому что я женюсь на ней, поняли теперь?

— Как не понять, но поймите и вы, что я этого не допущу, мне родители ее дали согласие, и она сама почти согласна, я уже разрешение начальства о вступлении в брак исходатайствовал и кое-кому из товарищей сказал, да я теперь из одного сраму не отступлюсь, нет, вы эти пустяки бросьте, не думайте, что Муходавлев из тех, что позволят вертеть собою, у меня, батенька, хохлацкое упрямство, и уже что я раз решил, так и будет, хоть лоб разобью, а на своем поставлю. Думайте обо мне, что вам угодно, но я предупреждаю вас, что если вы не отстанете, то я попросту, без затей, переломаю вам ребра, слава богу, силы хватит.

— Увидим,— произнес я, медленно отчеканивая каждое слово,— но помните одно, что я тоже не остановлюсь ни перед чем, хотя бы и этим.— Говоря это, я вынул из

кармана маленький револьвер Лефоше и слегка щелкнул курком. Зловеще блеснула при лунном свете вороненая сталь дула. Муходавлев побледнел как полотно и как ужаленный отскочил от меня шагов на пять.

«Трус,— мелькнуло у меня в голове,— это хорошо».

— Милостивый государь,— бормотал окончательно перетрусивший Муходавлев,— вы просто того... разбойничаете... как же вы так это смеете... я жаловаться буду... это ведь значит покушение на жизнь человеческую... за это ведь суду предают... я завтра же градоначальнику донесу на вас.

— Можете,— холодно ответил я,— но помните одно, если Мария Николаевна будет вашей женой, я пущу вам пулю в лоб, а потом и себе, мне все равно без нее не жить, а ей этим я услугу окажу, овдовев, она будет со средствами и может выйти по любви. Видите, как все это просто.— Я говорил так спокойно, точно дело шло о какой-нибудь самой обыкновенной вещи. Хотя Муходавлев и оказался трусом, но тем не менее не настолько глупым, чтобы его было так легко запугать. Когда первое впечатление испуга прошло, он злобно усмехнулся:

— Напрасно вы так думаете, что это так просто, поверьте — я не баран, что позволю себя зарезать, меня не напугаете, и от своего решения я не отступлюсь, чем бы вы мне ни угрожали, а теперь прошу вас идти своей дорогой, а не то я позову полицию и вас арестуют, как носящего оружие. Прощайте.

— Прощайте, но помните, все, что я говорил, не одни пустые угрозы.

— Ладно, ладно, увидим.

Сказав это, он перешел на другую сторону и быстро зашагал от меня прочь, бормоча что-то себе под нос.

Я всю ночь не мог заснуть. Если бы вчера кто-нибудь спросил меня, люблю ли я Маню настолько, чтобы жениться на ней, я бы затруднился ответом, но теперь я просто весь сгорал от безумной страсти. По крайней мере, мне так казалось. При одной мысли, что она может быть женой Муходавлева, который по праву мужа запретит ей видеться со мною, и я таким образом навеки потеряю ее, меня бросало в холод. Я вскакивал с постели и в темноте принимался ходить из угла в угол, сжимая кулаки.

— Ни за что,— шептал я,— ни за что, лучше умереть.

Мне тогда и в голову не приходило, что мое решение

жениться на Мане вытекало не столько из любви к ней, сколько из чувства уязвленного самолюбия, упрямства и страстного желания поставить на своем. Мне не столько важно было, хотя я сам этого не замечал, чтобы Маня была моей женой, сколько то, чтобы она не была женой Muходавлева.

«Как? — думал я.— Чтобы меня предпочли какому-нибудь чинушке, чтобы он смел пренебрежительно смотреть на меня... никогда». Если бы Муходавлев не был богат, я уверен, что мне бы и в голову не пришло так волноваться. Будь он какой-нибудь несчастный канцелярист, бьющийся на одном жалованье, я — кто знает, может быть, даже и не подумал расстраивать свадьбу, уступил бы ему Маню, ну взгрустнул бы немного — и только; в том-то и был весь вопрос, что с точки зрения житейской мудрости, это я сам в душе сознавал, Муходавлев был несравненно лучший жених для Мани, чем я. Я видел предпочтение, которое отдавали ему родители Мани, да и всякий бы на их месте, и вот это-то меня главным образом и выводило из себя и заставляло приходить в исступление.

На другой день ровно в 12 часов я уже стоял со своим лихачом на углу улицы, где жила Маня. Мне не пришлось долго ждать. Вот отворилась знакомая калитка, и показалась стройная фигурка Мани в шубке, обшитой седым плюшем, и в такой же шапочке, сдвинутой слегка набекрень. Она шла торопливо по замерзлому тротуару, оглядываясь во все стороны. Увидев меня, она прибавила шагу и, вся запыхавшись почти, подбежала ко мне.

— Вы давно меня ждете? — спросила она, ласково пожимая мою руку.— Я думаю, замерзли?

— Ничего. Садитесь скорей, и едемте.

Я посадил ее в сани, вскочил рядом и слегка обнял ее за талию.

Меньше чем в полчаса лихой рысак домчал нас до дома, где жили Красенские. Всю дорогу мы молчали, оставляя всякие объяснения до приезда к сестре Мани. Там нам никто не мог помешать. Сам Красенский был до 4 часов на службе, а жена его — сестра Мани, тотчас же заметив, что она лишняя, под каким-то предлогом куда-то ушла, оставив нас таким образом вдвоем одних в квартире.

— Мария Николаевна,— решительно начал я, когда мы

остались одни,— выбирайте из нас двоих — меня или этого осла Муходавлева.

Она молчала.

— Мария Николаевна, неужели вы колеблетесь? Ведь если вы меня, может быть, не любите так, как бы следовало любить жениха, то Блоходавлева этого и подавно; ведь мало того, что он стар, глуп и урод, он к тому же и зол, вы погубите себя, выйдя замуж за такого идола... Боже мой, неужели вас прельщает его богатство, но ведь и у меня же есть свой капитал, да наконец, если я женюсь, я тотчас же поступлю на должность... что же вы молчите? Что вас удерживает?

— Боязнь.

— Чего?

— Я скажу вам откровенно, я боюсь, что теперешнее ваше решение — минутная вспышка, каприз, своего рода упрямство... подумайте, женитьба не шутка, к тому же вы знаете, что нам, может быть, придется сильно нуждаться, я не за себя боюсь, я с детства, кроме нужды, ничего не видела, а вы избалованы жизнью, привыкли жить широко. Вынесете ли вы, не будете ли вы раскаиваться после и меня же упрекать, что я связала вас, испортила вашу жизнь?

— Скажите проще,— язвительно отвечал я,— что вам очень нравится дом г-на Клоподавлева, в таком случае прощайте, не поминайте лихом. Желаю вам всякого счастья.

Я повернулся и хотел идти. Маня встала и удержала меня за руку.

— И вам не стыдно,— воскликнула она, и слезы заблестели на ее глазах,— вам не стыдно говорить так, неужели вы меня не знаете, что можете думать, будто я такая корыстолюбивая? — Она заплакала.

— Маня, ангел, прости, но ты видишь, как я страдаю, пойми, что я жить без тебя не могу, что если ты откажешь мне, то я, как Филипп (Филипп был наш знакомый, о котором я скажу в свое время), или сопьюсь, или размозжу себе череп.

Она вздрогнула и, слегка побледнев, зажала мне рукою рот.

— Не говори так, даже слушать страшно, хорошо — я согласна, но помни, Федя, если тобою руководит не одна только любовь ко мне, а еще какое-нибудь постороннее чувство, ты губишь и себя, и меня. Если ты когда-нибудь

будешь обижать или попрекать меня — это будет подло, и тебя бог накажет.

Вместо ответа я страстно обнял ее и принялся осыпать горячими поцелуями ее зардевшееся личико.

— Ну а как же Муходавлев,— спросил я, когда мы снова уселись с нею на диван,— хочешь, я поговорю с ним.

— Зачем тебе,— гордо подняла она свою хорошенькую головку,— раз я дала тебе согласие, я сумею сама отказать ему, а также и отцу с матерью сумею что сказать. Ты только люби меня, помни, что, если ты когда-нибудь изменишь мне — я умру. Знай это.

При этих словах она вдруг как-то вся затуманилась и побледнела.

— Полно, глупая, какие мысли,— поспешил я рассеять набежавшее облачко,— никогда этого не будет.

— Дай бог.

В эту минуту вернулась Любовь Николаевна. Мы тотчас же сообщили ей о нашем решении. Она ласково засмеялась.

— Я так и думала, что этим кончится, признаться, мне никогда не верилось, чтобы ты, Маня, стала мадам Муходавлева,— сказала она, крепко целуя сестру,— да и какой он муж, я бы за него, будь он хоть весь из золота,— ни за что бы не пошла.

Весь этот день я был неизъяснимо счастлив. Как предыдущую ночь я не мог заснуть от волнения и беспокойства, так теперь я долго не мог заснуть от радости. Но в разгаре самых приятных дум о своей будущей жизни, вдруг неожиданно, бог весть откуда, налетела на меня дикая мысль; во мне вдруг шевельнулось не то сожаление, не то раскаяние, не то какой-то страх перед будущим.

«Уж не отступиться ли мне, пусть выходит себе за своего Муходавлева, а мне и так хорошо»,— мелькнула у меня мысль, и одновременно с этим мне стало вдруг словно бы досадно на Маню за то, что она так скоро согласилась на мое предложение. Обрадовалась, подумал я, хочется замуж выскочить, за кого бы ни было, лишь бы в девах не остаться.

Но в эту минуту я сам устыдился своих мыслей. В глазах моих как живая стала Маня, такою, какой была она сегодня утром, и в душу мне заглянули ее чистые, добрые, прекрасные глаза.

— Милая, дорогая,— шепнул я про себя,— прости меня, мой ангел.— На этом я заснул.

Впрочем, желание гоголевского жениха выпрыгнуть в окно преследовало меня вплоть до той минуты, когда священник в последний раз благословил нас, поздравил с совершением бракосочетания и я понял, что уже связан навеки и никакое окно не выручит. Странное дело, но я отлично помню, в первый раз мысль, что только смертью одного из нас другой может купить себе свободу, пришла мне именно в эту минуту, в минуту — когда я, по-видимому, был на верху блаженства, достигнув своего желания, и, как казалось всем и мне самому, безумно обожал свою жену.

Сердце человеческое — полно противоречий, и кто может проследить или объяснить все его изгибы.

Было довольно поздно, когда на другой день, проведя с Маней у Красенских предыдущий, я довез ее до ее дома в Чекушах. Сначала у нас был план, что я тотчас же вместе с нею войду в квартиру и буду просить ее руки, но потом она почему-то раздумала и нашла лучшим, если я приеду завтра утром. Мне кажется, что в этом решении ею руководило желание объясниться сначала с Муходавлевым, которого она рассчитывала встретить у себя с глазу на глаз. Предположения ее сбылись: не успела она войти в переднюю, как услыхала уже его монотонный, гнусливый голос. Увидя Маню, Муходавлев как-то особенно подозрительно и неприязненно глянул на нее, но тотчас же поспешил слащаво улыбнуться и, слегка поднявшись в кресле, воскликнул:

— А вот и наша беглянка, а я думал, что она совсем пропала.

Маня, поздоровавшись с отцом и матерью, холодно протянула ему руку.

— Я, Марья Николаевна, по пословице: «Долг платежом красен», сегодня вам свой старый должок приехал отдать,— рассыпался между тем Муходавлев.

— Какой должок? — удивилась Маня.

— А помните вашу игрушку, араба под шатром, что вы мне подарили, а теперь я вам взамен другую привез, только уж не своей работы, так как я не такой искусник, как вы, извольте получить.— Говоря так, он протянул ей футлярчик, на бархатной подушечке которого сверкал и блестел изящный браслет с брильянтовым якорем посередине. Вещь была дорога, и, если бы не желание сокрушить препятст-

вие, возникшее в моем лице, Муходавлев никогда бы не решился на такой подарок. Он думал, должно быть, ослепить Маню, но та даже не взглянула на браслет и, отодвинув его от себя, холодно произнесла:

— Напрасно беспокоились, я не могу принять такой дорогой подарок от постороннего лица.

— Как постороннего лица,— шутливо изумленным голосом воскликнул Муходавлев,— давно ли жених считается лицом посторонним.

— Я сама знаю, что жених не постороннее лицо, и охотно приму от него какой угодно подарок, доказательством того брошка, надетая на мне, эту брошку я получила от своего жениха, Федора Федоровича Чуева, и хотя она не такая дорогая, как ваш браслет, но зато памятная, эта брошка его покойной матери, а главное, получена она от человека, которого я люблю и буду любить.

— Николай Петрович! Розалия Эдуардовна! — воскликнул Муходавлев, задыхаясь от злости.— Что же это такое? ведь вы мне только что сказали... ведь между нами все решено... даже день назначен... как же это... хоть вы повлияйте, это сумасбродство.

— Маня,— строго начал Николай Петрович,— выкинь дурь из головы, помни, Федор Федорович тебе не жених.

— Почему?

— Долго объяснять. Должна бы и сама понимать, он тебе не пара ни по воспитанию, ни по характеру, ты с ним пропадешь.

— Да почему же, наконец, я не понимаю.

— Очень просто почему, у него такой характер, что он через месяц бросит тебя, будь уверена. Слушайся моего совета, выходи замуж за Алексея Александровича, он человек серьезный, солидный, будет беречь тебя, на других не променяет.

Розалия Эдуардовна ничего не говорила, но по выражению ее лица Маня видела, как страстно хотелось ей, чтобы она переменила свое решение.

— Да и нас, стариков, утешишь,— продолжал Господинцев,— я уже стар, руки от работы отказываются, того и гляди, что не сегодня-завтра придется совсем всякую службу бросить, куда мы тогда пойдем со старухой, подумай-ка об этом, на улицу только и остается, а уж Алексей бы Алек-

сандрович нас не выдал бы, как-никак приютил бы, правду я говорю, Алексей Александрович?

— Об этом и речи не может быть,— поспешил подтвердить Муходавлев,— как только свадьбу справим, вы, Николай Петрович, тотчас же в мой дом переезжайте, я вам квартирку дам, а вы мне домом управлять поможете, вот и будем поживать друг другу на пользу!

— Слышишь, Маня, пожалей стариков,— голос его дрогнул.

Маня стояла, потупив голову, смущенная и растерянная, она никак не ожидала подобного оборота, она ожидала бури и храбро готовилась выдержать ее, но случилось нечто другое: вместо того, чтобы сердиться и требовать, отец ее умолял кротко и ласково пожалеть его старость. «В самом деле,— мелькнуло в ее уме,— старик уже стар (Николаю Петровичу было 68 лет), случись что, куда он денется?» Она заколебалась, и... кто знает, чем бы это все кончилось, если бы не сам Муходавлев, сразу и окончательно все испортивший. Видя, что Маня колеблется, он быстро шагнул к ней, взял ее за руку, обнял и, поцеловав в самые губы, торжествующе воскликнул:

— Что тут долго думать, Мария Николаевна согласна, благословляйте-ка нас, папаша, а тому вертуну, если придет, мы теперь сумеем показать от ворот поворот.

Это нахальство вывело из себя Маню; сильным движением оттолкнула она его от себя и задыхающимся голосом воскликнула:

— Подите прочь, как вы смеете так обращаться со мною, после этого я вам прямо скажу, что вы нахал, и больше ничего, а вы, папаша,— обратилась она к отцу,— что хотите про меня думайте, пусть я буду, по-вашему, эгоистка и капризная, и злая, и бессердечная, словом, хуже всех, но я ни за какие блага не откажусь от Феди. Так вы и знайте.— Сказав это, она быстро вышла из комнаты и, хлопнув дверью, заперлась у себя в спальне.

Муходавлев несколько минут стоял в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу, и, сказав наконец: «Я еще зайду завтра утром»,— ушел. По уходе Муходавлева, Николай Петрович более часу ходил взад и вперед по горенке и наконец постучался к Мане.

— Слушай, Маня,— начал он, усаживаясь против нее

на стул,— ты окончательно решила отказать Муходавлеву и выйти за Чуева?

— Окончательно.

— Гм... а если я тебе не позволю?

— Простите, папа, но я все-таки выйду замуж за Федю, а не за другого, мне уже 22 года, и я давно совершеннолетняя.

— Гм... это я знаю. А как ты думаешь, отцовское благословение ничего не стоит, а?

Вместо ответа Маня в свою очередь спросила:

— Отчего, папаша, вы так вооружены против Феди и не хотите согласиться на наш брак?

— Потому, что твой Федя вертопрах, кутила, избалованный, у него на дню семь пятниц... сегодня любит, завтра разлюбит, а послезавтра или совсем выгонит, или сам уйдет.

— Неправда, он вовсе не такой, каким вы его рисуете, он прежде всего добрый и честный, а что если он теперь кутит, так ему другого и делать нечего, а когда он женится, вы все его не узнаете.

— Уж не ты ли его исправишь? — усмехнулся Господинцев.— Эх, дочка, не по плечу ношу берешь, поверь моей опытности, кто раз с пути сбился, тому дороги не найти, все равно что Филипп, уж чего, чего с ним ни делали, а как пошел, так и кончил.

— Вот для того, чтобы с Федей не случилось того же, что с Филиппом, я главным образом и выхожу за него замуж, я сама боюсь, если он будет продолжать вести такую жизнь, как ведет,— он погибнет.

— А теперь ты пропадешь. Ну да, видно, тебя не урезонишь, делай как знаешь, помогай тебе бог, а только еще раз скажу, лучше бы было, если бы ты за Алексея Александровича пошла, поверь отцу — худого не посоветует.— Он встал и собрался уйти, но медленно, ожидая ответа. Маня, молча, отрицательно покачала головой. Старик с минуту постоял перед нею, вздохнул и, понурясь, вышел из комнаты.

— Ступай, мать, может, ты ее урезонишь,— шепнул он жене. Та покорно пошла к Мане, но вместо того, чтобы уговаривать ее, порывисто обняла ее голову и зарыдала.

— Что вы, мамаша, точно покойницу меня оплакиваете,— с досадой воскликнула Маня, отводя ее руки от своей

головы,— неужели вы думаете, я так уж глупа, что не могу сама понимать, что для меня лучше, что хуже.

— Маня, не сердись,— ласково прошептала старуха,— но чует мое сердце, ты будешь несчастлива.

Маня вспыхнула, хотела ответить, но удержалась.

Всю ночь не спала Маня и все думала. Потом она мне сама созналась, что с того самого момента, как я в объяснении с нею напомнил ей о Филиппе, мысль о нем не покидала ее. Какой-то внутренний голос говорил ей, что, если она теперь отвернется от меня, со мною случится то же, что и с ним.

VIII

«Филипп», как попросту звали его все знакомые во дни его падения, или Филипп Ардальонович Щегро-Заренский, как величался он в те счастливые для себя дни, когда на стройной, гибкой фигуре его красовался изящный мундир одного из блестящих полков, происходил из аристократической семьи.

Отец его был действительный тайный советник, сенатор, занимал несколько почетных и видных должностей, дававших ему огромное содержание. Он умер в тот самый год, когда Филипп, окончив курс в одном из высших военно-учебных заведений, вышел в кавалерию. После смерти отца Филипп получил большое состояние, и так как старик при жизни держал его довольно строго, скупо выдавая ему на самое необходимое, то он, как вырвавшийся на волю школьник, пустился в отчаянный кутеж. Он был очень красив собой, высокого роста, стройный, с большими черными глазами и слегка вьющимися волосами, цвета воронова крыла, смуглый, с румянцем во всю щеку и маленькими усиками стрелкой. Женщины были от него без ума, и женщины же его погубили.

На третий же год по выходе в полк Филипп случайно встретился в Павловске, на музыке, с одной особой. Это была жена какого-то военного доктора, недавно переведенного в Петербург, и, как говорят, замечательно красивая собою, но особа с наклонностями акулы. Филипп по уши влюбился в эту особу, та отвечала ему тем же. Почти год продолжалась их связь и велась так скрытно, что никто и

не подозревал и меньше всех муж,— Филипп был на верху блаженства. Однажды офицеры играли в карты в зале своего полкового клуба. Филипп был тут же. Вдруг в залу входит муж его пассии. Надо заметить, что это был мужчина колоссального роста и из себя богатырь. Увидев между играющими Филиппа, он поспешно подошел к нему.

— Филипп Ардальонович,— начал он своим громким, раскатистым басом,— мне бы надо вас кое о чем спросить.

— К вашим услугам,— поднялся Филипп, инстинктивно догадываясь, что доктор пришел неспроста. Товарищи офицеры с любопытством окружили их.

— Я пришел спросить вас, как честного, порядочного офицера,— продолжал доктор тем же ровным и спокойным басом,— в связи вы с моей женою или нет?

— На это я вам не могу ответить,— покачал головой Филипп.

— Почему?

— Потому, что на такие вопросы не отвечают, если же вы считаете себя оскорбленным, я к вашим услугам.

— Так, стало быть, вы не желаете отвечать.

— Нет.

— Первый раз спрашиваю: ответите вы на мой вопрос или нет?

Филипп покачал головой.

— Второй раз?!

Тот же жест со стороны Филиппа.

— Третий и последний. В таком случае, вот же тебе, блудливый мальчишка! — и, раньше чем кто успел опомниться, в зале раздался хлеск звонкой пощечины. Удар был так силен, что Филипп едва устоял, толкнувшись спиною и головой о противоположную стену. Он так растерялся, что пришел в себя только после того, как доктор вышел из комнаты.

На другой же день Филипп должен был подать об увольнении из полка, он послал к доктору вызов, но тот отвечал: я не идиот, чтобы подставлять свой лоб под пулю — и не пошел.

Филипп покинул Петербург. Его любовница, жена доктора, последовала за ним, доктор тем временем затеял бракоразводный процесс против своей жены. Вот тут-то и сказались ее волчьи инстинкты. Сознавая, что муж наверно выиграет процесс и таким образом она останется ни с чем,

хитрая женщина начала высасывать из Филиппа все, что можно. Она увезла его за границу и целых два года как присосавшаяся пиявка не отставала от него, пока он наконец, измученный нравственно, почти без гроша денег бежал от нее, оставив ее в Париже.

На беду, у него случилась какая-то история, довольно грязная, дошедшая до сведения русского консула. Из аристократических родственников и знакомых Филиппа никто уже не пожелал принимать его у себя; с год побился бедняга, тщетно стараясь пристроиться к какому-нибудь делу, наконец не выдержал, махнул на все рукой и запил.

Я знавал его, когда он еще юнкером изредка приезжал к моей бабушке, потом я несколько раз видел его офицером, в последний раз мы с ним встретились после выхода его из полка, а затем года три мы не встречались, я даже не знал, где он пропадает, да, признаться, и не думал о нем.

Однажды мы шли с Маней по улице, это было во время нашего первого знакомства с нею, я был еще юнкером, вдруг, шагах в двадцати от нас, с треском распахнулась дверь какой-то портерной, и из нее на тротуар стремительно вылетел, очевидно вытолкнутый, субъект в поношенном летнем пальто, дело было зимой, помнится на Рождестве, в стоптанных сапожонках, из которых выглядывали пальцы босой ноги, и в смятом в блин котелке. С трудом сохранив равновесие, субъект громко и энергически выругался и хотел идти далее, как вдруг взор его мутных, покрасневших и слезящихся глаз остановился на мне. С минуту он пристально разглядывал меня, причем мне его лицо показалось тоже как будто знакомым,— и вдруг всплеснул руками. Его распухшее, покрытое синяками и преждевременными морщинами лицо осклабилось в широкую улыбку.

— A mon petit anqe*,— закричал он,— какими судьбами!

— Филипп Ардальонович,— воскликнул я,— вас ли я вижу?

— Я, я сам лично, а что, разве очень изменился,— он криво усмехнулся.— Кстати, так как мне с вами, собственно, не о чем говорить, то вот что, в знак признательности судьбе за ниспосланное удовольствие встречи со старым другом, не одолжите ли вы мне взаймы, без отдачи, разумеется, пару рубликов, а то, признаюсь, я сегодня еще

* мой ангелочек *(франц.)*.

и не ел, хотя уже выпил. Был гривенник, вчера на дровяном дворе дрова колол, четвертачок дали, но что четвертачок для человека, спустившего сотню тысяч.

Я поспешил вынуть портмоне. У меня в ту минуту как раз были две бумажки, рублевая и десятирублевая. Посовестившись предложить ему рубль, я подал ему десятирублевку.

— А помельче нет,— усмехнулся он тою же не то страдающей, не то саркастической болезненной улыбкой,— у меня ведь сдачи не водится.

— Да и не надо, берите все,— поспешил сказать я.

— Ого, вы щедры, дядя мой на прошлой неделе всего только двугривенный дал, да еще обещал из Петербурга через полицию выслать, если я еще раз попадусь к нему на глаза, вы не в пример щедрее его, но я вам скажу словами Менелая: «Ты, Агамемнон, щедр, но я великодушен», а посему берите-ка назад вашу красницу, а дайте-ка мне вот ту желтушку, что у вас в кошельке осталась, я ведь все равно пропью, что рубль, что сотню.

Сказав это, он взял из рук моих портмоне, собственноручно вложил туда десятирублевку, а рублевку, вынув, спрятал в карман, а портмоне передал обратно мне.

— C'est-ca,— сказал он,— теперь au revoir, mille pardon*.

— Он слегка поднял свой раздробленный котелок, поклонился и быстро зашагал прочь, насвистывая какую-то арию.

— Кто это? — спросила меня Маня, все время с каким-то ужасом рассматривая Филиппа. Я рассказал ей все, что знал о нем.

— Бедный, бедный,— прошептала она, и я заметил на ее глазах блеснувшую слезинку,— неужели его нельзя спасти?

— Поздно,— пожал я плечами.

— А я думаю, не поздно, если бы нашелся человек, который бы искренно его полюбил и взялся за это со всею любовью,— я уверена, он бы поправился. Он, кажется, очень добрый, и у него не все еще заглохло, я это заметила по его глазам.

---

* До свидания, тысяча извинений *(франц.)*.

Когда я вышел из полка и поселился в меблированных комнатах няни, Филипп как-то разыскал меня и пришел. Няня накормила его, и с тех пор он иногда приходил к нам. Придет, бывало, по черной лестнице в кухню, скромно сядет на табуретке у окна и терпеливо ждет, пока няня моя не соберет ему чего-нибудь поесть. Я несколько раз звал его в свою комнату, но он упорно отказывался. В противоположность всем пропойцам, которые, как известно, весьма болтливы и любят отпускать плоские шутки, Филипп был очень сдержан и молчалив. Когда кто из посторонних выходил в кухню, он конфузился, вставал и делал попытку уйти. Я знаю, Мане ужасно хотелось заговорить с ним как-нибудь, она раза два покушалась на это, нарочно под каким-либо предлогом выходя на кухню, когда приходил Филипп, но он, очевидно, избегал всяких разговоров. Бедняга, как он боялся проявления всякого участия к его особе.

— Лучше пусть меня побьют, чем жалеют,— сказал он мне как-то,— нет обиды горшей, как это проклятое, так называемое человеческое сочувствие.

Однажды, это было незадолго до нашего выезда из квартиры, Филипп пришел к нам, когда никого из нас не было дома. Няня ушла в церковь ко всенощной, Красенские были в гостях, я тоже куда-то исчез, в квартире оставались одна Маня и кухарка, да еще кое-кто из жильцов, но тех мы за своих не считали.

Кухарка, которая терпеть не могла Филиппа, хотела уже было его вытурить, обругав шатуном и шаромыжником, но, на его счастье, вышла Маня.

Видно, бедняга был уже очень голоден, что вопреки своему обычаю решился заговорить с нею и попросить позволения остаться до прихода кого-нибудь, меня или няни. Нечего и говорить, что Маня тотчас же взяла его под свое покровительство. Не знаю, как удалось ей уговорить его пойти к ним в комнаты, где она первым долгом напоила его чаем, накормила остатками обеда, послала кухарку ему за водкой и за булками, словом, приняла его как самого дорогого гостя.

Возвратясь домой, я, не зная о присутствии Филиппа, прошел в свою комнату, но не успел я как следует расположиться, как до слуха моего долетел тихий говор и сдерживаемые рыдания. Я прислушался, кто-то, очевидно что-то рассказывая, плакал.

«Кто бы это мог быть у Мани?» — подумал я и уже хотел идти спросить кухарку, как в коридоре раздались тяжелые шаги, я выглянул в дверь и увидел Филиппа; он шел понуря голову, по щекам его текли слезы.

— Филипп Ардальонович,— воскликнул я,— это вы?

Увидев меня, он вздрогнул, постарался улыбнуться, как-то торопливо пожал мне руку и почти бегом пустился от меня прочь. Когда я вышел следом за ним в кухню, его след простыл. Я подошел к Мане. Она сидела боком на диване, уткнувшись головой в вышитую подушечку, и плакала.

— Что это тут у вас,— спросил я,— вы плачете, у того оболтуса вся рожа мокрая, какое такое горе приключилось?

— Нехорошо, Федор Федорович, смеяться над такими вещами, грех,— серьезным голосом сказала Маня,— не смеяться, а жалеть надо, если бы вы знали, как несчастлив этот человек.

— Несчастлив — повесься, а то с моста в Неву — вот и несчастью конец.

Маня с упреком взглянула на меня и укоризненно покачала головою.

— Зачем вы хотите казаться злее, чем вы есть, я знаю, что вы сами его жалеете не меньше меня.

— Значит, меньше, если не хнычу над ним,— буркнул я и пошел в свою комнату, оставив Маню одну.

Этот приход Филиппа был последний. Месяца полтора спустя он в припадке белой горячки перерезал себе горло бритвой, бритва была тупая, вся иззубренная, и бедняга, раньше чем умереть, долго промучался. Он умер в Обуховской больнице, всеми брошенный и забытый. Впрочем, как только он умер, дядя его, узнав о его смерти, прислал в больницу своего секретаря, который и распоряжался похоронами. Похороны были вполне приличные, даже, можно сказать, пышные: четверка лошадей, дроги под балдахином, певчие, словом, все как подобает при погребении тела одного из представителей рода Щегро-Заренских. Покойнику простили то, что не прощали живому, и в знак полного примирения с ним на его могиле весною дядя поставил дорогой мраморный памятник.

Похороны Филиппа совпали как раз со днем переезда

Красенских от нас, и мы с Маней ходили смотреть, как его везли на Волковское кладбище.

Когда пышный катафалк, покачиваясь, медленно проезжал мимо нас, Маня не выдержала и заплакала.

— Бедный, бедный,— прошептала она,— как это ужасно так погибнуть за ничто.

— Кто знает, может, и меня ждет то же,— угрюмо заметил я.

— Зачем так говорить, лучше не делать того, что доводит до такого конца,— горячо сказала она,— нет-нет, вы не должны даже и думать об этом.

Если Маня так горячо сочувствовала человеку, о котором она только слышала, видеть же видела всего несколько раз, то мудрено ли, что она относилась так сочувственно ко мне, с которым познакомилась еще в детстве, а потом подружилась и до мельчайших подробностей знала мою жизнь. Удивительно ли, что она искренно печалилась, видя меня уже вступающим на ту же дорогу, по которой прошел Филипп. Спасти меня, по возможности вернуть мне все, что я потерял, поставить меня снова на верный путь — вот та идея, которая руководила ею, когда она согласилась променять спокойное, безбедное и вполне обеспеченное положение жены Муходавлева на шаткую, неверную, полную неожиданностей, горестей и разочарований жизнь со мною. Я тогда не понимал, какую жертву приносит она, становясь моей женою, не понимал и не ценил, а скорее, был склонен думать, что я ей делаю честь, представляю для нее хорошую партию.

Два месяца спустя, а именно одиннадцатого февраля, совершилась наконец наша свадьба. Так как мне было очень далеко каждый день ездить в Чекуши, то Маня переехала к Красенским и жила у них. Я, конечно, целые дни пропадал у нее — это было самое счастливое время. Оба мы были молоды, достаточно еще наивны, а потому и немудрено, что строили несбыточные планы и воздушные замки, разлетевшиеся потом как дым. Одно только смущало счастливое настроение моего духа — это забота о своем капитале, отданном в частные руки. До сих пор я мало о нем думал, благо проценты платили мне исправно, но теперь, собираясь жениться, я захотел как-нибудь упрочить его и тут сразу натолкнулся на многое, ясно доказавшее мне, что едва ли когда капитал этот вернется в мои руки, и даже аккурат-

ная уплата процентов подвергалась большому сомнению. Я крепко задумался и, успокоившись пословицей: «Никто как бог, бог не выдаст — свинья не съест»,— махнул рукой и, довольный тем, что мне удалось выцарапать хоть часть капитала — тысячу с небольшим рублей, стал деятельно готовиться к свадьбе.

Прежде всего мы сдали свои меблированные комнаты какой-то барыне, а сами с няней наняли небольшую квартирку в три комнаты на Пушкинской улице, заново и довольно мило омеблировали ее. Нечего и говорить, что все покупки я делал с Маней и под ее руководством, няня ни во что не вмешивалась. Она доживала свои последние дни; едва-едва передвигая ноги, бродила она по нашей квартирке и все вздыхала. Бог весть о чем думала она тогда, может быть, о том, как далека теперешняя действительность от ее мечтаний над моей детской кроваткой, когда она не могла иначе представить меня как в пышной квартире, окруженного богатыми знатными гостями, празднующего свою пышную свадьбу с какой-нибудь писаной красавицей из богатой и важной семьи. А может быть, чувствуя приближение смерти, она мысленно прощалась со всем ее окружавшим или вспоминала свою долгую, с многими горестями, в вечном труде и в постоянных лишениях проведенную жизнь. Бог ее знает, помню только, что она, по природе молчаливая и серьезная, теперь особенно как-то сосредоточилась вся, точно в схиму постриглась. Большою неблагодарностью было бы с моей стороны не уделить несколько слов о ней в этом моем правдивом очерке. Теперь это тем более уместно, что со свадьбой моей кончилась ее роль и она, как бы передав меня с рук на руки Мане, вскоре после того умерла. В моей жизни эта женщина играла большую роль, и никого в жизни не любил я так сильно, как ее, и вместе с тем никому не причинил столько огорчений, зла и обид, как этой безропотной, обожавшей меня всеми силами своей души старушке.

Анна Ивановна, так звали мою няню, поступила к моей матери, когда та еще была в девицах и жила с бабушкой. Выйдя замуж за моего отца, мамаша взяла ее с собой. Впрочем, мать моя недолго прожила с моим отцом, выведенная наконец из себя его постоянными изменами, она покинула его и переехала снова к бабушке. Я в тот год только что родился, а сестре моей было пять лет, у нее была своя няня,

нанятая отцом, которую мать моя не особенно любила, а потому, когда я родился, мамаша моя поручила меня Анне Ивановне, сделавшейся таким образом из ее камеристки моей няней.

Три года спустя мать моя скончалась от чахотки, и я остался на руках бабушки моей, так как отец в то время был за границей, а когда вернулся, скоро снова женился. Тем временем умерла моя сестра, и я остался один.

Умирая, мать моя взяла с няни клятву беречь и любить меня как родного.

— Помни, Аннушка, я сдаю его тебе с рук на руки, береги его, не позволяй бабушке очень его баловать, научи его, чтобы он был такой же честный, добрый и религиозный, как ты, словом, я на тебя одну надеюсь.—Потом она позвала мою бабушку, а ее тетку (мать моя была сирота, и бабушка моя, сестра ее отца, воспитывала ее) и взяла с нее честное благородное слово, что она ни под каким видом, что бы ни случилось, пока я жив, не откажет моей няне, и, когда бабушка моя дала ей в этом слово, мать моя облегченно вздохнула и сказала: «Ну, теперь мне легче умереть, Федя не один, у него остается Аннушка».

Няня моя верно сдержала слово, хотя подчас ей приходилось и очень тяжело. Надо сказать, что я был чрезвычайно болезненный и почти все свое детство прохворал, и если остался жив, то единственно благодаря самоотверженному попечению и уходу за мною няни моей. Сколько долгих бессонных ночей провела она над моим изголовьем, сколько дней с неустанным рвением ухаживала за мною, с точностью машины исполняя все предписания докторов, сколько слез выплакала за это время, сколько сердечных мук вынесла — это только один бог ведал. Доброта ее и кротость были феноменальны. Я не запомню, чтобы она с кем-нибудь ссорилась или даже отвечала за обиду обидой. У нее была какая-то страсть помогать всем, кому только можно, и настолько, насколько хватало ее сил.

Так, однажды, она всю зиму проходила в осенней тальме[22], отдав свою беличью шубку заложить на похороны ребенка в одном бедном семействе, даже очень мало знакомом ей. Другой раз она отдала почти все свое белье и все лучшие платья жене столяра, упавшего в пьяном виде с лестницы и разбившего себе голову. Столяр умер, а няня целых два месяца не только кормила столяриху, отдавая

ей свою долю и питаясь одним чаем с черным хлебом, но и все свое двухмесячное жалованье отдала ей же. Впрочем, жалованья своего она почти не видела, все оно выклянчивалось у нее ее дальними родственниками и разными попрошайками. У няни моей был свой, довольно оригинальный point d'honneur*: служа у нас, она ни от кого постороннего не брала денег. Этого правила она придерживалась еще в бытность горничной у моей матери. Сунет ли ей гость, которому она подаст пальто, монету, предложит ли, по заведенному обычаю, содержательница модного магазина, которой она привезет деньги, пару рублей, она учтиво поблагодарит, но откажется взять. Один случай особенно рельефно выказал ее бескорыстие и преданность нашему семейству.

Семь лет спустя после смерти матери меня, десятилетним ребенком, по желанию отца моего, взяла к себе на воспитание в Москву его старшая дочь от первого брака, бывшая замужем за одним из представителей московского старинного, богатого дворянского рода. Сестра моя была страшно горда и властолюбива. В доме ее все ходили по струнке и никто не смел ни в чем ей противоречить. На другой же год пребывания моего в Москве я опасно занемог, настолько сильно, что лучшие московские доктора потеряли надежду спасти меня и единогласно приговорили к смерти. С отчаяния ухватились за няню, не раз уже выхаживавшую меня в самых опасных случаях. На беду, она сама в то время была сильно больна воспалением, и хотя болезнь уже проходила, но доктор прямо под страхом неизбежной смерти запретил ей, по крайней мере месяц, выходить из комнаты. Няня в то время продолжала жить в Петербурге в качестве горничной моей бабушки. Узнав, что ее зовут спасать меня, ее ненаглядное сокровище, няня, вопреки запрету докторов, еле живая, помчалась в Москву и, прибыв туда, три месяца не отходила от моей постели. Все окружавшие меня, начиная с самих докторов, были поражены ее стойкостью, выносливостью и самоотверженным рвением, с которыми она день и ночь ухаживала за мною, забывая о сне и пище. Все время, пока опасность была сильна, она не раздевалась и не ложилась в постель, только когда силы окончательно оставляли ее, она, сидя подле ме-

* принцип, правило *(франц.)*.

ня, опускала свою голову на мои подушки и на короткое время забывалась чутким, тревожным сном. Стоило было мне чуть застонать во сне или пошевельнуться, она уже просыпалась, подымала голову и устремляла на меня тревожный взгляд, как бы спрашивая:

— Не надо ли чего, чем услужить, в чем-либо помочь?

Просыпаясь иногда ночью, я улавливал на себе ее пристальный тоскливый взгляд, и сколько безграничной любви, сколько страху за меня было в этих серых, выцветших от слез и старости глазах. Скажи ей кто-нибудь: «Умри за него», я уверен, она бы ни минуты не поколебалась и охотно купила бы своей жизнью — мою.

Даже сама смерть не могла победить такого самоотверженного служения, и я стал видимо поправляться. Надо было видеть тот восторг, какой изобразился на морщинистом лице моей няни, когда в одно утро, после долгого и тщательного осмотра, доктор объявил, что я вне опасности. По уходе доктора, она как безумная схватила меня, прижала к своему сердцу и начала горячо целовать, обливаясь радостными слезами и подбирая самые нежные имена. Эту ночь она особенно долго и горячо молилась, и я до сих пор помню, как стояла она, освещенная лампадой, и как трепетали ее старческие, бледные сухие губы, вполголоса произносившие слова молитвы.

Когда через два месяца после этого я окончательно поправился и ей можно было возвратиться назад в Петербург, родственница моя предложила ей за прожитые у нас полгода сто рублей награды — сиделке пришлось бы заплатить вдвое; но, несмотря на то, что няня тогда очень нуждалась в деньгах, она отказалась наотрез взять эти сто рублей, объяснив свой отказ получением за все это время жалованья от моей бабушки из Петербурга. В первую минуту родственница моя страшно рассердилась, предположив в этом отказе какую-нибудь заднюю мысль, но когда она наконец убедилась в искренности ее поступка, она, несмотря на свою феноменальную гордость, крепко обняла няню и, поцеловав, сказала:

— Аннушка, я и не думала, что на свете водятся такие, как ты, если ты не хочешь принять деньги, то прими мое искреннее спасибо и эту безделицу на память, пусть она служит воспоминанием тебе, что ты спасла Феде его жизнь, а ему, что он обязан этою жизнью тебе, и никому больше.

С этими словами она сняла с пальца одно из своих колец и надела на руку растроганной до слез няни.

Мир праху твоему, прекрасная женщина.

Палатой Обуховской больницы, где ты умерла, всеми брошенная, забытая, одинокая, глубоко обиженная несправедливостью людской, отблагодарил я тебя за твою самоотверженную двадцатитрехлетнюю службу мне, за потерю на этой службе здоровья, за все перенесенные тобою лишения.

IX

По желанию Мани, свадьба была очень скромная. Были только самые близкие к нам люди: родители Мани, ее сестра с мужем, дядя с теткой да шафера — больше никого. Маня была просто очаровательна в белом атласном платье «каре», с флердоранжем и фатою на слегка напудренных темно-русых волосах и с букетом на груди. Белизна ее бюста могла поспорить с белизной кружев, которыми было отделано ее платье. Кудряшки на лбу, разгоревшиеся от волнения щечки и глаза, блестевшие как два огонька из-под густых ресниц, делали ее особенно привлекательной. Она, как и всякая невеста, держала себя несколько торжественно и вместе с тем как-то не то робела, не то конфузилась, особенно когда шафера, немного подвыпив, начали подтрунивать над ней и делать шутливые намеки. Она вспыхивала до ушей, смеялась, стараясь замаскировать свое смущение, и не знала, как унять их, а они, видя ее смущение, еще больше подшучивали над ней.

Но всему есть конец.

Пришел конец и нашему свадебному вечеру, гости разъехались, и мы остались вдвоем.

Многое, случившееся гораздо позже, мною совершенно забыто; но впечатления этого вечера так врезались в моей памяти, что я помню все до самых мельчайших подробностей. Помню нашу небольшую спальню, со старинной образницей в углу, с массивным, старинным, принадлежавшим еще моей матери изящным туалетом с двумя целующимися точеными из дерева амурами на верху зеркальной рамы, столик у окна и кресло. Кресло это у окна стало впоследствии моим любимым местом, оно было такое мягкое, элас-

тичное, в нем было так удобно сидеть полуразвалясь, заложив ногу за ногу, и мечтать с зажмуренными глазами.

В тот вечер, помню, я тоже сидел в этом кресле и молча смотрел на стоявшую перед зеркалом Маню. Она медленно, скорее машинально, вынимала шпильки из головы и распутывала хитро и затейливо взбитые парикмахером волосы. Я глядел, как все ярче и ярче разгорались ее щеки, как волновалась в темном корсаже ее пышная грудь, как то меркли, то снова разгорались ее прекрасные глаза. Я любовался изгибом ее полной, красивой шеи, белизной ее бюста и сам в то же время думал приблизительно следующее:

«Ну вот я и добился своего. Вот она стоит теперь передо мною во всей прелести своей чистой девственной красоты, мне стоит только пожелать, и упадут эти блестящие складки, и она вся отдастся мне, трепещущая от робости, тайного желания и любви». Но несмотря на то, что она в эту минуту была неизмеримо лучше всех женщин, которых я когда-либо близко знал, я с удивлением заметил в себе не только отсутствие того, что люди называют страстью, но даже во мне не было особенно сильного желания обладать ею.

Случись в эту минуту какое-нибудь дело, потребовавшее бы моего отсутствия, я бы ушел без особенного сожаления. Что это, размышлял я, неужели я не люблю ее, быть этого не может, вчера еще, сидя с нею вечером на диване у Красенских и целуя ее, я замирал от сладостной мысли — придет минута, и она всецело отдастся мне, вся на полную мою волю, а теперь? И я тщетно старался додуматься до причины моего странного охлаждения, какой-то даже чуть ли не неприязненности.

Маня, кажется, заметила мое душевное состояние. Она отвернулась от зеркала и пристальным, пытливым взглядом, казалось, хотела проникнуть в самые сокровенные моей души. Видимо, она прочла в моих глазах что-то особенное, потому что личико ее вдруг побледнело и какая-то грустная тень скользнула по нему, тронув углы губ и отразившись в померкших глазах.

— Федя, ты, кажется, чем-то недоволен? Ты каешься, что женился, неужели уже так скоро!

— Нет, не каюсь, но уже, если хочешь, сознаюсь, не чувствую того, что, думал, буду чувствовать.— И я, насколь-

ко мог, насколько сам понимал, постарался передать ей то, для самого меня мало понятное ощущение, которое смущало мою душу.

Она внимательно выслушала меня, с минуту была серьезна, как бы обдумывая что-то, и наконец, грустно усмехнувшись, сказала:

— Я, кажется, поняла тебя, ты бы не чувствовал того, если бы я, не венчаясь, отдалась тебе, ты бы тогда счел это за ясное доказательство моей любви, тебе приятнее бы было обладать мною не по праву, а по капризу. Но поверь мне, что, если бы так случилось, ты бы, пожалуй, в первую минуту был бы очень и очень счастлив, но потом сам первый, если не вслух, то про себя, стал бы упрекать меня в безнравственности и легкомыслии, ты бы первый, незаметно для самого себя, перестал уважать меня и изо всего этого, кроме горя мне и досады тебе, ничего бы не вышло.

Сказав это, она отвернулась от меня, не раздеваясь, легла на постель и, задумчиво опустив головку, уронила руки на колени. Лицо ее было печально, кто знает, может, в первый раз шевельнулась у нее тогда мысль о бесполезности своей жертвы. Мне было невыразимо жаль ее. Она угадала мои мысли лучше меня самого. Действительно, сознание того, что теперь и всякую минуту могу обладать ею, что она принадлежит мне по праву, по закону, отнимало в моих глазах всю прелесть и ценность такого обладания. О, если бы она не была моя жена, с которой я только что всенародно венчался и на обладание которой я получил, так сказать, всеобщее согласие, а чужая жена, или хотя бы даже любовница, но тайком, обманом урвавшаяся от ревнивого своего обладателя, или молодая девушка, отдающаяся где-нибудь в беседке, тайно от всех, дрожа каждую минуту от страха быть открытой, застигнутой, о, какая страсть вспыхнула бы во мне, с какой горячностью обнимал бы я ее, целовал бы эти чудные, пышущие зноем губы, эту прекрасную грудь, а теперь, по исполнении всех обрядностей, все это сводилось чуть ли не к пустой формальности, имело вид какой-то обязанности. Я вспомнил изречение философа: «Брак — могила любви» и дополнил от себя: «А Исайя ликуй — вечная память над нею».

Вдруг мне почудилось, что Маня плачет. Я вскочил и подошел к ней. По ее лицу действительно текли крупные слезы, и вся она трепетала от пересиливаемых рыданий.

Мне стало невыносимо жаль ее, я обнял ее и крепко поцеловал. Она всем телом прижалась ко мне и судорожно зарыдала. Выходило довольно глупо — первая брачная ночь началась слезами.

Первые два-три месяца я ходил как в чаду, я все хотел выяснить себе самого себя, свои отношения к жене. Меня неотступно мучил вопрос, по-видимому, весьма нелепый: люблю я ее или нет, счастлив ли, что женился, или лучше бы было не жениться.

Иногда мне казалось, что люблю и счастлив, иногда наоборот, и я тщетно ломал голову над этими роковыми вопросами.

— Вот дурак,— сказали бы многие, если бы я вздумал поверить им мои тайные думы, да тут и вопросов никаких не может быть. Всякий человек, само собой, своим собственным чувством легко может определить, любит ли он или нет. Но в том-то и «загвоздка», как говорил один мой знакомый, что те, кто думают так, сами жестоко ошибаются. Если раз людям кажется, будто бы они сильно любят друг друга, то это потому только, что они как следует не анализируют своего чувства. Я знал одного супруга, у которого заболела жена, он метался как угорелый, мучился и день и ночь, отдавал последние гроши и лез в долги для ее лечения и твердил всем, что, если что случится с его Леночкой, он не переживет, сойдет с ума или застрелится, и я верю, он искренно думал так. Окружающие все были тронуты силой его любви, тем более удивительной и достойной всякой хвалы, что жена его как физическими, так и нравственными своими качествами не особенно ее заслуживала. Один я не совсем-то верил в полную неподкупность и несокрушимость этой любви, и мне захотелось удостовериться, действительно ли он так любит свою жену или ему самому только так кажется, и он любовь смешивает с привычкой, въевшейся в его плоть и кровь за десятилетнее супружество. Я осторожно разговорился с ним и начал хитро развертывать перед ним картину его будущей жизни, на случай, если бы жена его действительно отправилась ad patres*. Я яркими красками начертал то спокойствие, которое в этом случае ожидает его, отсутствие всяких дрязг, сплетен, семейных сцен, полное господство над своим временем

* на тот свет *(лат.)*.

и над самим собою, беззаботное отношение к жизни, когда не надо будет вечно трепетать за завтрашний день, рассчитывать всякий грош, урезывать себя во всем и все же постоянно видеть, что того нет, другого нет, третьего не хватает, а деньги меж тем идут, идут как в бездну, и чем их больше, тем они как-то неожиданней и бесследней исчезают, как вода сквозь решето просачивается, не заполняя дырок, наконец, как финал картины, возможность снова жениться на хорошенькой, молоденькой девушке с приданым, жить с нею где-нибудь в собственном маленьком имении (товарищ мой был в душе помещик, и жизнь в имении была его идеал. У каждого человека, как у рыбы, есть свой червячок, надо только уметь найти, какой кому по вкусу, и насадить на крючок, а там и дело в шляпе).

Словом, я довел его своими россказнями до того, что, приди кто известить его о смерти его жены, он не только бы не пошел давиться или топиться, о чем мечтал еще час тому назад, а пожалуй — слаб человек — в душе подумал: «Скатертью дорога». Кума с возу — куму легче!

Потом, когда жена его выздоровела, я часто подтрунивал над ним и над его, как я выражался, «спотыкающейся любовью»! Он с негодованием отрицался от всего, называл моими выдумками, но я ясно видел, что того телячьего прыганья около жены, какое замечалось в нем до нашего разговора, не было. Очевидно, он сам заинтересовался вопросом о степени своей любви и после долгих размышлений принужден был сознаться, что она далеко не так сильна, как ему казалось прежде.

Если допустить идею признать человека действительно совершеннейшим существом, то, по-моему, главная красота или, так сказать, замысловатый фокус его нравственного механизма, самый, как говорится, «кунст-штюк» и заключается именно в том, что душевные проявления его «я» не вливаются ни в какие шаблонные формы, не регулируются раз навсегда заведенными циркулярами и правилами, а подвержены всевозможным неожиданностям, принимают иногда такие обороты, бывают так неуловимо тонки, что человек иногда сам не может ни уследить за собою, ни понять себя и действует, повинуясь каким-то неведомым, но могучим факторам, скрывающимся в нем самом и им самим питаемым. Иногда мне не только казалось, что я вовсе не люблю Маню, но я даже начинал чувствовать к ней нечто

подобное тому, что должен чувствовать человек к неожиданно собравшемуся к нему в дом ближнему. По какому праву вторгается она в мою жизнь, проникает, так сказать, все мое существо, стушевывает мое единоличное «я», обращая его в слагательное «мы». Какая такая сила словно бы сковала меня? и там, где прежде я думал: «Хорошо ли это будет для «меня», я теперь должен думать «для нас», причем нередко мое личное «я» приносится в жертву «нам», не «ей», а именно «нам», потому что хотя мое «я» и страдает, но как частица «мы» имеет от этой жертвы свою долю пользы. Словом, выходил какой-то сумбур, в котором я никак не мог вполне разобраться. Впрочем, мало-помалу мои взбудораженные чувства и мысли начали приходить не то что в порядок, а в какое-то особенное спокойствие. На помощь не дававшейся, как зачарованный клад, любви пошла ее старшая сестра, степенная и рассудительная «г-жа привычка». Жена с каждым днем становилась мне все необходимей и необходимей. Я, который еще недавно никак не мог привыкнуть к мысли жить «вдвоем», начал уже недоумевать, как бы я мог прожить «один». Когда жены не было в комнате, мне чего-то недоставало. Я как-то замечательно скоро разучился сам заваривать себе чай, думать о своем белье и одежде, об обеде и т. п. мелочах. Я понял, что несравненно удобнее, когда все это делается как-то само собой. Чай налит, сахар положен, булка придвинута — ешь и не думай. Чертовски удобно. А тут иногда придет фантазия, встанешь, подойдешь к жене и поцелуешь ее так приятно пахнущий какими-то духами лоб или затылок. В дурную, холодную погоду не уйдешь из дому, как бывало, без зонтика и галош или в холодном пальто, надев иной раз теплую шубу, когда на дворе оттепель и градусник показывает пять-шесть градусов тепла. Все это имело свою прелесть, и я, по выражению озлобленного поэта, незаметно для себя все глубже и глубже

С улыбкой раба

погрязал в мягком болоте семейного счастья. Словом, я, что называется, втягивался в семейную жизнь, как втягивается характерный, строптивый башкирский степняк возить воз и неожиданно себе самому превращается из бешеного, своевольного и свободолюбивого дикаря в меланхолическую клячу-водовозку.

Впрочем, подобное втягиванье возможно при условии, чтобы жена, прежде всего, была спокойного характера,— мало капризна (совершенно некапризных женщин нет, но и мало капризных меньше, чем голубых слонов), чтобы она была если уже не хороша, то, по крайней мере, миловидна собою, немного кокетка, чем умела бы всегда возбуждать своего сожителя, тогда только может явиться добрая фея супружеской жизни, благодетельница-привычка, которую многие в своей близорукости считают любовью. В противном случае, когда жена напоминает собою рассерженного орангутанга или от злости катающуюся по полу клетки мартышку, привычка не придет и муж за благо сделает, если как можно меньше будет сидеть дома.

К счастью, характер у Мани оказался прекрасный; несмотря на то, что я, не имея покуда никаких еще занятий, с утра до ночи почти неотлучно был дома, я за все эти полгода до поступления моего на службу в частную контору Z ни разу, кажется, не поссорился с женою серьезно и ни разу не соскучился в ее обществе. Последнее тем более удивительно, что оба мы были молчаливого характера и по целым часам просиживали, бывало, она за работой, я за какой-нибудь книгой, молча, не проронив ни одного слова. Впрочем, о чем было и говорить, она была враг всякого переливания из пустого в порожнее, а дел у нас или внешних неизвестных друг другу впечатлений не имелось. О прежних моих кутежах и холостых приятелях и помину не было; забегал как-то к нам раза три-четыре Глибочка Гейкерг, потрещал с нами два-три вечера, под конец объявил, что от меня теперь отшельником пахнет, и уже потом больше не заглядывал до тех пор, пока года через два я не встретил его в одной веселой компании и, после безобразно проведенной ночи, не привез к себе.

— Вот ты теперь опять молодчина стал,— лепетал коснеющим языком Глибочка,— а то было совсем в какого-то сектанта обратился!

Хорошо бы было, если бы я всю жизнь оставался таким сектантом.

Из знакомых нас посещали только дядя Мани с своей женою, да сестра с мужем. Мы тоже, кроме как у них, ни у кого не бывали. Жена моя, как большинство девушек, выйдя замуж, еще больше похорошела. Лицо ее сделалось серьезное и через то выразительнее, особенно глаза. «Мор-

дочка поумнела»,— по моему тогдашнему выражению. Вместе с этим она как-то еще больше стала походить на кошку; движения ее стали плавнее, грациознее, в них появилась та чарующая нега, замечаемая только у замужних, но очень молодых женщин, которая так прельщает всякого мужчину. У нее было одно движение, чрезвычайно мне нравившееся. Засидевшись за работой, она вдруг бросала ее, медленно подымалась со стула, протягивала перед собою руки и, слегка откинувши голову, грациозно изгибалась всем телом, в то же мгновенье по лицу ее пробегала какая-то неуловимая гримаска, она переходила на диван и садилась на него, вся как-то особенно мило съежившись и зажмуриваясь. Те же самые движения, точь-в-точь, я подмечал и у избалованных кошечек, даже выражение мордочек было похоже на выражение лица моей жены — какое-то лукаво-довольное и вместе с тем лениво-утомленное. Вот так и ждешь, что замурлычет. Иногда жена, зная, что мне нравится это движение, делала его нарочно, но тогда это не выходило так естественно, так по-кошачьи, как тогда, когда оно приходило само собой, нечаянно. Жена моя вообще всю жизнь очень заботилась о том, чтобы нравиться мне, особенно это было сильно первое время, только после случая, о котором речь впереди и который повлиял так сильно на всю нашу жизнь, она почти перестала заботиться об этом; но так как быть кокетливой было ее призвание, то она никогда, даже больная, живя в деревенской глуши, не позволяла себе ходить неряшливо и росомахой, как выражалась моя няня. К сожалению, очень мало женщин, которые бы понимали, как важно в супружеской жизни — быть немного кокеткой. Это невинное кокетство спасает иногда домашний очаг от многого. Наоборот, многие из них, кокетничающие девицами, выйдя замуж, ходят целые дни в капотах не первой свежести, худо причесанные, в стоптанных туфлях, а потом винят мужей за непостоянство и не понимают того, что если их мужья ищут в иных местах развлечений и разнообразий, то они же сами виноваты в этом.

Я знал одну такую женщину, очень недурную собой, но крайне неряшливую; я как-то не вытерпел и сказал ей, что, по моему мнению, она сама виновата в изменах своего мужа, так как совершенно не заботится о своей наружности. На это она мне презрительно отвечала: «Жена не содержанка,

чтобы дома наряжаться и кокетничать, плох тот муж, который из-за этого может разлюбить жену».

— Стало быть, вы придерживаетесь пословицы: «Полюби нас черненькими, т. е. не мытыми, а беленькими нас всякий полюбит».

Она страшно обиделась, и с тех пор я от нее заслужил эпитет «нахал».

Жена моя была, по счастью, не такова, и это, по-моему, было одно из ее главных достоинств, за которое я ее глубоко уважал. Впрочем, всю премудрость, кокетством заставить мужа быть влюбленным в себя, она постигла не сразу, а уже года полтора спустя, когда я мог по всей справедливости назвать ее, как я и называл: «Гретхен — из кокоток». Первый год нашей свадьбы умерла моя няня, а в конце этого же года у нас родилась дочь Леля. Еще задолго до появления ее на свете, когда жена сообщила мне, что готовится быть матерью, я, как и в первые дни моего супружества, снова задумался было о своих отношениях к семье.

Я читал в книгах и слышал от многих, что будто бы ожидание ребенка составляет большую радость для отца, его гордость и чуть ли не славу, но сам этого не чувствовал, к некоторому своему смущению. Впрочем, вначале я еще утешался мыслью — нельзя любить того, чего еще нет и не существует, но, когда придет время и я увижу своего ребенка, услышу его крик, на меня сразу, как наитие свыше, снизойдет родительская любовь.

Изо всех козней и бедствий, обрушившихся на злополучную голову человека,— дети чуть ли не самая ужасная. Первые роды моей бедной жене достались очень дорого. Были минуты, когда казалось и ей самой, и ее окружающим, что она умрет. Она невыносимо страдала, а я терял голову, не имея возможности ни отвратить, ни даже облегчить эти страдания. Меня просто приводило в ярость сознание бесцельности и бесполезности этих мук. Кому они были нужны, что искупали, какой смысл был в них? Я скрежетал зубами и готов был разбить себе голову об стену.

«За что, за что,— думал я,— мучается она, милая, кроткое, невинное существо, мучается так, как не мучаются самые закоренелые злодеи за самые ужасные преступления»,— и в душе моей вместо любви, помимо моего желания, подымалось чувство глухой ненависти к единственному реальному, хотя и безвинному виновнику этих мучений,

нашему будущему ребенку. Целые сутки прошли в постоянном страхе между надеждой и отчаянием. В течение этого времени не было минуты, чтобы я не ожидал: вот-вот жена моя умрет. В эти минуты я действительно, как мне казалось, обожал ее, и умри она, я бы, пожалуй, сошел с ума. Впрочем, это мне так тогда казалось, теперь, припоминая хладнокровно тогдашние мои ощущения, я уверен, что главную роль играли возбужденные нервы,— нелегко видеть страдания человека, а тем более человека, нам близкого, и не иметь даже возможности чем бы то ни было ему помочь. Но, несмотря на все мое отчаяние, я не терял способности наблюдения.

В одну из тех минут, когда я, измученный нравственно и физически, не имел сил присутствовать при страданиях жены, вышел в другую комнату и бессильно опустился на первый подвернувшийся мне стул, я услышал вдруг, почти одновременно с отчаянным воплем жены, какой-то странный, незнакомый моему уху пронзительно-хриплый крик. В то же мгновенье крики и стоны жены замолкли. Я сразу даже и не понял, что это такое случилось, мне показалось, будто жена умерла. Я бросился обратно в спальню. Маня, бледная как полотно, лежала с закрытыми глазами; лицо ее, осунувшееся до неузнаваемости, было спокойно, только губы чуть-чуть трепетали и грудь высоко подымалась от тяжелого, прерывистого дыхания. Услыхав мои шаги, она медленно открыла глаза, взглянула на меня кротким, ласкающим взглядом и улыбнулась.

— Слава богу, теперь все кончилось и мне легче! — чуть слышно прошептала она и затем снова закрыла глаза.

Я не знал, радоваться ли мне или нет, так как не понимал состояния своей жены. Что с нею? правда ли, что все кончено, то есть в смысле опасности, или, может быть, она уже умирает? Я устремил тревожный, пытливый взгляд на акушерку — та успокоительно заулыбалась, покачивая растрепанной, с сбившеюся набок прическою головой.

— Не беспокойтесь, все отлично,— торопливо прошептала она,— и ребенок, слава богу, совсем здоровенький, только уж очень собою велик, оттого так и трудно было,— добавила она, тем временем быстро завертывая в белые, пахнущие мылом пеленки что-то красное, копошащееся.

«Ах да, ребенок,— ударило мне в голову,— итак, вот он родился, твой ребенок,— понеслось вихрем в моем моз-

гу,— что же ты чувствуешь к нему? Где твоя отцовская любовь?»

Я покосился на пеленки и на это «нечто», беспомощно барахтающееся в них, но увы! чувства никакого.

«Надо взглянуть,— подумал я,— взгляну и умилюсь». Я осторожно, на цыпочках, обошел постель и заглянул через широкую спину акушерки: в пеленках копошилось что-то красное, сморщенное. Я отвернулся.

И так второй мой дебют, дебют отца новорожденного детища,— оказался неудачным. Я чувствовал себя невиноватым, не мог же я идти против своей натуры.

И вот опять начались мои нравственные мучения; я по целым часам упорно, с мучительной тоскою думал о своих чувствах к новорожденному, но сколько я ни думал, как ни прикидывал, как ни старался обмануть себя и настроить себя на другой лад и тон, я чувствовал одно — все то же непобедимое отвращение к неумолкаемому, уши раздирательному крику, и чем больше я старался принудить себя полюбить это крохотное существо, именуемое моею дочерью, тем выходило хуже. В конце концов от такого насилия над самим собой я стал чувствовать совершенно противоположное тому, к чему стремился. К чувству брезгливости примешалось просто-напросто чувство неприязни. Я наконец даже испугался и чистосердечно покаялся жене. Открытие это ей, видимо, было не по сердцу, но она не стала упрекать меня, как бы сделали это на ее месте девяносто девять сотых женщин, а только с обычным своим спокойствием заметила:

— Не принуждай себя; если ничего не чувствуешь, то пусть так и будет, сердцу не прикажешь, придет время — полюбишь.

— А если такое время никогда не придет?

— Этого быть не может,— уверенно сказала она, на том мы и порешили. Я успокоился и уже все силы направил к тому, чтобы по возможности менее замечать присутствие этого третьего «я» нашего «мы». Но не замечать его было трудно, ребенок был сильный, здоровый, обладал глоткой ротного командира и орал дни и ночи напролет. Ко всему этому у него была замечательная особенность упражнять свои голосовые связки именно тогда, когда я был дома, без меня, если верить показанию свидетелей, по-моему, впрочем, пристрастных, он был тих и больше спал, но

стоило мне, возвратясь от службы, переступить порог нашей квартиры, как он встречал меня громогласным приветствием и затем уже все остальное время со старательностью, достойной лучшего применения, не переставал изощряться в своих вокальных упражнениях на мотив резаного поросенка. Особливо ночью, при общей тишине, крик этот повергал меня в глубокую меланхолию. Если он думал этим криком разбудить дремавшую во мне отцовскую любовь, то система была выбрана неудачно; я уверен, что она, т. е. любовь, гораздо бы скорее проснулась, если бы было поменьше шума. Первый раз за все эти четырнадцать или пятнадцать месяцев я искренно вздохнул о своей холостой жизни, когда мой беззаботный сон нарушался только стуком Лединых лап и щелканьем ее зубов. Леди, при всех своих прекрасных качествах, имела скверную привычку искоренять своих блох нигде в другом месте, как под моей постелью, и преимущественно ночью, точно она думала, что блохи, как куры, ночью хуже видят, чем днем. Но тогда было тем лучше, что стоило Леди поднять чересчур усердную барабанную дробь своими костистыми лапами, я просыпался и посылал к ней туфлю, которая, удачно попав ей в морду, сразу же прекращала на более или менее продолжительное время проявления ее блошливой антипатии. Она громко и с сожалением вздыхала и, вытянувшись во весь свой гигантский рост — Леди была кровный ульмский дог, — отчего кровать моя на мгновенье приходила в содрогание, крепко засыпала.

Теперь же никакие туфли не могли бы помочь, и приходилось волей-неволей выслушивать ночные серенады, когда вовсе не был к тому расположен.

Больше всего мне жаль было жену. Сидит, бывало, бедняга, на постели, от усталости клюет носом, не в силах даже разомкнуть глаз, а сама качает, качает до одеревенелости в руках. Укачала, положила в люльку, поспешно нырнула под одеяло, ежится, согревая озябнувшие члены, и уже начинает сладко засыпать, как вдруг из люльки снова несется отчаянный визг и писк, точно там довелось трем котятам сразу откусить хвосты друг другу. Несколько секунд бедняжка борется со сном, но крик переходит на верхние ноты, делать нечего, приходится с усилием открывать слипающиеся веки, снова начинается кормление, укачиванье, перепеленыванье и т. п. возня, и так всю ночь.

К утру ребенок утихает и спит так крепко, что даже досадно глядеть, потому что самим приходится вставать, так как мне пора собираться на службу. Как сонная подымается Маня с своего ложа, бледная, изнуренная, невыспавшаяся, в скверном расположении духа. За обедом почти не ест, утомленная бессонными ночами, она теряет аппетит, через что еще больше изнуряется, и так изо дня в день. Дальше — хуже. От постоянного раздражения портится ее характер. Она, никогда не сердившаяся, от которой нельзя было и подумать услышать резкое слово, никогда почти не капризничавшая, начинает то и дело выходить из себя, придираться, делать сцены.

Где же это хваленое семейное счастье? обновляющее душу и et cetera и cetera*, о котором я слышал так много идиллистических рассказов. Ау! где ты, откликнись! — В лес ушло.

Рожденье первого ребенка был тот пресловутый premier clouau cerseil (первый гвоздь гроба), в котором мы похоронили наше семейное счастье. С этого начался наш разлад, доведший жену до могилы.

X

Прежде всего началось с того, что жена моя сделалась крайне нервной, раздражительной. Начала придираться, делать сцены, чего прежде никогда не было, так как характер ее до этого времени был на удивление спокоен и ровен. Теперь же все пошло наоборот. В раздражении своем она позволяла себе говорить иногда грубые и пошлые слова, начала то и дело попрекать меня то в черствости сердца и эгоизме, то в лживости и притворстве. Иногда, слушая ее нелепые обвинения, мне начинало казаться, что она просто поглупела, так как перестала понимать многое, что еще так недавно ей было вполне ясно. Само собою разумеется, я тоже иногда не выдерживал, и вот начинались постоянные ссоры; одна порождала другую, та в свою очередь была пищею и предлогом к третьей и т. д. до бесконечности. В сущности, все эти ссоры начинались всегда из-за таких пустяков, на которые при других обстоятельствах ни она,

* и так далее и так далее *(франц.)*.

ни я не обратили бы внимания. Чаще предлогом к ссоре был ребенок.

Скажу я, например: «Ах, как он кричит, он, наверно, просит чего-нибудь, неужели вы не можете как-нибудь его унять!»

— Я знаю,— говорит жена,— мы тебе надоели, ты бы рад был от нас избавиться, что ж, задуши его, ведь все равно ты его ненавидишь,— и т. п. глупости. Я начинаю оправдываться, доказывать несправедливость ее слов, но мои возражения также успокоительно действовали на нее, как масло на огонь, и только еще больше раздражали. Даже, по-видимому, хорошие стремления мои и те истолковывались в дурную сторону и были источниками ссор. Вздумается мне, в добрую минуту, подойти к ребенку, приласкать его, жена досадливо хмурит брови, отодвигается прочь и с сердцем говорит:

— Ну зачем лицемеришь, ведь я знаю, что ты его терпеть не можешь, ненавижу лицемерство, уйди, пожалуйста.

— Да с чего ты берешь, что я его терпеть не могу,— пробую оппонировать я,— вовсе нет, конечно, особенного телячьего восторга от присутствия его не ощущаю...

— Не лги,— перебивает она, приходя уже в полное раздражение,— не лги, я сама замечала, сколько раз, когда ты глядишь на него, у тебя лицо перекашивается от злости.

— Не от злости, пойми ты это, а от физических страданий моих умных нервов, причиняемых его криком, ведь не глухой же я.

Слово за слово — и ссора, как костер из сухого валежника, разгорается все сильнее и сильнее, переходит в крики, плач, визг. У меня сгоряча срывается какое-нибудь особенно злое словцо, словцо это запоминается и впоследствии служит предлогом к новой ссоре.

Пройдет день, два; после какой-нибудь особенно скверно проведенной ночи жена встанет более обыкновенного раздраженная и недовольная. Желая избегнуть ссоры, готовой вспыхнуть каждую секунду, я стараюсь разогнать ее мрачное настроение, за чаем я нарочно шучу, делаюсь усиленно нежным, ласково спрашиваю о ее здоровье, и вдруг...

— Ах отстань, пожалуйста, нечего тебе целовать «ведьму»!

— Какую ведьму? — изумляюсь я. Но тут же вспом-

нил, что в последней нашей ссоре у меня вырвалось это проклятое слово. Сердце мое болезненно сжимается.

«Ну начнется»,— думаю я и как можно мягче стараюсь уговорить ее:

— Ну полно, милая моя, мало ли что человек в сердцах скажет, ну прости, пожалуйста.

Не тут-то было.

— Нет, что ж, я сама знаю, что я стала ведьма, злая, капризная, кровь твою сосу (я с тоскою вспоминаю, что все эти слова сказаны были мною), но ты мне вот что скажи, кто довел меня до этого, кто сделал меня такою, я ведь, кажется, не была такая!

И начнутся упреки, намеки, припомнится все, что было год тому назад, все это сгруппируется, уснастится самыми ядовитыми колкостями, получит самую обидную для меня окраску.

Слушаешь, слушаешь и диву даешься: да неужели же это та самая Маня, тихая, веселая, любящая посмеяться. Маня-котенок! Маня, у которой не было не только грубого слова, но даже движения. Маня, с которой мы когда-то гуляли в Летнем саду, казавшаяся мне тогда ангелом, а теперь фурией. Ведь не притворялась же она тогда. Как же все это объяснить, как понять такую крутую перемену?

Я тщетно ломал голову, стараясь придумать какой-нибудь исход из этого трудного положения. Я понимал, что жена моя находится не в нормальном, а болезненном состоянии, и я не раз старался уговорить ее посоветоваться с докторами. Но на все мои убеждения у нее был один упрямый ответ:

— Я здорова, мне нечего лечиться, не раздражай меня, и я сама успокоюсь.

Легко сказать: не раздражай, когда она вся была воплощенное раздражение. Я попробовал реже бывать дома, но вышло еще хуже.

— Конечно, тебе весело, ты там сидишь в гостях, а я дома возись с пеленками, хозяйством... рад, что кухарку себе нашел: сиди, матушка, а мне и в гостях весело, только ты напрасно воображаешь, что я буду сидеть, я тоже уходить буду.

— Да кто же тебе запрещает, напротив, я очень рад буду, если ты куда пойдешь со мною, я тебя и так каждый раз зову с собой, ты сама не хочешь.

— Оттого и зовешь, знаешь, что я не пойду. А ребенка куда я дену?..

— Маня, Маня, опомнись, какие выражения, тебя ли я слышу.

— Ах, отстань, пожалуйста, женился бы на институтке, никаких бы выражений не слышал. Ведь ты знал, на ком женишься, нечего теперь и попрекать, мне негде было и не у кого манерам учиться.

— Отчего же прежде ты не употребляла таких слов? зачем ты нарочно стараешься, вопреки своей натуре, казаться грубой...

— А если я груба, ищи себе не грубых... я тебе на шею не бросалась, сам чуть не силой притащил под венец, у меня без тебя был жених...

— Это — тот Блоходавлев, или, как его, Клоподавлев.

— А хоть бы и он.

— Вот нашла кого вспоминать.

— А чем же он хуже других, жила бы по крайней мере в свое удовольствие, без нужды, никто бы меня не попрекал, что я грубая и необразованная и такая и сякая... на мученье мое ты меня взял... няню мучил-мучил, в гроб вогнал, теперь за меня принимаешься, грех тебе будет, помнишь, как ты клялся не обижать меня...

Я затыкал уши и уходил, отчаянье овладевало мною. «Что делать? — думал я.— Кто виноват в этом во всем, как предотвратить все эти постоянные и невыносимые истории?» С отчаяния попытался я было обратиться за советом кое к кому из ближних.

— Бросьте, не обращайте внимания,— говорили мне,— у женщин с первым ребенком это часто бывает — потом пройдет!

Легко сказать: «Не обращайте внимания, пройдет!» Положим, ее раздражение может и действительно пройти, но те оскорбления, которые мы в минуту гнева необдуманно бросали в лицо один другому, они не забудутся, не изгладятся из памяти впечатления безобразных сцен, бывших между нами, не исчезнет проснувшееся недоверие одного к другому и то скрытое на самом дне души разочарование друг в друге. Словом, что расшатано, то расшатано, это как трещина в дереве — ничем ее не замажешь и не заклеишь, напротив, чем дальше, тем сильнее, и так на всю жизнь. Главное, всего обиднее то, что нет виновных, а раз нет ви-

новных, нет возможности устранить причину. Во всей этой глупости есть что-то роковое, стихийное, ни остановить, ни предотвратить чего никто не в силах, подобно пущенному с крутого ската камню, который, как бешеный, летит, повинуясь каким-то своим внутренним физическим законам, летит, ниспровергая, давя и уродуя все встречающееся на пути, пока с размаху не ударится о какое-нибудь непреодолимое препятствие. Увы, мы прежде всего дети своего века, века величайших изобретений человеческого гения и вместе с тем величайшего нервного упадка. Больные, нервные, психопатические дети больного психопатического века, а господа моралисты проповедывают что-то такое, чего мы исполнить не в силах, как не можем поднять тяжелого копья своих пращуров, того самого копья, которым наши предки владели как тросточкой. Вместо того, чтобы укрепить наши нервы, нам досаждают бесплодной моралью, выходит нелепица. Все равно как если бы человек сломал ногу, а кто-нибудь вздумал читать над ним псалмы Давида; сами по себе, спора нет, псалмы Давида прекрасны, но тем не менее сломанная нога таковою и останется и от псалмов Давида не срастется, пока не придет доктор и не положит ее в лубки.

Предсказание родственников сбылось. Маня мало-помалу начала успокаиваться, раздражение ее улеглось, и жизнь наша постепенно начала входить в прежнюю колею. Главной причиной успокоения был переезд на житье к нам родителей моей жены, старик отец ее к этому времени почти ослеп и лишился службы. Я предложил Мане съездить к ним и уговорить поселиться у нас, на что они оба охотно согласились. С первого же дня бабушка и дедушка завладели внучкой и целые дни нянчились с нею. Таким образом половина обузы спала с плеч жены. Она спокойно спала по ночам, время от времени начала выезжать со мною в гости, повеселела, нервы ее успокоились, но все же прежнего невозмутимо-мирного настроения нашей жизни не было. Наученный горьким опытом, напуганный надоевшими мне, как зубная боль, сценами, я стал осторожней, начал взвешивать каждое слово; не было уже той простой, дружеской откровенности, когда я, не стесняясь, говорил жене все, что думал и чувствовал, я стал гораздо скрытнее, больше себе на уме. Жена моя, конечно, была настолько чутка, что сразу заметила перемену, происшедшую во мне, и это

ее огорчало. В душе она искренно не считала себя виновной в чем-либо, а, напротив, была скорее склонна объяснить мое изменившееся к ней отношение недостатком любви.

— Ты разлюбил меня,— говорила мне жена в минуты откровенности,— неужели я тебе так скоро надоела? — и она пытливо заглядывала мне в глаза, стараясь угадать истину. Я спешил разуверить ее, но так как отношения наши измениться не могли, то и подозрения ее о моем к ней охлаждении не исчезли, это ее и огорчало и раздражало в одно и то же время.

— Тебе уже надоела семейная жизнь,— говорила она с досадой,— шутка ли, полтора года женат, для такого непостоянного человека, как ты, это целая вечность!

Я отмалчивался, боясь возобновления ссор.

К счастию, я вскоре поступил на службу. Это было в начале второго года нашей супружеской жизни и послужило отчасти одною из причин, что жена моя успокоилась и стала мало-помалу такою, какою была после свадьбы. Впрочем, сначала я получал очень немного: поступил я в контору одной редакции на весьма скромное жалованье, но к концу первого года службы стал получать вдвое, кроме того, я рискнул взяться за литературный труд.

Обстановка была самая подходящая. Знакомство с литературными звездами первой и второстепенной величины, масса впечатлений, разнообразное чтение, словом, начав очень и очень скромно, я скоро приобрел работу во многих редакциях. Мое имя все чаще и чаще стало попадаться в числе других литературных имен, и хотя я не смел претендовать на известность, но и совершенно безызвестным назвать себя тоже не мог. Критика довольно благосклонно отнеслась к моим первым попыткам, и многие даже пророчили мне будущее... Я чувствовал, как почва крепнет подо мною. Мало-помалу все мои знакомые и родственники, избегавшие меня, переменили обо мне мнение, и я незаметно для себя очутился в той же среде и том обществе, откуда был выбит несколько лет тому назад.

И всем этим я был обязан жене: она, вырвавшая меня из дурного общества моих «приятелей», искоренившая мои некоторые дурные привычки, помогла мне тем, что я, как говорится,— снова встал на ноги.

Все эти маленькие успехи были тем более кстати, что в это время над нами разразилась беда, могущая бы сделать-

ся роковой, если б я не имел к тому времени порядочного заработка: негодяй, которому я отдал свой капитал, обанкрутился. Не буду рассказывать, как это случилось, скажу только одно, что, имея возможность уплатить мне, он не только не пожелал сделать этого, но еще самым наглым образом издевался надо мною и над правосудием, к защите которого я было прибег. Он так ловко в течение всех этих четырех лет сгруппировал и подтасовал целый ряд мошенничеств и обманов, что к нему нельзя было даже придраться.

— Я сам вижу, чувствую и сознаю,— сказал мне судебный следователь, рассмотрев мою жалобу,— что он мошенник первостатейный, что вы обмануты самым наглым, недостойным образом, но поймите, все сделано так ловко, везде и во всем опирается на такую законную почву, что, если бы я даже и довел его до скамьи подсудимых, его бы неминуемо оправдали, и он же бы потянул нас к ответу за клевету; вы сами дали ему оружие в руки вашими легкомысленными расписками и доверенностями.

— Но поймите, я верил ему как брату. Что я говорю — брату, больше брата, ведь мы товарищи детства, я с пеленок привык любить и верить ему.

— Что делать, теперь такой век, не верь даже себе самому. С отца родного бери расписки.

Я вышел от следователя, не помня себя от бушевавшего во мне негодования. Такой подлости, такого бессердечия, такой наглости я не ожидал. И от кого же? кого я любил всей душой, кто был принят в нашем доме как родной, кто проливал когда-то слезы над моим горем и радовался моими радостями. Меня особенно бесила эта его безнаказанность. Мошенник, нагло поправший все, что есть святого в мире, с спокойным сердцем может смотреть всем в глаза, и никто не смеет сказать ему: «вор!» Он может безнаказанно издеваться над правосудием, под покровительством которого он стоит... безнаказанно... кто сказал безнаказанно... ха, ха, ха, нет, он будет наказан, а там что бог даст.

Я шел домой быстрыми, неровными шагами, а сам думал:

«Общество, закон не защитило моих прав от подлеца, так я же защищу общество от этого негодяя».

Жена с нетерпением ждала моего возвращения от следователя.

— Ну, что, что сказал следователь,— спросила она, как только я переступил порог нашей квартиры.

— Сказал, что наше дело проиграно, судебная власть может поймать только вора неловкого, который следы по себе оставляет, а ловкий вор, сумеющий спрятать все концы, приглашается воровать дальше. Следователь мне в виде утешения сказал: первое удавшееся мошенничество разохочивает к другому и т. д., таким образом, рано или поздно, и ваш Шульмер попадется и ему не избежать кары закона! Если это тебя утешает, утешься, а я решился проучить его по-своему.

— Чем?

— Это мое дело.

— Ничего ты ему не сделаешь,— безнадежно махнула она рукою,— следователь правду говорит, нельзя быть таким доверчивым. И я то же всегда тебе твердила.

— Недоставало, чтобы ты меня начала попрекать.

— Я не попрекаю, деньги не мои, и мне их не надо, а так к слову сказала.

Был пасмурный осенний вечер, не то снег, не то дождь как из сита кропил землю. Ветер пронзительно завывал, срывая шляпы с головы и вырывая из рук зонтики. Словом, это был один из тех вечеров, на долю которых приходится большая часть столичных преступлений. Я вышел из дому, сказав жене, чтобы она не ждала меня до ночи, так как мне надо по одному делу. В кармане моего пальто лежал заряженный на все шесть гнезд револьвер, и я направлялся к одному знакомому мне ресторану, где обыкновенно проводил вечера Карл Карлович Шульмер.

Придя в ресторан, я забился в самый отдаленный угол залы и потребовал себе котлету, но есть мне не хотелось: все мои мысли были поглощены тем, что должно сейчас свершиться. Хотя я пришел с твердым намерением убить Шульмера, но собственно план убийства у меня составлен не был, я решил действовать так, как укажут обстоятельства. В эту минуту меня больше всего интересовали последствия моего предполагаемого преступления: я живо рисовал себе, какой переполох произойдет в ресторане, когда грянет роковой выстрел, как все вскочат, окружат меня, а я, бледный, но спокойный, скажу: «Господа, я убил негодяя и горжусь этим». Меня сейчас же арестуют, посадят в тюрьму. Маня будет навещать меня... во всех газетах будут писать, и тем

более всех будет интересовать, что многим я знаком. «Вот уже никак не ожидали, что Чуев способен на убийство!» — будут говорить обо мне.

— Какой это Чуев? — спросит кто-нибудь.

— А помните, на прошлой неделе вы его видели у Z или N, такой небольшого роста, худенький, лицо еще у него такое задумчивое. Он литератор, его произведения печатались там-то и там-то...

Но вот и день суда. Большая зала полна народа, сколько знакомых лиц, какое на всех любопытство. За столом в стороне репортеры, многие мне знакомы, и это еще больше возбуждает интерес. Живо представляю я себе всю процедуру судоговорения, речь прокурора, защитника...

— Подсудимый, за вами последнее слово,— обращается ко мне председатель,— что вы скажете в свое оправдание.

Я встаю, окидываю залу спокойным взглядом и начинаю говорить; я чувствую, как все замерло, с напряженным вниманием прислушиваясь к каждому моему слову.

— Господа присяжные,— говорю я,— не буду защищаться, а тем паче просить помилованья; я признаю, что убил Карла Карловича Шульмера, убил, ясно сознавая, что делаю, убил преднамеренно, холодно и серьезно обдумав убийство заранее. Убил не под влиянием аффекта, но так же спокойно, как спокойно выпил бы теперь стакан чая, да, я убил его и не только не раскаиваюсь в этом, но, напротив, горжусь своим преступлением, так как это не преступление, а подвиг, подвиг гражданского мужества; я не зло сделал, а благо. Кого я убил? негодяя, у которого ничего не было святого, который бы без всякой жалости уничтожил любого из вас, если бы вы имели несчастие попасть в его лапы. Он, с мастерством обобрав вас до нитки, холодно смотрел бы, как вы извиваетесь у ног его от голоду, и первый же нагло подтрунил бы над вами. Что вы ему? чужие люди; я был почти его братом, мы росли, играли с ним, мы были почти неразлучны, у нас почти одни и те же воспоминания детства — но он и то не устыдился обокрасть меня, пользуясь моей любовью к нему, что же можно ожидать от такого человека? ему было всего только 29 лет, а он бы мог поспорить в бессердечии с любым каторжником, каков бы он был через десять лет?.. И от эдакой-то чумы, от такого врага общества я избавил вас всех! Но раньше, чем решиться на самосуд, я пытался обратиться к правосудию, но

правосудие в лице судебного следователя отказало мне, за недостатком улик, оно признало себя бессильным в борьбе с таким негодяем, оказалось, что он слишком ловок, подл и осторожен, чтобы попасться. Что же делать с таким, которого легальным путем нельзя обезвредить, оставить ли его продолжать свою преступную деятельность или применить к нему нечто подобное закону Линча, т. е. сделать именно то, что сделал я. К сожалению, не у всех хватает духа на это, у меня хватило, и вот я на скамье подсудимых, меня судят как преступника.

Не знаю, что бы сказали мне на это присяжные на настоящем суде, но на суде моей фантазии они меня не только оправдали, но чуть ли не на руках вынесли из залы суда!

Я так увлекся, что опомнился только тогда, когда над самым моим ухом раздался знакомый, ненавистный голос:

— Вы тут что делаете, как попали сюда? — Я поднял голову, передо мною стоял, ехидно улыбаясь, сам Карл Карлович Шульмер. Его бледное, худощавое лицо, с остроконечным подбородком и темными наглыми глазами, глядевшими поверх очков, все дышало насмешливым торжеством. Он был небольшого роста, худощав, с белокурыми волосами и жиденькой растительностью на подбородке.

В общем, он очень походил на Мефистофеля, знал это и любил в маскарадах появляться в костюме злого друга Фауста.

Я так поражен был его неожиданным появлением, что чуть было не бухнул прямо, что пришел убить его.

— Вы были у следователя,— иронизировал меж тем Шульмер,— ну что же, он сказал вам, когда собираются посадить меня в тюрьму?! — Эта наглость сразу возвратила все мое самообладание.

— Я пришел в последний раз переговорить с вами, г-н Шульмер,— холодно начал я,— угодно меня выслушать?

— Согласен, но только не тут, пойдемте в бильярдную, там, кажется, никого теперь нет.

«Негодяй боится случайного свидетеля нашего разговора,— подумал я,— тем лучше для меня и хуже для него, с глазу на глаз мне легче будет покончить с ним».

Мы прошли в бильярдную, там действительно никого не было. Шульмер присел на край бильярда и устремил на меня свой неприятный, холодный взгляд.

— Говорите, я слушаю,— сказал он.

— Мне много говорить нечего,— начал я как можно сдержаннее, опустив руку в карман пальто и нащупывая ручку револьвера,— я пришел предложить вам, если в вас не угасла хоть искра чести, следующее: вы должны мне десять тысяч, я согласен помириться на пять, отдайте пять тысяч, и я буду вечно благодарить вас как своего благодетеля. Подумайте, в каком я положении, у меня жена хворает, ребенок маленький, содержание я получаю небольшое, да и мало ли что может случиться, я могу потерять должность, что тогда будет с нами, ведь вы же сами и муж и отец, неужели в вас нет ни капли жалости, а ведь когда-то я вас считал самым близким мне человеком.

Я чувствовал, как слезы подступали к моим глазам и голос начинал дрожать.

— Дальше! вы хорошо говорите, у вас есть дар слова,— чуть-чуть усмехнулся Шульмер,— жаль, что вы упускаете из виду, где я могу достать вам теперь эти пять тысяч.

— Как где? да ведь вы взяли у меня десять.

— Взял, но что же из этого, я пустил их в оборот, и они лопнули.

— Это неправда. Да наконец я согласен на рассрочку, уплатите мне теперь тысячу рублей, а затем в течение двух лет, считая с сегодняшнего дня, остальные четыре. Кажется, условия не тяжелые.

— Гм... вам так кажется, впрочем, действительно я бы мог дать вам теперь тысячу, а остальные в течение двух лет, если бы...— Он остановился как бы раздумывая, мне показалось, что он начинает соглашаться. При мысли, что я могу получить теперь, в минуты крайней нужды, тысячу рублей и тем поправить свои обстоятельства, успокоить Маню, я почувствовал такую радость, что готов был броситься на шею к Шульмеру, я забывал все его подлости и готов был считать его чуть ли не моим благодетелем.

— Что если бы? — спросил я его.— Да говорите же — если у вас сейчас нет, я готов подождать день, два, ну хоть даже неделю, но только, пожалуйста, не дольше, я уверяю вас — мне большая крайность.

— Итак, вы просите тысячу рублей? — переспросил Шульмер.— И говорите, что можете подождать?

— Да, я, пожалуй, подожду, если не завтра, послезавтра, словом, когда вам удобнее.

— Мне всего удобнее через пять лет, так мы и сделаем: я сейчас дам вам десять рублей, у меня самого в кармане 25, на лечение Марии Николаевны, а остальное через пять лет, если вы не захотите еще отсрочить пару годиков. Он говорил совершенно серьезно, тонкие, бескровные губы его были, как и всегда, строго сжаты, и только где-то там в глубине глаз играла самая ядовитая насмешка, он, очевидно, потешался надо мною. Я это понял, и вся долго накоплявшаяся злость поднялась во мне.

— Это ваше последнее слово? — задыхающимся голосом глухо спросил я.

— Наипоследнейшее.

— Так умри же, подлец! — проскрежетал я и, быстро выхватив из кармана револьвер, направил его в упор в грудь своего врага. Миг — и его бы не стало, но тут случилось странное обстоятельство: нажав изо всей силы спуск курка, я почувствовал, что он не двигается, сгоряча я забыл отодвинуть предохранительную пружину. Это спасло Шульмера. К чести его надо сказать, что он был не из трусливых и даже в такую опасную для себя минуту не растерялся и не потерял присутствия духа. Раньше чем я успел опомниться и сообразить причину бездействия курка, как уж револьвер был в его руках, он быстро вырвал оружие из моих рук и сунул его себе в карман.

— Надо другой раз быть ловчее,— нагло усмехнулся он,— а то легко и смешным сделаться, надеюсь, что этим разговор наш кончился, я бы мог, конечно, пригласить сюда полицию, но не желаю, идите себе с богом домой, игрушку вашу я спрячу на память о сегодняшнем дне, впрочем, я вижу, она вам даже и бесполезна, так как вы не умеете с нею обращаться.— Сказав это, он насмешливо поклонился и быстрыми шагами вышел из бильярдной, оставив меня одного, подавленного, уничтоженного, осмеянного. Машинально запахнул я полы своего пальто, нахлобучил шапку на глаза и вышел из ресторана; на улице я вспомнил, что не расплатился за котлетку, и вернулся было назад.

— За вашу котлетку заплачено,— любезно сказал мне буфетчик.

— Кем? — машинально спросил я.

— Карл Карлович заплатили.

Я оглянулся. Шульмер сидел за одним столом и с улыб-

кой посылал мне воздушный поцелуй. Я молча повернулся и ушел, провожаемый его насмешливым взглядом. Всю дорогу шел я, не подымая глаз, не различая улиц, и только, должно быть, по инерции, в силу привычки, попал домой.

Должно быть, лицо мое выражало что-нибудь особенное, потому что не успел я войти к себе в комнату, как жена, взглянув на меня, испуганно спросила:

— Федя, что с тобой? что случилось, ты на себя не похож.

Я тут же со всеми подробностями передал ей обо всем случившемся. Она слушала меня, широко раскрыв глаза, бледная как полотно.

— Боже мой,— воскликнула она,— что это ты такое затеял, ведь тебя бы сослали.— И при одной мысли о возможности подобного исхода она зарыдала и, обвив мою шею руками, крепко прижалась ко мне.

— Милый, голубчик,— шептала она мне на ухо, пригибая к себе мою голову,— что это ты такое выдумал, из-за чего? ну что ж, что обманул, эка важность, бог милостив, с голоду не умрем. Мы оба молоды, будем работать, трудиться, живут же другие и без капиталов.

Весь вечер она утешала меня, уговаривала и успокаивала; по ее, выходило, что без капитала как-то еще лучше, меньше тревог душевных, меньше горя и забот. Тут к слову будет сказать, что Маня во всю жизнь ни разу не попрекнула меня тем, что благодаря моему холодному отношению к делам мы были разорены, чем ясно доказала, как была далека, выходя за меня замуж, от каких бы то ни было материальных расчетов. В конце концов случай этот имел для нас то благотворное последствие, что с этого вечера мы опять как-то особенно тесно сблизились с женой, вернулись к тому времени, какими мы были после свадьбы. Действительно, с потерей капитала мы стали спокойней. В серьезности мы давно уже ждали этого; с самого первого дня нашей свадьбы страх перед неминуемостью подобного исхода как дамоклов меч тяготел над нами, и вот он наконец упал, но, странное дело, упавший он оказался далеко не таким страшным, как казался, когда висел на тонком волоске над нашими головами, готовый ежеминутно обрушиться на нас. Пришлось только сократить кое-какие расходы да побольше приналечь на литературные занятия. Вскоре после этого я получил прибавку жалованья и к моей одной должности

присоединил другую. Таким образом к началу третьего года нашего супружества в материальном отношении я был обеспечен.

XI

Наступил третий год нашего супружества. Год этот был самый веселый, хотя и самый бесшабашный в нашей жизни, но зато все лучшие мои впечатления, все приятные воспоминания приурочены именно к этому году. Материальное положение улучшилось, я получал хорошее жалованье, много зарабатывал литературным трудом, и, к довершению всего, мне случайно удалась одна финансовая операция, принесшая мне несколько сот рублей барыша. Удачей этой операции я был обязан одному своему знакомому, некоему Вильяшевичу, о котором речь впереди. Он посоветовал мне купить акции одного прогоревшего общества, акции, которые ходили в то время чуть ли не на 70 процентов ниже стоимости, но каким-то чудом товарищество, в самую критическую минуту, вдруг ожило, акции быстро пошли в гору и уже через месяц стояли почти в номинальной цене. Конечно, без Вильяшевича мне бы эта операция не удалась, и я ему был за это очень благодарен. Жена моя тем временем совершенно успокоилась, от прежнего дурного настроения духа не осталось и следа, она снова повеселела и неожиданно для меня начала сильно хорошеть. В этом периоде она была так хороша, как никогда больше; в ней внезапно проснулся таившийся доселе под оболочкой скромной Гретхен бедовый бесенок, бесенок, заставивший ее вдруг совершенно изменить свой образ жизни. Молодая натура требовала развлечений, удовольствий, шума и блеска, и так как, благодаря счастливо сложившимся обстоятельствам, все это вдруг явилось к ее услугам, то и немудрено, что она неожиданно развернулась, да так развернулась, что ее бы и не узнали видевшие ее год тому назад. Недаром я шутя назвал ее «Гретхен из гэтер». Прежде она была просто хорошенькое, шаловливое существо, кокетливое и грациозное, теперь же в ней проявилось нечто новое, особенное, что-то такое, что не только на посторонних, но даже на меня — мужа, после двухлетней совместной жизни, производило впечатления наркоза. Она вдруг точно почувство-

вала свою силу, и я часто подмечал, как она нарочно дразнила тех, кого почему-либо выбирала мишенью для своего кокетства. Хуже всех доставалось от нее злополучному Вильяшевичу, мучать которого она считала чуть ли не своей священной обязанностью.

Припоминая это время — «сумасшедший год», как мы его прозвали, я прихожу к тому заключению, что первым толчком к проявлению этого усиленного кокетства было, должно быть, мое охлаждение к ней, появившееся в конце второго года; правда, охлаждение это было чуть заметное, и она инстинктом женщины скорее угадала его, чем заметила наблюдениями надо мною, инстинктивно же, как и всякая женщина, чувствуя охлаждение к себе человека, любовью которого дорожит, она ухватилась за свое сильнейшее оружие — кокетство. Первые опыты удались, она тем же инстинктом угадала, что, только раздражая мою чувствительность, она снова может возбудить во мне любовь, и так как кокетство было у нее в крови, а тут кстати подоспели благоприятствующие к развитию его обстоятельства, то она просто уже сама увлеклась, как увлекается артист своей игрой, ей понравилась ее новая роль, и она всецело отдалась ей. Она усвоила себе некоторые манеры, действовавшие особенно раздражающе, так, например, выучилась как-то неподражаемо чуть-чуть заметно поводить плечом; скашивать глаза вниз, причем лицо ее принимало наивно-плутоватое сладострастное выражение; задорно вызывающе вскидывать на собеседника свои искрящиеся глаза и усмехаться полупрезрительной, полунасмешливой улыбкой.

Случалось нам иногда сидеть вдвоем вечером и болтать о каком-нибудь вздоре; в противоположность первым годам, когда я с нею рассуждал — как мы шутя говорили — о высоких материях или читал вслух русских классиков, теперь наша беседа вертелась больше на вопросах пикантного свойства.

Я или рассказывал ей анекдоты, или развивал какую-нибудь пикантную идею. Она, обыкновенно, слушала меня, по-видимому, внимательно, забравшись с ногами на диванчик и жмурясь от света как котенок. Вдруг среди моих разглагольствований она как бы нечаянно уронит платок и начнет его лениво доставать, я умолкаю и гляжу, как красиво изгибается ее шея, как просвечивается сквозь кружево полузакрытого каре ее грудь — дома она начала носить ка-

поты с открытым лифом, обшитым кружевами, с высоким воротом на затылке — это отзывалось чем-то средневековым и чрезвычайно шло к ней. Заметив, что я невольно любуюсь ею, она исподлобья вскидывала на меня глаза, причем ее длинные густые ресницы казались еще гуще, и, слегка улыбаясь, говорила:

— Ну что же, продолжайте, я слушаю.

Но в этих словах было столько вызывающего, дразнящего кокетства, что я моментально забывал, о чем говорил, и, в большинстве случаев, схватывал ее руки и начинал целовать их, а она, не допуская меня до себя, смеясь и блестя глазами, говорила:

— Оставьте, пожалуйста, не прикасайтесь, сидите смирно!

И это «оставьте, пожалуйста» доводило меня почти до безумия — так мило произносилась эта сама по себе ничего не значащая фраза.

Главная ее особенность заключалась в том, что она то была томна, медленна и плавна в своих движениях, то вдруг оживлялась, делалась сильною, ловкою, стремительною; лицо ее, обыкновенно чрезвычайно подвижное, оживленное, на котором как по книге можно было читать все ее мысли, тогда внезапно принимало бесстрастное, туманное выражение, настолько непроницаемо-загадочное, что даже я, самый близкий человек, ни за что бы не мог угадать, о чем она думает в эту минуту. Она как-то ухитрялась совмещать в себе скромность монастырской послушницы с распущенностью, в то же время ни на одно мгновенье не выходя из рамок приличия. Одеваться она тоже начала по-новому, в этом отношении я первый подал ей совет.

Уступая моим просьбам, жена завела себе капоты с глубокими вырезами, коротенькие кокетливые кофточки, зимою обшитые поддельным мехом, осенью гладкие,— меховые шапочки набекрень, пальто туго в талию, шляпы á la Rembrand с круто загнутым полем, с большим яркого цвета страусовым пером, каре, высокие рукава, прозрачные чехлы на темных лифах, туфли на высоких каблуках и т. п., не говоря о массе духов и пудры, составлявших в ее жизни пятую стихию.

Преобразив себя, она преобразила и свою спальню, устроив в ней кокетливый будуарчик, тяжелая драпировка перегородила комнату на две половины, появился маленький

диванчик, косматый коврик, этажерка с массой фарфоровых безделушек, висячий китайский фонарик, своим розовым светом придававший по вечерам всей комнате особенный полуфантастический вид. По вечерам, когда опускались непроницаемые шторы, зажигался фонарь, в этой комнате, жарко натопленной, пропитанной запахом духов, было действительно очень уютно.

Особенно хорошо было во время ненастной погоды, когда за окном бушевал ветер, выла непогода, стучал дождь или плакала вьюга. В такие вечера Маня особенно любила, полураздевшись, распустить волосы, нежиться на диване с коробкой конфет в руках; она, как институтка, «обожала» конфеты, и они у нее не переводились. Одно время она взяла привычку каждый вечер уничтожать пирожное, запивая его ликером из крохотного хрустального бокальчика, все это выходило очень мило, чрезвычайно мне нравилось, и я всеми силами старался развивать в ней и поддерживать всякие подобные прихоти. Мы часто бывали с ней в театрах, но чаще всего в «Ренессансе», где в то время давались французские оперетки. Первый раз мы собрались совершенно случайно, но затем стали бывать все чаще и чаще, главной приманкой был ужин в отдельном кабинете после представления. Ужины эти до того меня увлекали, что я совершенно серьезно переставал видеть в Мане свою жену, ухаживал, волочился за нею и готов был на всякую глупость. Она смеялась, шутила, кокетничала, а я просто терял голову и был влюблен как двадцать пар котов. Иногда к нам пристраивался кто-либо из наших знакомых, чаще всех Вильяшевич, о котором я говорил. Вильяшевич был богатый самарский помещик, живший три четверти года в Петербурге, с которым я познакомился через свою службу в конторе N**. Вильяшевич был человек уже пожилой, лет под пятьдесят, но очень красивый, высокий, полный, с длинной бородой — тип старого боярина, весельчак и bon-vivant*, он-то, в сущности, и был инициатором сумасшедшего года, первый своим ухаживанием давший нам толчок, вследствие которого мы с женой вдруг отдались с таким увлечением этой буффонаде. Когда Вильяшевич был с нами — смеху не было конца, он волочился за моей женой, шутил, дурачился, требовал шампанского, доставал какие-то особенные, чрезвы-

* остряк *(франц.)*.

чайно дорогие конфеты, фрукты, цветы, словом, не знал, чем бы только угодить ей. Я, с своей стороны, не только никогда не ревновал к нему Маню, но, напротив, был очень польщен его вниманием; я вообще был всегда доволен, видя ухаживания других за моей женой, это тешило мое самолюбие. По-моему, всякий муж, если он не глуп, должен быть доволен, когда за его женой ухаживают, значит, она хороша собой, возбуждает во всех зависть к счастливому ее обладателю. Я помню, с каким чувством гордости я отвечал тут Вильяшевичу на его восторженные отзывы о Мане.

— Да, батенька, хороша Маша, да не ваша!

— То-то и беда, что не моя,— комически вздыхал Вильяшевич,— эх, кабы моя была!

— Да что вы в ней особенного находите? — с напускной небрежностью продолжал я.— Нос как у мопса, глаза косые, неужели вы лучше не видели?

— Э, вы ничего не смыслите в женщинах, что там нос, нос вздор, а в ней есть что-то такое, отчего наш брат старик с ума спятить может, а вы про нос толкуете, забылись, батенька, ценить не умеете, ваша жена — это редкость.

Я недоверчиво пожимал плечами, а у самого дух захватывало от восторга. Я последний грош тратил на новые наряды, упрашивая портних придумать что-нибудь позабористее.

Мне доставляло удовольствие, когда, гуляя с ней по Невскому, лихачи приставали ко мне: ваше сиятельство, а ваше сиятельство, прокатились бы с барышней на лихаче, и мы иногда действительно катались. Маня относилась ко всему этому довольно пассивно. Сначала ее несколько коробили и шокировали мои стремления навязать ей тон дамы полусвета, но мало-помалу она вошла во вкус, ей самой начали нравиться эти ужины в «кабинетах», пикники на тройках за город, толпа холостежи за своим хвостом, легкое возбуждение от двух-трех бокалов шампанского, а главное, она видела, как я с каждым днем все больше и больше увлекался ею.

Неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы не случилась одна история, сильно повлиявшая на Маню и заставившая ее сразу изменить свой образ жизни.

Дело вышло так.

Первого апреля Маня должна была справлять свои именины. Сначала решено было именины справить дома,

но Вильяшевич, бывший на правах какого-то члена дома, узнав об этом, возмутился и предлагал справить их где-нибудь за городом — in's Grüne*, как он выражался. Маня настаивала на своем, я держал нейтралитет, наконец обе спорящие стороны сошлись на следующем компромиссе: обедать дома пораньше, причем Вильяшевич настоял, чтобы фрукты, вино и десерт были приняты Маней от него в подарок, а затем в коляске ехать ужинать тоже за его счет в «Славянку».

— Вы именинница, права голоса не имеете,— шутил Вильяшевич,— ваше дело сторона, мы вас оденем, посадим и повезем, нечего вам много и разговаривать.

Маня наконец махнула рукой, делайте как хотите.

Ровно в двенадцать часов первого апреля явился к нам Вильяшевич во фраке, белом галстуке, с шапокляк[23] под мышкой, словом, как он выражался, во всем оболванстве. Я уже говорил, что, несмотря на свои пятьдесят лет и седину, он был очень красив. Приятные черты лица, прямой, с маленькой горбинкой нос, высокий лоб, большие серые умные глаза и изящные мягкие манеры. Он носил бороду а lá Скобелев, раздвоенную на две стороны, с чуть заметной пробривкой на подбородке, при его высоком росте, широкой груди, эта борода очень шла к нему; одевался он очень изящно, а в туалете был щепетилен, как женщина, характером он был, что называется, «душа человек», всегда веселый, шутливый, радушный, щедрый до расточительности, не задумывающийся ни перед какой выходкой. Моралист поставил бы ему в упрек разве только его легкое отношение к женщинам, его цинизм во взгляде на них да еще неразборчивость в средствах для достижения известной цели. Впрочем, во всем этом я вполне разделял его мнение, я, как и он, держался того же взгляда, что женщина, в принципе, развратнее мужчины, так как все ее помыслы с детства устремлены к одному вожделению выйти замуж, и ради этой цели придуманы ею всевозможные соблазны: каре, вырезы, «декольте», обтянутые формы и т. п. Женщина живет разумно только в детстве; с шестнадцатилетнего возраста она начинает мечтать о женихе, и ее бросает в жар и холод в присутствии мужчины. В этот период ей ни до саморазвития, она постоянно находится в состоянии нерв-

---

* на траве, на природе *(нем.)*.

ного возбуждения. Выйдя замуж, она, в большинстве случаев, или отдается удовольствиям, или — реже — занимается хозяйством. На свою беду женщина скоро стареет, в 30—35 лет. С этого периода большая часть их начинает жить воспоминаниями, лучшие из них принимаются за саморазвитие, наверстывая упущенное, но так как в этот период и мозги уже не так свежи, и память притупляется, и воображение слабеет, то все эти попытки к саморазвитию постепенно разрешаются в карточную страсть и в страсть к сплетням, пересудам и злоязычничеству.

Впрочем, я увлекся, женщина такая тема, о которую обтрепали языки все философы мира без всяких результатов, а женщина осталась та же, как и в раю, с тою только разницею, что теперь ее не так легко надуешь, как праматерь Еву, напротив, она сама обманет и проведет целое стадо всевозможных змиев.

— Какой вы сегодня интересный,— встретила Вильяшевича Маня, выходя к нему в своем новом полукапоте, чрезвычайно шедшем к ней.

Вильяшевич остановился и шутливо прищурился.

— Что с вами, отчего вы молчите?

— Ослеп, сразу и окончательно,— жалобно ответил тот.— Мэри Николаевна,— я уже говорил, что Вильяшевич так звал Маню,— это даже непозволительно быть такой соблазнительной, посмотритесь в зеркало, и если вы сами не влюбитесь в себя, то я готов голову на сруб.

— Все вздор,— пожала Маня плечами, но не утерпела и мельком покосилась на себя в зеркало. Она действительно в этот день была очень мила. Голубой капот на манер платья, или платье на манер копота, словом, что-то такое среднее, с высоким кружевным воротником, обнажавшим, однако, спереди шею и часть груди, весь был обшит кружевами; широкие разрезные рукава, при всяком движении дававшие возможность видеть руку немного не до плеча; бархатные синие туфельки и какая-то прозрачная, легкая, как паутина, наколка на слегка напудренных, в мелкие колечки завитых волосах: все это весьма шло к ней.

— Вы разоряете вашего мужа нарядами,— шутил между тем Вильяшевич, жадно оглядывая ее стройную, туго затянутую в корсет фигурку,— у него скоро капиталов не хватит.

— Вздор,— сгримасничала Мэри. Слово «вздор» было ее

любимым словечком.— Я так мало трачу на наряды, как никто, ведь все это дешевка,— презрительно покосилась она через плечо на свой длинный шлейф,— эту материю я купила на аукционе у закладчика и сама сшила, родные Феди и то говорят, будто его разоряю, я бы хотела, чтобы они узнали правду, все мои наряды стоят грош.

— Но и в этих нарядах вы очаровательны, надеюсь, что его не испортит эта маленькая багателка, которую я осмеливаюсь преподнести вам в день вашего ангела.

Говоря это, Вильяшевич протянул Мане изящный футляр, на бархатной подушке которого искрилась, переливаясь всеми цветами радуги, золотая, усыпанная дорогими камушками брошка.

— Вы с ума сошли,— воскликнула Маня,— неужели вы воображаете, что я возьму от вас эту вещь.

— Почему же не взять? — растерялся несколько Вильяшевич.

— Почему, потому что эта вещь стоит, по крайней мере, двести рублей, а такого дорогого подарка я принять не могу, ведь я не невеста ваша и не... дама сердца, это только «дамам» такие подарки возят, а мне не за что.

Последнюю фразу она произнесла с худо скрываемым раздражением. Но Вильяшевич был человек, которого смутить было нелегко.

— Напрасно волнуетесь, Мэри Николаевна, извольте выслушать, и вы увидите свою неправоту. Скажите, пожалуйста, от кого у вас этот букет? — указал он вдруг на довольно скромный букет из живых роз, стоявший в вазе на столе.

— От кого? — изумилась несколько Мэри его вопросу.— Это мне сегодня прислал Куневич.

Куневич служил в каком-то страховом обществе, часто бывал у нас и иногда даже ездил с нами кутить. Это был один из близких наших знакомых, он тоже слегка волочился за Маней, как и другие.

— Прекрасно, а знаете ли, что стоит теперь, в апреле, этот букет? Рублей десять, по крайней мере. Куневич получает в год тысячу рублей жалованья, стало быть, 10 рублей составляют одну сотую его ежегодного заработка, у меня же, уж если на то пошло, хоть о таких вещах порядочные люди и не говорят, до сорока тысяч годового дохода, допустим, по-вашему, брошь эта стоит 200 рублей, хотя она

стоит и дешевле,— Вильяшевич врал, как я впоследствии узнал, он заплатил за нее 450 рублей,— то это составит всего только одну двухсотую часть моего дохода, теперь позвольте спросить вас, чей подарок дороже, мой или Куневича, почему же от него вы приняли, а от меня не хотите?

Подобная неожиданная математическая выкладка озадачила Маню, она даже не нашлась сразу, что ответить.

— Но то цветы,— запротестовала было она,— а брошь вещь.

— Тем жальче денег, потраченных на них,— спокойно уверенным тоном отпарировал Вильяшевич,— пройдет дня три-четыре, много — неделя, и над этим букетом будет трудиться дворницкая метла, брошку же вы можете подарить вашей дочери.

— Моей дочери еще всего три года, ей она не надобна.

— Не надобна теперь, понадобится после, когда подрастет; вообразите наконец, что эту безделушку я дарю вашей Лельке, и шабаш, а затем кончимте эту торговлю, она недостойна порядочных людей.

Хитрец знал, на чем поймать Маню, она всегда была очень чутка ко всему, что называется comme il faut*. Воспитываясь в среде более низкой, чем та, в которой находилась теперь, она уже сама постаралась восполнить некоторые пробелы и больше огня боялась mauvais genre**. Перед глазами у нее был пример, жившая в одном доме молодая генеральша, рожденная княгиня, аристократка pur sang***, весь свой век проводившая в клубах на вечерах, пикниках в толпе элегантной, блестящей молодежи. Маня не знала одного, а именно, что на генеральшу эту, несмотря на аристократизм, в ее кругу смотрели как на bette noire**** и если принимали, то ради положения, занимаемого ее старцем мужем, через свою влюбленность не видящим поведения своей жены.

— Федя, что же ты молчишь,— досадливо оглянулась на меня жена,— разве я не права, отказываясь от подарка monsieur Вильяшевича?

---

* хороший тон *(франц.)*.
** дурных манер *(франц.)*.
*** до мозга костей *(франц.)*.
**** пугало *(франц.)*.

— Я даже не понимаю, о чем ты хлопочешь,— зевнул я,— со стороны смешно, ты точно институтка или какая-нибудь белошвейка вроде нашей Палашки, что шьет тебе платья, я как-то слышал, она нашему соседу на лестнице говорила: «Ах, Спиридон Спиридонович, оставьте, не трожьте, что вы, ах отойдите, для чего все эти сюрпризы с вашей стороны, я ведь не из каких-нибудь, а подканцеляриста дочка...»

Должно быть, я удачно представил Палашку, потому что Вильяшевич так и покатился со смеху, даже на кресло сел. Маня вспыхнула до корня волос — она поняла мой намек на свое происхождение, и на глазах ее навернулись слезы, но она тотчас же пересилила себя и сама засмеялась.

— Ну хорошо, я беру ваш подарок, но чем мне бы наградить вас,— задорно сказала она Вильяшевичу.

— Чем? позвольте поцеловать вашу ручку.

— Ручку? — загадочно усмехнулась Маня, и вдруг в глазах ее заблестел недобрый огонек, она искоса взглянула на меня, по лицу ее и по злому выражению глаз я сразу догадался, что она замышляет мне мщенье.— Ручку,— протянула она,— этого мало, ради высокоторжественного дня я позволяю вам поцеловать себя. Ведь целуются же на пасху! — пояснила она, как бы сама себе в одобрение.— Нате, целуйте, но только скорей, а то передумаю.

Говоря это, она подставила свою розовую разгоревшуюся щечку Вильяшевичу, а сама так и впилась в меня злым пытливым взглядом, желая по лицу моему угадать, насколько удалось ей ее мщенье. При всей своей доброте она была иногда порядочно зла, но злость эта уживалась в ней не дольше как молния в небе.

Нечего и говорить, что Вильяшевич не заставил себя просить, в одно мгновенье расцеловал ее так, как она, по всей вероятности, вовсе и не желала ему позволять. На меня вся эта комедия произвела как раз обратно противоположное впечатление, на которое рассчитывала Маня. С одной стороны, угадывая, до чего она в эту минуту в душе и конфузилась и боялась, пожалуй, даже горячо бранила себя за свою минутную вспышку, с другой, представя себе то, что в это мгновенье должен был ощутить Вильяшевич,— я не выдержал и расхохотался самым искренним образом.

Весь эффект пропал даром, Маня вспыхнула, с досадой топнула ногой и, едва сдерживая слезы, ушла к себе в будуарчик, при нашем веселом смехе.

— Охота вам сердить, а главное, в такой день,— укоризненно шепнул Вильяшевич, в то же время едва сдерживаясь от смеха.

— Ничего, пройдет, идемте к ней.

Мы встали и пошли с Вильяшевичем в будуар.

— Слушай, Мэри, ты вольна на меня сердиться, но за что же гостя обижать?

— Что делать, есть ведь пословица даже: «Паны дерутся, а у холопов чубы болят»,— неподражаемо комично развел руками, скорчив гримасу, Вильяшевич. Маня расфыркалась, но продолжала капризно отворачиваться от нас.

— Э, слушай, Мэрька, я вижу, ты не хочешь сама занимать гостя, так я примусь за это дело, а так как Вильяшевича больше всего интересует все, касающееся вас, баб, то я ему выложу из твоих комодов все твои тряпки, пусть займется на досуге.

Говоря это, я сделал движение, будто хочу подойти к комоду. Маня, слишком уверенная в том, что я бы не поцеремонился привести в исполнение свою угрозу, проворно задернула драпировку и уже примирительным тоном заговорила:

— Ну хорошо, я сейчас выйду, проваливайте только отсюда, здесь вам не место.

К обеду, кроме Вильяшевича, съехалось еще несколько человек, в том числе и Куневич. Дам, по обыкновению, не было, я вообще избегал семейных знакомств, предпочитая холостежь, с которой не надо было так церемониться, как с семейными. За обедом Вильяшевич сидел рядом с Маней, я напротив. Он особенно ухаживал за ней, то и дело подливая в ее бокал вино, было весело и шумно, все шутили, острили, смеялись, трунили друг над другом. Могу похвастаться, я пользовался большой симпатией в том небольшом кружке наших близких знакомых, преимущественно холостых, собиравшихся у нас по вечерам. Всем нравилась та непринужденность, то чисто товарищеское отношение друг к другу, та беззаботная веселость, которая царила в нашей небольшой, но уютной квартире. Никто никого не стеснял, каждый чувствовал себя как дома. Кто хотел, мог играть в карты, только не в азартные, во избежание

ссор, кого карты не интересовали, мог болтать и врать, что ему угодно. Вечер всегда заканчивался скромным ужином с обильной выпивкой; иногда, не довольствуясь тем, что я предлагал им, раскутившиеся гости сами посылали за вином, чем сначала повергали Маню, как хозяйку, в неистовый конфуз, но к чему наконец она должна была привыкнуть. Если попойка начинала переходить в оргию, Маня незаметно исчезала из комнаты и запиралась у себя, предоставив нам творить в остальных двух комнатах, четвертая была детская, все, что нам угодно.

Наблюдая Маню, я заметил, что именинница на меня злится. Несмотря на всю свою доброту, на сей раз, видно, моя шутка сильно задела ее за живое, и она не могла простить мне. Я несколько раз замечал на себе ее сердитый взгляд, и, должно быть, в отместку мне она сегодня особенно была любезна с Вильяшевичем, Куневичем и одним белобрысеньким морским офицером, дальним родственником ее дяди майора Брасулина, который был тут же в своем мундире старого фасона и с Ксенофонтом в передней.

— Ну, господа,— закричал Вильяшевич, своим громким голосом покрывая шум прочих голосов,— пора и ехать, кто едет — направо, кто не едет — налево, не едущие могут поцеловать ручку хозяйке и убираться к черту, пообедали, и будет с вас. Вы, дядюшка,— обратился он к майору Брасулину,— едете?

— Куда мне, домой пора,— запротестовал тот.

— Пустяки, едем, веселее будет, я уже и пары составил: в моей коляске едет Мэри Николаевна, вы, дядюшка, я да еще кого-нибудь, только не мужа, а то при нем ухаживать нельзя.

— Ну уж я, кажется, не мешаю,— крикнул я, услыхав его последние слова,— чего лучше доказательство — сегодня при себе целоваться позволил.

— Как целоваться,— раздались голоса,— расскажите, что такое?

— Федька, не смей! — с каким-то отчаянием в голосе закричала Маня.— Милый, голубчик, не смей!

Но я не обратил внимания на ее просьбу и тут же со смехом рассказал всем о случившемся поутру.

Это была бестактность, от которой даже Вильяшевич покраснел. Маня же вдруг побледнела как полотно.

— Хорошо же,— угрюмо шепнула она, проходя мимо,—

ты сегодня же раскаешься, и я тоже подшучу над тобой!

— Не понимаю, на что ты так обижаешься,— насмешливо пожал я плечами.

Гости тем временем разбились на две группы. Одна побрала шапки и ушла, остались только участники пикника. В коляске Вильяшевича, как он и проектировал, поехали Маня, Брасулин и сам Вильяшевич, в троечной пролетке Куневич, белобрысый офицер и я, сзади на лихаче еще двое. Таким образом составилось довольно многолюдное общество.

Не буду описывать нашего кутежа в «Славянке», скажу только, что под конец Брасулин так расходился, что вдруг предложил всем ехать из «Славянки» к нему. Произошло разногласие: Маня, Вильяшевич и белобрысый офицерик стояли за то, чтобы отправиться к Брасулину, Куневич и я настаивали ехать домой, двое остальных тем временем под шумок удрали к цыганкам. В конце концов решили так: Брасулину ехать вперед, предупредить о неожиданном нашествии в 2 часа ночи таких беспокойных гостей, а нам через час ехать за ним следом.

В этот вечер Маня особенно много пила шампанского, пила она с каким-то мрачным ожесточением, со мной она не проронила ни одного слова за все время ужина, только изредка злобно вскидывала на меня свои блестевшие угрюмым огоньком глаза. Она все время занималась почти исключительно одним Вильяшевичем. Очевидно, она бравировала, стараясь досадить мне, но я оставался неуязвим, чем еще больше разжигал ее досаду.

Виновница нашей ссоры, роковая брошка, была на ней и сверкала ослепительно на черном бархате лифа. Я понял, что она нарочно и лиф этот надела для того, чтобы брошь выделялась резче, это была тоже в своем роде демонстрация против меня. Видя явное желание со стороны Мани дразнить меня, я старался как можно меньше обращать на нее внимания. Несмотря на ее необычное поведение, я был совершенно спокоен, так как в конце концов был более чем уверен, что как бы Маня ни была на меня сердита, она не сделает не только дурного, но даже и опрометчивого шага.

— Ну, господа, не пора ли нам и ехать,— вынул Вильяшевич свой прекрасный хронометр,— уже больше часу прошло, как уехал наш почтенный майор, я думаю, он нас заждался.

Все поднялись с мест, кроме белобрысенького офицерика. Вильяшевич во все время ужина усердно спаивал его, и теперь он был в положении моряка во время сильной качки.

— Вы уж его возьмите с собой,— шепнул рассудительно Вильяшевич, подмаргивая нам с Куневичем на бравого моряка,— а то чего бы с ним не случилось в коляске, я поеду с Мэри Николаевной.

Таким образом компания разделилась. Я, Куневич и едва живой белобрысый офицерик поместились в троечной пролетке, а Маня с Вильяшевичем в его коляске. Если бы Маня не сердилась на меня, она бы, я уверен, захотела, чтобы я ехал с нею, да наконец и я сам не отказал себе в этом удовольствии. Я любил, когда жена моя была немного в возбужденном состоянии после нескольких бокалов шампанского, это придавало ей в моих глазах какую-то особенную прелесть, но теперь, опасаясь капризов, я первый поспешил уклониться от возможности неприятного tête a tête* и поторопился, усадив кое-как моряка, сесть с Куневичем в пролетку.

— Трогай! — крикнул я ямщику. Лошади подхватили. Вильяшевич в эту минуту, подсадив Маню в коляску, неторопливо давал на водку швейцару. Мельком я видел, как он уже заносил ногу на подножку коляски, а гигантского роста силач кучер едва-едва сдерживал прозябнувших на ночной сырости серых красавцев рысаков.

Надо сказать, что у Вильяшевича коляска была на резиновых шинах. Шины эти тогда только что входили в моду и стоили очень дорого, а потому все столичные богачи тотчас же обзавелись ими.

Быстро скакала лихая тройка на неровной мостовой Васильевского острова и наконец остановилась у хорошенького крылечка брасулинского дома. Квартира Брасулина была освещена, и сам майор уж не раз выбегал посмотреть, не едем ли мы.

Вылезая из пролетки, я только сейчас заметил отсутствие Вильяшевича коляски; признаться, мне и раньше почему-то казалось, что коляска не едет сзади, но я объяснял отсутствие шума колес — резиновыми шинами, стук же

* соседства *(франц.)*.

копыт лошадей Вильяшевича был заглушаем топотом нашей тройки.

— Где же Мария Николаевна и Вильяшевич,— спросил Куневич, оглядываясь вокруг,— уж не случилось ли что-нибудь?

— Чему случиться? просто, может быть, кучер другой дорогой поехал,— ответил я небрежно, хотя в душе это исчезновение меня самого несколько смутило.

— Где же Маничка? — спросил майор.

Я ответил ему тем же предположением, что и Куневичу.

Стали ожидать; однако прошел час, полтора — их нет, я уже начал сильно беспокоиться, но храбрился и не показывал виду.

Однако, чем дальше подвигалось время, тем наша компания становилась все сумрачней. К счастью, белобрысый офицерик давно уже храпел в кабинете Брасулина. Напрасно добродушный майор, видимо едва пересиливая свое волнение, из кожи лез, шутя и балагуря, разговор не клеился. Куневич насупился и раза два подозрительно пристальным взглядом посматривал на меня, у меня же, что называется, сердце было не на месте. При малейшем стуке на улице мы все вздрагивали и настораживались, прислушиваясь, не брякнет ли колокольчик.

Так прошло часа два, ни Маня, ни Вильяшевич не являлись.

В самом мрачном настроении духа поднялся я по лестнице и позвонил в свою квартиру. Мне тотчас же отворили.

В передней, на вешалке, я увидел женино пальто.

— Стало быть, дома,— мелькнуло у меня.

— Давно барыня приехала? — спросил я отворявшую мне прислугу.

— Барыня уже меня спосылать за вами хотела.

— Куда?

— А к дядюшке. Кабы вы, сударь, еще с минутку не пришли, я бы поехала, оне и деньги на извозчика дали.

Я молча прошел в спальню. Жена стояла у зеркала, но уже переодевшись, и казалась очень взволнованной и смущенной. Увидав меня, она вспыхнула и нерешительно сделала шаг ко мне.

— Федя, послушай,— заговорила она нервно,— я хочу,

чтобы ты меня выслушал, я уверена, ты думаешь бог знает что...

Она говорила так искренно, что подозрения мои тотчас же рассеялись, достаточно было взглянуть в ее чистые, смело глядящие мне в лицо глаза, чтобы тотчас же увериться в ее правоте.

XII

Вскоре после этого произошла моя встреча с некой особой. Встреча эта, незначительная сама по себе, впоследствии повела к роковым последствиям и играла в нашей жизни первенствующую роль. Произошла эта встреча следующим образом. Однажды на вечере у одних моих знакомых, где я бывал очень редко, а жена никогда, я увидел даму, с которой доселе нигде не встречался. Это была женщина лет 23—25, высокого роста, прекрасно сложенная и хотя и не особенно красивая собою, но весьма привлекательная; лучше всего были ее глаза, большие, черные, с каким-то особенным матовым блеском, длинными, пушистыми ресницами под красиво очерченными густыми, черными бровями. Она была брюнетка и немного смугловата. Меня представили ей, и мы разговорились. Я узнал, что муж ее служил чиновником в провинции недалеко от Петербурга в одном из уездных городов, где он жил безвыездно, тогда как она очень часто посещала столицу, где у нее было множество знакомых, преимущественно в мире литературном. Дело в том, что Вера Дмитриевна Огонева, так звали мою новую знакомую, была сама отчасти пристегнута к литературному миру: она очень удачно переводила с французского, немецкого и английского языков небольшие повести и романы. Кроме того, она подбирала к нотам слова романсов. Ко всему этому она недурно рисовала и в некоторых иллюстрированных журналах часто попадались ее рисунки и виньетки, словом, особа была очень талантливая, умная, начитанная и веселая. Вышло как-то так, что мы почти весь вечер просидели вдвоем. Бывают случаи, происходит ли то по взаимной симпатии или по каким другим причинам, не умею объяснить, но люди, встретившись в первый раз, вдруг почувствуют друг к другу непреодолимое доверие и тут же при первом же знакомстве, разгово-

рившись, что называется, по душе, сообщат друг другу много такого, чего другому не сообщат и через два года знакомства. Подобное случилось и с нами. Проболтав всего каких-нибудь два-три часа, мы уже в общих чертах знали все прошлое и настоящее друг друга. Из слов Веры Дмитриевны я узнал, что она сирота и воспитывалась в Петербурге в одном из закрытых пансионов, где считалась одной из талантливейших учениц. Еще в бытность свою в старшем классе она перевела какой-то рассказ Брет-Гарта, рассказ этот был, через одну из ее подруг, дочь писателя, напечатан в одном из толстых журналов. Выйдя из пансиона и поселившись у своей тетки, вдовы офицера, убитого в последнюю турецкую войну, Вера Дмитриевна принялась с рвением за переводы, и скоро ее имя стало известным в редакциях как имя талантливой, прекрасно знающей языки переводчицы. К сожалению, она поторопилась выйти замуж. Муж ее, невидный чиновник, служивший сначала в Петербурге, но после свадьбы переведенный в провинцию, был человек более чем посредственный, и даже странно, что такая развитая девушка, как Вера Дмитриевна, решилась связать себя с подобным субъектом. Он мало того что был глуп, но и груб, ревновал ее самым идиотским образом и долго не соглашался позволить ей продолжать свою литературную деятельность, но она все-таки же успела отвоевать себе это право, впрочем, хотя он под конец и уступил, тем не менее продолжал постоянно брюзжать и утверждать, что единственное призвание женщины — хозяйничать дома и нянчить детей. Положение Веры Дмитриевны было тем тяжелее, что неразвитое провинциальное общество смотрело глазами ее мужа; по его понятию: актриса, музыкантша, хотя бы и консерваторка, писательница, женщина, занимающаяся живописью, и курсистка — подходили под общую категорию. Жена должна дома сидеть, детей нянчить и мужу угождать — вот девиз этого общества. Если она, бросив пеленки, кухню и мужнины носки, берется за книгу или начнет разговор, где затрагивается что-либо более общечеловечное, мужья такого сорта начинают дуться, говорить пошлости, насмехаться и нарочно унижать жену, даже в глазах постороннего. Такой муж предпочитает, чтобы о жене думали, что она дура и по глупости занимается вопросами, которые для нее как для коровы — седло, лишь бы, избави бог, не подумали, что жена умнее его, образо-

ваннее и начитаннее. Правда, тяжело бороться: на такую революционерку сыплются насмешки, попреки, сплетни, словом, всякая гадость. И чем эти ничтожные и достойные всякого презрения выходки пошлее и грубее, тем они, конечно, неотразимее, потому что самая их пошлость служит им бронею. В подобном положении была и Вера Дмитриевна, а потому и неудивительно, что вполне отдыхала она душою только в столице, в сочувственном для нее кружке литераторов, музыкантов, живописцев и т. п., куда она приезжала несколько раз в году, привозя с собой заготовленные рисунки, ноты и переводы.

Судьбе угодно было, чтобы мне тут же при первом знакомстве пришлось взять на себя одно ее поручение, которое она, уезжая на другой день обратно к себе домой, сама не могла исполнить. К сожалению, до отъезда ее мне поручения этого исполнить не удалось, о чем я пришел сообщить ей на вокзал. Мы посидели с ней до отхода поезда, с которым она уехала, а я пошел домой, обещав ей прислать ответ в письме. Если бы в то время жена моя не находилась в том постоянно дурном расположении духа, о котором я говорил, я бы не преминул рассказать ей о встрече и знакомстве моем с Огоневой, таких знакомств было много, а год тому назад, в период нашего бедствования, я открыто ухаживал за одной актрисой, и жена, зная это, не только не сердилась, но, напротив, подтрунивала надо мной, шутя спрашивала меня, как идут успехи моего ухаживанья. Но тогда она не была такою, тогда с ней можно было говорить откровенно, не боясь того, что она не сумеет отличить белого от черного и серьезного от шутки. Теперь же на нее нашел дурной стих, вследствие чего я избегал с ней всяких разговоров, убедившись, что, о чем бы мы ни начали говорить — кончим ссорой. В силу этого, я счел за лучшее ничего не говорить ей о моем новом знакомстве. Прошло месяца два, я давно исполнил в точности поручение Веры Дмитриевны, о чем известил ее, и получил в ответ хорошенькую записочку, в которой она выразила мне свою благодарность, но в самых общих, лаконических выражениях. Тем наша переписка и кончилась. По-видимому, не было никакой надежды на то, чтобы она возобновилась, как вдруг, месяца полтора спустя, я получаю от Веры Дмитриевны письмо, поразившее и изумившее меня не на шутку. Насколько я мог догадаться по общему характеру

письма, у моей новой знакомой случилась какая-нибудь крупная неприятность, под впечатлением которой, желая с кем-нибудь поделиться своим горем и обидой, она, не долго думая, написала мне письмо следующего содержания:

«Мой хороший, новый друг!

Я часто вспоминаю нашу встречу. Помните, как мы проболтали с Вами весь вечер у Z, я даже не забыла некоторые темы нашей беседы. Особенно живо осталось мне в памяти все то, что Вы говорили мне относительно эгоизма любви, разумеется супружеской. Есть другая любовь, но та не эгоистична, а, напротив, вся, так сказать, основана на взаимном самопожертвовании. Супружеская же любовь вся пропитана эгоизмом, и я в этом все больше и больше убеждаюсь. Мне особенно понравилось Ваше меткое сравнение двух супругов с сиамскими близнецами, которые, хотя порой до смерти надоедают друг другу и даже, пожалуй, ненавидят один другого, тем не менее дрожат за жизнь и здоровье своего соседа, так как болезнь одного отзывается на другом. Нечто подобное испытываю и я...»

Дальше были глухие намеки на придирчивый характер мужа, на невозможность серьезно отдаться делу, которое любишь всей душой, на те стеснительные условия, не позволяющие оставить мужа, без того, чтобы из этого не произошло большого скандала, и т. д. и т. д. в том же роде, хотя все больше намекалось в полусловах, общими местами. Прочитав это письмо, я прежде всего несколько как бы сконфузился. Выходило, будто я, ненароком, попал в задние комнаты семейной квартиры, комнаты, куда гостей не пускают и где скрывается самая святая святых каждой семьи. Но вместе с тем я был крайне польщен, мое самолюбие тешило быть конфидентом[24] такой особы, как Огонева, о которой я слышал как о женщине гордой, мало обращающей внимания на своих многочисленных ухаживателей, и вдруг такое доверие, такое расположение ко мне. Что я для нее такое? друг?! а если больше чем друг? голова моя закружилась, в перспективе мне уже представился целый интересный роман, о каких я только до сих пор читал, но никогда не был действующим лицом. Роман с неглупой, замужней женщиной это такой соблазн, что можно голову потерять. Сколько новых ощущений, тревог, волнений,

радостей, целая неведомая волшебная страна... фантазия моя разыгралась, и вот, под впечатлением всего этого, я сел и написал ответ, под которым с восторгом подписался бы любой сумасшедший.

Об жене я тогда почти не думал. Могла ли ее любовь, бледная и бесцветная, любовь законная, идти в сравнение с тою, как мне казалось, пылкою страстью, которая ожидала меня, если бы мое предположение сбылось; эта страсть сулила мне целое море наслаждений, и, казалось, стоило только броситься в него, чтобы быть на верху блаженства.

Но как ни легкомысленно смотрел я на это дело, но все же в душе я не был совершенно спокоен, так как чувствовал себя не совсем-то правым перед женой, больше всего смущало меня ее безграничное доверие ко мне. Казалось, что даже самая мысль о возможности измены с моей стороны не западала ей в голову. Слишком надеялась она на свое обаяние, испытанное в прошлом году, не понимая, что обаяние исчезло. Доверчивость ее в этом отношении доходила до того, что она бы не поверила, если бы я сам признался ей, что люблю другую, но меня эта доверчивость просто бесила, и я все чаще и чаще, иногда даже не желая, а скорее невольно, под влиянием досады, начинал развивать перед нею мою любимую теорию о невозможности со стороны мужчины долго быть верным одной женщине; разнообразие настолько свойственно человеческой натуре, что даже ради крепости семейных уз мужчина должен время от времени искать себе развлечений вне семьи, и это не только не ослабит и не расстроит семейного согласия, но, напротив, укрепит его, так как в противном случае жена может просто-напросто опротиветь до тошноты. Она слушала мои разглагольствования, сердилась, когда была не в духе, смеялась, когда была в хорошем расположении, но ей и в голову не приходило, что эта теория может быть применима к ней самой.

— Что бы ты сделала,— спросил я ее однажды,— если бы я полюбил другую женщину?

— Ты бы этого никогда не сделал,— с уверенностью ответила она.

— Почему?

— Это было бы слишком жестоко с твоей стороны, да и с чего бы тебе изменить мне, ты, кажется, не имеешь оснований быть мною недовольным.

— Ну, а если бы? — настаивал я. Она задумалась.

— Я бы отравилась или умерла в чахотке,— ответила она наконец после некоторого размышления.

«Ну это вздор»,— подумал я, но ничего не сказал, и тем наш разговор кончился.

Написав Вере Дмитриевне письмо, я с лихорадочным нетерпением стал ждать ответа. Но проходили дни за днями, неделя за неделей; прошел месяц-другой, ответа не было. Я наконец решил, что она, верно, обиделась моим письмом и не желает продолжать знакомства.

Сначала это меня очень огорчило, но, когда мало-помалу волнения мои улеглись, я даже обрадовался такому обороту дела.

«Дальше моря, меньше горя!» — подумал я. Хотя возможность романа между нами и льстила моему самолюбию, но тем не менее это обстоятельство могло наделать мне много хлопот и неприятностей. К тому же и отношения мои к жене значительно улучшились. По мере того как она поправлялась от болезни, она становилась спокойнее душою, к ней вернулась ее игривость, кокетство, и хотя она уже не была так хороша, как в прошлом году, к тому же и вести себя стала гораздо скромнее, но нравиться еще могла. В отдельные кабинеты ужинать мы больше не ездили, но взамен этого время от времени устраивали в своем будуарчике вечера: покупалось вино, конфеты или сладкий пирог, и таким образом производился маленький кутеж; темой разговоров в такие вечера были или воспоминания «сумасшедшего года», или воспоминания о нашем детстве. Несмотря на то, что мы во всех подробностях знали прошлое друг друга, нам было весело и интересно рассказывать один другому то, что уже двадцать раз было рассказываемо. Иногда, при особенно хорошем расположении духа, Маня брала гитару и вполголоса напевала заученные ею мотивы оперетток.

Не получив ответа на свое письмо, я мало-помалу почти совершенно забыл о Вере Дмитриевне, как вдруг в один прекрасный день, придя к себе в контору, я нашел на своем столе следующую, заключенную в миниатюрный конвертик записочку.

«Я приехала вчера с курьерским и остановилась у Z. Заходите сегодня вечером, поболтаем.

Известная вам В. О».

Прочтя эту записку, я почувствовал, как заснувшее было во мне чувство пробудилось с новой силой. Весь день я горел как на медленном огне и, лишь только наступил вечер, помчался к Z, где всегда останавливалась Вера Дмитриевна, приезжая в Петербург. Z были ее старинные друзья, и у них для нее всегда была особенная комната прямо из передней, где она могла располагаться, никого не стесняя и никем не стесняемая. В описываемое время Z не было в Петербурге, Вера Дмитриевна была полной хозяйкой всей квартиры и жила одна с оставленной при квартире горничной. Последнее обстоятельство я сообразил уже в ту минуту, как звонился в квартиру Z.

XIII

Вера Дмитриевна, очевидно, ждала меня, ибо не успел я позвонить, как она сама отворила мне дверь.

— Ах, это вы,— весело затараторила она,— давно не виделись мы с вами, я вас даже и не узнала сразу, ну снимайте ваше пальто да проходите в эту комнату, я сейчас приду, велю чай подать.— Она ушла, а я направился в ее комнату. Комната оказалась большая, в два окна, перегороженная драпировкой, за которой виднелась кровать. На диване валялись перчатки и веер, на кресле, перекинувшись через спинку, покоилось черное, очевидно визитное, платье, на комоде открытая картонка со шляпой, один ящик комода немного выдвинут, ключи на полу, словом, всюду, что называется, поэтический беспорядок в смешении с сильным запахом духов и массой всяких коробочек и баночек на туалетном зеркале, напоминающий закулисную уборную какой-нибудь актрисы.

«Барынька-то размахай, кажется! — подумал я.— Это хорошо». Пока я пристально приглядывался к убранству комнаты, стараясь по разным мелочам угадать характер ее обитательницы, вошла Вера Дмитриевна. Она была одета в длинный капот из какой-то причудливо разрисованной пестрой материи, весь обшитый кружевами, с широкими рукавами, с небольшим вырезом, дававшим возможность видеть ее смуглую шею и часть бюста. Такие вырезы были тогда в моде.

Как я уже говорил, Вера Дмитриевна не была очень

хороша собою. Несколько широкое, скуластое лицо, крупный вздернутый нос, смуглый цвет кожи напоминали немного калмычку, но зато она была высока ростом, с прекрасно развитым бюстом, стройной талией. Волосы у нее были роскошные, цвета воронова крыла, густые и длинные, но лучше всего были глаза: большие, черные, с поволокой, с длинными бархатными ресницами и словно бы кисточкой нарисованными бровями. Манерами она напоминала актрису, что придавало ей большую пикантность в моих глазах. Она вошла, шурша длинным шлейфом, и, небрежно опустясь на диван, тотчас же заговорила:

— Ну-с, давайте болтать: что у вас новенького, я так давно не была в Петербурге, что, мне кажется, прошла целая вечность.

— Нового мало,— отвечал я, зорко тем временем присматриваясь к ней и изучая ее. Мне хотелось как можно скорее разгадать эту женщину, понять ее всю, чтобы знать, как держаться с нею.

Переступая порог ее комнаты, я решил во что бы то ни стало, какою бы то ни было ценою добиться ее расположения, рано ли, поздно ли. «Ведь если бы она не желала сойтись со мною,— думал я,— для чего бы ей было меня вызывать, особливо после моего письма, несомненно ею полученного и в котором я прямо говорил ей о своей любви». Ко всему этому я сразу заметил, как, несмотря на кажущуюся развязность и непринужденность, Вера Дмитриевна не то как будто конфузилась чего, не то робела. Это что-то, очевидно, было воспоминание о наших письмах, которыми мы обменялись с нею. Обстоятельство это я объяснил в свою пользу и тем смелее решился говорить с ней.

— Вера Дмитриевна,— начал я,— вы не сердитесь?

— За что? — притворно удивилась она, хотя, я более чем уверен, сразу догадалась, о чем речь.

— За мое письмо.

— Ах, за письмо, но за что же мне было сердиться? Если вы позволили себе написать то, чего бы писать не следовало, то это только вследствие нашего обоюдного недоразумения.

— Как недоразумения, извините, я вас не понимаю.

— А конечно ж недоразумения, мы не поняли друг друга. Я написала вам письмо, которого не должна была

писать, вы мне ответили так, как бы ответил любой из вас мужчина в подобном случае.

— Вы, стало быть, раскаиваетесь, зачем писали мне, находите меня недостойным вашего доверия?

— Тут дело не в достоинстве, а в том, что я ошиблась, думала видеть в вас одно, а нашла другое.

— Извините, я опять-таки не понимаю вас, будьте добры, объясните, что вы хотите всем этим сказать?

— Вы хотите?! — кокетливо улыбнулась она, бросив исподлобья быстрый насмешливый взгляд.— Извольте, только чур, на правду не обижаться!

— Только тупицы обижаются на правду.

— Будто бы? ну да не в этом дело, вы хотите знать мое мнение насчет всего случившегося. Извольте, только предупреждаю, вам придется выслушать кое-что для себя не особенно приятное.

— Пусть будет так,— засмеялся я,— мне все равно: страдать иль наслаждаться, страдать привык уж я давно.

— В таком случае слушайте. Помните нашу первую встречу? Помните, как мы между прочим коснулись вопроса о дружбе и тогда же разошлись во мнениях. Я утверждала, что мужчина не способен на дружбу с женщиной, если только эта женщина молода и хороша собой, так как сейчас же старается из друзей попасть в...— Она засмеялась, затрудняясь докончить свою мысль.

— В любовники, хотите вы сказать,— подсказал я довольно грубо. Я начал понимать, куда клонится речь, так как чувствовал, что на этой почве буду рано или поздно разбит, то я даже крайне начинал досадовать. Она это тотчас же поняла.

— Цесарь, ты сердишься, стало быть, сознаешь себя неправым, но будем продолжать. Итак, я утверждала, дружбы быть не может, и, конечно, не по вине женщины; женщина на такую дружбу вполне способна, это аксиома, но мужчину одна дружба не удовлетворяет, он ищет другого, более сильного ощущения. Это я говорила тогда, скажу и теперь; не знаю, как в настоящую минуту смотрите вы на этот вопрос, но в то время вы напали на меня за такую ересь и стали красноречиво убеждать в противном, вы оспаривали мое мнение, что мужчины обращают сильное внимание на внешность и довольно глухи и слепы к внутренним качествам женщин. Напротив, говорили вы, умная женщина прежде

всего поражает мужчину своим умом, настолько, что он даже иногда не обратит почти внимания на ее внешность. Далее вы толковали что-то на тему взаимного уважения, солидарности взглядов, серьезности в обращении одного пола к другому — словом, много было говорено и все в доказательство справедливости вашей теории. Сознаюсь, вы меня тогда совсем сбили с позиции и чуть-чуть не заставили взять свои слова обратно. Ваше обращение со мною служило как бы подтверждением ваших слов; оба раза, как мы виделись с вами, вы относились ко мне именно так, как бы оно и следовало, я не услышала от вас ни одного комплимента, никаких любезностей, никакого рыцарства, взамен всего этого простое дружеское расположение, как к хорошему товарищу. Ваше первое письмо было написано в том же тоне, то же деловитое товарищество, с каким бы вы писали к любому из ваших знакомых. Признаюсь, оно мне очень понравилось, и я уже готова была сознать себя окончательно побежденной, признав, что дружба между мужчиной и женщиной возможна, как вдруг на мое уже чисто дружеское письмо, какое бы я написала к любой своей подруге, если бы у меня таковая была, я получаю от вас форменный billet-doux*, достойный петиметра Первой империи[25]. Я уверена, дай я вам его прочесть теперь, вы бы покраснели сами, чего, чего только там не было, я даже и не ожидала от вас столько пыла: вы мне показались тогда, при первой встрече, таким рассудительным, неспособным на увлечения. Эге, подумала я, далеко же у Федора Федоровича г-на Чуева слова расходятся с делом; пророк не выдержал и первого испытания...

— Все, что вы говорите, Вера Дмитриевна, была бы правда,— начал я как можно сдержаннее, умышленно холодным, небрежным тоном,— если бы, припоминая мои фразы, вы потрудились припомнить и сказанное мною под конец нашего разговора; помнится, я тогда же сделал оговорку, поставив непременным условием подобной бескорыстной дружбы, чтобы физически сдружившиеся мужчина и женщина не нравились один другому, например: мужчина не любит женщин с огненными волосами или чересчур маленьких и т. п., влюбиться он в такую женщину не может,

---

* любовную записку *(франц.)*.

а потому и дружба с нею вполне гарантирована от всяких увлечений.

Вера Дмитриевна весело рассмеялась:

— Вы софист, не хуже любого адвоката. Мне ваша фраза напоминает басню Крылова «Лиса строитель», помните: «...да только для себя оставила лазейку».

— Ничуть не лазейку,— начал я злиться не на шутку, сознавая, что она понимает меня всего насквозь,— да наконец, мало ли что я говорил, пока...

— Пока что? — насмешливо прищурилась она.

— Пока я не почувствовал того, что чувствую теперь.

— А что вы чувствуете теперь? — задорно спросила она.

— Что?! Вы хотите знать, только чур, уже тоже в свою очередь не обижайтесь.

— Вы думаете, я не знаю, что вы сейчас скажете? — вдруг переменила она тон и холодно добавила: — Я так хорошо это знаю, что готова сказать за вас.

— Говорите, если уж вы такая серцеведка.

— Извольте, только опять предупреждаю, для вас будет мало приятного слушать. Начать с того, что вы вовсе не чувствуете того, о чем собирались говорить... не перебивайте, я вам это готова доказать как дважды два — четыре. Посудите сами, как можно поверить тому, чтобы, не чувствуя ничего раньше, вы только по получении моего письма, месяц спустя после нашей встречи, воспылали ко мне страстью, не проще ли это объяснить так, как я себе объясняю, а именно: при первой встрече вы были далеки от каких бы там ни было видов; вы женаты, я замужем, живем не в одном даже городе, встретясь раз, могли второй раз никогда не встретиться, вы поэтому и отнеслись тогда ко мне вполне просто, как к человеку постороннему. Под таким впечатлением было написано и первое ваше письмо, вы писали только о деле; но вот вы получаете от меня письмо, сознаюсь, написанное в минуту раздражения на окружающую меня обстановку, в этом письме я вскользь жалуюсь на мужа, на свою жизнь, на свое положение... А! думаете вы, барынька недовольна, барынька несчастлива, мужа своего не любит, а женщины, по общепринятому мнению, без любви жить не могут, не предложить ли себя в качестве утешителя — и вот вы пишете письмо, горячо объясняетесь в любви, которой нет и не могло быть, так как любовь внезапно не приходит, пишете, как какой-нибудь шестиклассник-гимна-

зист, и сами не замечаете, как в каждой фразе вашего письма сквозит желание дешевой победы, развлечение от скуки. Разве я не правду говорю, ну-тка сказывайтесь.

— Вы пользуетесь тем, что вы женщина,— с едва сдерживаемой досадой проворчал я,— вы безнаказанно оскорбляете меня, оскорбляете святость моих чувств...

— Которых у вас нет, повторяю вам, нет и быть не может,— горячо перебила она,— да наконец, какое мне дело, есть ли они или нет, я, по крайней мере, с своей стороны долгом считаю сказать вам, что вы мне как мужчина даже и не нравитесь, вы герой не моего романа, иметь вас своим другом я бы была очень рада, мне нравится ваша манера говорить, притом и взгляды наши в общем сходны — но,— она слегка покраснела и замялась,— но тем, чем вы бы желали, чтобы я была для вас, увольте, э т о г о для меня и дома слишком много, от поцелуев и от того, что вы называете страстью, я и дома не знаю, куда деваться, а того, что мне надо, у меня нет.

— Чего же вам надо?

— Дружбы, той дружбы, о которой вы так красноречиво говорили, но на которую с первого шага оказались неспособны. Мне надо иметь человека, с которым бы я могла поговорить по душе, посоветоваться... Таким человеком должен быть непременно мужчина, подруга мне не годится, я сама больше мужчина, чем женщина, для женщин я кажусь даже неестественной, то, что их интересует, мне не интересно нисколько, и наоборот... Хотите,— добавила она вдруг, быстро протягивая мне руку,— хотите мою дружбу, я охотно возьму вас своим другом, но с условием, выбросить раз навсегда всякую надежду на что-либо иное, кроме дружбы, ни слова о любви, ни малейшего намека, в противном случае лучше расстанемся, хотите?

— Согласен,— сказал я, улыбаясь, и крепко пожал ее руку. «Начнем с дружбы, а там видно будет»,— подумал я про себя.

В этот вечер мы просидели с нею довольно долго, разговор вертелся на самых обыденных вещах, немного позлословили насчет общих знакомых, поспорили на разные темы и наконец уже далеко за полночь расстались, повидимому, как нельзя более довольные друг другом. Она сама проводила меня и на прощанье крепко пожала руку.

— Я пробуду с неделю, приходите, когда вздумается, рада буду вас видеть, чем чаще, тем лучше.

— Я рад бы был ходить каждый день! — не выдержал я.

— Ну, для дружбы это было бы чересчур часто,— хитро улыбнулась она,— но, впрочем, мы и так почти каждый день будем видеться. Завтра вечер у Бартышевых, вы, я думаю, там бываете, я еду туда, меня приглашали сегодня утром.

— Почти никогда, но ради удовольствия видеть вас я готов принести жертву и ехать к Бартышевым.

— Неисправим, хоть брось! — погрозила она пальцем.— Помните условие: никаких комплиментов от друзей не требуют.— Сказав это, она юркнула в дверь и заперлась, а я впотьмах стал осторожно спускаться с лестницы.

Не скажу, чтобы я был в особенно приятном расположении духа, меня до боли злило и бесило сознание того, что Вера Дмитриевна сразу и вполне разгадала как самого меня, так и мои намерения. Я злился на нее до того, что готов бы был ей отомстить, но чем? Я мысленно то принимался бранить ее, называя кокеткой, много о себе думающей, пустой болтушкой, то восхищался ею, припоминая ее красивые позы, ее улыбку, долгий, чарующий взгляд, ее меткие словечки и фразы... Я чувствовал, как увлекаюсь все больше и больше, и это было тем мне досаднее, чем яснее я сознавал всю трудность, короче сказать, всю невозможность какого-либо успеха.

«На кой черт мне ее дружба,— думал я,— дружба между мужчиной и женщиной; дураки выдумали эту шутку, сказали таким же дуракам, а те и поверили. Вот что значит говорить против своего убеждения — черт меня дернул распинаться тогда, в тот вечер, живописуя ей эту анафемскую дружбу,— думал угодить. Гораздо бы лучше, если бы я ей сказал то же самое, что этой чучеле Пряшниковой, та тоже было предлагала свою дружбу. Эк досадно, сам себя запутал, руки связал». Я живо вспомнил наш разговор с Пряшниковой — эксцентричной старой девой, помешанной на святой дружбе, взаимной помощи, самоотречении, самопожертвовании и т. д., и т. д.

— На кой черт мужчине ваша дружба,— осадил я ее,— что он с ней делать станет?

— Как что делать,— изумилась она,— ведь дружатся же мужчины между собою.

— Это дело другое, мужчина с мужчиной может, а с женщиной — нет.

Я вернулся домой в самом скверном расположении духа; ни с того ни с сего придрался к жене и наговорил ей кучу неприятностей. Сначала она было храбро защищалась, подобно настигнутому собаками котенку, но наконец не выдержала и заплакала. Это меня образумило, мне стало жаль ее, и я поспешил чем-нибудь загладить свою грубость. Жена моя была не из злопамятных. Еще слезы не успели высохнуть на ее глазах, как она уже смеялась и, ласково улыбаясь, протянула ко мне свое разгоревшееся личико.

С этого дня началась та мучительная двойственность в моих чувствах, которую я не мог никак победить в себе, в конце концов доведшая меня до несчастия. Если бы кто спросил меня тогда: люблю ли я Веру Дмитриевну, то ответ мой зависел бы от того, где бы я находился в момент вопроса — дома или у Веры Дмитриевны. Даже я бы ответил — нет! и был бы прав. Действительно, когда жена моя была около меня и я всецело был под ее магическим влиянием, никто другой не мог мне нравиться больше ее. Не только она сама, но даже ее вещи сильно действовали на мои нервы. Она еще в прошлом году изобрела какие-то духи — смесь различных букетов, и этими духами было пропитано все, к чему она прикасалась. Я страшно любил запах этих духов и иногда, найдя ее платок, подолгу впивал в себя их одуряющее благоухание. Чем слабее становилось ее нравственное на меня влияние, тем, напротив, сильнее становилось физическое. Первые года после нашей свадьбы я находил удовольствие говорить с нею о разных отвлеченных предметах, читал с нею вслух произведения лучших наших авторов, интересовался ее мыслями и взглядами, был бы несчастлив огорчить ее. Теперь же ничего этого не было: я не находил, о чем с нею говорить, никогда ничего не читал, ни в чем не советовался, мне кажется, если бы она вдруг онемела или сделалась дурочкой, я бы не огорчился, но был бы в отчаянии, если бы в ее наружности произошла перемена к худшему, серьезных разговоров почти не вел, и стоило было мне уйти из дому, я забывал о ней, особенно когда находился в обществе Веры Дмитриевны. Та положительно доводила меня до исступления своими постоянными подтруниваниями надо мною; она играла со мною как кошка с мышью. Один вечер была особенно ласкова, чуть

не нежна, в словах ее мне чудились даже какие-то намеки, другой раз она едва, едва примечала меня или держалась по отношению меня как по-товарищески, точно бы я был какая-нибудь ее подруга. Для чего она это делала — бог ее знает, знаю только, что всем этим она скоро довела меня до того, что многие из моих знакомых начали замечать во мне нечто неладное. Я становился с каждым днем угрюмее, раздражительнее и рассеянней. Для жены моей мое знакомство с Верой Дмитриевной оставалось по-прежнему неведомо; в тех кружках, где мы встречались с Огоневой, жена не бывала, а из моих сослуживцев в то время у нас бывал только один Зуев. Так как человеку этому суждено было сыграть немаловажную роль в моей жизни, то я нахожу необходимым сказать о нем несколько слов.

Зуев служил в одной конторе со мной, куда поступил позже меня, а именно в конце нашего «сумасшедшего» года. Я помню, я тогда же познакомил его с женой, но, что называется, не в добрый час. Знакомство произошло в театре. Мы сидели в ложе, доставленной жене Вильяшевичем, который был тут же; кроме нас был еще один молодой человек — чиновник, друг Вильяшевича. Я встретил Зуева в коридоре и затащил его к нам в ложу.

— Мэри,— шепнул я жене,— вот тебе образчик литературного медведя, докажи свое искусство, приручи его на сегодняшний вечер.

Мэри пристально оглядела Зуева. По лицу ее я заметил, что он ей не понравился, однако она не подала виду, напротив, была с ним весь вечер особенно любезна. Вильяшевич, серьезно ревновавший жену мою ко всем, чем очень смешил нас, наконец не вытерпел и начал придираться. Маня, заметив это, назло ему удвоила свою любезность с Зуевым.

— Пригласи его ехать с нами ужинать,— шепнула она мне, когда мы выходили из театра. Зуев сначала уперся, но потом согласился, мы все впятером покатили к Палкину. Маня, по обыкновению, была весела, хохотала, дразнила Вильяшевича, который то сердился, то смеялся. Молодой чиновник, отуманенный излишне выпитым вином, таял и жадно пожирал Маню глазами. Я, как и всегда, молчал и наблюдал. Я видел, что Зуеву не по себе; он как-то странно поглядывал то на жену, то на Вильяшевича, то на меня, точно спрашивая: «В каких вы отношениях между собой?»

Меня это забавляло; я знал его за пуританина чистой воды, и мне захотелось его подразнить.

— Господа, предлагаю тост, каждый за здоровье той, в кого влюблен! — провозгласил я, наливая стакан.

— Идет,— воскликнул Вильяшевич.— Мэри Николаевна! (Вильяшевич никогда не говорил Мария, находя это имя вульгарным) Мэри Николаевна! пью за ваше здоровье.

— И я, и я,— закричал молодой чиновник, срываясь с места и протягивая стакан.

— А этого хочешь? — шутливо грозным тоном спросил Вильяшевич, показывая ему нож.

— По какому праву,— отпарировал тот,— если вы имеете право быть влюбленным, то и я так же, конечно, с разрешения супруга,— обратился он ко мне.

— Сколько угодно,— засмеялся я.— Итак, вы пьете двое за Мэри, я пью за Додо,— так звали актриску, о которой я уже говорил,— а ты, Мэри, за кого?

— Это не ваше дело, я знаю за кого.

— Про себя пить нельзя, ты должна назвать нам имя своего предмета.

— Я не желаю.

— Должна, иначе не дадим пить, говори.

— Ну, хорошо, погоди, дай придумать; ах да, вот за того лейб-улана, что сидел в первом ряду, ты видел его, какой красавец.

— Ладно, итак, Вильяшевич и Иван Иванович за тебя, я за Додо, ты за неизвестного лейб-улана, а вы, Зуев, за кого?

— За Гретхен Фауста,— произнес он и как-то особенно пристально поглядел в лицо жены. Та заметила этот взгляд и немного смутилась.

— Вы, значит, влюблены в Гретхен,— засмеялась она,— но такая влюбленность слишком отвлеченная.

— Не более чем ваша в неизвестного даже вам по имени лейб-улана,— спокойно ответил он и медленно выпил свой бокал. Наступило неловкое молчание, я уже каялся, что затащил этого нелюдима, но Вильяшевич выручил.

— Кстати, господа, отчего не дают теперь «Маленького Фауста», по-моему, это одна из лучших опереток,— он начал рассказывать, как ему случилось видеть эту оперетку в Париже и какой она производила там фурор.

— Знаешь что,— сказала мне Маня в тот же вечер,

ложась уже спать,— Зуев обо мне составил дурное мнение, он, кажется, подозревает что-то между мною и Вильяшевичем, ты заметил, какие он бросал на него взгляды?

— А тебе что? — зевнул я.— Большая печаль, что бы он ни думал.

На другой день я встретился с Зуевым и осведомился у него, какое впечатление произвел на него вчерашний вечер. Вместо ответа он пристально взглянул мне в лицо и в свою очередь спросил:

— Зачем вы таскаете вашу жену в такие общества, неужели вы не видите, что губите и компрометируете ее этим?

— Вам интересно это знать? — холодно усмехнулся я.— Извольте, затем, что мне так нравится.

— Жаль! — тихо произнес он и отвернулся.

С этого дня он ни разу у нас не был до самых тех пор, как жена моя, оправившись после родов, встретилась с ним где-то на улице и пригласила его бывать у нас. Он пришел раз, другой, а там стал приходить очень часто. Он как-то особенно скоро сдружился с моею женою, просиживал с нею целые вечера, болтая без умолку на всевозможные темы. Таскал ей книги и даже свои рукописи, которые от других обыкновенно таил с упрямой ревнивостью до их напечатания, и когда меня не было дома, читал ей вслух.

Я заметил, как Маня с каждым разом относилась к нему все дружественней и дружественней. Она так привыкла к его обществу, что перестала считать его своим гостем и, когда он приходил, принимала его в своем будуарчике — спальне, куда был строжайше запрещен вход всем мужчинам, даже зятю и дяде. Как бы в признательность за оказываемое доверие, Зуев в свою очередь поделился с женою одною своею тайною. Впрочем, собственно сама-то тайна была известна нам всем, никто только не знал, как Зуев относится к ней, так как он был очень сдержан и никогда не пускался ни с кем в откровенности. Жена моя, кажется, была единственный человек, знавший все во всех подробностях. К чести ее должно сказать — она даже мне ничего не рассказывала; признаться, я и не особенно интересовался, так как в главных чертах мне эта пресловутая тайна была известна чуть ли не с первых дней знакомства с Зуевым.

XIV

Тайна эта — была женитьба Зуева.

Надо знать, что Зуев был большой фантазер и вместе с тем как-то упрямо самонадеян. Стоило ему было что-нибудь забрать в голову, он уже считал это непогрешимо-правильным, а между тем опытности у него не было никакой, бездна доверчивости и порядочная доля наивности, причем случалось всегда как-то так, что, не доверяя людям порядочным, не думающим его обманывать, он тем легче попадал на удочку любого пройдохи. Нечто подобное случилось и с его женитьбой. Дело происходило лет за пять до описываемых событий. Зуев, только что окончивший курс в университете, жил в провинции у своего отца. Отец его был чиновник средней руки, имел хорошее место, не крупный, но и не совсем уже маленький чин и прехорошенький, небольшой каменный домик.

Во флигеле этого домика квартировала в то время курьезная семейка, если можно назвать так трех живущих вместе, но не связанных никакими кровными узами субъектов. Вдова купчиха, лет сорока, толстая, обрюзгшая, сильно напоминающая раскормленного мопса, падчерица ее восемнадцати лет, курносая и также порядком мопсообразная, по имени Прасковья Фроловна, или, как ее обыкновенно звали, Прасковьюшка, и молодой парень, бывший приказчик покойного мужа Голиндухи Нестеровны (так величали вдову). Парень этот Кузьма Кузьмич, еще в то время когда его кликали просто-напросто Кузька, ухитрился как-то пленить сердце дебелой сожительницы своего хозяина и после его смерти очутился полным владетелем как ее ожиревшего сердца, так и всего его имущества. Вдова, что называется, души не чаяла в своем молодом друге, и ее постоянной мечтой было выйти за него замуж, «прикрыть грех»! — как сокрушенно выражалась она; но коварный похититель ее вдовьего сердца не особенно спешил с исполнением ее страстного желания. Он был лет на 15 моложе ее, очень недурен собой и, что называется, «выжига первой руки».

Как ни была увлечена Голиндуха любовью, она все же не выпускала из рук оставшуюся после мужа лавку и небольшой капиталец. Таким образом, окончательно завладеть и тем и другим Кузька мог только женившись или на ней или на ее падчерице.

Разумеется, Кузька предпочитал последнее, тем более что ему Прасковьюшка очень нравилась. Она не могла почесться красавицей, но в 19 лет какая девушка не хороша, если только она не урод.

Утешая вдову, Кузька тем временем весьма старательно увивался вокруг Прасковьюшки, но, к большой досаде, все его старания оставались тщетными. Прасковьюшка его просто видеть не могла и о браке с ним слышать не хотела. Как ни улещал ее Кузька, она только руками отмахивалась и наконец, наскучив его приставанием, рассказала «маменьке» о коварных происках ее дружка. Произошла целая буря, из которой «дружок» едва-едва вышел цел, но зато с этого дня жизнь Прасковьюшки, и без того не сладкая, сделалась, по ее собственному выражению, как полынь горькая. Голиндуха, подстрекаемая ревностью, день и ночь, что называется, поедом ела свою падчерицу, как сыщик, следила за ней, шпионила, ревновала и придиралась к каждому слову, к каждому шагу девушки. Кузька, потерявший надежду на взаимность, в свою очередь возненавидел Прасковьюшку и мстил, как только мог, натравливая на нее мачеху при всяком удобном и неудобном случае. Несчастную девушку запирали в чулан, морили голодом, били чем попало, а раз придумали было высечь. «Для острастки, чтоб, стало быть, не очень нос кверху драла». Но тут уж терпение девушки окончательно истощилось, и она побежала топиться. Неизвестно, утопилась ли бы она или нет, известно только одно, что на берегу ее встретил Зуев, который, живя на одном дворе с Прасковьюшкой, во всех мельчайших подробностях знал ее горькое житье-бытье. До глубины души возмущаясь тиранством Голиндухи, он несколько раз выказывал девушке, чем мог, свое сочувствие. Что произошло между ними на берегу реки, знали только они двое, результат был тот, что через каких-нибудь две недели Прасковьюшка сделалась madame Зуева, к превеликому огорчению отца Зуева, мечтавшего не о такой партии для своего единственного сына. Весь город ахнул, узнав о сем пассаже, и чрезвычайно удивлялся, что Зуев решил жениться на девушке не только совершенно необразованной, но даже совершенно неграмотной, да к тому же вовсе некрасивой.

Один только Зуев был в восторге от своего подвига и с первых же дней свадьбы принялся с горячим рвением

развивать свою молодую жену. Он накупил целый ворох книг, составил программу занятий, словом, завел чуть ли не аудиторию. Сначала, сгоряча, не освоившись ни с своим новым положением, ни с характером мужа, не успевши еще забыть побои и брань «маменьки», Прасковьюшка покорно согласилась терпеть всю эту, как в душе называла она, «муку», но скоро ей это страшно надоело. При том же она увидела, что супруг ее далеко не страшен, и вот в один прекрасный день она, бросив в печь хрестоматию Галахова, категорически объявила озадаченному Зуеву, что, дескать, она не затем вышла замуж, чтобы изображать из себя «панцыонерку» (пансионерку), и что если ему уж так «приспичило» учить, то пусть учит кого хочет, хоть бесхвостую Жучку, но только не ее.

— Надо мной и то весь город смеется,— заключила она,— не хочу я быть посмешищем, женился да и тиранит, кабы знать, что на такое тиранство берешь, ни в жисть не пошла бы, лучше бы утопилась.

Напрасно Зуев увещевал ее, все его красноречие, как волна об утес, разбилось об ее истинно классическое упрямство. Она, как породистая лошадь, головой трясла и в ответ на все уговоры произносила жалкие слова, что вот, мол, попала сирота в кабалу, некому и заступиться, как бы ни тиранствовали над ней, никто не сжалится.

Наконец Зуев плюнул и отступился, но не сразу. Несколько раз после того пытался он и тем и другим способом пробудить в ней человека, но, увы, «человек» спал так крепко, что никакие пробуждения на него не действовали. В конце концов Зуеву пришлось-таки навеки отказаться от всякого развития своей Прасковьюшки. Единственно, чего он добился от нее, это того, что она с грехом пополам выучилась читать и писать. Чем дольше жили они вместе, чем ближе узнавал он ее, тем яснее сознавал всю справедливость отцовского выражения: «Ну, сынок, убил бобра!»

Действительно, Прасковьюшка если и не была «бобром», то во всяком случае гораздо хуже сего полезного зверя. По природе она была очень глупа, гнет, испытанный ею с малолетства, развил в ней злость, наклонность к мелкой тирании и сварливость. Вместо того, чтобы быть бесконечно благодарной Зуеву, она поставила себя относительно его так, как будто бы не она обязана, а он ей, словно

бы она и ни бог весть какое одолжение сделала ему, выйдя за него замуж.

Сначала, в надежде тем или другим путем добиться от нее чего-либо путного, Зуев поддался несколько Прасковьюшке, но, убедившись, что, чем дальше, тем она становится все грубее и нахальней, он окончательно оттолкнул ее от себя и, что называется, только что терпел ее присутствие.

Впрочем, обращался он с нею очень вежливо, никогда не жаловался на нее, ни с кем о ней не разговаривал, словом, поставил ее так, что если мы и смеялись над ней, называя ее Прасковьей Кувалдовной, то только за глаза.

Единственный человек, с которым Зуев иногда говорил по душе о своих семейных делах, была, как я и говорил, моя жена; перед ней он откровенно раскрывал свою душу и горько жаловался на свою неудачную женитьбу. По справедливости, лучшей слушательницы, как Маня, ему бы и не найти. Другая его же бы осмеяла, по крайней мере, хоть за глаза, невольно, ради красного словца, Маня же относилась к нему вполне серьезно-дружески. Она так умела понять всегда всякое человеческое горе, так умела всем существом своим войти в положение другого, что выходило, будто они оба страдают одним горем, и при этом она никогда не «жалела», чутьем сознавая, что «жаленье» обижает того, кого жалеют. Нет ничего обиднее, когда вас считают «несчастненьким», и нет большего врага, как те сердобольненькие людишки, которые плачутся над вами,— по крайней мере, таково мое мнение.

И так Зуев сделался у нас домашним человеком, а так как я довольно редко бывал дома, особенно когда приезжала в Петербург Вера Дмитриевна, то, по большей части, они проводили вечера совершенно одни. Я мало интересовался, о чем они разговаривали между собой, я знал, что жене моей весело, когда он сидит у нас, и был очень доволен, по крайней мере, мое отсутствие было не так заметно.

Ревновать ее я, конечно, и не думал. Зуев был более чем нехорош собою. Худощавый, бледный, сутуловатый, с реденькой рыжеватой бородкой, весьма неуклюжий, что при его довольно высоком росте было особенно как-то заметно. Ко всему этому он был порядочная неряха. Ходил в засаленном сюртуке, в мятой сорочке, галстук у него постоянно ютился где-то набоку, а жена моя чуть ли не выше всего

ценила в мужчине аккуратность. Неряшливость Зуева была тем менее извинительна, что человек он был далеко не бедный. Он много зарабатывал переводами, так как знал почти все европейские языки, а некоторые языки из них в совершенстве. У него был просто талант к изучению языков. Как известно, чем больше человек знает, тем легче ему учиться новым, так, например, вздумалось выучиться ему по-испански, достал книг, лексиконов, и через два месяца он уже выписывал какую-то мадридскую газету, а там занялся переводом одного из новейших испанских писателей. Переводы его отличались замечательной точностью и ясностью. Он удивительно хорошо умел угадывать и понимать дух как переводимого им автора, так и языка подлинника, а потому и переводы его читались легко и с большим интересом. Это были в полном смысле «переводы», а не «перевозы», какими обыкновенно угощают публику большинство наших «перевозчиков», думающих, что достаточно теоретически выучить язык, чтобы при помощи лексикона стать переводчиком.

Со мною Зуев держал себя очень неровно. То был особенно дружествен, до нежности, то начинал дичиться, «подфыркивал», как я выражался, и ни с того ни с сего принимался говорить мне колкости, на которые я в большинстве случаев не обращал внимания, иногда только, когда бывал в ударе, отвечая на них более или менее злыми насмешками. Так, например, я уверял его, будто он имеет вид человека, спустившегося по внутренности водосточной трубы. Особенно обижался он, когда я говорил ему:

— Вас, Зуев, точно кто жевал, жевал и выплюнул, вы весь какой-то изжеванный.

Зато с женою моей у них была дружба — водой не разольешь, и вдруг Зуев перестал бывать у нас. Это меня удивило.

— Что у вас случилось? — спросил я как-то Маню.— Почему Зуев не ходит, поссорились вы, что ли, с ним?

— И не думали, я, признаться, сама удивляюсь,— отвечала жена.— Увидишь, спроси его, какая причина, обиделся ли он, что ли, на что, не понимаю.

— Да он, может быть, в любви тебе объяснился, знаешь:

Он был титулярный советник,
А она генеральская дочь,

Он ей пылко в любви объяснился,
А она прогнала его прочь...[26]

и у вас не то ли случилось?

— Какие глупости,— вспыхнула Мэри.— Это у тебя на уме одни гадости, а Зуев человек серьезный.

— Помяни мое слово, он влюбился в тебя, но, как человек с «принципами», не желает подвергать тебя опасности увлечься им, что весьма легко может случиться, принимая во внимание его неотразимую красоту и изящество.

— Смейся, смейся, а он вовсе не такой урод, например глаза у него очень хороши, такие выразительные, задумчивые...

— Как у коровы, попавшей на лед и соображающей, как бы ей выбраться получше на берег. Однако я все же попытаюсь, хотя бы и против воли, затащить к тебе сего целомудренного Иосифа, а ты разыграй с ним роль Пентефрии...[27]

— А ты тем временем пропадешь куда-нибудь, и где это только ты скитаешься, никогда почти дома нет.

— По делам, матушка, по делам. Без дела только собаки бегают.

— Уж и ты не по их ли следам пустился,— задумчиво проговорила Маня, но я сделал вид, будто не расслышал ее слов. Свое обещание насчет Зуева я, однако, исполнил и не дальше как на другой день притащил его к нам. С этого дня он снова зачастил было к нам, но не долго и после одного случая, о котором я расскажу в своем месте, опять перестал бывать у нас. На сей раз, мне уже надоели его порывистые выходки, я больше уже его не уговаривал и не звал. Тем более меня удивило, когда однажды, в самый разгар моих ухаживаний за Верой Дмитриевной, я, возвратясь от нее поздно вечером домой, еще из прихожей, снимая пальто, услыхал голос Зуева, горячо о чем-то ораторствовавшего.

Он уже более месяца не был у нас, а потому такой неожиданный и поздний визит мне показался несколько странным.

— Ну хорошо,— доносился до меня меж тем крикливый голос Зуева, он, очевидно, чем-то был сильно взволнован и горячился,— хорошо, я вам докажу, но помните, если это окажется правдой, то и вы должны сдержать свое слово. Согласны? Сдержите?

— Я уже вам сказала, а что я говорю, то и исполню,— послышался в ответ голос Мани.

— Помните же,— с какой-то торжественностью воскликнул Зуев,— помните — это не шутка, в этом таится громадное благополучие для нас обоих.

— А для меня? возьмите уже и меня в долю,— крикнул я весело, входя в комнату. Мое неожиданное появление произвело эффект. Очевидно, увлекшись разговором, они не слыхали ни моего звонка, ни моих шагов. Оба как-то растерялись, особенно Зуев. Он сначала вспыхнул до корня волос, потом побледнел, и, когда взглянул на меня, мне почудилась в его лице как бы сдерживаемая неприязнь. Жена тоже была не то сконфужена, не то чем-то словно бы недовольна. Я сделал вид, что ничего не заметил, дружески пожал руку Зуева и наклонился, чтобы поцеловать жену в лоб, но она слегка отшатнулась от меня, по крайней мере, мне это так показалось.

— Где ты был? — спросила она, подозрительно заглядывая мне в лицо.

Я наугад назвал первую подвернувшуюся мне на язык фамилию, кого-то из наших знакомых. Она ничего не ответила, но как-то особенно недоверчиво прищурилась. Зуев тем временем начал торопливо прощаться, я не удерживал его, и он ушел. Жена предложила мне чаю, но я отказался, сославшись на то, что пил чай в гостях. Я боялся, чтобы за чаем жена не вздумала задавать мне каких-либо вопросов, а потому и поторопился скорее улечься спать.

Я уже засыпал, когда Маня, неожиданно приподнявшись на своей постели, вдруг спросила меня:

— Федя, ты спишь?

— Сплю.

— Не дурачься, я хочу тебя кое о чем спросить.

— Спрашивай.

— Что бы ты сделал, если бы я изменила тебе?

— Отправил бы в участок.

— Господи,— воскликнула Маня, сердито хлопнув рукой по подушке,— что за несносный человек, неужели ты никогда не можешь быть серьезным. Я не шутя спрашиваю, как бы ты поступил, если бы я бросила тебя?

— Для того чтобы бросить, надо поднять, а во мне три с половиной пуда, тебе, пожалуй, не под силу.

— Ты нарочно сердишь меня?

— Нарочно.

— Хорошо же. Я больше не говорю с тобой, но помни, ты раскаешься.

Она помолчала несколько минут, но, видно, ей очень хотелось высказаться, а потому она не выдержала и снова заговорила:

— А если я уйду от тебя, тогда что?

— К кому?

— Это не твое дело,— уйду, оставлю тебя, что ты сделаешь?

— Дам целковый на извозчика, чтобы ты не шла, а ехала; сдача, если таковая останется, разумеется, в твою пользу.

— Ты это серьезно? — в голосе ее послышалась обидчивая нотка.— Стало быть, я тебе надоела?

— Очень.

— Почему?

— Потому что мешаешь спать.

— Прежде ты так не рассуждал,— уязвила она меня.

— Прежде и ты от меня не собиралась бегать.

— Ты, кажется, меня вовсе не ревнуешь.

— Неужели ты до сих пор в этом сомневаешься. Разумеется, нисколько.

— Значит, не любишь.

— Не знаю, если, по-твоему, ревновать — любить, то не люблю. У каждого свой взгляд на вещи, у мужиков: если муж жену не бьет — значит, не любит. Прикажешь для доказательства любви за косы оттрепать?

— Ты не рассердишься, если я тебя спрошу, я давно все собираюсь, да боюсь — ты обидишься.

— Валяй на здоровье.

— А ты бы согласился на развод?

— За деньги, ни за какие миллионы, а даром, пожалуй, смотря по обстоятельствам.

— Это как же так, по обстоятельствам?

— Если бы я убедился, что человек, которого ты полюбила, достойней меня или не то чтобы достойней, а может лучше моего устроить твое счастье. Тогда бы я, мне кажется, уступил бы...

— Старая песня. На практике неприменимо. Никто никогда не сознается в превосходстве другого с полной искренностью, да и ты, я знаю, потому так сладко поешь,

что уверен во мне, а увлекись я кем-нибудь, ты бы сделался ревнивее самого ревнивого ревнивца.

— Не знаю. Попробуй. Однако уже два часа ночи. Спать пора. Adio mia carissima*. Приятных сновидений.

Маня ничего не ответила и улеглась, плотно до половины головы закутавшись в одеяло. Я тотчас же заснул как убитый. Не знаю, сколько прошло времени, но вдруг я почувствовал, что кто-то тормошит меня. Я открыл глаза. При бледно-розовом свете фонарика я увидел Маню, она сидела, наклонившись надо мной и обвив руками мою голову, осторожно, чуть касаясь губами, целовала меня в лоб и глаза. На ресницах ее блестели слезы.

— Мэри, что с тобою? — спросил я, с удивлением всматриваясь в ее лицо.

— Я сама не знаю, мне отчего-то невыносимо грустно, так грустно, как никогда не было, я точно боюсь чего.

— Да ты, мать моя, и взаправду не влюблена ли? Только в кого же, не в этого же орангутанга Зуева?

— Он вовсе не орангутанг, у него замечательно прекрасное сердце. Посмотри, как относится он к своей жене, даром что она не стоит и одного его мизинца. Всегда он серьезный, внимательный, никогда никого не осмеет, ни над чем не глумится.

Словом — идеал. Не про него ли сочинил Пушкин:

Жил однажды рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
С превосходною душой,

то бишь

Духом смелый и прямой![28]

— Ах, впрочем, я и забыл: Пушкин умер несколько раньше, чем родился твой идеал мосье Зуев. Стало быть, не про него, хотя подходяще.

— Вот ты всегда так,— укоризненно покачала головою жена и задумалась.

— Да ты вот что: дай один мне ответ — влюблена или нет? — спародировал я стих Жуковского.—

* Прощай, моя дорогая *(франц.)*.

Если влюблена, то у меня есть против этого прекрасное средство...

Маня ничего не ответила, молча махнула рукой и, перейдя на свою постель, улеглась, закутавшись с головою в одеяло — это была ее привычка, когда она была не в духе, за что я сравнивал ее с улиткой, уходящею в свою скорлупу.

«Что с нею,— думал я,— что за блажь влезла ей в голову. Неужели влюблена, вот бы фунт был, да еще и с четвертью... Да нет, быть не может, не в кого; ведь не в Зуева же. Это была бы потеха. Прасковьюшка в цепки пошла!» И я мысленно представил себе Прасковьюшу, толстощекую, краснорожую, тучную, как опара, в роли разгневанной матроны. Мысль эта показалась мне настолько забавной, что я невольно расфыркался.

— Что ты? — спросила Маня.

— Мне представилось, как ты из-за Зуева с Прасковьюшкой на дуэли ухватами дерешься.

Не успел я сказать это, как Маня порывистым движением сорвала с себя одеяло, поднялась на постели и, мрачно взглянув на меня исподлобья, дрожащим от гнева голосом произнесла:

— Слушай, полишинель[29], и запомни, я уже раз тебе говорила это, а теперь снова повторяю, если я узнаю, что ты изменяешь мне, я или отравлюсь, или брошу тебя навсегда, на всю жизнь, помни это.

— Тэ, тэ, тэ, это из какой оперы? Я в простоте сердечной думал, что вы мне собираетесь изменять, ан выходит — я состою в подозрении у вас. Это вам не Зуев ли напел что-нибудь, надо будет завтра спросить его.

— Не смей, слышишь ли, ничего не смей говорить ему, умоляю тебя,— живо заговорила жена,— пожалуйста, милый, хороший.

— Тьфу ты пропасть, сдурела баба на ночь глядя, ну если уже ты так не хочешь, не скажу.

— Честное слово?

— Честное слово, но и ты дай мне слово не слушать дураков. Верь мне: я тебя одну любил, люблю и, кажется, думаю любить и впредь ни на кого не променяю.

— Это правда? — как-то тоскливо, недоверчиво прошептала она, стараясь заглянуть мне в глаза.— Ну хорошо,— успокоенным голосом продолжала она,— я тебе верю, но помни, грех тебе будет, если ты обманываешь меня, и тем

более, чем более я тебе верю, а я знаю, если что случится, я не переживу, подумай об этом.

Не скажу, чтобы в эту минуту я был совершенно спокоен, я подумал об Огоневой, и на сердце мне стало скверно.

«Черт знает чем эта вся чепуха кончится,— мелькнуло у меня в голове,— а быть беде, я Маню знаю... ну да авось перемелется — мука будет».

На этой мысли я успокоился.

Теперь я должен вернуться несколько назад и рассказать о том случае, который произошел между Зуевым и Маней, вскоре после которого он прекратил было свои визиты вплоть до того вечера, о котором я только что рассказал.

В один прекрасный день является как-то Зуев без меня, весьма торжественно настроенный и против обыкновения почти щегольски одетый, во всем новом, гладко причесанный, даже едва ли не раздушенный, так что от прежнего Зуева оставалось разве только одно, а именно способ носить галстук, где-то в соседстве с затылком.

В затянутых в лайку руках он держал изящную бонбоньерку — большого формата гнездо с голубями в перьях в натуральную величину, в бонбоньерке покоилось по крайней мере фунтов 5—6 весьма дорогих конфет. Зуев в качестве подносителя конфет — явление более курьезное, чем вальсирующий медведь.

Маня глазам своим не верила и смотрела на него с нескрываемым изумлением. Кажется, Зуев сам сознавал отчасти всю необычайность своего визита, а потому поторопился оговориться:

— Вы, Мария Николаевна, говорили как-то последний раз, что с отъездом Вильяшевича не имели у себя хороших конфет, я узнал от Федора Федоровича, где обыкновенно покупал Вильяшевич, и, кажется, достал точно такие же, надеюсь, вы не откажетесь принять их.

— Очень благодарна вам, но с чего вы так раскутились. Наследство, что ли, получили?

— Вы угадали, именно наследство: умерла моя тетка, сестра отца, и оставила нам обоим именье, отец предложил мне за мою часть десять тысяч. Вчера я получил деньги, и знаете, зачем я приехал к вам сегодня: мне бы хотелось вспрыснуть свою получку, не согласитесь ли вы с мужем поехать куда-нибудь? Пожалуйста, не откажите, вы знаете —

ваша семья для меня родней родной, и мне хочется именно в вашей семье отпраздновать это радостное событие.

— Смерть тетки? — улыбнулась Маня.

Он немного смешался, но тотчас же весело рассмеялся:

— Вы очень злы, но дело не в этом, вы лучше ответьте на мой вопрос.

— Да куда мы поедем?

— А разве я знаю. Пусть ваш муж придумает, он специалист устраивать всякие «фольжурнэ»... ну поедемте хотя бы к Палкину, помните нашу первую встречу.

— Помню, но, насколько могу судить, я тогда вам не понравилась, для чего же возобновлять неприятное впечатление,— кокетливо улыбнулась она.

— Я вас тогда не знал и иначе думал о вас.

— Я знаю, что вы думали,— слегка покраснела Маня,— но вы не виноваты, тогда можно было подумать многое.

— Мария Николаевна, раз уже вы сами коснулись этого разговора, простите меня, но я давно хотел спросить вас, кто этот Вильяшевич, откуда он и как вы познакомились с ним?

— Вильяшевич — это прежде всего помещик, очень богатый, у него в Самаре огромное имение, женатый, но с женой не живет, так как она чем-то больна и постоянно лечится за границей. Познакомились мы с ним случайно, у него какое-то дело было до мужа, он приехал, не застал его дома и просил позволенья обождать. Я с ним тогда просидела часа два, потом приехал Федя, и мы в тот же вечер собрались в театр, Вильяшевич тогда с Федей пополам ложу наняли. А там он стал часто бывать у нас, начал возить мне конфеты, билеты в театры и концерты, устраивать пикники, катанья на тройках, кутежи. Мне это было тем более неприятно, что Федя, не желая отставать от него, тоже много тратил, хотя, конечно, за Вильяшевичем ему было не угоняться. Тот мог, если бы мы ему только позволили, спустить несколько тысяч в вечер.

— Он был в вас влюблен?

— Вздор какой, просто это был каприз избалованного успехами богатого человека. Сначала он, кажется, принял меня за особу податливую, а потом, когда увидел, что ошибся, он уже из упрямства и уязвленного самолюбия хотел непременно поставить на своем, но...

— Но?

— Но, конечно, ему не удалось; а если бы вы знали,

какие он мне предложения делал. Мне подчас было и смешно, и досадно, и обидно, он иногда просто в исступление приходил, конечно, все из одной только досады.

— Муж ваш знал?

— Еще бы, я ему всегда обо всем рассказывала, да к тому же Вильяшевич и не думал скрываться.

— И муж вас нисколько не ревновал?!

— Нисколько. Во-первых, он не из ревнивых, во-вторых, слишком уверен во мне.

— Неужели он не приревновал вас, если бы вы поехали с кем-нибудь вдвоем куда-нибудь, ну, положим, в театр, например со мною?

— Не думаю,— засмеялась Маня,— но я бы сама не поехала.

— Почему?

— Странный вопрос, потому что это не принято, чтобы замужняя женщина ездила с кем-нибудь без мужа.

Как только я вернулся домой, Зуев принялся упрашивать меня ехать с женою и с ним куда-нибудь вспрыснуть наследство, но я отказался наотрез — у меня была весьма спешная работа, которую я дал слово окончить к утру другого дня. Отказ мой чрезвычайно огорчил Зуева.

— Сегодня концерт Славянского[30] в Благородном собрании, я уже и ложу взял, карету нанял, оттуда, думал, мы куда-нибудь поедем поужинать, ах какая обида!

Он так был искренно огорчен, что мне стало почти что жалко его.

— Да на кой я вам черт сдался, поезжайте вы с Маней вдвоем, по крайней мере, мне мешать не будете.

— Как вдвоем? — удивился Зуев.— Мария Николаевна не поедет.

— Вздор, поедет. Мэри, поезжай ты с ним, сделай милость, а я писать буду.

Зуев устремил умоляющий взгляд на жену. Та колебалась.

— Поезжай, нечего раздумывать, концерт будет прекрасный, я сегодня программу читал.

— Мария Николаевна, поедемте,— просящим голосом заныл Зуев,— ведь в самом деле ничего.

— Пожалуй, поедемте,— согласилась Маня.— Раз муж пускает, мне до остальных, действительно, дела нет.

Зуев чуть не прыгал, так он был доволен, но Мане было не совсем по себе.

— Знаешь, было бы гораздо лучше, если бы и ты с нами поехал,— сказала Маня, переодеваясь в спальне.— Ну, что я с ним там вдвоем делать буду,— добавила она шепотом.

Я отмахнулся рукой.

— Есть мне время по вашим концертам ездить, да и к чему; по-моему, я вас только стесню. Зуев будет тебе в любви объясняться, а мне что прикажешь около вас делать. Заметь, какая у него сегодня рожа, можно подумать, что он к невесте приехал предложение делать.

Маня весело засмеялась.

— Почем знать, может, и правда.

— На здоровье, только не забудь, у него жена, а у тебя муж.

Жена смеялась и тем временем кокетливо и быстро оканчивала свой туалет.

— А ведь что, я, право, хорошенькая,— повернулась она перед зеркалом, поправляя трэн* платья и любуясь через плечо на свою тонкую, изящную талию.

— Как маримондочка**. Кстати, постой, ты совсем разучилась носить свои шляпы. Шляпы a la Rembrand носятся гораздо больше набок, вот как,— я поправил ей шляпу, выпростал из-под плюша кудряшки на лбу и накинул на плечи ротонду.

Она еще раз оглянула себя в зеркало и усмехнулась.

— Смотри, не скучай без нас,— шепнула она мне на ухо и больно стиснула его зубами,— я тебе гостинца привезу, знаешь, как маленьким детям, сусальных коньков.

— Ладно, ладно, проваливайте, да только, пожалуйста, подольше не возвращайтесь, а то помешаете работу кончить. Да кстати, пейте где-нибудь там чай, на меня не рассчитывайте, я напьюсь рано да и сяду строчить. Ну, исчезайте, брысь!

Они уехали, а я сел писать.

Было уже часа три ночи. Я, окончив работу, сладко потянулся в кресле и только что подумал о жене, как раз-

---

* Трэн — своеобразная отделка платья.

** Маримондочка — ироническое прозвище, взятое из старой кафешантанной песенки.

дался звонок, и через минуту она вошла в комнату, сияя глазками, с раскрасневшимися от холода щечками.

— Ну что, заждался,— весело заговорила она, сбрасывая на руки заспанной горничной ротонду.

— А где же твой рыцарь Тогенбург?[31] — спросил я.

— Он довез меня до нашего дома, но не хотел зайти, чтобы тебя не беспокоить.

— И отлично сделал, потому что я сейчас ложусь спать.

— Тебе бы только спать, соня, а ты лучше слушай, где мы были.

— Где? В концерте, а, впрочем, черт вас там знает, куда вас носило.

— Концерт не состоялся, мы приехали, а на дверях анонс: «По случаю болезни г-на Славянского концерт отлагается...» Что делать, домой ехать, Зуев и слышать не хочет, в театр уже поздно, да и билетов нигде не достанешь, мы и решили в «Ренессанс» на французскую оперетку, кстати, я там почти год как не была.

— Дельно, вы бы лучше в «Шато-де-Флер»[32].

— Глупости. Теперь «Ренессанс» стал вполне приличным, уж если я прошлый год ездила, то теперь и подавно, ты бы посмотрел, какая там публика.

— Ну-с, дальше, что давали?

— «Периколу». Новый баритон пел, очень хорошенький, если бы ты слышал, как он спел письмо Периколы, просто восторг.

— Воображаю. Дальше. Что же у вас после «Периколы»-то было?

— А после «Периколы» мы ужинали, вот тебе, не посылай жену одну с молодым человеком.

— Резонно. Чем же вас кормили?

— Была стерлядь паровая, рябчики или дупеля, я что-то не разобрала, и еще какое-то сладкое на ананасном сиропе.

— Ха, ха, ха! Ну, меню. Голову кладу на сруб, вам официант заказывал по своему вкусу. Зуев ведь в этом профан, он, я думаю, не знает ни одного трактирного названия кушаньям, воображаю, какую он рожу сделал, когда ему сунули под нос карточку кушаний, небось тут ему и языковедение не помогло.

Маня засмеялась и кивнула головкой.

— Я так и знал. «Эй, любезный, подай там, что сам знаешь, только получше!» Ну а с точки зрения официанта,

получше — это значит подороже. Воображаю, что с вас слупили. Ну, а пили что?

— Шампанское, разумеется.

— Поди «васисдас» какой-нибудь, вы ведь оба знатоки, шампанского от фруктового кваса не отличите.

— Нет-с, не «васисдас», а настоящее Помри-Сек.

— Ну и Христос с вами, а теперь иди — раздевайся, я спать хочу.

— Успеешь, дай рассказать.

— Да рассказывать-то нечего. Поехали в концерт, попали в Буф, ели какую-то пакость, пили какую-то слякоть, заплатили за то и другое бешеные деньги, затем три часа с Офицерской в Пушкинскую плелись в рваной каретчонке, оба всю дорогу, наверно, преисправно клевали носами. Приехали, теперь надо спать ложиться.

— Боже мой, как ты мне надоел. Спать, спать...

— Ладно, тебе хорошо говорить, ты небось завтра до двенадцати часов будешь нежиться, а мне в 10 часов утра надо уже быть в другом конце города, работу сдать.

— Ну хорошо, иди, я тебе, пока ляжем, расскажу преинтересный казус. Вообрази себе,— начала жена, торопливо завертывая перед зеркалом волосы в папильотки,— ты не поверишь, какое мне сегодня сделал Зуев предложение?

— Ну?

— Отгадай.

— Пошла вон. Я уже засыпаю, завтра расскажешь.

— А тебе не интересно?

— Что? спать — очень, а потому прошу тебя, кончай ты скорей свои туалеты, вертишься, как флюгер перед глазами, наказанье иметь жену кокетку. И главное, воображает, что и действительно так хороша, удивительная красавица.

— Красавица не красавица, а вот Зуев предлагал же сегодня оставить тебя и ехать с ним в провинцию, ему там место в земстве предлагают, я, признаться, не поняла какое, а только жалованья три тысячи.

— Это, наверно, на мыс Доброй Надежды вице-губернатором, только как же Прасковьюшку-то Кувалдовну, в музей Гасснера, что ли, или к Росту в зоологический, там, кстати, вакансия недавно открылась, гиппопотам издох, только согласится ли она на подобную комбинацию, вот вопрос?

— С Прасковьюшкой у них уже конец, он с ней разводится.

— Как разводится? — изумился я. — Каким образом?

— А ты и не знал. Молодец Зуев, не в нас, зря не болтает, а ведет дело втихомолку. Видишь ли, он получил от отца десять тысяч, из них пять предложил Прасковьюшке с тем, чтобы она согласилась на развод, приняв вину на себя.

— Ну и что ж она, неужели согласилась?

— А отчего бы ей и не согласиться? Ее постоянная мечта — вернуться в родной город, завести торговлю, сесть за прилавок, отвешивать и отмеривать, по воскресеньям ходить к ранней обедне, а там к многочисленным кумушкам, с которыми она будет усиживать по 18 чашек чаю в присест. Теперь она всего этого лишена. Сидит целые дни одна в четырех стенах, как ты знаешь; он ее никуда не вывозит, к ним тоже никто не ходит, да с его знакомыми ей и говорить не о чем, муж даже и тот по целым неделям с ней слова не скажет. По ее собственному выражению, живет она ровно в тюрьме аль бо какая прокаженная.

— Что же, это отчасти верно. Удивляюсь только, как с ее неразвитостью решается она на себя вину взять, ведь у простонародья на это особые взгляды.

— Ну уж не знаю. Сумели уговорить. Очень уж ей «очертел Питер, на волюшку хочется». У них почти уже все дело слажено. Недели через две последние формальности выполнятся и конец.

— Ай да Зуев, не ожидал я от него такой прыти. Вот тебе и Прасковьюшка, не долго покрасовалась она madame Зуевой, всего, кажется, пять лет.

— Скоро шесть минет. В конце марта.

— Однако ты его дела хорошо знаешь, точно секретарем при нем состоишь. Счастье Зуева, что детей у них нет, а то бы ему не так легко было стрясти ее с шеи. И так Прасковьюшка вниз по матушке по реке Неве, стало быть, и помех никаких нет, когда же вы едете?

— Куда?

— А черт вас знает. На мыс Доброй Надежды, что ли, или в Патогонию, где он там вице-консулом-то назначен. Вы уже мне, пожалуйста, перед отъездом скажите, чтобы я, значит, мог на поезд прийти проводить вас, да, кстати, и ребятишек привезти, чтобы, стало быть, их как-нибудь не за-

были ненароком, а то ведь все равно вам их с почтой пришлю.

— Мы тебе их и не оставим. Зуев находит, что это было бы преступлением оставлять их у такого беспутного отца, как ты.

— А чтоб им крокодил подавился, вот путный нашелся, подумаешь. Во всю жизнь если что и сделал путного, то одно только, что сумел от своей ископаемой супруги избавиться. Это, действительно, штука важнецкая. Хвалю, искренно хвалю. С сегодняшнего он в моих глазах поднялся на 50%. Однако будет болтать. Adieu, leben sie wohl*.

— Прощай.

В то время я совершенно не обратил внимания на всю эту историю. Что Зуев увлекается Маней — я знал, так же как и то, что Маня им никогда не увлечется, мало ли кто какой вздор мелет и какие воздушные замки строит, всего не послушаешься. Однако на этот раз я несколько ошибся. Дело вышло серьезнее, чем я предполагал сначала.

Вот что я узнал, но уж гораздо позже, со слов жены, рассказавшей мне впоследствии все в подробностях.

Еще во время первого антракта Зуев стал упрашивать Маню: после спектакля отужинать с ним в отдельном кабинете, тут же, в здании «Ренессанса», или где в другом месте... Сначала она отказалась, но потом согласилась, чем чрезвычайно обрадовала Зуева, так что он не выдержал и произнес целую речь на тему, насколько он польщен ее доверием, как он ценит это и сумеет заслужить. Фофан этот, кажется, думал, будто Маня опасается оставаться с ним tête a tête, над чем она от всей души хохотала про себя. Ужин прошел очень вяло. Кушанья были хотя и дорогие, но оказались маловкусными, притом же Зуев был далеко не кавалер, умеющий занять даму. Сначала он донимал ее разговорами на высокие темы, что при трактирной обстановке было довольно курьезно, с самого основания своего кабинеты «Ренессанса» не видали в стенах своих такого гостя и не оглашались столь неподходящими, к их прямому назначению, высокоторжественными фразами. Но самый курьез ждал Маню под конец.

— Послушайте, Мария Николаевна,— начал вдруг Зуев после того, как официант, убрав лишнюю посуду и придви-

---

* Прощай, моя любимая *(нем.)*.

нув к ним наполненные шампанским бокалы, вышел, обязательно притворив за собою плотно дверь кабинета,— я давно хотел спросить вас — вы любите своего мужа?

— Вот странный вопрос,— усмехнулась Маня,— разумеется, люблю.

— Любите? Меня это, признаться, удивляет. Насколько я вас знаю, вы женщина умная, развитая, с чутким, благородным сердцем, ведь не потому вы его любите, что вам в церкви приказали: «Жена да боится мужа!»

— Конечно, не потому.

— Значит, вы его любите за него самого, за его личные качества, не так ли? — Зуев начинал горячиться.— Но, простите меня, я не понимаю этого, не понимаю, не понимаю... Вы и он! Какая разница! Вы олицетворенная прелесть, вы ангел душою и сердцем, в вас столько поэзии, столько детской чистоты, а он — он просто-напросто развратник до мозга костей, к тому же глубокий циник, у него нет ничего святого. Вы думаете — он вас любит? Не вас, а ваше тело. Для чего он наряжает вас, для чего все эти вырезы на платьях, для чего он таскал вас целый год по таким местам, где вам вовсе бы и не следовало быть... Все по той же причине, что он видит в вас только одно удовлетворение своей физической страсти, а до вашей души ему дела нет. Стоит только вам подурнеть, похудеть, утратить свою свежесть, он и не взглянет на вас... Боже мой, и этого не видеть? Такое сокровище, как вы, и кому же? Человеку, который проповедует, что женщин после тридцати пяти лет топить следует, так как в них нет никому прока.

— Он это шутя.

— Ничуть. Он искренно думает так. Вы улыбаетесь? Вам, кажется, это нравится?

— Но согласитесь — ведь это же правда, по крайней мере, житейская правда.

— Еще бы не правда! Шутка ли, муженек сказал, оракул домашний, божество! — озлился вдруг Зуев.— О женщины,— продолжал он, мечась как угорелый по дивану, на котором сидел,— отчего вы так слепы? Отчего вы можете видеть только одну внешность, одно физическое достоинство! а впрочем, что я? Ведь он вовсе уж и не так хорош собой, такой же сутуловатый и худой, как я, в сравнении с вами так он просто урод... Неужели вы и этого не видите?!

— Позвольте наконец, к чему вы это все говорите? —

перебила его Маня. Ее уже начал раздражать тон Зуева.

— А вы сами не догадываетесь? Неужели вы не замечаете тех чувств, которые я питаю к вам вот уже более полгода. Ведь я перед вами не таился? Неужели вы не видите, я обожаю вас, молюсь на вас, только о вас и думаю, ведь я, наконец, жить без вас не могу, в тот день, когда я вас не вижу,— мне как-то тяжело на сердце, словно бы я потерял что... Боже мой, да научи меня, как мне выразить то, что я чувствую, что владеет всем моим существом... Мария Николаевна, поймите только, я вас обожаю, как бога, я жизнью готов для вас пожертвовать. Я никого до сих пор не любил, и меня не любили, поймите, все, что мною вынесено и выстрадано, все мои разбитые мечты, мои идеалы, надежды, вся моя изломанная жизнь, все-все слилось в этой любви, так любят один только раз в жизни!

Он до боли стиснул свои руки и вдруг зарыдал, беспомощно припав головой к спинке дивана. Мане сделалось невыносимо жаль его.

— Но послушайте,— начала она,— чем же можно тут помочь, будь я девушка, клянусь вам, я бы за счастье сочла стать вашею женою, так как искренно уважаю вас, но ведь я замужем, вы женаты...

— Что из того, что замужем, женат,— заговорил Зуев, в каком-то исступлении.— Вы только согласитесь быть моею, сжальтесь надо мною... не думайте — я хочу все, как следует, по чести... вы знаете, я скоро буду разведен со своею женою, мы уедем с вами в провинцию, мне предлагают прекрасное место, там нас никто не будет знать... А как бы я берег вас, ветру бы не дал пахнуть на вас, вы были бы счастливы, клянусь вам... О муже не беспокойтесь, он скоро утешится, встретится с какой-нибудь смазливой рожицей и забудет, как вы и выглядите... ах, если бы вы могли понять его так же хорошо, как я его понимаю!

— А дети?

— Чьи? Ваши? Детей можем взять с собою, будьте уверены, я бы был для них лучше родного отца, Федор Федорович уступил бы, уступил их нам, не беспокойтесь, он и то все ворчит, что они пищат и действуют ему на нервы... Мария Николаевна,— с новым страстным порывом схватил он ее за руку,— поймите, тут вопрос всей жизни... я уже говорил вам, что обожаю вас, но, несмотря на всю свою любовь к вам, верите ли, я бы отказался, если бы вы сейчас

вот — отдались мне; не минутной победы мне надо, не наслаждения одного вечера — моя мечта, долгая, счастливая жизнь вместе с вами... вот в чем разница между мною и вашим мужем. Он бы искал только одного скоропроходящего успеха, отдайся ему женщина на день, много на неделю, ему ничего больше и не надо, через неделю он бы забыл о ней и думать, а я, напротив, я хочу всю жизнь служить вам, быть вашим рабом, быть у ваших ног.

Говоря это, он вдруг сполз с дивана и, став на колена, стал страстно целовать ее руки. Маня не знала, что ей делать. Она сознавала, что в чувстве Зуева к ней не пустая прихоть, а страсть сильная, всепоглощающая страсть, глубокая, продолжительная, способная на всякие жертвы, с которой, если не желаешь губить человека, надо считаться. Ей было невыразимо жаль, но что она могла сказать ему?!

— Послушайте, опомнитесь! — начала она уговаривать его.— Садитесь вот тут и слушайте, вы сами не понимаете, чего требуете, не могу же я бросить мужа так, ни за что ни про что, поймите сами, это было бы слишком безнравственно с моей стороны... Вы говорите — он не любит меня, неправда, он очень ко мне привязан, я это знаю, так как имею много к тому доказательств... Все, что я могу предложить вам, это мою дружбу. Будемте-ка по-прежнему друзьями, приходите к нам почаще, будем по-прежнему болтать с вами, а когда окончится ваш развод, переезжайте к нам. У нас, как вы знаете, всегда отдается одна комната жильцам, вот вы и будете нашим жильцом. Если же, чего не дай бог, мне пришлось бы искать у кого защиты, то верьте, я к первому обращусь к вам, а пока предлагаю вам свою искреннюю дружбу и прошу вас почаще бывать у нас, мне всегда так весело, приятно, когда вы приходите к нам.

— Вы это серьезно? Не ради одного утешения, вы, значит, все-таки расположены ко мне? — заволновался Зуев.

— Не только расположена, но даже очень люблю вас, но только не той любовью, о которой вы мне говорите. Я вас люблю как брата. Да вот вам доказательство, неужели вы думаете, я решилась бы с кем-нибудь другим ехать одна в «Ренессанс» и ужинать ночью в отдельном кабинете?

— Да, да, вы правы... благодарю вас, от всей души благодарю, это меня много утешило, я бы очень счастлив

бы был жить у вас, помилуйте, это было бы очень хорошо, но как взглянет на это ваш муж?

— Я уже вам говорила — он не ревнив, не ревнует же он меня к теперешнему нашему жильцу.

— Да вы его почти не знаете, он никогда у вас не бывает.

— Не бывает, потому что всегда занят, он студент, бука, только и знает свои книги, а помните, до него жил чиновник Вартушинский, вы его видели, черненький такой, хорошенький, с усиками, так тот мне проходу не давал, просто до отчаяния меня доводил своими ухаживаниями, записки мне писал, на улице подкарауливал, я наконец начала мужу жаловаться, а он смеется: «Не кокетничай,— говорит,— сам отстанет!»

— Положим, я слышал кое-что про этого Вартушинского, вы с ним действительно безбожно кокетничали; назначали ему свиданья, он караулил вас — а вы в это время в другое место уезжали, разве это хорошо?

— А что ж мне было делать? Отвечать на его любовь, что ли? Когда он, например, умоляет назначить ему свиданье, приехать туда, пойти туда — ну вот я, чтобы проучить, и назначу ему, где он меня может видеть, а разве моя вина, если мне почему-либо нельзя исполнить своего обещания.

— Нет, я бы вам не позволил ни с кем кокетничать и другому бы не позволил даже слова лишнего зря сболтнуть.

— Хороши, нечего сказать,— засмеялась Маня,— а еще зовет к себе, да вы меня до смерти заревновали бы. Однако пора, я думаю, Федя как ни неревнив, а начнет беспокоиться, смотрите, уже два часа. Зовите лакея, да и едем.

XV

С этой минуты между Зуевым и Маней установилось нечто подобное тому, что было между мною и Верой Дмитриевной, с тою только разницею, что Зуев мечтал о вечной любви, а я бы удовольствовался и более коротким сроком, пока не надоело бы скоро, я в этом был уверен. В свою очередь Маня не кокетничала с Зуевым, напротив, держалась с ним осторожнее, чем с кем другим, избегая всего, мо-

гущего породить в нем какую-либо надежду, Вера же Дмитриевна, хотя и не позволяла мне даже заикаться о любви, в то же время кокетничала со мною самым непозволительным образом. Точно желая испытать меня, она дразнила меня на каждом шагу, полусловами, полунамеками разжигая во мне и без того разгорающуюся страсть.

После объяснения с Маней Зуев было снова зачастил к нам. Бедняга, он был так увлечен, что даже не понимал всей неблаговидности: пользоваться моим гостеприимством и в то же время возбуждать мою жену против меня.

В одну из недобрых минут Маня как-то не выдержала и намекнула ему на это, он понял, очень обиделся и исчез на целых полтора месяца. В первый раз после этой размолвки он явился к нам в тот именно вечер, когда я их застал о чем-то горячо рассуждающими, после чего жена ночью сделала мне вышеописанную сцену. В этот вечер Зуев, кое-что пронюхавший о моих увлечениях Верой Дмитриевной, пришел к Мане с какими-то темными намеками. На беду, та, не подумавши, сказала ему, что, если бы она узнала об измене, она тотчас же бы бросила меня. Зуев принял это за чистую монету и с свойственным ему фантазерством вообразил в уме своем целую комбинацию, показавшуюся ему весьма простой и логичной.

Он так твердо уверовал в то, что, только живя с ним, жена моя будет вполне счастлива, что даже и не подумал, как тяжело будет для нее открытие истины. В силу особенности своего характера свято верить в непогрешимость всех своих выдумок, он дошел под конец до идеи полагать все счастье моей жены в том, чтобы она, как можно скорее уверившись в моей измене, бросила меня и перешла к нему. С этою мыслию он задался целью открыть ей глаза и чрез то спасти от губящего ее, по его мнению, мужа.

Если бы Зуев мог предвидеть последствия его пагубных фантазий, то, я свято уверен, он бы с ужасом первый отрекся от своего плана, но, как я уже говорил, он был, во-первых, чересчур самонадеян, во-вторых, непрактичен, мало знал человеческое сердце и относился к нему слишком книжно-теоретически.

Его непрактичность сказалась уже в том, что, вовсе не понимая женщин, он, думая сделать добро, разбил счастье и даже всю жизнь той, которую любил так сильно. Он не понимал простой истины, что прежде всего надо влюбить в

себя женщину и тем заставить ее последовать за собой; показать же ей недостойность того, кого она любит, это только сделать ее несчастной, ничего от того не выиграв. Всякая женщина скорее склонна простить самому изменнику, когда любит его, чем тому, кто открыл эту измену, если только до того была к нему равнодушна.

«Не по хорошу — мил, а по милу — хорош!» — вот девиз женщин. Оттого-то мы часто видим, как совершенно тождественные поступки возбуждают в одном случае еще сильнейшую страсть, а в другом — ненависть. Я знал одного отставного моряка, перед турецкой войной женившегося по любви на очень молоденькой девушке и для нее вышедшего в отставку, чтобы не разлучаться с нею. Года полтора спустя началась кампания, при первых же выстрелах на Дунае он не выдержал и поступил снова на службу. Жена его страшно убивалась по нем, но чуть ли не еще больше полюбила его. Она без энтузиазма не могла говорить о нем и называла его: «мой герой!», уверяя всех, что, если бы он оказался трусом и ради нее не пошел бы на войну,— она бы разлюбила его. Несколько лет спустя я встретил другую парочку. «Она» — замужняя женщина, не первой молодости, бросившая мужа ради человека далеко не благородного, но в которого она была влюблена до потери сознания. Человек этот был настолько трус, что, когда в одном случае ему надлежало, защищая честь этой самой женщины, выйти на дуэль,— он постыдно отклонился, и что же? Она же не только оправдала его, но еще и возвела его трусость — в подвиг, и когда при ней упрекали его, она горячо заступалась. «Подумайте,— говорила она,— какое благородство. Он ради того, чтобы не рисковать столь драгоценной для меня жизнью — перенес оскорбление — да ведь это просто героизм!»

Таковы женщины! Труса и подлеца — если любят — ставят на пьедестал. Честного, благородного человека, но им не симпатичного, готовы смешать с грязью. Мужчины в этих случаях справедливей, так как живут больше рассудком, тогда как женщины — сердцем.

Напрасно думают некоторые тронуть женщину героизмом. Для женщины мерилом благородства являются красивые уши, элегантная наружность. Если бы женщине, любой, довелось гулять, положим, на берегу глубокой, опасной реки со своим любимейшим ребенком и ребенок этот упал

в воду, а из двух сопровождающих ее кавалеров один, некрасивый и неловкий, тотчас же бросился бы в воду и, рискуя жизнью, спас ребенка, но при этом вылез бы из воды в смешном виде, как намокший пудель, тогда как другой бы тем временем, грациозно ломая руки, красиво жестикулировал на берегу, кому бы женщина была более благодарна? Спасителю своего ребенка? Как бы не так, она бы ему сказала merci*, и только, а другому, может быть, даже отдалась от избытка признательности за его живописное сочувствие.

Пока Зуев, как дантовская тень, бродил около Мани, мои отношения с Верой Дмитриевной обострялись все больше и больше.

Она очень часто приезжала в Петербург, раза четырепять в год, проживала обыкновенно дней шесть-семь, иногда и десять, а затем снова уезжала.

Во время таких наездов я бессменно дежурил при ней, исполняя все ее поручения, ради которых рыскал по всему Петербургу как бездомная собака. Последней моей обязанностью было проводить ее на вокзал железной дороги в день ее отъезда. Затем мы первое время усиленно переписывались недели две-три, а там, после небольшого промежутка, снова приходила телеграмма на мое имя в контору приблизительно следующего содержания: «Приезжаю с таким-то поездом — встречайте!», и я, как послушный раб, шел встречать, причем случалось ей запаздывать тремя, четырьмя поездами против назначенного.

Наконец она приезжала, и вот опять на несколько дней я почти исчезал из дому, обманывая жену, придумывая всякие нелепицы в объяснение моих исчезновений.

Припоминая теперь наши отношения, я решительно не понимаю, чего ей было надо от меня. Она постоянно твердила, что желает видеть во мне т о л ь к о друга, но тогда для чего она кокетничала. Для чего, сидя со мною вечерами вдвоем, когда Z, у которых она останавливалась, не бывало дома, она иногда переходила в залу, садилась к роялю и начинала полным страсти и неги голосом петь разные сентиментальные романсы. У каждой певицы есть свой шедевр, у Огоневой шедевром была партия Зибеля из Фауста:

---

* спасибо *(франц.)*.

Расскажите вы ей,
Цветы мои,
Как люблю я ее,
Как страдаю по ней...[33]

Голос у нее был действительно прекрасный или, по крайней мере, таковым казался мне. При мертвой тишине пустой квартиры, при слабом освещении большой залы одною лампой под красным абажуром, пение это производило на меня чарующее действие. Я просто терял рассудок. Огонева прекрасно видела, какое впечатление производит на меня, и, когда искоса окидывала меня лукаво-высматривающим взглядом из-под полуопущенных ресниц, я видел в ее лице выражение какого-то злого торжества. Ей положительно доставляло удовольствие мучить меня. Стоило мне, прервав какой-нибудь деловой разговор, какие мы обыкновенно вели, коснуться хотя бы вскользь моих чувств к ней, она вдруг становилась холодно-неприступна и без церемонии говорила: «Вы, кажется, начинаете бредить, не пора ли вам домой, я думаю, ваша жена заждалась вас!»

При слове ж е н а губы ее всякий раз чуть-чуть дрожали от сдерживаемой, насмешливой улыбки. На меня же напоминание о жене производило весьма тяжелое впечатление. В душе я сознавал всю вину свою перед женою, понимал, что этим всем я унижаю ее в глазах этой гордой, насмешливой барыни, но не в силах был устоять против соблазна каждый день видеть Огоневу. Несколько раз порывался я кончить эти нелепые отношения. Сколько раз уходил я от Веры Дмитриевны с твердым намерением больше не видеться с нею, но всякий раз, точно назло, какое-нибудь неожиданное обстоятельство заставляло нас снова встретиться или у нас же в конторе, или в чьем-нибудь доме, а вечером я уже опять был у нее, терпеливо перенося все ее злые подтрунивания над собою. Я, как пущенный с горы на салазках, неудержимо катился вниз, с замиранием сердца ожидая, вот-вот случится несчастие, которое разобьет всю мою жизнь. Любил ли я эту женщину в действительности так, как мне то казалось? Не думаю, потому что впоследствии, когда внешние события пересилили непосредственные впечатления, я без особого горя удалился от нее и потом никогда не питал особого желания возобновить прерванное знакомство. Не любовь руководила мною, а целая сумма разнородных чувств, из которых уязвленное само-

любие играло первую роль. Притягательная сила заключалась именно в том, что мне постоянно казалось, вот-вот еще одна встреча, один вечер, несколько слов, и победа будет на моей стороне. Но в конце концов все оказывалось миражом.

Только дома, возвратясь к жене, под впечатлениями ее ласкового взгляда я отрезвлялся от своего опьянения; в такие минуты Огонева для меня не существовала, и я даже не понимал, чем и как взяла она такую власть надо мною. Маня положительно была лучше ее. В ней было гораздо более женственности, более грации и жизни.

Сравнивая их, я припомнил старинную балладу, слышанную мною в детстве о двух сестрах:

Одна была волны смуглей,
Другая, как пена, бела.

В балладе смуглянка, обладавшая такою же темною душою, как и кожею, бросила в море свою белокурую сестру, но волшебник спас ее, обратив в белого голубя, тогда как смуглянка им же была превращена в черного ворона.

Всего тяжелее мне было, когда, возвращаясь от Огоневой поздно вечером домой и поневоле подыскивая всевозможные объяснения своего позднего прихода, я видел, как жена вполне доверяет мне, на целую вечность далекая от всяких подозрений. Обыкновенно заждавшись меня и вволю наскучавшись, сидя одна в своем будуарчике, так как дети ложились спать рано, жена всякий раз искренно радовалась моему возвращению и встречала меня очень дружелюбно, ласкаясь ко мне как избалованный котенок. В эти минуты я давал себе торжественные клятвы больше не покидать ее ни под каким видом. Несколько раз я порывался сознаться ей во всем, но благоразумие сдерживало меня, я все надеялся: авось, бог даст, все как-нибудь само собою уладится к общему благополучию, как во французских романах, где герой, заколотый кинжалом в первой же главе, во второй, появившись на мгновение целым и невредимым, топится в Сене, в четвертой снова откуда-то появляется, выстреливается из пушки и гильотинированный в пятой, в последней, как ни в чем не бывало женится на горячо любимой им девушке, которая в свою очередь до этого была три раза отравляема, пару раз гильотинирована. Увы, к сожалению,

наша жизнь не французский роман и что раз испорчено, то испорчено на век. Так было и со мною.

Однажды, это было за несколько дней до начала конца всей этой трагикомедии и в последний приезд Веры Дмитриевны, я явился к ней с твердым намерением выяснить так или иначе свое нелепое положение. У меня в запасе были смутные надежды, основывавшиеся на поведении ее накануне. Вчера, прощаясь со мною, она вдруг уронила платок, и, когда мы оба наклонились над ним и я, не удержавшись от искушения, поцеловал ее в шею, она сделала вид, будто не заметила, но затем, как-то особенно, крепче обыкновенного, пожала мне руку.

— Итак, до свиданья, вы придете завтра?

— Не знаю.

— Приходите, мне надо, чтобы вы пришли.

— Зачем?

— Придете — узнаете. Ну, а теперь проваливайте! — и она сама заперла за мною дверь.

Но не на этом одном основывались мои надежды, меня поразила больше всего ее фраза, сказанная незадолго до моего ухода.

— Есть женщины,— сказала она,— очень осторожные, долго не сдающиеся, подвергающие сначала тех, кого выберут, строгому испытанию, помня всегда, что только то и ценится, что дорого дается.

«Уж и ты не из таких ли?» — подумал я, пытливо заглянув ей в лицо. Не знаю, угадала ли она мои мысли, но только почему-то улыбнулась, и, как мне показалось, весьма загадочно.

Итак, переступая на другой день порог слишком хорошо известной мне квартиры, я был в некотором ожидании; однако начало приема не предвещало ничего особенного. Вера Дмитриевна встретила меня, по обыкновению, полушутливо, полуравнодушно, с своей неизменной ласково-шутливой усмешкой.

— Как кстати, нам сейчас подадут чай, я только вас и ждала.

Каждый наш вечер обыкновенно начинался с чая. Это вошло у нас чуть ли не в обычай. Но на сей раз предложение чая, только что я, как говорится, господи благослови, успел переступить порог, раздосадовало меня. Не чая я ждал, идя сюда.

— Знаете, Вера Дмитриевна,— заговорил я резко,— вы, может, думаете, я только ради чая хожу к вам, чай у меня и дома есть.

— Но чем же мне вас иным угостить? — с напускным наивным недоумением спросила Вера Дмитриевна.— Вы, может быть, проголодались, постойте, не осталось ли у нас чего-нибудь от обеда, ах да, кажется, телятина осталась, позвольте, я сейчас схожу, узнаю! — И раньше чем я успел удержать ее, она выпорхнула из комнаты, а минут через пять передо мною уже стояла горничная с большим подносом в руках, на котором красовались приборы, графинчик с водкой, рюмка, хлеб и нарезанная тонкими ломтиками холодная телятина.

В первую минуту я чуть было не поддался искушению швырнуть все это к черту, но, сообразив, что было бы глупо разыгрывать сцены перед горничной, сдержал себя и даже имел настолько хладнокровия, чтобы принять от нее и расставить перед собою все принесенное. Тем временем Вера Дмитриевна как ни в чем не бывало опустилась против меня на диван и только по сдерживаемому трепету ее губ и коварному поблескиванию глаз я мог заключить, как зло смеялась она надо мною в эту минуту, от всего сердца потешаясь моею бессильной яростью.

— Вы думаете это остроумно? — мрачно спросил я ее, по уходе горничной.

— Я только, согласно евангельскому учению, за зло плачу добром.

— Что вы хотите этим сказать?

— Ничего особенного, за вашу вчерашнюю дерзость я сегодня угощаю вас телятиной, разве это не христианский подвиг?

— А, гм... понимаю, но знаете ли вы, кто вызвал эту дерзость? Знаете ли, что я скоро с ума сойду, если не сошел.

— Вам в таком случае следовало бы посоветоваться с каким-нибудь психиатром.

— Старая шутка, и к тому опять же не остроумная.

— Вы сегодня любезны.

— Может быть. Впрочем, я и не пришел для того, чтобы говорить вам любезности, мне наконец нестерпимы стали ваши постоянные насмешки, и я хочу знать раз навсегда, по какому праву вы издеваетесь надо мною? Неужели вы

не понимаете, как это безжалостно, бесчеловечно, да наконец даже безнравственно. Не делайте таких удивленных глаз, вы отлично понимаете, о чем я говорю.

Как сорвавшийся конь бежит сам не зная куда, заботясь только о том, чтобы как можно скорее убежать подальше от своей коновязи, так и речь моя лилась без удержу, без связи, порой даже без смысла. Я торопился высказать все, что накипело у меня в душе за последнее время, мало даже заботясь о впечатлении, производимом моими словами.

— Скажите только одно слово, и я брошу все, отрекусь от семьи, пренебрегу всем и пойду за вами...

— Куда? — совершенно спокойным тоном осведомилась Огонева.

— Куда? — опешил я несколько от неожиданного вопроса.— Да хоть на край света, всюду, куда прикажете.

— Зачем так далеко, идите лучше домой и выпейте сельтерской воды, это вас несколько охладит.

— Прекрасно, но это не ответ.

— Какого же ответа вам надо, да и что я могу ответить на такую чепуху, вы бы и сами себе не сумели ответить.

— В таком случае, прощайте.

— А телятина? Вы ее еще и не попробовали.

— Кушайте сами на здоровье, а мне надо идти.

— Не смею удерживать, тем более что у вас, как у отца семейства,— она умышленно подчеркнула этот эпитет,— наверно, есть дела дома.

— Вы правы — я и то последнее время слишком мало думаю о семье.

— Это нехорошо,— серьезнейшим тоном заметила она.— Ах да, кстати, говорят, ваша жена большая кокетка и очень хорошенькая собою, правда это?

— Насколько она хороша собой или нет, не мне судить, что же касается кокетства, то я знаю одну барыню, у которой жена моя могла бы смело брать уроки. У той кокетство возведено в культ, для нее оно все, и ради удовлетворения этой своей прихоти она готова довести человека до преступления.

— Это уж не я ли?! Ха-ха-ха,— рассмеялась Огонева.— Но ведь это прелесть как мило, за это я должна вас наказать: вы обязаны будете проводить меня к Львовским, у них сегодня вечер. Подождите меня минуточку в зале — я сейчас переоденусь.

В первую минуту я хотел было грубо отказаться, но какая-то необъяснимая сила удержала меня. Я машинально вышел в залу и остановился подле рояля. В голове моей был целый хаос. Припоминая свои фразы, я с досадой должен был сознаться, что большая часть из сказанного мною была ни к селу ни к городу. Я наговорил целый ворох всякого вздора, а того, что нужно было высказать, не высказал, или если и высказал, то не так, как бы следовало.

Шелест шелкового платья вывел меня из задумчивости. Я оглянулся. Передо мною стояла Вера Дмитриевна в изящном черном платье, с белыми китайскими розами в волосах и на корсаже немного открытого спереди лифа.

Никогда еще не казалась она мне такою привлекательною, как в эту минуту.

— Вы просто демон, Вера Дмитриевна,— невольно сорвалось у меня с языка,— не знаешь, право, ненавидеть или боготворить вас. Только все-таки же,— спохватился я,— провожать я вас не поеду и сюда больше никогда не приду. Прощайте.

— Нет, постойте, вы непременно должны проводить меня. Слышите, должны. До Львовских очень далеко, и мне одной в карете будет скучно.

Но мое решение было непреклонно, а потому... в конце концов случилось как-то так, что мы очутились вдвоем в карете. Еще, кажется, Данте сказал, что ад вымощен добрыми намерениями.

Победа над моим упорством, если можно назвать это победой, очевидно, Вере Дмитриевне доставляла наслаждение, она весело болтала и смеялась без умолку, тогда как я, наоборот, хранил упорное молчание и угрюмо отворачивался от нее к окну. Это ее, кажется, чрезвычайно забавляло.

— Вы сердитесь? — наклонилась она ко мне. Я молчал.— Как это учтиво, не отвечать на вопросы. Да оглянитесь же, пожалуйста! — и она слегка потянула меня за рукав. Я обернулся и увидел почти около самого своего лица ее красные полные губы, ее бледно-мраморный лоб и слегка разгоревшиеся щеки. В полумраке кареты еще ярче, еще задорнее блестели черные смеющиеся глаза Огоневой, белая плюшевая накидка слегка распахнулась, и сквозь ее кружева чуть-чуть просвечивалась полная обнаженная смуглая шея... А она все продолжала смеяться, глядя мне прямо в глаза, словно бы дразня и вызывая меня...

Я вдруг почувствовал, что перестаю владеть собою. Голова моя закружилась, не помня себя, я быстро наклонился к Огоневой и, раньше чем она успела опомниться, крепко сжал ее в своих объятиях и впился в ее губы долгим, страстным поцелуем.

— Что вы делаете, сумасшедший,— испуганно вскрикнула она, тщетно стараясь оттолкнуть меня от себя,— как вы смеете? — Но я, действительно, похож был в ту минуту на сумасшедшего и, не обращая внимания на ее протесты, весь дрожа от волнения, все сильнее и сильнее сжимал ее в своих объятиях, осыпая ее лицо и шею страстными поцелуями.

Она окончательно растерялась. В эту минуту карета с грохотом подкатила к ярко освещенному подъезду дома, где жили Львовские. Собрав всю свою силу, Вера Дмитриевна отчаянным движеньем вырвалась из моих объятий и, с быстротой птицы выпорхнув из кареты, быстро скрылась за дверью подъезда.

Все это произошло в одну минуту. Я машинально последовал было за Огоневой и уже взялся за ручку дверей, но, опомнившись, быстро отдернул руку, повернулся и поспешно зашагал прочь от подъезда. Я шел куда глаза глядят и, только пройдя уже две-три улицы, окончательно очнулся, сообразил где, сообразил дорогу и торопливо направился к дому.

Никогда не был я в таком состоянии духа. Целый вихрь самых разнообразных мыслей, планов и предположений роился у меня в голове в каком-то хаотическом беспорядке. Мне вдруг пришла мысль — убить Огоневу: выждать, когда она выйдет, и застрелить или заколоть ее, затем эта идея так же быстро исчезла, как появилась, и сменилась страстным желанием уличить, пристыдить ее, словом, оскандализировать ее, но и эта мысль так же скоро улетучилась, как и первая, и уже я не столько обвинял Огоневу, как самого себя. Под влиянием этого самообвинения мне пришла фантазия, придя домой, упасть на колени перед женою, выплакать перед нею все свое горе, чистосердечно покаяться ей во всем, вымолить прощенье и уже на всю жизнь раз навсегда отказаться от всяких увлечений.

— Маня поймет меня,— бормотал я чуть не вслух,— поймет и не обвинит, напротив, пожалеет, это святая женщина, не такая бессердечная кокетка, как Огонева,

у нее золотое сердце! — Я представил себе жену такою, какою она должна была быть в эту минуту. Одиноко сидит в своем спальне-будуарчике и что-нибудь вышивает, грациозно склонив свою хорошенькую, кудрявую, коротко остриженную головку. Глаза пристально устремлены на работу, щечки разгорелись, а покрасневшие ушки чутко прислушиваются, не раздастся ли знакомый звонок в передней.

Я так умилился, что готов был расплакаться, и уже не шел, а почти бежал. Благодарение богу, конец был не малый, взять же извозчика я как-то не сообразил, а потому, пока я домчался до нашего дома, нервы мои значительно успокоились и мозги стали работать более или менее правильно. Берясь за ручку нашего звонка, я настолько пришел в себя, что даже удивился, как могла зародиться у меня в голове подобная нелепая идея.

— Хорош бы я был в роли кающейся Магдалины,— усмехнулся я сам над собою.— Вот бы эффектную штуку отмочил, могу сказать.

Я застал жену не в будуарчике, как предполагал, а в столовой; она сидела под висячей лампой и аппетитно ужинала. Против нее на стуле, сидя на задних лапках, облизываясь и усиленно помаргивая, изнывал ее любимец, кудлатый Джек, а Матроска, рыжий, массивный кот, комфортабельно развалясь на коленях, тихо мурлыкал и презрительно щурился на волнующуюся собачонку. Его усатая мордочка, казалось, так и говорила:

— Охота тебе из-за какого-нибудь жалкого объедка так беспокоиться, визжать и надрываться, бери с меня пример, видишь, как я философски отношусь к подобным ничтожным вопросам жизни.

— А вот и ты,— весело воскликнула Маня, подняв на меня свое розовое, свежее личико с замаслившимися от еды губами.— Где это ты пропадаешь, с утра нет, я ждала, ждала тебя и чрез то почти не обедала. Вот теперь ужинаю, не хочешь ли и ты за компанию? У нас сегодня превосходная телятина, наша чухонка из деревни привезла.

Я взглянул и увидел, что перед женой, действительно, стоит тарелка с тонко нарезанными ломтиками телятины, точь-в-точь как часа три тому назад у Огоневой. Подобное совпадение показалось мне довольно курьезным.

«Телятина в роли тени Банко, преследующей Макбета»,— подумал я.

— Сегодня, видно, телячий день, чтоб черт ее побрал,— сорвалось у меня,— куда ни придешь, везде телятина, и находят люди вкус в подобной мерзости.

— А разве тебя уже угощали где телятиной? — спросила жена.— У кого же?

— Угощали, провались она совсем,— усмехнулся я, а сам в то же время подумал: «Недостает только, чтобы эта разанафемская телятина выдала меня, как журавли убийц Ивика»[34]

Вы, журавли под небесами,
Я вас в свидетели зову.
Да грянет привлеченный вами
Зевесов гром на их главу...

. . . .

Арсений, слышишь крик в дали,
То Ивиковы журавли —...
— Что? Ивик? — все заколебалось,
И имя Ивика помчалось
Из уст в уста, шумит народ,
Как бурная пучина вод...

. . . .

К суду и тот, кто молвил слово,
И тот, кем он внимаем был[35].

Припомнились мне отрывки чудного стихотворения Жуковского, и я невольно улыбнулся. Увлеченная своею телятиной, Маня не обратила внимания на мою улыбку и не стала больше расспрашивать.

— Федя,— начала она вдруг, час спустя, приготовляясь уже ко сну,— знаешь ли, мне последнее время что-то особенно грустно на душе, сама не знаю отчего, я даже плачу иногда, вот и теперь, так бы заплакала. Отчего бы это?

— Блажишь, а может быть, чем и больна... должно быть, нервы разгулялись. Ты бы к доктору сходила.

— Что доктор, доктора не помогут, это просто, должно быть, предчувствие, мне все кажется, вот-вот совершится что-то для меня ужасное, какая-нибудь беда... знаешь, я, должно быть, умру.

— Конечно, умрешь, неужели ты воображаешь быть бессмертной или, подобно пророку Илье, живой быть взятой на небо.

— Ты все шутишь, а я чувствую, что скоро умру, очень даже скоро.

— Э, глупости, с чего тебе умирать, ты нас всех переживешь.

— Я сон такой видела, будто бы наш Матроска бросился на меня и вырвал мне сердце, и кровь пошла, много, много крови, но не из сердца, а из горла...

— Ты, кажется, начинаешь походить на замоскворецких купчих, тем с жиру да с праздности всякая чепуха снится. Я знавал в Москве лавочницу, так та все жаловалась, что, как заснет, ей все черный таракан снится, с большими усами. Приползет это он, анафема,— повествовала она всем и каждому,— приползет, а мне, стало быть, боязно, так боязно, так боязно, что хоть жизни решиться. «Чего же вам боязно, Голиндуха Павсикакиевна? — спрашивали ее.— Эка невидаль черный таракан, их у вас в квартире, поди, видимо-невидимо».— «Есть грех, поразвелись, проклятые,— отвечала она,— я их и кипяточком обваривала, и скипидарцем, не пропадают, хошь плачь, а намеднясь просфору, ироды, источили, что мне странничек с Афона принес в запрошлом году, я уже и то с той-то обиды ажно плакать пытала. А только все ж те-то, стало быть, тараканы обыкновенные, как им быть следует, а энтот, что мне в сонном видении снится, быдто даже совсем и на таракана не похож, а больше того на гусарского ахвицерика смахивает, и в мундире таком со шнурочками, и штаны красные, из себя чернявый такой, ну точь-в-точь как тот брунетик, что супротив нашего дома квартирует, у него еще денщик рябой такой, точно его черт, прости господи, требухой ударил, вот диво-то в чем». Это, изволишь ли видеть, она днем на сумских гусар, что в Москве стоят, глаза пялила, ну ночью они ей и снились в виде тараканов, особливо после того, как она за ужином целого поросенка с кашей съест да индюшкой закусит. Вот и ты, не ходишь ли очень часто к Адмиралтейству, что тебе «матросики» снятся ночами.

— Странное дело, отчего ты перестал теперь по-человечески говорить со мною. Помнишь, в первый год нашей свадьбы, как ты внимательно прислушивался тогда ко всему, что бы я тебе ни говорила, а теперь только подтруниваешь. Умен, видно, очень уже стал, литератор. «Скоропадент», как тебя наш старший дворник зовет.

— Ты ему скажи не «скоропадент», а «ликпатер», это, мол, чином выше.

— Смейся, смейся, а все же таки я всегда скажу, что ты стал гораздо хуже, я и полюбила-то тебя единственно за то

только, что прежде в тебе души много было, теперь же ты стал какой-то деревянный, ничем не проймешь.

— Осатанел, мать моя, осатанел. Года такие подходят. Не век же аркадским пастушком быть.

— Хорошо бы, если бы действительно года, а только сдается мне, у тебя что-то да есть на душе. Сердце чует, мудришь ты что-то?!

Она замолчала и задумалась. У нее была привычка, когда ей взгрустнется и не спится, свертываться клубочком и застывать на целые часы. Лицо ее оставалось совершенно неподвижно, точно восковое, ни один мускул, бывало, не дрогнет, только глаза, становившиеся в такие минуты еще больше, медленно блуждали по всей комнате, словно бы отыскивая что-то. Состояние это было подобно сну с открытыми глазами. Потом она никогда не могла вспомнить, о чем она думала, если же что и припоминала, то весьма фантастическое. Однажды, например, после двухчасового такого лежания она вдруг заметила мне: «Как жаль, что меня не учили музыке, я вот сейчас лежала и все слушала какую-то чудную, чудную мелодию, только не поняла на каком инструменте, похоже на мандолину, но еще полнее и гармоничнее!»

Впоследствии, когда она заболела, подобное состояние стало появляться все чаще и чаще, причем и грезы ее делались все фантастичней и страннее. Ей представлялись целые картины и образы, и она часто сожалела о неумении своем рисовать.

— Если бы я была живописцем,— говорила она задумчиво,— сейчас бы нарисовала рай, каким он был, я так живо представляю его себе. Деревья такие высокие, тенистые, пахучие, темно-зеленые, точно из плюша, свет такой прозрачный, золотисто-розовый, яркий, а между тем глаз не режет, звери между кустов бродят, но не такие, как в зоологическом саду — грязные, дурно пахнущие, злые,— а, напротив, чистые такие, спокойные, столько в них благородства и красоты, столько грациозной простоты в движениях...

— Ну, а какими тебе кажутся Адам с Евой? — полюбопытствовал я.

— Адам с Евой? Я их что-то не вижу.

— А ты присмотрись хорошенько,— подтрунил я. Но Маня мои слова приняла едва ли не за серьезные, она на минуту замерла в своем оцепенении, словно бы вся сосредоточилась, устремив глаза в одну точку.

— Ну что, видишь?

— Вижу. Только странно, говорят, будто бы они были рослые, грубые, могучие, а мне они представляются не больше нашей Лельки, и такие легонькие, прозрачные, так проворно бегают, словно летают, и все вместе... обнявшись, ни на минуту не разлучаются.

— Это тебе чудятся, должно быть, сиамские близнецы, те тоже все вместе ходили, не разлучались,— шутил я.

— Да, вместе,— продолжала она, не обращая внимания на мои шутки,— и знаешь ли, что страннее всего, у них точно одно лицо, т. е. лиц-то, собственно, два, но выражение их одно: один улыбнется, и другой вместе с ним, один смеется, и другой... все вместе, одновременно.

— Ну, матушка, тебя, кажется, скоро в сумасшедший дом везти придется,— подсмеивался я, а у самого сердце рвалось, глядя на ее осунувшееся, истомленное личико с яркими роковыми пятнами на скулах вместо румянца.

«Скоро, может быть,— думалось мне тогда,— ты воочию увидишь свой рай». А она тем временем со всеми мельчайшими подробностями старалась живописать мне представляющиеся ее воображению цветы, землю, растения...

Впрочем, все, что я только что рассказал, случилось позже, в период ее болезни. В описываемое же время Маня была, по-видимому, совершенно здорова, она только немного похудела против того, какою она была первые годы нашей семейной жизни, но эта легкая бледность, как бы томность, еще больше красила ее, придавая всей ее фигуре особую легкость и нежность, «воздушность», как говорил один мой знакомый художник из неудачников.

XVI

Долго не мог я заснуть в эту ночь, припоминая до мельчайших подробностей все случившееся.

«Нет никакого сомнения,— думал я,— Огонева смеется надо мною. У нее нет ровно никакого чувства ко мне, даже простого расположения, иначе она не позволила бы себе так зло издеваться надо мною, над моими чувствами. Как долго бы ни продолжалось наше знакомство, отношения наши не изменятся, я никогда для нее не буду ничем иным, как объектом для всевозможных ухищрений по части кокет-

ства; глупо и недостойно будет с моей стороны, если я и на сей раз не удержусь и опять пойду к ней... Нет, этого не должно быть ни за что, ни за что».

Приняв наконец твердое и непоколебимое решение, что бы ни случилось, порвать раз навсегда даже всякое знакомство с Огоневой, и сердцем почувствовав, что на этот раз решение мое не изменится, я наконец заснул с облегченной душой.

Как я решил, так и сделал, и на другой день уже не пошел к Вере Дмитриевне, а прямо со службы возвратился домой. Мане в этот день что-то нездоровилось, и мы весь вечер провели вдвоем.

Из всех наших классических писателей жене моей более всех нравился Гончаров, а из произведений его — «Обрыв». Роман этот в своей жизни она прочла три или четыре раза и знала чуть ли не наизусть. В тот вечер, я живо помню, мы читали с ней вслух и именно то место, где Райский убеждается в падении Верочки.

Я читал, жена слушала, изредка вставляя свои замечания. Кстати, у Мани была чрезвычайно развита чуткость понимания психологических положений, странно даже было, как такое молодое, малоопытное существо могло иметь такие, подчас глубоко верные, взгляды на жизнь, со всеми ее разнохарактерными и разнообразными явлениями.

Как в природе перед грозою наступает полное затишье, так и в человеческой жизни перед часами и днями горя, борьбы и отчаяния бывают часы и дни жизнерадостной тишины и спокойствия. Этот вечер был именно одним из подобных затиший перед бурей.

На следующий день, только что успел я прийти в контору, как получил от Огоневой через посыльного записку следующего содержания:

«Я сегодня уезжаю, но раньше мне необходимо вас видеть, если можете, приходите сейчас, и уже во всяком случае не позднее 5—6, я буду вас ждать, повторяю, мне крайне нужно повидаться с вами до отъезда.

Ваша В. О».

Я внимательно раза два прочел это короткое послание, взял перо и, с минуту подумав, решительным и твердым почерком на той же записке приписал внизу:

«Мы и то слишком часто виделись. Будет гораздо лучше для нас обоих, если мы больше не встретимся. Прощайте».

Тот же посыльный понес эту записку обратно.

«Немного грубо,— размышлял я,— но тем лучше; из самолюбия, после подобного ответа, она сама пожелает прервать всякое знакомство со мною». Мне, собственно, того только и надо было.

Прошло часа два. Мне понадобилось по служебным делам ненадолго съездить в Гостиный двор. Отъезжая от крыльца, я увидел посыльного в красной фуражке, торопливо подходившего к подъезду конторы.

«Уж не от Огоневой ли посланец»,— подумал я и уже хотел было приказать извозчику остановиться, чтобы подозвать посыльного, но словно какой бесенок подтолкнул меня не делать этого, а, напротив, крикнуть вознице, чтобы он отъезжал скорее.

«Э, черт с ними со всеми,— мелькнула у меня опасливая мысль,— если и от нее, то и лучше, когда не застанет дома, а то, чего доброго, не устоишь и опять потащишься туда».

Как сожалел я потом, что не послушался своего первого побуждения — остановиться, сделай я это, ничего бы, может быть, и не случилось. Так в жизни иногда бывает — ничтожные события ведут к роковым последствиям.

Я не ошибся: посланный был ко мне от Огоневой. Не застав меня и не получив никаких инструкций на подобный конец, он был в большом недоумении, что делать с порученным ему письмом. В конце концов он бы, наверно, унес его обратно, если бы на беду в эту минуту в переднюю не вышел бы Зуев и, увидя его, не спросил бы, откуда он и зачем пришел. Посыльный показал письмо и назвал улицу, откуда он послан. По почерку и названию улицы адресовавшего Зуев тотчас угадал автора письма.

— Давай сюда письмо, я передам,— предложил он посыльному. Тот послушался и отдал. Вернувшись к своему столу, Зуев поспешно разорвал конверт, там находилась та же злополучная записка, но под припиской, сделанной мною, была новая, от Огоневой:

«После того, что произошло между нами третьего дня, после ваших клятв и уверений, когда вы даже предлагали мне бросить ради меня вашу семью, наконец после вашей дикой выходки в карете, отказ ваш прийти ко мне — знак пошлой трусости, недостойной порядочного человека, вы ме-

ня оскорбили, и я требую, слышите, требую, чтобы вы еще раз пришли, я должна объясниться с вами».

Слово «требую» было два раза подчеркнуто.

Когда я, час спустя, вернулся назад, Зуев мне не сказал ни слова о письме, и я решил, что посыльный приходил не ко мне, а по какому-нибудь другому делу.

Зная Зуева за человека порядочного, честного и доброго, трудно представить себе, как решился он на такой поступок, чтобы, прочитав вышеприведенную записку и сделав на ней сбоку надпись: «Теперь вы видите, что я был прав, вот ваш идеал, достоин ли он любви вашей?!» — послать эту записку Мане.

Единственным объяснением подобного поступка и до некоторой степени его оправданием может служить разве только его сильная любовь к Мане. Я уже говорил, что Зуев был из людей весьма увлекающихся своими собственными фантазиями, которые кажутся им истинными. В данном случае он, что называется, вбил себе в голову, сам себя свято уверил, полагать все счастье моей жены в том, чтобы как можно скорее бросить меня; притом, кажется, он не верил в ее привязанность ко мне и объяснял ее верность мне не любовью, а просто исполнением долга, необязательного для жены в том случае, когда и муж свято не исполняет его. Зуев весьма гордился своею логичностью, слово «логика» им склонялось во всех падежах и не сходило с языка, он всегда поступал согласно кажущейся ему логике,— но так как логика его была чисто теоретическая, ничего общего с живою жизнью не имеющая, то в конце концов редко можно было найти человека менее его логичного.

Довольный, что избавился наконец от своего рабства, наотрез отказавшись прийти к Вере Дмитриевне, вернулся я в самом прекрасном расположении духа домой. Но почему-то в ту самую минуту, как прислуга наша снимала с меня пальто, я почувствовал какую-то сердечную тяжесть. Может быть, я ошибся, но мне вдруг показалось что-то особенное в выражении лица нашей Матрены, настолько особенное, что я невольно зорче обыкновенного взглянул на нее. Какая-то неуловимая тень мелькнула по ее лицу, а глаза стрельнули куда-то в сторону. Петербургская прислуга, всю жизнь свою вращающаяся в калейдоскопе столичной жизни, невольная свидетельница чрезвычайно

разнохарактерных житейских драм, трагедий и водевилей, с изумительной чуткостью умеет проникать во все сокровенные, касающиеся их господ, и детски наивен тот, кто думает что-либо скрыть от этих всезнающих, всеугадывающих, всюду проникающих шпионов.

Как часто бывает с людьми болезненно настроенными, я вдруг почувствовал прилив такой робости перед чем-то, мне еще неизвестным, но долженствующим совершиться непременно и в самый короткий срок, что чуть было не пошел обратно, и должен был употребить некоторое усилие воли, чтобы войти в комнату жены. Я застал ее на обычном месте — диванчике, приютившемся в углу стены и драпировки, отделяющей будуарчик от спальни.

Маня сидела, откинув слегка голову на запрокинутые назад руки, в свою очередь покоющиеся на небольшой вышитой подушке. В первую минуту она показалась мне дремлющей, так как глаза ее были полузакрыты, но я тотчас же убедился в противном, как только вгляделся в ее лицо. Никогда еще не видал я его таким. Оно сделалось сразу до неузнаваемости мертвенно бледным, осунувшимся, как бы похудевшим. В складках губ и во всей фигуре было что-то, выражающее такое глубокое отчаяние, такую безысходную скорбь, что сердце у меня невольно сжалось, глядя на нее. Я осторожно подошел к ней и наклонился, чтобы, по обыкновению, поцеловать ее в лоб, но она, раскрыв вдруг широко покрасневшие от слез глаза, порывисто отшатнулась в сторону.

— Умоляю, не подходи ко мне! — болезненным стоном вырвалось у нее, и она снова закрыла глаза, приняв ту же позу.

«Ну, начнется теперь канитель,— досадливо подумал я,— начнутся слезы, упреки, жалкие слова, и что всего досаднее, вся эта история, в сущности, выеденного яйца не стоит, а не то, чтобы заводить такую мелодраму!»

Всего досаднее было сознание невозможности толково, ясно, не волнуясь, объяснить и дать понять всю, в сущности говоря, ничтожность всего происшедшего.

«Что ни толкуй ей,— с отчаянием думал я,— она не поймет. Не поймет, что тут вовсе нет ничего трагического, факт сам по себе вполне ничтожный, но, судя по началу, разыгрывается чуть ли не шекспировскою трагедиею».

Я кисло усмехнулся и, отойдя от Мани, опустился на

первый попавшийся стул, ожидая вопросов и объяснений. Я решил первым не начинать никаких разговоров, а по возможности спокойно и не раздражаясь постараться вразумить ее и убедить в бесплодности ее душевных страданий.

Но, против ожидания, Маня, по-видимому, и не думала задавать каких-либо вопросов, требовать объяснений, словом, как я мысленно выражался, «заводить сцену». Она сидела в том же положении, зажмурив глаза, и, казалось, не то была в забытьи, не то дремала. Так прошло около часу.

«Однако это еще глупее»,— подумал я и первый решился прервать молчание.

— Маничка,— начал я по возможности мягче, полушутливо, полусерьезно,— скажи, пожалуйста, что обозначают твои пластические позы, уж не приглашена ли ты на живые картины и теперь репетируешь роль?

Вместо ответа Маня холодно взглянула мне в лицо, выражение какой-то презрительной жалости мелькнуло в ее глазах, она медленно раздвинула пальцы и молча бросила мне, чуть не в самое лицо, скомканную бумажку.

Схватить ее и прочесть было для меня делом одной минуты. Бумажка эта была не что иное как роковая записка Огоневой, со всеми приписками ее, моими и, наконец, Зуева.

— Ах подлец, подлец! — невольно вырвалось у меня, когда я прочел приписку Зуева.

— Если ты говоришь это о себе, то вполне разделяю твое мнение,— спокойно произнесла Маня, не глядя в мою сторону.

Лаконизм этой фразы невольно рассмешил меня.

— Мэри, ты мила даже и тогда, когда капризничаешь,— развязно начал я.— Впрочем, сознаюсь, с твоей точки зрения, ты, пожалуй, вправе сердиться, но, уверяю тебя честным словом порядочного человека, тебе вовсе нет никаких причин так волноваться. Мои отношения к... этой... этой даме.

— Огоневой,— подсказала жена.

— Тебе даже и имена известны, ну тем лучше... итак, повторяю, мои отношения к Огоневой не простирались дальше простого ухаживания, а кто за кем не ухаживает, ведь и за тобою ухаживают, а я не волнуюсь...

— Но я не обещала никому бросить тебя, а ты предлагал ей оставить не только меня, но даже и детей, всю семью...

— Глупая фраза, больше ничего, не стоит обращать внимания.

— Но ведь для чего-нибудь она была сказана, ведь чего нибудь ты добивался, и если не добился, то не по нежеланию со своей стороны.

— Ну, допустим, добивался, что же из этого, ничего не вышло...

— А если бы вышло, тогда что? Если бы она, поверив твоим обещаниям, отдалась тебе и потребовала в свою очередь исполнения обещанного?

— Ах, боже мой, если бы да кабы, росли б во рту бобы; ты, кажется, искренно веришь в существование романов не в одних только книгах,— поверь, тут дело проще. Мне она нравилась физически. Красивая женщина, замужняя, умница... знакомство с такою льстит самолюбию; я ей тоже, очевидно, не был противен, если бы что и случилось, уверяю тебя, она бы первая была очень рада, если бы я после того постарался с нею и не встречаться. Она бы поспешила все забыть и разве только под старость вспоминала бы иногда втихомолку об этом инциденте, как о приятном сновидении. Все это в порядке вещей, и никто, раз он не ханжа и не идиот, из-за таких пустяков не полезет на стену.

Пока я говорил, Мэри пристально смотрела мне в глаза с выражением не то изумления, не то испуга, причину которых я не вполне мог уяснить себе тогда. Мне оно показалось напускным.

— Чего ты так уставилась на меня,— с некоторой досадой спросил я,— точно в кунсткамере, я ведь не в спиртной баночке. Охота тебе комедии ломать?!

— По-твоему, это комедия?

— А по-твоему, драма?

— По-моему, это... это... это что-то такое, чего даже и подлостью мало назвать... Боже мой, до чего мы с тобою разных полюсов люди... и это осознать после четырехлетнего совместного житья... Ты даже не сознаешь всю подлость, весь цинизм всего тобою сказанного, и это-то больше всего и угнетает меня... Пойми ты, несчастный человек, если бы ты действительно полюбил ее, ради нее оставил нас, я бы, может быть, отравилась бы, но в душе извинила бы тебя. Что делать — сердцу не прикажешь... А теперь? Теперь я вижу во всем этом одно пошлое, мелкое желаньице, ради удов-

летворения которого ты не задумался разбить мое счастье, а в случае удачи счастье другой семьи, все это с таким легким сердцем, будто дело идет о каком-нибудь пикнике... Ведь после этого я могу только презирать тебя... Вот он мой идеал, избранник, муж мой,— горько усмехнулась она и вдруг с новым порывом отчаяния заломила над головою свои руки.— Но кто, кто мог знать, угадать?! О как ты хитер, как ты жесток и неуязвимо бездушен... Ты ли это, тот самый, которого я знала несколько лет, или тебя неожиданно, внезапно подменили?! Теперь ли ты стал таким или всегда был таков и только до поры до времени прятал свою душевную тину... Значит, ты никогда не любил меня, такие, как ты, не любят, стало быть, все ложь, ложь кругом, целая система лжи... а я-то глупая, желая нравиться тебе, удержать твою любовь, которой никогда и не было, коверкала свою натуру... о глупая, глупая... Как ты в душе, должно быть, смеялся надо мною!.. Боже мой, боже мой, такое разочарование, и в ком же, в самом близком человеке... Вчера я еще гордилась тобою, уважала тебя, верила тебе, дорожила твоим мнением, а сегодня я только могу презирать тебя, мне жаль тебя, жаль твоего нравственного убожества... Пойми, если можешь, пойми весь ужас этого положения, всю его безвыходность... Пойми, что все кончено, что, против моего желания, вопреки мне самой, ты в моих глазах отныне не иное что, как пошленький эгоист, с мелкой душонкой, лгунишка и фразер... Ты навеки погиб для меня, навеки, навеки!

Чем дольше она говорила, тем больше охватывал ее какой-то экстаз, лицо ее разгорелось, глаза сверкали, и голос становился как бы металлически-звонким. Я — невольно залюбовался ею, но, признаюсь, слова ее мало на меня подействовали.

— Знаешь, ты мне сейчас напомнила Гореву в роли Юдифи, когда она появляется перед народом с головою Олоферна в руках. Но напрасно ты так широко открыла фонтан своего красноречия, как выражается один из лейкинских героев. Мы, очевидно, друг друга не поймем, хотя бы обладали оба в сложности красноречием Цицерона, ты верно сказала, оба мы разных полюсов люди, разных взглядов и никогда не сговоримся, а потому бросим бесплодную полемику, я, с своей стороны, обещаю тебе и готов поклясться священной особою Изиды, что ничего подобного никогда не повторится. Чувства мои к тебе не изменились, если можешь простить — прости,

не можешь — делай как знаешь, только брось ты, пожалуйста, твой высокопарный слог, а то ни дать ни взять непризнанный талант на любительской сцене.

— Я уезжаю.

— Куда?

— Это до вас не касается. Впрочем, когда нужно будет, вы узнаете, я прятаться и лгать не стану.

— Комедия и фразы. Куда ты пойдешь? Глупые вы, бабы, и больше ничего.

— Помните, Федор Федорович,— глухо произнесла Мэри,— оскорбление женщины, будь то жена или нет,— глубокая подлость, впрочем, от вас всего можно ожидать.

— Э, черт с вами! — досадливо крикнул я и вышел из комнаты, хлопнув дверью.

Весь этот день я просидел запершись в своем кабинете. Как впоследствии я узнал, Маня в тот же день, поздно вечером, получила письмо от Зуева.

Очевидно одумавшись и поняв свой поступок, Зуев пришел в ужас и тотчас написал ей отчаянное письмо. Не скупясь на самые нелестные эпитеты относительно своей особы, вроде «подлеца», «негодяя», «предателя» и т. п., он просил, как милости, позволить прийти на коленях вымолить себе прощенье и т. д., и т. д.

Все женщины более или менее фразерки, а потому и любительницы фраз, фразами можно подкупить любую женщину, даже самую умную, а если еще к пылким фразам прибавить пары две-три слезинок, о, тогда растает любое каменное сердце. Подобное повторилось и с моей женою. Не знаю, что подумала она о Зуеве, получив записку, открывшую ей глаза, и какое решение приняла она относительно его, но только в ответ на его горячечное, самобичующее письмо она написала ему чрезвычайно ласковую записку, прося не отчаиваться понапрасну, не обвинять себя так жестоко, уверяя его в неизменности своих чувств к нему и чуть ли не в благодарности своей ему за его поступок, доказывающий глубину его преданности. В заключение всего, приглашала его явиться завтра между 12 и часом дня, переговорить кое о чем.

Не помню, какой-то француз-балагур еще в конце прошлого столетия сказал как-то:

«Женщины учатся грамоте для того, чтобы писать глупости, преимущество безграмотных женщин в том, что

придуманная ими глупость только говорится, а не увековечивается посредством пера и чернил».

— Я пригласила к себе сегодня Зуева,— холодно сказала Мэри на другой день за чаем. Чайный и обеденный стол был нашей нейтральной почвою, на которой мы сходились первое время, пока наши отношения не приняли более мирного характера.

— Зачем это? — удивился я. Вместо ответа Маня взглянула на меня как-то вскользь, безучастно, точно бы меня и не было, или, вернее, если бы я был столом или стулом. Меня это несколько взорвало.

— Если ты находишь ненужным отвечать мне, незачем было и сообщать,— проворчал я,— или, может быть, ты этим желаешь дать мне понять, чтобы я не приходил и не мешал вам? Когда же состоится ваша высокоторжественная аудиенция?

— В двенадцать часов.

— Ночи? — съязвил я; но Маня сделала вид, будто не поняла моего намека, и тем же спокойным тоном ответила.

— Дня. Впрочем, мне кажется, теперь,— она нарочно подчеркнула слово «теперь»,— вам должно быть все равно, днем или ночью.

— Ну положим,— вспылил я,— если вы задумали мстить мне известным способом, то я бы попросил вас подождать до тех пор, пока вы снимете мою фамилию, и во всяком случае не у меня в квартире.

— Не судите всех по себе,— холодно ответила Мэри.— Хотя трудно более того опозорить честь своей фамилии, как то сделали вы сами, но тем не менее я обещаю вам, пока ношу эту фамилию, я не позволю себе сделать ничего такого, что могло бы бросить тень на столь достойного человека, как вы.

— На кой черт, в таком случае, вам Зуев,— окончательно взбесился я,— и что вы хотите, наконец, предпринять совместно с этим ослом?

— Я сама еще не решила. Когда решу окончательно, сообщу вам, будьте спокойны, тайком не убегу из дому.

Я с досадой пожал плечами и прекратил дальнейшие расспросы.

Выходя из дому, я в первый раз в жизни почувствовал нечто, похожее на ревность. Мне стоило большого усилия,

при встрече с Зуевым, молча пройти мимо него и ни единым знаком не выразить неприязненных чувств, волновавших меня. Я только издали, искоса, наблюдал за ним. Он был в страшном волнении, точно в лихорадке, то и дело вынимал часы и, мельком взглянув на них, через пятьдесять минут снова справлялся с ними. Ровно в половине двенадцатого он поспешно захлопнул конторку, торопливо запер ее на ключ и почти бегом направился в переднюю. Через минуту я в окно увидел его отъезжающим на извозчике от крыльца, и в ту же минуту что-то сильно и больно кольнуло меня в самое сердце. Я должен был призвать на помощь все свое хладнокровие, чтобы не выскочить и не погнаться за ним.

«Если Маня согласится уйти к нему,— думал я,— я не смею даже протестовать... а это ведь легко может случиться. Он обожает Маню, она это хорошо знает и хотя сама, кажется, вовсе не влюблена в него, но, во всяком случае, сильно ему симпатизирует. От ненависти до любви — один шаг, сколько же до любви от симпатии — не будет и полшага. Особливо при настоящих событиях. При теперешних условиях подобная симпатия может быть особенно опасною. С одной стороны, потребность видеть в ком-либо сочувствие, иметь под рукою слушателя, которому можно бы высказать свое горе, а тут же, кстати, может явиться и желание отомстить, наказать, а к довершению всего, и чувство сострадания, тем более что сострадание взаимное. Соединение двух страдающих существ ко взаимному счастью. Положим, это немного сентиментально и не в характере Мэри, но на одно это плохая надежда. Сентиментальность прилипчивей оспы, а у Зуева сентиментальности хватило бы на прививку ее хотя бы целому женскому пансиону. Положим, у меня есть средство во всякую минуту расстроить все их планы: не отдавать детей, Мэри же ни за что не согласилась бы расстаться с ними, но это значит злоупотреблять своими правами, насилие... Нет, нет, бог с ними, пускай, если захотят, берут и детей. На горе, с Прасковьюшкой у них все кончилось... На днях, я слышал, она уезжает совсем из Петербурга на родину. Дура эдакая. С ней исчезает последняя помеха. Захотят, хоть сейчас к венцу, я должен, если Мэри потребует, дать развод... честь того требует... да и все равно, силой не удержишь... Да неужели оно так и случится?»

Так размышлял я, волнуясь и раздражаясь все более и более. В конце концов я так размечтался, что предположения и опасения обратились в моем воображении в реальную действительность. Я уже видел себя разведенным, одиноко живущим в меблированных комнатах. Грустно, однообразно тянется жизнь. Проходит год, другой, о Мэри не имею никаких сведений, знаю только, что она уехала куда-то в провинцию с своим мужем, Зуевым, и вдруг судьба, как на зло, устраивает неожиданную, тяжелую для меня встречу. Светлый зимний день. Я возвращаюсь со службы на свою одинокую, унылую квартирку, мне что-то особенно грустно, сегодня 27-е марта, день рожденья Мэри, я вспоминаю, как мы весело проводили обыкновенно этот день, собирался небольшой кружок самых близких знакомых, смех, шутки, всякие пожелания... Многих из этих знакомых я не видал с тех пор, как Маня оставила меня... где-то она теперь, как-то справляет свое рожденье, вспоминает ли меня? Мне вдруг является страстное желание увидеть ее, я тоскливо оглядываюсь кругом, как бы ища в снующей мимо меня толпе дорогой образ, и вдруг останавливаюсь, как пригвожденный на месте, не смея верить собственным глазам своим... В каких-нибудь двадцати шагах от себя я вижу Маню. Она под руку с Зуевым идет мне навстречу, впереди, очень мило одетая, идет моя старшая дочь Леля... Ка́к она выросла за эти два года, как похорошела, немного похудела, но зато выровнялась и начинает уже походить на девушку. Я пристально, не отводя глаз, гляжу на них, но они не замечают меня, занятые каким-то, очевидно весьма их занимающим, разговором. Все трое, очевидно, как нельзя больше веселы и довольны. Мэри снова пополнела и еще больше похорошела, я замечаю в ней какую-то перемену, но перемена эта к лучшему, теперь она не похожа на молоденькую барышню, в ней есть что-то грациозно-солидное, женское... Она ласково поглядывает искрящимися живыми глазками на мужа и весело ему улыбается. Зуева же узнать нельзя, он совершенно переменился. Куда девалась его неряшливость, угловатость, засаленность? Он прекрасно одет, из-под воротника бобрового пальто выглядывают кончики белоснежных, туго накрахмаленных воротничков. Небольшая бородка, аккуратно подстриженная, старательно расчесана, на руках совершенно свежие перчатки, а из-под меховой, бобровой шапки уже не торчат косицы

жидких, покрывающих шею и воротник волос. Он не только вполне приличен, он даже красив собой. Я невольно взглянул на себя, какой контраст. Манжеты мои помяты, перчатки на пальцах подраны, сапоги стоптаны, а на коротком осеннем пальто не очищена еще грязь недавней оттепели!.. Машинально я попятился назад, как бы боясь быть узнанным, но все трое прошли почти мимо самого моего носа, не заметив меня. Я провожал их пристальным взглядом, а сердце мое ноет нестерпимо, точно замирает от боли у меня в груди. В эту минуту я до отчаяния, до безумия люблю свою милую Мэри, с каким бы восторгом прижал бы я ее к своему сердцу и расцеловал бы ее миловидное, разгоревшееся от мороза личико... Но... но то, что еще недавно было мое, всецело и неоспоримо принадлежало мне, теперь мне совершенно чуждо... Я пытаюсь окликнуть их, но голос не повинуется мне, и только обильные слезы неудержимо катятся по моим щекам. Одна из них капнула на разложенную передо мною бумагу. Я очнулся и, подняв голову, только сейчас замечаю, что я и в самом деле плачу.

«Черт знает,— подумал я, торопливо вытирая глаза,— да я, кажется, с ума сошел. Разрюмился, сам не знаю чего ради. Еще ничего нет, ничего, может быть, и не будет, да и наверно не будет, а я уже плачу... не ожидал я от себя такой слезливости. Наконец, черт возьми, что я такое особенное сделал, чтобы нести такое наказание. К дьяволу всякие сентиментальные бредни, Маня моя, и я ее уступлю только тогда, когда или сам умру, или она надоест мне до полного пресыщения, до тех же пор я буду владеть ею, ее телом, если не душой, и пусть осмелится кто-нибудь отнять ее у меня!»

Я быстро захлопнул конторку, поспешно надел пальто и чуть не бегом выбежал на улицу. Я так был взволнован, что не сообразил нанять извозчика и пошел пешком. Квартира наша была недалеко, полчаса ходьбы, не больше. Я уже завернул в нашу улицу, как вдруг нос к носу столкнулся с Зуевым.

Как ни был я расстроен сам, но невольно остановился и взглянул на него чуть ли не с испугом, такое необычайное было у него выражение лица. В эту минуту он походил на помешанного. Он шел, тупо глядя перед собою широко открытым, помутившимся взглядом, очевидно никого не замечая и едва ли вполне ясно сознавая, где он. Шляпа

съехала на затылок, как у пьяного, а пальто, кое-как надетое и не застегнутое, как-то особенно странно болталось на его длинной, костлявой фигуре. Он прошел мимо меня, задев меня плечом и не заметив.

«Что у них там произошло? — подумал я, провожая его глазами.— Должно быть, что-нибудь серьезное, никогда еще не видал я его таким».

Мучимый любопытством и беспокойством, я ускорил шаги и менее чем через пять минут входил уже в нашу квартиру.

Мэри я застал, по обыкновению, на ее всегдашнем месте — любимом диванчике в будуаре. Она сидела, склонив голову на сложенные на столе руки, и горько плакала. Я остановился перед нею и несколько минут тупо глядел на пробор ее склоненной головки и на вздрагивающие от сдерживаемых рыданий плечи.

— Скажи, пожалуйста,— начал я,— что у вас тут произошло с Зуевым? я только что встретил его, он точно лунатик идет, вытаращa глаза, и давит прохожих.

При моем вопросе Маня заплакала еще сильнее, судорожно сжимая пальцами тонкий батистовый платочек и попрежнему не поднимая лица.

— Господи,— скорей простонала, чем сказала она,— неужели я такая несчастная, что из-за меня всем одно только горе, лучше бы мне умереть, но не могу же я идти против своей совести, не могу, не могу...

— Ты, стало быть, отказала Зуеву,— радостно воскликнул я,— спасибо тебе, моя милая, хорошая... а я так боялся, что ты покинешь меня ради него... если бы ты знала, сколько я выстрадал за это время, ты, наверно бы, пожалела меня... Я теперь многое понял, чего не понимал еще вчера, и искренно раскаиваюсь, что причинил тебе столько горя, но, поверь, теперь я сумею загладить свою вину перед тобою, только ты прости меня, но прости вполне искренно, от души, так, чтобы больше уже никогда и не вспоминать об этой несчастной истории!

Я опустился подле нее на диване и, взяв со стола ее руку, принялся горячо целовать ее.

— Не все ли равно тебе, останусь ли я или нет? — с горьким упреком заметила Мэри, отнимая руку.

— Нет, не все равно, клянусь тебе, я люблю тебя больше всего на свете. Я сам до сегодняшнего дня не созна-

вал всю силу моей любви. Если бы ты знала, что испытал я сегодня, как мучился, как ревновал, когда Зуев поехал к тебе... Ты знаешь, как я сдержан, но на сей раз у меня не хватило силы воли остаться, и я, как сама видишь, пришел почти следом за ним... Мне только сейчас пришло в голову, как хорошо, что Зуев уже ушел, иначе могла бы произойти какая-нибудь беда... Я ведь все это утро на себя не похож, словно с ума сошел. Ты, кажется, не веришь мне?

— Отчасти нет. Положим, сейчас, в эту минуту, ты говоришь искренно то, что чувствуешь, но не пройдет месяца, и легко повторится та же история. Нет, Федя, обижайся или не обижайся, но ты не Зуев. Вот человек, который если кого любит, то всем сердцем, без всяких увлечений, честно и искренно. Любовь его не прихоть, а страдание... Бедный, бедный, как мне его жаль...

Слова эти сильно уязвили меня. Не улегшееся еще чувство ревности снова вспыхнуло во мне с прежней силой. Я поднялся с дивана и холодно сказал:

— Если тебе так жаль его, отчего же ты его не осчастливила?

— Почему?! Ты хочешь знать? Потому, что я не продажная женщина, чтобы отдаваться, не чувствуя любви, кроме того, я не в силах расстаться с детьми, а взять их с собою не имею права, хотя я хорошо знаю, ты бы охотно уступил их; но я, я не имею права лишать их родного отца, не имею права загодя предрешать их суд над нами обоими. Кто знает, может быть, выросши, они найдут тебя правым и обвинят меня за то, что я отняла их у тебя, может быть, я не сумею воспитать их как следует, и тогда вся ответственность падет на меня одну, и они же первые попрекнут меня... Нет-нет, это была бы слишком большая ответственность на моей душе, и я не смею взять ее на себя... лучше я пожертвую собою... Я даже никогда не скажу им обо всей этой истории, чтобы тем не дать им повода не уважать тебя...

— Боже мой, сколько великодушия! — с злобной иронией воскликнул я.— И все ведь, поди, ради принципа. Тебя твои принципы заели, как собаку блохи... а подумала ли ты о том, великодушная женщина, что из-за твоих принципов Зуев может взять да и застрелиться, тогда...

— Молчи, умоляю тебя, молчи,— всполохнулась вдруг Мэри, затыкая уши и с выражением неподдельного ужаса

на лице.— Господь не допустит, это было бы слишком ужасно... Ах, как ты зол, сейчас только что вымаливал прощенье, целовал руки, а теперь оскорбляешь... Нет, не любовь заставила ревновать тебя сегодня, а самолюбие, ты боялся, что я предпочту тебе другого... Если бы ты любил искренно, ты ревновал бы всегда, хотя бы к тому же Вильяшевичу.

— Который раз ты попрекаешь меня Вильяшевичем, сама ему чуть не на шею вешалась...

— Чем ты виноват?! Сказать тебе чем? — грозно сверкнула она глазами.— Ты сводил нас... Тогда я была глупа, не понимала, теперь мне это ясно, как день. Зачем ты спаивал меня? Оставлял нас с глазу на глаз? Подтрунивал над моей осторожностью в обращении с ним? А пикники, ужины, тройки... всего и не вспомнишь... Ты все сделал, чтобы заставить меня отдаться этому старикашке, и если я осталась верна своему долгу, то не по твоей вине.

При этом жестоком обвиненье я почувствовал, как вся кровь бросилась мне в голову, я побледнел как полотно и в первую минуту не мог вымолвить слова.

— Слушай, Мэри, как бы я ни был виноват перед тобой, но оскорбленье, которое ты мне нанесла, выше моей вины... Как могла ты подумать о чем-либо подобном?! Если я и поступал отчасти так, как ты говоришь, то единственно из желания ничем не стеснять тебя, мне нравится бравировать общественным мнением, общепринятыми понятиями о семейной жизни... я враг всякой нравственной шнуровки, но, если бы ты мне изменила серьезно, я был бы в отчаянии.

— Если и так, ты все-таки виноват. Ты развратник до мозга костей, ты циник, и для тебя нет ничего святого... я это и прежде как-то предугадывала, теперь же поняла ясно, жаль только, что так поздно.

Ни тогда, ни впоследствии мне не удалось узнать, какого рода объяснение произошло между Мэри и Зуевым. Маня никогда мне об этом не рассказывала, а расспрашивать ее я находил неудобным, но насколько мне кажется, у них вышло какое-то недоразумение. По всей вероятности, Зуев, в своем возбуждении чувств, не понял слов Мэри и увидел в них упреки, которых, наверно, не было, ибо Маня ни на минуту ни в чем не обвиняла его. Сужу же я так вот почему.

В тот же день, вечером, Маня получила от Зуева запис-

ку, меня на беду не было дома. Я ушел, видя, что присутствие мое ее раздражает.

В глупой записке этой, как я впоследствии узнал, стояло:

«Многоуважаемая, дорогая, милая Мария Николаевна, простите меня за все и не вспоминайте лихом. Я не подлец, что и доказываю. Прощайте, обожающий вас З***».

Получив эту записку, Мэри в одну минуту оделась и, не сказав никому ни слова, уехала из дому. Вернувшись домой довольно поздно, я уже не застал ее дома, и на все мои расспросы кухарка наша могла мне объяснить одно. Приходил, мол, посыльный в красной шапке, приносил письмо. Барыня прочли и сию же минуту схватились одеваться и затем вышли-с, а куда — неизвестно.

Я стал поджидать возвращения жены; проходил час за часом, а Мэри не возвращалась. Медленно тикала тяжелая маятная стрелка, мертвая тишина царила в квартире, только изредка из детской доносилось сонное вскрикиванье кого-нибудь из детей и недовольное, усталое кряхтенье полусонной нянюшки, сопровождаемое монотонным, заунывным убаюкиванием, с визгливыми переливами:

Спи, дитятко, усни,
Угомон тебя возьми...
Буду люлечку качать,
Станешь глазки закрывать...
Шиши... шиши, шиши-шиши, шиши
и т. д.

А часовые стрелки все двигаются да подвигаются вперед. Лунный яркий свет так и льется в комнату, широкой полосой ложась по полу и стенам... Сняв сапоги, я неслышно хожу взад и вперед по мягкому ковру, чутко прислушиваясь к легкому поскрипыванию собственных туфель... Вот уже и месяц стал бледнеть... Над крышей соседнего дома чуть заметно прорезалась багряная полоска, по каменным плитам двора гулко отзывались в мертвой тишине тяжелые шаги и скрип и грохот отворяемых ворот.

«Это, должно быть, дворник,— машинально подумал я,— ворота отпирает». Я поднял глаза на циферблат, стрелки показывали пять часов утра.

— Где же наконец она,— почти вслух воскликнул я,— это же наконец невыносимо.

Измученный продолжительным шатаньем из угла в угол,

бессонной ночью и душевными тревогами, я в изнеможении опустился на кресло и, как случается иногда в подобных случаях, неожиданно и почти мгновенно заснул. Впрочем, сон этот был непродолжителен, не прошло и пятнадцати минут, как я услышал подле себя легкие шаги жены, почувствовал на плече прикосновение ее руки и как бы тревожный оклик:

— Федя, Федя, проснись!

Я вскочил и оглянулся. Комната была совершенно пуста, я заглянул в спальню — никого. Прошел в переднюю, сквозь полуоткрытую дверь в кухню увидел нашу прислугу — она спала.

«Что же это такое, галлюцинация или бред? Я ясно слышал как голос, так и шаги и прикосновение пальцев, я готов был присягнуть, что это не был сон. Невольный страх овладел мною. Уж не случилось ли чего с Мэри?» — подумал я, под влиянием суеверного ужаса.

«Надо идти разыскивать ее, но куда?»

Я торопливо надел пальто и, крикнув прислуге запереть за собою дверь, вышел.

Люблю я Петербург ранним утром, когда огромный город еще спит и только кое-где появляются в лице запоздалых Ванек, полусонных дворников и сменяющихся городовых признаки пробуждения... Вот идет загулявший чиновник, в расстегнутом пальто, с слегка сбившимся на ухо цилиндром и криво накосо повязанным галстуком, он идет, чуть-чуть пошатываясь, с блаженным выражением лица, и самодовольно мурлычет что-то себе под нос... Ночная фея, сильно помятая, с испитым, изжелта-зеленоватым лицом торопливо бежит куда-то, точно ночная птица, спешащая укрыться от дневного света... Два каких-то подозрительных субъекта, лохматых, всклокоченных, рваных,— идут, зорко, по-волчьи озираясь кругом, отрывисто непонятно переговариваясь между собою... Городовой с книжкой степенно ведет какого-то бродягу в участок... В воздухе слышится некоторая свежесть, легче дышится, чувствуешь себя как-то ближе к природе, сквозь присущий столице запах дыма, гари и копоти нет-нет да и потянет чем-то, напоминающим простор полей, широколиственные чащи леса, светлобегающие ручейки и реки, и жутко и весело становится на душе.

Выйдя на улицу, я на минуту задумался. Куда идти? И решил идти к Зуеву. Что-то мне подсказывало, что

письмо было не иначе как от него. Зуев жил недалеко от нас, а именно в Гончарной улице, почти у казачьего плаца. Войдя по темной и далеко не опрятной лестнице на второй этаж, я только что хотел позвонить, как дверь отворилась, и на пороге появился высокий широкоплечий околоточный надзиратель с портфелем под мышкой, за его спиной я увидел приземистую фигуру в «спинджаке», сапогах бутылками и с длинной рыжевато-седою бородою — по всей вероятности, старшего дворника. В глубине виднелись еще две-три фигуры.

— Что вам угодно? — сухо обратился было ко мне полицейский, но в ту же минуту, узнав меня, переменил тон и весело воскликнул: — Э, да это вы, Федор Федорович, какими судьбами, зачем?

Случайно околоточный этот был мне знаком, благодаря одному делу, которое я имел с его высшим начальством. Дело было не мое личное, а конторское, и так как высшее начальство при этом отнеслось ко мне с большою предупредительностью, то подчиненные, в том числе и вышеупомянутый околоточный, до некоторой степени лебезили передо мною, хотя и старались принимать вид как бы независимой фамильярности.

— Что у вас тут такое? — спросил я в свою очередь, встревоженный таким ранним присутствием хранителя общественной тишины и спокойствия.

— Дела-с, я вам доложу-с. Вам, конечно, известно, кто здесь живет. Г-н-с Зуев. Ну вот-с этот самый г-н Зуев изволили вчера вечером-с отравиться, мышьяком-с, но как вам известно-с, мышьяк, как элемент самоотравительный (офицер говорил слогом высокопарной учености, для возбуждения, должно быть, вящего почтения к своей особе), не представляет из себя достаточно крепких начал, и в большинстве случаев отравления являются неудачные. Так и в настоящем инциденте, факта самоотравления смертоносного не произошло главным образом благодаря скорой медицинской помощи, но опасность все-таки же весьма ощутительна, так что доктор не отходит от больного... Главный же, так сказать, «цезис» всего этого курьезного происшествия в том, что тут замешана какая-то женщина. По ее словам, она пришла к г-ну Зуеву вечером, отворила ей прислуга, у которой она спросила: «Где барин?» и, получив в ответ: «Должно быть, в кабинете или спальне»,— про-

шла туда. Входя в кабинет, она увидела, как Зуев, выпив что-то из небольшого стакана, ударом об пол разбил его, а сам опустился на диван. Так как она почему-то раньше предполагала, что Зуев должен отравиться, но тотчас же догадавшись, в чем дело, бросилась за доктором. Доктор, к счастью, оказался в том же доме и немедленно явился. Он застал г-на Зуева в судорогах, конечно, сию же минуту были приняты все меры, но так как отравление все же довольно сильное, угрожающее жизни пациента, то и было дано знать полиции, вот и все... Женщина же эта нам очень подозрительна, тем более что она не желает сказать нам ни своей фамилии, ни кто она, ни даже зачем пожаловала. Во всяком случае, я хочу ее арестовать и отвезти в часть, пусть там разбирают, кто она такая, вот только жду своего помощника, я его послал за извозчиком.

Последние слова полицейского сильно смутили меня. «Господи, уж не она ли?» — мелькнуло у меня в голове, и я поспешно спросил полицейского:

— Можно мне войти?

— О, конечно, пожалуйте,— любезно пригласил он меня, отступая от дверей и давая мне место. Я торопливо вошел и, не снимая пальто, через маленькую, полутемную переднюю направился в квартиру. Отворив первую комнату, служившую, должно быть, одновременно и столовой, и гостиной, я первым долгом увидел Маню. Она сидела на диване, бледная, осунувшаяся, с лихорадочно блестящим взглядом. Волосы ее слегка растрепались, на ней было простенькое домашнее платье, с оборвавшимися вчера утром кружевами, очевидно, она выбежала из дому так, как сидела.

Увидев меня, она быстро вскочила с дивана и бросилась ко мне.

— Это ты?! Слава богу, меня просто измучили, они вообразили, кажется, что я бог знает кто, и не выпускают меня отсюда... Если бы ты знал, что они мне говорят тут, какие вопросы задают... Это ужас, ужас.

— Зачем же ты не сказала, кто ты? — укоризненно заметил я.

— Признаюсь, мне не хотелось говорить своей фамилии без крайней надобности, тем более что Зуев же жив, он сам подробно рассказал обо всем. Зачем же меня-то удерживают, ведь нельзя же подозревать меня, что я его отравила!

— Тебя в этом никто и не подозревает.

— А в чем же?

— В том, что ты — тут.

— Какой вздор,— воскликнула она,— вот идиотизм-то.

— Вздор не вздор, а ты рисковала большим скандалом; в сущности говоря, их и винить нельзя. Какого мнения должны быть они о женщине, которая ночью, в таком костюме, является к одинокому мужчине в квартиру.

Мэри хотела что-то возразить, но в эту минуту дверь с шумом распахнулась, и в комнату влетел околоточный.

Мэри страшно побледнела и, инстинктивно бросившись ко мне, схватила меня под руку, как бы ища за мною спасения.

— Извините, г-н околоточный,— сдержанно, но не без внутреннего смеха начал я,— вы изволили ошибиться, сия особа не то, что вы думаете, а законная жена моя, Мария Николаевна Чуева, а потому если уж так необходимо ехать в участок, то мы поедем вдвоем и без провожатого.

Надо было видеть эффект, произведенный этими словами на ярого блюстителя тишины и спокойствия. Он до того растерялся, что более минуты стоял совершенно опешенный, с разинутым ртом и бараньи выпученными глазами.

— Ваша жена?! — произнес он наконец и, не зная, очевидно, что сказать, наивно добавил: — А я и не знал.

— Охотно верю,— усмехнулся я,— в противном случае я бы счел себя оскорбленным и потребовал бы удовлетворения, конечно, не от вас, а от вашего начальства.

— Я, я, помилуйте... я ничего... долг службы, так сказать, обязанность... фатальные стечения обстоятельств... Сударыня,— кинулся он вдруг к Мэри,— уж вы, пожалуйста, не обижайтесь, если что, может, сорвалось с языка, знаете ли-с, не ошибается только один бог-с, да-с, а человеку свойственно ошибаться... ах, как неприятно...

Весь его апломб исчез, и, недавно еще похожий столь на бойкого петушка, он напоминал теперь мокрую курицу.

— Федор Федорович,— шепнул он мне на ухо,— уж вы будьте так добры, ради бога, ничего Петру Петровичу не говорите, прошу вас, пожалуйста, знаете, какой он у нас, в какую минуту подвернешься, а у меня все же жена, недавно бог сынишку дал, в некотором роде первенец... мало ли, со всяким случается, иной раз совершенно неожиданно для себя...

— Не бойтесь, не скажу.

— Ей-богу, честное слово?

— Честное слово, говорю вам, не скажу — и баста.

— Смотрите же, а то знаете нашего Петра Петровича...

Я не слышал окончания его фразы, так как извозчик уже отъехал от крыльца.

Петр Петрович, которого так боялся околоточный, был пристав, тот самый, которому его начальством поручено было мое конторское дело, человек, лично мне хорошо знакомый и относившийся ко мне более чем предупредительно. Стоило было рассказать ему всю эту историю, и, я уверен, ретивому околоточному досталось бы ни на живот, а на смерть, но я сдержал свое слово и никому ничего не сообщил, так как во всей этой истории главным образом винил жену.

Всю дорогу от квартиры Зуева до нашего дома мы не проронили ни одного слова. Я хотя и считал Мэри виноватой, находя ее поступок крайне неприличным и компрометирующим, но не счел нужным высказать ей своего взгляда, я видел, что ей без того, что называется, самой тошно от всех этих треволнений.

Как только мы вернулись домой, Мэри быстро прошла в спальню, разделась и легла в постель. Ее сильно лихорадило, я же отправился на службу. Вернувшись по окончании обычных занятий, я застал жену по-прежнему в постели. Она металась по кровати, вся в жару, бредила, очевидно ничего не видя и не понимая.

Почти целый месяц пролежала Мэри между жизнью и смертью. Все это время я не отходил от нее, ухаживая за нею, насколько хватало сил и уменья. Я целые ночи напролет проводил у ее изголовья, с напряженным вниманием следя за всяким малейшим изменением в ходе ее болезни. Целый месяц я переходил от отчаяния к надежде... Бывали минуты, мне казалось — она умирает, и тогда я замирал от леденящего ужаса при мысли о возможности потерять ее навеки; я удваивал свои старания и чуть дыша сидел над нею, не спуская глаз с ее лица, чутко ловя всякий ее вздох, всякое движение. Я припоминал все дурное, что я сделал ей, и сердце мое обливалось кровью, мне неудержимо хотелось тогда обнять ее и целовать, целовать, целовать без конца это милое, страдальческое личико.

Однажды мною овладела особенная тоска. Я долго глядел, склонясь, в лицо жены и вдруг неожиданно для самого

себя горько заплакал. Я опустил голову на ее подушки и плакал как ребенок. Не знаю, услыхала ли Мэри мой плач, но только она медленно открыла глаза, с минуту пристально и упорно смотрела мне в лицо. Мутный, бессознательный взгляд ее прояснился, она улыбнулась, вытащила из-под одеяла исхудавшую руку, крепко, насколько позволили ей ее силы, обняла мою шею и, притянув мою голову к себе, крепко и горячо поцеловала меня в губы и глаза. Несколько минут молча смотрели мы в глаза друг друга; это в первый раз с начала болезни, что она пришла в полную память; с этих пор она начала быстро поправляться и недели через две могла уже покинуть постель.

Зуев оправился гораздо скорее. Сконфуженный своим неудачным покушением, он поторопился покинуть Петербург и уехал в провинцию, даже ни с кем не простясь. Когда я сообщил об этом Мане, она ничего не ответила. Напрасно старался я по выражению ее лица угадать, какое впечатление произвело на нее это известие,— оно было вполне бесстрастно.

После болезни Мэри круто изменилась. Куда девалась ее шаловливая веселость и кокетливая игривость. Она сделалась как-то монашески-степенна. С этого времени я никогда уже больше не слышал от нее веселого громкого смеха, она улыбаться стала даже редко и постоянно была в каком-то грустно-задумчивом настроении. Хотя в отношениях ко мне я не видел с ее стороны никакой враждебности, но и прежней кошачьей ласковости не осталось и следа. Она бросила и свое кокетство, и свои кошачьи ухватки, одеваться стала очень просто, почти безвыходно сидела дома, все свое время посвящая исключительно детям. Она сильно похудела, побледнела, осунулась, пропали совсем задорные огоньки в глазах, и эти когда-то живые, искрящиеся глазки сделались как бы неподвижными, глубоконепроницаемыми, как ночь. Иногда на нее нападало какое-то оцепенение. По целым часам просиживала она тогда на своем любимом диванчике, устремив пристальный взгляд перед собою; в эти минуты лицо ее принимало такое тоскливое выражение, что вчуже жутко становилось. Осенью у нее появился глухой, подозрительный кашель.

Я обратился к докторам. Ни один из них не сказал мне ничего положительного. Советовали беречь от простуды, переменить климат, заняться серьезным леченьем.

Мэри ко всем этим советам относилась крайне равнодушно, казалось, даже и не слушала, что ей говорили. Меня же эти намеки и недомолвки беспокоили гораздо больше, чем самые серьезные опасения.

Больше всего смутил меня один старичок доктор, к которому я, между прочим, обратился по совету одного знакомого, рекомендовавшего его как весьма опытного и серьезного врача.

— Как бы вам сказать,— сказал мне этот доктор, глубокомысленно пережевывая губами,— очень серьезной опасности нет, но вам необходимо немедленно же покинуть столицу. Поезжайте в провинцию, на свежий воздух, главное, чтобы жена ваша была вполне спокойна, ее надо развлекать, у нее угнетенное состояние духа, признаки развивающейся меланхолии... У вас не помер ли кто? — перебил он вдруг сам себя.

— Нет, а что? — удивился я.

— Так, я думал... Видите ли, заметил в ней какую-то особенную, так сказать однопредметную, скорбь. Эта-то скорбь главным образом и точит ее. Есть субъекты, у которых такая скорбь если не рассеивается, то ведет к роковым последствиям, например чахотке...

— Неужели и вы так думаете, что вся ее болезнь происходит от тоски?

— Почти, хотя тут, кроме того, и простуда играет немаловажную роль. Очевидно, она у вас несколько раз более или менее сильно простуживалась, но не обращала на это должного внимания... Единственный мой совет, как можно скорее поезжайте в провинцию, старайтесь развлекать ее и бойтесь как огня простуды. Тогда, бог даст, она снова у вас расцветет, как захиревшее растение на солнышке. Так-то-с!

Легко сказать, поезжайте в провинцию, но сделать это человеку, живущему своим трудом, очень трудно. На сей раз судьба словно сжалилась надо мною, и менее чем через полгода я уже покидал Петербург, получив назначение в одну из бригад Пограничной стражи.

XVII

На новом месте Мэри, действительно, на первых порах словно бы ожила. Дорога, новые места, новые люди, новые

впечатления развлекли ее, она стала меньше скучать и задумываться. Мрачное настроение ее начало мало-помалу проясняться, подобно тому как проясняется иногда тусклое осеннее небо. Серые, как бы закоптевшие тучи густыми наслоениями заволокли весь горизонт. Сквозь них, как сквозь грязное, матовое стекло, едва-едва пробивается солнечный свет... Но вот что-то словно бы ожило там, в недосягаемой глубине небесного свода. Ожило, засияло... и хотя тучи по-прежнему хмуры и густы, по-прежнему упрямо громоздятся одна на другую, но становятся вдруг словно бы прозрачней... Какая-то искорка теплится в их недрах, ширится, разгорается, силится выбиться наружу, и вот кое-где, то там, то сям, начинают проскальзывать украдкой, как беглецы из тюрьмы, бледные лучи солнца... Это не те могущественные палящие лучи, что так еще недавно во всей своей царственной силе сверкали над полной жизни природой, обдавая своим неотразимым, горячим дыханием трепещущую землю, нет, эти лучи напоминают бледную улыбку больного ребенка. Но среди угрюмых туч, над коченеющей в черной грязи землею, сквозь вой и свист пронзительного осеннего ветра, в хаосе всей этой непроглядной, унылой природы даже они, эти чахлые лучи болезненно бессильного солнца, нам кажутся прекрасными. Они напоминают нам лучшие дни, дни своего торжества, обманывают нас несбыточными надеждами, что вот, по мановению волшебства, исчезнет вся эта душу гнетущая картина и они снова засияют с прежней силой, лаская и чаруя вновь ожившую землю... но проходит минута, другая — мрачные тучи, как бы озлобленные минутным торжеством противников, дружно сплачиваются, густеют, со всех сторон ползут на подмогу грозные чудовища, все новые и новые громады надвигаются, обрушиваются, теснятся... Словно таинственные злодеяния, какое-то ужасное убийство совершается там в недосягаемой глубине... сжимаются холодные, беспощадные объятия, мгновенная борьба, и вот опять кругом та же пасмурная, душу томящая, непроглядная картина... Довольные своей победой медленно расползаются косматые чудовища, но сквозь них не видно больше никакой жизни... Мертво, пусто там наверху, мертво на земле, смерть и уныние кругом, только холодный ветер стонет и завывает... Оплакивает ли он погибшие лучи или торжествует победу туч — нет ответа.

Нечто подобное было и с Мэри. Хотя она и ожила было и повеселела, но как далека была эта веселость от той прежней, бьющей как горный ключ, проникавшей все ее существо кипучей жизнерадостности.

Это был последний взрыв угасающей молодости.

Осени поздней
Цветы запоздалые . . . .

Вскоре ей стало хуже . . . .

. . . .

. . . .

Во многом была виновата и наша квартира. Никогда в жизни я не видал ничего подобного. Самый сквернейший подвал в Петербурге — Эльдорадо в сравнении с помещением, которое нам дали на посту Думбики Думбовицкого отряда. Там мы прожили десять месяцев, откуда нас наконец перевели в лучшее помещение, но, увы, было уже поздно.

Помню, мы сидели с женою однажды вечером в нашей невзрачной избушке, носившей громкое название помещения при кордоне Твердовицы Твердовицкого отряда, а по справедливости же заслуживающей скорее наименование Трущобки. Была глубокая зима. На дворе завывала вьюга. Маленькое оконце занесло снегом. Пронзительный ветер уныло стонал, врываясь в бесчисленные щели ветхой постройки. Где-то наверху на чердаке назойливо скреблась крыса, на душе было невыносимо тоскливо. Мы сидели и вполголоса разговаривали, вспоминая недавнее прошлое. Это сделалось нашим любимым препровождением времени. Воспоминание светлого прошлого заслоняло печальное настоящее и еще более унылое будущее. Вдруг Маня закашлялась, я остановился, выжидая припадка. Последнее время она начала кашлять чаще и чаще... Долго, мучительно долго, надрываясь всей грудью, кашляла она, судорожно прижимая платок к побелевшим губам, наконец откашлялась, отняла ото рта платок, взглянула на него, и смертельная бледность разлилась по ее лицу, а в глазах отразился неописанный ужас. Она с минуту пристально разглядывала свой платок, вдруг губы ее дрогнули, подбородок затрясся, а глаза наполнились слезами. Она припала головой к столу и заплакала.

Плач ее был не громкий, сдержанный, едва слышный, но в нем чудилась такая безнадежная тоска, такое безысходное, отчаянное горе, какое может только раз в жизни выдержать сердце человеческое. Я подошел и наклонился над нею.

— Мэри, милая, что с тобою? — спросил я, сам едва сдерживая приступавшие слезы. Она подняла голову и протянула мне руку с все еще судорожно сжатым в пальцах платком.

— Видишь это,— указала она небольшое кровавое пятно,— всему конец... Боже мой, как скоро, как скоро, я и не ожидала, что конец так близок.

Я мельком взглянул на красное кровавое пятнышко, как сургучная печать на смертном приговоре алевшее на ее платке,— и понял все... Спасенья не было, смерть грозно заглянула ей в глаза, и Мэри сама поняла это.

Несколько дней ходила она как потерянная, то и дело принимаясь горько, неутешно плакать. Наконец как бы успокоилась, словно бы окончательно примирилась с мыслью о скором, неизбежном конце, и уже до самой смерти спокойствие духа ни разу не изменило ей. Ее стоицизму мог бы позавидовать любой герой; будь она мужчина и умирай так на поле сражения, ее бы прославили, а между тем ей было еще тяжелее. Умирающему на войне утешением может служить сознание свято исполненного долга, восторг и внимание товарищей, весь апофеоз мрачной картины войны, Мэри же умирала одна, всеми забытая, одинокая, в глухой трущобе, умирала во цвете лет, сознавая, что могла бы еще жить... И не роптала, с христианским смирением покоряясь своей грустной участи.

Прошло более полгода. Быстро промелькнула весна, лето, осень, снова наступила зима. С каждым днем Мэри становилось все хуже и хуже. Она похудела до полной неузнаваемости. Бледная, трясущаяся от слабости, еле бродила она по комнатам, то и дело присаживаясь и с трудом переводя дух. В жарко натопленной комнате она дрожала от холода и тщательно куталась в мягкий байковый платок. Она отчаянно боролась с своею болезнью, стараясь, сколько хватало сил, не поддаваться ей.

— Я знаю,— говорила она мне,— что если слягу, то не встану больше.

Что может быть ужаснее этой полной отчаяния нерав-

ной борьбы молодого, жаждущего жить организма с неумолимой смертью.

Она старалась развлекаться, чем могла, ревностно принялась было за вышивание, вспомнила давным-давно заброшенное ею искусство делать всякие безделушки из плюша, шерсти и шелку. Затеяла грандиозное плато под чернильницу, долженствовавшее изображать целый ботанический сад, но силы, видимо, изменяли ей, и очень скоро уставала. Подошел праздник рождества, и она с какой-то судорожной энергиею занялась устройством елки для детей. Едва передвигая ноги в теплых валенках, неслышно, как тень, бродила она вокруг зеленого, развесистого деревца, внимательно оглядывая его густые веточки и выбирая, где бы получше и как бы покрасивее развесить целую массу разных елочных гостинцев и украшений, которых я ей накупил. Смело можно было сказать, что она гораздо более детей интересуется и забавляется этой елкой, заботы о ней поглощали все ее время и заслоняли собою мрачные думы о скорой развязке...

Детишки, их было двое, из которых старшей едва минуло пять лет, ничего не предчувствуя и не понимая, весело кружились вокруг матери, немилосердно теребя за платье и каждую минуту угрожая уронить ее, а она, чтобы не упасть, торопливо хваталась за стол, стул или спинку кровати, ласково улыбалась им и сама же над собою подтрунивала. Попробовала было однажды поднять и переставить подвернувшийся ей под ноги стул и не смогла. Минуты две провозилась она с ним, устала и наконец, в бессилии опустившись на постель, уронила на колени прозрачные, как бы восковые руки.

— Нет, видно, скоро конец, стула поднять не в силах, а давно ли...

Она не договорила и поникла головою в грустном раздумье.

На третий день праздника Мэри подошла как-то к окну и долго глядела через полузамерзшие стекла на раскинувшийся впереди кордона густой лес. Высоко подымались темнозеленые, занесенные глубоким снегом ели и сосны, неподвижные, как нарисованная декорация. Из морозной глубины темно-синего, как бы застывшего неба ярко сияла луна, заливая всю картину фантастическим светом матово-золотистых лучей... Ни звука, ни шелеста, тишина такая, какая

бывает в могиле или на границе, а между тем в этой мертвой, сказочной тишине зорко следят сотни глаз, чутко прислушиваются сотни ушей и сотни рук опасливо сжимают заледенелые стволы ружей. Громкий крик, выстрел, и безмолвный, заколдованный лес оживет... загремят выстрелы, раздадутся крики, тяжелый храп во весь опор мчащихся лошадей, грозный шум беспощадной погони через рвы, сваленные деревья, сквозь чащу леса, невзирая на ежеминутную головоломную опасность.

— Помнишь, Федя,— обернулась она вдруг ко мне,— помнишь, ровно три года тому назад, в этот самый день, мы возвращались на тройках из «Хижины дяди Тома»*, была такая же ночь, и лес такой же и луна... Боже мой, как давно, кажется, это было, а ведь всего только три года... три года, а какая разница... какая я была тогда и какая теперь! — она печально усмехнулась.— Если бы мне тогда показали меня теперешнюю, пожалуй, не поверила бы. А сколько в ту ночь умирало, может быть, таких молодых... мы и не думали... Какая я была в тот вечер веселая! Вильяшевич все приставал тогда, чтобы я спела ему любимый его романс «Ночи безумные, ночи бессонные!». Ты еще сердился, говорил, что я простужусь, заболею, а мне смешно было даже и думать тогда о болезни, не верилось, что болезнь может победить нас, столько было в нас во всех тогда жизненной силы, и я пела, пела на морозе и даже ни разу не кашлянула, теперь самой не верится, чтобы было время, я могла открывать рот и не кашлять... Помнишь:

Речи несвязные,
Взоры усталые,
Ночи последним огнем...

Запела она было вполголоса, но на первой же фразе голос ее оборвался, она сильно закашлялась, так что принуждена была скорее сесть.

— Вот глупая-то,— рассердилась она сама на себя, с трудом переводя дух,— умираю, а вздумала песни петь. Странно,— добавила она задумчиво,— вот и знаю, что конец, а все не верится, все кажется, авось нет, авось пройдет!

На другой день, утром, она собралась было встать, как и во все предыдущие дни, но не смогла. Несколько раз пыталась она начать одеваться, но силы изменяли ей, руки

* Загородный ресторан в Петербурге.

беспомощно опускались, а усиливающийся кашель принуждал ее снова ложиться и лежать без движения.

— Нет уж, видно, пора, что ни делай, а чему суждено, того не минуешь! — произнесла она наконец и улеглась. С этого дня она не вставала больше.

Два месяца пролежала она после этого, постепенно угасая, тихо, безропотно, ничего не требуя, ни на что не жалуясь. Только раз — это было недели за три до смерти — вырвался у нее как бы упрек жестокой судьбе. Дело было под вечер. Мэри лежала, закинув голову на высоко взбитые подушки, и глядела через окно на заходящее солнце. Долго, пристально следила она, как темно-багровый шар медленно закатывался за лес, словно утопая в его ветвях, а оттуда навстречу ему шли угрюмые сумерки. Вдруг глаза ее наполнились слезами.

— Отчего это,— тихо произнесла она,— когда здоров, не понимаешь всей прелести природы. Да неужели же я, в самом деле, умираю,— тоскливо возмутилась она,— неужели нельзя спасти как-нибудь, помочь, хотя бы еще три-четыре годика пожить, только три, а то умирать в двадцать восемь лет тяжело... тяжело, так тяжело, что тебе и не понять... Боже мой, за что, за что?!

Слезы градом заструились по ее лицу, она поспешно отвернулась к стене и прижалась лицом к подушке, как бы желая скрыть их от меня, но по вздрагивающим плечам, угловато торчащим из-под одеяла, я видел, что она плачет... Чем я мог утешить ее?!

Когда-то в юности в каком-то французском романе мне случилось прочесть об одном тюремщике, служившем при камере осужденных на гильотину. Всю жизнь проводя в обществе людей, которым с минуты на минуту угрожала смерть, он под конец так свыкся с мыслью об ней, что, когда во время революции его самого приговорили к казни, он почти не обратил на это внимания, до последней минуты входил во все мелочи своего хозяйства и уже на самом помосте гильотины крикнул своей жене, чтобы она на его поминках не забыла зажарить гуся, с начинкой из маринованного винограда, как это любит его закадычный друг и кум Томас, смотритель тюрьмы. Бедняк просто потерял представление о смерти, и она ему казалась вещью столь заурядной, в сравнении с которой забота о жареном гусе гораздо важнее.

Нечто подобное было и со мною. Мало-помалу я впал в полную апатию, никогда бы я не умер так спокойно, как в этот период. Все чувства притупились во мне. Я глядел на страдания Мэри и, к собственному ужасу, не ощущал никакого чувства ни жалости, ни горя, скорее, что-то похожее на любопытство овладело мною, и я внимательно следил за ходом ее болезни. Каждое утро я начинал мыслью: «Ну сегодня, наверно, конец!» Но проходил день, за ним другой, Мэри худела, истощалась, теряла подобие человеческое, но все жила и жила. Каждый новый день приносил какую-нибудь перемену к худшему. После всякой подобной перемены я думал: «Дальше меняться нельзя!» Фантазия отказывалась представлять себе что-либо более ужаснее того, что было перед глазами. Однако наступал следующий день, и к ужасу своему приходилось убеждаться в том, что еще не все было взято болезнью, что она, как алчный ростовщик, постепенно вымучивает у своего должника все его имение, ухитряется взять там, где, казалось бы, решительно нечего взять, и еще более обезобразить. Насколько мила и привлекательна была когда-то Маня, настолько теперь она была отвратительно-безобразна. То самое, что когда-то служило ей украшением, теперь ее больше всего и портило. Соблазнительные ямочки на щеках, о которых Вильяшевич говорил, что они снятся ему по ночам, растянулись в глубокие морщины, безобразно выдвинувшие вперед губы и придавшие всему лицу какое-то обезьяничье выражение. Густые, длинные брови делали еще ужаснее и без того глубокие впадины глаз, которые от того казались совсем провалившимися. Глядя на этот едва копошащийся на постели страшный скелет, обтянутый желтой, сухой кожей, с трудом верилось, что скелет этот был когда-то живое, веселое, сильное существо, игривое и резвое, как котенок, что эти вытянувшиеся в ниточку, сухие, запекшиеся кровью, потемневшие губы складывались в очаровательную улыбку, а мутные, безжизненные глаза, черными впадинами выглядывающие из-подо лба, сверкали и сияли, как огоньки во время вечернего пира. Она иногда пробовала улыбнуться... Если бы она могла видеть эту улыбку — она сама бы ужаснулась, я же без внутреннего содрогания не мог видеть ее.

«Живой труп»,— невольно думал я с каким-то суеверным ужасом. А между тем, чем ближе подходило дело к развязке, тем Маня становилась спокойнее. Мало-помалу

она уверила себя, что болезнь ее вовсе не серьезна и что она скоро совсем поправится. Эта уверенность, к моему большому удивлению, с каждым днем все сильнее и сильнее укреплялась в ней, несмотря на все грозные симптомы надвигающейся смерти. Маня или не замечала их, или давала им самые наивные объяснения. Когда, в одно утро, голос ее сразу изменился, сделавшись вдруг глухим, неразборчивым,— она, заметив это, совершенно спокойно объяснила это явление тем, что после долгого сна заспала голос. Когда же он к вечеру перешел в глухой, басистый, замогильный шепот, она решила, что простудилась, и думала помочь горю полосканьем горла бертолетовой солью.

Вместе с этим она начала строить отдаленные планы, как будет проводить весну и лето.

— Будем ходить в лес,— говорила она,— мне необходимо как можно больше дышать сосновым воздухом, я все дни буду проводить в лесу, возьму детей, работу, выберу где-нибудь местечко и сяду... надо только будет денщика с собою брать, как ты думаешь, ничего не может случиться?

— Чему случиться, зверей здесь нет.

— А контрабандиры.

— Те больше твоего боятся, чтобы не попасться кому на глаза. Впрочем, конечно, лучше брать, мало ли, может собака какая перебежать или так что-нибудь...

— Да я и сама думаю, лучше брать, тем более он тебе ведь почти не нужен. Хорошо?

— Хорошо, хорошо. Ты только поправляйся скорее.

— О, я скоро поправлюсь. Надо только аккуратнее лекарство принимать, я оттого так долго и хвораю, что не исполняла в точности советов докторов и не лечилась как следует, а начну лечиться, скоро поправлюсь.

— Я сам так думаю.

В таком роде были наши беседы; неизменной темой их было ее скорое выздоровление и обсуждение способов к наилучшему и наибыстрейшему достижению этой заветной цели. Насколько была она непослушна раньше ко всякого рода докторским советам, вполне игнорируя медицину и относясь к ней с обидным равнодушием, настолько теперь она сделалась ярой адепткой[36] этой полезной (для докторских и аптекарских карманов) науки. Смешно и грустно было видеть, с какой заботливостью принимала она прописанные ей, единственно для очистки совести, лекарства, не подо-

зревая, что главные составные их части дистиллированная вода, сахар, да для окраски, или, как говорят солдаты: «красоты взгляда», еще какая-нибудь безвинная бурда.

Боясь пропустить минуту принять столь серьезно-важные снадобья, Мэри упросила меня повесить над ее кроватью ее золотые часики, а рядом с ними расписание следующего курьезного содержания.

«В 8 ч. утра — какао. В скобках — две чашки, а нельзя — одну.

В 10 ч. утра порошки (что в синей коробочке с птичкой).

В 12 ч. молоко или бульон.

В 2 ч. порошки (из деревянной коробочки)».

Сказать к слову, доктор, заметя в ней такое усердие к лечению, прописывал те же самые порошки, но по разным коробкам, изменяя немного и цвет их. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

«В 4 ч. микстура — столовая ложка, можно заесть вареньем.

В 6 ч. какао, а там через каждые два часа капли из граненого пузырька по пяти или шести».

Кстати, по поводу этих «пяти или шести» между Мэри и доктором было довольно продолжительное совещание, она все допытывалась: сколько же именно, пять или шесть, недоверчиво относясь к тому, что будто бы одно и то же, что пять или шесть. Насилу доктор уверил ее в этом.

Надо сказать, что незадолго до смерти Мэри впала как бы в ребячество, к этому-то периоду и относится появление вышеупомянутого курьезного расписания. Одновременно с постепенным ослаблением умственных способностей в ней притупилась память, и сколько раз в день ни читала она это расписание, стараясь зазубрить его на память, ей это никак не удавалось. К тому же она совершенно потеряла способность распознавать время. Проснется ночью и первым долгом воззрится на свое расписанье, долго смотрит то на него, то на часы, глубокомысленно шевеля бровями и усиленно что-то соображая, очевидно стараясь сопоставить время с расписанием, но убедясь наконец в невозможности разрешить столь головоломную задачу, она поворачивается в мою сторону и тревожно просящим взглядом смотрит, сплю ли я.

— Что тебе, Маня? — обрадуешь ее вопросом.

— Ах, ты не спишь? Как я рада; милый, не поленись, посмотри, не пора ли порошок принять.

— Нет, порошки не теперь.

— А когда же?

— В 10 часов и в 2 часа.

Она недоверчиво косится на часы и еще робче говорит:

— Но ведь теперь, кажется, два часа и есть.

— Два часа ночи, а надо в два часа дня,— отвечаю я и, видя ее сомнение, встаю, подхожу к ее постели и в девятьсот девяносто девятый раз читаю ей расписанье. Она чутко прислушивается, как учитель к ответу ненадежного ученика, на лице ее появляется выражение полного разочарования.

— Значит, теперь ничего не надо принимать! — недовольно-грустным тоном говорит она. Мне хочется ее утешить, и я с серьезной миной возражаю.

— Ах батюшки, я и забыл, а капли-то, ведь ты их принимала последний раз в двенадцать,— вру я наобум, благо капли такого сорта, что давай, что не давай, ни вреда, ни пользы,— а теперь два, по расписанью же надо принимать их через каждые два часа.

— Вот видишь ли,— укоризненно-радостным тоном говорит Маня,— я отлично помню, что надо что-то такое принимать, вот только забыла что, а это капли... вот, вот я теперь сама помню, именно капли.

Тем временем я с наисерьезнейшим видом ка́плю пресловутое лекарство, прозванное у нас с доктором «пять или шесть», Мэри горящим, тревожным взглядом следит за моей рукой. «Смотри не перелей!» — предупреждает она меня и осторожно, трясущимися руками берет от меня рюмку, медленно выпивает ее и, измученная всеми этими волнениями, опускается на подушку... Через минуту она уже спит. Иногда сон ее бывал довольно продолжителен, но чаще бывало, что через какой-нибудь час, много-много полтора, она снова просыпалась, и начиналась опять та же комедия с расписанием, часами и каплями.

Эти хлопоты наполняли все ее время и развлекали ее до наслаждения, но злая судьба и тут жестоко подсмеялась над нею. Не доверяя мне своих часов, Мэри сама заводила их трясущимися от слабости руками. Заводила, заводила и перевела, волосок лопнул, часы стали. Долго не замечала она этого, но когда заметила, пришла в глубокое отчаяние,

можно было подумать, что от исправности часов зависит ее жизнь, она расплакалась как ребенок, и мне стоило немалого труда успокоить ее. Она утешилась только тогда, когда я уверил ее, что часы, посланные немедленно в починку, будут завтра же готовы, а ей повесил пока свои.

Мало-помалу она впала в полное ребячество, о смерти перестала даже и помышлять, только однажды, в минуту скоропрошедшего прояснения, она как-то сказала вдруг, взглянув на свои высохшие до костей руки:

— Нет, видно, мне не выдержать!

— Чего не выдержать? — не сразу понял я.

— Умру,— коротко ответила она и отвернулась.

— Какой вздор! — попробовал я рассеять ее сомнения, но она ничего не ответила, очевидно даже не расслышав моих слов.

А болезнь шла своим чередом.

— Слушайте, барин,— сказала мне как-то наша верная Матрена, приехавшая с нами из Петербурга,— сегодня, должно, кончится.

— Почему ты думаешь?

— Стала землей пахнуть,— таинственно пояснила она мне.— Сегодня я этого наклонилась над ними, а из них как бы то из земли дух такой «чижолый» идет, ровно вот как бы из могилы, а к тому же и убирать себя начали.

— Как убирать? — опять не понял я.

— А так, ручкой, то там себе личико тронут, то инноместе, ровно бы что снимают, аль-бо вот прихорашиваются, это завсегда перед самым концом бывает.

Была глухая ночь. Я лежал и думал, а сам машинально прислушивался к легкому клокотанью в горле жены. Клокотанье это появилось всего дня три тому назад и очень походило на мурлыканье спящего кота, только несколько громче и глуше. Когда Мэри не спала, клокотанье это было слабее, но все же настолько сильно, что легко было слышимо через всю комнату. Я несколько раньше, чем сама Мэри, заметил это мурлыканье, конечно, промолчал, боясь встревожить ее, но она, напротив, не только не обеспокоилась, подметив наконец в себе это новое явление, но отнеслась к нему даже шутливо.

— У меня кот в горле завелся,— улыбнулась она,— слышишь, как мурлычет. Отчего бы это?

Я промолчал, не зная, как объяснить ей это, и она

больше не расспрашивала. Потом я несколько раз замечал, как она подолгу прислушивалась к этому мурлыканью и улыбалась. Оно, очевидно, ее забавляло, а меня это проклятое мурлыканье заставляло лежать по целым ночам без сна, с широко открытыми глазами и боязливо бьющимся сердцем.

Вот и теперь я лежал, прислушивался и думал. Я столько выстрадал за это время, что даже не мог тосковать, я как-то безучастно относился к долженствующей свершиться скоро потере, о которой год тому назад я не мог подумать без леденящего ужаса, теперь же мне иногда казалось, что смерть Мани обрадует меня. Какой бы ни был конец, все равно, только бы скорее выйти из этого ужасного надмогильного состояния! Впрочем, о близкой смерти Мэри я почти не думал, а больше размышлял о чисто отвлеченных предметах. Я многое понял из того, что прежде мне было мало понятно. Между прочим, мне пришло на память изречение из одной священной книги, прочитанное мною случайно года четыре тому назад. «Прах есмь, от праха рожден и в прах обращусь!» Тогда я не понял всей глубины этого изречения, оно показалось мне даже банальным.

«Само собою разумеется,— рассуждал я тогда,— что тело человеческое, по разложении своем на составные части, обращается в то нечто, что в совокупности составляет до некоторой степени нечто аналогичное с землею, ничего тут нового нет!»

Но теперь, припомнив случайно это изречение, я неожиданно, сразу постиг его глубокий, тайный смысл. — «П р а х е с м ь...»

Да, прах, и не тело только мое, а в с е, все, что составляет нашу жизнь. Прах наша любовь; прах — эта, когда-то столь очаровательная улыбка, обратившаяся теперь, благодаря изменившимся чертам, в обезьяничью гримасу; прах — чарующий голос, от которого остался теперь какой-то ужасающий хрип; прах то, что вызывало его: все прах и прах... прах наша шестилетняя совместная жизнь со всеми ее радостями, треволнениями, печалями и горестями, жизнь, от которой в конце концов останется небольшой, никому ненужный, бессмысленный бугорок земли. Пройдет год, другой, бугорок сгладится, зарастет травой, и от всей этой жизни, казавшейся нам такой полной, хлопотливой, требовавшей так много труда, энергии, стараний, жизни, которую,

по-видимому, не могло вместить само время, ибо и времени, казалось, не хватало на выполнение всех дел, забот и предприятий, от всего этого моря дум, страстей, желаний останется... ничего.

Пока я размышлял так, Мэри, крепко спавшая дотоле, вдруг неожиданно приподнялась и начала прислушиваться, с выражением какой-то торжественности в лице.

— Слышишь,— таинственно зашептала она,— кто-то ходит под окном,— слышишь, вот постучался, вот опять идет... слышишь, как хрустит снег?

Панический ужас холодом пробежал по моим волосам. Ночь была тихая, нигде ни звука, пробеги собака, было бы слышно за полверсты, а я ничего не слыхал. Очевидно, Мэри галлюцинировала. Она еще с минуту прислушивалась, повернув голову и наклоня ухо по тому направлению, где ей чудились таинственные шаги, и наконец улеглась, но не заснула, а все прислушивалась с какой-то пугливой чуткостью. Минут через пять она снова поднялась с искаженным лицом и широко раскрывшимся взглядом. «Опять идут,— торопливо испуганно заговорила она,— вот уже в ту комнату вошли... берутся за ручку двери... это смерть моя. Федя, спаси, спаси меня, выгони... вот уже дверь слегка отворяется... она еще не смеет войти... рано еще... а когда войдет, я умру... стой... стой еще немного... Рано, рано! — закричала она диким голосом, обращаясь к запертой двери.— Отворяет... Федя, выгони, выгони!»

Она опрокинулась на подушку и заметалась по постели в полном беспамятстве.

Замирая от ужаса, вскочил я с кровати и стал посреди комнаты, не зная, что предпринять.

«Агония! — думал я, глядя в судорожно искажающиеся черты Маниного лица.— Сейчас конец!» Но я ошибся, конец наступил еще не так скоро. Побившись минут пять, Мэри мало-помалу успокоилась и заснула. Больше она не просыпалась. К утру дыхание становилось все реже и реже. По временам костлявая грудь ее высоко подымалась под тонким полотном кофточки и сквозь стиснутые зубы вырывался продолжительный, болезненный не то вздох, не то стон. Так прошло часа три, четыре... Вдруг она широко раскрыла рот, как бы стараясь заглотнуть побольше воздуха, вместе с тем на мгновенье с трудом приподняла было отяжелевшие веки, испуганно-удивленно глянула во-

круг себя тусклым, безжизненным взглядом и снова закрыла глаза. Неуловимые тени побежали по бледному лицу, оно постепенно начало суроветь, хмуриться, словно бы каменеть... Выражение какой-то строгой, недоступной торжественности разлилось по нем, сгоняя страдальческие морщины, разлилось и застыло. Она вся дрогнула, точно посунулась куда, мелкая дрожь конвульсивной змейкой быстро, быстро пробежала по всему телу и замерла...

«Вот он конец!» — подумал я и вздохнул.

В эту минуту я почувствовал облегченье, как узник, выпущенный из тюрьмы.

. . . .

Пробило четыре часа утра, когда мы, при свете конюшенных фонарей, вынесли белый гроб Мэри и поставили на простую польскую крестьянскую фурманку*. До города нам предстояло более двадцати верст. Дорога была отвратительная. Снег стаял, и его заменила непролазная грязь, в которой легкая, высококолесная фурманка вязла по ступицы. Катафалком бы не проехали и двух шагов. Без священника, без певчих, без провожатых, в гробе, покрытом простой конской попоной, как бездомная бродяга, тронулась бедная Мэри в свой последний путь. Сзади гроба ехал верхом я, да плелся пешком, утопая по колени в грязи, денщик, добровольно вызвавшийся проводить барыню, которую любил, по собственному выражению, «больше всех сродственников своих».

Уныло плелась неуклюжая телега, подпрыгивая по размытой дождями и оттепелью кочковатой дороге. Кругом, шумя ветвями, теснился угрюмый лес, протягивая свои косматые, трепещущие лапы, словно бы благословляя лежащую в гробу.

— «Вот он конец!» — в сотый раз повторял я сам себе, задумчиво следя, как шатается во все стороны задок гроба.— Кто мог предвидеть, шесть лет тому назад, когда мы веселые и здоровые венчались с нею, в небольшой, залитой огнями уютной церкви, эту ужасную картину. Мог ли я думать тогда, что придет день и я повезу ее, как нищую, в простой телеге, под конской рогожей, глухою лесною тропою... Какая злая ирония, и как скоро, незаметно скоро промелькнула жизнь...»

* Фурманка — от слова фура. Огромная четырехколесная узкая и очень легкая на ходу пароконная телега.

С каждым часом я все яснее и яснее сознавал всю глубину своей потери. Ко мне, словно бы после тяжкой болезни, возвращался рассудок и способность ощущать; я не плакал, даже с виду был совершенно спокоен, но в то же время ясно понял, понял сразу всем своим существом, что вся жизнь кончена, впереди ничего нет, все разбито, уничтожено, похоронено. Лучшая часть жизни промелькнула... Промелькнула молодость, первая любовь, словом, все, чем дорога жизнь, впереди бесконечные сумерки, длинная, безотрадная, как выжженная степь, дорога с чернеющейся на горизонте ямой, куда, чем скорее, тем лучше, сложить свое усталое тело . . . . . .

В эту минуту, следуя тихо за гробом, я в первый раз серьезно подумал о самоубийстве.

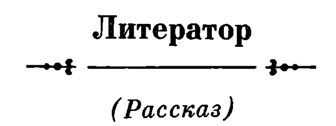
Прошло почти два года, я как садовник, вынянчивающий особенно дорогое ему растение, взлелеял эту мысль, выкормил ее бессонными ночами, одинокой бесконечной тоской. Пора приводить ее в исполнение. Завтра в этот час я сам буду уже труп, но до последней минуты жизни все мои мысли всецело принадлежат тебе, моя Мэри. Мы сошлись с тобою, не поняв друг друга, не понимая, прожили шесть лет и расстались — не выяснив, кто из нас был прав, ты ли или я, или, может быть, мы оба правы, а виновата судьба, роковая сила, не давшая ясного понимания обязанностей и отношений друг к другу!»

. . . .

. . . .

На этом кончается рукопись Чуева, которую я и предлагаю читателю, без всякого изменения, в том самом виде, в каком она была мною найдена.

Литератор



(Рассказ)

А где нет ни плиты, ни креста,—
Там, должно быть, и есть сочинитель.

Н. А. Некрасов.
Утренняя прогулка

Иван Семенович Кротков состоял репортером почти всех столичных газет, что, впрочем, не мешало ему чуть ли не умирать с голоду, прозябая в крошечной квартире в одной из рот Измайловского полка. Квартирка эта, состоявшая из двух полутемных сырых конурок, уже давно успела приобрести искреннюю ненависть ее обитателей: Ивана Семеновича и его супруги Марии Николаевны. Дня не проходило, чтобы Иван Семенович не ругал и не клял ее, доказывая, что надобно упасть на голову, чтобы жить в подобной мерзости, и при этом божился, что непременно и в самом непродолжительном времени съедет.

Но предприятие это так и оставалось предприятием, ибо при всех своих недостатках злополучная и столь страстно проклинаемая квартирка имела два незаменимых преимущества. Первое — домовый хозяин ее был человек весьма тихий и сговорчивый и охотно ждал по целым месяцам уплаты, как бы сам совестясь требовать аккуратного платежа за такую дрянь. Второе — в том же доме жил некий Иван Трофимыч, обладавший друмя сокровищами: зеленою мелочною лавочкою и чрезвычайно добрым сердцем. Этот Иван Трофимыч играл весьма важную роль в жизни супругов Кротковых. Не говоря уже о том, что Иван Трофимыч состоял для них бессменным и постоянным поставщиком всех жизненных припасов, он, кроме того, нередко выручал их, особенно в трудные минуты жизни, ссужая небольшими суммами. Его «малограмотному степенству»

весьма льстило состоять чем-то вроде друга-покровителя «писателя». Иван Семенович в шутку прозвал его: «мой меценат», и Иван Трофимыч, не без труда понявший наконец и зазубривший это хитрое слово, всякий раз, при повторении его, самодовольно улыбался. Благодаря знакомству с литератором, лексикон почтенного Ивана Трофимыча обогатился множеством мудреных слов, как, например: либерализм, консерватизм, эмансипация, прерогативы, эквилибристика, резонанс и, наконец, ренессанс[1]. Всеми этими словечками добродушный Иван Трофимыч смерть как любил щегольнуть в своем кругу, намекая тем на свои связи с «образованным сословием и с самою литературою». Иван Семенович хотя и третировал несколько своего друга, но за всем тем чрезвычайно дорожил его расположением. Иван Трофимыч, как ни был толст, а в силу этого глуп, сознавал это как нельзя лучше, и при случае иногда не прочь был дать понять своему приятелю-литератору, что вот он, мол, и дворянин, и литератор, и в гимназиях обучен (Иван Семенович был уволен из 5-го класса), тогда как он, Иван Трофимыч Федюкин, просто только, к примеру, крестьянин, временно приписанный к купеческому сословию, и грамоте обучался у приходского дьячка, отличавшегося не столько педагогическими познаниями, сколько замечательною способностью выпить целую четвертную сивухи и затем как ни в чем не бывало читать акафисты[2],— а все же он, Иван Трофимыч, «сам хозяин» и «никому не уважит», и следовательно, не в образовании суть, а в «планиде».

Время, с которого начинается наш рассказ, было особенно трудное и невеселое для супругов Кротковых. Вот уже вторую неделю, как Иван Семенович слег в постель, жестоко простудившись на похоронах одного очень важного лица, о последних минутах которого, смерти и пышных проводах в загробную жизнь он в свое время и раньше других успел дать весьма красноречивые, отчеты. Вернувшись в тот день из обхода по редакциям, Иван Семенович почувствовал себя очень нехорошо. В ночь лихорадка усилилась, жар и озноб постепенно увеличивались, и к утру он уже весь горел как в огне.

— И нужно же было помереть этому дураку в такую погоду! — негодовала Мария Николаевна, ухаживая за больным мужем.

Действительно, погода в день похорон была такая, что если бы не только тщедушный Иван Семенович, но даже сам высокопоставленный покойник или любая из провожавших его жандармских лошадей простудилась и схватила грипп, то этому едва ли бы кто нашел нужным удивляться. Доктор и аптека — эти два бича рода человеческого сделали то, что уже к концу второй недели болезни Ивана Семеновича Мария Николаевна снесла к жиду-закладчику последнее свое достояние — обручальные кольца, пускавшиеся обыкновенно в оборот уже после всего прочего и только в самые критические, безвыходные минуты.

Как назло, их друга и благодетеля Ивана Трофимыча не было в столице. Он уехал на побывку в деревню, а оставленный им при лавке племянник, малый лет четырнадцати, вполне достаточно придурковатый, по имени Микитка, только рот разинул и глаза вытаращил, когда Мария Николаевна попробовала было попросить у него взаймы несколько рублей.

Оставалось последнее средство — идти «Христа славить».

«Христа славить», по выражению Ивана Семеновича, означало предпринять экскурсию по редакциям, в которых он обыкновенно работал, с целью выпросить малую толику деньжат вперед. Прием далеко не из приятных и в большинстве случаев не увенчивающийся успехом. Однако делать было нечего, и Мария Николаевна, одевшись получше и попросив соседку по квартире, старую и давно уже выжившую из ума вдову чиновницу, посидеть пока с ее мужем, чуть не рысью пустилась в ближайшую из редакций. Погода была, какая обыкновенно бывает в конце осени в богоспасаемом Петрограде: сверху моросил дождь, снизу пронзительный, холодный ветер подымал с бесконечных луж облака водянистой пыли. Не успела Мария Николаевна пройти и половину пути, как уже промокла до костей. Какая-то несчастная собачонка, куцая, лохматая, вся мокрая, с красными, слезящимися глазами, встретившись, увязалась было за ней и довольно долго ковыляла сзади на трех лапках, боязливо поджимая четвертую, безобразно распухшую, с следами запекшейся крови; но Мария Николаевна, обыкновенно весьма сердобольная, на этот раз не обратила на нее внимания — ей было не до того. При переправе через одну из улиц собачонка наконец отстала и, утомясь, присе-

ла, прижавшись к стене, пугливо озираясь во все стороны и по-прежнему бережно и заботливо поджимая раздавленную лапу.

— Г-н редактор дома? — не без волнения спросила Мария Николаевна отворившего ей сторожа.

— Никак нет-с, они уехамши-с, а секретарь ихний-с дома-с: пожалуйте в редакцию.

В редакции — небольшой и неуютной комнате, заваленной газетами и всяким печатным хламом,— Марию Николаевну встретил официально-учтивым полупоклоном белобрысый молодой человек в очках, показавшийся ей почему-то похожим на гипсового кролика, вроде тех, что продают на вербной неделе[3] под арками Гостиного двора.

— Чем могу служить, сударыня? — произнес меж тем кроликообразный секретарь, одною рукою слегка придвигая ей стул.— Прошу покорно!

Мария Николаевна присела и в коротких словах передала причину своего посещения.

— Н-да,— произнес глубокомысленно секретарь, с серьезным видом пощипывая свои реденькие щетинки на верхней губе,— н-да, я понимаю ваше положение, сударыня; но, видите ли, у нас уже правило не выдавать авансов; мы так много потеряли денег за многими из своих сотрудников, что теперь решили никому и ни в каком случае не давать. Вы сами понимаете, давая одному, мы не имеем права отказать другому, а уже когда решено не давать, тогда уже никому не давать!

Высказав это глубокомысленное финансовое соображение, секретарь снова поклонился и с видом серьезно занятого человека придвинул к себе какую-то счетную книгу.

— Впрочем,— прибавил он вдогонку уже уходившей Марии Николаевне,— зайдите завтра, эдак часов около двух, редактор, наверно, будет дома; попробуйте, попросите его сами, может быть, для вас он и сделает исключение.

Во второй редакции, куда зашла Мария Николаевна, не оказалось налицо ни самого редактора, ни его секретаря, а сидевшая в редакционной комнате веснушечная, сухопарая барышня на все расспросы г-жи Кротковой только глаза пучила и рот разевала, точь-в-точь Ивана Трофимыча племянник Микитка.

Набегавшись вволю и наволновавшись, голодная и уста-

лая возвращалась Мария Николаевна домой, довольная уже и тем, что в ее стареньком потертом портмоне все-таки, взамен абсолютной пустоты, покоились две бумажки: одна пятирублевого, а другая трехрублевого достоинства. Пятирублевую ей дали в одной редакции небольшой газеты, где муж ее почти и не работал и куда она забрела просто с отчаяния после долгого и бесплодного скитания по другим редакциям.

Лохматый, с взъерошенною бороденкою и в согнутом пенсне, секретарь редакции, с виду весьма курьезный и неуклюжий, сначала принял было ее не особенно любезно, но, выслушав довольно внимательно ее просьбу, пошел к редактору и через несколько минут вернулся и подал ей скомканную пятирублевую ассигнацию.

— Редактор извиняется, что в настоящую минуту он больше дать не может!

Мария Николаевна несказанно обрадовалась этим деньгам, тем более что именно в этой редакции она меньше всего могла рассчитывать на успех.

Трехрублевку ей выдали в последней редакции, куда она завернула по дороге домой.

Эти три рубля были недополучены ее мужем при последнем расчете, и ей их выдали немедленно, без всяких разговоров.

Когда Мария Николаевна вернулась, она застала у постели своего мужа одного из его приятелей — Сергея Сергеевича Потачкина.

Потачкин, небольшого роста, нервный господин с желчным выражением лица, о чем-то горячо разглагольствовал. Иван Семенович лежал, свесив с подушки свое изнеможенное, бледное лицо с лихорадочным взором, и, казалось, не слушал своего собеседника. Увидев входящую жену, он видимо оживился.

— Ну, что? — спросил он ее ласково и в то же время грустно улыбаясь.

— Да что, Ваня, хороши они все, нечего сказать!..

— А вы, Мария Николаевна,— ввязался желчный Потачкин,— это только сейчас узнали-с? Я-с так в этом уже 20 лет тому назад убедился.

— Э, да что толковать,— перебил Потачкина Иван Семенович,— ты мне лучше скажи, неужели так ничего и не дали?

— Восемь рублей принесла... расщедрились!

Иван Семенович ничего не ответил и только глубоко вздохнул. В эту минуту вспомнилось ему, как лет десять тому назад принес он, по совету товарищей, в одну из редакций свой первый рассказец. Рассказец одобрили, очень скоро поместили и хорошо оплатили. За первым последовал другой и третий; затем фельетон, там небольшая, но остроумная заметка о какой-то оперетке, и все это было с похвалами напечатано и оплачено... Бросил Кротков свое место писца в одном из казенных учреждений, дававшее ему всего-навсего двадцать пять рублей в месяц, и с головою окунулся в газетное дело. Ему повезло: статейки его, остроумные и веселенькие, стали появляться все чаще и чаще в разных газетах и журналах... Пробовал он было писать и стишки, и кое-какие попали в юмористические журналы. Заработок его поднялся с двадцати пяти рублей сразу до ста и больше, тем более что вначале он, главным образом, не столько был репортером, сколько литератором. Закружилась голова тогда еще весьма юного Кроткова и возмечтал он о себе очень высоко; да и мудрено ли после места писца с двадцатипятирублевым окладом. Задумал он жениться. Давно уже заглядывался он на младшую дочь одного из сослуживцев, но прежде, при содержании в двадцать пять рублей, мечтать о заведении семьи было немыслимо; теперь же, когда дела его приняли такой, неожиданно блестящий, оборот, он, не долго думая, сделал предложение.

Хорошо, весело зажили сначала молодые; на первых порах счастье улыбнулось им и даже несколько баловало их, как опытная кокотка-француженка, заманивающая притворным бескорыстием и наивностью глупого пижона, но с течением времени острые шипы и тернии стали мало-помалу пробиваться сквозь листву, и не успели оглянуться супруги Кротковы, как заметили, что уже давно пропали цветы и листья и остались только одни иглы... На второй год супружества у них родилась дочь, затем, ежегодно, пошли дети, но все, кроме первого, поперемерли... Кротковы даже и не знали, печалиться или радоваться такому обстоятельству. Как болото, все глубже и глубже втягивала их жизнь в свои невеселые недра, и если что поддерживало и утешало их иногда в самые тяжелые минуты, это — взаимная любовь...

Ночь. Тихо в квартире Кротковых. В маленькой комнатке с сырыми полинялыми стенами и низким, закопченным потолком душно, пахнет прелостью и лекарствами.

Лампада перед образом проливает слабый свет и тускло озаряет большую деревянную кровать в углу с неподвижно лежащим на ней Кротковым. Перед кроватью стоит широкое кожаное кресло, на котором, опустив голову на грудь, сидит Мария Николаевна. Утомленное лицо ее бледно; она осунулась за последние дни и выглядит совсем больною.

Иван Семенович открыл глаза и поглядел на жену. Грустно, невыносимо тоскливо было у него на душе. Он понимал, что умирает, что жить ему осталось недолго, и ужасная мысль, что будет с нею, когда он умрет,— надрывала его сердце.

Когда он месяцев шесть тому назад, проснувшись в одно ненастное утро, откашлянулся и увидел на платке своем следы крови, он вздрогнул, побледнел и первым делом испуганно покосился на жену. Та лежала рядом с ним и спала. Белокурые волосы ее прихотливыми колечками рассыпались по подушке. Бледное личико разрумянилось от крепкого сна. Сквозь полуоткрытые губы белели кончики ровных, красивых зубов. Иван Семенович несколько минут пристально глядел в лицо жены. Никогда не казалась она ему такой хорошенькой. Он наклонился и крепко поцеловал ее в самые губы. Она полуоткрыла глаза, улыбнулась и тотчас же снова впала в крепкий сон.

— Маня, Маня! — тоскливо прошептал Иван Семенович.— Если бы ты знала в эту минуту, что со мной?

И он стиснул зубы и в невыразимой тоске снова опустил голову на подушку.

— Чахотка![4] — рассуждал он.— Теперь уже нет никакого сомнения. Впрочем, я давно знал, что у меня чахотка, только все не верил... не хотел верить... Теперь все кончено... в мои годы это скоро кончается... Год, много — полтора, и то при самых благоприятных условиях... Первая же сильная простуда — и конец...

Иван Семенович всеми силами скрывал от жены свой недуг, но от глаз любящей женщины трудно укрыться. Мария Николаевна скоро заметила, что мужу ее худо. Она настояла, чтобы он начал лечиться. В угоду ей Иван Семенович стал принимать какие-то прописанные знакомым доктором капли, и Мария Николаевна несколько успокоилась. Мысль

потерять мужа казалась ей такой ужасной, что она не могла допустить ее. Она не верила возможности такого несчастья, не верила даже теперь, сидя у его постели, видя его постепенное угасание. Как будто ждала, что вот-вот совершится чудо, он поправится, и все снова пойдет по-старому... По целым часам молилась она и плакала перед образом, стоя на коленях и глядя в спокойный, строгий лик Спасителя.

— Нет, нет! — твердила она в каком-то исступлении.— Ты не сделаешь этого! Ты не отнимешь его, нет, я знаю! Ты добр, милосерд! Ты ведь знаешь, как дорог он мне...

Тихо, чуть слышно тикают часы в соседней комнате. Кротков по-прежнему лежит, положа щеку на руку, и не отрываясь глядит в лицо дремлющей в креслах жены.

— Устала,— думает он,— да и как не устать: вот уже вторую неделю мучается со мною, ночи не спит... Хоть бы умереть мне скорее — один конец.

В комнате рядом скрипнула кровать, послышался легкий стук голых ножек об пол.

— Это Леля встала,— подумал Иван Семенович, и ему вдруг страстно захотелось посмотреть на свою дочь.— Леля! — тихо, тихо окликнул он.— Ты спишь?

— Нет, папа, а ты? Можно прийти к тебе?

— Иди, только тише, не разбуди маму.

Послышались осторожные шаги, и в спальню вошла маленькая девочка лет семи, в рубашечке, худенькая, с длинными, белокурыми локонами, голубоглазая, с ямочками на щеках. Осторожно, чуть ступая, прижав пальчик к губам, прокралась она мимо спящей Марии Николаевны и вскарабкалась на постель к отцу. Страстным порывом охватил тот костлявыми, исхудалыми руками нежное тело дочери и крепким, долгим поцелуем впился в ее белый, красивый лоб.

— Милая, милая дочурочка моя, как люблю я вас обоих.

Кроткову сделалось невыносимо тоскливо. Что-то, похожее на зависть, упрек, шевельнулось в нем.

— Маня еще молода, она такая хорошенькая...— думал он.— Наверно, еще полюбит и ее полюбят. Она еще может быть счастлива... забудет меня... Леля тоже забудет... мала... привяжется к другому, так же будет звать его «папой»... а я... я буду лежать, всеми забытый, где-нибудь на

краю кладбища, под покачнувшимся почерневшим крестом... Никто не придет, никто не вспомнит... Мане будет не до моей могилы... Жизнь увлечет, закружит ее... новая привязанность, новые интересы... а я... я «мертвец»... ничто... Одно только «воспоминание»...

И ему на мгновение захотелось, чтобы и Маня, и Леля умерли с ним... взять с собой, чтобы никому не достались. Но он тотчас отогнал от себя эту мысль.

— Нет,— подумал он,— пусть живут, будут счастливы... Все равно мне там ничего не нужно будет: «Идеже несть ни болезни, ни печали, но жизнь вечная...»[5]

Он вздрогнул и закрыл руками глаза.

Часы пробили полночь. Мария Николаевна открыла глаза.

— Ты не спишь,— обратилась она к мужу,— так прими лекарство...

В эту минуту она заметила дочь.

— Ты что ж тут, Леля, делаешь? — спросила она было, но остановилась и пугливо взглянула в лицо мужа.

— Ваня, что с тобой, тебе хуже? Ваня, милый?!

Она вскочила с кресла и наклонилась над мужем.

— Худо, Маня,— с трудом прошептал Иван Семенович,— видно, скоро конец мой... не плачь... не убивайся... Что делать... судьба... Я давно...

Но он не докончил своей мысли и вдруг заметался, лицо его изобразило испуг, и он торопливо начал бормотать что-то, но как ни прислушивалась Мария Николаевна, она ничего не могла понять.

— Бредит... Неужели конец?!

И она отчаянно заломила руки, но в ту же минуту опомнилась и бросилась в кухню.

— Марфа, Марфа! — принялась она расталкивать толстую старуху, жившую у Кротковых в качестве прислуги.— Вставай скорей, беги за доктором.

Но Марфу, когда она разоспится, было мудрено разбудить сразу.

— Гм-м... звонят? — бормотала она впросоньях.— Сейчас, сейчас, вот только пирог в печку поставлю!..

И, сказав это, Марфа преспокойно повернулась лицом к стене, и издала такой свист своим толстым носом, что мирно прогуливавшиеся над ее головою тараканы испуганно метнулись во все стороны, а спавший на плите котенок

поднял голову, вытянул шею и несколько раз наклонил вправо и влево свою усатую мордочку.

— Марфа,— отчаянно вскрикнула Мария Николаевна,— да проснись же, слышишь, проснись.

И она изо всей силы потащила старуху за руку. От этого движения скамейки, на которых утверждалась доска, служившая Марфе кроватью, разъехались, доска сползла, качнулась и с грохотом полетела на пол. На минуту в воздухе мелькнули ноги Марфы... Раздался ее испуганный крик...

— Караул, батюшки, воры, режут!..

Котенок, с миной любопытного зрителя, пристально следивший дотоле за процессом расталкивания Марфы, поднял хвост, фыркнул и стремглав ринулся с плиты под шкап и, выставив оттуда нос, испуганно глядел, как растрепавшаяся, все еще не прочухавшаяся со сна Марфа барахтается под свалившимися на нее подушками, доской, матрасом и одеялом.

— Господи помилуй, угодник божий, помилуй! — скороговоркой бормотала Марфа, выкарабкиваясь из-под развалин своей постели.— С нами крестная сила, господи, боже мой, матерь божия!..

Она неистово терла кулаком глаза и переносицу и дергала головой, как испуганная лошадь.

Из комнаты послышался протяжный стон... Мария Николаевна плюнула в лицо Марфе и побежала в спальню.

По дороге к Волкову кладбищу[6] медленно подвигалась похоронная процессия. Словно две салопницы-богаделенки, еле-еле переставляя заплетающиеся ноги, с трудом плелась полумертвая от дряхлости пара изнуренных кляч в потертых, побуревших попонах, волоча по непролазной лиговской грязи[7] простые дроги[8] с простым дубовым гробом. За гробом, придерживаясь одной рукою за дроги, шла Мария Николаевна. Лицо ее было смертельно бледно, но глаза, задумчиво устремленные на одну точку — гвоздь, торчащий в изголовьях гроба, были сухи. Рядом с нею, уцепясь за карман ее пальто, быстро семенила ножками вся заплаканная и как бы перепуганная Леля. Несколько поодаль, по тротуару, плелась небольшая кучка знакомых покойного. Двое-трое таких же, как и он, репортеров, один какой-то

тщедушный, прыщеватый поэт, белобрысый малый, вечно пьяный и вечно растерзанный, толстый, но цивилизованный буфетчик одного из увеселительных заведений, счевший почему-то своим долгом и обязанностью прийти проводить «литератора», да кое-кто из соседей по квартирам. Все они шли, довольно весело, оживленно болтая между собою и, по-видимому, меньше всего думая о покойном. Сзади гроба, в широком купеческом шарабане, запряженном косматенькою буланою лошадкою, ехал только вчера рано утром вернувшийся из деревни Иван Трофимыч. Старик был чрезвычайно поражен смертью своего приятеля-литератора и теперь ехал за его гробом с выражением как бы некоторого сожаления на широком, лоснящемся лице. В руках у него был небольшой венок из живых цветов с надписью: «Другу от друга». Это был единственный венок, украсивший скромную могилу Ивана Семеновича Кроткова.

По окончании обряда погребения на свежей могиле усопшего угрюмый поэт с прыщеватым лицом попробовал было произнесть прочувствованную речь... Но, увы! после двух первых фраз, произнесенных раздирательно-трогательным голосом, он вдруг заикнулся и мгновенно потерял нить мыслей. Причина такой неудачи крылась, может быть, в слишком сильном чувстве любви к покойному, а может быть, и в частом забегании под гостеприимный кров встретившихся по пути на кладбище красных вывесок[9]. Как бы то ни было, но речь вышла несколько неудобопонятною. Впрочем, это не помешало одному из сотоварищей неудавшегося оратора на другой же день напечатать в одной из мелких газет следующую трогательную заметку: «Вчера, при небольшом стечении публики, на Волковом кладбище происходили скромные похороны известного нашим читателям литератора и репортера Ивана Семеновича Кроткова. На могиле усопшего известный наш талантливый поэт Горемыкин произнес прочувствованную речь, причем в кратких словах, но сильных выражениях ясно высказал свое искреннее сочувствие усопшему и надежду, что память о нем не скоро изгладится в сердцах всех, его знавших. На могилу было возложено несколько венков, в том числе прекрасный большой венок от почтенного коммерсанта, друга покойного, И. Т. Федюкова!»

Иван Трофимыч был весьма польщен этим вниманием к своей особе и в возмездие за таковое счел своим долгом

угостить автора заметки и его благоприятеля, худосочного поэта-оратора, бутылочкою тенерифца[10] и московскою селянкой*. Поэт и автор заметки, в свою очередь, оценив по достоинству любезность Ивана Трофимыча, сочли священною обязанностью выразить ему свое искреннее изумление просвещенности и широкости его взглядов и в заключение попросили три рубля взаймы. Чтобы не возбудить в сих почтенных мужах сомнений насчет действительной широкости и гуманности воззрений, Иван Трофимыч исполнил их просьбу, но про себя все же таки от души выругал обоих и поспешил убраться из трактира подобру-поздорову, а благоприятели потребовали себе графинчик очищенной, не столько соболезнуя об усопшем Иване Семеновиче, сколько о том, что так мало запросили с этого «одра», подразумевая под этим неблагозвучным эпитетом почтенного мецената — Ивана Трофимыча Федюкова.

---

* Селянка московская — горячая похлебка с мясом, капустой, луком, огурцами.

Денщик

(Повесть)

Люби, покуда любится,
Терпи, покуда терпится,
Прощай, пока прощается,
И — бог тебе судья!

«Зеленый Шум»
Н. Некрасова

Не гулял с кистенем я в дремучем лесу,
Не лежал я во рву в непроглядную ночь,—
Я свой век загубил за девицу-красу...

«Огородник» Н. Некрасова

I

Алексей Сергеевич Ястребов, штабс-капитан N** драгунского полка, проснулся ранее обыкновенного и, по привычке, не любя долго нежиться в постели, немедленно встал и облекся в бухарский халат и туфли. Это был мужчина выше среднего роста, сухощавый, стройный, с правильными, приятными чертами лица. От матери молдаванки он унаследовал смуглый цвет кожи, большие, темные, впалые глаза и белые, как снег, ровные зубы. Отец его, из старинной великорусской семьи, оставил сыну в наследство несколько толстоватый нос, да свое добродушие и честную прямоту характера. На вид Алексею Сергеевичу казалось лет под пятьдесят; в черной, как смоль, бороде его, красиво расчесанной на две стороны, и в черных, слегка вьющихся волосах кое-где уже пробивались сединки. В действительности же ему только что исполнилось тридцать шесть лет. Несмотря на свою красивую наружность, штабс-капитан Ястребов никогда не числился в легионе провинциальных донжуанов и ловеласов. Для этого он был слишком скромен, нелюдим и серьезен. Сын небогатых родителей, с самых малых лет оторванный от семьи и отданный в один из корпусов[1], Алексей Сергеевич прошел всю трудную жизнь небогатого кадета, без связей и протекций. Родители его умерли, когда Ястребов только что перешел в старшие классы. Юношу на свое попечение взял дядя,

брат отца, мрачный, суровый старик, которого Ястребов никогда в глаза не видал. Все заботы дядюшки ограничивались высылкой дважды в год, к рождеству и пасхе, небольших деньжонок и коротких, в высшей степени лаконических записок в таком роде:

«Друг мой милый, Леша, я здоров, чего от души и тебе желаю. Учись, не шали и помни всегда, что ты сын не какого-нибудь маркера[2], а потомственного дворянина,— помни это и поступай так, чтобы никогда не пришлось краснеть за свои поступки.

Обнимаю, любящий тебя твой дядя Урван Ястребов».

Алексей Сергеевич хотя в душе и питал влечение к лошадям и конному строю, но, не имея средств, решил по окончании курса выйти в пехоту, но перед самым последним выпускным экзаменом он получил известие о неожиданной смерти дяди. Алексей Сергеевич был единственным его наследником. Тотчас после экзаменов он взял отпуск и поскакал в Семихолмное — имение дяди.

Имение это, стоившее, по крайней мере, тысяч шестьдесят, он продал через посредство какого-то фактора[3] за сорок тысяч, да и те получил такими бумагами, при реализировании которых пришлось еще потерять тысячи четыре. Но для него тридцать пять тысяч казались огромным состоянием. Он перевелся в один из драгунских полков. Смолоду не избалованный, привыкший жить аккуратно, Алексей Сергеевич и в полку вел жизнь скромную и умеренную. Некоторые из товарищей называли его скупым, но Ястребов не был скуп, а просто, не имея прежде в своем распоряжении больших денег, он приучился относиться к ним бережно и не любил мотать без толку. К тому же и характер у него был несколько угрюмый: он избегал шумных и веселых обществ. Любимым препровождением времени его было лежать на кушетке и читать. Впрочем, Алексей Сергеевич пользовался в полку всеобщею любовью и уважением; он никогда не выставлялся напоказ, не лез с советами и нравоучениями, как делают многие, относился ко всем одинаково добросердечно и ласково, ни к кому не напрашивался в дружбу, но и никого не избегал; всегда был рад помочь товарищу, чем мог. Никто никогда не слыхал, чтобы он злословил кого-нибудь или перед кем-либо унижался и подличал.

И подчиненные его любили.

«Голубь-человек» прозвали его солдаты,— и говорили о нем: «Это — наш»,— эпитет, который они дают не всякому.

Русский солдат очень чуток к истинной человечности в обращении с ним. Сентиментальничаньем его не проведешь; он изумительно тонко умеет подмечать всякую фальшь, всякую деланность. Зато искреннюю, истинную любовь к себе он умеет ценить и платить за нее искреннею, горячею привязанностью, доходящею до самозабвения.

Ястребов, не искавший популярности, тем не менее очень скоро приобрел ее между подчиненными. Не выходя из рамок строгой дисциплины, Алексей Сергеевич не только никогда не дрался, но избегал грубой брани, а между тем его слушались больше, чем кого-либо. Он был чрезвычайно сдержан, но по тому, как иногда, в минуты гнева, загорались его черные, глубокие глаза, как нервно сжимались тонкие губы и рдело румянцем худощавое, выразительное лицо, можно было заключить, что под этой сдержанностью таится страстная натура, способная на сильные порывы. Этого взгляда его боялись солдаты.

— И смотрит же он, братцы мои,— кажись, в самое нутро залезает... Аж жутко станет! — говорили они.

Не боялся этого взгляда только один его денщик, Степан; но это было существо совсем особого рода.

В то утро, с которого начинается наш рассказ, Алексей Сергеевич встал не в духе.

— Степан! — крикнул он.

Ответа не последовало. Офицер с досадой прошелся взад и вперед по комнате и, подойдя к письменному столу, нажал пуговку звонка; но и на звонок никто не откликнулся.

— Степан!..

Та же гробовая тишина. Ястребов быстрым шагом подошел к двери и с досадой схватился за ручку, но в ту же минуту дверь распахнулась и на пороге появилась высокая, угрюмая фигура денщика Степана.

— Чего надоть? — проворчал он, исподлобья взглядывая на штабс-капитана.

— Чего надоть! Чего надоть! — передразнил его Ястребов.— Где ты шляешься?.. Зовешь, зовешь — не дозовешься!

— А ты бы, ваше благородие, еще раньше поднялся,—

сыронизировал Степан,— подумаешь, дела какие приспичили; петухи, чай, и то не все еще встали...

— Ну, ты много не рассуждай. Самовар готов?

— Сейчас... Я его еще с вечера поставил; всю ночь караулил, уголья подкладывал, знал, что вам до свету понадобится.

— Экий скот! Иди же ставь скорей, да давай мне умыться!

— Ладно, успеется, не на тревогу!..— ворчал Степан, переставляя мебель и перекладывая с места на место вещи.

Алексей Сергеевич не на шутку начал сердиться.

— Послушай ты, болван, пойдешь ты ставить самовар или нет?!

— Да чего его ставить, он и так стоит,— огрызнулся Степан, но тотчас же прибавил более снисходительным тоном: — Давайте ключи-то, что ли, али сами погребец достанете, у меня за самоваром дело не станет; я думаю, уж он закипел таперича.

— Сам достану, ты самовар-то неси!

Степан исчез.

— А вот что, ваше благородие, хочу я тебя спросить,— снова начал Степан, возвращаясь с небольшим самоварчиком и ставя его на стол,— коли ежели, к примеру, я напьюсь и приду пьян, что ты мне, ваше благородие, на эфто скажешь?

— Скажу, что ты скотина, пьяница!

— Вот то-то и оно, ну, а ежели ты, ваше благородие, придешь, как вчера, что я должен сказать?

— Ах ты, пряничная форма, да как ты смеешь!..

— А ты, ваше благородие, подожди ругаться-то, не к спеху; а ты мне лучше скажи, что это с тобой ноничe сталось, николи ты допрежь того этими делами не занимался, а таперича зачал?

— Какими такими делами?

— Да известно какими, нехорошими. Допрежь того ты, ваше благородие, не пил; вот уже, почитай, шестой год живу у тебя, а николи не видал выпимши, а ноничe — что ни вечер, то навеселе, нешто это резон?

— Да тебе-то что за дело? Скажи ты мне на милость, что я, дитя, что ли?

— Мне, вестимо дело — начхать, по мне — хошь на карачках ползай, не меня осудят.

— Ну, стало быть, и молчи!

— Ну, и молчу.

Оба замолчали. Прошло минут пять. Ястребов с наслаждением прихлебывал чай. Степан стоял, прислонясь к косяку двери, и слегка почесывал спину.

— Ваше благородие, а ваше благородие,— начал он снова,— неладные про вас дела слышал!

— Ну, что еще там?

— Быдто бы вы ахтерку завели? Правда это?

Ястребов вспыхнул и немного смутился.

— Дурак ты, братец,— проворчал он,— мелешь, сам не зная что!

Степан как-то особенно поглядел на Алексея Сергеевича, хотел что-то сказать, но удержался. В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел красивый, молодой прапорщик Волгин. Ястребов несказанно обрадовался его приходу, прервавшему разговор, начинавший тяготить его.

— Степан, подай еще стакан!

— Знаю и без вас; вестимо не из умывальника чаем поить будете.

— Вот грубиян-то! Поверите ли, Иван Яковлевич, он просто мне жизнь отравляет! Я, по милости его, наинесчастнейший человек! Вы представить себе не можете, сколько я выношу от него грубостей и неприятностей!

— Да вы бы его переменили?

— Да привык я к нему, черт его возьми. Человек-то он совсем особенный. Вы слыхали его историю с поросенком?

У капитана была слабость рассказывать всем и каждому и кстати и некстати эту историю.

— Нет, а что?

— Можете представить, какую он раз штуку удрал. В последнюю кампанию нашему эскадрону пришлось как-то целую неделю прикрывать конную батарею и часть сапер. Турки обстреливали нас со всех сторон[4]. Впрочем, как батареи, так и прикрытия, благодаря местности, находились в сравнительной безопасности. Бомбы и гранаты их или перелетали через наши головы, или не долетали. Не имея возможности особенно вредить нам, турки всю свою ярость обращали на дорогу, ведшую от места расположения нашей бригады к нам на позиции. Дорогу эту поистине можно было назвать *«убийственною»*. Стоило кому-либо пока-

заться, чтобы по нем немедленно открывался самый отчаянный огонь. Сидим мы как-то вечером и, от нечего делать, любуемся окрестностью... Глядь, кто-то идет по дороге; идет не торопится... Турки, как только завидели его, давай, по обыкновению, жарить во всю ивановскую... Кому, думаем, пришла охота мишень живую из себя разыгрывать?.. Эх, пропадет парень ни за грош; глядим, а сердце так и замирает: вот свалится, вот свалится... Однако нет, бог милует, идет себе, все ближе, ближе... Батюшки светы, да это Степан мой... «Ты зачем, такой сякой?» — «А я, ваше благородие, вечорась поросенком раздобылся, добре дюжий поросенок, вот мне и вздумалось, давно ты, ваше благородие, поросенка с кашей не едал (а надо вам сказать, я это кушанье очень люблю), я, значит, поросенка зажарил и приволок: у вас тут, я чай, не ахти какие фрыкасеи». А чего уж, почти всю неделю одними сухарями питались. «Ах ты, дуралей! Да ведь тебя, дурья голова, и с поросенком твоим укокошить бы могли за милую душу». — «Я и то, признаться, боялся: выбьют, думаю, черти, посудину аль самого попортят; поросенок ни за нюх табаку загиб бы, ну да, слава богу, не вдарило, ни одно, хоша и близко лопались, где им, гололобым!» Как вам это нравится, а? «Поросенок бы загиб!» Ну, не шут ли он после этого!

— Буде языком-то околачивать, разговор какой нашли! — пробурчал Степан, ставя стакан на стол.

— А ты как смеешь, невежа, в офицерский разговор вмешиваться?

— Да какой это охвицерский разговор! Нешто охвицеры о такой пустяковине говорят? Только и света в окошке — о денщиках судачить!

— Ну, вот, толкуйте с подобным идиотом! — с выражением комического ужаса развел руками Ястребов.

Волгин хохотал как сумасшедший.

— Обнакновенно дело,— невозмутимо продолжал Степан,— и всякий скажет, что не след охвицерам из пустого в порожнее переливать.

— Пшел вон!

— Не гони, и сам уйду!

И, ворча что-то себе под нос, Степан неторопливо вышел из комнаты, громко хлопнув дверью.

— И это каждый день! Нет, положительно этот человек доведет меня когда-нибудь бог знает до чего!

— Перемените, отправьте в эскадрон, а себе возьмите другого,— опять посоветовал Волгин.

Совет был не по сердцу Ястребову и, очевидно, не понравился ему.

— Все они один другого лучше,— недовольным тоном заметил он,— этот, по крайности, никогда не пьет и самой высокой честности.

— А признайтесь, вы любите вашего Степана, оттого и расстаться с ним не желаете?

— И полноте, что за вздор, просто привык... Да и за что любить такого остолопа?

— Отчего же, когда кто-нибудь бранит его или грубо с ним обходится, вы принимаете это как личную обиду?

— Отчего?.. Как бы вам это объяснить,— замялся Ястребов,— оттого, что... ну, да что об этом толковать...

— А у меня к вам дело,— переменил разговор Волгин,— Сухотин приглашает меня на медвежью охоту, не дадите ли вы мне ваш ланкастер[5], а то мое ружье в починке.

— С большим удовольствием. Эй, Степан! Впрочем, ну его, опять что-нибудь сгрубит, я лучше сам схожу.

С этими словами Ястребов встал, вышел в другую комнату и через минуту вернулся с большим ящиком черного дерева. Он осторожно нажал секретную пружинку; крышка, щелкнув, откинулась, и глазам Волгина представились красиво расположенные части дорогого ружья.

— Вы, я думаю, сумеете собрать его? — спросил Ястребов, невольно сам любуясь изящною, артистическою работой и ярким блеском никелированной стали.

— Еще бы! Очень, очень вам благодарен. За целость и сохранность можете быть спокойны.

— Я и не сомневаюсь! — ласково улыбнулся Ястребов.

Волгин вскоре ушел. Алексей Сергеевич поспешно, без помощи Степана, оделся и тоже вышел, стараясь уйти незамеченным. Но все же ему не удалось избежать встречи.

— Опять до ночи! — проворчал угрюмо Степан, сталкиваясь с ним в самой калитке.— Охвицер, охвицер, а словно кот мартовский бегает... Тьфу! — И, энергично сплюнув, денщик, не оглядываясь, побрел на крыльцо.

Ястребов сделал вид, что не слыхал столь нелестного для себя сравнения, и поспешил за ворота.

II

Странный человек был Степан.

Первое впечатление, производимое его наружностью, было безусловно не в его пользу. Ростом почти в сажень, с плоской, даже несколько ввалившеюся грудью,— отчего он казался сутуловатым (явление, часто встречаемое у старых кавалеристов),— с чрезвычайно сильно развитыми мускулами и длинными, сравнительно тонкими ногами, что особенно бросалось в глаза благодаря непомерной ширине плечей и груди. Большая, неуклюжая голова его, коротко остриженные волосы, цвета побуревшей соломы, и длинные щетинистые усы той же масти придавали его широкоскулому, несколько рябоватому лицу сходство с каким-то лесным зверем. Сходство это еще более выделялось благодаря его неуклюжей, тяжелой походке. Прибавим к этому угрюмый, исподлобья, взгляд и глухой голос — и читатель согласится, что наружность Степана едва ли могла быть названа привлекательной. Стоило, однако, попристальнее вглядеться в его большие серые глаза, светящиеся какою-то внутреннею теплотой, подметить его добродушную улыбку, изредка появлявшуюся на толстых губах, чтобы неприятное впечатление исчезло и уступило место другому, вполне противоположному. Степан был по природе чрезвычайно добрый и мягкосердечный человек, но, странное дело, сознание этой мягкосердечности и доброты больше всего мучило и беспокоило его: он стыдился проявить ее чем бы то ни было при людях. Причина этого заключалась в том, что Степан, с самого поступления своего в военную службу, вообразил себе, что истинный, бравый солдат должен непременно походить не то на машину, не то на какого-то окаменелого истукана, лишенного всяких человеческих чувств. Проявлять сердечную теплоту — это, по мнению Степана, недостойное и несовместимое с понятием о настоящем солдате качество он называл «бабиться», и всеми силами, как преступление, скрывая от всех теплоту своей души, нарочно принимал суровый, угрюмый вид, ругался и грубил без всякого повода, а рядом с этим, где-нибудь в укромном, скрытом от постороннего глаза уголке, воспитывал и вскармливал или подшибленного щенка, или больного котенка, или осиротелого галчонка. Он по целым часам терпеливо возился

с ними, кормил их с пальца молоком, нянчился, укутывал — и все это в величайшем секрете.

С Ястребовым у Степана сложились весьма своеобразные, довольно странные отношения. Шестой год живет он у штабс-капитана и все это время ведет с ним непрерывную, ожесточенную войну; с первого взгляда можно подумать, что Ястребов и его денщик — непримиримые враги, глубоко ненавидящие друг друга. У Степана был цикл его ежедневных и постоянных обязанностей, исполняемых им неукоснительно; все же, что требовали от него сверх этого, он встречал отчаянною бранью, и в большинстве случаев или совсем не исполнял, или если исполнял, то после долгих препирательств и кое-как, лишь бы с рук сбыть.

Переругиваясь с Алексеем Сергеевичем в глаза, Степан не терял случая и за глаза ругать его и клясть на всех перекрестках. Но горе было тем, кто, желая подделаться к нему, принимался вторить и, в свою очередь, непочтительно отзываться о штабс-капитане. Степан тотчас же переменял тон, нахмуривал щетинистые брови и вдруг огорошивал собеседника:

— А какое такое право имеешь ты, собачье ухо, говорить такие слова про его благородие?

— Да ведь ты же сам только что ругал его! — пробует защищаться опешенный собеседник.

— Мало ли что я! На то я денщик, а ты что? Не, брат, в другой раз так бока намну, что ног не унесешь!

И Степан так выразительно сжимал свой исполинский кулак и так внушительно потрясал им около носа приятеля, что тот считал за лучшее — немедленно ретироваться.

Обладая недюжинным бессознательным мужеством, Степан в то же время был враг войны и не понимал храбрости в смысле военной доблести.

— И штой-то, право,— рассуждал он иногда в минуты хорошего расположения духа,— ровно и бог весть какое дело делают — друг друга убивают. Тесно, что ли, всем-то вместе?

— Да ты пойми,— ввязывался в разговор какой-нибудь бравый унтер, с «крестом» на груди,— ведь то — турки...

— Ну, что же, что турки, а нешто турок не такой же человек? И у турки тоже, чай, душа, как и у тебя, и живет он хоша по-своему, а и у него, поди, дома жена есть и ребятенки. Каково-то им теперича, горемыкам?

— А он не бунтуй,— замечал унтер.

III

Злобой дня и темой разговоров в городе Z был приезд небольшой труппы бродячих, или, как они сами себя величали, «гастролирующих» актеров. Антрепренер труппы, Осип Самуилович Рабинович, маленький, шаровидный, еврейского типа, черненький, необычайно юркий и подвижной господин, облекся в черный, несколько потертый фрак и, с цилиндром в руке, объехал всех влиятельных и капитальных людей города с покорнейшими просьбами — почтить его труппу благосклонным вниманием и оказать ему содействие и поддержку. Осип Самуилович так умело и тонко повел дела, что предводитель дворянства предоставил ему бесплатно зал уездного земского собрания, городской голова отдал на время представлений имеющиеся у него в думе венские стулья для партера, наконец, богатая вдова Софья Сергеевна Ремезова позволила брать для изображений убранства богатых барских гостиных часть своей дорогой мебели.

Первая пьеса, разыгранная приехавшею труппой г. Рабиновича, была комедия Островского «На бойком месте».

Театр, или, лучше сказать, зал земского собрания, был полон. В числе зрителей первых рядов присутствовали все офицеры N-ского драгунского полка и между ними наш знакомый — Ястребов.

Как это обыкновенно бывает с мелкими провинциальными труппками, персонал артистов был ниже всякой критики: трагик Угрюмов неистово потрясал своею седою, бесконечною бородой в роли Бессудного, ужасно вращал глазами и грозно тыкал в воздух кулаком. «Анна! — ревел он замогильным голосом.— Ты смотри не разбуди во мне беса!!»

При этом Угрюмов, забывая свой гигантский рост и, по малой мере, восьмипудовый вес, с такою стремительностью, ураганом носился по сцене, что вся она, вместе с декорациями и с суфлерскою будочкой включительно, что называется, ходуном ходила, ежеминутно угрожая рассыпаться. У комика Несуразова было два недостатка: во-первых, ноги его были так устроены, что никак не могли пройти мимо красной вывески без того, чтобы не занести туда своего хозяина, отчего сей последний и находился в вечном состоянии более или менее солидного опьянения; во-вто-

рых, лицедействуя иногда в трактирном буфете, перед разношерстною публикой, очень часто смешивал театр с буфетом, отчего происходили более или менее печальные недоразумения. Так, например, играя пьяного купчика Непутева, он доходил до такого реализма в своем изображении налимонившегося грубого самодура и так живо входил в его роль, что присутствующие барышни не знали, куда глядеть, и краснели как маков цвет. Первый любовник, игравший роль Миловидова, скорее годился в парикмахеры к настоящему Миловидову, что, впрочем, не мешало ему считать себя обворожительным. Но если мужской персонал труппы г. Рабиновича, по справедливости, мог быть назван «горе мое горькое», то уже женский и совсем был из рук вон плох. Как ни была снисходительна публика городка, но и она в конце концов возмутилась бы, если бы не одно обстоятельство, заставившее закрыть глаза на недостатки актрис: они были очень и очень недурны собою. Особенно красива была Дарья Семеновна Шигалина: роста выше среднего, стройная, с нежным цветом кожи, белокурые, с золотистым отливом волосы... Но, увы! что это была за актриса! Не говоря уже о том, что она вовсе не понимала своей роли, и вместо скромной, влюбчивой, доверчивой и невинной Аннушки Островского преподносила зрителям бог знает что, она к тому же и слова своей роли заучила с пятого на десятое. Монологи она отчитывала одним тоном, как гимназист латинские исключения на is.

Другая актриса, Синицына, сравнительно с Шигалиной, играла довольно сносно, тем более что и наружность ее как нельзя более соответствовала роли разбитной, ко всем ласковой хозяюшки постоялого двора. Толстенькая брюнетка, с живыми бойкими глазами, с задорно вздернутым носиком, с пышною, белою, несколько излишне открытою грудью, она катышком каталась по сцене в своем ярком сарафане и бойко тараторила, местами довольно верно передавая роль, особенно в «ласковых» сценах.

По окончании комедии, в виде сюрприза и, так сказать, «на закуску», комик Несуразов, в костюме оборванца, пропел куплеты: «Графинчик, канашка!» — чем привел в неистовый восторг публику попроще. После Несуразова на подмостках появилась Дарья Семеновна Шигалина в парадном цыганском костюме. Прекрасные волосы ее, перекрученные серебряными нитями, золотистым, волнующимся каскадом

падали на плечи; она грациозно драпировалась в ярко-пеструю шаль, перекинутую через плечо; на широкой голубой ленте висела гитара. Подойдя к рампе, Дарья Семеновна остановилась и с грациозным полупоклоном обвела своими темными глазами публику... Раздался гром рукоплесканий... Не то самодовольная, не то полупрезрительная улыбка чуть тронула углы ее губ; она слегка откинулась головой и всем корпусом и, перебирая струны грациозным движением обнаженной по самое плечо белой и полной руки, запела избитейший романс:

«Месяц плывет по ночным небесам...»

Голос ее, сначала тихий и нежный, становился все громче, сильней... Он то звенел, то переходил в чуть слышный шепот... Бессмысленные слова пошлейшего романса в устах ее принимали, особенно для провинциальной публики, чарующую силу... Неумелая актриса была забыта — в эту минуту она становилась кумиром этой толпы,— и когда кончила романс — толпа заревела. Щеки певицы покрылись ярким румянцем, глаза сверкали из-под темных, густых ресниц, самодовольная улыбка скользнула на губах. Она грациозно кланялась на все стороны, причем слегка позвякивали серебряные монеты и цепочки ее головного убора. Когда наконец крики затихли, певица снова вскинула гитару и, смело ударив всею рукой по струнам, весело и задорно начала:

Ах ты, Ванюшка, удалая башка,
Тебе, молодцу, жениться пора.
Ой, жги, жги, жги, говори...

Мгновенно вся фигура ее оживилась и пришла в движение, она поводила плечом, лихо встряхивала головой и рукой, причем весело бряцали в такт музыке ее серебряные украшения, она вызывающе оглядывалась вокруг, словно говоря: «А ну-ка, добрые люди, полюбуйтесь-ка!» По мере того как учащался темп песни, движения ее становились порывистее, тонкие, красивые пальцы с кольцами из поддельных бриллиантов молнией искрились по струнам, и, казалось, все суставы ее красивого, стройного тела трепетали от порыва бешеной страсти.

Никогда ничего подобного не доводилось видеть и слышать скромным жителям города Z. Правда, и к ним изредка

наезжали цыгане, но их песни, дикие и визгливые, сопровождаемые гиканьем, свистом и каким-то конским топотом, были далеко не то. Дарья Семеновна соединяла цыганскую удаль с шиком шансонеточной певицы; недаром два года подвизалась она на сценах загородных увеселительных заведений обеих столиц.

После плясовой Дарья Семеновна, или будем ее называть просто Даша, поощряемая неистовыми рукоплесканиями, спела пресловутое морсо[6] из «Прекрасной Елены»:

«Боги, ужель вас веселит...»

Восторг публики был полный! С этой минуты успех труппы Самуила Осиповича Рабиновича был обеспечен. Дашу вызывали, вызывали без конца...

Отуманенный вышел и Алексей Сергеевич Ястребов из залы... В ушах его звенел бархатный голос, а перед глазами носился страстный, несколько нахальный образ Даши.

— Боже мой, как хороша! — шептал он.— И какой голос! И как жаль, что ей приходится петь такие пошлости!

Всю ночь проворочался он с боку на бок, а вечером опять сидел в театре, в первом ряду, с лихорадочным нетерпением ожидая появления Даши. Шел веселенький водевиль «Скандал в благородном семействе». Даша, играя Лизу, была, как и вчера в роли Аннушки, так же вяла, бесцветна и неестественна, путала и перевирала реплики и совершенно не знала, куда девать руки. Но публика не видела и видеть не хотела ее недостатков: вчерашняя певица заставляла забывать сегодняшнюю актрису, и во все продолжение ее невозможной игры Дашу осыпали аплодисментами и криками «браво», точно желая задобрить вперед. Все с нетерпением ждали дивертисмента. Наконец водевиль кончился. После непродолжительного антракта снова взвился размалеванный занавес, и на подмостках появился Несуразов, в красной рубахе, плисовой поддевке и с гармонией в руках. С двусмысленными улыбками и подчеркиваниями он, довольно сиплым голосом, спел:

Ванька парень был пригожий,
Не дурен собой...
А Матрешка была тоже
Баба — ой, ой, ой!

И на бис:

Ах, ты береза, ты моя береза!

Несуразову хлопали, кричали «браво». Наконец он удалился за кулисы. Прошло минут пять, но Даша не появлялась; нетерпение публики возрастало, топотня и хлопанье становились все громче и настойчивее; слышался ропот... Но Даша не смущалась этим. Спрятавшись за одну из кулис, она осторожно выглядывала оттуда.

— Пусть подождут, чего их баловать,— ответила она режиссеру.

Даша, в бытность свою в Москве в числе простых хористок, видала, как таким образом поступала любимица публики, знаменитая в то время шансонеточная певица Литовская, и вот теперь ей вздумалось делать то же, а зачем? Она и сама не знала! Подождав еще минуты три, Даша наконец вышла. На этот раз на ней был костюм опереточной пейзанки: коротенькая шелковая юбочка, малиновый бархатный лиф, голые до самых плеч руки и кокетливый белый накрахмаленный чепчик. Грудь, конечно, до последней возможности декольтирована.

Она с вызывающей улыбкой, бойко спела известную шансонетку из «Корневильских колоколов»:

Смотрите здесь, глядите там,—
Нравится ль все это вам?

При этом так кокетливо слегка приподнимала двумя пальчиками край своей темно-малиновой юбочки, так плутовато подмигивала, что мужчины окончательно растаяли и сидели, блаженно улыбаясь.

В тот вечер, кроме восторженных похвал, Даша получила кое-что более существенное — огромный, дорогой букет из живых цветов, вставленный в массивный золотой браслет. Что касается Ястребова, она произвела на него сегодня гораздо меньшее впечатление. Его резали по сердцу нахальные, двусмысленные жесты, циничные, вызывающие улыбки и пошловатые мотивы.

IV

На другой день, утром, к нему забежал прапорщик Волгин.

— Алексей Сергеевич! — закричал он еще в дверях.— Одевайтесь скорее и идем.

— Куда?

— К Дарье Семеновне Шигалиной; я с нею вчера познакомился, и она звала меня к себе сегодня на чай, утром; кстати, просила привести и вас с собой.

— Ну, это уж вы врете! Как она могла просить привести меня, когда даже и не знает вовсе?

— Вот то-то и штука, что знает, и даже очень вами заинтересована.

Ястребов сомнительно покачал головой.

— Нечего головой-то трясти, я верно говорю. Слушайте: вчера, после представления, собрались мы кое-кто в ее уборной. Меня ей представил Носов, а она тут же и спрашивает меня: «Скажите, пожалуйста, как зовут этого офицера, который сидел сегодня рядом с вами, такой смуглый, с черною бородой».— «Алексей Сергеевич Ястребов,— говорю,— штабс-капитан нашего полка. А позвольте узнать, чем он обратил на себя ваше милостивое внимание?» — «Глаза у него,— говорит,— какие-то... чудно́й взгляд».— «Чем же, сударыня, не нравится вам взгляд моего достоуважаемого товарища и соседа?» — «С чего вы взяли,— говорит,— что не нравится: напротив, ваш товарищ очень красивый мужчина, и все же глаза у него, хотя и красивые, а взгляд странный!» Так я и не добился, почему чудной. На прощание звала к себе чай пить: «Вы и вашего товарища, мусье Ястребова, приведите с собой, слышите? Непременно приведите!» — «Сочту за честь исполнить ваше приказание!..» Ну, что, все еще не верите, Фома неверующий?!

— Ну, положим, верю, а все же не нахожу причины, зачем мне идти?

— Как не находите причины? — воскликнул Волгин с выражением неподдельного изумления.— Красивая женщина, можно сказать, богиня красоты, зовет его к себе, интересуется им, а он, изволите ли видеть, не находит причины! Ах вы, дикарь; ну да что с вами растабарывать, я обязался вас доставить и доставлю, живого или мертвого... Степан, подавай его благородию одеваться!..

Ястребов попытался было протестовать, но Волгин и слушать не хотел. Делать нечего, пришлось уступить, и, поборов свою застенчивость и нелюдимость, Ястребов решился наконец идти к Даше.

Дарья Семеновна занимала два больших нумера в одной из гостиниц города Z. В одном у нее была спальня и уборная, другой, побольше, исправлял должность гостиной и столовой. Волгин и Ястребов застали у Даши довольно большое общество. Кроме товарища, поручика Носова, тут был известный богач и буян, Сеня Сорокин, купеческий сынок, недавно получивший и теперь прожигающий огромное наследство; он-то вчера и поднес Даше букет с браслетом; Миловзоров, состоявший чиновником особых поручений при губернаторе; Сямгин — дворянин без дела и, наконец, князь Олихадзе, за скандал высланный из столицы и временно прикомандированный к какой-то канцелярии. Сама хозяйка была в утреннем дезабилье[7]; на ней был ситцевый пестрый капот, волосы кое-как собраны, из-под коротких рукавов выглядывали белые, пухлые руки, украшенные браслетами. Она сидела у стола и сама разливала чай, весело болтала и то и дело громко, закатисто смеялась. Увидя вошедших, Дарья Семеновна крикнула им с своего места:

— А, здравствуйте, господа, милости просим, садитесь, где угодно, и будьте как дома.

Пришедшие поздоровались со всеми и уселись: Волгин на диван, подле хозяйки, а Ястребов несколько поодаль, у окна. Он как сел, так все время ни на минуту не спускал глаз с Дарьи Семеновны. Чувствуя на себе его взгляд, она несколько раз оглядывалась в его сторону и ласково улыбалась ему, но вместе с тем взгляд этот беспокоил ее: никогда никто не глядел на нее таким образом. Она уже давно привыкла выдерживать на себе пристальные взгляды мужчин и не смущаться ими, но во взгляде Ястребова она успела подметить какое-то новое, незнакомое ей выражение, и она, эта много видов видавшая женщина, невольно смущалась и робела, и, в свою очередь, то и дело пристально взглядывала на своего странного посетителя.

После чаю гости пристали к Дарье Семеновне, прося ее спеть что-нибудь. Она, после недолгих отнекиваний, согласилась, предоставив им самим выбрать песню. Но тут, как и следовало ожидать, произошла разноголосица. Сеня Сорокин просил спеть «Деревенские мужики», Миловзоров — «Глядите здесь, смотрите там», а Олихадзе желал послушать «Зацелуй меня до смерти». Ввиду такого разногласия Волгин проектировал все эти романсы и песни сразу

и одновременно, причем предлагал аккомпанировать на самоварной трубе. Один только Ястребов молчал, по-прежнему не спуская с хозяйки своего пристального, задумчиво-загадочного взгляда. Даше захотелось узнать и его выбор.

— Алексей Сергеевич,— весело крикнула она,— а вы что же не говорите, что бы вы желали, чтобы я спела?

Ястребов слегка покраснел.

— Спойте что-нибудь заунывное, за душу берущее,— произнес он своим тихим голосом,— только не шансонетку.

— Вы разве не любите шансонеток?

— Нет, отчего же, и шансонетка ничего, но ведь шансонетки может петь всякая безголосая трактирная арфистка, а с вашим голосом хоть концерты давать.

— Ну, уж куда нам, с суконным рылом, да в калачный ряд! — засмеялась она.

«Суконное рыло» неприятно резануло ухо Ястребова. Вообще ему не нравились манеры и некоторые словечки Дарьи Семеновны.

А она между тем вынесла из другой комнаты свою гитару и, перебрав струны, стала в позу...

Лучина моя, лучинушка березовая...—

запела она унылым, тихим голосом.

Она пела с чувством, слегка аккомпанируя себе и изредка поглядывая на Ястребова. Тот сидел, задумчиво склонив голову на руки, и пристально глядел куда-то в угол.

Добрая хозяюшка не высушила,
Лютая свекровьюшка водой подлила...—

неслись рыдающие, трепещущие звуки...

Все примолкли, даже Сеня Сорокин затих и сидел, тупо вытаращив посоловелые, мутные глаза. Ястребов чувствовал, как что-то подступило и защекотало у него в горле.

Волнение охватило Дашу, выражение беззаботности и несколько нагловатый блеск глаз исчезли и сменились другим, более глубоким, томным выражением... Грустная мелодия проникла в ее душу, и она, казалось, сама заслушивалась звуками, вылетавшими из ее уст.

После «Лучинушки», и только поддаваясь неотступным просьбам, Даша спела веселенькую малороссийскую думку: «Ой, лид трещить!»

И уже больше ничего не хотела петь, отговариваясь тем, что ей надо поберечь свой голос на вечер. Просидев еще часа три, компания наконец стала расходиться. Алексей Сергеевич ушел одним из последних. Прощаясь с ним, Даша тихо шепнула:

— Заходите завтра ко мне, я все утро буду дома.

Ястребов машинально кивнул головой и вышел, охваченный новым, незнакомым ему чувством.

V

— Отчего вы вчера вечером не были в театре? Я все глаза просмотрела, вас отыскивала!

Таким вопросом встретила Даша входившего к ней Ястребова на другой день утром.

— Я не хотел испортить впечатления, оставшегося после вашего утреннего пения.

— Как так? — удивилась она.— Я не понимаю, что вы говорите?

— Трудно мне будет объяснить вам это,— задумчиво сказал Ястребов.— Вы что вчера утром пели?

Она недоумевающе установила на него свои глаза.

— Что я вчера пела? Неужто вы забыли? «Лучинушку», а потом, кажется, «Ой, лид трещить».

— А вечером?

— Вечером? Постойте, дайте припомнить, ах, да,— оживилась она,— я пела из «Прекрасной Елены»:

Когда супруг
Захочет вдруг
Домой случайно поспешить...

— Ах, как это у меня сегодня хорошо вышло, ужасти просто! Верите ли, полчаса аплодировали... Я думала, ко мне на сцену влезут. Два раза спеть заставили.

— А еще что пели? — спросил хмуро Ястребов, не разделяя ее восторга.

— Еще —

«Юностью воспетый
Наш каскадный мир».

Это тоже многим понравилось...

— А еще?

— Больше ничего, и то я устала как собака. Да что вы меня нынче исповедуете? Вы не духовный отец, а мне не последний конец,— рассмеялась она.

— Я не исповедую, а отвечаю на ваш вопрос. Вы спрашивали, отчего я не был. Оттого, что после «Лучинушки» нет никакого удовольствия слушать разные «Когда супруг» и т. п.

Дарья Семеновна как-то исподлобья, пристально скосила на него свои глаза и на мгновение задумалась, как бы стараясь вникнуть в смысл его слов; на губах ее скользнула неопределенная улыбка; очевидно, она не могла понять того, что он хотел сказать ей.

— А мне вчера опять букет поднесли,— начала она после небольшого молчания,— большой, из белых роз, а на ленте золотая брошь наколота; это опять Сенька, урод противный; он мне просто проходу не дает.

— А вы зачем же его принимаете?

— А как же мне не принимать его, когда он мне подарки такие хорошие дарит.

— Да вы их и не берите, пошлите ему их обратно.

— Как, подарки-то обратно послать? — Даша так удивилась, что даже назад отшатнулась немного.— Кто же это делает?

И она недоумевающе развела руками. Подобный поступок казался ей не только ни с чем несообразным, но прямо невозможным.

Ястребов холодно усмехнулся.

— Делают! — произнес он словно бы про себя.

Даша слегка качнула головой и замолчала.

«Какой он чудной!» — подумала она.

«Она совершенно неразвита,— в свою очередь промелькнуло в голове Ястребова,— а жаль: девушка, бесспорно, хорошая, в ней много души, недаром она поет так; жаль, жаль, пропадет ни за грош».

И он грустно задумался.

— Не спеть ли вам что-нибудь? — предложила вдруг Дарья Семеновна и, не дожидаясь ответа, схватила валявшуюся на диване гитару.

В движениях ее замечались две крайности: или,— это обыкновенно случалось тогда, когда она была перед публикой,— они были чрезвычайно медленны, плавны, очевид-

но, заучены, или,— когда она была у себя дома, в кругу близких,— порывисты, нервны, быстры. Она запела:

Ходила я, девица, по долинке,
Наколола ноженьку на былинке,
Болит моя ноженька, да не больно,
Любит меня миленький, да не долго!

— Вы, впрочем, такие песни не любите,— обратила она свое веселое, смеющееся личико к Ястребову,— для вас я спою другую!

И, настроив гитару, она с чувством начала:

Гуде витер вельми в поли...

По мере того как она пела, лицо ее становилось серьезнее и задумчивее; шаловливая улыбка сбежала с губ, глаза расширились и приняли печальное выражение.

Ястребов глядел на нее, слушал ее симпатичный, глубокий голос, и в то же время в голове его, быстро сменяя одна другую, проносились тревожные мысли.

Он прекрасно видел, какого сорта женщина была эта Дарья Семеновна; совершенно необразованная, быть может, и даже наверно, далеко не безупречная в нравственном отношении, но вместе с этим он видел в ней истинно поэтическую душу. Он был уверен, что под грубою внешностью, созданной условиями жизни, таится прекрасное женское сердце, отзывчивое на все доброе; что при иных обстоятельствах, в другой сфере, она немедленно преобразится; темные, непривлекательные, наносные черты ее характера исчезнут и уступят другим, более светлым и чистым.

А между тем Даша была далеко не то, чем казалась. Весьма плохая актриса на сцене, она тем не менее была прекрасная, впрочем, более бессознательная, чем сознательная, актриса в жизни. Постоянно окруженная толпой поклонников, она привыкла всем нравиться. Желание нравиться и производить на всех приятное впечатление также было у нее более инстинктивным, чем преднамеренно-рассчитанным. Она сама не отдавала себе отчета, для чего это надо ей, и это было своего рода кокетство, самолюбие красивой, избалованной женщины. Стремясь всем нравиться, она, несмотря на свою ограниченность, также инстинктивно, сообразительностью хитрого зверька, весьма скоро и безошибочно угадывала вкусы тех, с кем ей случалось стал-

киваться. Иногда вкусы эти ей были совершенно непонятны, но, и не понимая, и не разделяя этих вкусов, она весьма ловко умела подделываться к ним... Сразу поняв, что на Ястребова нельзя произвести впечатления ни коротенькими юбочками и откровенными лифами, ни двусмысленными шансонетками, Дарья Семеновна, по отношению к нему, начала держать себя иначе. Она заметила, что ему нравится, когда она поет грустные, задумчивые песни, и хотя не совсем ясно понимала этот вкус, но тем не менее пела,— пела, как птица, не отдавая самой себе отчета. Если во время пения в ней и пробуждалось кое-какое чувство увлечения, то настолько слабо, что оно тотчас же, с замиранием последнего аккорда, бесследно исчезало. Во всякую минуту, даже тогда, когда голос ее начинал дрожать, а на глазах навертывались слезы, когда со стороны можно было подумать, что она вся проникнута чувством, она могла мгновенно прервать пение и тут же самым обыденным голосом сказать какую-нибудь пошлую сальность или глупость. Ее поведение с Ястребовым не было сознательным притворством: для того, чтобы обдуманно дойти до такого актерства, она была слишком неразвита,— нет, это была просто техника. Как при пении «Ах ты, Ванюшка, удалая башка» требуется лихо встряхивать рукой и головой и вздрагивать плечами, как при «Взгляните здесь, смотрите там» необходимо слегка поднимать юбочку и высовывать напоказ свои икры, а при «Боги, ужель вас веселит» делать двусмысленные, скабрезные жесты, так при пении «Лучинушки» нужно, чтобы голос дрожал, глаза становились туманными, и проч., и проч. И вот эту-то технику Ястребов, по простоте душевной, признал за искру божью, за поэтическое стремление и, основываясь на ней, вывел свои обманчивые предположения. В нем боролись два взаимно сменявшихся чувства. Когда Даша брала гитару грациозным, заученным жестом и, откинувшись несколько назад своим стройным, гибким телом, начинала петь, вся душа его проникалась восторгом; он не мог глаз отвести от нее и любовался ею с замиранием сердца. В эти минуты она казалась ему идеально прекрасным, особенным, необыкновенным существом, и он ей мгновенно прощал все: и грубость, и двусмысленное ремесло арфистки; но как только пение умолкало и Даша снова принималась «разговоры говорить», в душе его поднималось едкое чувство досады и сожаления.

И чем чаще, чем возвышеннее казалась она ему несколько минут перед этим, тем больнее резали его ухо грубые, циничные слова и выражения: «интересный мужчинка», «воздахтор», «Захудай Иваныч» и тому подобные mots* кафешантанного лексикона.

«В этой женщине, положительно, два разнородных существа»,— думал он, взглядываясь в ее почти детское лицо, хотя уже успевшее принять неуловимый оттенок, присущий подобным женщинам.

Алексей Сергеевич просидел у нее довольно долго, но почти все время молчал и только слушал, как она бойко тараторила, живописуя ему разные эпизоды своей бродячей балаганной жизни, причем то и дело заливаясь веселым, звонким смехом.

По уходе Ястребова Дарья Семеновна села на диван с ногами — это была ее любимая поза — и задумалась.

Ее чрезвычайно интересовал или, вернее, удивлял этот странный, непонятный ей человек. В толпе окружавших ее доселе мужчин ей никогда не случалось сталкиваться ни с чем подобным: ни один из ее знакомых не был похож на Алексея Сергеевича. Дарья Семеновна чувствовала, что между Ястребовым и теми, что толпятся в ее уборной, навязываются на знакомства и ухаживают за ней — неизмеримая разница; что он совершенно другой человек; и она с первого раза инстинктивно догадалась, что Алексей Сергеевич должен быть гораздо лучше, добрее, душевнее и благороднее их. С «теми» она не робела, третировала их свысока, грызлась с ними и дурачилась; перед ним же она не то чтобы робела, а так, словно бы стеснялась. Даша скорее чутьем догадывалась, что манеры ее ему не особенно по сердцу и что — странное дело — «ему» больше всего не нравится то, от чего приходят в восторг «те». Порой замечая на его лице легкую тень, она сдерживала себя и в первый раз в жизни обдумывала свои слова. Вместе с этим она ясно видела, что он увлекся ею, что она ему очень нравится, и это льстило ей. «Влюблен в меня, ей-богу! Только как-то по-особенному! Чудно́й!» Вдруг, ни с того ни с сего, ей вспомнилась одна ее бывшая товарка, Сашка Кривоногова, которая вышла замуж за генерала... «Положим,— поду-

---

* словечки *(франц.)*

мала она,— ейный генерал штатский, и ему более семидесяти лет, а зато богач-то какой... Тьфу ты, и с чего это мне в голову влезло!»

VI

Замечательно, что все те женщины, которых судьба столкнула с прямой дороги и бросила в водоворот разгульной жизни, постоянно мечтают рано или поздно выйти на прежнюю дорогу. Идея выйти когда-нибудь замуж и жить, «как все», развита у них до болезненности и составляет своего рода idée fixe*. Они стремятся к этому, хотя при случае не прочь поглумиться над порядочной женщиной. Многим из них случается достигнуть своего заветного желания, но едва ли многие из них надолго изменяют свой образ жизни. Это обстоятельство, так не гармонирующее с заветными их мечтами, объясняется, во-первых, привычкой к беспорядочной жизни, а во-вторых, тем, что женятся на подобных женщинах или слишком неопытные юнцы, одураченные ловкою авантюристкой, которые вскоре же после свадьбы сознают свою ошибку и начинают отчаяннейшим образом раскаиваться, или же старички со слабостью головного или спинного мозга. При таких условиях даже и трудно спрашивать «домашнего очага» и «семейных добродетелей». И вот вышедшая замуж камелия, кокотка или арфистка продолжает по-прежнему свои похождения, горько сетуя на свою «разбитую», «неудачную жизнь» и уверяя всех и каждого, и себя первую, что если бы она вышла замуж за кого-нибудь другого, а не за своего «идола», то, наверное, осуществила бы идеал скромной, послушной, добронравной жены, честной матери и верной подруги; что она только и мечтала о тихом, скромном семейном счастье с любимым человеком и т. д. Вариации на эту тему бывают бесконечны. У Даши это стремление «остепениться» и сделаться «порядочною дамой» было особенно сильно. Вот уже третий год, как она только об этом и мечтает. Страстное желание это вспыхнуло в ней с особенною силой по следующему поводу. Три года тому назад, находясь в труппе другого антрепренера, она очутилась, вместе с прочими актерами труппы, в губернском городе Т. Там в нее влюбился некий юноша, сын весь-

---

* манию *(франц.)*

ма богатых родителей. Даше, в свою очередь, очень нравился молодой и красивый барин, безумно в нее влюбленный; она начала с ним заигрывать и очень скоро сумела так вскружить ему голову, что он, не долго думая, предложил ей и руку, и сердце. Родители тотчас же узнали об этом; дали знать кой-кому, власть имущему. Власть имущий, в свою очередь, сделал достодолжное распоряжение, в силу которого, в одно прекрасное утро, в квартиру, занимаемую Дашей, явились некие люди и предложили следовать в их компании, а через двадцать четыре часа Даша очутилась более чем за полтораста верст от города, где жил ее Боря, причем ей было весьма серьезно внушено, что буде она вздумает вновь явиться в городе Т., ее постигнет сугубая неприятность.

Даша от природы была чрезвычайно самолюбива; она простить не могла того, что ее, словно какую-нибудь букашку, взяли да и сдунули, и с этих пор она настойчиво стала стремиться к своей цели — выйти замуж.

«Небось тогда не посмеют выслать, словно бы какую беспаспортную бродягу!»

После этого недобровольного путешествия, результатом которого было почти двухмесячное бедствование в одном провинциальном городишке, откуда она, после целого ряда мытарств, насилу-насилу выбралась и еле-еле добралась до Москвы, она окончательно была восстановлена против незавидного и далеко не почтенного звания мелкой провинциальной актрисы.

Но случая выбраться из этого положения с тех пор не представлялось. Правда, во время ее скитаний по провинциям, случалось, многие ей предлагали свое сердце и свой кошелек, но, впрочем, без руки.

Надо заметить, что во все время пребывания своего в Z Даша держала себя до известной степени строго и недоступно. Несмотря на то, что она была буквально почти с утра до ночи осаждаема толпой ухаживателей, что вся половина не прекрасного пола города чуть ли не бессменно дежурила при ней, к большому негодованию и отчаянию своих матерей, супружниц, сестер и невест,— никто не мог похвастаться особенною близостью к ней; она со всеми была в высшей степени любезна, кокетничала, дурачилась напропалую, но была граница, которой никому не удавалось переступить. Сравнительным преимуществом и особенной благо-

склонностью пользовались только двое: Сеня Сорокин и Ястребов. Впрочем, первого Даша только терпела ради его дорогих подарков и безумных трат, которые он не задумывался делать, лишь бы исполнить малейшую ее прихоть. Зато Алексей Сергеевич, несмотря на то что за все время ни разу и не подумал даже преподнести ей что-либо и даже, по-видимому, не особенно за ней ухаживал, пользовался очевидным предпочтением. Предпочтение это не на шутку раздражало Сеню. Впрочем, надо отдать справедливость, Даша сумела бы вывести из себя и более благоразумного и сдержанного человека, чем ошалевший от беспросыпных кутежей Сеня. Она принимала от него подарки, сама давала ему всевозможные поручения и постоянно держала его в состоянии ожидания; но как только Сеня, окончательно терявший рассудок и самообладание, покушался переступить заколдованный круг, Даша очень ловко и тонко умела в ту же минуту осадить его: она или мгновенно принимала такой холодный, недоступный вид, что Сеня невольно терялся, или шутками и смешками незаметно отклоняла от себя его ухаживания. Словом, она играла с ним, как иной раз проворный, грациозный котенок играет с неуклюжим, дворовым псом... Товарищи Сени отлично видели всю эту игру и от души смеялись над ним и дразнили его. Это еще пуще распаляло не привыкшего к противоречиям купчика.

— Во что бы то ни стало, хоша бы всего капитала решиться, а поставлю на своем! — кричал Сеня, сидя с пьяною компанией своих постоянных собутыльников.— А ежели не пойдет на капиталы — я и под венец согласен.

— И под венец с тобой она не пойдет.

— Как не пойдет? — вскочил Сеня и, расставив для поддержания равновесия свои чурбанообразные ноги, ударяя себя кулаком в грудь, завопил: — За меня не пойдет? За меня — Семена Семеновича Сорокина, купца первой гильдии? Да какого же ей, опосля, черта надо?

— Какого бы там ни было, а только не такого, как ты!

— Не, это уж дудки! Стоит только свистнуть...

— Ну, вот ты и свистни, попробуй.

— А нешто нет? Вот на зло же, давай на пари!

— Давай, на что?

— На полдюжину шипучки.

— Стоит!.. Нет, уж коли держать, так на весь ящик, чтобы на всех шестерых по четыре бутылки на рыло...

— Ходит! Сейчас еду!

— Куда те понесет, лешего? Третий час ночи; все уже спят давно; езжай завтра. Теперь она тебя и не пустит.

— Ну, ин быть по-вашему! Завтра так завтра, мне все единственно.

На другой день утром Сеня, уже успевший, по своему обыкновению, как следует зарядиться, явился к Даше. Та только что собралась куда-то уходить и была уже одета в изящную, бархатную шубку и соболью шапочку. Столь ранний визит Сени покоробил ее.

— Я к вам, Дарья Семеновна, по делу! — объявил он, вваливаясь к ней в комнату и внося при этом присущий ему запах винного погреба.

— По делу? По какому? — спросила Даша, останавливаясь среди комнаты и сама не садясь, и не приглашая садиться своего гостя.

Сеня замялся и машинально опустился на первый попавшийся стул.

— Я, то есть мне...— забормотал он,— значит, того, к примеру... опосля того, значит, ноне я человек женатый... тьфу, ты бишь холостой... так мне бы таперичи бы, значит, к примеру... а если к тому и при капитале, а при всем том родителей нетути никого, и опять-таки, значит, вольный человек... Ну и, значит, того... пришел спросить вас, какая ваша на то резолюция, а мне начхать, что так, что под венец — это нам все единственно... Ну, и значит, как же, то ись как ваше на то мнение?

С этими словами Сеня, в ожидании, уставился на Дашу выпуклыми рачьими глазами. Та нетерпеливо пожала плечами.

— Ничего не поняла! Что это вы бормочете? Или со вчерашнего еще не прочухались? Так пойдите, промойте глаза, а то бредит что-то, и сам не понимает — что!

Сеню несколько задело это, столь нелестное отношение к его особе.

— Мне нечего просыпаться, и я вовсе не брежу,— заговорил он недовольным тоном,— а мое, значит, желание такое.

— Какое? Тюлень вы этакий! Скажете ли вы наконец по-человечески, что вам от меня надо?

— Мне? Мне, собственно, ничего не надо, а я пришел только спросить вас: желаете ли вы быть моей супругой?

Даша с изумлением вскинула на него свои большие, выразительные глаза.

— Как так супругой?

— А так, как обнаковенно бывает... Обвенчаемся с вами, как быть следует, в церкви; ну, а опосля того жить станем, как все.

Даша серьезно и пристально глядела на него несколько минут и вдруг разразилась самым веселым, неудержимым смехом.

— Встаньте,— крикнула она, покатываясь от хохота и таща его за рукав.

Тот бессознательно повиновался, недоумевая, в чем дело. Даша подтащила его к трюмо и указала ему пальцем на его же лицо в зеркале.

— Жених! Вот так жених! — крикнула она ему в самое ухо и с этими словами, громко хохоча, проворно выскочила из комнаты.

Сеня несколько минут постоял перед трюмо, тупо разглядывая свое красное, широкое лицо с мутными от перепоя глазами и с всклокоченною, жиденькою бороденкой.

— Тьфу! Проклятая баба, чтоб ей пусто было! — проворчал он наконец и, с досадой плюнув, побрел вон, громко стуча косолапыми ножищами.

Впрочем, если Даша и отказалась наотрез выйти замуж за Сеню, то причиной этому была отнюдь не его непредставительная фигура. Даша была слишком практична, чтобы обращать внимание на красоту телесную. До этого ей было мало дела. В данном случае ею руководили более существенные соображения. Она отлично видела, что́ за человек Сеня Сорокин, и лучше его самого понимала те побуждения, которые заставляли его делать ей предложение. Как ни было мало завидно положение провинциальной каскадной актрисы и певицы, но и положение жены спившегося, ополоумевшего грубого купчика, полудикаря, который со второго же дня свадьбы не преминул бы начать колотить ее и всячески издеваться над нею, было не в пример хуже. К тому же ей был небезызвестен и тот факт, что состояние Сени Сорокина было уже настолько сильно расшатано, что вопрос о полнейшем разорении был только вопросом времени. Но главная, самая важная причина, побудившая ее, не задумавшись ни на минуту, отвергнуть Сеню — был Алексей Сергеевич Ястребов. Алексей Сергеевич каждый день бывал у

Даши и просиживал у нее довольно долго. Обыкновенно он сидел до тех пор, покуда к ней набирались постоянные ее гости. Тогда он вставал, вежливо, но сухо со всеми раскланивался и уходил. Вечером он являлся на каждое представление, занимал свое место в первом ряду кресел и в продолжении всей игры не спускал ни на минуту с Даши своего задумчивого, серьезного взора. Несмотря на то, что между ними ни разу не возбуждался разговор о любви, Даша все больше и больше убеждалась, что Алексей Сергеевич влюблен в нее и что любовь его совершенно иного рода, чем та, о которой случалось петь Даше:

Любовь, любовь
Волнует нашу кровь!

Однако чего не могла понять Даша — это того, что Ястребов так упорно молчит и ни единым словом не говорит ей о своих чувствах. Но Алексей Сергеевич поневоле молчал. Что ему было говорить? Он был слишком сильно и глубоко влюблен в Дашу, чтобы удовлетвориться «мимолетными увлечениями», но вместе с тем и слишком рассудителен, чтобы решиться, без долгого размышления, заменить ее костюм подвенечным убором.

VII

Прошло месяца полтора. Труппа Осипа Самуиловича Рабиновича собралась уезжать. Весь обширный репертуар разученных ею пьес давно был сыгран. Публика уже успела охладеть. Театр, вначале полный, с каждым разом пустел все более и более.

— Послезавтра мы уезжаем. Прощайте, не поминайте лихом! — говорила Даша Ястребову, сидя с ним в своем нумере за вечерним чаем. Лицо ее было грустно, глаза смотрели задумчиво.

— Неужели так скоро? — спросил Ястребов, и голос его слегка дрогнул.

— Где же скоро? Мы и так пробыли здесь почти два месяца; мы нигде так долго не останавливались. Кстати, завтра кончается срок моему контракту,— прибавила она как бы вскользь,— не знаю: возобновлять ли, или в Москву ехать, меня уже давно зовут туда.

И она искоса взглянула в лицо Ястребову; тот сидел, понурив голову, и, по-видимому, не обратил внимания на ее последние слова. Наступило тягостное молчание. Даша машинально взяла гитару и перебирала струны:

Час разлуки бьет, прости!
Афинянка, возврати
Другу сердце и покой,
Иль оставь его с собой.

Напевала она вполголоса, склонив слегка набок свою хорошенькую головку и мечтательно устремив глаза на мелькающий огонек лампы. Свет лампы, проникая сквозь розовый абажур, придавал ее фигуре и всей обстановке какой-то особый, изящный колорит. Даша сидела словно в забытьи, не замечая ничего, что вокруг нее делается, вся отдавшись нахлынувшим на нее думам.

— Спойте мне мою любимую! — тихо произнес Ястребов.

Она медленно вскинула на него бархатистый, томный взгляд, слегка, чуть-чуть улыбнулась и, сыграв предварительно какую-то прелюдию собственной фантазии, тихо начала:

Ах, мороз, морозец...

Когда Даша дошла до слов:

Ты озяб, мой милый,
  Прислони головку,
Я тебя прикрою...—

она вдруг понизила голос, и в нем послышался звук такой страсти и тоскливой нежности, что у самого черствого человека шевельнулось бы сердце. И никогда не пела Даша с таким страстным одушевлением. Простые, но глубоко поэтические слова песни увлекали за собой. Ястребов глядел на нее и ощущал какое-то еще небывалое чувство. Ему хотелось и рыдать, и в то же время смеяться...

Погляжу на глазки — глазки искры сыплют,
Погляжу на щечки — огонек пылает...
Так вот ретивое
Полымем охватит...

Ах, мороз, морозец,
Где ж теперь красотка?
Спит в земле глубоко
Под напевы вьюги!

Ястребов не выдержал...

— Радость моя! Жизнь моя! — воскликнул он, быстрым движением схватил ее руки и припал к ним пылающим лицом.

Даша осторожно высвободила свои пальцы из его рук, отбросила в сторону гитару, крепко обняла его шею и осыпала его голову страстными поцелуями...

Было очень рано, когда Ястребов вышел от Даши и пошел к себе домой. На душе его было светло и покойно, как у человека, принявшего наконец, после долгих сомнений и колебаний, окончательное решение. С Дашей у него уже было все решено. Так долго смущавший и угнетавший его вопрос был разрешен как нельзя более разумно и к обоюдному полному удовольствию...

«И как она скоро и разумно поняла меня,— думал Ястребов, сладко улыбаясь.— Нет, я чересчур преувеличивал; она далеко не так не развита, как я думал... Неразвитая женщина не могла бы так скоро усвоить себе взгляд, который, признаться, мне и самому был не вполне ясен... И как она любит меня... Положительно, эта женщина гораздо лучше многих и многих... Другая на ее месте непременно настаивала бы на том, чтобы свадьба была назначена немедленно... А она, при первом моем слове... какое при первом слове, просто сама предложила мне отложить венчаться хотя бы и на полгода. «Я к вам привыкну, а вы ко мне, тогда и обвенчаемся!!» Как это просто сказано и сколько в этом истинного благородства!..»

Но Алексей Сергеевич напрасно так превозносил великодушие Даши. В ее легком согласии повременить свадьбой был расчет. Даша, с проницательностью, свойственною в подобных случаях женщинам, поняла, что Алексей Сергеевич из тех, которые, дав слово, свято исполняют его. Заручившись обещанием жениться на ней, она была вполне спокойна на этот счет, и ей самой была небезвыгодна некоторая отсрочка. Теперь, когда давнишнее заветное желание ее так неожиданно готово было исполниться, Даша как будто чего-то испугалась. Неизвестность и неумение сразу приноровиться к новому положению, совершенно противоположному тому, в котором она доселе находилась, смущали ее, и она рада была тому, что эта новая жизнь не наступит сразу, а исподволь. К тому же как ни была она самоуверенна и легкомысленна, но странность характера Ястребова, его серьез-

ность и прямота немного пугали ее; она инстинктивно поняла, что с этим человеком шутить нельзя, и решилась раньше, чем связать себя с ним навеки, постараться осмотреться и примениться к нему.

VIII

На другой же день после объяснения с Дашею Ястребов, согласно договору и несмотря на отчаянное, можно сказать, героическое сопротивление Степана, перебрался на другую, гораздо большую квартиру. Новая квартира его состояла, в сущности, из двух квартир и занимала собою весь флигель. Обе квартиры выходили окнами на одну и ту же улицу и имели смежные комнаты, но были разделены площадкой с примыкавшею к ней лестницей. На эту площадку выходили одна против другой входные двери обеих квартир. Такое расположение было тем удобнее, что, имея непосредственное сообщение внутри, квартира эта снаружи представляла два якобы отдельные помещения с особыми ходами. Таким образом, официально Даша для Ястребова была не что иное, как приятная соседка. Надо сказать, что всякие виды так называемых гражданских браков в полках весьма редки, и если терпимы, то только при условии соблюдения самого строгого внешнего приличия и благопристойности.

Благодаря энергии Алексея Сергеевича обе квартирки, в течение каких-нибудь трех дней, были отделаны и очень мило и уютно устроены. Алексей Сергеевич не скупился на расходы и благодаря этому новое помещение его приняло весьма комфортабельный вид. Степан бранился, ворчал, на зло всем мешал и все путал, изо всех сил старался затормозить работы, но сделать этого ему, при всем его горячем желании, не удалось. Влияние его на Алексея Сергеевича теперь было вполне бессильно. Наконец, он окончательно озлился, плюнул и ушел из дому, чем доставил Ястребову несказанное удовольствие. Впрочем, Алексей Сергеевич нашел, во всяком случае, необходимым посвятить своего верного слугу, хотя бы отчасти, в свои будущие планы, и между им и Степаном произошел вечером того дня, в который окончена была последняя уборка, следующий разговор.

— Знаешь, Степан,— начал Алексей Сергеевич, стараясь

придать себе независимый тон,— зачем мы переехали на новую квартиру?

— Знаю! — угрюмо проворчал Степан.

— Знаешь? — удивился Ястребов, в простоте душевной воображавший, что никто ничего не знает, тогда как весь город только и толковал об его отношениях к приезжей актрисе.

— Знаю! — с тем же свирепым видом повторил Степан.

— Ну, а зачем?

Степан мрачно покосился на своего барина.

— Эх, Алексей Сергеевич, что тут толковать,— досадливо махнул он рукой,— шила в мешке не утаишь, а только не дело это ты, ваше благородие, затеваешь, верь моему слову, не дело.

— Чем же не дело?

— Как чем? — одушевился Степан.— Гоже ли ахвицеру с ахтеркой возжаться, да еще и в одной квартире жить? Ну, побаловался, коли такая блажь пришла, да и на сторону, играй отбой; а чтоб такую обузу на шею себе накошлять — эвто уж совсем не резон, кого хочь спроси, всякий скажет!

— Нечего мне спрашивать,— загорячился Ястребов, досадуя на явную оппозицию со стороны своего денщика, которую он, впрочем, заранее предвидел,— я сам знаю, что делаю; ты, дурак, ничего не смыслишь.

— Не всем быть таким умным! — невозмутимо возразил Степан.— Вот вы, видно, с большого-то ума невесть что надумали — ахтерку замест жены взять.

— Не вместо жены, а как настоящую жену: через два месяца я и совсем женюсь на ней!

Степан взглянул на него с выражением глубокого изумления.

— Что это ты, ваше благородие, толкуешь, я что-то в толк не возьму. Как это так «женюсь на ней»? Не в церкви же, прости господи, вы венчаться будете.

— А то где же? — засмеялся Ястребов.— Конечно, в церкви.

— И как быть следует? — допытывался Степан, все еще не веря и думая, что штабс-капитан шутит.

— Как следует быть.

— Ну, это ты, ваше благородие, пугаешь! Николи не поверю! — решительно заявил Степан.

— Да почему?

— Как почему? Чтоб ахвицер, штабс-капитан, да еще с Егорьем[8], женился на какой-то там, прости господи, шлюхе? Да ведь у нее, почитай, допреж того, да и теперича, что ни сутки, то новый муж, а то и по двое...

— Молчи, животное! — сверкнул глазами Ястребов, грозно приподнимаясь и судорожно сжимая кулак.— Не твоего ума дело!

Но Степана унять было трудно; вообще совершенно отвыкший от чинопочитания, он вдруг, в свою очередь, озлился и, задыхаясь от злобы, прошипел:

— А ежели да так, не ахвицер ты после этого, а бабий хвост...

Страшный удар кулаком в лицо не дал ему докончить; как ни был силен Степан, но и он не выдержал и закачался; кровь алою широкою струей хлынула из носа и изо рта, заливая подбородок и грудь ситцевой рубахи.

— Вон, мерзавец! — прохрипел Ястребов и, схватив все еще не пришедшего в себя Степана, повернул его налево кругом и, как малого ребенка, вышвырнул за дверь.

Весь день пролежал Степан на своей жесткой постели. Он лежал тихо, не шевелясь. Наступила ночь. Степан попрежнему лежал, не переменяя позы; казалось, что это лежит не живой человек, а труп. Наконец к утру он очнулся, поднялся с постели и потихоньку побрел в конюшню, убирать коня. Завидя своего старого приятеля, Сокол весело заржал и по привычке принялся чесаться лбом о его плечо. Ласка коня словно пробудила старика от его апатии.

— Милый, голубчик, Соколик ты мой ясный,— зашептал вдруг Степан, страстным порывом обхватив руками сухую, красивую голову лошади и прижимаясь к ней лицом,— обидели нас, голубчик, кровно обидели! — Степан глухо и болезненно зарыдал.— Никогда, никогда, шесть лет служу у него, никогда допреж того не бил он меня. Соколик, родненький мой, никогда, вот тебе Христос, никогда,— уверял он сквозь слезы, крепко целуя бархатистую кожу на ноздрях лошади.

Сокол, повернув голову и насторожив уши, пристально и умно глядел на него своими красивыми черными глазами и, слегка похрапывая, осторожно старался поймать мягкими губами его нос или уши.

Наплакавшись вволю, Степан обмыл лицо холодною во-

дой из ведра и принялся чистить лошадь. Но работа на этот раз не спорилась, скребница ежеминутно вываливалась из рук, и он несколько раз, не замечая того сам, принимался снова тереть уже вычищенные места.

— Как родного любил я его, служил, как богу служат,— жаловался он вслух Соколу, словно товарищу,— и вдруг такая обида, и зря, главное дело, зря; а все же сердца у меня на него нет, не сержусь я на него — да и на, поди! Видит бог, не сержусь; а только очень уж мне эфто обидно...

Сокол, в другое время весьма щекотливый и не спокойный на уборку, на этот раз с изумительной терпеливостью выносил, порой весьма неловкие, причинявшие ему даже боль, движения скребницы и щетки на своей гладкой, чувствительной коже. Он как будто разделял горе своего друга и то и дело оборачивался назад и поглядывал на него своими выразительными глазами. Когда какой-нибудь слишком неловкий толчок причинял ему особенно сильную боль, он нетерпеливо тряс головой, как бы желая сказать:

— Ах, довольно, оставь, голубчик; ты чистить не чистишь, а только тиранишь меня!

Окончив кое-как уборку лошади, Степан прямо из конюшни отправился к барину. Ястребов только что проснулся. Увидя входящего Степана, он покраснел и опустил глаза. Совесть его мучила, и он дорого бы дал, чтобы не было того, что случилось. Когда же он вновь поднял глаза и взглянул на грустное лицо Степана, за одну ночь страшно осунувшееся и побледневшее, ему сделалось невыразимо жаль его.

— Что тебе, Степан? — спросил он его как можно ласковее.

— Я, ваше благородие, к вам с просьбой,— вытянувшись и держа руки по швам, чего он прежде никогда не делал, доложил Степан,— отпустите меня в эскадрон.

— Совсем? — глухо спросил Алексей Сергеевич.

— Так точно, а к себе возьмите хоша бы Котикова; он дюже добрый солдатик.

Ястребов задумался; была минута, он готов был встать и обнять своего слугу и друга и чистосердечно и прямо попросить у него прощения, но, с одной стороны, военная дисциплина не могла допустить такого отношения офицера к нижнему чину, а с другой — Алексей Сергеевич понимал, что, уступив в этом, пришлось бы или уступать в «остальном», или снова заводить неприятные и бесполезные пре-

пирательства. «Пускай пока уйдет,— подумал он,— это еще лучше; потом, когда все устроится, я снова возьму его».

— Хорошо,— сказал он сухо,— я распоряжусь!

Степан повернулся налево кругом и вышел. В тот же день к вечеру он был отчислен в эскадрон и на место его к Ястребову был прикомандирован смирный и в высшей степени кроткий новобранец, Максим Котиков, а на другой день утром Даша переехала в свое новое жилище. Узнав об этом, полковой командир немного поморщился, но, так как приличие было соблюдено, он не нашел возможным вмешаться в это дело; о том же, что капитан думает жениться, никто, конечно, и не догадывался. Единственный человек, знавший что-либо, Степан — хранил обо всем глубокое молчание.

IX

Верстах в тридцати от города Z, на скатах невысоких холмов, раскинулось довольно обширное село Малиновое. Старая каменная церковь с высокою колокольней отчетливо белелась на самой вершине холма, уходя золоченым сияющим крестом в вышину голубого прозрачного неба. Река широкою серебряною лентой огибала подошву холма и весело извивалась, сверкая по зеленому бархату заливных лугов. Шел май. Все было еще так молодо, так свежо: и яркий зеленый ковер лугов, и недавно только вполне распустившаяся листва дерев, и даже желтый песок дорог и обрывов, только что просохший и весело золотившийся под яркими, но еще не палящими лучами солнца.

За речкой, охватывая большой полукруг и подходя к самому берегу, тянулась длинная незатейливая изгородь. Внутри ее бродили табуном статные, одномастные кони, жадно выщипывая не высокую, но густую, сочную майскую траву, и порой веселым, громким ржанием задорно перекликались с крестьянскими лошадьми, пасшимися на другом берегу. Но какая разница была между этими двумя табунами! Крестьянские лошади, страшно заморенные, отощавшие за зиму, с непомерно раздутыми от соломы животами и выпяченными ребрами, еле бродили по выгону. Статные и сытые кони принадлежали стоявшему эту весну в

Малиновом на траве* 1-ому эскадрону N драгунского полка. Кроме 1-го лейб-эскадрона, в Малиновом находился также штаб полка и трубачевская команда.

Остальные эскадроны расположены были в окрестных деревушках. Канцелярия полка оставалась в Z. Офицеры, по обыкновению, почти все разъехались кто куда, и в полку не оставалось и трети наличного состава командующих.

По дороге из города Z к селу Малиновому ехал всадник. Вороной конь и белый китель всадника ярким пятном вырисовывались на голубом фоне широкой панорамы. Всадник ехал шагом, опустив поводья и о чем-то глубоко задумавшись. Видевшие полгода тому назад штабс-капитана Алексея Сергеевича Ястребова едва ли признали бы его в этом понуром всаднике. Черная красивая борода его сильно поседела, вокруг глаз и на лбу легли бесчисленные морщинки, худощавое лицо еще больше похудело, щеки ввалились и пожелтели, даже стройный стан его как будто чуть сгорбился. Вообще он имел вид человека, недавно испытавшего изнурительный недуг. Только большие темные глаза его по-прежнему блестели в глубоких впадинах, но и в них к прежнему выражению вдумчивости примешивалось новое выражение затаенной грусти, производившее особенно тяжелое впечатление благодаря еле заметной саркастической улыбке, по временам чуть-чуть трогавшей углы его тонких бледных губ.

Перебравшись на тот берег по отчаянно пляшущим бревнам через речку, Алексей Сергеевич свистнул и слегка пригнулся к луке. Привычный к этому движению, лихой конь с места помчался карьером в гору и, птицей взлетев на нее, сразу, на всем скаку, покорный легкому движению поводьев, осадил у крыльца небольшого, но весьма уютного и красивого домика священника, где квартировал Ястребов. Из калитки ворот вышел старый знакомый наш — Степан и молча принял из рук Алексея Сергеевича поводья.

— Дарья Семеновна дома? — спросил Ястребов, по привычке сам отпуская подпруги.

— Нету-ти, с утра ушла! — пробурчал Степан, по обыкновению, ворчливым тоном.

Ястребов слегка побледнел, и чуть слышный вздох вырвался из его груди.

* Весенняя стоянка в деревнях для поправки здоровья лошадей. Лошади, не получая овса и сена, весь месяц питаются свежею травой.

— Никто у меня не был? — спросил он, чтобы только что-нибудь сказать.

— А кому быть-то? — вопросом же ответил Степан и, выпростав трензеля изо рта Сокола, повел его на двор.

Ястребов минуту постоял на одном месте и потом, не торопясь, вошел на крыльцо.

Домик священника отца Никодима состоял из четырех комнат. В двух задних помещался старик священник, одинокий вдовец, живший сам-друт со своею маленькой внучкой, а две передние, с окнами на улицу, занимал Ястребов с Дашей.

Войдя в комнату, Алексей Сергеевич бросил фуражку и, как человек уставший от долгого пути, тяжело опустился на небольшой диванчик и задумался.

— Чаю не прикажете? — спросил Степан, просовывая голову в двери.

Ястребов не расслышал вопроса.

— А? Что тебе? Что такое? — спросил он, подымая голову и рассеянно проводя рукой по лицу.

— Я докладаю, чаю не угодно ли? — повторил Степан.

— Ах да, чаю? Нет, не надо... а то, пожалуй, давай... а впрочем, не надо... впрочем, как знаешь!

Степан досадливо махнул рукою и спрятал голову. Через несколько минут он снова появился со стаканом чая. Ястребов молча взял стакан, поставил перед собой на столике, но тут же забыл о нем, увлекаемый своими мыслями.

Когда полчаса спустя Степан вновь явился с подносом, он увидел, что стакан по-прежнему стоит, как был поставлен, Ястребов, по-видимому, и не притрагивался к нему.

— Что же ты, ваше благородие, чай-то не пьешь; аль собрался рыбу удить?

Ястребов очнулся, машинально взял стакан и, не помешав, залпом выпил холодную жидкость.

— Еще хотите? — спросил денщик, принимая от него пустой стакан.

Алексей Сергеевич отрицательно мотнул головой.

Степан угрюмо глянул на него и укоризненно покачал головой.

— Ишь раскис,— буркнул он, выходя из комнаты.

X

Изо всех солдат эскадрона, с которыми Степан вообще не особенно любил водить компанию, только один унтер-офицер[9] Агеев пользовался его большим расположением. Агеев был земляком Степана и вместе в один год попал с ним в набор.

Между обоими приятелями было много общего и в характерах, и в наружности. Агеев был еще угрюмее Степана, отличался способностью по целым неделям не произносить ни одного слова, кроме командных, и никогда не улыбался. Лицо его темно-кирпичного, почти коричневого цвета, густо заросшее щетинистыми черными волосами, никогда и ни при каких случаях не изменяло своего угрюмого, бесстрастного выражения. Казалось, вся жизнь этого человека сосредоточивалась только в его карих глазах, с желтоватыми воспаленными белками. Из всего эскадрона Степан давно избрал его поверенным всех своих задушевных тайн и только с ним одним говорил о своем Алексее Сергеевиче без обычной напускной воркотни.

Выйдя от Алексея Сергеевича с пустым стаканом, Степан сердито брякнул его на стол и тяжело опустился на доску, служившую ему постелью. Агеев сидел на табурете, против него, на другом конце кухонного стола, медленно и сосредоточенно тянул из исполинского блюдечка жидковатый чай, закусывая таким крохотным кусочком сахара, что он еле-еле держал его в своих толстых заскорузлых пальцах. Лицо Агеева было красно, и на лбу крупными каплями выступил пот.

— И что за жизнь наша теперь! — промолвил Степан, после недолгого молчания наливая из большого пузатого чайника в свою огромную, пестро размалеванную чашку.

Агеев, не отнимая губ от блюдечка, молча вскинул на него вопросительный взгляд.

— Совсем извелся Алексей-то Сергеевич! — продолжал Степан.— Кто давно не видал — и не узнает: ровно тень какая бродит. А все из-за этой вертихвостки анафемской; уходит она его вконец, как пить даст — уходит.

— А либо он ее! — сквозь зубы, словно нехотя, процедил Агеев.

— А что же? И это может статься! — сокрушенно вздохнул Степан.— Алексей Сергеевич, так скажем, истин-

но ангельская душа, добрее его я и не видывал, а только и в нем эфтот самый «луканька» сидит; в какую минуту подвернешься; он терпеть-то гораздо много терпит, а уж ежели когда ему придет невтерпеж — тогда держись! Ау, брат!

— Вестимо, человек не камень, а и тот от жару лопается.

— Да еще и как... А уж и горазда же она его злить,— начал снова Степан,— не то мудрено, что он когда-нибудь пришибет ее, как кощенку,— диво, что еще до сих пор не пришиб.

— А что? Она уж больно того...

— И-и, не говори... Злит она его, ровно пса цепного... Придет это, к примеру, часу в одиннадцатом, а то и попозже. «Где была?» — спросит. «А где была, там меня, значит, уж нету!» Скажет и так-то, ехида, зубы ощерит, что, кажись, будь на мой характер — такую бы ей выволочку задал — самой на удивление. И заметь то, чем он с ней ласковей, тем она, паскуда, собачливей. Пытался он ее уговаривать: и стращал-то, и урезонивал — нет, хошь ты што хошь. Сначала почнет слушать, ровно бы и путевая, слушает, слушает, да как загогочет: «Ты бы,— говорит,— в монахи шел, игуменом сделают». И что же, братец ты мой, за смех у нее дьявольский, так всю внутренность и повернет.

— Ишь погань! Бросил бы он ее, да и вся тут!

— Вот тут, голован, и загвоздка! Я и сам ему так-то говорил: бросьте, мол, ее, ваше благородие, ну ее к ляду. «Не могу,— говорит,— хоть убей — не могу; пуще жизни, говорит, люблю я ее, все едино — головы решиться». Вот ты тут и толкуй.

— А, должно, все это неспроста! — глубокомысленно заметил Агеев.— Не иначе как приворот какой ни на есть.

— Я и сам так думаю. А намеднись нарочно в Хмурино ходил,— там вдова солдатка на квасу, говорят, больно хорошо гадает, последнюю полтину снес. Дала она мне какую-то косточку, так, невеличку. «Возьми,— говорит,— и когда попросит у тебя испить воды, али чаю, али вина — все едино, опусти эфту самую косточку три раза в питье, а опосля брызни трижды и молви: «Как с кости вода, так и с сердца беда».

— Ну, и што же?

— Вот уже третью неделю кажинный раз аккуратно

делаю, да только все толку что-то нет, да вряд ли и будет!.. Эх, прогневили мы господа бога.

— Да с чего это у них свара-то эфта самая пошла?

— А бог их знает. Спервоначально-то жили ничего, так себе. Я-то у него тогда не жил, так мне Котиков рассказывал. Все, бывало, вместе сидят: он ей книжку читает аль так рассказывает что, а она слушает; а то возьмет свою гитару и запоет. А и поет же она, прах ее побери, ажно душа стонет! Завели эфту самую рояль; только, знать, на ней-то она не больно горазда, и допреж-то не играла, а теперь и совсем забросила... Месяц спустя, под самое рождество, встречаю его, тоись Алексея Сергеевича, как-то вечером; идет такой веселый, насвистывает. Увидав меня, обрадовался: «Здравствуй, Степан, как поживаешь?» — «Здравия желаю, ваше благородие, как вы изволили поживать». — «Ничего, слава богу живу; только одно, что мне жизнь портит, это, что ты, Степан, на меня сердишься». Говорит, а сам ухмыляется. «Что вы,— говорю,— ваше благородие, нешто я сержусь, господь с вами». — «А назад ко мне пойдешь?» — «С превеликим моим удовольствием». — «А коли так, так и толковать нечего! Сейчас же пойду, скажу адъютанту, а ты завтра же утром и являйся». — «Слушаю-с, ваше благородие!» И так-то мне радостно и приятно на душе сталось, ровно клад какой нашел. Про Дарью-то эфту самую Семеновну я в то время, почитай, совсем и не думал,— продолжал Степан,— да притом и прослышан был, что живут они ладно, так мне что за печаль. Ну, ладно. Пришел это я на другой день; «сама» вышла ко мне, такая нарядная, веселая да красивая. «Это ты и есть,— говорит,— Степан? Мне Алексей Сергеевич говорил про тебя; правда, что ты большой чудак?» — «Не знаю,— говорю,— може ноничe и стал, а допреж того не был». Покосилась этта на меня немного, усмехнулась и пошла прочь. Одначе ничего, зажили ладно, ни разу я от нее слова грубого не слыхал,— уж что правда, то правда, и врать не буду, со мною она и до сих пор хороша, а допреж того и еще того лучше была. И стал это я, братец ты мой, попривыкать к ней, полюбилась она мне; вижу — баба добрая, ласковая, веселая, а главное, что простая. Другая бы на ее месте, поди, как бы разъехалась, фу-ты, ну-ты, такую бы стала барыню разыгрывать, что бери шапку да беги вон, а она нет; над нашим братом не ломалась, обходилась просто, ласково; выйдет, бывало, как самого-то дома

нет, ко мне в кухню, сядет супротив меня и примется расспрашивать. Как, да что, где жил, как служил, есть ли родные, и такое прочее, либо об штабс-капитане начнет пытать, какой, мол, он допреж того был, да как жил. И веришь ли слову, иной раз часа три болтает, не заметишь, как и время пройдет. Заметила она как-то, что рубашки у меня больно того, да и маловато,— известное дело, самому шить, при денщицкой-то нашей службе, недосужно, а отдавать на сторону — не всегда деньги водятся, ну и пообносишься,— так, как бы ты думал, пошла она себе чего-то покупать, купила аршин 25 ситцу, сама скроила, да сама же и сшила мне шесть рубах. «На,— говорит,— носи на здоровье!» Вот, поди ж ты.

Степан умолк и несколько минут молчал, понуря голову.

— Добрая! — процедил сквозь зубы Агеев.

— Да, добра,— раздумчиво покачал головой Степан,— до всех ласкова, до всех жалостлива, а вот до Алексея Сергеевича — нет. И чудно это мне, братец ты мой, кажись бы, как с таким человеком, как Алексей-то Сергеевич, да не ужиться? А вот, поди ж ты, с ним она ровно кошка какая дикая аль тигра. И с чего бы это? Спервоначала-то жили, словно голуби, все бывало милуются, а там и пошло, и пошло, что дальше — то хуже. Месяца не пожил я у них, как уж заметил, что с барынькой нашей штой-то неладное деется. Гляжу, скучать стала моя Дарья Семеновна; сперва не особенно, а немного спустя и шибко заскучала; известное дело, опосля ихней-то развеселой жисти, наша-то ей и не посердцу пришлась. Дальше — больше; спервоначала-то Алексей Сергеевич не замечал; ну а потом и сам сдомекнулся. Видит — дело дрянь: как волка не корми, а он все в лес смотрит. Да и не хитро было домекнуться. Прежде она кое-когда нет-нет да сядет почитает аль пошьет что, а уж тут совсем перестала, даже на гитаре своей не играет. Ходит этта взад да вперед по комнате, словно волчиха в клетке, остановится, заломит руки за голову: «Ах,— говорит,— какая тоска, хоть бы помереть, что ли!» — и опять примется ходить, пока не устанет. Стала она пофыркивать: то не так, то не ладно; прежде все смеялась, а теперь только хмурится да губы кусает. Стал я подмечать, что и с лица она ровно бы худеть и бледнеть начала, и глаза у нее нет-нет да красны,— плакала, значит. Забеспокоился Алексей Сергеевич, начал приставать к ней: «Что, мол, с тобой? Здорова ли

ты?» Да только с расспросов-то его да ухаживаний она еще пуще насупилась. Поспорили они как-то, слово за слово, она ему и брякни: «Зачем ты меня сманил к себе? Я,— говорит,— уйду,— надоело мне тут сидеть с тобой, руки скламши; что моя за жизнь теперь? В монастырях сидят, зато душу спасают, а это что? Монастырь — не монастырь, а тоска, хуже всякого монастыря!» Наладила — уйду да уйду; он уж и так и сяк,— она и ухом не ведет: «Опостыло,— говорит,— мне все: и ты, и квартира твоя; что я, ровно бы арестантка какая, как в тюрьме сижу: ни свету, ни радости, хоть бы удовольствия какие...» — «Тебе, стало быть, любви моей мало?» — «Известное дело, мало; что мне в ней проку? Из нее не шубу шить». Подумал, подумал Алексей Сергеевич, да и стал кое-кого из товарищей по вечерам приглашать. Соберутся это к нему человек пять, в карты играют, шутят, смеются; потом ужинать сядут; другой раз часов до двух, до трех хороводятся. Повеселела наша Дарья Семеновна, опять прежняя стала: и поет, и на гитаре играет, и шутит,— словно рукой сняло. Одно, что не больно ладно было — слишком уж она вольно себя с господами ахвицерами держала. Пробовал было Алексей Сергеевич ее урезонивать: «Не хорошо, мол, это, не подобает», так та ему в ответ: «Я еще тебе не жена, когда-то еще буду, а станешь очень командовать — и совсем уйду!» А тут, на беду, этого юнкаря нанесла нелегкая. Вот когда пошло у нас в настоящую... шабаш! Очумела Дарья Семеновна, ровно ее злая муха укусила: допреж того сладка была, а тут и совсем малина стала. Что ни день, то она Алексея Сергеевича пилит: и обманул-то он ее, и жизнь заел, и уж и невесть что еще! Плетет, плетет, ажно слушать тошно: и все уйти грозится, а это ему хуже ножа вострого. Стал этот юнкарь к нам похаживать чаще, да чаще; прежде по вечерам, при Алексее Сергеевиче, а потом стал все так потрафлять, когда его дома нет. Вот тут-то ее старая жизнь и сказалась... Тянули мы этак с месяц; Алексей Сергеевич особенного, кажись, ничего не замечал, а я хоть и видел что, одначе помалкивал,— что уж тут говорить было!..

— Вестимо дело, руки не подставишь.

— Ну, а больше, почитай, и рассказывать нечего,— продолжал Степан, все больше и больше нахмуриваясь,— перебрались мы из города сюда, вечеринки эфти самые прекончились. Я спервоначала-то обрадовался, думал, уймется

наша-то пава; ан здесь оно того хуже пошло; стала она, что ни день, к своему-то черномазику бегать,— благо недалече. Почитай, совсем от дому отбилась... Барин в город, а она к своему... Эх, дела, дела!

И Степан уныло поник головой. Несколько минут длилось молчание.

— Ну, а он, неужели не видит? — снова начал Агеев.

— Как не видать? Конешно, видит, да, ау, брат. Ничего не поделаешь: баба не пес, на цепь не посадишь. Да и притом же и то сказать, как не поверни, а все ж не жена она ему выходит; власти-то над ней настоящей нет; вольный казак: хочет живет, захочет уйдет; вот он и смекает: с одной стороны, боится, как бы впрямь ему «отбой не сыграла», а с другой — подымать историю — себя на весь полк страмить... И выходит, что как ни кинь, ан все выдет клин; а только скажу я тебе, помяни мое слово, добром это у них не кончится: больно уж ему за последнее время до сердца дошло. Прежде бранился, сердился, уговаривал, а нонче — ни слова, ровно мертвый. Только разве взглянет другой раз на нее и отвернется; и так это, братец ты мой, взглянет, что вчуже жутко станет; а она, полоумная, словно бы и не до нее касается; ржет себе да зубы скалит, а то еще дразнить зачнет: «Что это,— грит,— отец архимандрит, вы гневаться изволите?» И как напомнит она ему про этот самый сон, так он весь в лице переменится, ажно затрясется весь.

— Какой еще там сон?

— А это, видишь, перед самою переездкой нашей сюда приснись Алексею Сергеевичу, что будто он уже женат на Дарье Семеновне, и будто живут они так хорошо, ладно, и у них уже детки есть: мальчик и девочка. И видит это Алексей Сергеевич, что сидит он с ними: мальчик у него на коленях сидит, бороду ручонками теребит, а девочку Дарья Семеновна на руках держит и грудью кормит... Проснулся он да и говорит ей: «Так и так, мол, видел во сне, что, мол, мы женаты и детки у нас, ну и все прочее...» Ну, а она, обыкновенно дело, что за человек! Это ему робята-то ангельчики божьи, а по-ейному, что щенок, что робенок — одна статья! Вот и подняла она его на смех, уж трунила, трунила над ним, издевалась, издевалась: «Ишь, чего захотел! Какие, мол, там дети! Да коли, чего ни приведи бог, и были бы, я их либо в спитательной, либо в канаву! Стану я с ними нянчиться!» Оно, конечно, где ей с робятами, впору

с своим черномазиком управиться! Да и Алексей Сергеевич, чудак, выдумал тоже: Дарью Семеновну, да с робенком на руках! Смехота одна.

XI

Алексей Сергеевич сидел по-прежнему, не переменяя позы. Солнце заходило за горизонт. Будто в пожаре, пылали узенькие окна церкви; прохладный вечерний ветер широкими волнами вливался в открытые окна.

Дверь тихонько скрипнула, и в комнату вошла Даша. Она была все такая же, разве только немного пополнела. На ней был нарядный, пестро вышитый малороссийский костюм. Золотистая коса, переброшенная через плечо, тяжело лежала на высокой груди. В руках она держала изящный маленький зонтик. Войдя в комнату и увидев Ястребова, Даша в первую минуту как бы несколько смутилась; лицо ее, до той поры веселое, беззаботное, приняло наглое, вызывающее выражение. Не говоря ни слова, она пошла в свою комнату. В ту минуту, когда она хотела пройти мимо Алексея Сергеевича, сидевшего неподалеку от двери, тот поднялся с дивана и загородил ей дорогу. Даша остановилась и слегка оперлась на стоящий тут же письменный стол. Ястребов молча, пристально посмотрел ей в лицо. Она стояла перед ним, улыбаясь; щеки ее разгорелись. Он глядел на нее, в ее нагло смеющиеся глаза, и чувствовал, как в душе его закипело ощущение жгучей ненависти. В эту минуту ему отвратительны были и эти пухлые, страстные губы, и эта пышная, высокая грудь, задорно белевшая сквозь частые нити цветных бус.

— Даша! — произнес он наконец с усилием.— Я все знаю!

Она взглянула на него мельком, и по лицу ее пробежала тень досады. «Ну, снова — здорово,— подумала она,— заведет шарманку!» Но вдруг чувство досады сменилось у нее неудержимою веселостью, и она беззаботно и непринужденно захохотала.

— Чему ты рада? Чего ты хохочешь? — невольно изумился Ястребов.

— Ха, ха, ха! — смеялась Даша.— Ой, не могу! Уморил, ей-богу, уморил!

Ястребов делал неимоверные усилия, чтобы, по возможности, сдерживать себя.

— Знаешь что,— начала Даша, когда смех ее несколько утих,— я все тебе советовала идти в монахи... Нет, ты лучше в театр ступай. «Даша, я все знаю!» — передразнила она его.— Нет, это бесподобно, право, бесподобно!.. Да ведь ты Угрюмова бы, пожалуй, за пояс заткнул. Милый, голубчик, иди на сцену, право! Ну, какой ты офицер?

— Какой я офицер, это мое дело, а ты лучше скажи, какая ты женщина? — с усилием проговорил Ястребов, чувствуя, как от негодования кровь его приливала к голове.

— Как какая? Обыкновенная, костяная!

— Нет, не совсем обыкновенная, а до мозга костей развратная, наглая и бесчестная! — страстным шепотом заговорил Ястребов.— Я знаю, где ты была, у Чишкядзе! Вы там пьянствуете, развратничаете, и тебе не стыдно! Ты не только осмеливаешься смотреть мне в глаза, но, приходя прямо от любовника, глумишься надо мной и над моим чувством...

— Не горече-ву-па,— печенка лопнет! — нагло усмехнулась Даша.— Вы, кажется, Алексей Сергеевич, господин штабс-капитан, забываете: я вам не жена и не крепостная ваша холопка, а такой же вольный человек, как и вы,— кого хочу, того люблю! Что вы мне в глаза торкаете Чишкядзе? Чем я виновата, что он лучше вас: и красивее, и веселее? С вами только тоску разводить да псалмы читать...

— А с ним пьянствовать и развратничать!..

— Опять же таки это моя печаль, а не ваша... Ведь я силой к вам не навязывалась и не навязываюсь, напротив того, вы же, как уходить хотела, на коленях передо мной становились и руки целовали...

— Да пойми же наконец, я тебя люблю, люблю больше всего на свете... Даша, голубушка, пожалей же ты меня... Неужели ты не видишь, я измучился, изныл весь...

— Вольно ж вам из-за всяких пустяков сердце надрывать.

— Если это, по-твоему, пустяки, так ты после этого...— не выдержал Ястребов.

Даша вспыхнула, лицо ее приняло злое выражение; она хотела что-то ответить, но удержалась и постаралась улыбнуться.

— А хоть бы и так!

И вдруг, приняв циничную позу, она запела, сопровождая пение наглыми жестами, арию из «Периколы»:

Какой обед нам подавали!
Каким вином нас угощали!
Уж я пила, пила, пила
И до того пьяна была,
Что была готова, готова...

Это была капля, переполнившая чашу... Не помня себя от бешенства, схватил Алексей Сергеевич лежавший на столе, вывезенный им из Турции албанский кинжал. Даша с криком отшатнулась и хотела бежать, но Ястребов как клещами сжал ее руку. Тонкий, как змейка, клинок кинжала мелькнул у нее над головой... Но в ту же минуту чья-то сильная рука схватила руку Ястребова. Сзади его стоял Степан.

— Ваше благородие, господин капитан, опомнитесь! — говорил он, стараясь, по возможности, деликатно вырвать кинжал из руки офицера.

Даша между тем выдернула свою руку, с криком выбежала из комнаты и бросилась было из дому, но в дверях ее остановил Агеев, издали следивший за происшествием.

— Сударыня, не дело! — заговорил он своим глухим, угрюмым голосом.— Не дело... Ну, что вы побежите — и себя срамить, и его благородие; останьтесь лучше, водицы испейте, успокойтесь.

— Он убьет меня, я боюсь! — крикнула Даша, порываясь к двери.

— Не убьет, Степан не допустит; да у него, поди, чай, и сердце прошло... А то идите к батюшке, посидите с ним пока что!

Даша, несколько успокоенная хладнокровною речью солдата, сама сообразила, что не для чего подымать шума, и отправилась на половину священника.

Даша часто заходила к отцу Никодиму. Старик, добрый, ласковый и кроткий, как дитя, всякий раз очень радовался ее приходу: «А, внучка моя, ласточка-касатушка!» — приветствовал он Дашу. Даша, в свою очередь, была с ним всегда очень ласкова и почтительна. Отец Никодим был первый священник, с которым она близко столкнулась в жизни, и немудрено, что она относилась к нему с уважением. До тех пор она видела священников только издали.

Круг, в котором она воспитывалась и провела свое детство и раннюю молодость, обходился без духовных лиц.

Ястребов, между тем кое-как успокоенный Степаном, сидел на диване и пил чашка за чашкой холодную, как лед, родниковую воду. Он дрожал как в лихорадке. Лицо его было мертвенно-бледно. Рука, державшая чашку, тряслась так сильно, что край ее стучал о зубы. Степан с выражением бесконечной печали и сожаления смотрел на него: «Эк его испортили, сердечного; николи с ним прежде такого не бывало».

XII

На другой день Ястребов рано утром опять собрался в город. Этот месяц он, по просьбе полкового командира, исправлял должность уехавшего в отпуск казначея, благодаря чему каждый день приходилось почти все время проводить в городе и возвращаться домой только к вечеру. Степан подвел ему Сокола. Красивый, породистый конь весело фыркал, нетерпеливо переступая жилистыми ногами, сгибал в кольцо шею и косился на хозяина. Ястребов ласково погладил своего любимца.

— А что, Степан,— сказал он вдруг, грустно улыбнувшись,— славное время было, когда мы только втроем жили: я, ты да Сокол, а?

И, не дожидаясь ответа, Ястребов ловко вскочил в седло, горячий конь захрапел, взвился на дыбы, но, удержанный сильным поводом, с минуту помялся на одном месте, словно раздумывая, с какой ноги идти, и вдруг выкинул обе и пошел короткими, горячими лансадами, весь поджимаясь, готовый каждую минуту дать отчаянный скачок... Грустным взглядом проводил Степан своего барина, любуясь его молодцеватою посадкой, и, тяжело вздохнув, побрел в свою каморку.

— Дарья Семеновна, что я вам хочу сказать,— начал Степан часа два спустя, подавая чай только что вставшей Даше,— вы бы как-нибудь того, решали бы это дело как-никак...

Даша удивленно взглянула на него.

— Что ты говоришь, Степан, я не могу понять?

— Говорю, бросьте вы, Дарья Семеновна, эфту свою канитель, право слово, бросьте... Ну, что хорошего? и его губите, и вам не корысть...

— Какую такую канитель, ничего не пойму!

— Да какую?! Какая промеж вас идет... Эх, Дарья Семеновна, пожалейте вы его, да и себя тоже; помяните мое слово, по-хорошему все это у вас не кончится; Алексей Сергеевич такой человек, что долго терпеть может, а сорвется — не пеняйте, ни на что не посмотрит...

Дарья Семеновна вспыхнула, грубое слово готово было сорваться с ее языка, но она вспомнила, что этому человеку как-никак, а все обязана жизнью: не подоспей он вчера так кстати,— кто знает, может быть, ей пришлось бы лежать теперь на этом самом столе, за которым она теперь пьет чай. При одной мысли об этом она невольно вздрогнула и удержалась от резких выражений.

— Тебе какое дело? — спросила она холодно.

— Мне какое дело? — одушевился вдруг Степан.— А вот какое: вы-то, сударыня, всего шестой месяц как и в глаза-то его увидали, а я вот уже шесть лет безотлучно при нем. Года два тому назад, как он болен был, я его словно ребенка малого на руках нянчил! Да это что! Придет если такая линия, я за него и жизни решиться готов; он мне пуще отца родного, а ты спрашиваешь, какое мне дело? Слушай, Дарья Семеновна,— прибавил он решительно,— в последний раз говорю я тебе: или брось ты энтого черномазого и живи как следует быть, как допреж того жили, или уезжай отсель подобру-поздорову, Христом-богом прошу тебя, уезжай.

— Но куда я поеду? Да он меня и не пустит, сам знаешь! — ответила Даша, немного смущенная горячими словами Степана.

— Куда? Где вы раньше жили; свет не клином сошелся. Вещицы у вас кое-какие есть, деньжонки — тоже, пока что — проживете, а там и опять где ни на есть да пристроитесь. Жили же вы допреж нас. А что насчет того, что Алексей Сергеевич вас не отпустит, это, точно, ваша правда: коли вы ему вперед скажетесь да собираться станете, то, конечно, не отпустит, про энто и толковать не стоит; а вы тихим манером, раз, два, три — собрались, да и марш, чтобы он и знать не знал, и ведать не ведал, вот это будет резон... Эх, Дарья Семеновна, послушайте меня, жаль мне его, да и вас жаль; смотрите, раз на раз не приходится; хорошо я вчера подвернулся, а в другой раз могу и не быть... А что доиграетесь вы до беды — это как пить дать.

— Небось не доиграюсь. Я теперь осторожней буду,—

промолвила задумчиво Даша.— Однако убирайся, ты мне надоел.

— Так, стало, вы не поедете?

— Отвяжись! Сейчас, конечно, не поеду, а там видно будет; ну, отчаливай! брысь!

Степан махнул рукой и вышел, с досадой хлопнув дверью. Часа через полтора Даша собралась на прогулку. Сегодня она оделась еще наряднее и кокетливее, чем вчера. Она долго вертелась перед зеркалом, поправляя на себе то тут, то там, прикалывая цветок или бантик. На крыльце ей встретился Степан. Он зорким, подозрительным взглядом окинул ее с головы до ног.

— Дарья Семеновна, вы опять туда? — произнес он упавшим голосом.— Ай, не ходите; чует мое сердце недоброе; останьтесь лучше; хоть сегодня-то повремените...

На этот раз Даша не нашла нужным сдерживать себя:

— Молчать! — крикнула она, гневно сверкнув глазами.— Это что за новости? Мало того, что тот пучеглазый каждый день меня пилит да ноет надо мною, да еще и ты выдумал учить! Что я вам за девчонка далась? Вот на зло же уйду, и, когда он приедет, так и скажи: ушла, мол, в Хмурово, к Чишкядзе, и раньше-де ночи не будет, а может, и заночует там,— так и скажи, черт бы вас тут всех позадавил!

И, гневно повернувшись к нему спиной, она быстро пошла по узенькой тропинке по направлению к Хмурову. Степан догнал ее и схватил за руку.

— Дарья Семеновна, голубушка, вернитесь. Ну, прошу вас, как бога прошу, вернитесь...— заговорил он, удерживая ее.

Но Даша грубо оттолкнула его руку и молча прошла мимо.

— Ну, Дарья Семеновна, придет время — спокаетесь, да поздно! — крикнул ей вслед Степан, но она даже и головы не повернула, и шла себе вперед легкою, грациозною походкой.

Степан постоял несколько минут на одном месте, плюнул и побрел назад.

Деревня Хмурово, где расположен был 2-й эскадрон и где жил Чишкядзе, отстояла от Малинового верстах в двух. Но если идти не по шоссейной дороге, а повернуть тотчас же за церковью налево, под косогор, и идти чуть заметною тропинкой, прихотливо извивавшеюся между полями ржи и

пересекавшею посередине речку, круто загибавшуюся в этом месте, то расстояние выигрывалось более чем вдвое. С одной стороны тропинки, почти до самого Хмурова, тянулась роща, с другой — шли бесконечные поля ржи, усыпанные васильками. Дарья Семеновна шла, прикрываясь зонтиком, и по временам, грациозно нагибаясь, срывала цветы и составляла букет. Никогда она не чувствовала себя так хорошо и спокойно, как сегодня, несмотря на вчерашнее происшествие и на сегодняшнее предостережение Степана. Она думала только о себе и о своих удовольствиях, до окружающих же ее ей не было никакого дела. Она ни на минуту не задавала себе труда вникнуть в их положения и чувства.

Было уже 9 часов вечера, когда Алексей Сергеевич вернулся из города. Сегодня он был особенно расстроен. Причиной того был нечаянно подслушанный им разговор двух вольноопределяющихся. Произошло это так. Алексей Сергеевич сидел в маленькой комнатке штаба полка, проверяя отчеты; в смежной канцелярской двое писарей занимались переписыванием бумаг. В это время в канцелярию вошли двое вольноопределяющихся: один из них только что вернулся из отпуска и явился предъявить свой билет, другой, встретившись с приехавшим на вокзале, увязался за ним и таскался с ним по городу с самого утра. Пока старший писарь вписывал и делал должные пометки, молодые люди развалились на диване и, с выражением юношеской важности, продолжали прерванную беседу. Один рассказывал другому подробности кутежа, бывшего дня за два перед этим в квартире Чишкядзе. В этот самый день как раз Алексей Сергеевич принужден был ночевать в городе и почти двое суток не был дома. Сначала он не обратил внимания на болтовню обоих юношей, но услышанное им несколько раз имя Даши заставило его невольно прислушаться. Кровь бросилась ему в голову, когда он понял наконец, о чем идет речь. Вольноопределяющийся с веселым смехом рассказывал такие подробности, что у Ястребова в глазах потемнело. Из этого рассказа он узнал, что Даша не одного Чишкядзе дарит своим вниманием и что добиться ее благосклонности — дело не особенно трудное; что в тот злополучный вечер она была в таком положении, что ее чуть не на руках снесли домой. Алексей Сергеевич вспомнил, что, вер-

нувшись на другой день к вечеру, он действительно застал Дашу в постели с сильной головною болью, больную и утомленную; но как далек был он тогда от подозрения об истинной причине ее нездоровья! С краской стыда и негодования вспомнил он, как весь вечер и следующий день с особенною заботливостью ухаживал за ней, предлагал пригласить доктора... О, дурак, дурак! И Степан ему ничего не сказал! Неужели и он на ее стороне и дурачит его вместе с этой бессовестной женщиной?.. Нет, никогда! Не обманывает он его, а жалеет, не хочет вконец разбить его сердце!..

Вольноопределяющиеся ушли... Алексей Сергеевич сидел, широко раскрыв глаза, то бледнея, то краснея, с сильно бьющимся сердцем. Голова его кружилась, он тяжело дышал... В первую минуту он хотел все бросить и немедленно скакать в Малиновое, но тотчас же оставил эту мысль. «К чему? — горько улыбнулся он.— Теперь все равно ничем не поможешь и ничего не поправишь!» И он остался в городе и продолжал свое дело. Он писал, считал, делал сметы, а сердце его все ныло и ныло невыносимою, безысходною тоской. По-видимому, он был совершенно спокоен: он словно застыл и замер весь, только там, где-то, в груди, глубоко-глубоко, словно червь копошился и неустанно точил и сосал его душу. По мере того как уходил день и надвигался вечер, тоска его становилась все сильнее и сильнее; наконец он не выдержал, запер все дела в большой кованый сундук и поехал домой. Всю дорогу Алексей Сергеевич то шпорил своего Сокола, и тот бешено мчал его по мягкой, пыльной дороге, то удерживал и нарочно замедлял его ход, даже слезал, останавливаясь, стараясь продлить время. Никогда не случалось Соколу переносить такой утомительной езды. Он горячился, фыркал, взвивался на дыбы, разбрасывая изо рта на землю и грудь клочья густой пены, он был весь в мыле.

— Где Дарья Семеновна? — спросил Ястребов вышедшего ему навстречу Степана.

Тот сделал вид, что не слыхал вопроса, и поспешно повел Сокола на двор.

— Эх, коня-то упарил! — ворчал он.— Стоит! Нечего сказать!

Алексей Сергеевич растерянно глядел ему вослед, но вопроса своего не повторил. Угрюмое лицо Степана, мрач-

ный, досадливый взгляд, брошенный им исподлобья, были красноречивее всяких слов.

Алексей Сергеевич почувствовал, как сердце его упало. Всю дорогу он почему-то больше всего боялся не застать Дашу дома, и хотя был почти уверен, что она ушла, но все надеялся, успокаивал себя...

Глухая, холодная злоба закипела в нем сразу, заглушив все остальные чувства; он молча прошел в свою комнату, подошел к постели, снял со стены револьвер и пристально осмотрел его, затем выдвинул ящик письменного стола, достал коробку с патронами, не торопясь зарядил револьвер на все шесть зарядов и сунул его в карман. На пороге его встретил Степан. Он все время стоял за дверью и зорко следил за барином. По выражению бледного, словно окаменевшего лица Ястребова, по холодному стальному блеску его глаз Степан понял, что дело серьезно; сердце его болезненно, испуганно сжалось.

— Ваше благородие, отец родной, Алексей Сергеевич, Христос с вами, куда это вы? Не губите себя, батюшка; ну ее к ляду, не стоит она того, чтобы вы на душу свою грех брали... Выгоните ее, собачью дочь, вон, чтобы и духу ее не было, а зачем же себя губить.

Алексей Сергеевич пристально взглянул на него.

— А зачем ты мне, Степан, не сказал, что у вас тут было третьего дня?

Степан смущенно потупился.

— Да что говорить-то! И без того не сладко... Эх, Алексей Сергеевич, не слушались вы меня тогда... Ну, да что уж толковать! Прошло, не вернешь! А хоть вы теперь-то послушайтесь, не ходите, останьтесь, аль поезжайте в город обратно, а завтра справим ее в Москву аль там куда, и делу конец... Право — ну!

Теплые, полные сердечного участия слова Степана до глубины сердца растрогали Ястребова.

— Не могу, пойми ты это, не могу я отпустить ее! — воскликнул он страстным, надрывающимся голосом.— Сердце мое все изноет, сам на себя руки наложу. Ведь люблю я ее, больше всего на свете люблю... и люблю, и ненавижу. Ты хороший, добрый человек,— продолжал он бессвязно,— но ты не понимаешь и не можешь понять, что можно ненавидеть и обожать в одно и то же время; что легче убить, чем расстаться... Или себя, или ее, но так жить нельзя,

лучше каторга, лучше смерть, чем такая жизнь. Я с ума схожу, я чувствую, что я все равно если не убью ее, то убью себя, да это так и будет... Нет больше моих сил выносить эту пытку!

И, оттолкнув Степана, пытавшегося загородить ему дорогу, Ястребов поспешно сбежал с крыльца и быстрыми шагами пошел к Хмурову тою же дорогой, которою утром шла Даша. Алексей Сергеевич знал, что больше ей негде быть.

— Эх, загубили вы себя, Алексей Сергеевич, вконец загубили! — всплеснул руками Степан, когда Ястребов скрылся за церковью.

Он несколько минут стоял, беспомощно озираясь вокруг. Вдруг светлая мысль мелькнула в его голове. «Ладно же,— воскликнул он,— как-никак, а не допущу я тебя до эфтого!» И, не долго думая, Степан бегом пустился тоже в Хмурово, но только другою дорогой; мысль его была — во что бы то ни стало прийти раньше Алексея Сергеевича и не дать ему встретиться с Дашей. Правда, путь, по которому ему пришлось теперь бежать, был значительно длиннее того, которым шел Алексей Сергеевич, но Степан надеялся, что ему удастся опередить его, и бежал что было духу.

Между тем Алексей Сергеевич, пройдя почти половину пути, вдруг почувствовал сильное утомление, голова его закружилась; целый день страшного напряжения дал-таки себя знать; он присел на лежавшее у тропинки сваленное дерево и глубоко задумался. Ему ясно стала представляться безобразная картина, которая разыграется, если он неожиданно появится в квартире юнкера,— шум, гвалт, суматоха, подвыпившая компания, Чишкядзе и между ними... она... потом... его схватят, пожалуй, еще вязать вздумают... бррр... какая мерзость! И чем больше он думал, тем яснее зрело решение не идти дальше, и он остался на том же месте, жадно впивая в себя ночной воздух.

Ночь была лунная, светлая; ветерок изредка пробегал, чуть-чуть шелестя ветвями и травой. Мало-помалу в душе Ястребова злоба уступила место безысходной тоске. Куда уйти от себя? Куда деваться? Но домой он идти не мог, там все терзает. Одиночество душило его, ему неудержимо захотелось быть на людях, поболтать хоть с кем-нибудь. И с этой мыслью свернул он с тропинки и другой дорогой вошел в село. В конце улицы, перед большой новою избой

старосты, он заметил густую толпу, и до слуха его донеслись звуки музыки и громкие голоса. «Что бы это такое было?» — подумал Ястребов и направился к старостиной избе. В открытые настежь окна и дверь он увидел белые кителя собравшихся офицеров, оттуда неслись веселые возгласы и смех; на крыльцо то и дело выбегали денщики с посудой и пустыми бутылками; несколько человек музыкантов, с красными вспотевшими лицами, с посоловевшими от щедрого угощения глазами, играли, не переводя дух, марши. Масса ребятишек и баб теснились, окружая кольцом музыкантов, и, не спуская глаз, сосредоточенно глазели им в самый рот. Маленькая, лохматенькая собачонка тут же неподалеку немилосердно завывала, вытягиваясь и запрокидывая назад голову; камень, ловко пущенный ей в бок, прекратил на половине ее вокальные упражнения. Собачонка взвизгнула, огрызнулась на камень и, поджав хвост, вприпрыжку юркнула в одну из подворотен.

— Что у вас тут такое? — спросил Ястребов у одного из глазевших на избу солдат.

— А это, ваше благородие, его благородие капитан Саблин именины справляет! — отрапортовал солдат, почтительно вытягиваясь.

Алексей Сергеевич только тут вспомнил, что в этой избе живет полковой адъютант Саблин, который еще за неделю вперед звал его к себе на пирог. Алексей Сергеевич несказанно обрадовался возможности провести ночь в шумной и веселой компании и немедленно вошел на крыльцо. Приход его был встречен громкими и веселыми криками; многие поспешили к нему с распростертыми объятиями и бокалами в руках.

— А, отшельник! Добро пожаловать! Что так поздно? А мы уже и ждать перестали! — кричали ему со всех сторон.

— Селифан, шампанского! Живо, ррракалия! — крикнул Саблин, крепко пожимая руку гостя и усаживая его на диван.

Как уже было сказано, Ястребов, несмотря на то что редко появлялся в обществе своих товарищей, был всеми любим, и приход его истинно обрадовал не только самого хозяина, но и всех его гостей. Все наперерыв принялись угощать и потчевать его, а более подгулявшие и вследствие этого более добродушные — начали целоваться.

Алексей Сергеевич, обыкновенно очень воздержанный, на этот раз пил, не отставая от других; ему очень хотелось поскорее захмелеть; но как ни старался он, а захмелеть не мог.

— Что это с Ястребовым? — сказал поручик Носов на ухо своему соседу, тучному подполковнику Софронову.

— А что? — спросил тот, оборачиваясь и оглядывая Алексея Сергеевича с таким выражением, как будто рассчитывал увидеть что-нибудь сверхъестественное.

— Посмотри, какой он сегодня странный: на вопросы не отвечает, задумывается, то смеется ни с того ни с сего, то хмурится. Я его таким еще ни разу не видал.

— Так что-нибудь; может быть, с Дашей своей опять не поладил; они, говорят, живут как кошка с собакой.

— Да, это правда; впрочем, я тогда же это предсказывал: очень уже они не пара между собой: один в монахи глядит, а другая...

Он не успел окончить фразы, ибо в эту минуту кто-то подошел к подполковнику и увлек его в другой конец комнаты, а Носов подсел к Ястребову.

— Что это с вами сегодня, капитан, вы как будто чем-то расстроены?

— Нет, ничего, это вам так кажется,— улыбнулся Ястребов и тотчас же постарался переменить разговор.

Мало-помалу он заставил себя разговориться, но вдруг, во время самой оживленной болтовни, замолчал и задумчиво уставился на поручика.

— Послушайте, Носов,— спросил он его,— что, если бы любимая вами женщина стала открыто развратничать со всеми, вы бы ее убили?

Не ожидавший подобного вопроса, поручик не на шутку опешил и с изумлением взглянул на своего странного собеседника.

— Как бы вам сказать... это зависит от многих обстоятельств, а главным образом — от состояния духа, в котором я находился бы в ту минуту...

— Да, вы правы, состояние духа — главное! — словно про себя прошептал Ястребов.

Носов мельком покосился на него.

— Впрочем,— продолжал поручик, преднамеренно принимая шутливый вид,— я не думаю, чтобы был в состоянии убить, прибить — это другое дело,— рассмеялся он,— но

убить — это уж слишком страшно и, главное, романично; я не верю в подобные убийства.

Ястребов загадочно улыбнулся.

— Это доказывает только то, что вы никогда настоящим образом не любили! — произнес он убежденно.

Носов еще раз подозрительно взглянул на него. «Тут что-то неладно», — подумал он и под предлогом, что его зовут, оставил Ястребова, однако о разговоре с ним счел нужным пока никому не говорить.

XV

Тем временем, как Ястребов сидел у Саблина, Степан, не переводя дух, изо всех сил бежал в Хмурово. Мысль, что Даша может встретиться на дороге с Ястребовым и между ними может произойти что-либо печальное, не давала ему покоя и понуждала его бежать, забывая усталость. Когда, по его соображению, он должен был уже обогнать Алексея Сергеевича, Степан свернул с дороги и межами стал пробираться на тропинку, по которой должна была возвращаться Даша. Сердце солдата сильно билось, дыхание с трудом вырывалось из груди, пот градом обливал его лицо, а он все бежал и бежал, зорко вглядываясь в светлую мглу весенней, ясной ночи. Он ни о чем не думал в настоящую минуту, не создал никакого плана; единственной его заботой было — во что бы то ни стало предупредить встречу Даши с Алексеем Сергеевичем. Он уже подходил к Хмурову, как на опушке рощицы показалась знакомая фигура Даши. Она шла быстро по дорожке; слегка развившиеся волосы ее чуть шевелились, волнуемые легким дуновением ветра; лучи месяца освещали ее стройную фигуру, и, окруженная этими лучами, она казалась еще тоньше, еще грациознее.

— Степан, это ты? — крикнула она издали немного оробевшим, неуверенным голосом.

Степан подошел к ней.

— Ну, слава богу, что встретил я вас! — еле проговорил он, с трудом переводя дыхание.— Идемте скорей домой, да только не этой дорогой, а шоссеем.

— А что? зачем? — спросила Даша.

— Алексей Сергеевич приехал, узнал, что вас нет, и

пошел за вами. Беда, коли бы вы да встретились! Никогда я его не видывал таким,— знать, в городе что случилось,— а только сильно осатанел он; вы сегодня ему лучше на глаза не попадайтесь, убьет, пожалуй: у него и револьвер с собой; да идите вы, ради бога, скорее; он должен скоро прийти сюда; я уже его другим путем обогнал...

Даша струсила.

— Я лучше назад пойду,— заговорила она, готовая бежать обратно в Хмурово.

— Избави вас создатель! Да если он вас там найдет — и не приведи бог, что будет; нет, уж лучше идемте скорей домой; ночь-то вы пока переночуйте у батюшки — там у него маленькая горенка свободная есть,— а утром видно будет, може, уговорим как-нибудь, да у него и у самого за ночь сердце отойдет.

Даша подумала и согласилась. Свернув с тропинки, они торопливо пошли целиком по полю ржи, осторожно и зорко оглядываясь. Через четверть часа ходьбы они достигли наконец столбовой дороги. Оба свободно вздохнули. Тут только заметил Степан, что Даша сильно хмельна. Она шла неровной, заплетающейся походкой, голова ее то и дело никла на грудь, дорогой молдаванский костюм был измят, и от него пахло вином. Степан вдруг почувствовал непреодолимое отвращение к этой женщине. Мысль, в первый раз родившаяся у него сегодня утром, когда он старался уговорить ее остаться дома, и смутно раза два промелькнувшая в его мозгу в то время, когда он бежал в Хмурово, вдруг с новой силой и ясностью встала перед ним. Он невольно оглянулся: дорога была пустынна, кругом на далекое пространство не видно было ни души человеческой, ни жилья, не слышно было ни звука. Странным, нехорошим взглядом посмотрел Степан на идущую впереди его Дашу. Она шла, слегка наклонив голову; белая, полная шея ее с закинутой, по обыкновению, на грудь тяжелой косой и с вырезанным сзади воротом, как алебастровая, блестела в бледном сиянии луны. Легкий запах вина неприятно отдавался в воздухе, полном ночного аромата. Степана, вообще не переносившего запах вина, на этот раз как-то особенно сильно мутило от этого запаха, и, под влиянием его, чувство злобы и презрения все сильнее и сильнее овладевало им и наполняло его существо.

«Эх, кончил бы разом — и вся недолга; пришибить тебя, как суку, да и бросить в канаву»,— подумал он, с ненавистью оглядывая ее измятый, кое-как надетый костюм. «Ни совести в тебе, ни чести, хуже всякой твари!» — продолжал он, и вспомнилось ему, как еще утром он уговаривал ее, вспомнились ее последние слова, наглые угрозы остаться ночевать в Хмурове. «Небось своего не уступила»,— проворчал он и с омерзением сплюнул. А тут, словно назло, живо выплывает в его воображении бледное, страшное, искаженное невыразимым страданием и тоскою лицо Ястребова, слышится его глухой, истомленный голос, и все сильнее и сильнее закипает сердце у Степана. «Эх,— продолжал развивать он свою мысль,— и его бы ослобонил! Ну, поскучал бы малость,— конечно, не без того,— а там бы и забыл; хуже, как он сам ее ухлопает,— а это беспременно так и будет,— и ступай тогда на каторгу... Из-за такой, прости господи, падали погибнет человек... Выручить, что ли, тебя, Алексей Сергеевич, из беды-неволи?..» И Степан чувствовал, как словно какая-то невидимая сила против его воли толкает его руку; голова его слегка кружится, туман застилает глаза, а в сердце все растет и растет странное ощущение чего-то жгучего, томительного, точно струи холодной, как лед, воды скользят по его спине и по всем членам; и кажется Степану, что это не он идет, а кто-то другой, что этот другой, а не он, осторожно наклоняется и подымает с земли большой, острый осколок булыжника... и вдруг, как молния, в голове его проносится картина его спора с Ястребовым, накануне переезда к ним Даши, отчетливо ясно вспоминаются ему все подробности этого разговора и, наконец, памятный удар... Воспоминание этого удара так живо, что Степану кажется, что он вновь ощущает боль... Страшная злоба охватила все его существо. «И все из-за этой проклятой, все из-за нее»,— мелькает у него в голове, и он судорожно, до боли, сжимает очутившийся в его руке камень, а несносный запах вина, как назло, чувствуется все сильнее и сильнее. Тошнит, мутит Степана от этого запаха, голова его кружится... кружится... бессознательно подымает он свою, вооруженную камнем руку высоко над головой Даши... миг... раздается глухой удар, и вслед за ним пронзительный, испуганный крик.

— Коль марать кому об тебя руки, подлая, так уж пущай я, а не Алексей Сергеевич! — прохрипел Степан,

далеко отбрасывая камень, и, как железными тисками, сдавил горло девушки своими заскорузлыми, мозолистыми, окровавленными пальцами . . . .
. . . .

В эту самую минуту Ястребов, сидя у Саблина, задавал Носову свой странный вопрос, так удививший поручика.

XVI

Чуть-чуть зарумянился восток; быстро прошла короткая весенняя ночь; звезды потухли одна за другой; просыпающиеся птички веселым щебетанием приветствовали приближающееся утро. По большой дороге широкими шагами продвигались два молодых крестьянина, земляки из смежного уезда и односельцы, Иван и Трифон. Оба были по ремеслу плотники и спешили теперь в город на заработки. Они шли молча, изредка перекидываясь коротенькими фразами. По их тяжелой походке, по истомленным лицам можно было заключить, что они порядком-таки устали. Действительно, оба приятеля шли трое суток; последние сутки почти вовсе не отдыхали, торопясь попасть в город к началу базарного дня.

— А что,— произнес Иван, высокий, белокурый парень, с широким, добродушным лицом,— я, чай, теперича недалече.

— Не,— отвечал спутник, низкорослый, худощавый брюнет,— всего верст с тридцать осталось.

— К полудню, чай, придем? Ась?

— Надо бы дойтить!

И оба замолчали.

— А и тянет же анафемский! — проворчал Трифон, перебрасывая с одного плеча на другое свой тяжелый мешок с инструментами и провизией.

— Тяжело? — отозвался белокурый Иван, добродушно поглядывая на своего товарища.

— А то не? Известно, тяжело!

— Ах ты, мухортик,— усмехнулся тот и, как перышко, встряхнул одной рукой свой тяжелый, чуть не вдвое больший мешок,— у меня во — какой,— продолжал он,— а и то не жалюсь.

— Да тебе што: ты и быка сволокешь, не ахти как умаешься! — огрызнулся Трифон.

Иван весело рассмеялся.

— А тебе и овцу не снести! — воскликнул он и дружески хлопнул Трифона по плечу, да так, что тот закачался.

— А ну тя в болото, леший! — выругался тот.— Чуть с ног не сбил, ведьмедь сиволапый!

— Ну, ладно, не серчай, Триша. Вот ужо в городе отдохнем: сходим в трактирчик, чайком побалуемся, а то и сиволдая хватим мало-маленько,— всю усталь как рукой снимет. Так-то, друг любезный; а пока, делать нечего, расправляй ходуны-то, небось не отвалятся?

Оба прибавили шагу.

— Это что там такое? — воскликнул Трифон и пальцем указал товарищу на что-то белое, лежавшее на краю дороги.

— А никак баба лежит! — невозмутимо ответил Иван, пристально вглядевшись в странный предмет, обративший внимание его товарища.

Оба подошли ближе, но, взглянувши, невольно со страхом попятились назад, осеняя себя крестным знамением. Поперек дороги, запрокинув голову, лежала молодая женщина; выражение испуга и страдания застыло в ее лице; тусклые глаза ее были широко раскрыты, немного выше виска зияла глубокая рана; щеки, лоб и длинные, растрепавшиеся волосы были залиты запекшейся кровью; под головой кровь уже застыла и образовала чернеющую лужу.

Первым движением обоих приятелей было бежать без оглядки от этого страшного места, но любопытство взяло верх над страхом, они осторожно наклонились и принялись разглядывать труп.

— Гляди-тка, Иван, каки часы! — произнес брюнет, осторожно вытаскивая за тонкую цепочку из-за борта платья миниатюрные золотые часики, усыпанные мелкими бриллиантиками, составлявшими хитро сплетенную монограмму.— И цепочка, глянь-ка, какая, ровно ниточка! Должно, тоже золотая...

— Обнаковенное дело,— авторитетно заметил другой, разглядывая цепочку.— Вестимо золотая, не медная ж; а ты вот куда глянь-ка, перстенечки-то какие! Вот бы моей Аксюшке!..

— Кто про что, а ён все только о бабах,— укоризненно

заметил Трифон, продолжая разглядывать убитую.— Смотри-ка, Иван, вот штучка-то важнецкая!

И он пальцем дотронулся до нагой, полной руки девушки, на которой сиял широкий, массивный золотой браслет с каменьями, и другой — серебряный, змейкой.

— Ну, уха! — заметил белокурый, почесывая затылок.— Как же нам таперича быть?

И он вопросительно взглянул на товарища.

— Как быть? Никак — идтить дальше, да и вся тут, не ночевать же здесь!

— Оно, вестимо дело, не ночевать, я не про то говорю! — раздумчиво заметил Иван.

— А про что? — спросил товарищ, отлично догадавшийся, к чему клонит тот речь, но не хотевший первый выразить пришедшую им обоим мысль.

— Я про то,— мялся Иван,— что как нам таперича быть? Ведь все едино, не мы — так другие... Все равно пропадом пропадут... А ведь тут, почитай, рублев на сотню будет.

— Эх, хватил на сотню,— часы с цепочкой одни, почитай, сотню-то стоят, а бруслет, а перстеньки... тут, брат, мало-мало сотни на две добра, а ты говоришь — сотня.

— Ишь ты, оказия какая! Так, стало быть, как же?

— А так же, обирай клад, благо бог послал на нашу бедность, да и при дальше; опосля как-нибудь сбудем! — решительно сказал Трифон.

— А коли попадемся? — боязливо заметил Иван.

— Ну, так што ж! Ведь не мы убивали, даже и грабежа тут нет никакого; с живого снять — это точно, что воровство, а ведь тут все едино, что на дороге нашли. Не мы, так другие...

— Вестимо, на шоссе не оставят.

И, не рассуждая больше, оба приятеля поспешно принялись снимать с убитой ее золотые украшения.

Сняли часы с цепочкой, отстегнули кое-как, после долгих хлопот, браслеты, стащили кольца, попробовали было вынуть и сережки, но голова и уши были слишком окровавлены, они и бросили... Пошарили в карманах; в одном нашли портмоне с мелочью и с какими-то клочками исписанных бумажек, в другом — тонкий носовой платок, с завязанным на нем на память узелком.

Занятые своим делом, оба парня не обратили внимания

на то, что вдали, сзади них, показалась чья-то фигура и, заметив их, остановилась, начала пристально вглядываться, потом вдруг, словно испуганный заяц, проворно соскочила в канаву и, осторожно пригибаясь, торопливо пошла назад к Хмурову. Пройдя канавой саженей двадцать, фигура снова выскочила на дорогу и во весь дух пустилась бежать, изредка оглядываясь, словно спасаясь от погони. Между тем парни, завязав все вещи убитой в вынутый платок, поспешно удалялись от рокового места, рассуждая о том, где бы и как всего лучше сбыть такую богатую находку, посланную им столь неожиданно. Они уж успели отойти версты четыре, как вдруг услыхали за собою топот нескольких скачущих лошадей; они оглянулись и при неясном свете восходящего солнца увидали толпу всадников, мчавшихся во весь дух. Инстинктивный страх овладел душой парней, и они, не отдавая себе отчета, словно по команде, пустились бежать в разные стороны, но было уже поздно. Они, в свою очередь, были замечены всадниками, которые оказались хмуровскими крестьянами, и через несколько минут без труда догнали и окружили их...

— Стой! Держи! — загремел голос рослого урядника, скакавшего впереди. Несколько мужиков торопливо спешились с запыхавшихся лошадей и ухватили растерявшихся парней.

— Что вы за люди? — грозно допрашивал урядник, наезжая на них вплотную.

Окончательно перетрусившие приятели забормотали что-то, вовсе не подходящее к делу.

— Обыскать! — скомандовал урядник.

Парней обшарили и за пазухой одного из них нашли запачканный кровью батистовый платок с какими-то вещами; платок развязали, и глазам урядника представились золотые часы, браслет, кольца...

— А, так вот вы что за соколы! Вяжи их, ребята!

Парней связали. Они были так ошеломлены и перепуганы, что даже и не думали оправдываться! Их с трудом втащили на лошадей, и вся кавалькада, немилосердно подскакивая на острых, неоседланных хребтах тощих кляч и размахивая локтями, затрусила в обратный путь в Хмурово. Проезжая мимо того места, где лежала Даша, приятели заметили подле трупа двух дюжих крестьян с дубинами — караульщиков, приставленных к «телу» распорядительным

урядником; тут же неподалеку бродили их спутанные кони...

Через полчаса весь отряд, предводительствуемый урядником, не без торжества въехал в околицу деревни Хмурово; там уже все было известно и царил полный переполох. Сдав пленников с рук на руки старосте и грозно объявив ему, что он отвечает за них своей головой, урядник, не теряя ни минуты, помчался в стан[10].

XVII

Под утро возвратился Алексей Сергеевич от Саблина. Хмель наконец одолел его, и он с трудом добрался до своей постели. Степан встретил его и помог ему раздеться.

— Дарья Семеновна пришла? — спросил Ястребов.

Не будь Алексей Сергеевич так хмелен, он, наверно, заметил бы, как при этом вопросе побледнел и изменился в лице Степан и с каким трудом еле-еле прошептал:

— Нет еще!

И тотчас же, собрав его одежду, поспешил выйти из комнаты.

Громкий голос Саблина и еще какого-то офицера разбудил Ястребова. Он открыл глаза; солнце уже высоко стояло в небе; было часов 9 утра.

— Вставайте, вставайте! — тормошил Алексея Сергеевича Саблин.— Беда случилась, несчастие...

— Что такое? — недоумевал Ястребов, протирая глаза.

— Дарью Семеновну убили и ограбили, на дороге нашли.

Ястребов вскочил как ужаленный и с ужасом вперил глаза в офицеров. Казалось, он не понимал, что они говорят...

— Не может быть! — вырвалось у него невольно.

— Едемте скорее,— сами увидите, у нас и лошади на дворе,— торопил его Саблин.

Алексей Сергеевич машинально схватил одежду и начал торопливо одеваться. Неожиданное известие ошеломило его, и он находился в состоянии какого-то умственного столбняка. Не отдавая себе отчета, как автомат, вышел он

на крыльцо, вскочил на первую попавшуюся лошадь и поскакал, сопровождаемый офицерами.

— Как же это так, как же это так! — бессознательно шептал он, тупо глядя перед собой.

Порой ему казалось, что он спит и видит все это во сне; он силился проснуться, особенно внимательно вглядывался в окружающие предметы, а в то же время бессознательно шпорил и шпорил своего коня.

Еще издали заметили они большую толпу народа посреди шоссе, тут были и мужики, и бабы, и ребятишки, сбежавшиеся из обоих сел, и солдаты, и несколько человек офицеров обоих эскадронов.

Подскакав к толпе, приехавшие торопливо спрыгнули с коней, которых тут же подхватили под уздцы десятки услужливых рук; толпа почтительно расступилась, и глазам Алексея Сергеевича представился труп Даши, уже начинающий слегка разлагаться под влиянием воздуха и теплоты. Лицо ее сильно пожелтело, щеки и глаза ввалились, губы почернели, растрепанные волосы, обильно смоченные запекшеюся кровью, беспорядочными космами рассыпались по песку дороги и, казалось, прилипли к нему; сбоку головы чернелся зияющий пролом.

Ястребов подошел к трупу и уставился в него бессмысленным, смутным взглядом. Казалось, он не узнавал и не понимал, кто лежит перед ним; он несколько минут молча, с выражением тупого внимания разглядывал столь знакомые черты... Вдруг мускулы на лице его дрогнули, словно трепет пробежал по нем, глаза оживились, и в них мелькнуло какое-то странное выражение, он поднял голову, дико, страшно оглядел лица, устремленные на него с выражением нетерпеливого ожидания и соболезнования, и с глухим стоном тяжело опустился на колена, припав к трупу, словно силясь заслонить его от всей этой праздно-любопытной толпы.

В ответ на этот отчаянно-болезненный, надрывающий душу стон из груди присутствующих невольно вырвался не то стон, не то крик; несколько солдат бросились к штабс-капитану и подхватили его под руки,— он был без памяти, лицо его было сине, как у мертвеца, глаза закатились, сквозь судорожно сжатые зубы со свистом вырывалось хриплое дыхание.

Целый месяц Ястребов был опасно болен, и Степан не отходил от него, хотя и сам он почти обессилел от невыносимого душевного страдания.

Наконец Алексей Сергеевич встал с постели, но это был уже не прежний Ястребов, даже не тот, которого мы видели недавно возвращающимся из города,— это бы старик, почти совсем седой, сгорбившийся, с глубоко провалившимися глазами, с худым, желтым лицом, с застывшим выражением безысходной, тупой тоски.

Первым делом, как только силы позволили ему встать, он, вопреки настоянию доктора, еще совершенно слабый, побрел пошатывающейся походкой на кладбище. Даша была похоронена около самой церкви. Простой, кое-как сколоченный крестик, временно поставленный на ее могилу, уже успел наклониться на один бок. Алексей Сергеевич поправил его и тяжело опустился подле на могилу. Он сидел, склонив голову, глубоко задумавшись. Кругом его царила невозмутимая тишина, только какая-то птичка весело чиликала и щебетала, беззаботно перепархивая с одного почерневшего креста на другой. Алексей Сергеевич сидел так тихо и неподвижно, что она смело приближалась к нему; наконец он ее заметил: красногрудая, с хохолком на голове; а она стала до такой степени смела, что даже взлетела на вершину Дашиного креста, около самой головы Ястребова, чиликнула, потрясла хвостиком, повертела головкой и, еще раз прощебетав что-то, проворно нырнула в глубокую синеву безоблачного неба. Наступила ночь. Алексей Сергеевич по-прежнему сидел на одном месте, глаза его были сухи, но на сердце было так невыносимо тяжело, что по временам ему казалось, вот-вот оно разорвется в груди. С этого дня он почти все время проводил на могиле Даши, приходя домой на час, на два и затем снова возвращаясь. По его приказанию вокруг могилы поставили загородку и усыпали внутри мелким песком. Из города привезли цветов, и Ястребов собственноручно рассадил их так, что они кругом закрыли могилу. Недели через две из Москвы, по заказу Алексея Сергеевича, прислан был небольшой памятник, состоявший из гранитной скалы и белого мраморного креста; ни на кресте, ни на скале не было никакой надписи; только в середине креста был вделан небольшой образок Марии Магдалины. Имени умершей не было вырезано. Когда кто-то спросил об этом, Ястребов ответил:

— Зачем имя на кресте для тех, кто ее не знал? А я его и без напоминаний до конца жизни не забуду!

XVIII

Был конец июля. Эскадроны давно уж снялись с квартир и стояли лагерем в другой губернии. Алексею Сергеевичу дали отпуск, никто его не тревожил, и он жил все в том же домике старика священника со своим Степаном. Уход за могилой, хлопоты по установке памятника были единственными его развлечениями, они сокращали ему день, вливали хоть какой-нибудь интерес в его одинокую, однообразную жизнь.

Степан молча наблюдал за своим барином, и словно черная туча налегла на него и придавила его. Тоска невыносимая, безысходная обуяла Степаном; он не знал, куда от нее уйти, сразу поняв, что вся жизнь его, как и жизнь Алексея Сергеевича, загублена, разбита в прах. Он не ожидал такого страшного потрясения и только теперь убедился, как дорога, как горячо любима была Дарья Семеновна Ястребовым; он видел, что горе Алексея Сергеевича таково, что его не избыть и не изжить, сколько бы он ни жил.

— Ах, бог ты мой милостивый! — метался он в припадке полного отчаяния.— Для чего это я сделал, и как это случилось? Думал, лучше будет, ан вон что вышло! И зачем это, для чего?!

Ужас, охвативший его впервые в ту минуту, когда он почувствовал, как перестала трепетать и биться его жертва, все усиливался и усиливался и принял невероятные размеры. Он дрожал как в лихорадке и то и дело пугливо оглядывался, каждый малейший шорох, неожиданно обращенное к нему слово — заставляли его обливаться холодным потом. Ни на минуту не мог он забыться: происшествие роковой ночи с изумительной ясностью, до мельчайших подробностей, врезалось в его память и, если можно так выразиться, отлилось в неизменную, незыблемую форму. Казалось, что ощущения, пережитые им в ту ночь, так и застыли в нем, подобно тому как расплавленный металл застывает в форме.

Он до сих пор еще чувствовал, как под его горячими пальцами вдруг быстро стало холодеть горло Даши, как холод этот вдруг проник во все его члены и, казалось, мгно-

венно оледенил его кровь; он с содроганием разжал свои, судорожно впившиеся в шею Даши, пальцы; труп медленно запрокинулся и с легким стуком упал на жесткий грунт шоссе; руки его широко раскинулись... Не помня себя от ужаса, Степан наклонился над Дашей и провел по ее лицу своей ладонью; лицо было холодно. В эту минуту он почувствовал что-то теплое, змейками сбегавшее к нему под рукав, он поднял руку — она была вся красная; густые капли крови медленно капали с пальцев... Страшный, панический ужас вдруг охватил его всего, он дико вскрикнул и, как безумный, ничего не видя, не замечая, помчался обратно в Малиновое. Ему чудилось, что кто-то догоняет его и кличет по имени, и он бежал, бежал, затыкая уши, зажмуривая глаза, бежал до тех пор, пока, в полном изнеможении, как мертвый, не повалился, наконец, на сено в своем сарае, подле смирно жевавшего Сокола. С этого мгновенья его уж ни на минуту не покидал этот невыразимо глубокий, мистический ужас. Стоило ему только закрыть глаза — и перед ним тотчас же с изумительной ясностью вырисовывалось во мраке бледное, искаженное лицо Даши с вытаращенными, налившимися кровью глазами; ему ясно слышалось ее предсмертное хрипение.

— О, боже мой, зачем, зачем я это сделал? Как решился я на такое дело?

А мысли ползут и ползут, одна сменяя другую... Припоминается Степану, какая она была всегда с ним ласковая, как еще недавно весело, беззаботно раздавалось ее пение,— «словно малиновка!» Вспомнились Степану и те шесть рубах, что подарила она ему при самом начале их знакомства; одна из этих рубах и в настоящую минуту на нем; а та, что была в крови и которую он тогда же сжег, была тоже из тех, самая его любимая, по розовому полю маленькие-маленькие синие цветочки... И чувствует Степан, как чья-то холодная, могучая рука сдавливает его сердце... А тут, к тому же, постоянно преследует его бледное, угрюмое лицо Алексея Сергеевича, раздается его глухой, душу надрывающий кашель. Окончательно извелся Степан; бродит как тень; ни сон, ни еда не идут ему на ум. Старается забыться, заснуть,— но сон бежит от его глаз, а если и случается наконец, что, утомленный, измученный, он заснет на несколько минут, то и тут страшные грезы не дают ему покоя, и он снова просыпается, дрожа и обливаясь холодным потом. Особенно

памятен был один сон: приснилось ему, что Даша жива и опять с ними, словно бы ничего и не бывало; она сидит на диване, в руках у нее гитара, и она весело и звонко распевает недавно выученную солдатскую песенку; Алексей Сергеевич, такой веселый, приветливый, тут же сидит в своем бухарском халате, курит из длинного чубука и, ласково подмигивая, спрашивает Степана:

— А, каково, братец мой, поет-то?

И так все это живо приснилось, что Степан и сам своему сну поверил и хорошо, привольно стало у него на душе, широкая улыбка расползлась по его скуластому лицу, он проснулся, глубоко вздохнул... и уже снова было закрыл глаза, как вдруг страшная действительность беспощадно ворвалась в его сладкое сновидение, развеяла его грезы и насмешливо глянула ему в очи... Он вскочил, дико окинул взглядом свою крохотную комнатку и с глухим стоном схватился за голову...

— Боже мой, боже мой, что я наделал! — простонал он и ничком упал в подушку.

А следствие меж тем шло своим чередом. Напрасно арестованные крестьяне клялись, что они не виноваты в убийстве,— им никто не верил. Улики были налицо и очевидны.

XIX

Месяц спустя в квартире полкового командира собрался небольшой кружок офицеров. Полк только что возвратился из лагерного сбора и снова расположился по зимним квартирам в окрестностях города Z. Штаб по-прежнему находился в городе, а эскадроны были разбросаны по деревням и селам. В Малиновом опять стоял первый эскадрон. Тут же находилась и квартира полкового командира. Полковник, высокий полный мужчина с умным, выразительным лицом и широкой бородой с проседью, был любимцем всего полка. Он был тип тех полковых командиров, о которых говорится в одной из солдатских песен:

«Наш полковник молодец —
Не начальник, а отец!»

Он был большой хлебосол, и не проходило дня, чтобы к нему не собирались кое-кто из офицеров в картишки перекинуться, поболтать, выпить и закусить.

На этот раз у него собралось, по обыкновению, человек пять. Темой разговора было — назначенное к слушанию в окружном суде дело об убийстве Даши. Споры были оживленные; только один поручик Носов, бывший тут же, хранил упорное молчание, внимательно прислушиваясь к словам других. На него убийство Даши произвело особенно сильное впечатление. Он никак не мог забыть загадочных слов Ястребова, вырвавшихся у него на пирушке у Саблина. Носов еще никому об этом не говорил, но тем более тревожился в глубине души. Невольное подозрение закралось к нему, и напрасно старался он прогнать его,— оно держалось упорно. Носов был один из тех офицеров, для которых честь полка была дороже всего, и его чрезвычайно мучило опасение, что, может быть, в настоящую минуту вместе с ним носит одну и ту же форму убийца.

— Да поймите, господа,— в сотый раз говорил полковой командир,— не может этого быть, физически не может.

— Да почему вы это так думаете? — горячился Саблин.— Псаломщик уверяет, что сам он видел, как они душили ее, и даже слышал, как она крикнула; признайтесь, это показание, во всяком случае, заслуживающее внимания.

— Врет ваш псаломщик, ничего он не видал, а тем паче не слыхал! — безапелляционно отрезал полковник.

— Да почему, почему? — снова наскочил на него Саблин.— С чего это у вас, полковник, такая уверенность?

— Спросите майора, он вам скажет; ему на своем веку сколько уж военно-судебных следствий пришлось вести, а вот и он то же говорит, что и я.

— Тут и спорить не о чем! — отозвался майор Смелов, добродушно улыбаясь.— Вы еще, господа, сравнительно юноши, вот вам и кажется, если, мол, очевидно, то и бесспорно, а на деле-то другой раз очевидное далеко не бесспорным оказывается. Вы спрашиваете, отчего мы с полковником не хотим в крестьянах признать убийц, и удивляетесь нашей якобы слепоте, а по нашему-то стариковскому суждению, слепотствующими-то выходим не мы, а вы. Извольте рассудить: начнем сначала. Псаломщик говорит, что это он сам видел, как они душили Дарью Семеновну, но при этом (прошу заметить в скобках) псаломщик был силь-

но выпивши и шел из Хмурова к себе в Малиново с крестин, по собственному сознанию, «зело хвативши»...

— Это не доказательство несправедливости его показаний! — заметил Саблин.

— Пусть так, я на этот факт особенно не упираю, а привожу его между прочим. Итак, он видел, как они душили, даже слышал ее крик и тотчас же побежал назад, дать знать... По расчету времени, урядник прибыл на место преступления, самое позднее, через пол... ну, много — три четверти часа. Для такого короткого времени труп должен быть еще довольно тепел, мягок и кровотечение еще не могло остановиться совсем, а по словам урядника и всех бывших с ним крестьян, труп был уже совершенно холодный и окоченелый, кровь запеклась,— словом, в таком виде, в каком он мог находиться два часа спустя по убийстве, а то, пожалуй, и больше. Как же сопоставить теперь показание псаломщика, что он слышал крики Даши? Не ясно ли, что ему спьяна и страха это почудилось?

Майор на минуту остановился, как бы желая дать присутствующим вполне понять и оценить приведенный им аргумент.

— Но я не на одном этом основываю мою уверенность в невинности арестованных,— продолжал он,— хотя и этот факт, по-моему, вполне достаточен для их оправдания. Есть и другие. Оба парня люди еще совсем молодые,— я их обоих видел, с обоими говорил,— оба они, особенно белокурый, полный такой, очевидно, люди недалекого ума, весьма добродушные и бесхитростные, а между тем если предположить, что они убийцы, то они окажутся замечательно выдержанными, утонченными злодеями. В самом деле, вот уже $2^1/_2$ месяца, как их каждый день допрашивают и вытягивают из них душу на разные лады, а между тем они ни разу не сбились ни в чем, ни в одной малости не изменили своих показаний: и вместе, и порознь рассказывают все случившееся совершенно одинаково. Одно из двух: или это баснословно гениальные люди, опытные разбойники, или действительно люди, непричастные к убийству. По справкам, наведенным о них, оказалось, что они оба очень хорошие, работящие, смирные люди, ни разу во всю жизнь не замешанные ни в одном бесчестном деле: следовательно, приходится отбросить первое предположение и признать их если и виновными, то только в ограблении убитой, в чем

они и сами не запираются. По-моему, все это весьма просто и логично. Идут два парня, натыкаются на труп. Сначала пугаются и хотят бежать, потом, подстрекаемые любопытством, начинают осматривать его и тут замечают на нем несколько дорогих вещиц. Теперь они уже начинают смотреть на труп как на что-то вроде клада, посланного им чуть ли не самим богом на их бедность. С одной стороны, соблазн легкой наживы, с другой — твердое убеждение, что если не они, так другой воспользуется этими вещами,— понуждают их обобрать убитую, что они и делают. При всем этом, как еще новое доказательство их невинности, является и то обстоятельство, что они оставляют труп лежать посреди дороги, где он мог быть немедленно замечен, и продолжают свой путь тою же открытою дорогой. Согласитесь сами, что убийцы постарались бы, во-первых, скрыть тело своей жертвы, хотя бы сбросив его в канаву, где оно все же менее заметно, чем на шоссе, и наверно, предпочли бы более укромную тропинку столбовой дороге. Говорят, что руки убийц были в крови. Но что же из этого? Следы крови на их пальцах были очень незначительны; у настоящего же убийцы руки должны быть испачканы гораздо больше, чему служит доказательством найденный неподалеку камень, которым, по всей вероятности, было произведено убийство и который был весь, что называется, облит кровью; кровь эта должна была, в свою очередь, измазать ладони убийцы. А что они у него действительно были сильно окровавлены — можно заключить по оставшимся кровавым следам пальцев на горле жертвы; у крестьян же ладони рук были совершенно чисты, кровавые пятнышки оказались только на кончиках пальцев и произошли, по их объяснению (чему я очень охотно верю), оттого, что они пытались вынуть сережки из ушей покойницы, но не вынули, побрезгав кровью, обильно смочившей лицо и уши убитой. Ну-с, господа,— закончил майор свою речь,— я думаю, что теперь вы и сами должны убедиться, что мы с полковником правы, утверждая, что убийцы — не крестьяне?

— Да, это так! — задумчиво заметил Саблин.— Но если не они, так кто же?

— А, вот в том-то и дело, надо настоящего убийцу искать, а они там привязались к этим дурням и мытарят их. Оно, конечно, удобнее: убийцу-то надо еще разыскивать, а эти хотя и не убийцы, да зато под руками.

Поболтав еще немного, офицеры разошлись, кроме поручика Носова.

— Послушайте, полковник,— начал он, когда они остались вдвоем,— я хочу поговорить с вами или, лучше сказать, сообщить вам одно обстоятельство. Надеюсь, что вы не подумаете, что мною руководит желание злословить или сплетничать, если я решаюсь рассказать вам то, что вот уже два месяца я, так сказать, ношу в себе и если об этом до сих пор не пробалтывался, то единственно только потому, что тут, так сказать, идет вопрос о чести всего нашего полка.

— Ого, молодой человек! — улыбнулся полковник.— Что за таинственное вступление! Вы меня очень интересуете...

Носов подробно рассказал полковнику странное поведение Ястребова на пирушке у Саблина в ночь убийства Даши и его нелепый тогдашний разговор. Полковник нахмурился, глубокая складка легла у него на лбу, и он начал тихо гладить усы, что обозначало в нем сильное беспокойство. Наклонив слегка свою коротко остриженную седую голову, он, казалось, вдумывался в каждое слово поручика.

— Н-да! — произнес он.— Это все очень важно, но не с той стороны, с которой вы, может быть, предполагаете. Я так же свято, как в том, что на небе есть бог, уверен и в том, что Ястребов ни сном ни духом не виноват в этом убийстве и даже меньше нас всех предполагает, кто истинный виновник его несчастия. Я видел Ястребова у трупа Даши и положительно убежден, что для него ее смерть была такою же неожиданностью, как и для всех. Я не хочу сказать, чтобы он не был способен на убийство,— убить может всякий, смотря при каких обстоятельствах и в силу каких побуждений,— но так мастерски притворяться,— нет, это не в его характере... Я знаю штабс-капитана более 15 лет: это — идеал правдивого, благородного человека, но слова ваши наводят меня или, лучше сказать, подтверждают еще ранее родившуюся во мне мысль.

— Какую?

— Извините, рискуя заслужить с вашей стороны упрек в недоверчивости и, пожалуй, в неделикатности, я пока скрою от вас мои предположения. Они еще во мне самом так слабы,— и скорее инстинктивно гадательны, чем положительны,— что мне не хотелось бы говорить о них, пока

сам себе их не уясню в достаточной мере. Во всяком случае, будьте уверены, что я с своей стороны весьма ценю ваше доверие ко мне и ваше благородное чувство, но мы, старики, бываем иногда, может быть даже излишне, осторожны и осмотрительны. Что делать, это наш недостаток!

В тот же день полковник послал своего денщика к штабс-капитану Ястребову просить его пожаловать на минуту.

Ястребов не заставил себя ждать и тотчас же явился.

— А, здравствуйте, дорогой мой! — приветствовал его полковник, радушно протягивая ему обе руки.— Боже мой, до чего вы изменились! Как вам не грех убиваться так?! Вы — мужчина, и вдруг такое отчаяние.

Алексей Сергеевич горько улыбнулся:

— Эх, полковник, есть чувства, пред которыми бессильна самая твердая воля.

— Я знаю, ваше горе очень велико, но ведь не вы же один любили и любите. Мало ли есть людей, теряющих тех, кто им дорог, но отчего же никто не предается такому отчаянию?

— Не знаю, не умею вам сказать. Может быть, потому, что у всякого в молодости были хотя бы самые незначащие, легкие увлечения, но которые впоследствии все же таки служили чем-то вроде воды, примешиваемой к вину, расслабляя и обессиливая до некоторой степени настоящее чувство, но я не знал таких увлечений: я почти до сорока лет сохранил все силы моего сердца, и когда полюбил, то полюбил всем моим существом, без раздела. Даша была моя первая и последняя любовь!

Ястребов говорил тихим, но глубоко-прочувствованным голосом, на ресницах его дрожали слезы.

Полковник был очень расстроен.

— Послушайте,— начал он особенно ласково и задушевно,— оставимте этот вопрос, он для вас, я замечаю, особенно тягостен; я приглашал вас, чтобы поговорить об одном весьма интересующем меня вопросе. Скажите, пожалуйста, кто, по-вашему, убийца? Ведь арестованные сознались только в одном — в ограблении, факт же убийства отрицают самым энергическим образом. И с вашего позволения, я в свою очередь в этом случае принимаю их сторону. По-моему, они не убийцы, а только дураки, неумело воспользовавшиеся убийством и попавшие как куры во щи.

И полковник подробно сообщил Ястребову свой взгляд и все доводы, на основании которых он считал крестьян вовсе непричастными к убийству.

— Убийца на воле,— продолжал он,— и, очень может быть, гораздо ближе, чем многие это думают.

При этих словах полковник особенно пристально и зорко взглянул на Ястребова.

— Я вас не понимаю, полковник: если не они, то кто же и кому могло быть нужно это убийство? Я, признаться, не особенно-то вникал до сих пор в суть дела, а теперь не могу не сознаться, что вы правы.

— Надо вам сказать, что и следователь теперь начинает убеждаться в их невиновности, но держит их пока до открытия настоящего виновника.

Сказав это, полковник опять пытливо уставился в лицо Ястребова. На этот раз Алексей Сергеевич заметил его взгляд и горько усмехнулся.

— Хотите, полковник, я скажу, о чем вы сейчас думаете?

— Говорите, но я вперед уверен, что вы не угадаете.

— В настоящую минуту вы думаете, не я ли убил Дашу?

— Вот и не угадали! Как раз ошиблись! Я ни на минуту не подозревал и не подозреваю вас, хотя должен сказать вам, что против вас есть много улик, и настолько веских, что узнай об них судебный следователь, он, со свойственной ему рьяностью и бестолковостью, пожалуй, распорядился бы арестовать вас.

Ястребов побледнел.

— Какие же такие могут быть против меня улики? — произнес он, впиваясь глазами в лицо полковника.

— Их несколько,— хладнокровно возразил полковник,— во-первых, в минуту убийства вас не было дома и вас видели идущим по дороге в Хмурово; во-вторых, припомните ваше странное поведене у Саблина, ваше лихорадочное волнение, ваши загадочные слова, которые вы говорили при этом поручику Носову; в-третьих, скажите, пожалуйста, если мы исключим покушение на ограбление, то кому могла быть нужна смерть Дарьи Семеновны? К довершению всего, я знаю, что вы не далее, как накануне, при драгуне Агееве чуть не убили ее.

— Я вижу,— саркастически усмехнулся Ястребов,— что сведения ваши были довольно обширны, но все же не

полны. Вы, кажется, не знаете главного. Как вы думаете, для чего я шел в Хмурово?

— Например?

— Ни больше ни меньше как для того, чтобы встретить Дарью Семеновну и убить ее.

— Как так? — изумился полковник.

— Очень просто. Придя домой, я не застал ее, и, подозревая, что она пошла в одно место, я, под влиянием ревности, схватил револьвер и пошел в Хмурово с желанием убить ее. Встреться она мне тогда — я наверно привел бы свою мысль в исполнение, но по дороге раздумал и повернул назад... Впрочем, вы, полковник, кажется, не верите, что мы не встретились,— нахмурился он вдруг.— В таком случае, можете арестовать меня.

— Господин штабс-капитан, я сам знаю, что делать,— сухо заметил полковник, задетый слегка недоверчивостью Ястребова.— Говорю вам, если бы я хотя на минуту усомнился в вашей невинности — я бы не поцеремонился арестовать вас, но я головой ручаюсь, что вы тут ни при чем, иначе не стал бы я с вами так откровенничать; но ваш последний рассказ еще более усилил подозрение, пришедшее мне в голову, как только я вник в это дело.

— Какое же? Если не я и не мужики, то кто же?

— Есть еще один человек...— задумчиво протянул полковник и вдруг неожиданно спросил: — Скажите, капитан, не замечали ли вы какой-нибудь перемены за последнее время в вашем денщике, в Степане?

— Что вы хотите сказать этим? — вспыхнул Ястребов.— Уж не подозреваете ли вы и его?

— Что ж, ваш Степан святой, что ли? И почему он должен находиться вне всяких подозрений? — уклончиво заметил полковник.

— Если это так, господин полковник,— разгорячился вдруг Ястребов,— если вы серьезно подозреваете его, то, простите меня, это такой абсурд, так ни с чем не сообразно, что я только удивляюсь, как вы, человек такой умный и рассудительный, могли додуматься до таких пустяков! Я еще понимаю, можно подозревать меня,— я, по крайней мере, лицо заинтересованное, я даже покушался раз на ее жизнь,— но Степан... с какой стати! Не дальше, как накануне, он сам подставил за нее свою грудь и спас ее от моего кинжала, рискуя собою. Вы не знаете этого человека — это

олицетворение честности, великодушия и доброты; он щенка не ударит, а не только что человека; да, наконец, и причины нет. С Дашей у них никогда никаких ссор не было; она относилась к нему лучше даже моего. Я решительно не понимаю, с чего это вам вздумалось. Или вы шутите, или... я уж и не знаю что?! Если вы имеете причины подозревать меня, то арестовывайте, но взваливать на человека, вполне невинного, такие небылицы — это даже и невеликодушно, чтобы не сказать больше!

Ястребов не на шутку обиделся и, не слушая опровержений и доводов полковника, сухо распростился и ушел крайне раздраженный.

XX

— Следователи! — ворчал он, возвращаясь домой.— Право, следователи! И все это ради того только, чтобы своим остроумием щегольнуть. «Глядите, мол, какие мы остроумцы, да проницательные, насквозь все и всех видим!» Шуты гороховые!

Он был сильно не в духе.

— Знаешь, Степан,— начал Ястребов поздно вечером, укладываясь спать, помогавшему ему раздеваться денщику,— полковник что выдумал — будто ты убил Дашу! Я даже с ним побранился! И взбредет же такая ерунда в башку.

Степан вздрогнул и затрясся всем телом. Он хотел что-то сказать, но пересохший язык словно прилип к гортани.

— Не знают они, Степан, тебя, вот что! — продолжал между тем Ястребов, не подозревая, какими ударами острого ножа отзываются слова его в сердце Степана.— А кабы знали тебя так, как я знаю,— небось не говорили бы такой чепухи. Ну, и отбрил же я его. «Мой Степан, полковник, сказал я ему, если бы мне пришлось головой своей отвечать за Степана — я бы не задумался ни на минуту... Это не человек... а...» Что это с тобой, Степан? — вскинул он вдруг на него свои глаза.— На тебе лица нет!

Действительно, лицо Степана было страшно. Похудевшее до невероятности, оно сделалось вдруг словно земляное; ввалившиеся глаза беспокойно блуждали, и в них отражался такой ужас, такое страдание, что Ястребов невольно отшатнулся.

— Степан, что с тобой? — повторил он.— Ты совсем болен.

— Ничего...— глухо произнес Степан и опустил глаза.— Ваше благородие, а ваше благородие,— с трудом начал он после минутного молчания,— а что с «этими-то», как будет, скоро их выпустят?

— Кого? — не понял Ястребов.

— А тех-то, что тогда арестовали...

— С чего ты взял, что их выпустят! Их будут судить.

— Судить?! А потом? — поспешно спросил Степан.

— А потом, если им не удастся доказать свою невинность, их сошлют на каторгу.

— На каторгу! — воскликнул Степан.— Да они ж не виноваты!

— Я и сам так думаю,— задумчиво произнес Ястребов, не замечая странного тона Степана,— но против них очень много улик, и, пожалуй, их и взаправду засудят.

Степан как-то торопливо взглянул на Алексея Сергеевича, хотел что-то сказать, но удержался и, захватив мундир и сапоги, тихо вышел из комнаты.

Наступила ночь. В доме священника было тихо, как в могиле, но ни Алексей Сергеевич, ни Степан не спали: каждый из них томился под гнетом своих дум и печалей.

Душевные страдания Степана дошли до того предела, за которым жизнь становится невозможной... Надо было, наконец, как-нибудь кончить. Он уже несколько раз порывался открыться Ястребову, а за ним и всем в своем поступке, но до сих пор никак не мог решиться. Его удерживал от этого не страх перед судом и наказанием,— о, нет! напротив, он теперь был бы рад самому строгому, беспощадному возмездию, оно сняло бы с него часть невыносимого гнета, тяготевшего на его душе, наказание облегчило бы его,— но если он до сих пор молчал, то причиной этого была боязнь другого рода: он видел, как доверчиво, как ласково, по-дружески относился к нему Ястребов, как далек был он от мысли подозревать его, и вдруг такое страшное разочарование! Его единственный друг, его слуга, которого он любил почти столько же, как и Дашу, и который, в свою очередь, обожал его больше всего на свете, оказывается его лютым врагом, источником всех его несчастий. Степан инстинктивно понимал, что, потеряв Дашу, Ястребов еще сильнее привязался к нему, к единственному теперь близкому ему

человеку, и что потерять еще и его — будет для Алексея Сергеевича невыносимо тяжело.

— Ах, попутало меня! — в сотый раз твердил Степан, сидя на своей постели и безнадежно покачивая головой.— И к чему я вмешался промеж них? Что я за судья им дался? Эх, кабы меня не дернуло, может быть, все как-нибудь и обошлось бы. Может, она угомонилась бы, а может, и сами разъехались бы подобру-поздорову. А теперь что? И ее загубил, и его, и себя — всех порешил. А тут еще и те-то двое сидят теперь, горемычные, ни в чем не повинные, в остроге, да на злодея своего, из-за которого занапрасну страдают, богу жалятся!

Не в силах больше выносить нахлынувшего на него со всех сторон отчаяния, Степан вскочил и схватился за ручку двери, чтобы идти и немедленно во всем покаяться Алексею Сергеевичу.

— Ну, как я скажу ему? Как язык мой повернется? — мелькнула у него тоскливая мысль.— Десятки лет честно... беспорочно... и вдруг... убивец...

Он невольно зажмурил глаза и опустил руку. . . . . . .

. . . .

Была уже глухая ночь, но Алексей Сергеевич все еще не спал. С самой смерти Даши сон почти оставил его, он только дремал и то часа два-три во всю ночь, не больше; остальное время он обыкновенно лежал, облокотясь на руку и пристально устремив глаза в одну точку.

Несколько дней тому назад ему вдруг пришло желание — идти в монастырь. Мысль о самоубийстве являлась к нему раньше, но он, как человек глубоко религиозный, тотчас же отверг ее, зато идея поступить в монахи — сразу нашла в нем почву, и он серьезно стал развивать и обсуждать ее. Он так увлекся этим, что иногда ему казалось, что фантазия перешла уже в действительность. Уединенная, одинокая келья, отчуждение от всего остального мира, новая неведомая жизнь, исполненная самосозерцания, манили и тянули его с неудержимой силой. И для кого ему жить? Ни родных, ни близких — никого, никого в целом свете. Никто его не любит, никому он не нужен, и он, в свою очередь, ни к кому особенного расположения не питает, разве только к Степану. Но Степан — человек вольный, хоть завтра же может выйти в отставку и ехать с ним. А больше — никого... Была одна...

Мысль же, что он может снова полюбить и бысть счастливым,— даже и не приходила ему в голову. Он чувствовал, что жизнь его разбита, кончена. Со смертью Даши словно порвались все нити, связывающие его с миром. Он уже был не живой человек, а полутруп, разбитый челн, выброшенный после крушения на песчаный берег; мимо него с шумом и грохотом мчались волны, но никогда не достигнуть им до него, и ему никогда уж больше не носиться по их пенящимся хребтам...

Дверь тихонько скрипнула, и на пороге показалась высокая, ярко освещенная луной фигура Степана. Осторожно крадучись, подошел он к постели Ястребова и остановился.

— Что тебе, Степан? — спросил Алексей Сергеевич, подымаясь на локте и не без удивления глядя на своего денщика.

Степан вздрогнул; казалось, он предполагал застать Алексея Сергеевича спящим. Он с минуту постоял неподвижно и вдруг молча, медленно опустился на колена перед кроватью. Пораженный его странным поведением, Алексей Сергеевич сел на постели, не спуская с него глаз.

— Ваше благородие, простите, коли можете! Видит бог, не со зла это сделал, вам же хотел лучше, а ничто такое...— заговорил он глухим, надсаженным голосом.

— Да в чем прощать-то? Что с тобой, Степанушка? — прошептал Ястребов, а сам почувствовал, как упало его сердце от какого-то темного, грозного предчувствия.

— Мой грех, я убил Дарью Семеновну! — простонал Степан.

Как громом пораженный сидел Ястребов, не спуская глаз с склоненной к его ногам головы Степана.

— Как же это так? Быть этого не может?! — бормотал Ястребов, сам не понимая, что говорит, и чувствуя, как в нем словно что-то обрывается с нетерпимой болью.

Степан медленно, тихим, глухим голосом, но последовательно и толково, шаг за шагом передал все случившееся. Ястребов слушал и ушам своим не верил. Порой ему казалось, что он сидит и видит все это во сне, и он невольно принимался ощупывать себя. Но нет, все это было наяву.

— Этого только недоставало! — застонал он вдруг и с глухим рыданием упал на подушки.

Но Степан молчал и стоял, не подымаясь с колен, низко опустив голову. Вдруг Алексей Сергеевич поднялся и,

схватив его за плечи, зашептал страстным, прерывающимся голосом:

— Голубчик, Степан, слушай... молчи, молчи... никому... ни гугу, ни слова... никто не узнает, никто... никто не слыхал, даже я не слыхал... Ради бога, молчи... пусть это все умрет меж нами... понял... пусть умрет и забудется... Я верю, верю тебе, верю, что ты не из злого умысла сделал... Верю, это уж так, видно, господу богу было угодно... но только ты молчи... Боже мой, что я буду без тебя делать?! Ты один у меня, голубчик, дорогой мой, один, один на всем свете... Я не хочу, я не могу расстаться с тобой!

Он был точно в бреду.

Словно ножом полоснуло по сердцу Степана; он не ожидал этого: вместо брани, проклятий, угроз — слова любви и прощения! Он не выдержал и зарыдал.

— Батюшка, отец родной, и ты не клянешь меня, окаянного,— рыдал он, страстно припадая к обнаженным костлявым ногам Ястребова, осыпая их горячими поцелуями и обливая слезами.— Ты меня же, Каина, убивца подлого, жалеешь?

Алексей Сергеевич судорожно схватил и стиснул его голову своими руками и снова торопливо зашептал, низко наклонясь над ним:

— Никто не узнает, никто не догадается, уедешь скорее отсюда, я в монастырь пойду, и ты ступай. Бог милостив,— он простит, мы оба будем молиться... В этом году тебе идти в запас, до тех пор возьми отпуск, и сейчас же поедем, только — молчи...

Степан вдруг поднял голову.

— А те? — спросил он глубоко проникнутым голосом.— За что же они-то, неповинные, из-за меня, окаянного, страдать будут? Нет, Алексей Сергеевич, так негоже: умел грех великий на душу принять, надо его и искупать. Сейчас же иду к полковому командиру и объявлюсь ему. Мне самому легче будет... Нет, не удерживайте меня, Алексей Сергеевич. Я уж и тем облегчение и великое утешение получил, что ты, мой батюшка, мой голубь сизокрылый, солнышко мое ясное, меня, злодея лютого, ворогом своим не почитаешь, дай тебе боже за это счастия и в этой, и в будущей жизни. А теперь прости, пора!

По мере того как он говорил, голос его становился все тверже и под конец зазвучал неподдельным пафосом.

— Прости.— И он снова поклонился Ястребову в ноги.

Алексей Сергеевич встал с постели, крепко обнял его и припал к его жесткой, омоченной слезами щеке.

— Делай как знаешь,— произнес он тихо,— но помни, что бы с тобой ни было, я никогда не буду считать тебя преступником, и для меня ты останешься по-прежнему все тем же, что и был...

Степан поднялся с колен и, пошатываясь, вышел из комнаты...

Эпилог

Был пятый час ночи, но у полковника еще не спали. Несколько человек из старших офицеров, собравшись к нему по обыкновению, с увлечением «винтили».

Полковник очень удивился, когда доложили ему о приходе денщика Ястребова.

— Что ему там надо? — спросил он, недовольный тем, что его отрывают от карт.

— Говорит, что ваше высокоблагородие повидать хочет, по наиважнейшему делу!

Полковник поморщился, однако отложил карты и вышел в переднюю.

— Что тебе, Морозов? — спросил он у вытянувшегося перед ним Степана.

— Ваше высокоблагородие, прикажите арестовать меня, я убил Дарью Семеновну!

Хотя полковник и сам, не дальше, как утром, еще подозревал Степана, но тем не менее это неожиданное признание поразило старика: Степан пользовался долгое время крайне хорошей репутацией и всеобщим доверием.

— А ты не врешь? — спросил полковник, пристально вглядываясь в его лицо.

— Кабы — да врал, ваше высокоблагородие! — невольно воскликнул Степан с выражением такой сердечной боли, что полковнику даже стало жалко.

— За что же ты убил ее?

Степан несколько замялся.

— Поругавшись дорогой, я ее в сердцах и ударил, а она побежала его благородию пожалиться; ну, я испугался и добил!

Полковник сомнительно покачал головой, но ничего не сказал и, повернувшись, пошел назад в комнаты.

— Господа,— обратился он громко к присутствующим,— я не ошибся: не мужики убили Дарью Семеновну; настоящий убийца нашелся и сам явился с повинной...

— Кто же это? — разом вскрикнули все.

— Степан Морозов, денщик штабс-капитана Ястребова. Он у меня в настоящую минуту находится в передней. Говорит, что убил, поссорившись на дороге; да мне сдается, это он врет. Причина должна быть гораздо глубже и серьезнее... Поручик,— обратился он к дежурившему в этот день по полку поручику Носову,— потрудитесь арестовать преступника и посадите его пока в секретную комнату.

Носов вышел исполнять приказание.

Степана судили. На суде он упорно отмалчивался и не проронил ни одного слова в облегчение своего преступления, и его присудили к высшей мере наказания.

Ястребов вскоре после этого вышел из полка и уехал, но куда — этого никто не знает. Он словно в воду канул, и даже слухи о нем не доносились до полка. Через несколько лет говорил кто-то, будто в одном из отдаленнейших монастырей видел старого, совершенно седого, дряхлого монаха, весьма схожего с лицом Алексея Сергеевича, но монах этот казался слишком старым на вид — лет под семьдесят, тогда как Ястребову в то время не должно было быть более пятидесяти.

Могила Даши на деревенском кладбище Малинового вскоре совершенно заросла высокой травой, осыпалась, только мраморный крестик, несколько осевший, стоит по-прежнему и белеется в группе почерневших, кое-как сколоченных крестьянских крестов.

Никто не посещает эту заброшенную могилку, разве старый отец Никодим время от времени прибредет по старой памяти и отслужит панихиду, да деревенские мальчишки прибегут поглядеть на диковинный крестик. Зато птицы не забывают могилы и часто оглашают ее своим веселым щебетаньем, да бабочка иной раз прилетит, сложит крылышки и сидит долго-долго, прилепившись к белому мрамору креста, и как будто отдыхает.

Комары

(Из пограничных воспоминаний)

Медленно гонит многоводный Дунай величавые волны между пустынными берегами двух государств: грозно-могучей России и крошечного королевства Румынского.

Бесконечной полосой тянутся уныло-однообразные плавни[1].

Местами ширина их достигает всего только нескольких сажен, местами они раскидываются на две, на три версты, и по всему этому пространству из конца в конец медленно перекатываются волны колеблемого ветром камыша.

Светло-зеленый и сочный в начале лета, к августу месяцу он достигает вышины всадника на лошади и мало-помалу окрашивается сначала в буровато-желтый, а под конец, к зиме, в ярко-золотистый цвет.

Там, где ранней весной, после разлива, зеленел бархатистый ковер, изрезанный по всем направлениям бесчисленным множеством заливов и озер, больших и малых,— словно волшебством разрастаются непроницаемые, угрюмые чащи, полные таинственного полумрака, среди которых человек непривычный не только может легко заблудиться, но даже погибнуть.

Нестерпимая духота и полусумрак царят в этом заколдованном лабиринте, где нога то и дело проваливается в вязкий грунт, а грудь задыхается от недостатка воздуха. Местами через эти дебри проложены узкие тропинки, представляющие из себя полутемные коридоры, окруженные высокой, колышущейся, глухо шуршащей стеной.

Ни одно живое существо не населяет камышей, даже волки и лисицы редко забегают туда, разве только спасаясь от преследования; но зато комаров там целые тучи. Это одно сплошное комариное царство; причем комары эти совсем не такие, к каким мы привыкли. Они гораздо больше, сильнее, и укус их вызывает мучительный зуд во всем теле. Днем еще есть кое-какая возможность бороться с этими назойливыми насекомыми, но, как только солнце склонится на запад, над плавнями, из густых недр камыша, как черный пар подымаются несметные полчища длинноногих трубачей — и тогда горе тому, кто не успеет вовремя уйти из плавней, будь то человек или даже животное. В одно мгновение ока черная туча кровожадных насекомых облепляет его всего, забивается в уши, нос, глаза, нестерпимо жалит и принуждает к поспешному бегству. С глухим ревом, подняв хвосты и растопырив уши, как безумные выбегают пасущиеся в плавнях коровы; крестьянские лошади, гремя железными цепями, которыми скованы их передние ноги, фыркая и мотая гривой, мчатся сломя голову, точно гонимые волками; испуганные жеребята неуклюжим галопчиком следуют за своими матками.

Бывают случаи, когда, забравшись чересчур далеко в глубь камышей, слишком молодые и слабые животные не выдерживают стремительной и беспощадной комариной атаки и падают от боли на землю. Тогда они погибли. Кружащееся над ними, пока они бегут, комариное облако медленно и плавно спускается, покрывает их толстым слоем жалобно поющих тел и засасывает насмерть.

Человек, имеющий руки для самозащиты и весь покрытый одеждой, конечно, более обеспечен в борьбе с ужасными насекомыми, чем какой-нибудь слабенький двух- или трехнедельный теленок; но и ему подчас плохо приходится от ярых комариных нападок; поэтому немудрено, что с наступлением сумерок в плавнях не остается ни одной живой души. Только одичалые свиньи, покрытые толстой корой ила, не боятся комаров и, чувствуя себя неуязвимыми, спокойно бродят в камышах, питаясь жирными слизняками, которыми кишит илистая земля плавней.

Ночью плавни необитаемы, но днем в их таинственном полусумраке, в самых непроницаемых чащах, иногда можно случайно натолкнуться на какого-нибудь угрюмого оборван-

ца, взлохмаченного, загорелого, с недобрым, мрачно-нахмуренным взглядом дерзко-боязливых глаз.

Как бесприютный волк, бродит он из конца в конец, прокладывая свои собственные тропинки, скрываясь от солнечного света, и только глухой ночью, осторожно покидая камыши, выходит на добычу.

Его добыча — заблудившаяся лошадь, отставшая от стада скотина, плохо оберегаемый заночевавшими в степи чумаками[2] воз.

Время от времени он забирается в ближайшие селения, и тогда горе беспечному крестьянину, у которого нет надежного запора на дверях сарая, конюшни или клетей. Заснувши зажиточным, он проснется полунищим.

Иногда подобные бродяги соединяются в шайку, и тогда их дерзость не знает границ. Кочуя с одного берега на другой, из пределов одного государства в пределы другого, они держат в страхе все окрестное население до тех пор, пока наконец не попадутся в руки русской пограничной стражи, оберегающей неприкосновенность государственной границы.

На несколько месяцев камыши очищаются от беспокойных обитателей, и только одни комары продолжают попрежнему царствовать и наполнять их несметными жалобно-зудящими роями...

Яркий, солнечный, жгуче-знойный июльский день.

Над самым обрывом пограничной реки приютилась небольшая мазанка под камышовой крышей,— сторожка румынского приграничного пикета. Высокий, загорелый, длинноусый драбант[3] в белых лохмотьях и кожаных постолах, в черной высокой барашковой шапке, с задорно воткнутым в нее петушиным пером, в ленивой позе, облокотясь на ружье, задумчиво посматривает на русский берег, где на фоне зеленых кустов едва заметно сереет фигура русского солдата, в накинутой нараспашку шинели, с ружьем на плече.

Другой драбант, такой же загорелый и усатый, в таких же лохмотьях, как и первый, но без оружия, сидит на большом, выдавшемся над водою камне и сосредоточенно удит, держа черной, обожженной солнцем рукой кривое, несуразное и, очевидно, тяжелое удилище. Раскаленное молдаван-

ское солнце горячо заливает своими жгучими лучами холмистую равнину, сплошь покрытую золотистыми стеблями дозревающей кукурузы, за которой на горизонте, в темной зелени густых садов, белеют домики большого селения, с церковью посредине и несколькими ветряными мельницами за околицей. Еще далее, на самом горизонте, как бы отделяя небо от земли, чернеет полоса сплошного леса. Высоко, высоко в безоблачном небе едва заметными для глаза точками реют орлы и ястреба; они то замирают на одном месте, то вдруг начинают бороздить небосклон широкими плавными кругами.

Невозмутимая тишина царит кругом; только изредка огромный сом гулко всплеснет посреди реки, и откуда-нибудь издалека донесется обрывок песни; как стон потревоженной струны, она прозвенит в воздухе и медленно, медленно замрет в широком просторе необозримых полей.

Сидевший неподвижно, как каменное изваяние, драбант вдруг оживился, вытянул шею, прищурился и, сделав неуловимое, ловкое движение рукой, с силой рванул из воды лесу. На мгновенье в воздухе промелькнула сверкнувшая на солнце серебристая чешуя удачно выхваченной из реки рыбы, и почти одновременно с этим чей-то сильный, смеющийся голос громко и весело крикнул:

— Бог в помощь, дядя Танас, лови больше!

Оба драбанта оглянулись. Сзади них, посмеиваясь в длинные пушистые усы и сверкая глазами, стоял молодой цыган, высокого роста и атлетического сложения, одетый в венгерскую, расшитую шнурами куртку, белые шерстяной материи шаровары и черную поярковую шляпу с широкими полями и зеленым шнурком вокруг тульи. Разрез рубахи обнажал могучую, темно-бронзовую, волосатую грудь. В руках цыган вертел толстую узловатую палку с массивной рукояткой из искусно связанных между собой и переплетенных корней.

При виде цыгана смуглые флегматичные лица драбантов озарились широкой и приветливой улыбкой.

— А, это ты, Петро? — в один голос проговорили оба, протягивая цыгану широкие ладони рук.— Откуда бог несет? Давненько не видались мы с тобой. Где ты все это время пропадал?

Цыган беззаботно расхохотался.

— Где? — переспросил он, сверкая зубами и глазами,

как молодой волк.— Далеко, в Букареште, своим телом королевских блох ловил.

— Ну,— добродушно изумились драбанты,— за что же?

— За напраслину,— лукаво поигрывая глазами, отвечал Петро,— за честность мою да за простоту! У нашего комиссара кто-то, лихой человек, лошадь скрал, да, должно быть, как-нибудь упустил. Лошадь вырвалась и побежала по дороге; бежит себе, как раз мне навстречу; а я знал, что это комиссарова лошадь. «Ах,— думаю,— не дай бог пропадет, жаль будет! Поймаю-ка ее лучше да отведу комиссару, он мне спасибо скажет». Подумал я так, да и давай лошадь ловить; ловил, ловил, насилу поймал и, только успел вскочить на нее, чтобы, значит, к комиссару ехать,— глядь, а мне навстречу два, вот таких же, как и вы, достопочтенных драбанта. «Стой,— кричат,— зачем комиссарову лошадь украл?» Удивился: «Помилуйте,— говорю,— и в мыслях ничего подобного не было! Напротив, я эту лошадь сам только что нашел и, так как мне известно, чья она, то я и решил лично отвести ее господину комиссару!» Что ж бы вы думали?! Не поверили, такие уж подозрительные, недоверчивые люди оказались! Схватили, скрутили руки и, как конокрада, в коммуну представили: ну, а там, известное дело, одна резолюция: в тюрьму! Четыре месяца высидел. Вот она, какая правда у людей! Где бы наградить человека за честность да за доброе сердце, его в тюрьму сажают!

Драбанты многозначительно переглянулись между собой, и чуть заметная усмешка шевельнула их длинные, растрепанные усы.

— Да, дядя Петро,— произнес один из них, тот самый, который занимался рыболовством,— на свете мало правды. Кабы ее побольше, воров поуменьшилось бы, и тогда таких честных людей, как ты, в тюрьмы не сажали бы! Это верно!

Цыган не счел нужным возражать на замечание драбанта и, помолчав немного, деловым тоном спросил:

— Ну, что, как на русской стороне?

— Да все то же,— флегматично отвечал драбант с ружьем,— а разве ты опять собираешься на тот берег?

— Надо бы,— в раздумье произнес цыган,— товар отвезти.

— Много?

— Пятнадцать голов.

— Ого,— крякнул драбант,— здорово! Поди, тоже все по дороге найденные? — полюбопытствовал он.

— Всякие есть,— невозмутимым тоном, равнодушно отвечал Петро.

— А оттуда повезешь?

— Не знаю. Если припасено, захвачу. Я, признаться, для того-то и пришел, чтобы съездить на ту сторону, поразузнать. У вас лодка есть?

— Лодка-то есть,— с видимой неохотой отвечал драбант,— да только не знаю, как быть... опасно теперь это стало... на тот берег таскаться.

— Чего опасно? — с неудовольствием воскликнул цыган.— Эх вы королевская рвань*. Усы — посмотреть любо, а душа — плюнуть жалко! Ну, чего ты стонешь, как баба, точно в первый раз мы с тобой видимся?! Скучно даже об одном и том же по сту раз толковать! Если ты хочешь торговаться, то и думать брось: больше того, что раньше платил, гроша не прибавлю, так и знай! Хочешь — ладно, не хочешь — черт с тобой: и без тебя обойдемся!

— Э, мама дракулуй**,— в свою очередь рассердился драбант,— что́ лаешься зря, как куцый пес?! Не торговаться хочу с тобой, а говорю, что теперь против прежнего не в пример опасней стало. Пока ты в тюрьме сидел за найденную лошадь, «там»,— драбант кивнул головой на русский берег,— новые порядки завелись. Солдат нагнали чуть не вдвое больше того, что было раньше, по границе так и шныряют, особенно ночью: того гляди, нарвешься!

— Гм... вот оно что! Ну что ж делать? Будем при новых порядках работать! Не бросать же ремесло,— проговорил цыган,— только, конечно, придется осторожнее быть!

— Про что же я говорю? Про то же! А ты ругаешься! — укорил его драбант.

— Ну, ладно, домуле***, не сердись! Ты знаешь, я человек горячий,— примирительным тоном заговорил цыган, дружески похлопывая драбанта по плечу,— прости, пожалуйста! Вы вот лучше послушайте, какую штуку король наш удрал! Я цыган, а и то бы не придумал, ей-богу!

---

* Презрительная и довольно характерная кличка, даваемая иногда в королевской Румынии солдатам.

** Энергичное молдавское ругательство. В вольном переводе значит: черт побери твоих родителей.

*** господин.

— А что? — разом заинтересовались оба драбанта.— Расскажи, пожалуйста!

— А вот сядемте; я вам все, как на ладоньке, выложу.

Сказав это, Петро опустился на землю, оба драбанта уселись напротив и уставились в его лицо жадно любопытствующим взглядом.

В Румынии, невзирая на крайнюю неразвитость и необразованность народных масс, простонародье не менее интеллигенции помешано на политике, хотя понятие о таковой довольно своеобразно и сводится к передаче из уст в уста бесчисленного множества сплетен про стоящих у власти министров, а главным образом про короля, пользующегося большой, но... довольно «пестрой» популярностью.

Цыган рассказывал о наделавшей в свое время немало шума попытке заключить заем в Австрии, повлекший за собой падение министерства и вызвавшей целый поток язвительной брани по адресу короля. Юмористические журналы наполнены были карикатурами, нередко переходившими всякую меру приличия. По своеобразно понимаемой в Румынии свободе печатного слова, оппозиционная печать поносила своего короля взапуски, не стесняясь в выражениях. Так, например, по поводу того же займа большую популярность стяжала карикатура, изображавшая осла, пожирающего вместо соломы мешки с золотом. Рядом с ослом стоял крестьянин в рубище и с нищенской сумой за плечами. Подпись гласила приблизительно следующее:

Крестьянин: «Святый боже, он пожирает последнее мое достояние! Я уже нищий!»

Осел: «Ничего, я продам тебя Австрии, и мне заплатят несколько гульденов за твою шкуру!»

Вместо морды к шее осла был пририсован портрет...

Долго рассказывал цыган подхваченные им на улицах Букарешта политические новости и сплетни, уснащая свою речь площадною бранью по адресу короля и министров, в ответ на что оба драбанта весело гоготали, прерывая рассказчика поощрительными возгласами.

В то время, когда два охранителя румынской границы так приятно проводили время, по русскому берегу неторопливой, развалистой походкой прохаживался солдат в серой шинели, с ружьем на плече. Внимательным взглядом поглядывал он то вверх, то вниз по реке, зорко и чутко охраняя вверенный ему участок.

В небольшой комнате, чистой, светлой и уютно убранной, как это обыкновенно бывает в избах молдаванских крестьян, у окна, заставленного цветами в разрисованных глиняных горшках, сидела молодая женщина, очень красивая собой. На коленях она держала ситцевую мужскую рубаху, очевидно, только что сшитую, и торопливо приметывала к вороту красные, подделанные под коралл пуговки.

Катрынка — так звали молодую женщину — была родом не из здешних мест, не молдаванка, а царанка[4], чем очень гордилась. Царане вообще красивый народ, но Катрынка и между царанками могла почесться записной красавицей. Лицо у нее было продолговатое, матово-смуглое, с легким, ровным румянцем, большие черные глаза под красиво очерченными дугообразными бровями, густые, пышные волосы, заплетенные в толстую косу, стройный стан и высокая, упругая грудь, туго стянутая корсажем платья национального покроя.

Молодая женщина, очевидно, кого-то поджидала; она то и дело отрывалась от работы и устремляла на дверь взгляд, в котором сквозила досада, нетерпение и затаенная печаль.

Но минуты бежали за минутами; пролетел час. Пуговки были пришиты, рубашка, бережно свернутая, положена на стол, а тот, кому она предназначалась, все не шел. Катрынка опустила праздные руки на колени, потупила голову и задумалась.

Скверно было у нее на сердце, и если она не плакала, то единственно из злобной гордости.

Вдруг за дверью раздался шорох, щелкнула железная скоба, и в комнату, грузно ступая тяжелыми сапогами, вошел рослый солдат, в белой, так называемой гимнастической рубахе, в накинутой на плечи шинели и винтовкой в руках.

Хотя широкое рябоватое лицо солдата само по себе не было красиво, но эта некрасивость вполне выкупалась большими серыми глазами, смотревшими смело и открыто, по-соколиному. Рыжеватые усы, растрепанные по концам, придавали крупным, красиво очерченным губам особенное, характерное выражение затаенной, полупрезрительной насмешки и в то же время несокрушимой энергии. Проходя в дверях, солдат слегка нагнулся, и даже в таком незначительном движении чувствовалась ловкость и сила его крепкого, словно из стали выкованного тела.

Увидя гостя, Катрынка вспыхнула ярким румянцем, торопливо поднялась с табурета, на котором сидела, и с блестящими от радости глазами шагнула было к нему навстречу, но вдруг, словно вспомнив что-то, угрюмо нахмурилась и сердито взглянула в добродушно улыбавшееся лицо солдата.

— А я уже и не ждала тебя, Игнат,— деланно-небрежным тоном произнесла она,— думала, и сегодня не придешь!

— А ты, Катрынка, не серчай загодя,— примирительным тоном сказал солдат, подходя к молодой женщине и беря ее за обе руки,— перво-наперво поцелуемся, а тогда и выкладывай, что тут без меня надумала!

— Ну, вот еще, стану я целовать тебя,— капризно увернулась от объятий Катрынка,— подумаешь, сласть какая! Ты раньше, чем с лапами-то лезть, отвечай, где был! Почему три дня глаз не кажешь? Ждала, ждала и ждать устала...

— Эва, какой вопрос задала, голова каленая! Да что ж я, по-твоему, вольный человек, что́ ли? Ведь на службе, чать, власти-то над собой немного. Не так живи, как хочется, а как начальство велит! Пора бы, кажись, тебе это знать! Не первый день знакомы!

— То-то и штука, что не первый день! — раздражительным тоном заговорила Катрынка.— Ты мне, сокол ясный, зубы-то не заговаривай, не болят они у меня, а к тому делу ты и не знахарь еще. Поди, скажешь, все три дня дома был, на посту? Так, что ли?

— А нешто нет? Вестимо дело, на посту!

— Ой ли? — прищурив свои красивые, негодующие глаза, покачала головой Катрынка.— Припомни-ка, может, и еще где был, не только на посту!

— Разумеется, не только на посту. На границу ходил, в секрет, раз на соседний пост пошту свез, да обходом вчера посылали...

— А больше нигде, припомни-ка? — допытывалась молодая женщина.

— Как будто бы и нигде, не помнится что-то!

— Память коротка! Отшибло! Ишь, бедненький! Может быть, прикажешь за тебя припомнить? Изволь, припомню! Катрынка повысила голос и вызывающе надвинулась плечом на солдата:

— Отвечай, кто вчера утром в Нурешти ходил? А? Ну,

что ж примолк, бесстыжие твои глаза! Думаешь, не узнаю? Ан, вот и узнала! Перерядился парубком, шапку нахлобучил и идет, как кот за мышами, думает: никто не признает! Ишь ты, какой умный! Другие-то, может быть, и впрямь не признали, а я, как глянула, так сразу же и узнала. Думала тут же плюнуть тебе в рожу, да так уж, базара подымать не захотела; пускай, думаю, идет, черт с ним!

— И хорошо сделала, что шкандалить не стала, большой бы ты тем вред причинила мне! — спокойным тоном произнес солдат.— Видишь, Катрынка, что я тебе скажу: ты, хоша баба умная, слов нет, а все же всех делов наших не знаешь...

— Еще бы! — насмешливо сверкнула глазами Катрынка.— Где уж знать! Только, сдается мне, все эти дела одинаковы, что́ со мной, Катрынкой Долбан, что с Маринкой Петраш! Все мы дуры, а вы псы окаянные! Вот, что я тебе скажу, Игнат Ильич!

Игнат весело и добродушно расхохотался:

— Ну, и дура же ты, Катрынка, как погляжу я на тебя, дура заправская!

— А разве ж нет? — запальчиво вскрикнула молодая женщина.— Разумеется, дура! Без тебя это знаю. Дура, что связала свою голову, поверила тебе, обманщику. Лгал ты мне, бессовестный, смущал: «Окончу службу, женюсь, дай срок!» Не твои это слова были? Ворог ты мой, постылый!

Она готова была заплакать, но крепилась, сколько могла.

— Да нешто я отказываюсь? — все тем же спокойным тоном возразил Игнат.— Ведь служба моя еще не окончилась. О чем же скулишь раньше времени? Коли ежели тебе обещал жениться, то, стало быть, и женюсь. У меня слово твердо, брехать по-зряшнему не буду!

Его рассудительный тон и ласковый взгляд, которым он как бы окутывал молодую женщину, немного успокоили ее, и она уже менее раздражительным голосом спросила:

— А Маринка Петраш?

— Что Маринка Петраш? Маринка как Маринка, какое мне до нее дело?! Если ты и видела, что я к Петрашам в избу ходил, то вот те Христос, о Маринке у меня и в уме ничего не было, а ходил я к ее отцу, Мафтею! Хошь верь, хошь нет.

— А ты не врешь? — все еще сомневаясь, но уже дру-

тим, ласковым и вкрадчивым тоном спросила Катрынка, заглядывая в глаза Игнату.

— Пошто мне врать? Стало быть, не вру!

— А бог тебя знает! Впрочем, послушай ты вот что: ежели действительно ты меня любишь и жалеешь, не хочешь, чтобы я мучилась разными думками, то скажи мне Христом-богом, зачем ты к Мафтею ходил, да еще переряженный! Скажи, милый, хороший!

Катрынка закинула обе руки за шею Игната и крепко прижалась к нему, ласково и просительно заглядывая в глаза. Игнат слегка поморщился.

— Не след, Катрынка, говорить-то! — слегка взволнованным голосом сказал он, заключая молодую женщину в свои объятия.— Дело не бабьего ума.

— А ты все же скажи! Бывает, и баба в ином деле не хуже вас, мужиков, удумает. Ну, говори! А то у меня, скажу по совести, все Маринка с ума нейдет.

— Глупа ты, оттого и не идет,— усмехнулся Игнат.— Ну ладно, едят тебя мухи, скажу! Дай сесть.

Он сделал два шага, опустился на лавку, привлек к себе молодую женщину, доверчиво к нему прильнувшую, и заговорил вполголоса:

— Петро-цыган вернулся. Третьёво дня его в Нурештях видели, доносчик наш сказывал; вот вахмистр[5] и послал меня к Мафтею проведать все доподлинно, что и как, нельзя ли каким манером изловить его, сокола ясного.

— Ну и что же?

— Ходил к Мафтею. Справлялся. Оказывается, правда, Петро доподлинно вернулся и на нашей стороне побывал, да только опять в Румынию подался. Мафтей обещал помощь оказать, чтобы, значит, когда Петро опять в наших краях объявится, изловить его.

Катрынка с досадой повела плечами.

— Посмотрю я на вас обоих, на тебя и на вахмистра твоего: какие вы оба дурни! А еще солдатами называетесь! Мафтей вам зубы заговаривает, морочит головы, а вы уши вешаете! Спросите лучше меня, кто сам-то Мафтей-то ваш,— я вам скажу: первый конокрад, да, вот кто. А вы как думаете? Пётро-то его правая рука, вместе они и дела-то все обделывают. Может быть, пока ты вчера утром, переодетый, у твоего Мафтея сидел, Петро там же был; только ты его не видел, а он тебя наверно видел. Вот что! А вы думае-

те, Мафтей вам и взаправду ловить Петра будет? Эх вы, простота!

— Ну, уж это ты, кажись, и врешь,— неуверенным тоном произнес Игнат,— я Мафтея который год знаю, не думаю, чтобы он какими художествами занимался. Прежде, может, что и было, а только теперь не думаю. К чему ему? Мужик богатый, почетом пользуется, старшиной, того гляди, выберут,— и вдруг конокрад! Статочное ли дело? Нет, Катрынка, что тебе набрехали, тому ты и веришь! У Мафтея врагов на десяти осинах не перевешаешь; вот они и выдумывают на него всякие небылицы: и контрабандир-то он, и конокрад, и монетчик; чего-чего только не наплетут, слушать ушей не хватит! А все вздор!

— Ну, вздор, так вздор. Поживем — увидим, а только вот что я тебе еще скажу. Послушайся ты меня,— Христом-богом молю. Будь ты поосторожнее относительно Петра. Вы его плохо знаете. Это такой человек, такой, что я и сказать не умею! Хуже сатаны! На его душе не одни лошади, а и похуже что есть! Доведется,— он не посмотрит ни на что; ему человека убить — пустое дело! Убьет и сам на панихиду придет,— вот он какой!

Игнат презрительно усмехнулся и красивым движением расправил богатырские плечи.

— Аль за меня боишься? — произнес он ласково и в то же время насмешливо.— Небось не поросенок! И того иной раз не сразу зарежешь, брыкается, а меня как будто и мудрено! Ну, да черт с ним, и с Петро, не для этого я пришел сюда! У меня еще один часок впереди свободный до службы: приласкай-ка ты меня лучше, а то сначала лаялась, а теперь пужаешь!

Молодая женщина слегка покраснела и, с загоревшимися страстью глазами, крепко обняла Игната, прижавшись к его лицу горячими губами.

— А и раскрасавица же ты у меня! — дрогнувшим голосом произнес Игнат.— Неужели ж я тебя на кого-нибудь променяю?!

За селением Нурешти начинается густой лес. Длинной полосой тянется он на расстояние десятка верст и служит как бы естественной границей между двумя уездами. Среди окрестных жителей лес этот пользуется дурной славой. Ле-

том, осенью и весной в его глубоких оврагах, поросших густым кустарником и мелколесьем, время от времени устраивают себе приют разные лихие люди и совершают оттуда свои волчьи набеги на большую дорогу или соседние селения; зимой на его опушках появляются шайки оголодавших волков и зорко высматривают запоздалых путников, идущих и едущих по дороге. Во мраке ночи их глаза, словно свечи, мелькают между кустами, и далеко разносится в мертвой тишине грозно-жалобный, скорбно-алчный вой. Заслышав его на большой дороге, лошади начинают дрожать, как в лихорадке, инстинктивно ускоряя бег, а у седоков волосы шевелятся под шапками и побелевшие губы торопливо шепчут молитвы.

Жутко проезжать ночью мимо нурештского леса зимою; но осенью, да еще во время бури, и того жутче. Словно полчища разъяренных чудовищ бьются в его заколдованных недрах. Вой, визг, хохот, стоны сливаются в один невообразимый хаос звуков и несутся навстречу путнику, наполняя его душу суеверным ужасом. Огромные, разлохмаченные деревья как пьяные шатаются во все стороны, потрясая своими вершинами, с которых, глухо шурша, безостановочно сыплются и сыплются миллиарды засохших листьев; ветер подхватывает их на лету, неистово кружит, бросает то вверх, то вниз и, только насытившись вволю своей безумной игрой, сметает, наконец, в огромные, плотно слежавшиеся кучи. Изредка из глубины леса раздается словно выстрел из тяжелого орудия, грохот и стон на мгновенье покрывают голоса бури: это какой-нибудь столетний гигант, не совладав с лютым врагом, падает, гремя доспехами, и своим падением безжалостно сокрушает тесно столпившихся вокруг него соратников.

В одну из таких ночей, в глубоком овраге, пересекавшем лес от одного края до другого, собралась небольшая кучка людей, человек пять: трое взрослых и два подростка. Трудно было выбрать место более удачное. В то время, как в лесу стон стоял от разбушевавшейся бури, на дне оврага, защищенного с одной стороны нависшей стеной, с другой — поваленным деревом, было совершенно тихо, настолько тихо, что даже не задувало пламя костра, вокруг которого сидели люди. Оно весело и задорно, широким языком рвалось вверх, рассыпая вокруг целые снопы потухающих во мраке искорок и освещая багровым заревом лица, суровые и мрач-

ные у мужчин, задумчиво-сосредоточенные у детей. Над костром, на трех железных прутьях, висел большой чугунный котел, в котором бурлила какая-то похлебка, издававшая аппетитный для голодных желудков запах чеснока, бараньего сала и кукурузной муки.

Взрослые хранили глубокое молчание и сидели неподвижно, устремив глаза на огонь, погруженные в свои думы. Только двое мальчиков, лет по 12—13, поместившись рядом и тесно прижавшись друг к другу, изредка украдкой перешептывались между собой, делясь какими-то им одним понятными ощущениями. Далее, вдоль оврага, смутно чернели во мраке силуэты нескольких лошадей, привязанных поводьями к стволам деревьев. Измученные дальней дорогой и быстрым бегом, они стояли, повеся головы, и тяжело дремали, время от времени издавая во сне характерный кряхтящий стон, сопровождающийся глубоким, безнадежным вздохом, каким вздыхают только многострадальные крестьянские «коняки». Между лошадьми, свернувшись у самых их ног, полуприщурив злые, зоркие глаза и пошевеливая настороженным ухом, чутко спали две огромные, волкообразные овчарки. При всяком подозрительном шуме они подымали головы и внимательно вглядывались в окружающую чащу с таким видом, как бы хотели сказать: «Ну, что ж? милости просим, мы здесь и всегда готовы встретить врага, кто бы он ни был!»

В стороне от прочих лошадей и ближе к костру была привязана рослая белая кобыла, с длинной гривой и пушистым хвостом. Своим ростом и видом она резко выделялась из числа прочих «коняк». Это была хорошая статейная заводская матка, с тонкой, сухой головой и крепкими, мускулистыми ногами. Около самой ее морды, раскинув длинные, узловатые ноги, лежал маленький, шершавый жеребенок с щетинистой гривой и курчавым, коротким хвостом. Он тихо и жалобно стонал, открывая время от времени помутившиеся в предсмертной агонии глаза. Тяжелое дыхание со свистом вырывалось из его неестественно расширенных ноздрей, а бока то вздувались, то втягивались в живот, выпячивая ребра. Опустив морду, с озабоченным взглядом, кобылица-мать осторожно обнюхивала свое умирающее детище, издавая по временам тихое, тревожное ржание. Она словно спрашивала, что̀ с ним случилось, почему он лежит так беспомощно, и тщетно пыталась ободрить его.

Вдруг жеребенок как-то весь дрогнул, судорожно повел ногами и шеей, понатужился, словно проглотил что-то, и замер. Он лежал неподвижно, оскалив зубы, с остановившимся взглядом широко открытого, помутившегося зрачка.

Пораженная неподвижностью жеребенка, кобылица-мать, тревожно пофыркивая, несколько раз обнюхала его с головы до копыт и затем, не довольствуясь этим, слегка щипнула зубами за выдавшийся острым углом маклак. Жеребенок оставался неподвижен.

Тогда белая кобылица подняла голову, испуганно оглянулась кругом, и ее жалобное ржание тоскливо прорезало вой и стон бури.

— Э, мама дракулуй, мынкатяр лупу*,— взбешенным голосом вскрикнул один из мужчин, сидевших у костра, и, проворно вскочив, бросился к жалобно ржущей лошади. Ударив ее кулаком по морде, он торопливо надел ей на голову большой мешок с саманом**, туго завязав его за ушами бечевкой. После этого кобылица перестала ржать и, положив морду на труп жеребенка, лишь тихо и тревожно похрапывала сквозь толстую дерюгу мешка...

— Проклятая скотина,— ворчал Петро, возвращаясь на свое место,— на весь лес гвалт подняла.

— Не бойся, все равно никто не услышит,— успокоил его другой цыган с сивыми усами и большим багровым рубцом над кривым глазом,— некому и слушать-то! Вишь, ночь какая, чай, ни одной живой души в поле нет!

— Ну, это ты, дядя Дмитраш, напрасно так уверен,— возразил Петро,— отсюда недалеко пограничный пост стоит, и с него то и дело разъезды посылают. После нашей последней истории солдаты стали особенно зорки и осторожны.

Дмитраш беззвучно засмеялся, причем его старое лицо все сморщилось как печеное яблоко, а черные глаза почти пропали в глубоких морщинах, набежавших на лоб и щеки.

Глядя на него, оба мальчика в свою очередь звонко и неудержимо расхохотались.

— Вы чего, чертенята? — сердито окрикнул их третий цыган, высокий и худощавый, с ввалившейся грудью и болезненным лицом.— Вот погоди! Изловят вас солдаты, тогда будете ржать, как сосунки в табуне!

— Не кручинься, Руснак,— беззаботно тряхнул головой

* чертова мать, чтоб тебя волк съел.

** Мелко смолотая солома.

Петро,— не изловят! Уж ежели тогда, в прошлый раз, не изловили, теперь и подавно не поймают!

— Хвастай! — сердито оборвал его Руснак.— Ты думаешь, очень уж это хитро? Мудреней было Мафтея уличить, а вот уличили же и в тюрьму засадили!

— Это у них там один есть, Игнат! Шельма такая, не глупей нашего брата-цыгана. Он-то и выследил Мафтея. Ловко обстряпал дело, с поличным поймал! Дивиться надо, как только ты, Руснак, вырвался!

— А какая мне радость в том, что вырвался? — угрюмо отвечал Руснак.— Все равно уже не жилец я на белом свете, чувствую смерть за плечами! Проклятые мужики мне всю внутренность отбили! Смотри, какой стал: в полтора месяца что от меня осталось?! Кожа да кости; грудь болит, поясница ноет, спина не разгибается, желудок пищи не принимает... Искалечили вконец!

— Да, уж им только попадись, мужикам-то! Беда, как забьют! Солдаты не в пример лучше. Дадут по шее раз-другой, и буде, а опосля того еще и накормят, коли голоден, и пока полиции не сдадут, пальцем не тронут.

— А все же, коли мне этот Игнат попадется когда в руки, карачун ему! — злобно скрипнув зубами, проговорил Руснак.— Через него мне помирать приходится, пущай же и он со мной за компанию к чертям в пекло идет!

— По совести сказать, и я на него зол,— добавил от себя Петро,— мне теперь без Мафтея хоть пропадать! Скоро ли найду я теперь подходящего товарища? Да и не найдешь, пожалуй!

— Такого, как Мафтей, не будет, это верно,— заметил резонно старик,— жаль его, очень жаль! Без него мы теперь, как без рук, ровно слепые стали!

Все трое на некоторое время умолкли. Вдруг Руснак бешено вскочил, топнул ногой и, задыхаясь от злобы, крикнул надтреснутым голосом:

— Матерь божья, Лука-апостол! Отдайте вы его мне в руки, а уж смерть ему я придумаю сам!

Он глухо закашлялся и упал ничком, судорожно извиваясь всем телом и кусая землю от нестерпимой боли в груди.

Петро только глазом повел в его сторону, а старик совершенно равнодушно, как бы про себя, заметил:

— Ну, это еще как удастся!..

Громко шлепая по лужам и подымая целые столбы брызг, широким, хорошо наезженным шагом по опушке леса подвигался конный разъезд из двух объездчиков. Под пронизывающим до костей ветром солдаты зябко ежились, пряча голову в плечи, и то и дело нетерпеливо подталкивали шпорами лошадей, побуждая их прибавить шагу.

— Ну и ветер же,— проворчал один из них,— просто заколел весь!

— Спасибо, дождя нет! А то бы совсем пропадать пришлось! — отвечал другой.— Ну ты, спотыкайся, волк тебя заешь! — с досадой крикнул он на оступившуюся лошадь и, подобрав ей потуже повод, несколько раз пришпорил ее. Испуганная ударами шпор лошадь рванулась было вперед, запрыгала и обдала обоих всадников целым каскадом брызг.

— А ну тебя к черту, Воронько! — крикнул на товарища другой солдат.— Брось, смотри, окатил как.

— Да она, дядя Игнат, все спотыкается,— как бы в оправдание себя отвечал Воронько.

— Потому и спотыкается, что ног нет. Шпорь, не шпорь,— все равно как безногая есть, так такая и останется...

— У нас, дядя Игнат,— заговорил было Воронько, но в эту минуту Игнат вдруг поднял руку и, подавшись вперед всем корпусом, сразу осадил своего коня.

— Слышишь? — прошептал он, вытягивая шею и поворачивая ухо по направлению леса.

— А што? — немного оробевшим голосом спросил Воронько, в свою очередь инстинктивно настораживаясь.

— Лошадь в лесу ржет,— тем же шепотом произнес Игнат,— ужли ж не слышишь?

— Как не слыхать? Слышу! А только что ж из этого? Мало ли случается лошадям в лес забрести! Заблудилась какая, вот и ржет.

— Дурак ты, дурак, как я погляжу на тебя,— укоризненно покачал головой Игнат,— ничего-то не смыслишь! Знаешь, какая это лошадь ржет?

— Какая? — снова проникаясь суеверным страхом, спросил Воронько.

— Конокрадская! Вот какая! — вразумительным тоном проговорил Игнат.— Голову кладу, это не иначе, чем Петро с своей шайкой! Ты видал, сегодня утром доносчик при-

бегал на пост, сказывал, быдто Петро с крадеными лошадьми из Румынии к нам перешел; вахмистр только верить не хотел, потому последнее время обманов много было, ан в этот раз действительно направду вышло!

— Что ж теперь делать?

— А ничего иного, как попытаться захватить их. Спрячем коней в кустах, а сами пешком пойдем. Они, должно, в Волчьем овраге притулились: ржало с той стороны, я хорошо приметил.

— А как их много? — опасливо спросил Воронько.

— А ты что ж, трусишь, что ли? — презрительно усмехнулся Игнат.— Ежели боишься, то, по мне, оставайся, я один пойду.

— Ну, как можно! — поспешил возразить Воронько.— Идтить, так вдвоем! Я ведь это к слову...

— То-то, к слову,— укоризненно покачал головой Игнат,— мы ведь, чай, не с пустыми руками идем, а с оружием; чего же робеть?! Они нас бояться должны, это так, а не мы их!

Привязав коней под густым, развесистым дубом, объездчики, держа наготове заряженные ружья, смело двинулись в лес. Игнат, как знающий хорошо местность, шел впереди; Воронько, не отставая ни на шаг, следовал по его пятам.

Дойдя до оврага, солдаты осторожно спустились в него и, стараясь как можно легче ступать по наваленным местами сучьям, торопливо зашагали по узкой, извилистой тропинке. Время от времени они останавливались и чутко прислушивались.

После одной из таких остановок Игнат, наклонясь к самому уху Воронько, торжествующим тоном произнес:

— Есть, не ошибся: конокрады!

— Почем ты знаешь? — удивился Воронько.

— Слышу, лошади топочутся; к тому же — дымом потянуло; костер, стало быть, разведен! Кому же этим делом заниматься, как не конокрадам? Ну, теперь только бы зевка не дать. Слушай, что я тебе скажу. Нам теперь надо из оврага выбираться; ты ползи по правому краю, а я по левому; а как доберешься до них, сейчас же, не теряя времени, открывай стрельбу и кричи громче: «Ребята! ко мне, сюда!» — а я с другой стороны! Они переполошатся и по оврагу бежать пустятся, мы тогда в овраг соскочим и, кого удастся захватить, захватим. Только смотри, как стрелять

будешь, норови больше вверх, чтобы не убить кого из них; сам знаешь: за напрасное убийство под суд угодить можно!.. Вот ежели который с оружием каким нападет на тебя, тогда уже делать нечего: коли его штыком али прикладом долбани, а в крайности, и стрелять можешь; только думается мне, до этого не дойдет!

— Ну, братцы, подсаживайся, ешь! — произнес Петро, в последний раз помешав палочкой в чугунке,— каша вышла славная.

Все пятеро придвинулись поближе к котлу, достали из-за голенищ сапогов ложки и принялись есть с жадностью сильно проголодавшихся людей.

— Стой, братцы,— поднял голову Петро,— никак собаки наши рычат.

— Должно, волки подбираются, чуют, проклятые, конский дух,— ну, вот и кружатся где-нибудь поблизости! — возразил равнодушно Дмитраш.

— А вдруг облава? — обеспокоился Петро.

— Откуда ей быть? Кабы облава была, мы бы давно услыхали! Мужик по лесу идет, как медведь валит, за версту слышно.

— А ежели солдаты? — не унимался Петро.— Слышишь, Султан залаял?.. Ну, братцы, это не волки...

Не успел Петро произнести последнее слово, как над его головой в густой чаще перепутавшихся ветвей ярко вспыхнул огонь и глухой выстрел зарокотал по лесу, заглушая рев непогоды.

— Ребята, сюда, ко мне! Вот они! — зазвенел над самым ухом Петра пронзительный голос, и в ответ ему с противоположной стороны оврага тотчас же раздался другой, еще более громкий:

— Идем! Держи их! Окружай, не выпускай, ребята! Снова загрохотали выстрелы, но теперь стреляли и с той, и с другой стороны оврага.

Теперь для конокрадов не оставалось никакого сомнения в том, что они имеют дело с солдатами. Как спугнутые волком зайцы, бросились цыгане во все стороны, вверх и вниз по оврагу, перескакивая через сваленные стволы деревьев, стремительно пробираясь сквозь кустарник, с ловкостью кошки карабкаясь на отвесные стены. Ветви немило-

сердно хлестали их по лицу и голове, острые сучья рвали одежду и до крови царапали тело, но они не обращали на это внимания в своем паническом бегстве.

Заря только что занялась на небе, когда Игнат и Воронько, усталые и измученные до последней крайности, но тем не менее довольные и сияющие, возвратились на пост, гоня перед собой пятнадцать отбитых у конокрадов лошадей. Отдохнувшие за ночь лошади шли спокойно, помахивая головами и тяжело хлюпая копытами по распустившемуся в жидкую грязь чернозему.

Только одна белая кобылица, которую Игнат тащил за повод, упрямо упиралась, трясла головой и с жалобным ржанием оглядывалась на лес, где в глубоком овраге остался бездыханный труп ее жеребенка.

Корчма в селении Нурешти, содержимая жидом Иоселем Зальцманом, ни наружным, ни внутренним видом не отличалась от тысячи других, ей подобных. Довольно вместительная комната с бревенчатым потолком была разгорожена прилавком на две половины, причем бóльшая, где стояли скамьи и простые деревянные столы, предназначалась для посетителей, а меньшая служила под помещение магазина. В этом «магазине», на особо устроенных полках, наподобие клеток, лежал всевозможный товар, начиная с залежалой, помнящей Ноев потоп коробки сардинок, до сапожных вытяжек включительно. Тут были куски ситца, бусы, грошовые серьги, пряники, превратившиеся в нечто археологическое, мыло, специальные деревенские духи, от которых чихает даже одержимый неизлечимым насморком, леденцы, ржавые селедки, гвозди, засиженные мухами баранки и бесконечное число других всевозможных товаров, перечисление которых заняло бы слишком много времени.

Между задней стеной и прилавком чернела огромная бочка с кислым виноградным вином, другая, поменьше,— со спиртом. Несколько бутылок сладкой водки и дешевых наливок, с ярко разрисованными ярлыками, красовались на прилавке и на одной из полок, окруженные горами папиросных и спичечных коробок, пачками табаку и махорки.

В самом углу, за прилавком, как тараканья щель, видне-

лась небольшая дверца, соединявшая корчму с другой комнатой, считавшейся, по мнению Иоселя Зальцмана, «чистою». В этой комнате останавливались выпить стакан вина и съесть «битую» яичницу с молоком проезжающие по дороге мелкие помещики, профессора, управляющие, торговцы и прочий народ, считавший для себя унизительным смешиваться с крестьянской толпой, наполнявшей общую комнату-корчму. Посредине комнаты помещался стол, покрытый цветной скатертью, и стояло несколько массивных тяжелых стульев. Широкая тахта, покрытая поверх мочального матраца молдаванскими паласами и служившая Эльдорадо[6] целым племенам клопов, блох и прочих насекомых, занимала почти всю стену. На единственном окне сиротливо висела ситцевая красная занавеска и ютилась, забытая кем-то еще с прошлого года, банка из-под помады.

Деревянный пол был черен, и в нем красовалось столько щелей, что всякая уроненная вещь, если только она не была зонтиком или чем-нибудь вроде того, бесследно проваливалась.

Обрывки обоев, разных рисунков и окраски, лохмотьями висели по стенам, служа убежищем проворным и всегда чем-то озабоченным тараканам.

И хотя все, находившееся в комнате,— тахта у стены, занавески на окне, помадная банка на подоконнике и, наконец, свесившиеся лоскутья обоев,— представляло из себя одну сплошную грязь, Иосель продолжал упорно называть комнату «чистой» и с горделивым видом предлагал ее проезжающим, уверяя их, что они могут отдохнуть в ней и даже выспаться, как «ув раю».

Вот в этой-то, соперничающей с раем, комнате, в один из жарких июльских дней, под вечер, собралась компания из трех человек: Петра, Руснака и Мафтея. Из них только Петро выглядел таким же, как и в прошлом году, здоровым, сильным и беззаботным. Других же двоих даже самый близкий человек признал бы не сразу: так они изменились. Последствия крестьянского самосуда, на который Руснак жаловался осенью прошлого года, сидя с Петром и дядей Дмитрашем в Волчьем овраге, превратили его в совершеннейший полутруп, высохший, как скелет, с изогнутой спиной, мертвенно-бледным лицом, трясущимися длинными руками и колеблющейся походкой. Несмотря на молодые годы, волосы на голове Руснака поседели, и он смотрелся

хилым стариком. Неспособный ни к какому труду, он влачил жалкое существование, скитаясь от селения к селению и вымаливая себе кусок хлеба, причем нечестивый язык его, среди лицемерных молитв, изрыгал самые богохульственные проклятия.

Мафтей тоже круто изменился. Посаженный в тюрьму за укрывательство и пособничество сильным пятидесятилетним здоровяком, обладавшим богатым, полным, как чаша, домом, он вышел из нее болезненным стариком, горьким пьяницей и бездельником. В его отсутствие хозяйство его пошло прахом. Старуха жена умерла, единственная дочь-невеста, с горя по отказавшемся от нее женихе, начала пить и развратничать; имущество продано на удовлетворение частных кредиторов; словом, все рушилось, вместе с добрым именем и уважением соседей. Поселившись в своем разоренном доме, Мафтей уже не в силах был снова устроить свою жизнь такой, какой она была раньше, и принялся пить вместе с дочерью, опускаясь нравственно все ниже и ниже. Мало-помалу в нем заглохли все человеческие чувства, кроме одного,— глубокой, непримиримой ненависти к солдату Игнату, которого он считал единственным виновником своего несчастия.

Петро, после памятной ночи, когда солдаты отбили у него, Руснака и дяди Дмитраша перегнанных ими из Румынии лошадей, исчез, и долго о нем не было ни слуху ни духу. Только недавно он снова появился в здешнем краю, выслеживая и разузнавая, куда девались его былые товарищи. Сведения, собранные им, были, однако, малоутешительны. Мафтей спился, Руснак едва волочил ноги, дядя Дмитраш умер, его мальчики — племянник и сын — куда-то ушли. Таким образом вся шайка распалась, и для того, чтобы снова начать «дела», Петру необходимо было озаботиться приисканием новых товарищей и помощников. В надежде на добрый совет, Петро пригласил своих старых товарищей в корчму Иоселя Зальцмана и, поставив перед ними куфель водки, предложил на обсуждение интересовавший его вопрос, с кем и как можно начать теперь прежнее ремесло. Однако, вместо ожидаемого совета и интересных сведений, Мафтей и Руснак, оба в один голос, принялись плакаться на свою долю и проклинать причину их несчастий — солдата Игната.

— Ведь ты подумай только, Петро,— заплетающимся

языком говорил охмелевший Мафтей,— разве ж не обидно?! Мы с ним приятели были; бывало, придет ко мне в гости, я не знаю, где и посадить его, чем угостить. Думал, окончит службу, Маринку отдать за него и половину хозяйства им выделить; а он меня же, друга своего, изловил и начальству представил! Вот чего я простить ему не могу!

— Ох, силы-то у меня не стало, а то я бы ему! — в свою очередь скрежетал зубами Руснак.— Из-за него меня мужики искалечили! Не излови он меня, да не отдай им караулить, ничего бы этого не было! Мужики трусы, ни один из них ко мне и подступиться не смел!

Петро слушал жалобы своих прежних сообщником, и неопределенная улыбка бродила на его толстых, румяных губах.

— Так ты говоришь,— обратился он к Мафтею,— Игнат теперь тут за старшего поставлен?

— То-то и беда,— отвечал Мафтей,—после того, как он вдвоем у вас, как у старых баб, целый табун лошадей отнял, ему большая награда вышла, а затем вскорости его старшим сделали, и с тех пор от него никому житья нет! Помнишь Атанаса-контрабандира? На что ловкий был, сколько лет «носил», а и того поймал, и теперь он в тюрьме сидит! Через границу хоть и не ходи: раз пройдешь, другой пройдешь, а в третий беспременно поймает. Через Катрынку свою доносчиков на деревне завел, и они ему обо всем докладывают, да так ловко, что никому и невдомек. Вот хотя бы взять к примеру, давно ли ты здесь появился и на что осторожен, а Игнат уже знает! Вчера к моей Маринке солдаты приходили, выспрашивали, правда ли, мол, быдто Петро снова появился в наших краях? Она начала божиться и клясться, что, мол, нет, неправда, а они ей в ответ:

— Врешь,— говорят,— наш старший доподлинно знает, третий день Петро вокруг Нурешти, как волк, бродит! Погоди, он его ужо словит, будет ему тогда за все про все!

При последних словах Мафтея лицо цыгана вспыхнуло, и глаза загорелись мрачным огнем.

— Ну, это мы посмотрим, меня поймать — руки коротки!

— Не очень-то и коротки,— сомнительно покачал головой Мафтей,— уж однажды Игнат одурил вас, в Волчьем-то овраге! Смотри, как бы и во второй раз не случилось того же. Ты теперь один, без приятелей, а у него целый пост под командой!

— Что верно, то верно,— прохрипел, кашляя и задыхаясь, Руснак,— пока Игнат тут, тебе, Петро, лучше и глаз не показывать: все равно толку не будет.

— Ан будет же,— неожиданно приходя в ярость, стукнул Петро кулаком по столу,— нагнал тут на вас, калек, Игнат страху, вы и хвосты поджали, как дворняжки перед волком! А я плевать на него хочу, и, если он вздумает встать на моем пути, горе ему будет!

Не успел Петро произнести последнюю фразу, как в соседней комнате раздались тяжелые шаги, бряцание шпор, стук опускаемых на деревянный пол прикладов.

— Солдаты! — заикаясь от страха, прошептал Мафтей.— Это, наверно, Игнат... Нас выдали!.. Видишь теперь сам, какой он!

Петро нетерпеливо дернул плечом и на цыпочках подошел к окну. Против окна, с ружьем наготове, стоял солдат и зорко глядел на спущенную занавесочку.

Не оставалось никакого сомнения, что корчма была оцеплена.

Петро, однако, не растерялся, он глубоко потянул грудью воздух и раздул ноздри. Лицо его слегка побелело, глаза сверкнули, как у волка, и в ту минуту, когда запертая на слабую задвижку дверь, под напором чьего-то могучего плеча, с треском распахнулась, он смело шагнул вперед, навстречу входившим солдатам.

Впереди их, с револьвером у бока и смеющимся взглядом полуприщуренных глаз, стоял его старый знакомец, Игнат.

— Здорово, Петро,— весело крикнул он,— опять ты в наши места припожаловал! — и, обернувшись к солдатам, Игнат строгим голосом крикнул: «Вяжи его, ребята!»

Против ожидания как солдат, так и столпившихся у дверей крестьян, с жадным любопытством заглядывавших через спины друг друга в комнату, Петро не только не выказал никакого желания сопротивляться, но, напротив, сам заложил руки за спину и повернулся к солдату, державшему наготове веревку. Покорно дав себя связать, он равнодушно, не глядя ни на кого, пошел из комнаты, под конвоем двух солдат, шедших один впереди, другой позади него.

— Ишь ты, какой смирный стал! — недоумевали крестьяне, провожая его глазами.

Выйдя из корчмы, двое солдат, ведших Петра, остановились, поджидая Игната, строго о чем-то допрашивавшего перепуганного насмерть Иоселя Зальцмана. Другие двое — тот, что стоял у окна, и один из бывших при аресте Петра,— видя его связанным и считая дело конченным, вошли в корчму.

Праздная толпа любопытных стеснилась у дверей и молча исподлобья смотрела на грозного конокрада, так долго державшего в страхе все окрестные селения. В эту минуту к корчме подъезжал, верхом на рослом и крепком иноходце, молодой человек в сером пиджаке и соломенной шляпе. Это был управляющий из соседней посессии[7]. Увидя его, мужики посрывали с голов свои шапки и низко поклонились.

— Что это у вас тут такое? — спросил молодой человек, соскакивая с лошади и небрежно бросая повод на руки ближайшему парню; но никто не успел ему еще ответить, как вдруг произошло что-то невероятное. Стоявший дотоле спокойно и понуро, Петро неожиданно выпрямился, одно неуловимое движение плеч — и веревка, стягивавшая его руки, упала к его ногам, причем конец ее остался в руке ошеломленного солдата. Выхватив из-за голенища тонкий и узкий нож, каким евреи-мясники режут скотину, Петро бросился на шарахнувшуюся от него толпу, с быстротой молнии вырвал из рук державшего лошадь парня повод, птицей взвился на седле и, пронзительно гикнув, понесся по дороге, подняв за собой густое облако пыли.

Все это произошло так быстро и неожиданно, что в первую минуту все стояли разинув рот, вытаращив друг на друга глаза.

Первым опомнился управляющий, хозяин коня.

— Ловите, ловите,— завопил он не своим голосом, размахивая руками и топчась на одном месте.

Несколько крестьян бросились отпрягать своих кляч, но, пока они их отпрягали, пока садились верхом, Петро исчез из виду. К тому же не крестьянским заморенным на соломе лошаденкам было догонять резвого, выкормленного помещичьего жеребца.

— Э, дура баба,— досадливо говорил Игнат, шагая взад и вперед по небольшой горенке Катрынкиной избушки,—

охота тебе всех этих дурней слушать?! Только тревожишь себя занапрасно!

— Ох, Игнат, не занапрасно! — сквозь слезы прервала его Катрынка, сидевшая в углу у стола.— Дядя Гиоргиечу врать не станет. Ежели он говорит, стало быть, правда!.. Молю тебя, сокол мой, будь поопасливей, не ходи никуда один, особливо ночью! Если бы ты знал, какие цыгане злые да мстительные, ты бы тогда сам опаску имел!.. Ты вот все мне не верил, когда я говорила тебе про Петра, что он колдун,— ан, на мое вышло. Как это он около корчмы на вас на всех огонь наслал, а сам сквозь землю провалился!..

— Замолола! — расхохотался Игнат.— Кто это тебе наврал так? Какой огонь? Никакого огня не было, и сквозь землю никто не проваливался, а просто мы опростоволосились, маху дали!.. Мне тогда же чудно показалось, что Петро так сразу покорился, а он фокус выкинул. Пойди на ярмарку: там фокусник то же самое тебе покажет; они как-то умеют спину горбить, руки представлять ребром и жилы натуживать, ты его свяжешь, а он опосля того руками что сотворит, веревки и свалятся... Беда: не догадался я сам связать его, а то вязал-то молодой солдат, он его и обставил. В этом и колдовство все.

Катрынка сомнительно покачала головой.

— Эх, не веришь ты мне,— укоризненно прошептала она, вытирая передником катящиеся по щекам слезы.— Ну, подумай, убьют тебя, что я буду делать?! Ведь меня тогда свои же сельчане заклюют... Ох, горе мне, бедной сироте!

— Да полно, чего скулишь раньше времени?! — нетерпеливо произнес Игнат.— Ты мне лучше скажи, почему Ивана нет до сих пор.

— А пес его знает! — сердито огрызнулась Катрынка.— Вот тоже человека нашел, Ивана этого самого. Нешто можно ему верить?

— Да я и не больно ему верю, хоша, правду сказать, чрез него мы не раз «политическую»* ловили; вот и теперь он обещал мне показать, где-то тут неподалеку в пустом колодце тюки с книгами запрятаны, да не идет что-то, задави его нечистая сила!

В эту минуту в припертую ставень кто-то тихо стукнул.

* Политическая контрабанда: брошюры и книги революционного содержания.

— Это, должно, он,— шепнул Игнат,— поди, приведи его.

Катрынка покорно встала и вышла из комнаты. Через минуту она вернулась, ведя за собой худощавого парня лет семнадцати, с болезненным лицом и трясущимися руками.

Увидя Игната, важно сидевшего за столом, парень подобострастно поклонился.

— Ну, что? — начальственным тоном спросил Игнат.— Как дела?

— Дела слава богу,— скромно потупя глаза, отвечал парень,— теперь все вызнал, все доподлинно!

— Будто? — недоверчиво прищурился Игнат.— Ну, выкладывай.

Парень переступил с ноги на ногу. Переложил из правой руки в левую свою шапку и заговорил глухим голосом, тоном, которым тупые ученики говорят затверженный урок.

— Третьего дня, из Румынии, два тюка «политической» привезли... ну, вот... привезли и сложили ее пока до времени в сухой колодезь,— знаешь, тот, что у низу, у разваленной сторожки?

— Ну, знаю, дальше.

— Ну, вот, привезли, а сегодня ночью за ней придут, вынут и повезут в город, а ежели не сегодня, то завтра... ну, вот...

— Кто ж привез-то и кто за ней придет?

— Привез-то ее Мафтей да Сергиу, знаешь, солдатки Варвары сын, да еще третий, с Румынии, румын, кто такой, не знаю, должно, драбант, потому так думаю, что привезли на ихней пограничной лодке, а придет за ней ⟨...⟩ племянник Иоселя, Аврумка; он и в город повезет.

— Ну? — радостно воскликнул Игнат.— Вот славно бы было, кабы его ⟨...⟩ сцапать; тогда и Зальцман у меня не отвертелся бы! Давно он мне глаза мозолит, первый мошенник и контрабандир во всем околотке!.. Да ты, может быть, все врешь? — сомневающимся тоном перебил сам себя Игнат и недоверчиво заглянул в глаза Ивана. Тот спокойно выдержал на себе его взгляд и слабо ухмыльнулся.

— Зачем мне врать? Я доподлинно знаю. Я и в колодезь лазил, своими глазами тюки видел, в австрийской клеенке зашиты!.. Хочешь, сходим сейчас, тут недалече, можешь шестом пощупать.

— А что ж? Это дело! — согласился Игнат.— Теперь

всего десять часов вечера, посмотрю и на пост: ежели доподлинно тюки есть, пять раз успею секрет заложить! Аврумка раньше полночки, наверно, не приедет.

— Пока в корчме народ, он, разумеется, не тронется,— авторитетно подтвердил Иван.

— Послушай, Игнат,— вполголоса заговорила Катрынка, подходя к солдату и кладя на его могучие плечи свои полные красивые руки.

— Знаю, вперед знаю, что ты скажешь! — перебил ее Игнат.— Только напрасно не трепи язык. До сих пор один ходил, а теперь и подавно. Пусть не говорят, что вот, мол, Игнат трусит нас; плевать я на них хочу на всех! В секрет, разумеется, пойдем вчетвером аль, может, и впятером, чтобы, стало быть, иметь возможнось всех, кто за тюками явится, захватить разом, а теперь мне одному куда сподручнее, прокрадусь, никто и не заметит!

— Игнат, умоляю тебя! — заговорила Катрынка; но Игнат только рукой махнул.

— Тебя не переслушаешь! Идем, Иван!

Они вышли.

Катрынка догнала Игната в сенях и, обняв за шею, страстно и крепко поцеловала его в губы.

— Револьвер-то хоть заряжен у тебя? — спросила она шепотом.

— Заряжен, заряжен, не бойся! Эх ты, заботливая.

Игнат ласково обнял Катрынку за талию и в свою очередь любовно поцеловал ее в обе щеки.

— Важнецкая из тебя жена будет, Катрынка! За такой женой, как за каменной стеной, живи, не тужи!

Он добродушно рассмеялся и вышел на двор. Солнце уже село. На дворе было темно. По небу ползли тяжелые, косматые тучи, затемняя только что народившийся бледный серп месяца.

В ту минуту, как Игнат в сопровождении Ивана, перешагнув через изгородь околицы, пошли кукурузным полем по направлению к реке, служившей границей, чья-то черная тень проворно шмыгнула от крайней хаты к полю и исчезла в высоких стеблях кукурузы.

На другой день утром Катрынка проснулась с ощущением тяжелого гнета на сердце. Всю ночь ей снилось что-то

ужасное, от чего она несколько раз просыпалась, но что́ именно, она никак не могла вспомнить.

Все утро она несколько раз покушалась пойти на пост, узнать об Игнате, но не решалась. Игнат раз навсегда строго-настрого запретил ей ходить к нему, и она не смела ослушаться его приказания.

— Пост — учреждение казенное, там бабам не место,— объяснял он ей,— коли ежели я с солдат требую, то и сам должен пример показывать. Не так ли?

Катрынка соглашалась с ним, и ни разу за все их знакомство ее нога не переступила порога кордона, стоявшего в версте от селения Нурешти, ближе к реке-границе.

После полудня смутное предчувствие чего-то недоброго, овладевшее ею с утра, как-то само собой, помимо ее воли, перешло в уверенность, и она решила на этот раз не послушаться Игната.

«Пусть бранит! — подумала Катрынка.— А я все-таки пойду, узнаю. Истомилась вся, мочи моей нет».

Она накинула на голову платок и только взялась рукой за скобу двери, как дверь стремительно распахнулась, и в комнату вошел знакомый Катрынке солдат Воронько. Лицо его было встревожено.

— Катерина Ивановна,— спросил он, из почтения к старшему величая Катрынку, как и прочие солдаты поста, по имени и отчеству,— не знаете, где Игнат Ильич?

При этом вопросе сердце молодой женщины замерло; она пошатнулась и, почувствовав, как ее ноги сразу ослабли, машинально опустилась на стоявшую подле стены скамейку.

— Нет, не знаю! А разве он не на посту? — едва нашла в себе силы пролепетать Катрынка.

— Вчера, как после поверки ушел, так и доселе не вернулся... С вечера-то был он у вас али не был?

— Был,— чуть слышно шевеля губами, произнесла молодая женщина и, собравшись с духом, поспешно добавила: — Он от меня с Иваном ушел.

— С Иваном! Вот оно што! Надо пойти разыскать его!

И, торопливо поклонившись, Воронько, не теряя времени, выбежал из избы.

По уходе солдата, Катрынка несколько минут сидела неподвижно, с побелевшим лицом и широко открытыми глазами.

Недавнее беспокойство сменилось ощущением леденящего ужаса и безысходной тоски.

Под гнетом ее Катрынка все ниже и ниже склоняла голову, пока, наконец, обессиленная, не упала на лавку, лицом вниз, вся содрогаясь от глухих, подавляемых рыданий.

Глухая ночь. Мертвая тишина царит в плавнях. Как зачарованные, неподвижной стеной высятся во мраке непролазные камыши, и над ними с жалобным стоном реют невидимые мириады легкокрылых, кровожадных насекомых.

Черные тучи медленно ползут по небу.

Вдруг где-то, далеко-далеко, хрустнули сухие стебли, послышался легкий шорох торопливых шагов, и на прогалинку, образовавшуюся после высохшего за лето небольшого болота, вышло несколько человек.

Их было пятеро, и впятером они волокли шестого, крепко связанного веревками, с головой, закутанной в мешок.

— Стой, тут! — тяжело отдуваясь, произнес шедший впереди.— Развяжите ему голову.

Чьи-то руки торопливо сорвали с головы связанного человека мешок, и почти одновременно с этим на расчистившемся небе засиял серп луны. Ее лучи фосфорическим светом озарили прогалину и осветили лица пришедших людей.

Подле смуглого, угрюмого лица Петра, сверкая злыми, как у волка, глазами, белело испитое лицо Руснака, а рядом с ним старый Мафтей тряс своей лишенной волос головой и время от времени заливался неслышным смехом безумствующего алкоголика. Два других цыгана, рослые и сильные, как молодые дубки, стояли в стороне и больше с любопытством, чем с озлоблением, глядели на распростертого у их ног связанного человека, у которого рот был набит тряпкой.

— Ну, что́, Игнат, узнаешь нас? — кривя губы, произнес Петро, наклоняясь к лежащему навзничь солдату.— Все ведь твои приятели! Вот Мафтей, который из-за тебя пошел по миру, вот Руснак, по твоей милости калека и нищий; я тоже от тебя немало видел досады!.. Что ж? пора рассчитаться!.. Хоть про нас, цыган, и говорят, будто мы все мошенники, но это неправда! Мы долги свои платим... Небось получишь все сполна, только не от нас, мы тебя

пальцем не тронем, а от комаров. Это Руснак придумал! Благодари его.

Петро громко расхохотался и, обратясь к товарищам, добавил:

— Ну, что ж, ребята, не будем терять времени, а то проклятые комары и нас заедят тут с ним вместе!

По этому слову Петра и все прочие безмолвно принялись за дело, и в несколько минут Игнат был раздет догола. Положив его на середину прогалины, лицом кверху, и еще раз освидетельствовав, насколько крепко связаны его руки и ноги, злодеи, захватив одежду Игната, бегом пустились из камышей.

Словно легкое облако всколыхнулось над Игнатом и с грозным гуденьем опустилось на его странно белевшее в лунном сиянии тело...

Солнце стояло уже на полудне. Десятка два пеших солдат и полсотни мужиков, под начальством офицера, сидевшего на лошади, образовав неразрывную цепь, медленно подвигались по камышам, захватив их во всю ширину от реки до поля.

Чтобы не потерять между собой связь, люди то и дело перекликались и через каждую сотню шагов останавливались, тяжело переводя дух.

— Ничего не видать? — громким голосом спрашивал офицер, проезжая от одного конца цепи к другой.

— Никак нет, ваше благородие,— кричали в ответ скрытые в камыше солдаты.

Офицер поворачивал коня и спешил на противоположный край. Офицер был еще совсем молодой, недавно переведенный на службу на границу, и потому чрезвычайно волновался и суетился. Его до крайности увлекало это неутомимое обшаривание камышей, и невольно, рисуясь перед самим собой, он принимал молодцеватые позы: без нужды чересчур низко припадал к луке и красивым жестом поправлял на голове папаху.

В каждом движении его молодого, гибкого тела ключом била жизнерадостная юность и непочатый запас еще не растраченной энергии.

— Ваше благородие! — раздался чей-то пронзительно-звонкий и как бы испуганный голос.— Нашли!

Офицер стиснул бока лошади шпорами и, рискуя разбиться вдребезги, в случае падения ее на одной из бесчисленных рытвин, помчался на голос.

— Где, где? — торопливо, задыхающимся голосом спросил он, подскакивая к группе солдат, хранивших необычайно-торжественное молчание. Он нетерпеливо глянул поверх их голов и невольно вскрикнул. Его молодое, разгоревшееся от скачки лицо подернулось землистой бледностью. Губы задрожали, а в больших, добрых глазах отразилось чувство глубокого сострадания.

Прямо перед ним, судорожно вытянувшись, с широко открытым ртом, из которого торчал конец тряпки, окрашенный кровавой пеной, с выкатившимися, остекленевшими глазами, лежал неузнаваемый труп Игната. За одну ночь из плотного, мускулистого атлета он превратился в мумию. Белая, как бумага, кожа обтягивала торчащие под нею кости, все тело было словно выжато и сморщилось, ноги неестественно вытянулись и по своей худобе казались непомерно длинными... Лицо заострилось и приняло странное, нечеловеческое выражение.

При взгляде на него у самого смелого человека сердце замирало от ужаса...

Тесной кучей столпились солдаты и мужики вокруг трупа; наступила мертвая тишина; никто не решался первый нарушить ее. Казалось, самый воздух, окружавший тело замученного, был еще насыщен его страданиями; мысль о них невольно сковывала язык и леденила мозг...

Перед муками неизъяснимыми, перед человеческой злобой немел человеческий ум, отказываясь верить в возможность такого ужасного злодеяния, такой адской изобретательности...



На линии вечных снегов

Рассказ

Узкое, глубокое ущелье, по которому с грохотом, пенясь и клубясь, мчится бешеный поток, падая с камня на камень, образуя местами целый ряд небольших водопадов. Кругом, куда ни бросишь взгляд, только горы и горы.

Угрюмо молчаливые, глубоко засыпанные снегом, они теснятся одна выше другой, одна другой причудливее. Бесчисленные вершины, то конусообразные, то острые, как пики, то похожие на купол, то словно бы обрубленные с одного бока, громоздятся, лезут вверх и теряются в свинцовых облаках, тяжело нависших над ними. Вдоль обрывистого берега, среди хаоса беспорядочно нагроможденных камней, вьется чуть приметная тропинка, по ней гуськом, вслед друг другу, медленно подвигается небольшая группа всадников. Впереди всех — солдат пограничной стражи в папахе, полушубке, валенках, с головой закутанный в башлык, с заряженной винтовкой в руках, которую он держит наготове, положив через левый локоть.

Рослый гнедой конь, вытянув шею и насторожив уши, осторожно ступает по обледенелой, скользкой тропинке, слегка похрапывая на ревущую и грохочущую у его ног стремнину.

За солдатом, на светло-сером катере*, верхом по-мужски, сидит женщина, окутанная и обмотанная поверх меховой шубки большим байковым платком, на голове у нее белая

* Катер — мул.

папаха и башлык, на руках мохнатые перчатки, ноги обуты в кавказские бурочные сапоги. Ей, очевидно, чрезвычайно неудобно сидеть. Она сгорбилась, поникла головой и, бросив поводья, поддерживает свое туловище обеими руками, положенными на переднюю луку седла. Привычный к горным тропинкам катер ступает осторожно и идет, не спотыкаясь и не скользя, ровной, спокойной походкой, слегка потряхивая длинными косматыми ушами. За женщиной на катере следует другой солдат, одетый так же, как и первый, и тоже с ружьем в руках. На левом локте его болтается длинный повод, которым он ведет за собой второго катера, навьюченного какими-то узлами, между которыми привязана небольшая сапетка*. В этой сапетке барахтается что-то, похожее на большой моток из шерсти и тряпок. Только при внимательном наблюдении можно наконец разобрать, что это ребенок. Одетый в солдатский полушубок, обернутый одеялом, концы которого завязаны узлом, с нахлобученной на глаза шапкой, он сидит в корзине, стиснутый, придавленный, бросая исподлобья изумленно-тревожные взгляды.

Далее, на сером статном иноходце, ехал офицер в черном щегольском полушубке, туго подпоясанном револьверным ремнем. Папаха его была лихо заломлена назад, и весь он выглядел настоящим молодцом. Он был высокого роста, богатырски сложен, с русой надвое бородой и длинными пушистыми усами. Большие серые глаза немного навыкате смотрели смело вперед, с любопытством оглядывая, очевидно, новую для него обстановку.

За офицером на тощей, невзрачной лошаденке плелся татарин в косматой папахе грибом, таща за собой в поводу тяжело навьюченного разным скарбом верблюда.

Неуклюжее животное, ободранное и шершавое, горделиво подняв крошечную губастую голову с блестящими, злыми глазами, широко ступало плоскими узловатыми лапами, мерно покачиваясь всем корпусом.

Шествие замыкал третий солдат, на слегка прихрамывающей лошади, почему постоянно отставал и то и дело принужден был трусить рысцой, чтобы догнать остальной караван.

---

* Сапетка — плетенная из прутьев конусообразная корзина, с широким концом вверху. В этих корзинах сельчане возят фрукты и овощи на базар.

Чем дальше подвигались путники, тем тропинка становилась все круче и круче. Лошади то и дело скользили и спотыкались. Даже цепкие катера начали изредка оступаться, после чего всякий раз недовольно встряхивали ушами, точно осуждая в душе такую безобразную дорогу. Иногда путникам казалось, что подъемам наступает конец. Стоит только подняться на последнюю вершинку, и пойдет ровная, гладкая дорога, но, поднявшись на нее, они с досадой и удивлением видели перед собой новые и новые вершины, еще круче, еще длиннее первой.

Местами подъемы переходили в такие же крутые спуски, тогда лошади почти садились на зад, напряженно вытягивали передние ноги и осторожно сползали вниз короткими, тупыми шажками, болью отзывавшимися в истомленном, изнывшем теле всадников.

На одном из таких мучительных спусков хранившая всю дорогу молчание женщина наконец не выдержала:

— Господи! — простонала она.— Когда же наконец мы доедем? Я, кажется, умру на дороге.

Ехавший впереди солдат обернулся и участливо произнес:

— Теперича, сударыня, уже недалече; вон за той горой, Кучерявая называется, пойдет селенье Амбу-Даг, а проедем селение, тут уж и пост, повыше только немного, на самой горе.

— Терпение, Вера Александровна, терпение! — крикнул ей офицер и, обратясь к едущему позади всех солдату, спросил:

— Сколько у вас тут верст считается от города до поста?

— Да, должно, верст 38, а то и 40. Доподлинно никто не знает. Не мерено. Сказывают — 38, а столько ли или нет,— неизвестно.

Офицер достал часы и взглянул на них.

— Ого, шестой час, а мы выехали в половине одиннадцатого. Уже семь с половиной часов едем.

— Дорога-с, ваше благородие, такая, рысью не погонишь, все шагом; да и то полным-то шагом не везде иттить можно, оттого-то так и долго.

Все опять замолкли.

Прошло еще с полчаса. Вдали послышался переливистый лай множества собак, и вскоре перед глазами путников развернулось большое курдинское селение Амбу-Даг, состояв-

шее из ряда землянок и небольших, похожих скорее на берлогу, чем на человеческое жилье, каменных хижин. Камни, из которых были выведены толстые стены, лежали друг на друге, держась только своей тяжестью и тяжестью придавливающей их земляной крыши, ничем не сплоченные, даже не обмазанные глиной. Несмотря на мороз и снег, целая орава полуголых ребят копошилась на плоских крышах, среди косматых, скелетообразных и злобно-трусливых собак. Тут же сновали и взрослые курды, мужчины и женщины, одетые в пестрые, яркие, донельзя грязные лохмотья.

— Где же пост? — подумала Вера Александровна, ища глазами постройку, похожую на то, что в ее уме соединялось с понятием о казарме. Она уже собиралась было опять спросить солдата, но нечеловеческая усталость сковала ей язык.

— Ах, все равно, будем тащиться, когда-нибудь дотащимся! — с безнадежным отчаянием подумала она, склоняя на грудь нестерпимо разболевшуюся голову.

— Вот, сударыня, и пост,— обернулся к ней солдат, концом плети показывая на вершину горы, пирамидально возвышавшуюся впереди за селением.

— Где? — встрепенулась Вера Александровна.

— А вон, вон, чуть чернеется, дымок вьется, вот там, на вершинке.

Но напрасно старалась Вера Александровна проследить глазами по указанию солдата, она ничего не видела, кроме белых, холодных, снежных вершин, слегка окутываемых сгущающимися сумерками.

— Я ничего не вижу,— с досадным разочарованием произнесла она наконец,— да это все равно, ты только поезжай, ради бога, скорей.

Обогнув селение, всадники свернули на едва протоптанную тропинку, почти отвесно подымающуюся вверх. Солдаты, приподнявшись на стремена, припали к гривам лошадей и замахали нагайками.

Лошади, увязая по брюхо в снег, неровными, отрывистыми скачками, как-то боком, принялись торопливо карабкаться, тяжело дыша и широко раздувая ноздри. Сидя на седле, чувствовалось, как напрягаются все мускулы, все жилы животного, как оно выбивается из сил, преодолевая трудность пути... Вот еще, еще немного, и они въезжают на площадку, за которой бесформенной массой, в быстро

спустившихся сумерках, вырисовываются стены поста-крепости с бревенчатой вышкой над прочно окованными воротами.

Несколько штук разношерстных собак с громким, яростным лаем бросаются им навстречу.

— Кто едет? — раздается суровый оклик часового.

— Новый командир,— возвещает передовой объездчик и рысью спешит к посту поскорее предупредить о приезде начальства.

— Вахмистра, старшего! — слышатся тревожно торопливые голоса. Стучат тяжелые солдатские сапоги, и на площадку один за другим выбегают стражники и объездчики, кто в полушубке, кто в мундире; суетливо застегиваясь и обдергиваясь на бегу, торопливо выстраиваются в одну линию, лицом к подъезжающим.

— Смирно-о-о! — раздается зычная команда, и из полумрака выступает коренастая фигура, с широкой бородой, в мундире, фуражке, с шашкой через плечо и серебряными нашивками на рукаве.

— Ваше благородие, на посту Амбу-Даг все обстоит благополучно, происшествий никаких не случалось,— басит вахмистр, в то же время зорко оглядывая нового командира, стараясь по первым приметам угадать, каков-то он будет впоследствии.

Вера Александровна была в таком состоянии, что солдаты должны были снять ее с седла на руках. Она шаталась как пьяная и едва могла переступать.

Голова ее кружилась, словно бы после морской качки, она машинально двигалась, не видя ничего перед собой, и только, войдя в квартиру, несколько опомнилась и оглянулась.

Освещаемая тусклой лампочкой, которую держал солдат, квартира выглядела весьма уныло. Низкие потолки, крошечные комнаты без обоев, железные решетки в окнах и какой-то особенный, неприятный угарный запах делали ее крайне неуютной.

— Точно тюрьма,— мелькнуло в голове Веры Александровны, но, измученная восьмичасовым путешествием на седле, в непривычной позе, она рада была и такому помещению, лишь бы поскорее сесть и вытянуть окоченевшие, за-

текшие ноги. Ее только беспокоил незнакомый, неприятный запах какой-то гари, назойливо лезший в нос и туманивший голову.

— Отчего это такой запах? — спросила она стоявшего перед ней солдата; тот покрутил носом, но промолчал, недоумевая, о каком запахе спрашивает барыня.

— От кизяка-с*,— отозвался вахмистр, помогавший тем временем раскутывать принесенного им на руках ребенка.

Это был мальчик лет восьми; белокурый, голубоглазый, с тонкими, красивыми чертами лица и вдумчивым выражением.

Освободившись от стеснявших его одежд, он торопливо подбежал к матери, обхватил ее шею руками и принялся горячо целовать в глаза, в губы и обе щеки, тихо приговаривая:

— Целый день не целовал, целый день не целовал.

— Ну, будет-будет, Митя, не тормоши меня, я и то едва жива,— ласково погладила его Вера Александровна по головке,— скажи лучше, ты, наверно, очень кушать хочешь?

— Хочу, мама, очень хочу,— сознался мальчик,— я уже по дороге проголодался, да молчал.

— Ты у меня умник,— с бесконечной любовью, заглядывая в лицо сына, произнесла Вера Александровна,— за это тебе сейчас молоко будет, вкусное, превкусное.

— Послушайте,— обратилась она к солдату,— как вас зовут?

— Зинченко, сударыня,— ответил тот, несколько изумленный непривычным «вы».

— Ну, так вот, Зинченко, нате вам деньги, сходите в селение, принесите молока и десяток яиц.

— Молока теперь, сударыня, достать нельзя, раньше, как завтра утром, не будет,— отвечал Зинченко.

— Как нельзя? Почему?

— Курды, сударыня, зимой раз в день доят, по утрам только и сейчас же в турсуки** сливают, чтобы, значит,

---

* Кизяк — бараний и коровий помет, употребляемый, после особого приготовления, в топливо.

** Турсуки — кожаные мешки, в которые сливается молоко, причем баранье смешивается с коровьим. В этих мешках молоко бродит, и получается котых, так как мешки эти никогда не прополаскиваются, то и котых получает особенный, нестерпимый запах плесени и гнили; он отвратителен, хотя, будучи приготовлен чисто, в хорошей посуде, по вкусу не уступает нашей простокваше.

квасить его; свежего молока они не потребляют, а только котых, котыха же вы кушать не станете, с непривычки от него даже с души прет.

— Как же быть? ну, хоть яиц принесите!

— Яиц, сударыня, теперь во всей деревне ни одного нет, курдинские куры под небом живут, все равно, что дикие, они давным-давно носиться перестали.

— Как же так? — искренно изумилась Вера Александровна.— Неужели же так-таки ничего и нет? Ну, а вы сами что же кушаете?

— Мы-с, обнаковенно што, щи с бараниной варим, а летом борщ, чего ж больше.

— Господи! да неужели ж ничего нельзя достать? Ведь Митя кушать хочет.

— Петр Петрович,— с раздражением обратилась она к мужу,— слышите, говорят, ничего достать нельзя.

— Что делать, à la guerre comme à la geurre*,— развел тот руками,— я тут уже ничем пособить не могу; впрочем, я кое-что захватил из города. Вот,— и, говоря так, он вытащил из лежавших у его ног хурджин** бутылку водки «Сараджева», четыре бутылки вина, кусок крепкой, как камень, копченой колбасы, проданной ему в Инджире под фирмой «московской», и обломок швейцарского сыра,— теперь бы только рюмку, стаканы и хлеба. Хлеб-то, наверно, найдется.

Жена молча следила за всеми его движениями.

— Это все, что вы привезли? — спросила она холодно.— А булки, закуски, чай, сахар? Ведь я, кажется, просила вас позаботиться об этом?

— Царица, прости,— с театральным жестом воскликнул Петр Петрович,— забыл, казни меня аллах, забыл, заболтался с нашим доктором, тут еще подошла компания, зашли в лавку, выпили, закусили, опять выпили, а тут ты присылаешь, торопишь ехать, я заспешил и забыл, на дороге только вспомнил, но молчал, нарочито молчал, не хотел усугубить твоих страданий, к тому же, признаться, я надеялся достать что-нибудь здесь на месте. Посуди сама, селение, как значится, с пятьюстами душ обоего пола, и, чтобы молока и яиц не было, это ужасно, не может быть.

---

* на войне как на войне *(франц.)*.

** Хурджины — ковровые переметные сумки.

Эй, ты! — обратился он к солдату.— Нечего тебе с барыней тут зубы точить, марш в деревню, и чтобы через полчаса у меня были молоко и яйца, понял? — без них не смей и на глаза являться.

— Слушаю-с, разве у старшины попытать у Худады, ежели ж у него не найдется, то, стало быть, ни у кого нет.

— Хоть у самого черта, но чтоб было. Слышишь? — добавил Петр Петрович, строго обращаясь уже к самому вахмистру.

— Слушаю-с, будет,— успокоительно произнес тот и, скосив глаза на Зинченка, грозно и многозначительно добавил:— Ну, чего стоишь?

Зинченко мигом исчез.

По уходе его, Вера Александровна тяжело поднялась с дивана и начала раздеваться. Размотала платок, сняла папаху, башлык и шубку. Избавившись от лишней одежды, уродовавшей ее фигуру, она сразу помолодела. Это была женщина лет 28, высокого роста, грациозная, с тонкими чертами красивого, благородного лица, с большими карими глазами и пышными волосами. Она была стройна и грациозна, как девушка, все ее движения были полны того изящества, которое дается только хорошим воспитанием.

— Вот, сударыня, нашел,— торжествующе возгласил Зинченко, торопливо входя в комнату с глиняным горшком в руках и ставя его на стол.— Два фунта* молока и десяток яиц.

— Ну, слава богу,— облегченно вздохнула Вера Александровна,— спасибо тебе, голубчик.

Она поспешно подошла к столу, заглянула в горшок, но тотчас же с ужасом отшатнулась.

— Что это такое? разве же это молоко?

— Так точно, молоко,— не без некоторого удивления подтвердил Зинченко.

— Но, боже мой, почему оно такое ужасное? Это помои, а не молоко.

— У них, сударыня, повсегда такое, больно уж народ-то не чистый, одно слово — курда́.

Видя испуг жены, Петр Петрович в свою очередь с любопытством заглянул в кринку.

---

* В Закавказье все продается на вес: пуд дров, фунт молока, полпуда вина и т. п.

— Гм... да...— многозначительно проговорил он и невольно сплюнул.— Тьфу ты, мерзость какая!

В молоке, принесенном Зинченком, плавали целые клочья шерсти, кусочки кизяка, какие-то насекомые, от пыли и грязи оно сверху было совершенно мутно-серого цвета, и ко всему этому запах его был отвратителен; не только пить, но и нюхать его было тошно.

— Господи, куда мы заехали? — всплеснула руками Вера Александровна, и крупные слезы полились из ее глаз. Увидя мать свою плачущей, Митя бросился к ней, обхватил за талию, спрятал личико в складки ее платья и разразился горькими рыданиями.

— Ну, началась семейная симфония,— досадливо махнул Петр Петрович рукой,— завели шарманку.

«Свет — не без добрых людей»,— говорит пословица. Таким добрым человеком для Веры Александровны Тубичевой оказался Зинченко. Тронутый ее слезами и беспомощностью, ее ласковым обращением, он с первого же дня принял горячее участие в судьбе «новой барыни».

С его помощью, дня через три, была приобретена корова, похожая, впрочем, скорее на привидение, чем на живое существо, до такого состояния довел ее ее прежний хозяин, как и прочие курды, почти что не кормивший своей скотины в течение всей зимы, почему курдинский скот к весне и представляет собою едва-едва волочащие ноги скелеты.

За коровой появились куры. Куры эти, более дикие, чем куропатки, имели весьма жалкий вид. Растрепанные, всклокоченные, с хроническим ужасом в глазах, они, попав в курятник, долгое время не решались даже притронуться к пище и трепетали всем телом, готовые расшибиться об стену всякий раз, как Зинченке приходила охота навестить их в их заключении.

По совету того же Зинченко, на другой же день по приезде Тубичевых на пост, были посланы в город Инджир два объездчика с вьючным катером за покупками. Зинченко, бывший ранее того в денщиках у прежнего офицера, а потому человек опытный, собственноручно составил длинный «эрестик». Тут были и макароны, и рис, и крупа, и мука, и горчица, и масло, словом, множество предметов, необходимых для хозяйства. Петр Петрович, увидя «эрестик», полюбопытствовал просмотреть его.

— Что ж ты, дурак, водки и вина не записал? — укорил

он Зинченко и собственноручно вписал: 12 бутылок вина белого, 4 бутылки водки «Сараджева». Он хотел было прибавить еще 1 бутылку коньяку, но Вера Александровна, увидя эту приписку, молча и энергично вычеркнула коньяк.

— Довольно с вас,— сухо произнесла она,— вы, кажется, собираетесь спиться на этом милом Амбу-Даге.

— Jamais de ma vie, madame!*— галантно поклонился тот.

Провожая посланных, Зинченко уже от себя строго-настрого приказал им поскорее возвращаться. Исполняя его приказание, те на другой же день утром были на посту, в точности исполнив все поручения. Только вместо 12 бутылок вина сдали лишь десять. Две оказались разбитыми по дороге. Зинченко, сам себя определивший в денщики к Тубичевым, только укоризненно покосился, принимая из рук солдат бутылки с вином. Справедливость требует добавить, что и впоследствии, сколько раз ни ездили солдаты, те или другие, в город за вином, никогда не случалось, чтобы две бутылки не были разбиты. Впрочем, только один раз разбилось три бутылки, но тогда в город ездило не двое, а трое.

Уныние, овладевшее Верой Александровной с первого же дня ее приезда на Амбу-Даг, никогда больше не покидало ее. Днем, за мелкими хлопотами по хозяйству, она немного забывалась, но после обеда, когда насущные повседневные заботы прекращались, ее охватывала невыразимая тоска.

В эти минуты сами стены ее квартиры делались ей ненавистны, как тюрьма, и она, не находя себе места, торопливо надевала шубку, платок на голову и в сопровождении Мити выходила на площадку перед кордоном. Там она принималась медленно бродить взад и вперед, стараясь физической усталостью угомонить боль сердца. По временам она останавливалась и подолгу бесцельно глядела на расстилающуюся перед ней унылую картину засыпанных снегом, мертвенно-молчаливых гор, с налегшими на их вершины свинцовыми тучами. Длинные, гигантские тени мрачно ложатся кругом, нигде не слышно ни единого звука, точно все умерло и застыло в своем мертвенном покое. Ничего яркого, живого, только там, глубоко внизу, на далеком горизонте,

* Никогда в жизни, мадам! *(франц.)*

над залитой солнцем равниной, весело синеет безоблачное небо. Только там и живут, радуются, веселятся, а здесь — здесь можно лишь медленно умирать.

— Мама, отчего солнца никогда нет? — робко спрашивал ее Митя, удивляясь тому, что с самого их приезда на Амбу-Даг он не видел ни одного солнечного луча.

— Потому что мы в могиле,— грустно отвечала ему Вера Александровна.

Но если было тяжело и уныло в обыкновенные дни, то тогда, когда подымалась вьюга, положение обитателей Амбу-Дага делалось еще нестерпимее.

Снег в горах шел не часами, а целыми сутками подряд. Днем и ночью с убийственным однообразием мелькали перед глазами хлопья снега, неудержимые, неотвратимые, как сама судьба. Медленно крутясь в воздухе, падали они, мягко и неслышно устилая землю и навевая огромные сугробы. В такие дни тоска Веры Александровны доходила до исступления. Она бросалась на кровать, зарывалась лицом в подушки и лежала недвижно по целым часам; ей казалось, будто снег падает непосредственно ей на голову, насыпая над ней огромный могильный холм. Она не решалась взглянуть в окно, чтобы не видеть этой волнующейся, непроницаемой пелены, заполнявшей всю вселенную и доводившую ее до умоисступления. Только присутствие Мити несколько ободряло ее, ей легче было, когда мальчик взбирался к ней на кровать и своим личиком прислонялся к ее лицу. Она нежно обнимала его и, крепко прижимая к себе, шептала ему самые ласковые названия, какие только могли прийти ей на ум.

Чтобы не очутиться совершенно засыпанными снегом, солдаты во время метели каждое утро вылезали через слуховые окна и лопатами принимались откидывать огромные заносы, образовавшиеся за ночь около дверей. Сообщение не только с деревней, но даже с колодцем, находившимся всего в нескольких саженях, прекращалось; дальше ворот нельзя было пробраться через горы нанесенного снега. Лошадей поили талым снегом, в самовары и в котел шел тот же снег. Обреченные на невольное бездействие, солдаты, как сурки, спали без просыпу, с вечера до утра и с утра до вечера. Только изредка, по вечерам, они собирались в кружок и вполголоса пели унылые хохлацкие песни. Это пение, глухо доносившееся через стену, разрывало Вере Александровне

сердце. Ей казалось, будто она лежит на дне раскрытой могилы и ее отпевают невидимые духи. Несколько раз покушалась она послать Зинченко попросить их замолчать, но всякий раз ей становилось совестно отнять у них это последнее развлечение.

— Им тоже не легко,— думала она,— как должны тосковать они о доме, о своих близких, в такие унылые вечера.

К довершению горя, в такие дни Петр Петрович пил гораздо больше обыкновенного.

По натуре своей веселый, общительный, любивший компанию и считавшийся душой общества в полку, где он прежде служил и который должен был оставить по случайному обстоятельству, он не выносил одиночества и однообразия подобной жизни. Если бы еще была какая-нибудь служба, но какая служба может быть зимой на линии вечных снегов, когда даже волки покидают горы и спускаются вниз поближе к селению, когда прекращается всякое сообщение между разбросанными в горах курдинскими зимовниками и все и вся погружается в зимнюю спячку.

Немытый, нечесаный, в расстегнутом на груди полушубке без погон, в бурочных сапогах, слоняется Петр Петрович из угла в угол по крошечной квартире, тяжело вздыхая и то и дело останавливаясь перед шкапчиком, где у него стоит бутылка и рюмка. После целого ряда таких остановок, он, совершенно отяжелевший, колеблющейся походкой отправляется в спальню, не раздеваясь бросается на постель и засыпает мертвым сном. Приходит Зинченко, осторожно стаскивает с него сапоги и одежду, укладывает поудобнее и с заботливостью няньки укутывает одеялом.

А снег все валит и валит.

Когда, наконец, он утихал, солдаты немедленно принимались протаптывать тропинку от ворот поста к селению, откуда уже шла постоянная дорога в Инджир, служившая единственным путем сообщения Амбу-Дага с остальной вселенной.

Приемы, к которым прибегали при этом протаптывании, были весьма оригинальны и на первый раз заинтересовали Веру Александровну.

Прежде всего, расчистили лопатками двор и площадку, на что ушло немало времени, затем вывели из конюшни всех лошадей, которых на посту было десять. Часть солдат вскочила в седла и выстроилась один в затылок другому,

остальные, пешие, с лопатами в руках, столпились сзади.

— Ну, что, готовы, что ли? — крикнул вахмистр.— С богом, трогай, Лещук!

Лещук, рослый, молодцеватый объездчик, ударил плетью коня и двинулся вперед, прямо в сугроб, высокой стеной со всех сторон окаймлявший площадку. Со второго шага лошадь его провалилась по брюхо и начала отчаянно биться. Подбадриваемая ударами плети, она, храпя и фыркая, неровными, напряженными прыжками рвалась вперед, то и дело падая на колени, снова вскакивая и разбивая грудью толщу снега. Пар валил с нее клубами. Следом двинулись остальные объездчики, уминая и утаптывая тяжестью своих лошадей проложенную первым конем тропинку.

— Стой, Лещук, будет! — крикнул вахмистр, следивший за работой с края площадки.— Пропусти вперед Пономаренко, а сам сзади становись, дай вздохнуть коню.

Чернявый сухопарый объездчик на рослой тяжелой кобылице, ехавший последним номером, с трудом протискался вперед и с удалым возгласом: «Эй ты, Матрена, пошевеливайся!» — с размаху врезался грудью лошади в снег.

Сменяя друг друга, медленно, шаг за шагом, с большими усилиями подвигались объездчики вперед. Лошади их потемнели от пота, тяжело и хрипло дышали, у более слабых ноги тряслись, как в лихорадке, а бока бились часто и трепетно. Пешие, следуя за конными, лопатами довершали их работу, расширяя и разравнивая пробиваемую лошадьми дорожку.

После нескольких часов нечеловеческих усилий изнемогающие от усталости, выбившиеся из сил люди и лошади выкарабкались наконец к нижней тропинке под селением: дело было сделано, и Амбу-Даг снова входил в сообщение с остальным божьим миром впредь до новой метели, которая, впрочем, могла начаться через каких-нибудь 2—3 часа.

Медленной, монотонной вереницей тянулись однообразные дни, за днями — недели, за неделями — месяцы. Вера Александровна жила, как на необитаемом острове, не видя постороннего лица человеческого. Соседний офицер жил за двадцать верст, и зимой всякое сообщение с его кордоном прерывалось, из города приехать было некому, только горе могло погнать по таким убийственным горным тропинкам,

где на каждом шагу можно было рисковать свернуть себе шею. Самой ехать в город у Веры Александровны не хватало духу,— слишком живо и ярко было воспоминание о том страдании, которое она претерпела, когда первый раз ехала на Амбу-Даг, сидя верхом по-мужски на широкой, жесткой подушке казачьего седла. Шутка сказать, семь-восемь часов тащиться медленным шагом, то карабкаясь вверх, то сползая вниз... нет, нет, это было слишком ужасно и исполнимо только при безвыходной крайности, например в случае перевода в другой отряд.

Одиночество Веры Александровны усугублялось еще и тем, что муж ее все чаще и чаще, под предлогом разъездов по отряду, исчезал из дома, сначала дня на 2, на 3, а затем все на бóльшие и бóльшие сроки. Ему не сиделось дома, в Инджире стоял пластунский батальон, и было нечто вроде офицерского клуба, где всегда можно было найти веселого собутыльника.

Единственным компаньоном и собеседником Веры Александровны был Митя. На него жизнь в Амбу-Даге тоже положила свою печать — он сделался не по летам задумчивым и молчаливым.

— Помнишь, Митя,— говорила Вера Александровна,— тетю Неелову? Мы так не любили, когда она приходила, теперь бы и ей рады были. Не правда ли, мой мальчик?

— Да, мама, я сам соскучился по ней,— серьезно соглашался Митя и затем добавлял: — А долго мы проживем здесь?

— Бог знает, во всяком случае, несколько лет, пока не переведут в другой отряд, да и в другом отряде, пожалуй, не лучше будет. Да, Митя, так, как жили мы в полку, нам уже никогда не жить. Помнишь, как было весело, как мы с тобой ходили в парк на музыку, как много было там детей, помнишь?

— Помню,— уныло, кивая головой, говорил Митя.

— А помнишь, как мы ходили с тобой смотреть парад, помнишь нашего дядю Висю? а дядю Шашу? Помнишь, как они ласкали тебя?

— Дядя Шаша лучше, чем дядя Вися. Дядя Вися всегда дразнил меня.

— Это он шутя, нет, они оба славные. Ах, Митя, Митя, неужели все это прошло навсегда?

— Надо молиться боженьке,— серьезно и вдумчиво произносил Митя,— он захочет, и мы опять уедем отсюда.

— Нет, Митя, прежнего уже не вернешь никогда.

Все эти разговоры и воспоминания в конце концов еще больше расстраивали Веру Александровну, и она начинала тихо плакать. Митя тотчас же взбирался ей на колена и, обняв ручонками за шею, ласково прижимался своими пухлыми щечками к ее лицу.

В одну из таких минут вошедший Зинченко доложил о приходе старшины и почетных стариков селения.

— Но ведь барина же нет дома,— сказала Вера Александровна,— пусть придут, когда командир вернется.

— Они к вам пришли,— ухмыльнулся Зинченко,— а не к их благородию.

— Ко мне? — изумилась Вера Александровна.— Зачем, что им надо?

— Навестить, стало быть, поздравить с новосельем, извольте уже, сударыня, принять их, а то обидятся, все же как-никак суседи.

— Да я ничего против этого не имею, зови, пожалуй,— разрешила Вера Александровна, и, когда Зинченко вышел, она, как некогда в городе перед приемом гостей, мельком оглянула себя в зеркало, привычным жестом оправляя прическу и платье.

Через минуту в комнату вошло шесть человек курдов, под предводительством высокого седого старика, с бритым лицом и длинными сивыми усами. На груди его болталась медная бляха — знак его старшинского достоинства. Звали его Худада, рядом с ним стоял сутуловатый, худощавый курд, с багровым шрамом на лице, общинный судья Каро, за ним — жрец, или, как он себя называл, изидский священник, Бабай, и два почетных старика, Азак и Нубэк, шестой — невзрачный, хромоногий, с обрубленным левым ухом, скромно ютился позади всех, держась ближе к дверям и изображая собою не то свиту, не то статиста без речей.

Вере Александровне первый раз в жизни довелось видеть курдов так близко, а потому она не без любопытства разглядывала своих гостей, невольно любуясь их стройностью, благородной, горделивой осанкой, их сильно развитой мускулатурой. Все это были старики, но черные, огненные глаза их сверкали, как у юношей, а белизной и крепостью зубов они могли поспорить с волками, с которыми имели сходство

всей своей повадкой. Недаром персы окрестили их «кюрдами»*. Одеты они были в красные, расшитые галунами куртки поверх шелковых жилетов и широкие шаровары. Ноги были обмотаны белыми шерстяными свивальниками и обуты в кожаные чусты, поддерживаемые на ногах черными тесемочками. На головах у них были надвинуты огромные чалмы из искусно перевитых, шелковых пестрых платков, с напущенной на лоб и глаза бахромою. За широкими шерстяными поясами ярких цветов, концы которых спускались почти до земли, был засунут целый арсенал всякого оружия. Тут были и кинжалы, и ятаганы, и пистолеты, и револьверы. Как рукоятки, так и ножны были богато украшены серебром с изящной чеканкой и насечкой.

В руках старшина и судья держали по молоденькому, белоснежному барашку, которых они тут же и передали Зинченко со словами:

— Вот, барыня, тебе от нас бешкеш**, на новом месте пусть от этих барашков пойдет тебе богатство***. Как белы и чисты эти барашки, так чисты и белы наши мысли и чувства перед тобой и перед султаном****, твоим мужем.

— Благодарю вас,— сконфузилась немного Вера Александровна, не зная хорошенько, что ей делать дальше: дать ли «на чай», как бы она это сделала у себя в центральной России, или пригласить гостей садиться. Пока она колебалась, курды сами, без приглашения, придвинули стулья и уселись против нее в кружок, строго соблюдая старшинство между собой; только корноухий статист, он же почетный конвой, остался по-прежнему у дверей и стоял, не спуская глаз со старшины.

— Ну, как у нас вам нравится? — начал Худада невозможно ломанным языком, но тоном кавалера-визитера, занимающего свою даму.— Не правда ли, очень холодно? В Инджире гораздо теплее, Инджирь хороший город, но гораздо хуже Типлиса. Твой Типлись бывал?

Закончил он вопросом свою тираду, из которой Вера Александровна не поняла и половины.

---

* Кюрд по-фарсиски — волк.

** Бешкеш — подарок.

*** Курды — пастушье племя, живут, главным образом, овцеводством.

**** Султан — офицер.

— Проездом,— ответила та,— но Тифлис мне не нравится. Он гораздо хуже других русских городов.

— О, да хуж Москов, Москов лучшь,— закивал головой Худада,— мой бивал Москов, очень лучшь горда.

— Вы были в Москве? — удивилась Вера Александровна.— Когда?

— Когда царь корон надевал, мой давно старшин, нас тогда старшин много биль Москов, большой тамаша* биль, очень большой.

Пока Худада беседовал таким образом с Верой Александровной, остальные гости, не понимавшие ни слова по-русски, хранили упорное молчание и сидели важно и чинно, в упор глядя в лицо хозяйке.

— Мой будет курить,— перебил вдруг сам себя Худада и полез в карман за кисетом и табаком. Остальные тотчас последовали его примеру, и через минуту комната наполнилась нестерпимым зловонием отвратительнейшего дешевого турецкого табака, перед которым даже наша пресловутая махорка могла показаться благоухающей.

Вера Александровна жестоко закашлялась и поспешила поднести надушенный платок к носу.

— Что же они не уходят? — думала она, глядя с тоской на своих гостей и чувствуя, как начинает задыхаться в этой тяжелой атмосфере человеческого пота, запаха заношенной одежды и табачного смрада; ошеломленная всем этим, она уже потеряла всякую способность понимать исковерканную речь Худады, продолжавшего с жаром свое повествование о Москве, и только бессмысленно кивала головой, обдумывая, как бы ей поскорее отделаться от таких оригинальных визитеров. Но курды, очевидно, чего-то ждали и потому не уходили. В эту минуту вошел Зинченко и внес шесть стаканов чая и тарелку грубо нарезанных ломтей черного хлеба. Курды чинно, степенно и опять же с соблюдением старшинства разобрали стаканы и хлеб и принялись неторопливо утолять свой аппетит, пользуясь собственными коленями, как чайными столиками. Разговор на время замолк. Вера Александровна сидела как на иголках, едва-едва превозмогая в себе страстное желание бежать без оглядки.

Выпив по два стакана и утерев усы рукавами, курды слегка привстали и, приложив ладони к сердцу, отвесили

---

* Тамаша — праздник торжества.

хозяйке по низкому поклону. Вере Александровне показалось, будто они собирались уходить, она страшно обрадовалась и сама торопливо поднялась с дивана, но, к величайшему ее разочарованию, старшины вновь расселись по стульям, и Худада уже собирался снова начать свой бесконечный рассказ, но тут произошел неожиданный инцидент, разом положивший конец этому нелепому визиту. Не успел Худада разинуть рот, как сидевший по левой руке его жрец Бабай почувствовал у себя на ребрах знакомый зуд. Не долго думая, он хладнокровнейшим образом распахнул на волосатой темно-бронзовой груди рубаху и, далеко запустив за пазуху всю пятерню, начал с наслаждением скрестись ею по ребрам. После этого, вторым приемом, он осторожно и бережно вытащил что-то крепко зажатое между пальцами, внимательно освидетельствовал свою добычу и затем с невозмутимым видом приступил к совершению законного правосудия над дерзкими нарушителями покоя его священной особы.

Вера Александровна вскрикнула и, зажав рот платком, пулей вылетела из комнаты. Курды, удивленные такой стремительностью и далекие от понимания ее истинной причины, с недоумением посмотрели ей вслед. Прождав напрасно минут пять возвращения хозяйки дома, они догадались наконец, что аудиенция кончена, встали, вежливо поклонились дверям, за которыми исчезла Вера Александровна, и затем неторопливо, один за другим, вышли из комнаты.

По их уходу, Зинченко, несмотря на сильный мороз, распахнул в квартире все форточки, и, пока они были открыты, Вера Александровна с Митей сидели на кухне, будучи не в силах прийти в себя от визита амбудагской аристократии.

По мере того как шло время, оно не приносило Вере Александровне успокоения, напротив, тоска ее росла все больше и больше.

Единственным утешением были письма, получаемые ею от родных и знакомых. Почта приходила в Инджирь два раза в неделю, по понедельникам и средам, и в тот же день письма и газеты, адресованные офицерам, отправлялись по границе от поста до поста. На Амбу-Даг по расписанию корреспонденция должна была приходить в 4 часа дня во вторник и четверг, но она всегда опаздывала.

В эти дни Вера Александровна с утра находилась в ажитации и по нескольку раз выбегала за ворота и подолгу стояла, всматриваясь вдаль, не видать ли едущих с почтовыми сумками объездчиков. В первое время по приезде в Амбу-Даг она с каждой почтой получала по нескольку писем от своих «однополчанок», жен офицеров того полка, где служил Тубичев,— со многими из которых она была очень дружна.

Вера Александровна с упоением по нескольку раз прочитывала эти письма, каждая мелочь несказанно интересовала ее. Она жила жизнью своих подруг, радовалась их радостям, печалилась по поводу их горестей, негодовала, узнавая о чьем-нибудь дурном поступке, от души хохотала над сообщаемыми курьезами и анекдотами из их жизни, словом, всецело жила интересами родного полка. Петр Петрович относился гораздо индифферентнее, в нем уже пробуждался патриотизм новой своей части, а полк делался ему все более и более чуждым.

Однако подруги недолго баловали Веру Александровну известиями о себе. Письма получались все реже и реже и становились все короче и бессодержательнее. Напрасно Вера Александровна, с отчаянием утопающего, писала длинные, горячие письма своим друзьям, умоляя не забывать ее и писать почаще, письма ее оставались в большинстве случаев без отклика. Время беспощадно стирало ее образ в памяти людей, бывших еще так недавно ей столь близкими. Вера Александровна глубоко страдала от этого и долго не могла примириться с таким обстоятельством, но в конце концов принуждена была смириться и сразу и круто прекратила всякую переписку. Ее знакомые точно обрадовались этому и с трогательным единодушием предали ее забвению.

Так поступают провожающие на кладбище своего ближнего. Пока мертвец на поверхности земли, с ним церемонятся, делают серьезно-печальные мины, вздыхают, удерживаются от посторонних разговоров, но вот гроб уже спущен в яму, под усилием нескольких проворных лопат намогильный холм быстро растет, а вместе с этим у всех отлегает от сердца; лица проясняются, появляются улыбки, слышатся шутки, смех, и провожатели торопливо расходятся, спеша предоставить покойника его уединению.

Не знаю, насколько неприятно быть забытым после смерти, об этом надо спросить покойников, но подвергнуться

этому еще заживо — нестерпимо грустно; хуже этого едва ли что может быть на свете.

После писем оставались еще газеты, до которых Вера Александровна, живя в городе, была большая охотница, живо интересуясь мировыми вопросами, за что́ слыла среди знакомых за «умную барыньку», но теперь, получая газеты на 15-й день по выходе, Вера Александровна очень скоро потеряла к ним вкус, да и смешно было интересоваться избирательной борьбой в палате депутатов города Парижа, сидя на Амбу-Даге, на линии вечных снегов, вдали даже от такого города, как Инджирь.

Вера Александровна и газеты перестала читать.

— Запить, что ли? — с злобной иронией думала она иногда.— Вот муж пьет и уверяет, будто ему от этого легче, право, если бы у меня Мити не было, я или бы отравилась, или бы запила. Все равно один конец, не хуже и не лучше будет.

Неприглядная, осенняя ночь. Беспросветный мрак, какой бывает только в горах, когда, сидя верхом на лошади, не видишь ее ушей, заполнил собой всю окрестность, закутав ее черным, густым саваном. Холодный ветер, с пронзительным воем, вырываясь из ущелий, гуляет по вершинам, оживляя мрак ночи целой симфонией голосов, то грустно-жалобных, то грозно-могучих; все горы полны этими воплями и стонами. Нет того уголка, той щели, где бы не раздавались дикие рулады разбушевавшегося ветра. Он, как обезумевший дух, неистово носится над глубокими пропастями, с размаха ударяется о каменную грудь утесов, рвет и мечет, не находя себе успокоения. Все живое ушло, спряталось, приникло,— люди в своих жалких землянках, звери в норах и пещерах.

На кордоне Амбу-Даг — мертвая тишина и беспробудный сон. Не высланные в секреты солдаты крепко спят в казармах на деревянных нарах, вповалку, тесно прижавшись друг к другу и закутавшись с головой шинелями и полушубками. В конюшне дремлют усталые лошади. Только часовой с заряженным ружьем в руках, как черное привидение, мотается взад и вперед по площадке перед запертыми воротами кордона. Вдоль стен притулились чуткие постовые собаки и внимательно прислушиваются к вою ветра, готовые

каждую минуту вскочить на ноги и поднять оглушительный лай.

На офицерской половине тоже тишина и мрак, лишь в спальне горит лампа под зеленым абажуром. Вера Александровна, в белом капоте, с распущенными по плечам волосами, с мертвенно бледным, осунувшимся от бессонных ночей лицом, сидит в кресле подле кровати Мити и с тоской и страхом прислушивается к унылым завываниям ветра. Митя серьезно болен. Еще в пятницу утром он был совершенно здоров и весело бегал за кордоном с Танюшей, дочерью вахмистра, его ровесницей, но к вечеру ему стало что-то не по себе. Он притих, раньше обыкновения стал проситься лечь спать. Вера Александровна, однако, не придала этому особого значения. Просто мальчик набегался, устал, может быть, немного прозяб.

Выспится, согреется ночью и к утру все как рукой снимет. Но, против ожидания, на другое утро Митя не только не поправился, но ему стало значительно хуже. Открылся легкий жар, усилившийся к вечеру и перешедший в бред. Вера Александровна не на шутку перепугалась, и, по ее настоянию, Петр Петрович отправил двух объездчиков в город Инджирь с запиской к доктору, прося его приехать завтра пораньше. Это было в субботу вечером; объездчики должны были в воскресенье на рассвете быть в Инджире, таким образом доктор мог уже быть к обеду на Амбу-Даге, если только он поторопится. Но наступил обед, подошел вечер, ни доктора, ни объездчиков не было, а между тем Мите становилось все хуже и хуже.

До приезда доктора Вера Александровна попыталась было сама начать лечить Митю; у нее была прекрасная, по крайней мере по отзывам газет, книга «Домашний лечебник», и она с лихорадочной поспешностью принялась перелистывать ее, отыскивая описание болезни, подходившее к данному случаю, но с первых же строк она с ужасом убедилась в полной несостоятельности универсального лечебника. Почти все болезни имели те же симптомы, какие были у ее Мити. Жар, бред, колотье во всем теле, расстройство пищеварения, потеря аппетита, повышенная температура, учащенный пульс и т. д., и т. д. Притом из всех лекарств, предлагаемых лечебником, у нее под руками не было ни одного. Правда, на посту находилась отрядная аптечка, но это скорее была ирония, а не аптечка. Медикаменты, состав-

лявшие ее, относились к разряду самых невинных, как, например, мятные капли, сода, валерианка и т. п. пустяковина, употребляемая в тех случаях, когда с одинаковым успехом можно не употреблять ничего.

Отчаявшись в домашнем лечебнике и видя, что ни доктор не едет, ни объездчики не возвращаются, Вера Александровна потребовала от Петра Петровича, чтобы он, несмотря на ночь, ехал сам в Инджирь и во что бы то ни стало привез доктора. «Ребенок уже два дня лежит без всякой медицинской помощи, так дальше оставлять его нельзя — он может умереть».

Хотя Петр Петрович и был далек от мысли придавать серьезное значение болезни Мити, но тем не менее он тотчас же изъявил согласие. При всей своей безалаберности и склонности к кутежам, он в душе очень любил жену, ему было жалко видеть, как она страшно мучится и беспокоится, не спит по ночам, не ест и ни на минуту не отходит от постели сына.

К тому же и Митя ему был очень дорог, он любил его настолько, насколько была к тому способна его малосерьезная натура.

После отъезда мужа Вера Александровна еще сильнее почувствовала свое одиночество и беспомощность. Она села подле кровати сына, не спуская с него глаз, бессильная чем-либо облегчить его страдания. Все ее помыслы сосредоточились теперь на одном: скоро ли приедет доктор? Несколько раз она принималась высчитывать, во сколько часов Петр Петрович может доехать до Инджиря, сколько времени потребуется доктору, чтобы собраться и выехать из города, сколько часов употребят они на обратный путь, принимая во внимание утомление лошадей. По всем этим расчетам выходило, что раньше трех-четырех часов пополудни нельзя ждать их приезда. Между тем уже шли четвертые сутки, как Митя заболел.

— Вот они, эти проклятые расстояния и дороги,— ломала она в отчаянии руки,— на поездку в город и обратно надо два дня.

Доктор был казенный и не мог отказаться приехать, но могло случиться, что он был занят, в лазарете могли быть труднобольные, умирающие, подобных больных доктор не мог оставить на два дня, а поездка в Амбу-Даг отнимала именно такое количество времени. Что тогда будет с Митей?

Леденящий ужас охватывал Веру Александровну при такой мысли. Она бросалась на колени перед образом, благословением ее покойной матери, и принималась горячо, неистово молиться, ударяя себя в грудь и в истерическом припадке колотясь головой о холодные доски пола.

Эта ночь особенно была не хороша. Митя стонал, метался, всплескивал ручонками и хриплым жалобным голосом поминутно просил: «Пить, пить».

Замирая от ужаса, с сердцем, готовым разорваться на части, Вера Александровна осторожно подносила к его запекшимся губам стакан с лимонным питьем; Митя, не открывая глаз, жадно проглатывал несколько капель, благодаря ее слабой, жалкой улыбкой.

— Митя, сынок мой, радость моя, что с тобой, жизнь моя? — тихо шепчет Вера Александровна, наклоняясь над разгоревшимся личиком ребенка, а крупные слезы неудержимо струятся по ее щекам.

Ночь прошла, не принеся никакого облегчения. На рассвете вернулись посланные в субботу вечером первые два объездчика и доложили, что доктор приедет к вечеру. Он собрался приехать еще вчера, но привезли раненного в перестрелке с курдами солдата Пусианского отряда. Беднягу с раздробленным бедром везли на катере больше суток, перекинув, как куль, поперек седла; иного способа доставки раненых в город нет, на руках десятки верст не донесешь, а повозка по горным тропинкам не проедет, остается катер, как единственное средство в передвижениях.

С лихорадочным нетерпением принялась Вера Александровна поджидать доктора; внутренний голос ей говорил, что, если он сегодня не приедет, завтра уже будет поздно.

Солнце медленно склонялось за Амбу-Даг; ущелья и подошвы гор уже окутались в сумерки, только вершины были еще освещены; в комнатах царил полумрак. Вера Александровна зажгла лампу и снова подошла к постели Мити; мальчик лежал тихо, закрыв глаза, мертвенно бледный; две скорбные морщины залегли вокруг рта, какие-то неуловимые тени бродили по его лицу, придавая ему особенное, незнакомое ей выражение.

— Сударыня,— осторожно просовывая голову в дверь, шепотом доложил Зинченко,— доктор приехали, спрашивают, можно ли войти.

Вера Александровна так и всполохнулась вся.

— Где он? где? Зови скорей,— и, не дожидаясь, она опрометью бросилась навстречу доктору.

— Доктор, голубчик,— зашептала она, крепко стискивая руку сутуловатому, коренастому человеку в форме военного врача,— он умирает.

— Ну, полноте,— шутливо успокоил тот,— ох, уж вы, мамаши, мамаши, чуть ребенок прихворнул, вы уж его хороните, так не годится. Наверно, пустая простуда, и больше ничего. Вот мы сейчас посмотрим.

Говоря таким образом, он неторопливо и осторожно подошел к кровати, но при первом же взгляде на больного беспечная улыбка сбежала с лица доктора. Он нахмурился и поспешно начал изучать пульс; для него сразу стало все ясно, надежды не могло быть никакой; однако он нарочно медлил, не имея сил обернуться назад, где его приговора ждала трепещущая, пораженная ужасом мать, для которой со смертью ее единственного ребенка терялся всякий смысл в жизни.

Снова падает снег, покрывая своим мертвенным покровом вершины и гребни гор, заполняя пропасти и ущелья, заметая жалкие курдинские зимовники. Пятый день пост Амбу-Даг отрезан от всего мира и живет своей крохотной монотонной жизнью муравейника, заброшенного в пустыню.

Со дня смерти Мити прошло три года. Тубичевы попрежнему живут на Амбу-Даге, но теперь они уже примирились с своим положением, обжились и привыкли к окружающей их обстановке. Веру Александровну уже не томит, как первое время, тесный дворик казармы, с высокими стенами кругом, напоминающий глубокий и узкий колодезь, не пугают вечные стоны ветра, не страшит и бесконечная вереница монотонных, однообразных дней, ожидающая ее впереди. Ко всему этому она давным-давно привыкла, как привыкла к частым и долгим отлучкам мужа и его все усиливающейся пагубной страсти.

Садясь за стол, она уже не возмущается, не досадует, как прежде, видя, с какой жадностью он первым долгом набрасывается на водку, напротив, теперь она и сама не прочь поддержать ему компанию — и охотно выпивает две, три рюмки, не морщась и не содрогаясь.

Между собой Тубичевы почти не разговаривают, да и о чем говорить? Какие новости могут сообщить они один другому? Прежнее все переговорено, а нового нет и быть не может. Его городские кутежи и попойки ее не интересуют, все же постовые происшествия ей до мелочи известны, в той же степени, как и ему, и до омерзения надоели.

Конь Богатырь расковался и засек себе ногу, вахмистр напился пьян и подрался с женой, объездчик Ничипор упал с лошади в разъезде и сломал ножны шашки и т. д., и т. д., все в таком роде, с ничтожными, уныло повторяющимися вариациями.

Вечерами Вера Александровна зовет к себе иногда Аграфену Ивановну, жену вахмистра, играть в дурачки.

Тускло горит худо заправленная лампа с надколотым колпаком, скупо освещая царящий вокруг беспорядок: пыль и сор по углам, разбросанную по стульям одежду и пустые бутылки на подоконниках.

На одном конце стола, с которого еще не убраны остатки обеда, сидит Тубичев и лениво тянет стакан за стаканом кисловато-терпкое местное винцо. Он в неизменном своем, когда-то щегольском, теперь затасканном полушубке и стоптанных бурочных сапогах, с опухшим, бледным лицом и мутным взглядом.

На другом конце, ближе к лампе, сидит расплывшаяся, как квашня, Аграфена Ивановна в темном ситцевом платье и косынке на голове. Лицо ее хмуро и сосредоточенно. Она уже четыре раза подряд осталась дурой, и это ее огорчает. Пять лет тому назад муж, оставшись на сверхсрочной службе, выписал ее, тогда еще 25-летнюю бабенку, «с родины» вместе с семилетней дочуркой Танюшей. От природы веселая, разбитная, любившая погулять с товарками, сбегать к соседке «на минутку перекинуться словечком», Аграфена сначала страшно затосковала в проклятой «басурманщине», целыми днями ревела ревмя и грозилась сбежать, но беспощадное время взяло свое. Мало-помалу Аграфена разучилась петь и смеяться, перестала думать о веселье, забыла даже, как люди добрые в церковь божью ходят. Только браниться она стала звончее и с бо́льшей злобой и с какой-то угрюмой жестокостью постоянно колотила свою Танюшку, вымещая на ней досаду на «незадачливую жизнь».

С мужем у нее дня не проходило без ссоры, а подчас бывали и драки. Двое детей, которые родились у них на

Амбу-Даге, умерли в первые же месяцы по рождении, а больше уже и не было.

— Должно, зажирела ты дюже,— говорил вахмистр, с досадой глядя на Аграфену,— с того и детей у нас нет!

— А на кой их ляд? — равнодушно отмахивалась Аграфена.— Все равно в этой мурье пропали бы, нешто детям тут вод?

— Оно, конечно, што,— глубокомысленно замечал вахмистр и тут же умолкал, не докончив своей мысли.

Против Аграфены Ивановны, апатично и тупо следя за лежащими на столе засаленными картами и машинально угадывая их по примелькавшимся пятнам крапа и оборванным углам, на кресле помещается Вера Александровна. Она сильно постарела. Великолепные волосы ее, в которых уже сверкает немало серебряных нитей, небрежно скручены на затылке и едва держатся, пришпиленные кое-как обломком черепаховой гребенки. Некогда изящное лицо покраснело, обрюзгло и покрылось целою сетью морщинок, красивые, выразительные глаза потухли и смотрят апатично из-под густых и темных бровей. Одета она в засаленный шерстяной капот, с оборванными пуговками и прорехой на одном из рукавов; она ожесточенно курит папиросу за папиросой, изредка прихлебывая вино из захватанного стакана. Тарелка с орехами помещается тут же на столе...

Беседа не вяжется и ограничивается отрывистыми фразами, которыми перебрасываются между собой Вера Александровна и Аграфена по поводу идущей между ними игры.

Маятник на стенных часах вяло и монотонно тикает, как бы недоумевая, неужели требуется отмечать время в этой однообразной, мертвенно-сонливой жизни.

Сила любви

(Из былин войны)



Повесть

I

Яркое маньчжурское солнце нестерпимо жжет землю. В раскаленном воздухе не чувствуется ни малейшего дуновения ветерка. Вся природа как бы истомилась от зноя и притихла в томительном ожидании вечерней прохлады. Нигде ни звука... Только едва слышно журчит, струясь по камням, прозрачная горная речонка, стальной лентой прорезывающая ярко-зеленую долину, красиво раскинувшуюся между двумя горными хребтами, густо заросшими мелколесьем. Там, где долина суживается и сдавливающие ее горы образуют узкое, похожее на трещину ущелье, сквозь густую зелень деревьев белеет одинокая фанза[1]. На первый взгляд фанза кажется необитаемой. По крайней мере, ни на дворе, ни около нее не видно ни одного живого существа: не суетятся хлопотливые куры, не бегают высоконогие китайские свиньи, неизбежные во всяком китайском хозяйстве. Даже собак нигде не видно. Как слепые смотрят на яркое солнце деревянные переплеты широких оконных рам, заклеенные сероватой бумагой, заменяющей в Маньчжурии стекла. Двери наглухо закрыты. Высокий забор, связанный из стеблей гаоляна[2], с боков закрывает фанзу, скрывая за собой на диво обработанный небольшой огородик. Крошечные грядки, ровные, изящно обделанные, тянутся в симметричном порядке, оставляя между собою песчаные дорожки. Аккуратно вытесанные жердочки поддерживают ползучие стебли горошка и бобов. Своеобразная

китайская капуста кокетничает своими курчавыми головками, желтеют, зарывшись под широкие листья, огромные тыквы... Тут же на огороде у задней стены фанзы, в тени, бросаемой навесом крыши, стоит огромный неуклюжий китайский гроб, сколоченный из толстых, массивных досок и подмалеванный по бокам яркими узорами. Гроб совершенно новый и, очевидно, заготовлен запасливым хозяином фанзы для своей особы на тот случай, когда ему вздумается наконец покинуть этот мир. Хороший китайский обычай, знакомый и нашим монастырям, где отшельники загодя заготовляют в своих кельях гроб для своего успокоения.

День медленно склонялся к вечеру. Солнце еще высоко стояло в небе, затопляя долину яркими лучами, но в ущелье уже сгущались тени и начинала ощущаться предвечерняя прохлада...

Откуда-то потянуло легким дуновением ветерка, и вместе с ним где-то чуть слышно звякнула подкова о каменистый грунт. Через несколько минут стук подков стал яснее. Можно было легко определить, что идет несколько лошадей... Огромный орел, неподвижно сидевший на остром каменном выступе, над самой тропинкой, вьющейся по дну ущелья, беспокойно взъерошил перья, наклонил набок голову, помялся с минуту как бы в нерешительности и вдруг, распустив широкие могучие крылья, тяжело сорвался со скалы и взмыл кверху, описывая в прозрачном воздухе гигантские ровные круги. Из-за поворота тропинки словно вынырнула косматая лошаденка с рослым всадником на спине. Следом за первым всадником, держась от него в нескольких шагах, показался другой. По желтым околышам фуражек и желтым лампасам на выцветших шароварах легко можно было признать забайкальских казаков.

Оба всадника ехали, внимательно посматривая вперед и по сторонам. Притомившиеся кони шли, понурив головы, вялым, коротким шагом... За передовыми двумя вскоре показалось еще несколько всадников, человек 20... все забайкальцы. Впереди их, на саврасом иноходце, ехал молодой смуглый офицер, с большими черными глазами, загорелый, запыленный, в сером кителе и серой фуражке. Выехав в долину, передовой дозор остановился в нескольких шагах от фанзы, поджидая остальных. Скоро весь отрядец сгруппировался перед фанзой.

— Слезай! — звонким юношеским голосом скомандовал офицер, быстро соскакивая с своего иноходца. Очутившись на земле, он, прежде всего, принялся разминать ноги, очевидно сильно отекшие от долгого пребывания в седле. Тем временем, пока он прохаживался взад и вперед, останавливаясь и потягиваясь всем своим молодым стройным корпусом, от группы казаков отделилось двое бородачей и неторопливой, развалистой походкой направились к фанзе. Потрогав припертую изнутри дверь, они обошли фанзу кругом и, проткнув пальцами бумагу в раме, внимательно заглянули в полутемную внутренность фанзы.

— Эй, ходя*, отопри, што ль? — крикнул один из них, заметив в дальнем углу притаившуюся фигуру китайца.— Не бойся, мы тебе, дурья голова, худого не сделаем. Отвори скорей!

Старик китаец, недоверчиво поглядывая на окна, продолжал жаться в своем углу.

— А пострели тя в бороду! — рассердился другой казак.— Ишь притулился, ровно заяц... Отворяй, говорят тебе, а то силой дверь вышибем!

И, как бы в подтверждение угрозы, он изо всей силы ударил в дверь носком тяжелого сапога. Дверь жалобно застонала, но не поддалась. Очевидно, она была изнутри надежно забаррикадирована.

— Э, черт! Язви тебя! — рассердился казак, готовый уже всерьез вступить в упорное ратоборство с упрямо не поддающейся ему дверью, но в эту минуту китаец вдруг стремительно покинул свой угол и бросился оттаскивать колья, подпиравшие дверь.

— Давно бы так, косолапый черт,— снова принимая миролюбивый тон, поощрили старика казаки,— а то защемился в фанзе, как турхан, а еще латуза**.

— Шанго***, казак, шибко Шанго, хао****,— бормотал тем временем китаец, приседая и оскаливая свой беззубый, сморщенный рот в приветливую улыбку. Он дружески похлопывал казаков ладонью руки, иссохшей, как у мумии,

---

* Обращение к китайцам — равнозначное русскому: «братец!».
** Латуза — старик.
*** Шанго — хорошо *(по-маньчжурски)*.
**** Хао — хорошо *(по-китайски)*.

в то же время робко и подобострастно засматривая им в глаза.

— Ладно, нечего лисить-то,— добродушно ворчали казаки.— А чего не отворял, когда требовали?.. Тебе за такое неповиновение «пилюлю»* бы следовало, ходя, понял — «пилюлю»? — И, говоря так, казак сунул свой объемистый кулак под самый нос китайцу. Китаец еще больше осклабился и заговорил голосом, которому старался придать как можно больше ласковой почтительности:

— «Пилюля» худа есть, шибко худа... Моя «пилюля» не хочет,— хихикал он,— моя латуза шибко шанго, шибко знаком будешь...

— Будешь тут с тобой шибко знаком,— передразнил казак.— Небось ничего нет? — добавил он строго, заглядывая ему в глаза.— Ну-ка, отвечай! Китана** ю?

— Мию***! — жалобно развел руками китаец.— Мию! — еще безнадежнее повторил он.— Моя Латуза шибко бедна есть китана мию, чушек**** мию...

— Мию, мию,— с досадой передразнил казак.— Знаем мы ваш мию, а поискать — все окажется «ю». Неверный вы народ, ходя, вот что я тебе скажу!

— Нечего с ним тут много растабарывать,— перебил другой казак.— Поищем потом сами, а пока что доложить хорунжему, фанза хоша не бравая*****, а для ночевки подходящая!..

II

Ярко светит луна, заливая долину матово-серебристым светом. У одинокой фанзы, скрытые деревьями, устало пофыркивают казачьи кони, лениво пережевывая сухие стебли чумизы[3]. Тут же, развалясь прямо на земле, безмятежно спят казаки, сладко похрапывая и вздыхая во сне во всю ширь могучей казацкой груди. В фанзе спят только хорунжий[4], урядник да старый латуза-китаец... Впрочем, послед-

* «Пилюля» — удар кулаком. Слово, неведомо кем введенное, но скоро получившее право гражданства в объяснении с китайцами.

** Китана — курица.

*** Мию — нет, ю — есть.

**** Чушка — свинья (на русско-китайском жаргоне).

***** На забайкальском наречии — неисправная.

нему плохо спится. Свернувшись калачиком на жестком кане*, он беспокойно и чутко прислушивается к шорохам ночи. Удивляется старый китаец беспечности русских. Видел он, как с вечера, по приказанию офицера, двоих казаков с ружьями поставили впереди фанзы, за кустами, караулить долину, а двух других поместили на высоком скалистом выступе, откуда была далеко видна тропинка, прихотливо извивающаяся по ущелью, но недолго прободрствовали караульные казаки. Не прошло и часа, как и те, что караулили долину, и те, кому была поручена охрана ущелья, спали глубоким сном, положив подле себя заряженные винтовки... Подивился на такую беспечность старый манза**. Думал он было разбудить казаков и внушить им, чтобы они были осторожнее, так как в окрестностях, как ему доподлинно известно, бродят японские разъезды и патрули, но безотчетный страх, внушаемый казаками, не позволил ему нарушить их отдых... Боится латуза русских, но еще больше того боится японцев. Если невзначай узнают, что русские ночевали у него, а он не дал знать о том старшине соседнего селения, который в свою очередь обязан был сообщить об этом на ближайшую японскую заставу, тогда плохо ему будет. Японцы не церемонятся, а голова простого манзы в их глазах не дороже кочна капусты. Снять ее проще простого. Знает это латуза и дрожит в рваных лохмотьях, едва прикрывающих его наготу, но тем не менее доносить на русских он не согласен. Положим, казаки зарезали у него трех последних кур и петуха, которых он так искусно скрыл в глубокой яме под самой стеной фанзы, закидав ее сверху хворостом; они же разыскали запрятанную в соломе крыши чумизу и сварили из нее кашу, а для своих лошадей забрали весь остаток гаоляна, хранившийся у него на огороде, но «манза» на это нисколько не в претензии. Во-первых, казакам есть надо — они два дня уже как выехали в дальнюю разведку и питались одними только сухарями; во-вторых, забирая все это, не только не били и не ругали его, как это делали приходившие на прошлой неделе японцы, съевшие у него обеих чушек, а, напро-

* Кан — род лежанки, идущей во всю длину фанзы. Китайцы весь день проводят на нем. Кан — для них и обогревательная печь, и сиденье, и лежанка.

** Манза — крестьянин, чернорабочий.

тив, ласково похлопывали его по плечу, добродушно приговаривая: «Шанго, латуза», «шибко шанго, знакома будешь!» Мало того, когда курицы и чумизная каша были сварены, казаки пригласили и его к чашке, кто-то дал ему ложку, и он всласть наелся вкусного хлебова. Наконец, и это самое главное, молодой казачий капитан дал ему за все у него забранное две кругленьких золотых монеты...

За всю свою долгую жизнь первый раз держал латуза на своих мозолистых ладонях золотые монеты. И серебряные-то редко попадали ему в руки, а золотых он не видывал, только слышал о них... До сих пор он имел больше дела с медными чохами*, да и те не очень часто баловали его своим посещением. В первую минуту, почувствовав на своей высохшей морщинистой ладони две блестящих монетки, латуза ошалел и долго пристально смотрел на них, потом вдруг присел на корточки и разразился дребезжащим хохотом.

— Шибка шанго, капитан, а́дадэ, капитан, деньга — многа, многа! — радостно твердил он, приседая и любовно дотрагиваясь до плеча молодого офицера.

— Да, русские не то, что японцы,— рассуждал, лежа на кане, латуза.— Те съели моих чушек и, уходя, заплатили какими-то бумажками. Даже и не деньги, а ярлычки какие-то... Объясняли, будто это квитанции под те деньги, которые они получат от русских, когда побьют их... Латузе даже смешно стало при мысли, что японцы могут побить русских...— Разве есть на свете народ сильнее русских? И франки и инглезы гораздо слабее их, и войска у них меньше... Латуза сам убедился в этом, когда заморские диаволы приходили воевать с самой богдыханшей**... У инглезов и франков людей было с горсточку, а русских очень много... А японцы собираются их побить... Хвастают нарочно, чтобы за чушек вместо денег платить какие-то ни на что не годные бумажки... При мысли об этих бумажках, полученных им от японцев, которые он все-таки спрятал, на всякий случай, две золотые монетки, полученные им от русского офицера, в глазах латузы принимают огромную цен-

* Чох — мелкая китайская медная монета.

** Богдыхан (от монгольского богдохан — священный государь) — термин, которым в русских грамотах XVI—XVII вв. называли императоров Китая. В данном случае имеется в виду одна из императриц конца XIX в.

ность и кажутся ему целым капиталом. «Шанго, капитан, шибко шанго, а́дадэ, капитан»,— шепчет про себя латуза, а сам чутко прислушивается... Стар латуза, глаза начинают изменять, но ухо его по-прежнему чутко, и слышит это ухо что-то неладное... Словно огромная змея ползет по ущелью и глухо шуршит своей высохшей кожей по камням... Осторожно поднялся латуза с кана и вышел из фанзы... Ночь уже давно перешла за половину. Побледневшая луна медленно угасала, слегка закутанная туманной дымкой прозрачных облаков, красивым узором протянувшихся от вершины дальней сопки через весь необъятный простор синеющего небосвода. Из темного ущелья чуть струился засвежевший под утро ветерок. Шорох ползущей змеи яснее долетел до слуха латузы. Теперь он уже не сомневался в значении этого шороха. По ущелью шли люди, обутые в мягкую обувь... И много их было. Старик, не теряя времени, быстро, насколько позволяли ему старческие ноги, выбежал на ближайшую скалу и, притаившись за огромным камнем, осторожно заглянул в ущелье... Он увидел перед собой длинную фалангу японской пехоты. Закинув за плечи ружья, японцы шли по двое, мягким эластическим шагом. Впереди их шел молодой китаец. По тому, с какими предосторожностями подвигался отряд, а еще больше по телодвижениям китайца-проводника, латуза догадался, что японцы знают о присутствии русских и рассчитывают застать их врасплох... Латуза проворно сполз с утеса и, быстро подбежав к казакам, принялся расталкивать их. Но разоспавшиеся беспечные забайкальцы только глухо мычали, качая отяжелевшими головами... Вне себя от страха латуза кинулся в фанзу и изо всех сил дернул за руку офицера... Тот разом проснулся.

— Что такое, в чем дело? — забормотал он спросонья, но, увидев перед собой искаженное ужасом лицо латузы и не понимая, что ему надо, офицер опасливо потянулся за револьвером.

— Ибэн, ибэн!* — хрипло давясь, простонал латуза, указывая пальцами на дверь. Офицер мгновенно понял. Его красивое лицо слегка побледнело, темные глаза вспыхнули, он выхватил из кобуры револьвер и одним прыжком очутился у дверей. Притулившись под забором, подсунув под

---

* Ибэн — японцы.

себя винтовки, безмятежно спали казаки. Впереди в нескольких шагах от фанзы, около входа в ущелье, сладко дремали часовые, а дальше, торопливо примыкая на ходу штыки к ружьям, беглым шагом спешили японцы.

— Погибли! — молнией пронеслось в голове офицера, но он не потерялся. Собрав всю силу легких, он диким, пронзительным, не своим голосом завопил: «Японцы! тревога! японцы!» и, вскинув револьвер, не целясь, выстрелил, раз, другой, третий... При звуке выстрелов казаки разом очнулись... Одна минута, и все уже были на ногах.

— К коням! — зычным голосом скомандовал офицер, первым бросаясь к своей лошади... Но было уже поздно. Японцы успели обежать фанзу и, окружив ее живым кольцом, открыли огонь... Часто, часто затрещали выстрелы японских магазинок[5]. Пули, зловеще посвистывая, забороздили воздух... Казаки, многие не успев еще вскочить в седло, как подкошенные стали валиться, поражаемые предательскими выстрелами. Несколько лошадей упало и с жалобным ржанием принялось биться на земле, заливая ее горячей кровью. Несколько казаков, успевших сесть на коней, выхватили шашки и с отчаянием ринулись на цепь стрелков, в надежде, прорвав ее, ускакать, но японцы не дали проскакать им и нескольких шагов... Весь огонь как бы слился в одну струю свинца, направленную в смельчаков... Через минуту их тела уже корчились на земле, залитые кровью, и только трем, четырем каким-то чудом удалось прорвать это огненное кольцо и ускакать, но и из них, наверно, не было ни одного не раненого... В числе прорвавшихся был и молодой офицер, начальник казачьего разъезда. Он первым вскочил на коня и, выхватив шашку, с гиком кинулся на ближайшего японца... Японец выстрелил, но промахнулся... В это мгновенье над его головой ярко сверкнул клинок и с размаха врезался ему в темя... Заливаясь кровью, японец тяжело свалился под копыта лошади... Кругом неистово гремели выстрелы. Офицер почувствовал, как что-то сильное толкнуло и обожгло ему бок... Его даже качнуло от удара, но он напряг все свои силы и, крепко уцепившись левой рукой за луку седла, правой продолжал махать окровавленной шашкой... Смутно различал он перед собою скуластые рожи японских солдат, слышал их гортанные крики, напоминавшие крики хищных птиц, стоны и вопли расстреливаемых казаков... Запах свежей чело-

веческой крови щекотал ему ноздри... Но вот все это исчезло. И японцы и стоны остались позади, только изредка угрозливо повизгивают около самых ушей пули... Выстрелы затихают... Офицер чувствует, как его конь словно стелется по земле... С каждым прыжком расстояние, отделявшее его от врагов, увеличивается, а с этим растет надежда и уверенность в спасении... Ущелье далеко позади; уже не слышно назойливого посвистывания пуль... Офицер вобрал всею грудью воздух, чтобы перевести дух, но при этом движении словно острые когти впились ему в бок... От нестерпимой боли голова его закружилась, он качнулся вправо, влево, разом весь как-то ослабел, осунулся, руки выпустили поводья, онемевшие ноги выскользнули из стремян... Еще несколько скачков, и он тяжело повалился с седла... Последней его мыслью было: «Неужели это смерть?!»

III

Хорунжий Катеньев испуганно открыл глаза и с минуту лежал не шевелясь, собираясь с мыслями, стараясь уяснить себе, где он находится. Над собою он видел каменный свод, с одного бока возвышалась такая же стена, с другого — небольшая площадка, тонувшая во мраке. Какой-то странный полусвет пробивался откуда-то сверху с правой стороны и чуть-чуть озарял каменные глыбы, теснившиеся со всех сторон. Катеньев попытался приподняться, но нестерпимая боль в боку и ноге ниже колена заставила его поспешить принять прежнее положение. Только теперь он заметил, что лежит на чем-то мягком. Он пошарил рукою и убедился, что под ним подложена большая охапка мягкой соломы, покрытой какими-то тряпками. Приходя все более и более в себя, Катеньев убедился, что он раздет, без кителя, сапог и шаровар, в одном белье, и на раненый бок и ногу ему наложены какие-то повязки; но из чего они и как сделаны — он определить не мог. Припоминая все случившееся, Катеньеву стало ясно, что чья-то заботливая рука подняла его с того места, где он упал, перенесла в эту пещеру, раздела, уложила на наскоро приготовленное ложе и перевязала ему раны... Но кто был этот сострадательный человек, Катеньев никак не мог догадаться.

«Японцы?!» — мелькнуло у него в голове, и холодный

ужас сжал его сердце. «Конечно, японцы, кому же другому». Стало быть, он в плену. Плена Катеньев боялся больше смерти. Еще едучи по бесконечному Сибирскому пути, в вагоне, Катеньев решил, если ему будет угрожать плен, пустить себе пулю в лоб... и вот он в плену, оружие у него отобрали, и он лежит, бессильный, не будучи в состоянии пошевелиться... Расстроенному воображению его начали рисоваться картины одна унизительней другой, одна другой печальней. К страданиям физическим, которые становились чувствительнее, по мере того как прояснялось его сознание, присоединились мученья нравственные. Чувство тоски, бессильной злобы и горькой обиды на судьбу овладело душой Катеньева настолько сильно, что минутами он начинал задыхаться, как бы под навалившейся на него тяжестью... Ему хотелось, как некогда в детстве, при большом огорчении, кричать, плакать, рыдать... Он жалобно застонал... Что-то шевельнулось в дальнем углу, и какая-то темная бесформенная масса наклонилась к самому лицу Катеньева. Он напряг свое зрение и в неясном полумраке-полусвете различил лицо дряхлой старухи китаянки. Старуха что-то торопливо забормотала, чего Катеньев, не зная китайского языка, понять не мог, да он и не вслушивался. У него снова начала кружиться голова, словно голубоватые волны поплыли над его головой, и сам он поплыл с ними... Теряя сознание, он смутно ощутил около своих запекшихся губ холодные края глиняного сосуда, машинально глотнул что-то душистое, приятно пряное, холодное и потерял сознание...

Снова очнулся Катеньев. На этот раз он не чувствовал себя таким слабым, удрученным. В пещере стало светлее; настолько светло, что он легко мог различить неровности каменной стены с выдающимися уступами, широкую щель наверху, через которую проникали голубовато-оранжевые лучи солнца, и ветви густого, колючего кустарника, заграждавшие небольшое отверстие, вход в пещеру. Подле входа он увидел двух китайцев: старика того самого, в фанзе которого он ночевал, и молодого, почти мальчика. Они сидели на корточках, и старик полушепотом говорил что-то молодому, на что тот торопливо кивал головою. Старухи не было... Впрочем, Катеньев не был даже уверен, существовала ли она в действительности, а не была плодом его болезненно настроенного воображения. Вообще он с трудом отличал действительность от мучивших его кошмарных сновидений

и не мог уловить грани, где кончались вторые и начиналась первая. Увидев старика китайца, Катеньев сильно обрадовался. Его появление сразу убедило молодого офицера, что он не в плену, а находится где-нибудь неподалеку от места последнего злополучного ночлега. Если бы его забрали японцы, они бы давно увезли его с собой как военный трофей. Тем временем китайцы, заметив его пробуждение, приблизились к нему и стали на колени около его изголовья. Ближе стал молодой и начал что-то торопливо тараторить, разводя руками и делая выразительные гримасы. Только вслушавшись внимательнее, Катеньев уловил наконец нечто, смутно напоминающее ему русскую речь. Долго старался он вникнуть в то, что говорил ему молодой китаец, и только после долгих усилий начал кое-что соображать. Китайчонок объяснял ему, что латуза Фу-ин-фу — говоря это, он тыкал старика в грудь — поднял его, раненого, и перетащил сюда, в горы, неподалеку от его фанзы, где он и лежит уже более четырех дней. «Ига* солнце, дуа солнце, трия солнце»,— твердил китайчонок, загибая пальцы на правой руке; «полсолнце»,— добавлял он скороговоркой, проводя ладонью левой руки поперек сложенных пальцев правой и при этом для чего-то крутил головой. Далее китайчонок объяснил Катеньеву, что казаки, бывшие с ним в разъезде, почти все перебиты; ускакало не более трех человек; человек пять, легко раненных, японцы забрали с собой, тяжело раненных прикололи — «кантами»**,— многозначительно поднимал брови китайчонок и делал пояснительный жест руками, как будто собираясь кого-нибудь заколоть. Катеньев слушал, и сердце его сжималось от жалости к погибшим и бессильной злобы к коварным и жестоким победителям. Но самое худшее, что он узнал от китайчонка, это было известие об отступлении русской армии. Вся окрестность на десятки верст во все стороны была в руках неприятеля. Японцы шныряли всюду; почти каждый день небольшие отряды их и отдельные команды заходили в фанзу на отдых, и в настоящую минуту в каких-нибудь четырех «ли»*** отсюда стоял большой японский лагерь. Катеньеву стало ясно, что он вполне отрезан от своих, почти без всякой надежды на какую-либо возмож-

---

* Ига — одно, один.
** Кантами — прирезать, казнить.
*** Ли — верста.

ность вырваться отсюда... Плен, от которого он думал, что избавился, грозил каждую минуту. Не сегодня-завтра, а несчастия этого ему не миновать. Вдруг его осенила мысль послать записку. Хоть весточку послать о себе — все как будто легче будет на душе. Но на чем писать? Кабы была при нем его полевая сумка с записною книжкой и карандашами, но ни сумки, ни других своих вещей Катеньев не видел. «Может быть, старик китаец спрятал?» — подумал он и поспешил объяснить китайчонку, что ему надо. Тот не сразу понял, но поняв, перевел латузе. Старик внимательно выслушал просьбу Катеньева, кивнул головой и направился в угол; там, порывшись в соломе, он вытащил залитый кровью китель, шаровары, шашку, револьвер, бинокль и полевую сумку. Забрав в охапку все эти вещи, он бережно сложил их около самой головы Катеньева.

«Славный старик, честный!» — подумал про себя Катеньев, торопливо расстегивая сумку: там в одном из отделений у него лежали завернутые в бумажку три золотых пятирублевика; хотя в Маньчжурии было запрещено пускать в оборот русское золото, но многие из офицеров держали у себя по нескольку монет на случай большой крайности. Говорили, будто китайцы очень жадны до золота, за такую монету, много две, готовы исполнить чего только от них пожелаешь; действительно, были случаи, когда вовремя данный золотой спасал офицера-разведчика от опасности попасть в руки японцев. Отделив две монеты, Катеньев передал их старику китайцу.

— Скажи ему,— обратился он к переводчику,— что если он доставит от меня записку в Ляоян по адресу на конверте, он получит от того лица, которому конверт адресован, еще три таких монеты!

Китаец внимательно выслушал слова переводчика, в то же время задумчиво разглядывая лежащие на его ладони монеты. Минуту-две он как бы колебался, но потом, видимо решившись на что-то, торопливо залопотал, размахивая руками и тряся головой. Катеньев горел нетерпением узнать его ответ.

— Ну что, ну как? — понукал он в волнении переводчика. Тот с трудом, сбиваясь и путаясь в мало знакомых ему словах, перевел, что старик согласен; пусть офицер пишет, он берется доставить записку в Ляоян. У него там есть знакомый китаец, говорящий по-русски; он ему поможет.

— Ну вот и отлично,— обрадовался Катеньев.

Удача придала ему силы. На время он забыл боль и, поддерживаемый китайцами, с лихорадочной поспешностью начал набрасывать карандашом на листках полевой книжки неразборчивые, кривые строчки... Рука его дрожала, карандаш прыгал по бумаге, буквы кривились и сливались, но он верил, что тот, кому он пишет, сумеет прочесть его каракульки. Чего не разберут глаза, то подскажет любящее сердце.

IV

Вторую ночь идет Надежда Ивановна по глухим горным тропинкам, в сопровождении Фу-ин-фу. Днем они, как звери, прячутся в лесных оврагах, глухих горных трущобах, заросших кустарниками, и, только когда взойдет луна, осторожно выходят из своих убежищ и как тени крадутся, избегая встречи с кем бы то ни было. С первых шагов, как они, миновав русское сторожевое охранение, вступили на занятую неприятелем территорию, Надежда Ивановна убедилась, что Фу-ин-фу одинаково боится встреч как с японцами, так и со своими соплеменниками — китайцами. Последних, пожалуй, еще больше, чем первых. Стар Фу-ин-фу, но Надежда Ивановна не может не подивиться на его неутомимость, зоркость его старческих глаз и чуткость его уха. Несколько раз, когда она, напрягая весь свой слух, не могла уловить ни малейшего звука, Фу-ин-фу разом останавливался, мгновенья два прислушивался и, как спугнутая лисица, проворно бросался в сторону, давая ей знак следовать за собой. И ни разу уши не обманывали его. Не успевали они забиться где-нибудь, между глыбами нагроможденных камней, как вдали показывались или конный китаец-хунхуз, или японские солдаты. Мирные жители им почти не встречались. Японцы в этом случае держались другого правила, чем русские. В то время, как на территории, занятой русскими войсками, по всем дорогам и тропам взад и вперед сновали десятки и сотни мирных китайских жителей, пешком, на арбах, в фудутунках* и верхом, с женами и с детьми, со стариками и со всяким домашним скарбом,

* Фудутунка — двухколесный крытый экипаж.

смешиваясь даже нередко с передвигающимися русскими полками,— японцы строго-настрого запрещали жителям покидать свои селения и слоняться по дорогам, в виду их войск. Разрешение давалось только отдельным лицам в уважение какой-нибудь особой крайности, причем такие лица снабжались засвидетельствованными со всею строгою формальностью ярлычками. Все же бродившие без свидетельств арестовывались и при малейшем подозрении обезглавливались. Оттого-то японская армия была избавлена от выслеживаний шпионов, тогда как вокруг нашей была тьма, в лице разных разносчиков, фокусников, актеров, обезьянщиков, поводырей медведей, нищих и т. д., и т. д. без конца.

Если бы кто из подруг Надежды Ивановны взглянул на нее теперь, бредущую в сопровождении китайца по глухим тропам негостеприимной Маньчжурии, ни одна из них не признала бы ее в этой грязной маньчжурке, с безобразно-нелепой высокой прической, с лицом шафранного цвета, с наведенными на нем красной краской кружками, одетую в порванную синюю курму[6] китайских крестьянок. Надо отдать справедливость — загримироваться ей удалось в совершенстве. Она предпочла одеться крестьянкой маньчжуркой, так как те не уродуют ног, как китаянки, чего, конечно, нельзя было бы никак подделать.

V

Длинная, большая комната китайской богатой фанзы, временно обращенной в госпитальную палату. По одной стене деревянные нары, на которых, тесно скучившись, лежат раненые. В крайнем углу у окна небольшой столик, покрытый белой салфеткой и заставленный пузырьками и склянками с жидкостями всех цветов и оттенков. У стола, на простой деревянной табуретке, облокотясь на руку, в задумчивой позе сидела молоденькая сестра милосердия. Изящное, худощавое личико было бледно, а большие темные глаза красны от слез. В руках сестра держала фотографическую карточку молодого офицера в казачьем чекмене и косматой папахе. Крупные слезы, наполняя глаза, медленно скатывались по щекам молодой девушки, но она их не замечала, углубленная в созерцание портрета... Вдруг где-то близко раздался протяжный вздох, закончившийся легким стоном. Сестра машинально сунула портрет в карман, про-

ворно вскочила на ноги и, окинув палату вопрошающим взглядом, как бы ища глазами того, кто стонал, легкими торопливыми шагами подошла к крайним нарам, откуда глядели на нее черные воспаленные глаза на шафранном, скуластом лице казака-бурята.

Этот казак пользовался особым вниманием сестры. Его принесли дней пять тому назад, и от него от первого она узнала о гибели того, кто ей был дороже всего на свете... Страшную минуту пережила она... Даже странно, как она могла ее пережить... Первые минуты и часы, после того как ей сообщили о смерти ее жениха, она была вне себя, кричала и металась по палате, требуя яда, призывая смерть... Теперь она несколько успокоилась. Нестерпимое горе как бы отуманило ее; она овладела собою настолько, чтобы иметь мужество выслушать подробный рассказ казака-очевидца... Она даже имела силы расспрашивать его. Несколько раз повторил он ей все, что знал, но всякий раз ее любящее ухо улавливало новые подробности, ничтожные сами по себе, но важные для ее страдающего сердца. Вот и теперь, подав казаку напиться и поправив ему подушки под головой, она машинально опустилась подле него и тихо спросила:

— Ну как ты себя чувствуешь, Абадуев?

— Да што, теперича многа легче, сестрица,— скаля белые зубы, почти весело ответил казак.— Теперь, должно, скоро на поправку пойдет. Я, признаться надо, думал, конец мне будет, и не чаял, что так скоро полегчает.

— У тебя рана не опасная, хоть и тяжелая,— успокоила раненого сестрица.— Плохо тебе было первые дни от большой потери крови, а теперь ты скоро начнешь поправляться...— И, помолчав немного, она вдруг совершенно другим тоном, понизив голос до шепота, спросила: — Так ты наверно знаешь, хорунжий ваш убит, а не попал в плен?

— Как же мне не знать? — оживился казак.— Вместе ведь были. Как это японцы подошли к нам да зачали в нас залпувать, мы живой рукой на коней, шашки вон, да на них... Ну, однако, шашка против ружей — плохая оборона; принялись они нас лущить, из всей команды только нас четверо: я, Кончев, Сампсонов и Муходеев и ушли, да и те все подраненные. Муходеев с версту проскакал, не больше того, и помер, мертвый с седла свалился, а мы вот трое добегли...

— А хорунжий? — еще тише спросила сестра.

— Хорунжий поначалу тоже был с нами, но как они впереди были и хотели японцев рубить, то японец особливо по ним стрелять зачали, а опосля того два японца штыками в бок, так с обеих сторон и приперли.

— Как штыками? — стремительно перебила казака молодая девушка.— Ты этого прежде не рассказывал. Ты говорил, будто его убили, когда он на лошадь садился, а теперь говоришь, на штыки подняли? Как же это так?

— И охота вам, сестрица, время терять, разговаривать с ним,— вмешался лежавший рядом с казаком пожилой стрелок, с повязкой на лбу.— Не видите разве, в глазах завирается парень, ничего он не видел и не знает. Меня там не было, а хотите я вам расскажу все, как у них там произошло? Перво-наперво все они спали без задних ног, и те, что часовыми были выставлены, и те спали...

— Откуда ты это знаешь? — сердито огрызнулся казак.

— Да уж знаю,— снова повторил стрелок.— Я с вами, казаками, не однова раз бывал в сторожевом охранении, насмотрелся, как вы спать горазды; сколько вас японцы сонных поприрезали, должно и счет потерян, потому, беспечны вы очень... Так вот, так-тось, спали они и не слыхали, как японцы подобрались, а те на такие дела мастера, да и не без того, чтобы их китайцы навели... Это уж можно так сказать наверняка; ну вот как зачал японец по сонным стрелять да колоть их, они повскакали как очумелые, кто поспел на коня вскочить, кто нет... Где им там было разглядывать, что и как; которые уцелели, как вот он, к примеру, те лупили что было конских сил... Он, чай, и товарищей, которые с ним удирали, только тогда признал, как к своим доскакал, а то рассказывает и то и се, врет, однова слова врет, а вы его слушаете.

— А то тебя, скажешь, слушать? — совсем освирепел казак.— Эх, кабы не рана моя, я бы тя намял боки, штоб ты нас, казаков, не лаял... Нешто мы бывали когда трусами? Где ты трусов казаков видел? Ну говори, варнацкая душа!

— Да я вас трусами и не обзываю. Зачем трусы? Не трусы вы, а беспечны уже очень, вот дело-то в чем; это про вас всякий скажет... А насчет удирания, так это я тоже тебе не в осуждение; хоть кому доведись в такую кашу попасть, всякий о спасении живота своего промышлять станет... Я к тому говорю, для чего врать... Видишь, сестрица по женишке

своем убивается, а ты брешешь неведомо што... Скажи лучше по совести, так, мол, и так, не видел ничего, спросонья да с перепуга зеньки потерял... вот это будет точно. А к чему языком зря болтать... Ну скажи, по совести, повтори, доподлинно видел ты, что их благородие японцы на штыки подняли?

Казак искоса посмотрел на сестру и увидел устремленные на него с тоскливой мольбой глаза. Ему стало не по себе. Он потупился и нехотя произнес:

— Оно, может, и действительно померещилось... Ведь ночь еще была... может, и впрямь не его благородие, а Муходеева японцы на штыки взяли... Кого-то штыками подперли, это я дивствительно видел, а кого — Муходеева ли, али хорунжего — доподлинно сказать не берусь.

— Но ведь ты же говорил, Муходеев с вами еще с версту скакал, пока свалился? — стремительно перебила казака сестра.

— И то верно. Стало быть, не Муходеева, а должно, еще кого другого. Не разобрал ночью-то.

— Эх, сестрица, да плюньте вы на его россказни,— горячо перебил стрелок.— Охота вам себя надрывать! Вы лучше меня послушайте, что я вам скажу: вот чует мое сердце, жив ваш женишок, право, жив... Для ча японцу убивать его? Им лестно захватить офицера живьем... Когда их много, они стараются офицеров не бить, а забирать, чтобы, стало быть, больше у них русского народа было, когда смена выйдет наших пленных на ихних... я уже знаю... Вот помяните мое слово: в плену ваш женишок, и ничего ему худого не сделают...

— Ах, если бы это было так! — в отчаянии воскликнула молодая девушка.— Господи, хоть бы узнать, узнать что-нибудь... Правду настоящую узнать!..— Она тихо заплакала и отошла к столу...

— Ишь, дьявол,— сердито прошипел стрелок, устремляя на казака-соседа сердитый взгляд из-под съехавшей на глаза повязки,— расстроил сестрицу...

— Да я что ж, я ничего, я говорю, что знаю... Спрашивает, ну я и отвечаю... Должен я ответить аль нет? Как, по-твоему? — оправдывался казак.

— Ответить должен, а врать не для чего, вот в чем дело-то. Врать, говорю, незачем...

Дверь тихо отворилась, и в нее просунулась голова пожилого рыжебородого доктора.

— Надежда Ивановна,— поманил он сестрицу,— идите-ка скорее, интересная новость есть.

— Что такое, в чем дело? — взволнованным шепотом спрашивала сестрица, выбегая за доктором.— Неужели есть какие-нибудь сведения о Катеньеве?

— А вот идите скорее, сами узнаете.

Но Надежду Ивановну не надо было торопить. Не помня себя, она бегом выбежала на небольшой дворик и очутилась перед небольшой кучкой офицеров и докторов, окруживших старого китайца. Кто-то сунул Надежде Ивановне скомканную записку. С лихорадочной поспешностью развернула она ее, горящим взглядом впилась в неразборчиво нацарапанные строчки. Она узнала «его» почерк, и сердце ее усиленно билось. Она плохо соображала, что читает; она знала только — «он» жив — и это сознание наполняло ее душу буйной радостью. Мгновеньем ей казалось, что все это сон, бред расстроенного воображения. В своем волнении она должна была несколько раз прочитать записку и только тогда поняла наконец, что жених ее, тяжело раненный, лежит в горах, на попечении китайцев.

«Подробности расскажет китаец». Этой фразой кончалась записка.

— Господа,— бросилась Надежда Ивановна к докторам,— ради бога, переводчика... Боря... Борис Владимирович... хорунжий Катеньев,— путалась она, краснея,— жив... ранен... у китайцев, в горах... Ради бога... переводчика... надо расспросить его поподробнее...

— Постойте, кто у нас здесь знает по-китайски? — оглядывая присутствующих близорукими глазами и сам сильно волнуясь, спрашивал рыжебородый доктор.— Неужели нет никого знающих?

— Позвольте доложить,— вмешался сухощавый фельдшер в белом переднике, делавшем его похожим на повара,— тут есть один пограничник, здорово по-ихнему знает; он, хоть раненный, да не шибко, может придтить... Дозвольте позвать.

— Зови, зови скорей! — засуетился доктор.— Ну вот сейчас все и узнаем,— обратился он к Надежде Ивановне.— А вы, сестрица, очень-то не волнуйтесь... Бог даст, все по-хорошему кончится.

Через минуту фельдшер вернулся; за ним ковылял невысокого роста черноватый солдатик пограничной стражи; рука его была на перевязи, и вся голова забинтована, но, несмотря на это, он держал себя бодро и бойко поглядывал на всех черными выразительными глазами. По-китайски солдатик оказался действительно мастером говорить. Он подробно расспросил Фу-ин-фу и начал обстоятельно переводить слова старика.

Долго шел допрос старика китайца. Взволновавшаяся Надежда Ивановна никак не могла насытить своего любопытства и задавала все новые и новые вопросы, на которые Фу-ин-фу терпеливо отвечал, как умел; только на один вопрос не мог он ответить, хотя этот вопрос был для Надежды Ивановны самым главным. Фу-ин-фу не мог объяснить русской бабýшке*, насколько серьезны раны Катеньева; старик даже плохо определял место, куда именно ранен офицер, сквозные ли у него раны, или пули остались в теле.

Надежда Ивановна страшно волновалась, не имея возможности выяснить этих столь важных подробностей, от которых зависело все, и доктору с трудом удалось хоть немного успокоить ее. Наконец, измученного тяжелой дорогой и расспросами, Фу-ин-фу отпустили на кухню, где по приказанию доктора ему дали остатки супа и мяса. Старик был сильно голоден и с жадностью набросился на еду. Он ел, захлебываясь от торопливости, чавкая, облизываясь, строя уморительные гримасы и в то же время испуганно косясь на приближавшихся солдат, как бы опасаясь, что вот-вот кто-нибудь вырвет у него из-под носа миску с вкусным жирным хлебовом.

Тем временем в небольшой пристроечке, где на канах помещались сестры госпиталя, шел оживленный спор между рыжебородым доктором и сестрицей, Надеждой Ивановной Волгиной. Доктор был сильно взволнован и, как тигр в клетке, метался по узкому пространству между стеной и канами, то и дело хватая себя за голову, ероша свои огненные волосы и горячо жестикулируя.

— Но ведь это безумие, поймите, безумие! — пронзительно вскрикивал он плачущим голосом. — Это прямо невозможно... Вы не отдаете себе отчета в том, что вы хотите

---

* Бабýшка — женщина.

сделать... Ведь до этой пещеры, про которую говорит китаец и где лежит теперь Катеньев, более 50 верст. Понимаете: пятидесяти верст!!! К тому же вся страна занята японцами, повсюду их сторожевые охранения, патрули, разъезды. Вы и пяти верст не пройдете, как вас схватят... Вы, может быть, воображаете себе, что японцы очень посмотрят на ваш красный крест? Держите карман шире! Хорошо, если на ваше счастье подвернется их офицер (хотя я и офицерам ихним тоже мало верю), а если вы попадетесь солдатам, да они с вами то сделают, о чем и подумать-то страшно... И никакой крест не спасет вас от их насилий, уверяю вас...

— Да откуда вы взяли, Петр Петрович, что я пойду в одежде сестры? Так мне, разумеется, не пройти.

— А как же вы пройдете?

— Я наряжусь китаянкой... будто дочь Фу-ин-фу, и с ним и пойду...

— Китаянкой?!! — протянул в изумлении доктор.— Отцы-родители, этого еще недоставало... Да тогда вы совсем пропали... Вас, как шпионку, просто-напросто повесят, а раньше... Ах, да что и говорить: вы просто с ума сошли, временный психоз...

— Психоз там или не психоз,— уже с легким нетерпением в голосе перебила доктора Надежда Ивановна,— но я решила идти и пойду... Что бы меня там ни ожидало... Поймите же, доктор, я не могу иначе поступить... Тот, кто мне дороже жизни, лежит теперь одинокий в пещере, на попечении китаянки; у него, может быть, раны гниют, перевязки надо делать, а разве старуха это сумеет... Наконец, подумайте об его душевном настроении... На одно мгновение вообразите себя в его положении, вообразите, что он испытывает... Может быть, раны его и пустяшные, и, при разумном уходе, он быстро поправится, а тогда...

— Что тогда? Ну, что тогда? Скажите мне на милость,— вскипел доктор,— неужели вы воображаете, что вам удастся вернуться с ним благополучно назад? Вы забываете, что пройдет месяц, а то и два, раньше, чем он будет в состоянии идти (если только еще будет), а к тому времени наши войска отступят еще верст на сто, назад...

— Почему непременно отступят? А может быть...

— Ничего не может быть... я вам говорю, отступят, поверьте моему слову... Это уже по началу видно... Не только

за Ляоян, да мы за Харбин уйдем, в этом уже не сомневайтесь... Вот тогда и посмотрим, как это вы выберетесь из вашей пещеры.

— А это как бог даст, да я об этом теперь пока и не забочусь, мне только бы добраться до него и начать ухаживать за ним, вырвать его из когтей смерти... Без правильного ухода даже и пустяшная рана легко может окончиться смертью...

— Положим, это так, но подумайте еще об одном... Ну скажем... вы только не волнуйтесь... если говорить, то говорить все... скажем так... предположим, он умер... не пугайтесь, это я делаю предположение только... умер или умрет, то что вы станете делать там одна среди китайцев?

— Я... я,— слегка заикаясь и бледнея, ответила Надежда Ивановна,— я прежде всего похороню его, а там вернусь...

— Хорошо, вернетесь... Хорошо, китайцы отпустят вас, а если нет? Ведь китайцам, пожалуй, меньше можно доверять, чем японцам... Вы об этом не думаете, а ведь они подчас ой-ой какими зверьми бывают... Если бы вы знали, что они во время восстания проделывали с попавшими им в руки христианками из европейцев, как они их мучили, каким ужасным пыткам предавали, к тому же самым позорным, унизительным... китайцы ведь по части пыток мастера, импровизаторы... а к тому же еще и садисты!

— Ну, мало ли что было тогда, в китайскую войну, в то время они были озлоблены против европейцев, наконец, у меня в крайности есть средство, не допустить до пыток и унижений...

— Какое?

— Яд! я возьму с собой две капсюли какого-нибудь сильнодействующего яда и в последнюю минуту, когда потеряю всякую надежду, отравлюсь. А пока все-таки пойду, что бы вы ни говорили, какими бы страхами ни пугали, пойду, потому что не могу не идти.

— Это ваше последнее слово?

— Последнее!

Доктор с минуту стоял перед ней, скрестив на груди руки и пристально всматриваясь в ее побледневшее, но вполне спокойное лицо. Вдруг он как-то всхлипнул и, стремительно схватив руки Надежды Ивановны, принялся осыпать их горячими поцелуями.

— А еще говорят, женщины слабые создания — да вы

героиня, вы сила, чудовищная сила... Что мы, мужчины, перед вами... Кликните клич на всю армию, соберите всех наихрабрейших героев, георгиевских кавалеров там разных, да решится ли хоть один из них на такой подвиг, на какой идете вы... и ради чего?

— Ради любимого человека, доктор,— осторожно высвобождая свои руки, шепнула Надежда Ивановна, ласково улыбаясь,— поймите, доктор: ради любимого человека...

— Ах, да не стоит он этого... Я, впрочем, его совершенно не знаю, но ведь он человек, мужчина, а разве есть на свете такой мужчина, который бы стоил таких страшных жертв?!! Нет, ей-богу нет!!! Нет, не было и не будет!!! Ну если только чудом каким-нибудь вы уцелеете оба и поженитесь... и он хоть когда-нибудь, чем-нибудь огорчит вас... Что ему тогда следует сделать? Кожу снять с живого и в соленый раствор...

— Ой, ой, доктор, как жестоко,— улыбнулась Надежда Ивановна,— а еще китайцев обвиняете в жестокости, говорите, будто они мастера на изобретение пыток, но до такой пытки, какую изобрели вы, пожалуй, и китайцы не додумаются...

— Ну, не скажите, китайцы, пожалуй, сумеют выдумать и похуже... но теперь это пока не к делу... Раз уже вы решили, бог с вами, идите, на верную гибель, раз вам так хочется, однако обсудим, как бы лучше все это устроить. Что вам взять с собой... Много брать с собой лекарств разных нельзя, в случае, японцы обыскивать где будут, так чтобы не возбудить их подозрений, надо спрятать так, чтобы не нашли, это главное, а затем надо с этим Фу-ин-фу потолковать хорошенько... Он, признаться, мне тоже нравится, и, кажется, ему довериться можно... Надо только его заинтересовать. Китайцы до денег падки... Знаете, что я придумал, позову-ка я его да обещаю ему, если он доведет вас благополучно и принесет мне о том удостоверение от вас, заплатить сто рублей... Что вы на это скажете? Стойте, стойте, не возражайте, я знаю, что вы хотите сказать, знаю... но это не суть резонно... у меня деньги сейчас есть, все равно они мне здесь ни к чему, тратить некуда... да, наконец, если все хорошо сойдет, вы мне когда-нибудь можете и вернуть их... Не так ли?

Вместо ответа Надежда Ивановна крепко пожала руку доктора.

— Ну, а уж если он вас обоих доставит сюда к нам, не жаль и всех двухсот, не правда ли? Какое двести, за это и триста рублей обещать можно. Ну, так, стало быть, за дело. Позовем сюда этого Фу-ин-фу да солдата-переводчика и потолкуем с ним по душам... Авось и взаправду бог поможет, даст свершиться чуду!

VI

По мере того как они подвигались все дальше и дальше, Фу-ин-фу становился все осторожнее и недоверчивее. Сгорая нетерпением поскорее увидеть жениха, Надежда Ивановна в душе негодовала на его медлительность. Тревога за жизнь любимого человека придавала ей силы, она не чувствовала ни усталости, ни голода. Ей казалось, что, если бы можно было не опасаться неприятных встреч и идти свободно, она была бы в состоянии идти и день и ночь, с самыми небольшими отдыхами. В те мгновенья, когда ей приходило на ум, что, может быть, ее жених умирает от отсутствия хорошего ухода, ею овладевало отчаяние, она готова была бежать бегом, чтобы только поскорее достигнуть пещеры, где он томился. Она сожалела, что согласилась на доводы Фу-ин-фу и пошла пешком, а не поехала на лошади. Верхом они давно бы доехали, а теперь когда еще доберутся?! Тяжелее всего было, что Фу-ин-фу ни слова не понимал порусски, а она по-китайски. Она несколько раз пыталась добиться от него, сколько еще верст им осталось идти, но на ее упорные вопросы: до-шили?* — Фу-ин-фу только крутил головой, что-то бормоча под нос и быстро вертя пальцами перед своим лицом. Очевидно, он или сам не знал, или не умел объяснить так, чтобы она поняла. Эта неизвестность больше всего угнетала Надежду Ивановну... Иногда ей казалось, что они уже близко от цели своего путешествия, и ею овладевала радость, но минуту спустя она с ужасом убеждалась в преждевременности своих ожиданий.

Ночь близилась к концу, темно-синее небо приняло сероватый оттенок, ярко блиставшие звезды потускнели. Через какой-нибудь час должно было появиться солнце. Как везде на юге, оно сразу выплывало из-за хребта сопок и озаряло

* сколько верст?

землю водопадом ярко-жгучих лучей. Здесь не было той долгой борьбы мрака со светом, как бывает на севере, где солнце выходит медленно, как бы побеждая упорное сопротивление, здесь оно, как желанный гость, сразу распахивало дверь и входило, весело улыбаясь, сверкающее и радостное.

Фу-ин-фу озабоченно посмотрел на небо, затем оглянулся на свою спутницу, как бы желая удостовериться, может ли она еще идти, и, очевидно, решив, что может, прибавил шагу. Надежда Ивановна догадалась, что Фу-ин-фу торопится дойти к восходу солнца до намеченного им заранее ночлега, где-нибудь в особо укромном месте; она рада была этой поспешности, которая вполне отвечала ее затаенным желаниям. Чтобы Фу-ин-фу не побоялся ее усталости, она приняла бодрый вид и торопливо зашагала, стараясь даже перегнать быстро идущего старика. Так они подвигались более получасу. Вдруг Фу-ин-фу вздрогнул, остановился. Лицо его приняло испуганное выражение, он оглянулся вправо и влево, как оглядывается волк, ища, куда бы броситься в сторону, от неожиданно вставшей перед ним опасности. Но было уже поздно. Из-за скалы, загораживавшей поворот тропинки, мелькнула конская морда, через мгновение перед остановившимися в смертельном ужасе путниками появился японский кавалерист.

— Стой! — раздался резкий оклик, и дуло короткой винтовки уставилось прямо в лоб Фу-ин-фу.— Кто ты такой, куда идешь?

Застигнутый врасплох, Фу-ин-фу не сразу мог собраться с мыслями и сообразить, что ему отвечать, но природная хитрость, присущая всем китайцам, подсказала ему самый лучший в его положении образ действий, он притворился глухим. Приложив ладонь к склоненному вперед уху, он с низкими приседаниями приблизился к кавалеристу и стал бессвязно лопотать всякую чепуху, которую японец, не сильный в китайском языке, очевидно, не понял. Он сердито выругался и еще резче крикнул: «Кто ты такой и откуда идешь?»

Надежда Ивановна, которая в первый раз видела близко неприятельского солдата, несмотря на свой ужас, не могла побороть любопытства и исподлобья начала разглядывать японца. Она увидела человека, довольно плотного в плечах, с скуластым лицом и черными живыми глазами, одетого в венгерку, расшитую на груди шнурами. Лошадь у всад-

ника была не по росту его, высокая, хорошо выкормленная, выхоленная. Она нетерпеливо грызла удила мундштука и горячо переступала передними ногами. В общем японский кавалерист, несмотря на свой малый рост, производил впечатление заправского солдата, бравого и воинственного вида.

Не успел Фу-ин-фу ответить на заданный вопрос, как из-за того же поворота тропинки показался еще всадник, за ним третий, четвертый. Они ехали один за другим гуськом, как волки, вышедшие на добычу. Через минуту путники были окружены десятком кавалеристов. Надежда Ивановна видела устремленные на нее со всех сторон любопытные, горячие взгляды и невольно опустила глаза... Ей стало вдруг стыдно и нестерпимо страшно. Несмотря на шафранную краску, покрывавшую ее лицо, на уродливую прическу и грязные лохмотья, она не утратила своей привлекательности... Она сразу как-то поняла это, поняла, что красива и что японские солдаты обратили на ее красоту внимание. Поняла, и смертельный ужас охватил ее... Она стояла, дрожа всем телом, все ниже и ниже наклоняя голову. Вдруг она почувствовала около самого своего лица чье-то горячее дыхание. Рука, затянутая в толстую замшевую перчатку с крепкими, широкими крагами, бесцеремонно взяла ее за подбородок и силой подняла кверху ее зардевшееся стыдом лицо. Замирая от ужаса, Надежда Ивановна подняла глаза и увидела перед собой лицо молодого японца, низко склонившегося к ней с седла. Как ни была она испугана, но тем не менее сразу признала в молодом японце офицера, это было заметно по его интеллигентной фигуре, по изяществу обмундировки, по отсутствию за плечами ружья и по статности и красоте его коня. С минуту пристально смотрел японец в лицо Надежды Ивановны, как бы внимательно разглядывая ее; молодое лицо его добродушно улыбалось... Вдруг он еще ниже наклонился и неожиданно крепко прижался своими губами к ее дрожащим губам. Надежда Ивановна вскрикнула и, отшатнувшись в сторону, инстинктивно не давая себе отчета в своих действиях, но повинуясь одному только чувству страха и обиды, желанию поскорее уйти от обидчиков, бросилась вниз по крутому спуску... За минуту перед этим ей бы и в голову не пришло решиться на такой отчаянный поступок... Спуск был почти отвесный, всюду торчали острые камни, гладкие плиты, из щелей которых рос колючий кустарник... Сделав два-три скачка, На-

дежда Ивановна поскользнулась, потеряла равновесие, камень, на который она было оперлась ногой, сорвался под ее тяжестью, голова ее закружилась, и она покатилась вниз, больно ударяясь о каменные выступы... От страха и волнения она на минуту потеряла сознание, но когда открыла глаза, она увидела себя лежащую на мягком песке и подле себя озабоченное лицо Фу-ин-фу. Добрый старик, увидя ее падение, не долго думая, бросился вслед за нею. Привыкший с детства лазать по горам, он без особого труда, не теряя равновесия и не оступаясь, где прыгая с камня на камень, где скатываясь на спине, спустился вниз и очутился подле Надежды Ивановны, которая, благодаря счастливой случайности, упала не на камни, а на глубокие наносы песку, покрывавшие местами крутые ребра скалы. Необдуманный поступок Надежды Ивановны имел то хорошее последствие, что избавил ее и Фу-ин-фу от дальнейшей назойлиьости японцев. Смущенный ее падением японский офицер не стал ее преследовать и, махнув рукой своим кавалеристам, чтобы они следовали за ним, рысью двинулся дальше. Скоро они исчезли из виду. Фу-ин-фу поспешил помочь встать Надежде Ивановне. Она чувствовала себя не совсем хорошо. Ушибленная при падении голова слегка кружилась, все кости ныли, но она была счастлива уже тем, что все оказалось целым. Не только не было никакого полома или вывиха, но даже и сильного растяжения. Уцелел и ее сверток с лекарствами, искусно спрятанный в широких складках одежды. Тем временем начало светать. Во избежание повторения подобной встречи пришлось искать укромного места, где бы можно было переждать день. Спустившись еще ниже и перейдя долинку, путники углубились в густую рощу, изрезанную глубокими оврагами, поросшими частым кустарником. Любой из них мог служить надежным убежищем, открыть которое могла только слепая случайность.

VII

Катеньев давно потерял счет дням. В полусумраке пещеры он плохо отличал утро от вечера, и только, когда открыв глаза, он встречал вокруг себя кромешную тьму, он догадывался, что на дворе ночь. По временам, впадая в за-

бытье, он не мог решить, долго ли оно продолжается, может быть, несколько минут, может быть, несколько часов. Спросить было не у кого, так как старуха, которую он видел всякий раз пробуждаясь, не знала ни звука по-русски, но сиделка из нее была хорошая. Она очень внимательно ухаживала за раненым, стараясь угадать все его желания. Наложенные стариком перевязки она не меняла и только следила за тем, чтобы они не слезли, очевидно, ей было так приказано Фу-ин-фу. Впрочем, раны мало беспокоили Катеньева, особенной боли он не чувствовал, саднило в левом боку и ныла левая нога, немного выше ступни, вот и все ощущения, какие давали ему обе его раны. Его изнуряла больше слабость и частые обмороки, после которых он чувствовал сильный упадок духа. Нестерпимая тоска угнетала его. Он давно потерял всякую надежду на спасение и покорился своей участи — умереть одиноко в этой тесной пещере. Минутами ему казалось, что он заживо погребен, и тогда им овладевало страстное желание хотя бы еще раз взглянуть на солнце, на небо, на мир божий, подышать полной грудью чистым, свежим воздухом, услыхать понятную ему человеческую речь. В такие минуты он начинал думать, что, пожалуй, было бы лучше, если бы его забрали в плен — японцы бы, наверно, вылечили его, и впоследствии он бы вернулся в Россию... Попасть в плен, будучи тяжело раненным, не так уж позорно, как это казалось ему прежде. Молодая жажда жизни невольно брала верх и дразнила картинами возможного здоровья, счастья, любви... Перебирая в уме события последних дней, Катеньев подолгу думал, стараясь угадать, увенчается ли успехом поручение, данное им Фу-ин-фу. Первое время он сильно надеялся. Он верил в опытность и хитрость Фу-ин-фу. С первых дней по приезде в Маньчжурию Катеньев много слыхал о хитрости китайцев, о их ловкости и уменье обделывать всякие дела, в этом случае они во многом походили на евреев Западного края, для которых нет ничего невыполнимого. Но по мере того, как шло время, уверенность эта начала сильно колебаться и мало-помалу совершенно испарилась. Катеньев перестал верить в удачу. Он ясно сознавал все непреодолимые трудности, какие ожидали Фу-ин-фу, и чем больше думал о них, тем более убеждался, что никакая хитрость, никакая ловкость не преодолеют их. Если Фу-ин-фу и посчастливится благополучно миновать японцев, то ему никак уже

не удастся проникнуть за русское сторожевое охранение и добраться до Ляояна, а если бы и добрался, то как, не зная языка, он будет разыскивать нужный ему госпиталь. Катеньев вспоминал, как ему самому приходилось целыми часами тщетно разыскивать какую-нибудь часть войск или учреждение, находившееся в тылу армии. Как он безрезультатно обращался с расспросами ко всем встречным солдатам, рядовым и офицерам, разных полков и команд и как на все расспросы получал одно и то же: «Не могу знать!» Знаменитое: «Немогузнать!» — против которого ратовал бессмертный Суворов и которое в последнюю нашу японскую войну стало чем-то вроде лозунга. Если ему, офицеру, становилось подчас непосильной задачей разыскивать в армии нужных ему лиц, то для простого «манзы» эта задача и подавно представлялась вполне невыполнимой. Угнетаемый этими мыслями, Катеньев начинал уже раскаиваться, что уговорил старика взяться доставить его записку. Молодому хорунжему казалось, что если бы старик был теперь подле него, то, может быть, ему удалось бы его вылечить. Ведь среди простонародья есть старики, знакомые со знахарством, а китайцы вообще сведущи в народной медицине. Если бы ему удалось выздороветь, он тогда бы пошел сам, взяв старика проводником. Вдвоем бы им легче было бы добраться до русских, только бы избежать японцев и выйти к своим где бы и кто бы они ни были. Сознание непоправимой ошибки, сделанной им, действовало еще более угнетающе на душу Катеньева и лишало его последней бодрости и надежды.

VIII

Всю ночь Катеньева мучил страшный кошмар. Нелепые образы теснились в его горячечном мозгу. Ему слышались выстрелы, чьи-то протяжные стоны... Он видел себя то окруженным японцами, то бегущим от них по каким-то крутизнам, над бездонными пропастями, в которые он то и дело срывался и падал с головокружительной быстротой... Сердце его замирало, дух захватывало, голова кружилась, и он летел в черной бездне, и конца не было его полету... Весь облитый холодным потом, он с ужасом пробуждался и несколько минут лежал, глядя широко открытым взором в не-

проглядный мрак, окружавший его. Из отдаленного угла до него доносился мерный храп старухи, и этот храп среди мрака и тесноты удушливой пещеры наполнял душу Катеньева суеверным ужасом. Ему казалось, будто это храпит не человек, а какое-то странное фантастическое подземное чудовище, какой-то гном, о которых ему рассказывали в детстве. Только под утро кошмары покинули его, и он заснул спокойным крепким сном. Вдруг его словно что толкнуло. Он разом проснулся и широко открыл глаза. В пещере было светлее, чем обыкновенно, точно щель наверху стала шире и сквозь нее лились снопы солнечных лучей, отливающих вверху всеми цветами радуги. И воздух был как будто свежее, где-то чуть слышно щебетала птичка... У изголовья сидела китаянка, но не та старуха, которая всегда ухаживала за Катеньевым, а другая. Она сидела так, что падающие сверху, через щель, лучи только слегка освещали ее голову, и пристально глядела в лицо Катеньеву. Он машинально поднял на нее глаза, вгляделся — и вдруг вздрогнул всем телом. Еще шире открыл глаза... С минуту глядел в молчаливом оцепенении, не веря в действительность... Ему казалось, что он продолжает спать, и он делал над собой усилия, чтобы проснуться... В эту минуту китаянка подняла голову и, поймав на себе его изумленный, оторопелый взгляд, ласково улыбнулась... Сомнений больше быть не могло... Ошеломленный, все еще продолжая не верить своим глазам, Катеньев протянул руки... Он хотел вскрикнуть, назвать ее по имени и не мог. Точно посторонняя сила сдавила ему горло. Все пережитое и выстраданное за эти дни, все тяжелые впечатления, все испытания, ужас одиночества и безнадежная тоска,— все это слилось с необузданной, огромной радостью, подобно бурному потоку, разом нахлынувшему на него... Он не выдержал и зарыдал как ребенок, бессильно склоняя голову на поспешно поддержавшие его ласковые руки самого близкого, самого дорогого ему существа.

С этого дня выздоровление Катеньева пошло быстрыми шагами. Присутствие Надежды Ивановны как бы влило в его организм приток свежих сил. Прошла неделя, и уже он настолько поправился, что мог вставать и двигаться, хотя боль в ноге давала себя чувствовать. Они редко покидали пещеру и только по ночам выходили и садились где-нибудь неподалеку. Постоянная опасность развила в них чуткость и осторожность диких зверей; притом и верный Фу-ин-фу

в свою очередь ни на минуту не ослаблял своего внимания. Старик совершенно покинул свою фанзу, которая от частых постоев в ней японских солдат пришла в полное разрушение. Огород был вытоптан и весь расхищен, забор пошел на топливо, двери и рамы поломаны. Старик только зубы стискивал при виде разрушений, производимых японцами в его жилище. Когда дом был разграблен и разрушен настолько, что в нем уже трудно было жить, старик забрал свою старуху и переселился в горы. Недалеко от пещеры, где ютились Катеньев и Надежда Ивановна, была другая почти такая же. Фу-ин-фу поселился там с своей женой и стал ждать выздоровления Катеньева; он решил уйти из своих мест подальше от ненавистных ему японцев. Старик мечтал, как на те деньги, которые получит, если ему удастся благополучно доставить Катеньева и русскую «мадаму» на русскую сторону, он откроет в Мукдене небольшую торговлю. Теперь, когда русские пришли, многие китайцы взялись за торговлю; войск много, и всем все надо, платят хорошо, скоро, очень скоро можно нажиться! Так раздумывал Фу-ин-фу, сидя подле своей пещерки и рисуя в голове разные картины своего скорого благополучия. Иногда он исчезал, пропадал дня два и возвращался, таща на себе несколько связанных попарно кур, ногу чушки или мешочек рису. Для Катеньева с Надеждой Ивановной Фу-ин-фу был прямо неоценимый человек. Он доставлял им провизию и приносил новости о русской и японской армиях. Хотя Фу-ин-фу ни слова не знал по-русски, а Катеньев и Надежда Ивановна столько же по-китайски, но со временем они как-то выучились кое-как понимать друг друга. Однажды Фу-ин-фу вернулся очень озабоченным и хмурым. «Пу-шанго, шибко пу-шанго!» — объявил он, вползая в пещеру к Катеньеву. — «Рус Ляоян мию, рус пфууу!» — он дунул на ладонь и отмахнул ее назад. — «Ибен Ляоян ю. Рус мию!»

Катеньев и Надежда Ивановна многозначительно переглянулись. Известие было крайне тревожное. Значит, русские опять разбиты и еще дальше отступили назад. Нельзя даже и приблизительно определить, как далеко находятся теперь их силы. Шансов на спасение, стало быть, еще меньше.

— Как ты думаешь, когда я буду в состоянии настолько свободно владеть ногой, чтобы мы могли двинуться в путь? — спросил Катеньев.

— Боюсь, что не раньше, как через месяц,— отвечала Надежда Ивановна.

— А тогда наши войска, чего доброго, отойдут к Мукдену... Знаешь, мне иногда кажется, что нам не спастись... Подумай, какая дальняя дорога нам предстоит! Разве мыслимо пройти такой путь и не встретить ни японцев, ни хунхузов, когда вся страна кишит ими.

— Для бога все возможно,— с глубокой верой ответила Надежда Ивановна,— надо больше молиться и надеяться.

Оба снова умолкли.

IX

Эту ночь Катеньеву не спалось. Лежа с открытыми глазами и прислушиваясь к ровному дыханию спящей в другом углу Надежды Ивановны, он думал о ней. Думал о том, какой великий подвиг самопожертвования свершила она, связав свою судьбу с его судьбой. Какой страшной опасности подвергается она каждую минуту. Ломал голову, стараясь придумать, каким бы способом им лучше всего освободиться из своего тяжелого положения. Не лучше ли будет послать Фу-ин-фу к японцам и добровольно сдаться в плен, не рискуя быть пойманными во время бегства. Тогда на их милость не надейся. Они наверно сочтут их обоих за шпионов и поступят как со шпионами. При этой мысли холодный ужас охватывал Катеньева. Не столько за себя самого, сколько за свою невесту. С ним, он знал, разговор будет короток: поставят к стволу дерева и расстреляют, но как поступят с нею, может быть, ее ожидают такие нравственные мучения, такой позор и оскорбления, по сравнению с которыми смерть покажется благодеянием. Чем дальше думал Катеньев, тем мысли его делались безотрадней.

— Да, только на бога надежда да на судьбу,— невольно произнес он вслух.

— Ты не спишь? — услыхал он голос Надежды Ивановны.

— Нет, что-то не спится, все думаю о нашем положении.

— Мне тоже не хочется спать. Хочешь, выйдем, посидим немного на воздухе. Ночь, кажется, прекрасная.

Они вышли и сели на камень, скрытые густой тенью, падающей от другого огромного камня. Ночь была действи-

тельно прекрасная. Луна ярко светила с безоблачного неба, заливая горы фосфорическими лучами. Тишина кругом царила мертвая. Воздух был тепел и как бы насыщен ароматом земли. Долго сидели они так, плечо к плечу, погруженные в свои думы, одинокие, оторванные от всего мира, заброшенные в глухие маньчжурские горы, одетые в лохмотья китайской одежды.

Точно в сказке размышлял Катеньев: как все это странно. Вот уже никогда не мог вообразить себе, чтобы в моей жизни могло случиться что-нибудь подобное. По сравнению с нами история Робинзона куда менее фантастична.

— Как хорошо! — тихо прошептала Надежда Ивановна.— Какая дивная ночь!

Она сидела, подперев ладонью подбородок, с мечтательно устремленным перед собою взглядом. Теперь, когда она смыла краску с своего лица и по-своему причесала волосы, она даже в старой китайской курме казалась красавицей. Костюм не уродовал ее, а только придавал ее лицу странное, оригинальное выражение. При свете месяца оно казалось еще бледнее, чем было на самом деле, а красивые темные глаза казались еще больше, еще темнее. Они словно испускали лучи, которыми озарялось все ее задумчивое, тонко очерченное лицо.

— Хорошо-то оно хорошо,— усмехнулся Катеньев, невольно любуясь изяществом ее лица и всей фигуры,— но еще было бы лучше, если бы мы наслаждались этой ночью верст за сто, из русского лагеря.

— Да, конечно, но знаешь, что я думаю: испытание, которое нам теперь послано судьбою, впоследствии сослужит нам огромную службу. После того, что мы пережили и переживем здесь, нам не будут страшны никакие испытания в жизни.

— Да уже хуже едва ли когда будет. Хотя самое худшее еще впереди. Пока мы здесь в этой пещере, наше положение не так еще опасно. Опасности начнутся, как мы тронемся отсюда.

— Я, знаешь, возлагаю сильную надежду на Фу-ин-фу. Когда я сюда шла, я убедилась, насколько он смышлен, ловок и осторожен. Сколько раз он вовремя, прямо каким-то чутьем, угадывал опасность и успевал прятаться. Несколько раз японцы проходили от нас всего в каких-нибудь 20—30 шагах. Только раз мы не успели вовремя спрятаться, это

когда наткнулись на японский разъезд, я тебе уже об этом рассказывала... и то бог спас.

— Да, действительно, это было почти чудо, что вас не захватили.

— Вот видишь. Этот случай дает мне надежду, что и впредь судьба будет к нам милостива. Подумай сам. Разве не чудо, что ты остался жив, не попал японцам в плен, разве не чудо, что нашелся такой славный, честный старик, как наш Фу-ин-фу, который решился, рискуя своей головой, приютить тебя? Мне как-то не верится, чтобы дело, начавшееся так удачно для нас, кончилось нашей гибелью. Что-то внутри меня говорит мне, что все обойдется по-хорошему, и мы еще будем счастливы...

— Дай бог,— раздумчиво прошептал Катеньев,— а все-таки я не могу не повторить, что ты поступала безумно, решившись идти ко мне, подумай только...— Она не дала ему договорить и шаловливо зажала его рот своею ладонью. Он поймал ее маленькую, изящную ручку и крепко прижал к своим губам. Так они сидели довольно долго, озаренные нежным сиянием месяца, задумчиво смотревшего на них из бездонной глубины безоблачного неба.

Вдруг где-то совсем неподалеку от них чуть слышно скрипнул щебень. Точно зверь или человек, крадучись, пробирался по каменистой тропинке. Катеньев осторожно приподнялся и выглянул из-за скрывавшего их обоих камня. Неожиданно для себя, всего в 10—15 шагах, он увидел плечистого китайца, который, в свою очередь, заметив Катеньева, стремительно отшатнулся назад. Луна светила ярко. Было светло, и на близком расстоянии хорошо видно. С минуту незнакомец и Катеньев разглядывали друг друга. Катеньев колебался, как ему теперь поступить. Не благоразумнее ли будет с его стороны пустить пулю в лоб неожиданному гостю. На всякий случай он опустил руку в широкий карман, пальцами нащупал рукоятку револьвера и только ждал дальнейших действий со стороны пришельца, чтобы, при первом проявлении с его стороны неприязненности, жестоко с ним расправиться.

— Что за чертовщина,— вдруг совершенно неожиданно на чисто русском языке произнес пришедший китаец,— да никак это тоже наш! Лицо-то русское, на китайца и не похоже будто.

— А ты разве русский? — изумленно спросил Катеньев,

выходя вперед и приближаясь к незнакомцу.— Откуда же ты взялся?

— Я — сибирский стрелок, бежал из плена, а ты кто такой и что тут делаешь?

Катеньев назвал себя.

— Извините, ваше б-ие,— без всякого, впрочем, смущения извинился стрелок, добродушно усмехаясь,— в таком обмундировании, какое на вас, сразу не признаешь... Ишь ты, история какая,— продолжал он,— где земляков довелось встретить... Ну коли так, дозвольте присесть, устал я порядком, все горами шел, которую ночь иду, совсем из сил выбился.

Не дожидаясь ответа, стрелок направился к камням, из-за которых вышел к нему Катеньев, и тут увидал Надежду Ивановну.

— Батюшки светы, да никак и барыня здесь с нами?!! — воскликнул он в искреннем изумлении,— хошь и в китайском наряде, а русского человека сейчас видать.

— Это моя невеста, сестра милосердия, узнала, что я в горах остался, пришла ко мне лечить меня,— пояснил Катеньев,— ну, садись, рассказывай, как это тебе от японцев бежать удалось... Кстати, прежде всего, как звать-то тебя, земляк?

— Звать-то меня Петр, по отчеству Петрович и по фамилии тоже Петров. Выходит, стало быть, Петр Петрович Петров. Занятно сказывать, а допрежь того, как мне вашему благородию про мои похождения докладывать начать, не соблаговолите ли вы мне чего ни на есть поисть дать. Сказать по совести, вот уже третий день ничего не ел. По пути кое-какую травку жевал, водой запивал, а только еда эта самая, травка божия, как будто не того, питательности в ней, стало быть, мало. Хоть и говорят, будто бы пустынножители, угодники божии, одними корешками питались и подолгу жили и богу сподоблялись, а только это, должно, от того происходило, что святости в них было много, пищи-то и не требовалось, а мы, грешные, ровно свиньи, без жратвы более семи дней прожить не можем.

Стрелок говорил каким-то особенным тоном, нараспев, как говорят рассказчики, сохраняя глубокую серьезность на лице, только в углах губ чуть заметно змеилась усмешка, да зрачки глаз насмешливо поблескивали. Он был не молод. На сильно похудевшем лице с осунувшимися щеками вид-

нелось немало морщин. Борода и усы, очевидно, для пущего сходства с китайцем, были сбриты, голова гладко острижена. В этом виде стрелок смахивал на Бонзу[7], хотя черты лица его были чисто русские.

Надежда Ивановна встала и через минуту принесла и подала стрелку несколько лепешек и кусок холодной свинины. Тот даже слегка охнул от радости и с жадностью схватился за еду. Он ел, быстро пережевывая большие куски, и от удовольствия даже жмурился.

— Эх, вот важнецки-то! — произнес он наконец, проглатывая последние крошки.— Давно не едал так... Спаси господи. Теперь, опосля того, кабы водки, хоша бы самую малость, совсем бы человек исправился!

Он выжидательно покосился на Катеньева и севшую снова рядом с ним Надежду Ивановну.

— Водки нет,— буркнул Катеньев.

— А нет — и суда нет,— тряхнул головой стрелок.— Впрочем, коли так рассудить, и без водки жить можно. Обходились же без водки отцы церкви, особливо которые из непьющих были, и ничего жили, пока не помирали... А помирали, тогда, стало быть, жизнь кончалась, и водки по этой самой причине не требовалось.

— А ты, как я посмотрю, из веселых,— усмехнулся Катеньев, которому стрелок пришелся по душе.

— Это вы, ваше б-ие, правильно сказать изволили,— согласился Петров,— я точно что из веселых. За эту самую веселость мне в полку много раз по загривку перепадало. За веселость меня и господа японцы подвесить собрались, да помог бог стрекоча задать... да и то сказать, с чего и веселым мне не быть. Имущества у меня, окромя пустого брюха, никакого, николи и не бывало, да, полагать надо так, никогда и не будет. Заботы о таком имуществе немного. Бояться, чтобы кто не украл, не приходится, потому, что оно всегда при мне и красть никто не станет... Разве что костлявая придет: «Подай, скажет, живот свой».

«На, подавись, окаянная!» Ну она точно тогда заберет, но и тут все-таки лестно, потому что в церкви молиться станут, за воина живот свой на брани положившего...

— А ведь ты кощунствуешь?

— Я? храни бог,— изумился или притворился изумленным Петров,— и в мыслях не было, потому прежде всего, что я как есть православный человек, в бога верую, святых

чту, начальства боюсь... Нет, как можно, шутить изволили.

— Ну ладно, а ты нам вот что расскажи, как ты в плен попал и как из плена удрал.

— В плен-то я попал проще простого. Много нас теперь попадает тем же манером. Был я в охотничьей команде. Послали нас на разведку, и поручик с нами. Ну шли мы... Поручик наш, царство ему небесное, хороший человек был, настоящий вояка. Много мы с ним хороших делов наделали. Ни однова раз японцев лущили... Может, и теперь бы еще лущили, кабы не попутал грех. Приехал к нам из главного штаба капитан, говорит: «Мне велено разведку с вами сделать и план снять!» Ну ладно. Разведку так разведку. Пошли. Наш поручик на это дело мастак был, а только капитану не потрафил. С первых же шагов зачал он нам указывать, как иттить, куда смотреть... Карту вынул и все по карте смотрел. Только карта эта была какая-то будто бы странная, с настоящим плантом не сходственна. На карте речонка так чуть обозначена, будто ручеек показывается, а в действительности река такая, что, окромя как в лодке, и не переедешь. Дальше, смотришь, лес показан, а его в том месте и не бывало, зато где равнинка обозначена, там, глядишь, овраг на овраге, и так все...

Наш поручик несколько раз советовал капитану ту карту стрелкам на цигарки подарить, но капитан очень на это обижался, по той причине, что карту эту самую он почитал очень хорошей, в ней даже проставлено было, где японцы стоят. Говорят, в штабу про это доподлинно знали... Вот эта-то карта и сгубила нас. Шли этта мы по ней, почитай, целый день и пришли к селению, забыл я теперь, как оно, проклятое, называется. Поручик наш говорит капитану, будто бы, по его сведениям, селение занято японцами, а капитан спорит, что не это, а следующее, потому в карте было так проставлено, а карте капитан верил больше, чем нам, потому что, когда двое из нас подобрались к самому селению, вернулись и доложили, что они воочию видели японских кавалеристов, капитан очень на них рассердился, обозвал трусами. Вам, говорит, это со страху попритчилось. Это не кавалеристы, а коровы, так и в планте показано. Ну коли в планте, так и разговоры коротки. Але-марш. Пошли. Поручик наш предчувствовал, мрачный такой шел и все вперед поглядывал. Капитан же, напротив, веселый гарцует. Конь под ним добрый, аглицкой породы, хвост куцый, и два ка-

зачка с ним... Только подошли мы к селению, а оттуда... каак затрещит... Батюшки светы. Ровно прорвало их... Шарахнулись мы назад, тут холмик был такой, чтобы залечь, думали отстреляться, глядим, справа и слева японцы валом валят... Будто из земли выпирает... Капитан живой рукой назад, и казаки с ним... Ускакал и плант увез, а мы остались. Известное дело, пешком за конным не поспеешь. Плохо нам тут пришлось... Бросились японцы на нас в штыки. Поручика нашего убили... Остались мы без начальства ровно овцы... Что тут было, я и сказать не умею... Давили нас ровно крыс каких. Да и мудреного мало. Было нас всего человек с пятьдесят, а их, узкоглазых чертей, со всех сторон навалило до тыщи... Меня, один такой-то, звезданул прикладом по башке, я и света невзвидел, очи под потолок ушли. Аж обомлел весь, и свет из глаз выкатился, а как очнулся, гляжу, связан лежу, и подле меня еще человек пять-шесть наших, тоже связанные. Что, говорю, братцы, по планту мы к японцам попали али без планта?

Ругаются.

Ну забрали нас японцы и повели. Привели в город Фынхуанчен. Хороший город, к тому же знакомый. Мы там два раза стояли, первый раз как на Ялу шли, а в другой раз как из-под Тюринчена обратно шкандыбали. В Фынхуанчене на первых порах посадили нас в каталажку, а продержавши там дня три, вывели на дорогу и заставили дорогу строить...

— Как дорогу строить? — изумился Катеньев.— Какое же они имели право употреблять вас на работу, ведь вы же пленные?

— Полагать надо, пленные. А что касательно того, будто бы они права на то не имели, чтобы нас работать заставлять, то и нам так это казалось. Некоторые из наших, а было нас тут, окромя тех, что из нашей команды, человек до сотни, из разных других полков, тоже так же думали, как и ваше благородие, и стали даже японцев усовещевать. Только как вы азиата урезоните? Одно слово — азиат, по-азиатски и думает. Не стали они нас и слушать, резонов наших во внимание не приняли, а принялись лущить нас палками по чему попало, а кто особенно артачился, накинули петлю на шею и к дереву потащили... вешать, стало быть... Ну тут мы все видим, что хоша права и на нашей стороне, но палки, и веревки, и сучки на деревьях на их

стороне. Живо смирились. Особливо те, которых вешать хотели. Они, как им скинули петли с шеи, шустрей всех за работу принялись... Николи, должно быть, допрежь того так не работали... Поди, и не знали, что могут так работать... Хорошо работали...

— Что же именно заставляли вас делать?

— Дорогу чинить. Вы в Фынхуанченах бывали когда? Помните дорогу от Тюринченских позиций через перевал и дальше; когда мы там стояли, по ней повозкой порожняком трудно было ехать. Узкие, изрытые колеями, с крутыми подъемами, всюду камни валяются, а теперь посмотрели бы, какая она стала. Одно слово — шоссе. Выгладили, выровняли, уширили и осадные орудия возят. У нас двуколкой проехать нельзя было, а они такую махинищу прут, упряжек десять запрягут.

— Кто же им дороги эти строил?

— Китайцы. Нагнали они китайца видимо-невидимо. Саперы ихние тоже работали, впрочем, больше на манер начальства, досматривали, указывали, что и как, палками тоже действовали они же... Китаец, известно, малодушный человек, палку любит. Его если палкой хорошо огреть, и раздругой, он большое старание доказать может... Солдат своих японцы на работы не употребляют, для сражения берегут, говорят, будто, если солдата на земляных работах надсадить,— плохо штыком орудовать будет. У нас вот наоборот. Наше начальство завсегда накануне боя, день або два, землю копать заставляло, для моциону, штобы не зажирели солдаты-то... не знаю, может, так оно и лучше, а только и у японцев недурно. Китайцы землю роют, а солдаты японские воюют, а когда сраженьев нет, отдыхают, сил набираются. Пленных наших они тоже к работе приспособили, полагать надо, чтобы даром на харчи не тратиться. Вот таким манером проработал я у них недели с две и стал подумывать, как бы лататы задать. Надо вам доложить, сам-то я родом с Амура и, как молодым парнем был, до службы еще, значит, по китайским селениям в батраках служил и через то язык китайский изучил то исть во как. Так скажем — от китайца отличить невозможно. Право слово. И обычаи я китайские знаю все доподлинно, что и как, все сообразить могу. Очень это мне кстати пришлось. Китайцы тех русских, что поихнему хорошо знают, оченно уважают, считают ровно бы как за своих. Даже, почитай, больше того. Лестно ли им,

что вот, мол, русский человек, а по-ихнему говорит совсем как они или, может, думают про такого, что, мол, должно, великого ума человек, коли на двух языках говорить выучился, бог их там ведает, а только, повторяю, большое они к таким людям расположение имеют и завсегда всем, чем могут, помочь готовы. Зная такое их пристрастие, задумал я при их помощи от японца бежать.

Было нас, пленных, на работах человек десять, разных полков и команд, а китайцев несколько сот. Почему нас в Японию не отправляли, сказать не берусь, должно, какую оказию ждали, а пока что, чтобы даром, значит, японского хлеба не ели, работать заставили. Работа была тяжелая. За день так измаешься, что к вечеру ни рук, ни ног не чувствуешь. Однако японцы нам все-таки доверия не оказывали и, как поужинаем опосля работы, тотчас же руки и ноги веревками связывали и часового ставили. Ночевали мы тут же, неподалеку от дороги. Из китайцев тоже многие, которые издалека пришедши были, тоже ночевали в поле, близ дороги, только отдельно от нас.

Раскинул я себе умом и так и эдак и давай действовать. Перво-наперво уговорился с одним китайцем; рядом работали. Обещал он мне, что, коли я ночью к ним в деревню приду, одежду мне кое-какую дать китайскую, впромен на мою — а на мне сапоги были добрые, почитай, что новые, рубаха русская, кумачная, приглянулась китаезу, стало быть,— а затем проводит горами до другой деревни, где мне помогут схорониться на первое время, если японцы искать начнут. Порешив с этим делом, повел я свою линию далее. Надо лишь было прикинуться больным, чтобы, значит, отлежаться к вечеру, силы набраться... Ну это дело не хитрое. Как зачало солнце сильно допекать, я хлоп на землю, и начало меня кочережить... Должно, здорово ловко изобразил я им это все. Взяли меня японцы за голову и за ноги, оттащили в сторонку, под камни положили. Один водой голову поливал, другой мокрую тряпку на грудь клал... Долго бился я, наконец успокоился и прикинулся, будто сплю. Оставили меня японцы лежать, однако, рассобачьи дети, руки и ноги все-таки же связали. К вечеру пришел в себя, поужинал и спать лег, будто ослабел шибко. Другие товарищи так за день умаялись, что как залегли, так разом и захрапели, а я лежу да тихонечко руки из узлов выпутываю. Бился долго, наконец выпутал, местами кожу до крови стер, ну да

на это глядеть не приходится. Выпутал руки, стал ноги распутывать; ну это полегче было. На счастье, ночь темная выдалась. Часовой, что стоял около нас, должно, из очень молодых попался, неприметливый. Ходит в сторонке и не смотрит. Наконец перестал ходить, остановился, оперся на ружье и задумался...

Вижу я, дремлет парень. «Ну,— думаю,— Петра Петров, коли хотишь свободну быть, не робей, да и не зевай». Помолился я тут про себя своему ангелу и пополз. Подполз к часовому шага на два, гляжу, а он спит, сердечный, качается и ружье едва-едва в руках держит. Ну, тут я перекрестился, собрался с духом, да как вскочу. Хвать ружье у японца из рук, да его штыком в грудь, так насквозь и просадил... Спросонков даже и не крикнул. Другие японцы в сторонке спали, тоже не слышали. Приколол я часового и давай бог ноги... Отродясь так не бегивал. Добежал до деревни, прямо к китайцу, с которым уговор имел, тот не спит — ждет. Хороший человек оказался. Мигом скинул я всю свою одежонку, напялил на себя китайское тряпье, одежду мою китайская «бабушка» унесла, спрятала, а мы с китайцем живым манером из деревни да в горы. Всю ночь шли. Наутро привел меня китаец в одинокую фанзу и сдал с рук на руки другому; тот на день схоронил меня под стрехой крыши, туда и есть носил. Отлежался я у него день, а ночью побрел дальше, наперед обривши усы, бороду и голову. Вот уже поболее недели в горах плутаю. Из гор-то выйти боязно, потому что повсюду японские сторожевые посты стоят; надо выждать, как японцы немного вперед продвинутся, тогда легче будет как-нибудь в долины пробраться... Первые дни я заходил в китайские деревушки, раздобывал себе чего-нибудь поисть, а вот последние дни так брожу, к китайцам заходить опасаюсь, как бы не выдали. Когда японцы далеко, китайцы ничего себе, довериться можно; ну а когда те близко, китаец повсегда выдаст по тому самому, что больно они их боятся... Ну, а вы, ваше б-ие, как же думаете быть? Долго намерены здесь оставаться?

— Вот как немного нога подживет, тогда и попробую пробираться к своим,— ответил Катеньев.— Я не один, а с невестой; вот и не знаю, как это все устроится.

— Устроить трудновато, что и говорить, а только и унывать очень нечего. Никто, как бог. Надо только барыню

переодеть китайчонком. Мущиной им куда легче будет пройтить, чем женщиной. Покрайности китайцев опасаться не надо будет. Пущай думают, что, мол, мальчик, русский; это надежней, а то до баб они охочи... А второе — необходимо нам какое-никакое оружие раздобыть. Не против японцев, с теми много не навоюешь; коли попадемся им в лапы, все равно пропасть надо, с оружием ли, без оружия ли; а вот против китайцев оружие необходимо. Китайцы такой народ, что безоружного скорей обидят и японцам скорее выдать могут, а коли увидят, что мы вооружены, у них тогда много больше почтения к нам будет: сами напасть не решатся и японцев не наведут. Я это говорю так, потому хорошо натуру их знаю... Надо беспременно какое ни на есть оружие раздобыть.

— У меня револьвер есть,— сказал Катеньев.

— Видел. Револьвер это хорошо, а еще лучше, кабы два ружья добыть. Одно вашему б-ию, одно мне, а револьвер мы на барыню повесим. Будет и барыня тоже с оружием.

— Легко сказать, два ружья, а где их достать?

— Достать-то оно, конечно, трудновато,— согласился Петров,— но попытаться можно. Перво-наперво надо хозяина спросить. Может, ему удалось как-нибудь раздобыться ружьецом в ту пору, как ваш разъезд расколошматили. Только бы одно ружье достать да несколько патронов к нему, а за другими дело не станет! — добавил он, загадочно ухмыльнувшись.

Когда вечером вернулся Фу-ин-фу, он сначала очень испугался, увидев нового жильца, но Петров сразу же успокоил его, бойко заговорив с ним по-китайски. Долго переговаривались они, после чего Фу-ин-фу куда-то ушел и вернулся, неся казачью винтовку и патронташ, полный патронов. Петров не ошибся. Фу-ин-фу действительно успел спрятать одну из винтовок, найденную им в кустах, после ухода японцев, уничтоживших отряд Катеньева... Русские винтовки были в цене среди китайцев, и Фу-ин-фу рассчитывал, при случае, продать ее хунхузам.

— Ну вот и отлично,— обрадовался Петров, радостно хватая винтовку из рук Фу-ин-фу,— теперь мы скоро и другую достанем.

X

Два дня прожил Петров в пещере, где ютился Фу-ин-фу, и оба дня почти все время спал. Ел он много и прожорливо; очевидно, изголодался парень. На третий день к вечеру он явился к Катеньеву с ружьем за плечами и небольшим мешком за спиной, с провизией, заключавшейся в нескольких кукурузных лепешках и большом куске вареной свинины.

— Ну, ваше б-ие,— весело улыбаясь, начал Петров, влезая в пещеру,— пока что, прощенья просим.

— Ты разве идешь куда? — несколько удивился Катеньев.

— Так точно. Надоть винтовку раздобыть, да еще коечто на дорогу.

— Постой, да ты с ума сошел? — испугался даже Катеньев, с первого слова поняв намерение Петрова.— Разве можно... ведь если ты убьешь тут поблизости какого японца, мы пропали... Японцы все горы обрыщут и найдут нас тут...

— Не извольте беспокоиться! Нешто я без понятиев,— поспешил успокоить его Петров.— Я верст за сорок, али больше, уйду отсюда, у меня и место намечено... Вы, ваше б-ие, сидите тут без сумнения и ждите. Ежели ден через пять меня не будет, то, стало быть, я убит, а только думается мне, что вернусь благополучно, и тогда мы отправимся все вместе. Со мной вам куда сподручнее будет, потому язык китайский знаю и обычаи их все мне доподлинно известны. Фу-ин-фу пущай только дорогу указывает, а остальное мое дело.

Петров говорил так спокойно, с такой уверенностью, что эта уверенность невольно передавалась Катеньеву и Надежде Ивановне.

— Молодчинище стрелок,— похвалил Катеньев Петрова, когда тот ушел.— Кабы сотню таких набрать, можно бы невесть бог каких дел наделать.

С этого дня все начали готовиться в поход.

Нога Катеньева еще побаливала, но он решил не обращать на это внимания. Он надеялся на силу своего духа, который поможет ему побороть физическую боль. Дольше оставаться было опасно. Каждый день они могли быть открыты, и к тому же могли завязаться бои, после которых русская армия могла отступить еще дальше.

Фу-ин-фу, решившийся окончательно связать свою судь-

бу с судьбой его русских гостей, отправил пока свою жену в соседнюю деревню, а сам занялся приготовлениями к далекому и трудному пути. Согласно совету Петрова, который он вполне одобрил, Фу-ин-фу достал для Надежды Ивановны мужской китайский костюм и помог ей заплести косу по-китайски. В этом костюме, загорелая, обожженная солнцем, она выглядела хорошеньким мальчиком-подростком. Для Катеньева тоже была припасена китайская одежда. Одновременно с этим старуха, жена Фу-ин-фу, напекла целую гору кукурузных лепешек; запаслись китайским чаем и даже бутылкой ханшина.

На все эти приготовления потребовалось не более двух дней. Стали поджидать Петрова. Теперь, когда поход был окончательно решен, всеми овладело нетерпение поскорее пуститься в путь, испытать счастие.

Катеньев волновался больше всех. Из суеверного страха он не хотел обсуждать вслух подробности предстоящего похода и загадывать о его удачном окончании, но про себя он постоянно думал об этом. Иногда ему казалась вся затея невыполнимой; другой раз, напротив, он живо представлял себе, как они, преодолев все препятствия, трудности и опасности, доберутся наконец до русских войск. Он ярко рисовал себе картину встречи с товарищами и знакомыми, и в такие минуты сердце его усиленно билось и дух захватывало от волнения.

Надежда Ивановна тоже волновалась; ее больше всего беспокоило сомнение, хватит ли у Катеньева силы преодолеть тяжести пути; она очень боялась, чтобы дорогой ему не стало хуже и раны его не открылись. О себе она не думала вовсе. Она мысленно горячо молилась и просила у бога помощи. «Господи, соверши чудо!» — шептала она про себя, украдкой поднимая глаза к небу.

Беспокоился немного и Фу-ин-фу. Он знал, что, в случае неудачи предприятия, ему не миновать японской петли. Впрочем, как все сыны востока, Фу-ин-фу был в большой степени фаталист и успокаивал себя сознанием, что тому, чему быть, того не миновать.

Все с нетерпением ждали Петрова, как бы инстинктивно ища в нем руководителя и опору.

К вечеру пятого дня Катеньев и Надежда Ивановна так волновались, ожидая возвращения Петрова, что не могли спать, и вышли присесть на свою любимое местечко, к под-

ножию огромного камня, заслонявшего пещеру. Ночь была темная, хотя и безоблачная. На недосягаемой глубине неба, точно огоньки далекой иллюминации, ярко горели бесчисленные звезды. Надежда Ивановна засмотрелась на них, и ей стало невольно грустно. По сравнению с этой волшебно-грандиозной картиной недоступных человеческому уму пространств какой ничтожной соринкой являлась ей вся земля; а все их собственные страдания, горести, мечты и неудачи, наконец, сами они казались чем-то столь несоразмерно малым, столь ничтожным, что ей даже стало жутко...

— Вот,— думала она,— на большом пространстве земли, десятки тысяч людей истребляют друг друга. Решается огромная задача, ради которой приносятся в жертву многое множество человеческих жизней, человеческих счастий. Льются неудержимые слезы множества осиротелых семейств, несутся к небу горячие, страстные молитвы, раздаются стоны и вопли... Сколько ужасов и несчастий! Сколько безысходного горя, и как все это мелко, как скоро проходяще! Пока зародившийся в это мгновенье луч света достигнет хотя бы вон с той звезды до нашей земли, пройдет несколько сот лет, и не только нас, живущих и страдающих теперь, не застанет он здесь, но, может быть, к тому времени исчезнут с лица земли те государства, которые теперь с такой жестокостью воюют одно против другого. Все изменится на земле: разрушатся огромнейшие здания, вырастут новые города, явятся новые государства, новые народы...

— О чем ты задумалась, Надя? — тихо спросил Катеньев, наклоняясь близко к лицу девушки и стараясь разглядеть его выражение в ночном полумраке.

— Так... загляделась на звезды и думаю, что мы, со всею нашею историей и мировыми вопросами, не больше, чем муравьи, суетящиеся на своей кучке. Не правда ли?

— Ты философствуешь — это вредно,— засмеялся Катеньев.— Я как-то не умею так думать о вопросах отвлеченных. Мои мысли всегда вертятся вокруг чего-нибудь для меня близкого и существенного. Теперь я думаю о Петрове, и чем я больше думаю, тем более выясняю себе, насколько он может быть нам полезным при нашем предполагаемом путешествии. Какой-то внутренний голос мне говорит, что с ним мы благополучно проскользнем между японцами и доберемся до своих. Он нам может быть полезнее, чем Фу-ин-фу... Досадно, однако, почему он не идет... Я не хочу

даже в мыслях допустить, чтобы он не вернулся. Как ты думаешь?

— Трудно сказать что-нибудь. Я даже хорошенько не знаю, что он затеял.

— Да и я не совсем понял, но догадываюсь, что он решился на какое-нибудь отчаянное предприятие...

Оба замолкли. Несколько минут длилось молчание. На этот раз первая заговорила Надежда Ивановна.

— Боря,— тихо произнесла она,— как ты думаешь, в случае чего, мы живыми в руки не дадимся? У меня есть яд, который я проглочу в последнюю минуту...

— А у меня револьвер,— перебил Катеньев,— последнюю пулю я сохраню для себя... Но зачем мрачные мысли? Или ты не веришь, что нам удастся добраться благополучно до своих?

— Я верю в божью милость... Но мне, признаться, все-таки страшно. Больше страшно, чем тогда, когда я шла к тебе. Тогда меня занимала одна мысль: застану ли я тебя в живых? Страх опоздать и найти тебя мертвым заслонял передо мною все остальные страхи... Я в те минуты о себе даже не думала. Для меня вопрос был не в том, попадусь ли я японцам или нет, а только лишь в том — жив ли ты еще?

— Милая моя,— с глубоким чувством проговорил Катеньев и, обняв девушку за талию, прижал к себе.

— А теперь,— продолжала та, прижимаясь своим плечом к его плечу, теперь, когда ты со мною, меня пугает мысль, что что-нибудь нас может вновь разлучить...

— Этого не бойся. Нас не разлучит даже сама смерть. Мы или пробьемся с тобой оба, или оба умрем. Другого выхода нам нет...

— Да, это так,— просто согласилась молодая девушка.— Что бы ни случилось, ни ты меня, ни я тебя не бросим... Наши жизни теперь как бы слились в одну... Потом, может быть, они вновь разъединятся, а пока мы с тобой одно существо. Не правда ли?

Вместо ответа Катеньев только крепко пожал ее руку. В эту минуту где-то очень-очень далеко бухнула пушка. Оба насторожились. Выстрел повторился еще и еще. В мертвой тишине ночи ухо едва-едва могло уловить неясные звуки.

— Канонада! — тихо шепнул Катеньев.— Слышишь орудийные залпы?

— Где это? — слегка вздрагивая, шепотом задала вопрос Надежда Ивановна.

— Трудно определить. Но только очень далеко. Наверно, идет бой. Что-то будет? Дал бы бог, чтобы наши одолели... Может быть, наши прогонят японцев и подойдут сюда?

— Может быть. Хотя доктор наш, когда я с ним прощалась, уверял, будто мы будем принуждены снова отступить.

— Что ваши доктора понимают в боевом деле! — с досадой произнес Катеньев.— А я так, напротив, убежден, что на этот раз наши побьют японцев, вот увидишь.

— Дай бог. Однако канонада все усиливается. Должно быть, дело разгорается не на шутку.

Действительно, выстрелы становились все явственнее. Не было сомнений, что это гремят залпы одновременно из массы орудий.

— Господи, сколько опять крови прольется, сколько будет новых несчастных калек, сирот и вдов... Какая ужасная вещь война!

— Как тебе сказать, с одной стороны посмотреть, действительно ужасная, а с другой — ничего... Напротив, даже в войне есть много своеобразной прелести... Не умею я этого объяснить, но чувствую... Ишь как жарнуло... Трррах. Это, очевидно, японские орудия. Наши стреляют еще дальше, а потому их меньше слышно.

— Да, это японские,— раздался вдруг подле них неожиданно знакомый голос, и из мрака ночи выдвинулась вперед темная фигура Петрова.— А вот и я,— добавил он весело.— Заждались?

— Да, признаться, поджидали. Ну, как ты, благополучно? — ласково спросил Катеньев, стараясь вглядеться в темноте в лицо Петрова.

— Слава богу... Вот два ружья принес, патронов сотни две и ло́зу* японского... хороший ло́за, с седлом... Теперь вашему благородию и барыне, почитай, пешком и идти не придется. Ло́за такая здоровенная, двоих повезет... Вот надо только местечко ему выбрать получше да привязать покрепче, чтобы не убег... Он, впрочем, смирный.

— Где же ты его достал? — полюбопытствовал Катеньев.

---

* Л о́ з а — лошадь, мул.

— У японца выпросил,— рассмеялся Петров.— Опосля расскажу, а теперь дозвольте спать лечь: здорово заморился... Всю прошлую ночь и весь день шел. На что ло́за скотина, и тот притомился, под конец едва брел.

За спиной Петрова в ночном мраке мерещилось что-то большое, массивное. Подойдя ближе, Катеньев увидел великолепного, рослого мула, заседланного японским седлом.

— Хороший мул,— похвалил Катеньев, поглаживая животного по шее.— Ну что ж, давай привяжем, да надо ему хоть соломы принести... А и молодец же ты, Петров, право, молодец; сказать по чести, я таких молодцов, как ты, еще и не видывал.

— Э, ваше б-ие, такие ли молодцы бывают! — усмехнулся Петров.

XI

— Ну, так вот, ваше б-ие,— начал Петров,— ежели уже так интересно знать, слушайте.

Они сидели все трое в пещере Катеньева, куда Петров пришел после того, как хорошо выспался и подкрепился с дороги.

— Ушел я от вас и долго бродил в горах. Хотелось мне повстречать какого ни на есть японца, чтобы выпросить у него ружьишко, а только все незадача. По одному, даже по два встречать не доводилось. Все командами. Сколько раз близко-близко проходили. Лежу я или за камнями, или в кустах и высматриваю. Идут желторожие, лопочат между собой... Раз офицеров ихних видел. Едут двое на конях и о чем-то разговаривают. Кони добрые, рослые, а сами ровно облизьяны, вот китайцы носят — показывают. Зазудела у меня рука, уже нацелился даже... Лежал это я ловко так, над самой дорогой, за большущими камнями. Им меня снизу не видать, а мне как на ладони и целить ловко — лучше и не надо. Шагах в 15-20 стрелять бы мог; наверняка бы потрафил, сперва одного, а там другого... Наладился, еще бы минутку, и аминь... Глядь, а из-за поворота кавалеристов ихних штук сто тянется... Ну, вижу, не рука мне стрелять... Аж вздохнул даже, так обидно показалось отпущать их подобру-поздорову... Так проходил я без толку почти что три дня... Раз к самому лагерю их подобрался, полежал, посмотрел, как у них там ихняя жисть происходит; вижу, ни с какого бока ничего не поделаешь, и побрел дальше. Вот бреду я

так горной тропкой, слышу, копыта постукивают. Шарахнулся я в сторону, залег, поджидаю. Гляжу, китаец идет и мула оседланного за собой тянет. Одет китаёз чисто, винтовка за плечами, револьвер сбоку, сам рослый, плечистый, молодой еще. Подпустил я его поближе да и выхожу. Сполохнулся тот было, за ружье хватается, а я ему и говорю: «Не беспокойся, я тебе зла не сделаю!» Услыхав это, китаец ружье оставил, видимо, за своего принял, спрашивает: «Откуда идешь?»

Я тут ему и начал брехать, что будто бы я иду наниматься к японцам в хунхузы[8].

«Напрасно,— говорит,— идешь; они хунхузов сами не нанимают. Это русские, те сами нанимают; у них даже генерал такой есть, из хунхузов войско собирает, а японцы не дураки, они ведаются только с Тулисаном да Фу-ин-хо; те им хунхузов приводят и за каждого поручиться могут. Оттого у русских среди нанятых ими хунхузов половина японских шпионов, а у японцев таких ни одного на службе нет».

«Как же мне быть?» — спрашиваю.

«А так,— говорит,— ступай в Инкоо, там теперь Фу-ин-хо живет; ежели он тебя примет — ладно, а не примет, сам к японцам лучше и не суйся. Взять не возьмут, а повесить могут».

Говорит он это, а сам подозрительно на меня поглядывает. Вижу ясно, большое у него сомнение насчет меня. По-китайски говорю исправно, а обличие у меня не китайское. Ну, думаю, пора, пока не догадался о чем не следует! Подошел ближе. Заговариваю.

«А ты,— спрашиваю,— кто таков?»

«Я,— говорит,— переводчиком состою при японском одном генерале, а посылали меня к русским, посмотреть, где их ближайшие посты и в каких силах».

«Ну, что ж,— спрашиваю,— узнал?»

«Узнал,— отвечает.— У Шахэ стоят, впереди Бенсиху, казачьи полки, а дальше пехота. Сам видел. Тифангуань тамошний к генералу русскому с визитом ездил, а меня с собой слугою взял; такой ему приказ от японцев был. Приехал Тифангуань будто с жалобой на русских солдат, а на самом деле, чтобы дать возможность нужные мне сведения собрать».

Рассказывает он мне это, а сам глаз с меня не спускает, да как вдруг хвать меня за горло:

«Кто ты такой? — кричит. — Ты не китаец, хоть и правильно говоришь по-нашему».

Ну, вижу конец нашей беседе; пора дружкам по домам. Рванулся я от него в сторону, изловчился, да как хвать прикладом в лоб ему, аж хряснуло... и не пикнул. Опустил руку и словно бы присел... Тут я во второй раз, но уж по темени... Саданул так, что череп, как арбуз, расселся и мозги полезли. Упал и не пикнул. Выхватил я у него из рук повод, чтобы ло́за в суетах не вырвалась, потом снял винтовку, патронташ, револьвер, вскочил «на лозу» верхом, да в горы... Только и видели меня. Ло́за попался сильный, молодой. Какая бы кручь ни была, лезет словно козел горный. Где можно, — ехал, где очень тяжело — в поводу вел. Всю ночь брели, днем в лесу хоронились, а на другую ночь и сюда добрался... Вот вам и сказке моей конец. Теперь я так соображаю: двинемся мы отсюда прямо на Бенсиху, Фу-ин-фу пущай дорогу указывает. Идти будем ночами, а днем хорониться, где доведется. Местность тут все сплошь горы, и лесов много, попадаются фанзы заброшенные, спрятаться есть где. Ваше б-ие с барыней по переменкам на ло́зе ехать будете, а мы с Фу-ин-фу пешими. Таким манером вам много легче будет, и мы, я думаю, ночи за три до Шахэ доберемся. Я уже переговорил с Фу-ин-фу; он так же думает, как и я... В китайские деревни мы без крайней нужды заходить не станем, а в пути, если и повстречаем китайцев, то говорить с ними будем я да Фу-ин-фу, а вы оба молчите... Им тогда и в голову никакого подозрения не взбредет... Теперь по горам мало ли вооруженного народу шатается. Ежели нас за хунхузов принимать станут, и того лучше. Китайцы хунхузов шибко боятся и ни за что сами не затронут и японцам выдавать не станут, потому поопасаются, чтобы другие хунхузы не отомстили. Тем хунхузы и страшны всем мирным жителям, что они друг за друга держатся. Если в каком селении их выдадут, смотришь, живо другая шайка явится и доказчикам головы прочь. Помните, у нас под Ляояном сколько раз хунхузов пробовали ловить, а много ли поймали! Жители всегда за них были. Не только никогда не выдавали, а, напротив, всячески укрывали. Потому боялись мести со стороны товарищей тех хунхузов, которых бы они выдали. То же самое и японцам они хунхузов никогда не выдадут. А это нам и на руку...

XII

Красивы летом Маньчжурские горы, или сопки, как их называют сибиряки, проведшие это название даже в официальную переписку и в газетные корреспонденции. Местами покрытые густою зеленью травы и частого мелколесья, местами густо заросшие лесными дебрями, через которые чуть приметно вьются знакомые только местным жителям тропинки, горы эти то и дело пересекаются глубокими и широкими долинами с сверкающими по ним мелкими речками, с прилежно обработанными полями, с живописно разбросанными там и здесь китайскими деревушками и отдельными фанзами. Красивы Маньчжурские сопки, но тяжело ходить по ним. Под зеленым ковром, так манящим издали глаз, скрываются головоломные крутизны, огромные камни, заграждающие путь, наносы мелкого щебня, глубокие рытвины и густо заросшие овраги. Только местный житель, маньчжур, в своих легких матерчатых туфлях на толстых подошвах из бумажной массы, с его здоровыми легкими в широкой груди и мускулистыми ногами, легко переносит эти мучительно-трудные подъемы и спуски, преодолевает крутые кряжи и идет в горах почти так же легко, как и по долине.

Только теперь оценил Катеньев, какую огромную услугу сделал им Петров, достав мула. После первого же дня тяжелого пути плохо зажившая нога его стала сильно побаливать и он принужден был большую часть дороги ехать верхом. Мул был настолько силен, что без особого усилия вез и его и Надежду Ивановну, сидевшую боком впереди Катеньева, который ее поддерживал одной рукой за талию. В очень трудных местах они слезали и шли пешком, помогая друг другу и таща за собой мула. Таким образом, идя пешком, они отдыхали от неудобства езды верхом, а садясь вновь на мула, отдыхали от нестерпимой тяжести путешествия пешком по неприветливым крутизнам. Фу-ин-фу шел далеко впереди, зорко оглядывая окрестности, готовый при первой же опасности подать условный сигнал. Петров замыкал шествие. На его обязанности было следить за тем, чтобы кто-нибудь не набрел внезапно сзади. При приближении к деревне Катеньев с Надеждой Ивановной прятались куда-нибудь в укромное место. Петров становился на часы, тоже хорошо скрывшись от всякого постороннего взгляда, а Фу-

ин-фу отправлялся в деревню наводить справки о японцах. Благодаря таким предосторожностям они уже бóльшую половину пути прошли, счастливо избегая всяких опасных встреч. Зная от местных жителей в точности, где находятся японцы, Фу-ин-фу легко обходил опасные места. В одном месте, пробираясь через крутой хребет, наши путники видели, прямо у своих ног, огромный японский лагерь, раскинутый в широкой долине. Соблазн был очень велик, и, несмотря на опасность, Катеньев не мог удержаться от любопытства посмотреть в бинокль на неприятеля. Картина была действительно красивая. Правильные ряды палаток наискось пересекали долину. За палатками, правильными четырехугольниками, располагались коновязи, с привязанными к ним лошадьми. Далее стояла артиллерия и обоз. Всюду, как муравьи, сновали японские солдаты в каких-то белых балахонах. То и дело уходили и приходили вооруженные команды. Кавалеристы поодиночке и по два уезжали и приезжали, очевидно развозя приказания. Посредине лагеря у большой палатки, занятой, по-видимому, главным начальником отряда, толпилась группа офицеров вокруг стола, заваленного топографическими картами. Кто-то, очевидно адъютант, сидел на табурете и быстро писал на краешке стола; подле него стоял высокий старик и, по-видимому, диктовал ему, то и дело жестикулируя и нервно подергивая плечами. На самом краю лагеря два японца солдата гоняли на корде лошадь. В противоположном конце дымились кухонные столы, варилась пища.

Катеньев с жадностью смотрел на всю эту оживленную картину, и его подмывало выстрелить по старику, диктовавшему приказание. Вот-то, думалось Катеньеву,— переполох бы поднялся. Будь он один, он, пожалуй, в конце концов не удержался бы от соблазна, но, взглянув на стоявшую подле него Надежду Ивановну, он мигом подавил в себе злорадное желание и поспешил подняться, чтобы продолжать путь.

Было около пяти часов вечера, когда наши путники, миновав густую рощу, вышли на совершенно открытый гребень высокой сопки. С этого пункта, как из орлиного гнезда, хорошо была видна вся окрестность. Сзади них куполообразными вершинами теснились покрытые лесом сопки, впереди, насколько хватал глаз, тянулись хребты обнаженных скал, спускающихся террасами к северу в Шахэйскую долину. На далеком горизонте сверкала на солнце, как полоска

стального клинка, Шахэ; за нею вновь подымалась гряда невысоких холмов. По сведениям, добытым Фу-ин-фу, еще сегодня утром все холмы за Шахэ, Шахэйская долина и часть отрогов гор по сю сторону были заняты русскими войсками. Долго смотрел Катеньев, тщетно стараясь уловить какой-нибудь признак, по которому можно бы было угадать место присутствия русских войск; как ни старался напрягать свое зрение, ни через стекла бинокля, ни своим глазом он ничего не мог заметить. Кое-где виднелись одинокие фигуры, бродящие по горам, но то были или японские часовые, расставленные по вышкам, или скрывающиеся в горах мирные «манзы».

Отсутствие лесов на горах не давало возможности нашим путникам продолжать путь днем. Их легко могли заметить и выследить. Надо было дожидаться ночи. Чем ближе к русским позициям, тем положение их становилось опаснее. С каждым шагом вперед они должны были все больше и больше углубляться в тесную линию японских войск, стоявших перед русской армией в ожидании боя. Решено было остаться в лесу и только с наступлением ночи осторожно двинуться вперед.

Место для отдыха было выбрано удачно. Высокий, совершенно неприступный снизу обрыв, густо заросший частым мелколесьем, как бы навис над дорогой, извивавшейся внизу, по краю долины. Кругом вправо и влево шел густой лес; весь хребет был покрыт им на много верст кругом. Густота зарослей была так велика, что под ветвями можно было легко укрыться не только четырем человекам, но даже целой команде. Несмотря на сравнительную безопасность, Петров и Фу-ин-фу время от времени вылезали из своей засады и, выбравшись на опушку, внимательно оглядывали окрестность. После одной из таких вылазок Петров явился слегка встревоженный.

— Японцы! — прошептал он, пролезая под нависшие низким сводом ветви, где притаились Катеньев и Надежда Ивановна.

— Где? — встревожился Катеньев.

— А вот смотрите на дорогу, сейчас увидите, с севера идут.

Все с любопытством осторожно проползли вперед и, затаив дыхание, устремили глаза на дорогу. Впереди, с ружьями за плечами, шла небольшая команда японских пе-

хотинцев, одетых в «хаки»[9], и в характерных высоких фуражках с желтым околышем. За нею тянулся ряд носилок с ранеными. Носилки, странной, на непривычный глаз, конструкции, напоминающие гамак, укрепленный на длинной бамбуковой палке, эластично покачивающейся при каждом шаге, несли на плечах китайцы, по два человека на каждые носилки. Между носилками шли легкораненые с повязками на руках и головах. У многих все лицо было забинтовано, так что виднелись только глаза, у других повязки окутывали всю голову и шею, придавая им странный вид, некоторые шли, поддерживая одною рукою другую руку, тщательно укутанную в бинты и висящую на перевязке, иные прихрамывали, волоча ногу. Были — что шли по двое, бережно поддерживая друг друга под руки. Позади всех носилок везли запряженную осликом маленькую полуколясочку, полукресло, на мягких рессорах, с тремя колесами. В колясочке-носилках, вытянувшись под одеялом, изображающим шкуру тигра, лежал пожилой японец со сморщенным, как печеное яблоко, лицом. По той бережности и внимательности, с какою везли раненого, и по тому, как чинно и почтительно шли справа и слева колясочки несколько солдат-санитаров, легко можно было догадаться, что раненый был какой-нибудь важный начальник. За колясочкой следовали два офицера. Один пешком, с подвязанной правой рукой, другой верхом, с ногою, забинтованной до колена в широкие бинты. Еще далее японец-кавалерист, сидя верхом, вел в поводу красивого вороного рослого коня в седле желтой кожи, с перекинутыми через луку стременами.

Катеньев с чувством торжествующего злорадства считал двигавшиеся носилки, и, чем больше их появлялось, тем это чувство разгоралось в нем сильнее. Он с особым удовольствием проводил глазами колясочку-носилки, стараясь угадать, кем мог быть раненый, лежащий в них. По той особой неподвижности и беспомощности, с которой было распростерто тело под тигровым одеялом, по мертвенному спокойствию лица можно было заключить, что раненый находится в тяжелом состоянии, и Катеньев невольно радовался этому и только желал одного, чтобы этот раненый был японский генерал и чтобы он скорее помер. Но вот носилки прошли все, за ними протарахтели тонкими высокими колесами две какие-то двуколки, а далее показалась новая толпа. С первого взгляда на эту толпу Катеньеву показалось в ней что-то

знакомое, что-то мелькнуло в ней такое, отчего его сердце невольно болезненно сжалось. Он внимательно вгляделся, и заглушенное проклятие против воли вырвалось сквозь его стиснутые губы. Он увидел знакомые рубахи, серые фуражки, черные бараньи папахи, перед ним замелькали близкие ему бородатые лица, широкие плечи и коренастые фигуры русских солдат... Это шли, окруженные конвоем японцев, русские пленники. Вглядевшись внимательней, Катеньев мало-помалу различил среди серой, грязной, оборванной солдатской массы несколько офицеров. Они шли отдельной группой, несколько впереди, угрюмо понурив головы, пристально глядя вперед себя вдоль извивающейся перед ними дороги. Впереди всех шел высокий, плечистый, пожилой мужчина с черной бородой во всю грудь, с оборванным на одном плече и болтающимся погоном. Рядом с ним, прихрамывая и спотыкаясь, с трудом передвигал ноги молодой офицер, очень высокий и очень худощавый. Вид у него был болезненный и крайне жалкий. За этими двумя брел толстый, круглый, заплывший жиром, небольшого роста, коренастый капитан, с папахой, заломленной на самый затылок и с коротенькой китайской трубочкой во рту. По-видимому, он сохранял полное равнодушие и покорился своей судьбе. Немного в стороне, поддерживаемый японцем санитаром под руку, плелся еще один офицер. Голова его так низко свесилась на грудь, что лицо трудно было разобрать, виднелся только длинный, вытянутый вперед нос и острый подбородок. Вся фигура офицера выражала удрученность и крайнее бессилие. Солдаты шли тесной кучей, немного отставая от офицеров. Многие были без шапок, на некоторых белелись повязки на головах и руках. Почти у всех рубахи и штаны были изорваны и испачканы... Без оружия, простоволосые, оборванные, грязные, солдаты производили видом своим тяжелое впечатление. Что-то приниженное, жалкое, недостойное и угнетенное чувствовалось в этой толпе; что-то, возбуждающее чувство сострадания и вместе с тем невольного презрения...

Катеньев смотрел на эту толпу, и ему было до боли трудно примириться с мыслью, что перед ним солдаты русской армии, униженные, избитые, покорно бредущие под конвоем гордо посматривающих на них японцев, подобно стаду баранов, понукаемых пастухами... В этом приниженном виде он как бы не узнавал солдат, не хотелось верить, что это

русские, больно было сознаваться в этом, и больно, и досадно. Против воли, вместе с глубокой жалостью, в его душе подымалось против этих несчастных нехорошее чувство раздражения, почти ненависти и презрения... Он провожал их глазами, стараясь прочесть в их лицах волнующие их чувства и мысли. Но на таком далеком расстоянии черты лица сливались, образуя одну общую, ничего не выражающую маску.

Сзади всех, отдельно, шел низкорослый солдатик, очевидно раненный или больной. Он шел с видимыми усилиями, с трудом передвигая ноги. Подле него шагал такой же маленький, как и он, но бравый японец и поминутно подталкивал солдата в плечо.

Видно было, что японец очень недоволен медленностью, с которой брел солдат, и всячески пытался подбодрить его. Дойдя до того места, где наверху, всего в нескольких саженях над дорогой, лежал, притаившись, Катеньев, солдат вдруг неожиданно остановился, закачался и тяжело опустился на землю. Японец конвоир бросился к нему и стал теребить его за плечо, побуждая встать, но солдат не подымался. Подошел другой японец, и вдвоем они приподняли солдата, но сделав два, три шага, тот снова упал. Очевидно, силы окончательно покинули его. Японцы остановились. Катеньев слышал, как они кричали, подталкивая солдата коленями и прикладами ружей, но тот не двигался. Он полулежал на пыльной дороге, склонив на грудь голову, безучастный ко всему. Тогда один из японцев, придя в ярость, торопливым жестом примкнул к ружью штык и, обернув ружье дулом вниз, принялся покалывать солдата в спину, понуждая его встать. При первом уколе солдат дико вскрикнул, рванулся было вперед, но, не успев даже подняться, снова упал ничком на пыльную дорогу. Тогда оба японца вдвоем принялись слегка подталкивать лежащего, но тот продолжал лежать и только всякий раз болезненно вскрикивал и слабо отмахивался рукой...

Катеньев не выдержал... Прилив необузданной, нерассуждающей ярости, нахлынув, как бы залил все его существо... Не помня себя, забыв, где он, забыв все окружающее, он быстро вскинул ружье, приложился и спустил курок. Щелкнул короткий, сухой, отрывистый выстрел, и один из японцев, выпустив ружье, тяжело опрокинулся навзничь. В то же мгновение подле Катеньева грянул другой выстрел. Он не сообразил сразу, кто выстрелил, но увидел, как и вто-

рой японец, отскочивший было в сторону, зашатался и, ловя воздух руками, повалился на бок, подле своего товарища.

— Ну, теперь только уноси ноги! — услыхал Катеньев совершенно спокойный голос Петрова.— За мной, ваше б-ие,— добавил он более энергично и сильным плечом, раздвигая кусты, бросился в самую чащу.

— Что я наделал! — мысленно воскликнул Катеньев.— Я погубил всех, погубил Надю! — Он проклинал себя, свою горячность. Ему казалось, что на этот раз спасенья не может быть.

Дорога становилась все круче и круче. Тропинка, по которой они бежали, давно исчезла, и им приходилось перелезать через большие камни, наваленные огромными глыбами, пробираться сквозь густые заросли, спрыгивать в глубокие овраги и вновь взбираться на противоположную сторону. Сзади себя они слышали частые выстрелы и отдаленные, перекликающиеся между собой голоса японцев. Опасность придавала им силы. Петров бежал впереди, за ним, с трудом преодолевая невероятные трудности пути, поспевала Надежда Ивановна, за нею Катеньев. Фу-ин-фу следовал сзади всех. Некоторое время он тащил за собою в поводу мула, но скоро ему пришлось его бросить. С каждой минутой дорога становилась все менее и менее проходимой... Наконец с невероятными усилиями им удалось достигнуть вершины сопки. Выстрелы сзади и крики замолкли. Можно было надеяться, что японцы прекратили погоню, но опасность от того не уменьшилась, при дальнейшем движении можно было каждую минуту наткнуться на высланные, по всей вероятности, во все стороны японские дозоры. Прежде всего надо было решить, куда идти. После нескольких минут совещания был принят совет Петрова: дождаться ночи и идти вперед, держась на север в том направлении, откуда тянулся японский транспорт.

До темноты оставалось часа два. Этим временем воспользовались, чтобы, идя по гребню, достигнуть того места, где кончался лес и начинались обнаженные скалы. Ночью в лесу идти было невозможно. Все понимали, что каждая минута промедления может стоить жизни, а потому, несмотря на страшную усталость, не обращая внимания на начавшуюся боль в ноге, Катеньев предложил, не теряя времени, двинуться вперед.

— Хватит ли только у тебя силы идти? — в большом беспокойстве обратился он к Надежде Ивановне.

— Обо мне не тревожься, — постаралась улыбнуться та, — я почти не устала.

XIII

Была совершенная ночь, когда наши путники, усталые, измученные, голодные, выбрались наконец из леса и остановились немного передохнуть. Надежда Ивановна не чувствовала ног под собой от усталости, у Катеньева все сильней и сильней разбаливалась его плохо залеченная нога, и только Фу-ин-фу и Петров, особенно последний, чувствовали себя еще достаточно бодрыми. Кроме усталости, всех мучил сильный голод и жажда. С вечера, по милости японцев, им не удалось закусить, и теперь это давало себя чувствовать. На беду мешок с остатками провизии и большая фляжка из тыквы с водою остались на седле брошенного ими в бегстве мула. Все это, взятое вместе, еще более усиливало их мрачное настроение духа и колебало и без того слабую надежду на спасение. А путь предстоял еще не малый.

— Ну, что же, — первая прервала общее молчание Надежда Ивановна, бодрясь и стараясь вселить бодрость в упавшего духом Катеньева, — сколько не стоять, а идти надо. Чем дальше мы уйдем за ночь от этого места, тем к утру будем ближе к своим, авось бог поможет... Идемте... Скажите, Петров, чтобы Фу-ин-фу шел вперед!

Эти простые слова, сказанные энергичным, решительным тоном, как-то сразу приподняли всеобщее настроение. Катеньев с благодарностью взглянул в лицо своей невесты, он любовался ею. Видя ее такой энергичной, не падающей духом, он стал меньше тревожиться за нее, и это придало ему бодрости и силы переносить и свои страдания, о которых он, впрочем, пока еще никому не говорил.

С вечера ночь была темная. Луна вставала поздно. Ярко горели звезды в бездонной вышине. Было тепло и тихо. Путники наши двигались медленно по скату скалистого кряжа, усеянному камнями. Путь был труден. У всех, особенно у Надежды Ивановны, ноги были стерты до крови и сильно болели, но опасность, как бы нависшая над ними, заставляла забывать о физических страданиях и гнала их вперед на

север, навстречу смутно мелькавшей, как огонек, слабой надежде на благополучный конец всех их несчастий.

Шедший впереди Фу-ин-фу внезапно остановился и, когда Катеньев подошел к нему, показал рукой вниз. Катеньев усталым взглядом повел по указанному направлению и увидел далеко внизу в стороне множество огоньков; огоньки эти, словно рассыпанные по дну пропасти уголья, ярко сверкали в ночном мраке, весело перемигиваясь между собой. Катеньев молча и пристально смотрел на них, не в силах оторвать глаз, словно зачарованный. Порой ему чудилось, будто огни начинают приближаться, окружать гору, на которой стояли наши путники, угрожать им, любопытно в них вглядываться. Тогда ему становилось нестерпимо страшно. Огни казались ему какими-то враждебными, живыми духами, злыми и беспощадными, ополчившимися на них.

— Это, должно, опять японский лагерь,— равнодушным тоном произнес Петров, подходя и останавливаясь подле Катеньева,— ишь развели костров-то сколько... А вот там еще один костер, и большой же... что бы это означало?

Он пристально и внимательно стал вглядываться. В стороне от маленьких огоньков, гораздо выше их, на одной из прилегающих вершинок пылал большой костер. Огромное пламя широким языком лизало сгустившийся вокруг мрак, бросая от себя багровое зарево. Оно трепетало, колыхалось, то слегка замирая, то вновь разгораясь с новой силой.

— Это как будто пожар. Должно быть, фанза какая-нибудь горит,— заметила Надежда Ивановна, внимательно рассматривая пламя.

— Не похоже что-то,— задумчиво произнес Петров,— по-моему, это они своих мертвых жгут... Надо спросить Фу-ин-фу, он, должно быть, знает... Да, так и есть,— продолжал он, перебросившись с Фу-ин-фу несколькими фразами,— действительно, убитых жгут. Фу-ин-фу, судя по костру, говорит, много, должно быть, трупов сложено...

— Ишь как полыхает! Интересно бы было посмотреть,— задумчиво произнес Катеньев, стараясь нарисовать себе картину сожжения.

— Интересного мало. Я видел еще в китайскую войну, когда мы с японцами вместе против китайца воевали. С непривычки противно глядеть, да и вонь такая, не дай-то боже... заразы меньше, это, пожалуй, верно, а только нехорошо, куда хуже, чем у нас,— заметил Петров.

Надежда Ивановна слегка вздрогнула и нервно повела плечами. Ее воображение на минуту нарисовало ей жуткую картину: огромный костер из толстых бревен, снопы соломы, пропитанные горючим составом, соломенные маты и тряпки, огромные языки пламени, смрадные клубы дыма и посреди всего этого неподвижные темные массы обнаженных человеческих тел, отвратительный запах сжигаемого мяса, шипение и треск, а кругом этого ада суетящиеся фигуры живых людей, торопливо подбрасывающих новые охапки соломы, дров с мыслью о том, что завтра, может быть, их самих ожидает такой же ужасный костер.

Постояв немного, двинулись дальше. Теперь они уже не шли, а еле-еле брели, то и дело останавливаясь, чтобы хоть сколько-нибудь перевести дух. Катеньев думал о брошенном ими муле.

С каким бы удовольствием сел бы он теперь на его спокойную спину. Он проклинал свою горячность, причину ихних теперешних страданий. По временам голова его нестерпимо кружилась, он закрывал тогда глаза и чувствовал, как все вокруг него — и земля, на которой он стоял, и опрокинутое над его головой небо начинали медленно колебаться. Земля проваливалась под ногами, а небо давило вниз, как бы ища для себя точку опоры. В одну из таких минут он закачался и упал. Падая, он почувствовал нестерпимую боль в раненой ноге, словно раскаленным железом обожгло... Он пронзительно вскрикнул и потерял сознание.

Когда Катеньев очнулся, он увидел себя на дне глубокой рытвины, заросшей по краям колючим кустарником и заслоненной со всех сторон огромными каменными глыбами. Подле него сидела Надежда Ивановна. Было очень рано, и солнечные лучи, торжествуя победу над ночной мглою, весело скользили дружной семьей по обнаженным ребрам скалистых кряжей. Взглянув в лицо своей невесты, Катеньев испугался, так оно осунулось и побледнело за одну ночь. Надежда Ивановна сидела в скорбной позе, подперев руками подбородок, и задумчиво смотрела в одну точку. Ее большие, темные, красивые глаза выражали страдание и полное отчаяние. Казалось, она теряла всякую надежду и сидела как приговоренная к смерти. Никогда Катеньев не видел у нее такого выражения, и это испугало его, ибо он понял, что утрачена всякая надежда на спасение.

Увидя, что он открыл глаза, Надежда Ивановна употре-

била нечеловеческое усилие, чтобы согнать с своего лица выражение отчаяния, только что тяготевшее на нем, и, стараясь придать своему голосу как можно более спокойствия, участливо спросила:

— Ну, как ты себя чувствуешь?

— Ослабел очень,— ответил Катеньев,— и нога сильно ноет. Но не в этом дело,— перебил он сам себя,— объясни, сделай милость, где мы и как сюда попали.

— Это Фу-ин-фу и Петров перенесли тебя сюда на руках. Место скрытное и до некоторой степени безопасное...

— А где они сами? — встревожился вдруг Катеньев.— Неужели ушли?

— Ушли,— отвечала Надежда Ивановна,— но ты не волнуйся. Сегодня к вечеру они обещали вернуться, принести чего-нибудь поесть и разузнать о японцах.

— А как не вернутся? Что тогда? — При этом вопросе Катеньев почувствовал прилив нестерпимого ужаса.— Подумай, что мы будем делать здесь с тобой одни в горах... Я так измучен ходьбой, болью в ноге и голодом, что не могу двинуться... Если бы у нас была хотя какая-нибудь пища... Но ее нет. Что мы будем делать?!! Я не могу пошевелить ногой, она у меня распухла и болит... Ты тоже, наверно, умираешь с голоду...

— Я?.. Нет, то есть да, то есть нет... я хочу сказать, что хотя мне и очень хочется кушать, обманывать не стану, но все же не настолько, чтобы умирать, как ты говоришь. До вечера, я надеюсь, мы легко пробудем без еды, а вечером Фу-ин-фу и Петров наверно принесут нам какой-нибудь провизии.

— А, если их схватят или убьют? — сам пугаясь своего вопроса, тихо спросил Катеньев.

— Этого не может случиться,— с жаром поспешила возразить Надежда Ивановна,— я верю, бог посылает нам испытания, но он не допустит нашей гибели.

— Ты верующая? — вдруг совершенно неожиданно и как-то странно спросил Катеньев.

— А ты? — с испугом, в свою очередь, спросила Надежда Ивановна.

Катеньев ничего не ответил.

Прошло несколько минут томительного молчания. Оба сидели, понурив головы, погруженные в свои невеселые мысли.

— Не понимаю, с чего у меня так нога разболелась? — первый прервал молчание Катеньев, глядя на вытянутую перед собой ногу и слегка пошевеливая ею.

— Ты ведь упал, разве не помнишь?

— Упал? — удивился Катеньев.

— Ну да, конечно. Мы шли по карнизу сопки, у тебя закружилась голова, и ты упал вниз, правда, невысоко, но ногой попал на острые камни... Петров и Фу-ин-фу несли тебя несколько верст на руках.

— Вот оно что,— протянул Катеньев,— теперь я понимаю... но как же будет дальше... Я едва ли смогу идти.

— А я думаю, если ты до вечера отдохнешь и хорошенько поешь, то сможешь пройти при нашей помощи несколько верст. Петров говорит, будто тут недалеко уже и казачьи посты стоят... За ночь, наверно, доберемся.

Катеньев с сомнением покачал головой, но ничего не возразил.

Медленно потянулось время, и, по мере того как подходило к полдню, становилось все жарче и жарче. Горячие лучи южного солнца нагревали воздух и камни, от которых пышало зноем, как из печки. Воздух был неподвижен. Ни малейшего дуновения ветерка, ни малейшей прохлады. Жидкий колючий кустарник, лишенный почти листьев, которым были покрыты края оврага, не давал тени и не защищал от палящих лучей солнца. Катеньев чувствовал, как силы оставляют его. Он думал, что с его стороны было ошибкой пускаться в такой тяжелый путь еще больным, но больше всего он негодовал на себя за свой глупый выстрел... Для чего он это сделал? Русского пленника все равно он не спас, его, наверно, прикололи, а себя и всех погубил. Если бы им не пришлось спасаться от японской погони, они не выбились бы так из сил, не пришлось бы бросать мула, провизию... может быть, они уже теперь были бы в русском лагере. Он проклинал себя, и сознание своей вины еще более угнетало его. В благополучный исход он уже не верил, не верил, чтобы Петров и Фу-ин-фу вернулись. Он уже обдумывал, как в последнюю минуту, когда страдания его от голода и жажды истощат последние его силы, он пустит себе пулю в лоб. Он почти примирился с этой мыслью, но его терзала тревога за судьбу невесты... Холодея от ужаса, думал он о страданиях, которые ее ожидают, которых он не в силах ни предотвратить, ни облегчить, но которые он сам навлек на

нее. От этих страшных мыслей у него снова начинала кружиться голова и терялось последнее присутствие духа. Минутами ему хотелось кричать, плакать, стонать, и он едва имел силы, чтобы побороть в себе это желание.

А время шло... медленно... тоскливо... безнадежно...

Словно в полусне, тяжелом, кошмарном, сидели оба на дне оврага, неподвижные, безмолвные. Они давно потеряли представление о времени, им казалось, что прошла целая вечность, как они сидят здесь. Слова не сходили с языка, так как ничего утешительного не могли они сказать друг другу. Чувство голода и жажды притупилось и заменилось какой-то, еще никогда ими не испытанной ноющей слабостью. Все внутри их ныло и болело, и вместе с тем они чувствовали, как с каждой минутой остатки сил покидают их. Оба уже не видели, а лежали, беспомощно опустив головы на раскаленные камни. Мало-помалу они дошли до состояния полного равнодушия ко всему... Приди сейчас японцы, они бы, кажется, не имели силы даже испугаться и продолжали бы лежать неподвижные и безучастные к своей дальнейшей судьбе. Минутами у обоих являлось желание скорейшей смерти, лишь бы только она не была мучительна. Если бы можно было заснуть и не просыпаться...

Громкое, отвратительное карканье, раздававшееся около его головы, заставило Катеньева открыть глаза. Он увидел над собой несколько воронов, показавшихся ему чудовищно огромными. Зловещие птицы сидели на краю оврага и, скосив головы, поглядывали вниз немигающими черными блестящими глазами; выше в голубой глубине неба кружилось еще несколько штук, оглашая воздух пронзительным криком. Нечеловеческий, нестерпимый ужас охватил Катеньева. Никогда в жизни не испытывал он такого ужаса... Все его существо как бы разом всколыхнулось. Ему казалось, что он видит перед собой не птиц, а каких-то волшебных чудовищ, каких-то страшных злых духов, прилетевших из другого неведомого мира за его душою... Вне себя от ужаса, он вскочил и с диким воплем простер руки вперед, как бы желая защитить себя и Наденьку от этих адских посетителей. Испуганные вороны разом снялись с места и, махая тяжелыми черными, огромными крыльями, взвились кверху, оглашая воздух негодующими криками.

— Какой ужас! — дрожа всем телом, прошептал Катеньев.

— Они думали, что мы уже умерли,— грустно улыбнулась Надежда Ивановна.— А я ведь спала,— добавила она,— и даже сон видела. Я видела, будто мы дома все — и папа, и мама, и все наши — ужинаем... Я даже кушанье помню. Будто все едят, а мне никак не удается... Только соберусь проглотить кусок чего-нибудь, как меня зовет или мама, или папа, или ты, я подымаю голову, а в эту минуту кто-то кушанье уносит из-под самого моего носа... Такие сны всегда бывают, когда во сне голоден.

— Господи, долго ли мы еще промучимся так,— в отчаянии воскликнул Катеньев,— хоть бы уж смерть скорее!

— Погоди, потерпи немного... Я думаю, скоро уже вечер, смотри — солнце начинает склоняться на ту сторону... Бог даст, скоро вернутся Петров и Фу-ин-фу.

— А ты еще веришь в их возвращение?

— Верю! — твердо ответила Надежда Ивановна.

Наконец наступила долгожданная ночь, а с ней и прохлада, освежившая немного истомленные тела Катеньева и Надежды Ивановны.

Слабый луч надежды снова затеплился в душе Катеньева. Он выполз из оврага и начал чутко прислушиваться, не раздадутся ли где шаги возвращающихся Петрова и Фу-ин-фу, но все ожидания были напрасны. Время шло, а ушедшие не возвращались. Измученный ожиданием, тревогой и упадком сил, Катеньев несколько раз впадал в забытье, сопровождавшееся страшными кошмарными видениями... Под утро он окончательно истомился и приготовился к смерти. Он уже больше ни на что не надеялся, ничего не ждал. У него едва хватило силы вновь сползти на дно оврага и вытянуться во всю длину подле своей невесты. Действительность в его представлении смешалась с фантастическими образами, овладевшими им. Он лежал и тихо стонал, и ему казалось, что это стонет не он, а кто-то другой... Сквозь полубред он видел над собой каких-то черных, страшных демонов, в черных плащах, слышал пронзительные вопли. Иногда ему казалось, что это какие-то огромные птицы с длинными страшными клювами. Он начинал пристально вглядываться в них, и тогда они вдруг уменьшались в своем объеме вдвое, втрое, в десять раз.

— Это вороны,— слабо проносилось в его воспаленном мозгу,— вороны, и больше ничего.

Но через минуту, две птицы вновь принимали чудовищ-

ные образы и превращались во что-то нелепое, огромное, черное и нестерпимо страшное...

— Надо пошевелиться,— проносилось вдруг в его сознании,— а то они примут за мертвого и начнут клевать!

Он делал усилие, но ни руки, ни ноги не повиновались ему. Он был словно впаян в землю, на которой лежал, не будучи в силах шевельнуться.

Надежда Ивановна, хотя тоже по временам теряла сознание, как и Катеньев, но все же чувствовала себя несколько бодрее. Она имела еще настолько силы в себе, что время от времени приподнималась и махала на воронов руками, отчего те всякий раз со злобным криком взвивались и отлетали на несколько саженей.

Только благодаря этому они еще не решались броситься на свою добычу.

Не зная, чем облегчить страдания Катеньева, который не переставал тихо и жалобно стонать, Надежда Ивановна клала на его горячий лоб руку и медленно гладила его по голове. Она видела, что он умирает, и в эту минуту не думала о себе. Ночью она несколько раз принималась молиться, жадно ожидая исполнения ее горячих просьб, возвращения Петрова и Фу-ин-фу. Ей казалось, что стоит им вернуться, и все будет хорошо. Но когда ночь сменила вновь яркий, знойный день, она перестала молиться, перестала надеяться... Она поняла, что всему конец, и ждала смерти с тупым отчаянием.

С каждым часом ей становилось все хуже и хуже, голова, словно налитая свинцом, тяжелела, чувства утрачивали свою жизненность. Она с минуты на минуту ждала, что впадет в беспамятство, и тогда жадная стая воронов ринется на них... Теперь ее только и поддерживал еще страх перед воронами. Она напрягала все силы своего духа, чтобы не впасть в беспамятство и удерживать как можно дольше злобных хищников... Время от времени она приближала свое лицо к лицу Катеньева и вглядывалась в его изменившиеся до неузнаваемости черты. Она видела, как на этом милом ей лице начинали бродить предсмертные тени... Стон его становился глуше и невнятней... Несколько раз легкий трепет пробегал по всему его телу. Надежда Ивановна всякий раз ждала, что это последняя борьба жизни с смертью, но ожидания обманывали ее. Катеньев не умирал, хотя с каждой минутой ему делалось все хуже и хуже... Надежда

Ивановна давно потеряла всякое представление о времени, было ли еще утро, полдень или вечер, она не знала... Глаза ее ослабели, ухо притупилось. Она чувствовала, что скоро настанет минута, когда она перестанет и видеть и слышать... Иногда ей начинали чудиться какие-то странные звуки, которых она не могла уяснить себе... Кто-то где-то упорно и назойливо звал ее, но она понимала, что это одно воображение... Тем не менее голос, звавший ее, становился все громче и назойливей. Что-то знакомое было в нем... Она хотела догадаться, чей же этот голос, и не могла... Вдруг крик, протяжный и громкий, раздался совсем близко. Надежда Ивановна вздрогнула и вся затрепетала. Она узнала голос и не поверила своим ушам, она боялась обмануться, боялась, что этот голос только в ее воспаленном воображении, дикая галлюцинация слуха. Как бы то ни было, она решила ответить. Она собрала все свои силы, открыла рот, хотела крикнуть, отозваться, но пересохшее горло не издало звуков... Ужас охватил ее. Их ищут, спасение близко, может быть, всего в нескольких шагах, а она не в состоянии откликнуться... Не дождавшись ответа, могут уйти, оставив их умирать в глубоком овраге, ставшем для них могилой... В порыве отчаяния Надежда Ивановна попыталась выползти из оврага, но не смогла, не было сил.

— Борис! слышишь, нас ищут! зовут! — зашептала она, наклоняясь к Катеньеву и трогая его руками. Она думала пробудить в нем энергию, вызвать в нем прилив к жизни, ждала от него помощи, но он лежал немой и неподвижный, и только медленно блуждающий, бессмысленный взгляд говорил ей, что он еще жив, хотя едва ли сознает, что вокруг него делается.

В эту минуту ее взгляд случайно упал на ручку револьвера, торчащую из кобуры, на поясе Катеньева. Не теряя времени, она схватилась обеими руками за рукоятку, вытащила револьвер и, подняв его над головой, с усилием нажала пальцами обеих рук спуск. Грянул выстрел, другой, третий... Больше у нее не было сил... Она выронила револьвер из рук и, теряя сознание, тяжело упала головой на грудь Катеньева. Почти одновременно с этим у края оврага показалась фигура Петрова, за ним бежал Фу-ин-фу, а далее человек десять солдат, стрелков охотничьей команды.

— Слава богу, наконец-то нашли! — радостно воскликнул Петров, соскакивая в овраг и наклоняясь над бесчув-

ственной Надеждой Ивановной.— Ну, теперь, братцы, живо, на носилки и айда... Прохлаждаться-то нечего.

Только после долгих усилий удалось привести в чувство Катеньева и Надежду Ивановну, но оба были так слабы, что их пришлось немедленно отправить в лазарет... У Катеньева открылись раны, и его через месяц отправили в Россию. Надежда Ивановна поехала с ним. Перед отъездом они щедро наградили Фу-ин-фу. Петрова им повидать не удалось, он находился с своим полком на передовых позициях. Так Катеньеву и Надежде Ивановне и не удалось узнать во всех подробностях, каким образом Петрову удалось разыскать русские войска и привести им на выручку несколько человек команды, добровольно вызвавшихся со страшным риском проникнуть в глубь расположения японских сил, отыскать Катеньева и Надежду Ивановну и благополучно на носилках доставить на русские передовые позиции.

Перед Мукденскими боями Катеньев, поправившись окончательно, вновь вернулся в полк; под Мукденом был снова легко ранен и снова отправлен в лазарет. Тут он случайно узнал, что Петров был убит за несколько дней до начала боев, решивших участь несчастной кампании. Катеньева известие о смерти Петрова сильно поразило. Так и не удалось высказать Петрову, как много и глубоко он ему был благодарен за свое спасение и за спасение того, кто был для Катеньева дороже всего на свете, дороже жизни, дороже всякого личного счастия.

Гордиев узел

(Рассказ в письмах)

7-го сентября 1914 года.

Милая Таня!

Мой бесценный друг, мое яркое солнышко, осветившее хмурые сумраки моей жизни, как я счастлив, что получил наконец право называть тебя «моей Таней». Когда говорил тебе «Вы и Татьяна Михайловна», это звучало так сухо, так чопорно, а главное дело, так не гармонировало с теми чувствами, которые я питаю к тебе... Как странно: для сотен тысяч людей война явилась злою разлучницей, а для нас она добрая фея, соединившая наши давно любящие сердца. Зная твой гордо-целломудренный характер, твое отвращение ко всякой лжи и компромиссам с совестью, твое, если позволено будет так выразиться, порабощение себя сознанию долга, я знаю, ты бы предпочла зачахнуть, но не дать своим чувствам свободу вылиться наружу, тем паче нарушить принятую на себя клятву верности мужу, который не стоит твоего ботинка и которого в тайниках своей души ты не только не любишь, но презираешь... Помнишь, Таня, тот дивный вечер, в начале августа прошлого года, когда мы с тобой так неожиданно очутились с глазу на глаз в прекрасном саду Невзоровых, в Павловске? Ты сидела на скамейке и прислушивалась к доносившейся из парка музыке... Я присел подле и залюбовался тобою, одухотворенным выражением твоего лица, твоих дивных, глубоких как ночь глаз, в которых покоится грусть... Мы долго молчали, вслушиваясь в волшебные звуки и переживая свои чувства... О чем ты думала тог-

да, я не знаю, ты мне тогда этого так и не сказала, а я думал, глядя на тебя: вот женщина, которую я знаю больше года и полюбил с первой встречи, но она, как мраморное изображение богини, холодна и равнодушна, хотя не может не знать, что я обожаю ее, не могу жить без нее, что она в одно и то же время и мое величайшее страдание, и мое счастье, посланное мне на пути судьбою, как бы с целью дразнить меня несбывающимися надеждами... Потом мы разговорились, и я мало-помалу, не удержавшись, высказал тебе все, что тогда думал и чувствовал. Ты терпеливо выслушала меня, как выслушивает ангел в высотах молитвы прижавшегося во прах человека и ничего мне не ответила или почти что ничего... но, с этого дня, я стал замечать в тебе какую-то перемену, ты точно всматривалась в меня, точно взвешивала мои чувства... Ты отлично видела и понимала, что любовь к тебе поглотила все мое существо, что ты для меня явилась вознаграждением за десять долгих лет постылой супружеской жизни, ярким лучом, прорезавшим окруживший меня холод и мрак, свежей струей ветерка, примчавшего ко мне ароматное дыхание ландышей и фиалок с благоухающих весной надежды полей и рощ... Ты видела, как я минутами изнывал подле тебя, подобно обожженному палящим солнцем нищему с пересохшими от жажды губами у наглухо закрытых железных ворот тенистого парка, посреди которого красивый водомет высоко выбрасывает вверх холодную как лед, хрустально-чистую влагу горного потока... Ты видела это, знала, понимала и целый год с жестокостью, на которую способны только такие целомудренные жрицы семейных пенат[1], как ты, отталкивала мою любовь... но нет, не всегда отталкивала... Были минуты, когда и ты изнемогала в борьбе с собою, когда твои предрассудки начинали уступать горячим, властным запросам жизни, желаниям доли счастья... ты начинала уже колебаться... но стоило мне протянуть руки, чтобы бережно и осторожно взять в свои объятия как бы с небес склоняющееся к ним счастье, как ты вся вздрагивала, точно разбуженная предостерегающим криком, и испуганно отшатывалась от меня, после чего долго с какою-то особой подозрительностью и недоверием следила за мною, точно я был ночной тать[2], покушавшийся взломать замок казнохранилища... Сколько раз за этот год брался я за револьвер, чтобы покончить с собою, не будучи в силах ни уйти от тебя, ни переносить дольше твое-

го холодно-презрительного тона... Если бы еще твой муж был человек достойный твоей любви, в свою очередь любивший бы тебя горячо и преданно, как ты того заслуживаешь; если бы ты была с ним счастлива, я нашел бы в себе силы сойти с вашего пути и не смущать вашего мирного покоя.. Но я знал, ни ты его, ни он тебя не любите друг друга так, как любят в счастливых супружествах... Ты для него была только красивой любовницей. Совершенно равнодушный к твоей душе, он весьма внимательно относился к покрою твоих выездных платьев, требуя глубоких вырезов, хвастливо обнажая тебя перед восхищающимися взорами друзей и знакомых... Ему безразлично, умна ли ты или нет... Он никогда не давал себе труда прислушаться к твоим речам, но цвет твоего лица, томность глаз и выбор духов обращали на себя его самое серьезное внимание... Он развратник до мозга костей и наивно ни в чем не делает разницы между тобой и своими любовницами... Кстати, недавно в Л. я встретил его в кафе с очень шикарной дамой. Он отрекомендовал ее как жену пленного австрийского офицера-чеха, хлопочущую о пропуске в Россию к мужу, поселенному где-то близ Урала. Дама тоже чешка, и, надо сказать, дьявольски хороша и соблазнительна; справедливость требует сказать, что он, в своем докторском новеньком мундире, во всеоружии, и она, в шикарном венском костюме, представляли из себя настолько красивую пару, что многие невольно обращали на них внимание... Он был радостно оживлен, страшно увлечен своей дамой и, наверно, в своих мыслях так далек от тебя, что, если бы кто-нибудь в эту минуту спросил о твоем здоровье, он бы не сразу сообразил, о ком идет речь... Пишу обо всем этом не из мелочного желания еще раз унизить его в твоих глазах, а чтобы подтвердить, насколько ты была вправе выбросить в окно тетрадь с прописными моралями, мешавшими тебе быть счастливой и дать счастье человеку, обожающему тебя... Но как ты цепко держалась за ее обветшалые страницы!.. Если бы не война и вызванная ею внезапная разлука, ты и до сих пор не рассталась бы с нею, заглушая ее пошлыми сентенциями могущественный голос жизни... Как же мне не благословлять войну, давшую мне такое огромное счастье, как обладание тобою... До мельчайших подробностей помню я тот вечер, ставший счастливейшим вечером всей моей жизни, когда я пришел к тебе в своей походной форме и объявил о своем отъезде на другой

день. Ты вдруг побледнела, глаза твои расширились, и я прочел в их бездонной, всегда загадочной глубине выражение страха и горя...

— Как завтра? Почему завтра? — взволнованно спросила ты, и голос твой не был такой, как всегда, ровный и спокойный, он слегка дрожал... О, каким счастием наполнилась моя душа... Не помня себя, я бросился к тебе, взял за обе руки и инстинктивно потянул к себе. Через минуту ты была в моих объятиях и я, как безумный, задыхаясь от великого счастья, осыпал твое плачущее лицо жгучими поцелуями. Ты потребовала, чтобы я отложил свой отъезд на три дня. «Эти три дня мы проведем вместе!» — прошептала ты мне на ухо, бледнея от сдерживаемой страсти... Ах эти три незабываемые дня!.. Я до сих пор живу ими и буду жить до тех пор, пока мы вновь не встретимся. До сих пор обоняю аромат твоих волос, твоего гибкого, оказавшегося таким страстным, тела; упиваюсь жгучими поцелуями воспаленных губ, весь вздрагиваю, вспоминая твой горящий огнем страсти взгляд широко раскрытых, черных как ночь, глубоких как бездна глаз... и вот теперь, лежа на жесткой скамье смрадной галицийской избушки или на ржавых снопах соломы, в глубоких и сырых, как могилы, окопах, я брежу долгими ночами о вихрем мелькнувшем счастье. Я ни о чем другом не могу думать, кроме только о том, что, когда кончится война, я примчусь к тебе и мы вновь переживем с тобою минуты упоительного блаженства... К тому времени мой развод с женою будет окончен, ты тоже, как обещала мне, потребуешь от мужа развода, и мы соединимся с тобою на долгую, долгую, счастливую жизнь. Когда я думаю о том блаженстве, которое меня ожидает, когда ты станешь моей женою, у меня голова начинает кружиться и сердце замирает в трепетной истоме... Я благословляю войну: свирепая людоедка для других — для меня она добрая волшебница... Какой-то тайный голос шепчет мне, что я не только останусь жив, но не буду даже ранен. Я вернусь цел и невредим, чтобы взять свое счастье от жизни и в твоих объятиях забыть все невзгоды, пережитые мною с другой женщиной, ставшей для меня палачом. Кстати, на днях я получил от нее, от моей жены, письмо, крайне меня изумившее. Я читал и не верил своим глазам. Неужели это она писала? Откуда она взяла такие несвойственные ее черствой душе слова? Неужели это искренно? Я не удержался и показал ее письмо

Мише, нашему общему любимцу, незлобивому Мефистофелю, а моему самому близкому закадычному другу, он прочел письмо и молча вернул его мне. Удивленный его молчанием, я спросил:

— Что ты на все это скажешь?

— Скажу,— ответил он,— что ты слепой филин, даже хуже филина, тот не видит света, потому что не может, а ты не хочешь.

Я не совсем понял его притчи и просил объяснить, но он стал отшучиваться и молоть всякий вздор, в духе Мефистофеля в саду Маргариты. Единственно, что я мог понять из всех его намеков, это то, что он на стороне моей жены. Впрочем, ему легко рассуждать, не он прожил с ней целых восемь лет, и не ему пришлось переиспытать все то, что выпало на мою долю. Ко всему этому он не знает тебя так, как знаю я, для него ты только знакомая, он не знает, чем стала ты для меня и какие душевные богатства таятся в тебе вместе с всепожирающей страстью. Он не знает, как бледна, ничтожна, ординарна до серости моя жена по сравнению с тобою. О, если бы он знал!

Перечел свое письмо и сам улыбнулся, как далеко оно от всего того, что меня окружает.

Я пишу это письмо в землянке, устроенной в лесу, позади окопов. То и дело до слуха моего доносятся звуки артиллерийской стрельбы. Звуки эти можно разделить на три части. Короткий далекий звук выстрела, точно откупорили чудовищную бутылку шампанского, затем угрозливо надвигающийся все ближе и ближе свист и шипение летящего снаряда и, наконец, гулкий грохот разрыва, если разрыв близко, да томительно слышен свист и вой шрапнели и глухое гуденье «стакана». Особенно сильное впечатление дают тяжелые снаряды. Тяжелая артиллерия стоит так далеко, что звук ее выстрелов доносится очень глухо, но зато полет снаряда производит жуткое впечатление. Приближение его начинаешь слышать еще издали. Точно колесница мчится по гранитной мостовой, все ближе, ближе... какой-то зловещий свист и вой потрясает воздух, рассекает высоту, секунды тянутся мучительно долго. На первых порах, пока не привыкнешь, всякий снаряд точно летит прямо на тебя. Так и кажется, что вот-вот он, долетев, разорвется нигде в ином месте, как над твоей головой. Надо много выдержки, чтобы выжидать разрыва, не трогаясь с места. Впрочем, это самое

благоразумное — никуда не метаться, твердо помня, что от снаряда не ускользнешь, а, напротив, метнувшись зря, скорее под него-то и угодишь. Каждый, кому приходится быть в боях, прежде всего испытывает самого себя, трус он или нет. Для многих это очень мучительный вопрос. Испытал и я это тревожное ощущение и теперь, побывав, как здесь выражаются, «в делах», могу, положа руку на сердце, сказать, что особого страха не испытывал. Главным чувством у меня является любопытство. Я с большим вниманием приглядываюсь ко всему, что кругом меня происходит, слежу за выражением лиц солдат и товарищей в минуты серьезной опасности, присматриваюсь к раненым, стараясь угадать их мысли и ощущения. Не знаю, как будет дальше, но пока война представляет для меня массу интересного. Вот уже с неделю наш полк, оставив коней верстах в трех-четырех отсюда, в селении, занимает окопы на вершинах; на противоположных вершинах укрепились австрийцы. Между нами внизу пролегает живописная долина, местами поросшая лесом, местами открытая, через нее прихотливо извивается, серебрясь на солнце, небольшая речка, беленькие хатки, кажущиеся отсюда игрушечными, робко прячутся в густой, местами начинающей заметно желтеть, зелени. Долина эта, такая красивая и располагающая на вид, служит ареной почти еженощных драм. Как только наступает ночная тьма и с обеих сторон прекращается артиллерийская стрельба, в долину из окопов, с нашей и с их стороны, осторожно, крадучись, спускаются партии разведчиков, или, как их иначе зовут, «охотников». Задача их подобраться незаметно к неприятельским окопам, высмотреть, что делается у неприятеля, а главным образом захватить пленного для допроса. «Раздобыть языка». Для этой цели около полуразрушенных, давно покинутых жителями хаток, в густых, приветливых садиках или в лесной чаще, устраивают засады. Люди подстерегают людей, как охотник зверя. В полумраке дула поднятых ружей, скрытые ветвями, жадно нащупывают темные силуэты неосторожно приближающегося врага. Гремит короткий выстрел, в ответ на который часто в ночной тишине проносится мучительный, испуганный вопль. В ответ гремят торопливые ответные выстрелы, еще минута, и завязывается частая перестрелка. Иногда полчаса и долее гремят выстрелы, сначала стрельба кипит в долине, затем передается в австрийские окопы, они точно оживают, и по всему их

фронту трещит безудержная пальба, участие в которой принимают и пулеметы, начинающие хлопотливо «такать», как лягушки в болоте. Бывает, что какое-нибудь орудие, точно разбуженный тявканьем шавок волкодав, сердито рявкнет раз, другой и опять примолкнет до утра. «Наши» гораздо более выдержаны, чем чересчур «нервные» австрийцы, которым всегда мерещится наступление, обыкновенно ночью из окопов стрельбы не открывают, только часовые, заслышав неприятельскую пальбу, еще зорче начинают вглядываться в ночной мрак, еще чутче настораживают ухо и еще крепче сжимают в руках дуло винтовки. Несмотря на свою нервность и суетливость, австрийцы во время своих разведок оказываются большими ротозеями по сравнению с нашими. Наши разведчики — это настоящие кошки. Ночью видят не хуже, чем днем, а про слух и говорить нечего, прямо что-то невероятное, до чего развит слух у нашего солдата. Пробираясь по густому лесу, они скользят неслышно, как тени, ни одна ветка не треснет под ногою. Западноевропейцу до них так же далеко, как жителю Нью-Йорка до индейца прерий, и немудрено, что австрийцы так их боятся. За неделю, которую мы здесь находимся, наши разведчики не потеряли ни одного человека убитым или взятым в плен, есть человек четыре-пять раненых, да и то легко, а австрийцев захвачено пленными более сорока человек, да не менее того, если не больше, заколото штыками, и заколото молча, внезапно, без крика с их стороны, раненных же выстрелами учесть нельзя, но их не мало. Австрийцы как-то до наивности глупы, наши ловят их изо дня в день на одной и той же ухватке, и они каждый раз, как рыба на удочку, идут на ту же приманку; делается это так: наша партия охотников человек десять-двенадцать, выбирает удобное место для засады и, притаившись, высылает вперед два-три самых отчаянных и расторопных. Те идут вперед и, завидя неприятельских разведчиков, делают вид, будто нечаянно на них наткнулись. Дав торопливый выстрел, наши начинают уходить. Австрийцы бросаются в погоню. Увертываясь как лисица от собак, наши ловко наводят преследователей на засаду и тут мгновенно, точно в землю проваливаются, исчезают из глаз оторопевших австрийцев. Те делают еще несколько неуверенных шагов вперед, раздается легкий свист, и, словно из-под корней дерев, вокруг них вырастают темные фигуры русских стрелков, с наведенными им в голо-

вы винтовками в руках. В диком ужасе австрийцы, не думая о сопротивлении, бросают винтовки и подымают руки вверх, более напуганные бросаются на колени или ложатся ничком на землю. Подобрав с земли неприятельские винтовки, охотники гонят австрийцев как стадо баранов в свою сторону. Только теперь, к своему стыду и досаде, опомнившиеся от страха австрийцы нередко убеждаются, что сдались гораздо меньшему числу русских, но стыд не дым — глаза не выест. Они скоро примиряются со своей участью и равнодушно бредут шмыгающей походкой за врагами своего императора, весьма довольные, что все окончилось так для них благополучно. Миша — Мефистофель изрек недавно крылатую истину про австрийцев. По его наблюдениям, они ведут войну фабричным, а мы кустарным способом. Они воюют при помощи усовершенствованных машин всякого рода, технически, а мы личным искусством каждого бойца в отдельности, с помощью ловкости, находчивости, удали. У них бронированные автомобили, аэропланы, ракеты, телефоны и тысяча других приспособлений, у нас меткий глаз, крепкая рука, сметка и «восторг». Действительно, среди младших офицеров и нижних чинов встречается много, если можно так выразиться, «художников войны», не ремесленников, а именно «художников», замечательно изобретательных на всякого рода каверзы врагу и искренно увлекающихся. Забывающие о всякой осторожности и презирающие всякую опасность, эти люди, точно выхваченные из романов Майн-Рида и Фенимора Купера. Своего рода «Следопыты», «Соколиный глаз», «Меткая рука» и т. п. герои прерий и девственных лесов былой Америки. Для них самая опасная разведка — веселая прогулка, а рукопашная схватка — забава, спорт. Этого типа люди убеждены, что если «смотреть в оба», «не зевать», ловко работать руками, то этим для них исключена всякая опасность. Право убивать, вне зависимости от оплошности убитого, они признают только за снарядами и издалека прилетевшими пулями. От снаряда да от шальной пули не убережешься — говорят они — это уже как судьба. Коли суждено застигнуть — застигнет, как не берегись, ничего не поделаешь.

Однако я заболтался. Трудно оторваться от письма, когда я пишу, мне кажется, будто ты где-то тут близко, близко от меня, а когда кончаю письмо и сдам его ординарцу везти в штаб дивизии, где у нас почтовый ящик полевой почты, мне

делается тоскливо и я вспоминаю те тысячи верст, которые нас разделяют.

Ну будет, будет. Ординарец уже на коне и ожидает только моего письма, чтобы присоединить его к пачке других писем, посылаемых моими товарищами офицерами и солдатами.

Крепко, крепко тебя целую, моя радость, моя светлая будущность, мой магометов рай, моя далекая, поэтическая мечта, моя жизнь, мое солнце. Я готов слагать в твою честь акафист, но не могу подобрать тех достаточно сильных и в то же время нежных слов, чтобы выразить тебе мое беспредельное обожание.

Твой, только тобою и грезящий

Валя.

P. S. Мефистофель, узнав, что я тебе пишу, просит передать его почтительный привет. Кстати, он почему-то зовет тебя «католическая монахиня» и не хочет пояснить, что он под этим подразумевает. Меня он называет «увлекающимся папильоном», порхающим с цветка на цветок. Но это злостная клевета... За всю мою сознательную жизнь я любил только двух женщин, мою жену, когда она была невестой и самые первые годы после свадьбы, и тебя. Тебя я полюбил до могилы. Юнкером и в первый год, по выпуске, офицером, я, конечно, увлекался многими, но так поступают все, это было ребячество. Впоследствии, не скрою, мне многие женщины нравились, но это не было глубоким чувством, таким, каким полна теперь моя душа к тебе. Ах, я, кажется, добровольно никогда не кончу. Надо, чтобы кто-нибудь вырвал письмо из моих рук и силой заставил меня окончить его и вложить в конверт. Лошадь ординарца извелась от нетерпения, не хочет стоять на месте, а он сам хмуро и укоризненно поглядывает в мою сторону.

Целую, целую несчетно раз мое, неподдающееся никакой оценке, сокровище. Еще раз весь твой до гробовой доски, обожающий тебя и только тебя одну — Валя. Пиши, пиши, умоляю, пиши. Твои письма — единственное, что я теперь прошу у бога, в них все мое счастье, весь смысл моей жизни. Умоляю, пиши, иначе я сойду с ума от тоски и мыслей о тебе...

2-го октября 1914 года.

Валериан Павлович!

Садясь писать Вам, невольно с горечью подумала, что изо всех людей, знающих Вас, каждый знает, как ему к Вам адресоваться. Для посторонних Вы «милостивый государь», для знакомых «глубокоуважаемый», для друзей «дорогой» или как-нибудь еще в этом же роде, только одна я становлюсь в тупик, обращаясь к Вам и не зная, как мне Вас назвать. Я, которая еще так недавно звала Вас: «Мой дорогой, любимый Валя», а Вы меня — «Моя милая Милочка», не смею теперь назвать Вас так, не смею из оскорбленной гордости, из опасения, чтобы Вы не заподозрили меня в искательстве, но было бы смешно, если бы я назвала Вас милостивым государем, а назвать Вас многоуважаемым я не могу, ибо мне Вас уважать нет причин. По отношению меня Вы последние два года поступали так, что я получила, правда дорогой ценой, горькое право не уважать Вас. Но из всех Ваших поступков со мною самым жестоким и обидным с Вашей стороны было не написать мне о том, что Вы призваны из запаса на войну. Неужели Вы так боялись, чтобы я не прилетела в Петроград провожать и оплакивать Вас? Этого я бы не сделала. Я отлично знаю, что Вас было кому провожать... Я знала все, что Вы делали и как жили последний год после моего отъезда, я не мешала Вам, согласитесь с этим, но издали следила за Вами. С моей стороны это не было шпионажем ревнивой жены, как Вы, может быть, думаете, а вызывалось иными чувствами, о которых не стану говорить... не стоит. Итак, я следила за Вами и знала о Вашем увлечении г-жей Плонской, знаю о тех нежных сценах разлуки, которые произошли между вами... Кстати, вы оба были очень неосторожны, и о том, о чем я сейчас пишу, кроме меня, знают многие, возможно, узнает и муж. Насколько я его знаю, он из «неопасных», но все же я опасаюсь возможных для Вас неприятностей и потому искренне желаю, чтобы до него не дошло никаких сплетен. Узнав о Вашем для меня внезапном выезде на войну, я была глубоко потрясена; страх за Вас боролся с чувством глубокой обиды на Вас за то, что, уезжая, Вы не нашли нужным и возможным написать мне несколько слов. Перед лицом возможной каждую минуту смерти примиряются даже с врагами, а раз-

ве я Ваш враг? Под впечатлением перечувствованного, я послала Вам свое первое письмо. Вы мне на него не ответили. Возможно, оно не дошло до Вас, если это так, то я отчасти этому и рада... Оно было написано слишком горячо и необдуманно. В нем было слишком много «чувств», которые Вы могли истолковать по-своему, в оскорбительном для меня смысле... Успокоившись немного, я решила больше не писать и не изменила бы своему решению, если бы не произошел невероятный по своей нелепости и жестокости выпад с Вашей стороны против меня. Я говорю о полученном мною от какого-то петроградского присяжного поверенного Монахова, или что-то в этом роде, письме, в котором он предлагает мне от Вашего имени развод и развязно спрашивает об условиях, на которых я бы на этот развод согласилась. Валериан Павлович! неужели Вы, человек, безусловно не злой, стремящийся, по Вашим словам, быть справедливым, избегающий причинять людям огорчения, не понимали всей жестокости, всей оскорбительности Вашего предложения в такую минуту? Объясняю и извиняю только Вашим увлечением, помутившим Ваш рассудок. На письмо Вашего Монахова я даже не сочла нужным отвечать, а Вам ясно, категорически и бесповоротно объявляю — ни на какой развод я не согласна ни под каким видом. Я не считаю себя ни в чем перед Вами виноватой. Я не изменяла Вам даже в помыслах, хотя имела на это полное право, принимая во внимание то, как часто делали это Вы по отношению меня; я не больна никакой болезнью, исключающей счастливое сожительство супругов, я никогда не отказывалась от своих обязанностей жены, матери, хозяйки дома, я самовольно не покидала Вас... Если полтора года тому назад я уехала от Вас, то, как честный человек, ответьте самому себе, по своему ли желанию или уступая Вашим настойчивым требованиям... Вы почти выгнали меня из своей квартиры, объявив о полной невозможности ужиться со мною, по причине моей чудовищной, по Вашему мнению, ревности, но хотела бы я знать, много ли нашлось бы женщин, прибавьте к тому любивших своих мужей, которые не стали бы ревновать при аналогичных условиях... Вся моя вина разве только в том, что я слишком любила Вас, но за это я не могу признать себя заслуживающей очутиться в оскорбительном и двусмысленном положении «разводки»... Но если бы я еще была одинока, то, может быть, видя Ваше настойчивое же-

лание отделаться от меня, я бы в конце концов уступила из самолюбия и дала бы Вам столь «необходимую» Вам свободу, но я не одна. Вы, в Вашем увлечении, очевидно, забыли о нашем ребенке. Если я соглашусь на развод, Женя должен потерять или отца, или мать, это, смотря по тому, кому присудят его отдать. Если он останется при мне, то уже с ранних лет в его душе зароятся тревожные вопросы, почему его отец бросил мать и отрекся от него — своего сына? Он невольно начнет доискиваться причин и волей-неволей принужден будет стать в роль судьи между отцом и матерью. Все это породит излом в его душе, тем более для него тяжелый, чем он по натуре своей будет глубже и вдумчивей. Если же, о чем я без ужаса и подумать не могу, возьмете его Вы — он будет вдвойне, втройне несчастлив... Вы к нему почти равнодушны, а женясь на Плонской (ведь только для женитьбы на ней Вам может быть нужным развод), Вы и совсем перестанете обращать внимание на бедного мальчика, что же касается «ее», то для меня не может быть сомнения, что подле нее нежный и слабый Женя завянет как цветок, пересаженный в сырой склеп подземелья... Хороших мачех нет, если и есть, то как самое редчайшее в мире исключение, но Плонская с ее холодным сердцем и черствым эгоизмом была бы из худших... Недаром твой друг «Мефистофель Миша» прозвал ее еще два года тому назад, на первых же днях знакомства, «католической монахиней»... Сейчас Вы ею увлечены, и все мои слова в Ваших глазах — клевета ревнивой женщины, но я более чем уверена в том разочаровании, которое Вас постигнет... Вот все, что я хотела Вам написать. Ваш адвокат в своем хамском усердии запугать меня выставил угрозу, если я не соглашусь на развод, то буду Вами лишена денежной поддержки. Я уверена, что это он присочинил от себя, но тем не менее, на всякий случай, считаю нужным известить Вас, что ни в какой поддержке я не нуждаюсь. Я имею здесь уроки музыки в четырех домах, дающие мне в месяц двести рублей. Я бы могла иметь уроков вдвое и зарабатывать до трехсот рублей, но так как я живу даром у тети Кати, у которой, как тебе известно, я единственная наследница, ни за стол, ни за квартиру ничего не плачу, то нам с Женей моего заработка девать некуда... Перечла свое письмо... Как трудно написать так, чтобы читающий понял то, что хотелось написать, особенно трудно, когда читающий, впредь это знаешь, и искать-то не будет,

пробежит лениво строки письма и равнодушно порвет его... Как открыть наглухо замкнутую дверь, от которой потерян ключ, и всего обиднее, что не знаешь где, как и кем он потерян. Ну будет... довольно... Поклонов и пожеланий не посылаю, от меня Вам они не нужны и не интересны. Сообщаю только, что Женя часто вспоминает «своего дорогого папу, который поехал противных немцев бить», и каждый день утром и вечером молится, чтобы боженька сохранил его папу от всяких опасностей. Когда я беру в руки газету, он всякий раз спрашивает, нет ли в газете чего-нибудь о папе.

Если бы Вы нашли возможным написать несколько слов Жене, это привело бы его в настоящий восторг. Пишите, не особенно подделываясь под его возраст, ему уже семь лет, и он не по годам развит; наконец, если бы что-нибудь он бы и не понял, я сумею рассказать ему понятными для него словами.

Людмила Образцова.

Милая Таня.

Радость, жизнь моя, мое счастье в будущем, мое солнышко в настоящем. Сегодня ровно сорок дней, как я на войне, и пятьдесят с той минуты, как мы с тобой расстались, и за этот долгий, мучительно долгий срок я не получил от тебя ни одного письма. Ведь это вымолвить страшно. Целых пятьдесят дней я ничего не знаю о тебе. Жива ли ты, здорова ли? Я проклинаю почтовые порядки, или, сказать правильнее,— беспорядки, а все почтовые чиновники, все без исключения, находящиеся во всех почтовых передаточных инстанциях от самого Петрограда, поделались моими личными врагами. Я ненавижу их всех, считая причиною моего несчастья — неполучения от тебя писем, без которых я не могу жить, как рыба без воды и птица без воздуха. «Мефистофель» подсмеивается надо мной, уверяя, что почтовые чиновники ни при чем, а просто «Татьяна Михайловна не считает нужным тебе писать. Мало ли у нее тайных воздыхателей, подобных тебе, она на них и внимания не обращает». Я молчу, а про себя улыбаюсь на его слова. Он не знает того, что знаем мы с тобою, он даже и не подозревает, чем мы стали друг для друга после тех трех счастливых дней,

которые ты мне подарила... Разве мыслимо, чтобы ты, после того, что было, могла не писать мне? Конечно же немыслимо. Я знаю, ты пишешь, но, по какой-то роковой случайности, твои письма не доходят, застревая где-нибудь на одной из бесчисленных передаточных контор. Когда я думаю о том, что твое письмо, милое, благоуханное, полное ласки, которое я жду с таким тоскливым нетерпением, в котором заключено все мое счастье, все доступные мне земные радости, лежит, затерянное, в груде других писем, где-нибудь на полке шкафа или на подоконнике неуютной, пыльной, сорной, затхлой конторы, мне его становится жалко почти до слез. Точно оно живое, мыслящее существо, томящееся в неволе, как узник. Всякий раз, когда писарь или ординарец приносят пачку писем для г. г. офицеров, я жадно слежу за пальцами, перебирающими письма... Надеюсь и боюсь надеяться. Когда кто-нибудь передает мне адресованное на мое имя письмо, я жадно смотрю на конверт, но, увы, от других письма доходят, а от тебя все нет и нет... По злой иронии судьбы, письма жены, которые меня нисколько не интересуют и которые я прочитываю единственно от скуки ради и из желания узнать что-нибудь о сыне, доходят исправно. Не пропало, кажется, ни одно... На первые два я ей не отвечал вовсе, а на последнее ответил, и то не ей собственно, а сыну... Написал всего несколько строк... Ах, Таня, как у меня тоскливо на душе и какие мрачные думы лезут в голову... А вдруг «Мефистофель» прав, и ты забыла обо мне и думать... Но нет, нет, этого не может быть... Ты слишком серьезна, ты не способна на минутное увлечение, в твоих глазах любовь не каприз праздной, ищущей острых, пикантных переживаний женщины, а серьезное, почти трагическое чувство... Я гоню зловещие мысли и все приписываю или неаккуратности почты, или неправильности адреса... В этом письме я опять посылаю тебе точный и подробный адрес.

Но не буду надоедать тебе стонами моего израненного сердца, а постараюсь сделать мое письмо по возможности интересным, для этого сообщу тебе новость, произведшую в нашем полку некоторую сенсацию. Среди нас оказалась женщина. Очаровательная девушка, 19 лет, хорошей, состоятельной фамилии, в роли вольноопределяющегося... Но расскажу все по порядку. Вскоре после того, как наш полк перешел границу, к нам явился прехорошенький юноша,

вольноопределяющийся, Саша Катенин. Опишу тебе его наружность. Небольшого роста, стройный, с тонко очерченным овалом лица, с большими темно-серыми, иногда кажущимися черными, глазами, полуприкрытыми длинными ресницами, отчего они кажутся еще больше; тонкий, породистый, с едва заметной горбинкой нос, полные яркие губы, скрывающие ряд ослепительно белых, ровных зубов, красиво изогнутые темные брови и слегка вьющиеся темно-русые волосы. Ручки, ножки изящные... Словом, переодетая барышня, да и только... Убежден, что многие так и подумали; но по бумагам, сданным в канцелярию, оказывается юноша Катенин, а когда он сел на коня и мы увидели, как, проезжая мимо кустов, он, практикуясь, рубит ветки, всякие сомнения исчезли, так ловко, крепко, непринужденно сидел он в седле, так умело управлял конем и так искусно, «от сердца», метко рубил довольно толстые сучья, что мог помериться с любым из наших унтер-офицеров. Службу он нес отлично, сам чистил и убирал коня, сам седлал, сам прочищал винтовку и клинок шашки. На походе уставал не больше других, по крайней мере, не показывал виду. Когда же наступило время боев, то к общей симпатии, окружавшей Сашу Катенина, присоединилось и такое же всеобщее уважение, внушенное его храбростью и молодчеством. В окопах, в самые тяжелые минуты, он продолжал быть беззаботным, веселым, мало обращая внимание на рвущиеся снаряды. Только когда подле него кого-нибудь убивало или ранило, на его выразительном, подвижном лице отражалось чувство глубокой жалости и грусти. Он на некоторое время делался задумчив и печален, но потом снова оживлялся. В разъездах или будучи дозорным, он без опаски, смело въезжал в незнакомую деревушку, где за каждым забором могла быть засада. Он часто вызывался в охотники и, по отзывам солдат, был «лихой охотник». Умело подбирался к самым неприятельским окопам и однажды один захватил в плен и привел двух австрийцев. Другой раз в разъезде, наскочив на неприятельский патруль, он зарубил засевшего в кусты австрийца, в тот самый момент, когда тот уже прицелился в начальника разъезда, корнета Инанченко. На прошлой неделе он опять совершил серьезный подвиг, что, однако, и послужило к разоблачению его инкогнито. Дело вышло так: наш разъезд, в котором был за старшего вольноопределяющийся Катенин, произведенный недавно, по полу-

чении второго Георгиевского креста, в унтер-офицеры, посланный на связь от нашей дивизии к ополченской бригаде, прибыл туда как раз в то время, когда ополченцы, отбитые австрийцами, отошли, после своей атаки, назад на свои позиции. Царило то лихорадочное возбуждение, которое бывает всегда после боя. Солдаты наперебой повествовали, как «они» шли и уже совсем дошли до «его» окопов, только бы чуть-чуть еще маненько, да и «вдарить», но в это время к «нему» подошло подкрепление, и «ен» как зачал чесать из пулеметов, что страсть и т. д., и т. д., все, что рассказывается в подобных случаях. Катенин, привыкший к подобным рассказам, слушал вполуха, пока одна подробность не возбудила его внимание. Из солдатской болтовни он вдруг узнал, что около австрийских проволочных заграждений остался ротный командир: «Не то убит, не то ранен, бог его знает!»

— Как же вы могли, срамники вы этакие, оставить своего офицера? — вспылил Катенин. Ополченцы сконфузились и стали оправдываться.

— Мы и сами не поймем, как это вышло... Набёгло «его» сразу дюже много, ну, мы, стало быть, значит, правду надо говорить, малость спужались... Не в привычку еще нам. В бою-то мы, почитай, второй раз всего... Мы, стало быть, поднять-то и не поспели, ен так там и остался...

— Ну, это, братцы, вам позор большой,— так этого оставить нельзя, вы должны во что бы то ни стало пойти выручить своего офицера... Кто из вас посмелее да присягу помнит лучше, выходи вперед, я сам с вами пойду... Ну живо, шевелись!.. Один раз умирать-то, не трусь!

Его горячая речь так подействовала на ополченцев, что из рядов вышло сразу человек двадцать.

— Ну ладно, веди, мы готовы, ишь ты шустрый какой! — добродушно посмеивались «дяди».

Катенин, взяв двух драгун из своего разъезда, рассыпал ополченцев в цепь и смело двинулся по указанному направлению. Вскоре австрийцы заметили их и начали стрелять. Приказав ополченцам залечь и вести перестрелку, сам Катенин с двумя драгунами и одним ополченцем, хорошо знавшим место, где упал ротный, пополз дальше. Местность была изрыта канавами и сильно заросшая кустарником. Это обстоятельство облегчало задачу смельчакам. К счастью, офицер был только ранен и за это время успел сам, не за-

меченный австрийцами, отползти от проволочных заграждений и спрятаться в ближайших кустах. Там Катенин и нашел его потерявшим сознание. Быстро сделав ему перевязку, он поднял его и с помощью остальных троих торопливо понес к своим. Австрийцы, заметя удаляющуюся группу, открыли по ней частый огонь. Тогда ополченцы, поднявшись, крикнули «ура»: делая вид, будто собираются броситься в штыки... Австрийцы опять сосредоточили по ним огонь, а тем временем несшие офицера успели добежать со своей ношей до леса, после чего быстро отошли назад и остальные ополченцы, не потеряв ни одного человека.

За этот выдающийся подвиг начальник ополченской дивизии приехал представить Катенина к Георгиевскому кресту первой степени, так как 4-я и 3-я у него уже есть... Это высшая награда, какую можно получить, будучи нижним чином.

Выдача наград произошла третьего дня утром. На этот раз было всего только три награждаемых. Катенин — Георгиевским крестом 1-й степени и двое бывших с ним драгун: один — 3-й, другой — 4-й степени. На раздачу крестов приехал сам командир полка. У нас его очень любят, в нем очень много сердечности и доброжелательства, и, когда он говорит, каждому невольно приходит мысль: «какой это благородный, добрый, душевный человек!» Когда он присутствует на раздаче крестов, он обставляет это большой торжественностью. Награждаемые вызываются на несколько шагов из фронта и становятся лицом к развернутому фронту эскадрона. Подается команда «на караул», и командир полка, при наступившей мертвой тишине, обращается к «героям» с речью и собственноручно прикалывает к их мундирам ленточки крестов, причем каждого из них крепко целует. Наш командир умеет хорошо говорить, с душою, на этот раз его речь была особенно от сердца. Подойдя к Катенину, он выразил ему благодарность сначала от лица службы, а затем от себя, как командир полка, за то, что он с таким достоинством поддержал заслуженную славу полка, явил пример доблести в глазах солдат чужой части, совершил не только воинский, но и христианский подвиг. Катенин, во все время обращенной к нему речи полковника, стоял бледный от волнения, широко открыв глаза, когда же, нацепив ему крест на грудь гимнастерки, полковник с ласковой улыбкой склонился к нему, чтобы поцеловать, как это он всегда делает,

поздравляя вновь награждаемых кавалеров, Катенин не выдержал и, забыв правила дисциплины, вдруг крепко обхватил шею полковника, прижался лицом к его груди и зарыдал. Казалось, любящий сын или скорее дочь, прижалась к отцу и выплакивает у него на груди душевное потрясение... Командир полка, в свою очередь, ласково обнял юношу и вполголоса стал его уговаривать успокоиться, но от звука ласкового голоса командира Катенин разрыдался еще сильнее. Вскоре его плач перешел в истерический припадок, и его принуждены были отнести в приемный покой... Вот тут-то все и открылось... Прежде всего выяснилась причина, почему Саша Катенин не выдержал и так неожиданно разрыдался... Оказывается, наш командир полка лицом, фигурой, а больше всего голосом похож на покойного отца Катенина, и, когда он наклонился к нему, чтобы поцеловать, взволнованному всеми предыдущими переживаниями юноше показалось, что это его отец склонился к нему со словами похвалы и одобрения... А он так любил своего отца, так чтит его память... Ах, если бы он был жив и мог видеть и слышать все, что произошло сегодня, все, что было сказано... И неудержимые слезы градом текли по лицу юноши. Затем последовало и другое открытие, когда врач, расстегнув ворот рубахи, захотел послушать сердце возволнованного юноши... Катенин неожиданно покраснел и стремительно вырвался из рук доктора...

— Ах, нет, нет, не надо, не трогайте,— крикнул он так горячо, с таким испугом, что командир и доктор удивились... Впрочем, доктор не очень удивился, его опытный глаз врача давно подсказал ему правду, и Саше пришлось признаться... Его рассказ, если бы не правдивый тон, с которым он был передан, мог показаться слишком фантастическим, но, кажется, еще Достоевский сказал, что жизнь иногда рисует такие сложные узоры, каких не выдумать никакому романисту.

Настоящее его имя не Саша, а Лиза Катенина. Саша — это ее брат. Их двое. Отец их, генерал в отставке, умер за полгода до войны. Александр, все свое детство болевший, слабый, робкий, впечатлительный, любимец матери, Лиза — «девочка-гусар», как звал ее отец, живая, бойкая, своенравная, любительница всякого рода спорта, отчаянная наездница, смелая и своевольная — любимица отца, всегда сетовавшего на судьбу, что не Лиза родилась мальчиком, а Саша.

Отец и дочь были неразлучны. Ходили на охоту, ездили верхом, катались на рысаках, причем Лиза всегда правила лошадьми, и правила смело и мастерски, к большой гордости отца. Весною этого года, уже после смерти отца, Саша поступил вольноопределяющимся в один из уланских полков и, пробыв в полку с месяц, приехал к матери в именье на каникулы.

В июле вспыхнула, так неожиданно для всех, война. Катенина полетела в Петроград устраивать, чтобы сын не шел на войну. С помощью друзей покойного мужа ей удалось устроить его перевод в наш полк, который почему-то предполагали сначала на войну не отправлять, но не успели окончиться все формальности по переводу Саши Катенина, как полк получил приказание спешно идти в Австрию. Обезумев от горя, Катенина вернулась в имение, где оставался ее ненаглядный Саша, но здесь ее ожидал неожиданный сюрприз: ее дочь, Лиза, исчезла, захватив документы Саши и его обмундировку. На своем туалетном столе Катенина нашла коротенькое письмо беглянки:

«Мама, я знаю, насколько ужасна для Вас разлука с Сашей. Боюсь даже, Вы ее не перенесете. Меня Вы любите значительно меньше, не подумайте, ради бога, что это упрек, я только констатирую факт, а потому и разлука со мной Вам не будет так ощутительна. К тому же я сильнее, здоровее и смелее Саши, лучше управляю лошадью, способнее ко всякого рода физическому труду; словом, я больше мужчина, чем он, и убеждена, буду полезнее его на войне, а потому решила идти за него. Зная, что он будет протестовать, я ушла потихоньку. Имея нужду в деньгах, я взяла их Вашим именем у управляющего. Пятьсот рублей. Пока, я думаю, этих денег мне хватит надолго, но если понадобится еще, попрошу Вас выслать. Адрес мой я Вам вышлю, как только устроюсь.

Ну, милая мама, заочно крепко Вас целую, надеюсь, Вы от души простите меня за мое своевольство, впрочем, Вы всегда жаловались, будто я «плохо действую на Ваши нервы» своими сумасбродными выходками.

Ваша горячо любящая дочь Лиза, а с сегодняшнего дня вольноопределяющийся N-го драгунского полка Александр Катенин».

Вот, милая Таня, какие казусы случаются на войне. Все, что я сообщил тебе, я узнал от самого Саши, но, кроме меня,

командира полка и нашего врача, никто ничего не знает. Командир полка, по своему великодушию, решил молчать и делать вид, будто ему ничего не известно, иначе, если поднять дело, старухе Катениной, а главным образом, ее ненаглядному сыночку грозит тяжелая ответственность. После войны все это как-нибудь уладится, во внимание к подвигам сестры, будет помилован брат, благо он к тому же больной и хилый и все равно был бы только вреден по своей бесполезности.

В полку офицеры, конечно, кое о чем догадываются, но делают вид невинности, чтобы не смущать Сашу, что же касается солдат, то тем и в голову не приходит что-либо подозревать, наружность Саши и его поведение при раздаче крестов их не удивляет; в глазах солдат, Саша, хотя и «молодчина-парень», а все же «барчонок», стало быть, существо нежное, впечатлительное.

Ну, милая Таня, заочно крепко тебя целую и страстно мечтаю о той блаженной минуте, когда буду иметь возможность поцеловать тебя не только одной мыслью... Но когда это будет? Твое упорное молчание порождает во мне очень грустные предчувствия... Милая Таня, неужели ты окажешься такой жестокой, что, озарив меня лучом ярко-ослепительного света, безжалостно бросишь меня одного в сумрачных потемках моей жизни?

3-го ноября. Вчера не успел отправить письма. Ординарец уехал, не доложив мне... Вчера для меня был день огромного огорчения... Случилось большое несчастье... Вечером разорвавшимся на коновязи снарядом тяжело ранен мой лучший друг Миша, наш всеми любимый Мефистофель. Он вышел посмотреть, как на уборке фельдшер промывает мокрецы его лошади, и в эту минуту разорвался снаряд. Лошадь Миши разорвало на части, фельдшеру раскололо череп, а Мише попало несколько шрапнелек в грудь и в ноги. На соседней коновязи было переранено еще четыре лошади и два нижних чина, но этих, кажется, легко. Ах, если бы ты знала, какая это для меня потеря. Я теперь остался совсем один... Хоть теперь, видя мое одиночество и горе, напиши мне, утешь меня своей лаской, ободри надеждой на счастливое будущее... Ты одна моя радость в жизни, одно мое утешение, моя бодрость, моя вера... Пиши, ради бога, пиши... или ты боишься довериться мне? Или твои принципы не дозволяют любовной переписки между замуж-

ней женщиной и тем, кто ее обожает... но после наших «трех дней» какие еще могут быть ссылки на принципы и допустимо ли недоверие? Ах, Таня, Таня, как ты мучаешь своего безумно обожающего тебя Валю.

4-го января 1915 года.

Милостивый государь
Валериан Павлович.

Из Ваших писем, к большому моему удовольствию, я убедилась, что мои первые два письма Вам до Вас не дошли. В этом случайном обстоятельстве — пропаже моих первых двух писем, написанных сряду после Вашего отъезда, я вижу как бы перст божий и его ко мне милосердие. Эти два письма были как бы продолжением тех «трех дней», воспоминание о которых жгет мой мозг раскаянием и стыдом. Не знаю, как «это» могло случиться со мною... Какое-то дьявольское наваждение, нелепый порыв, минута позорной слабости, которую Вы сумели использовать для цели Ваших наслаждений... Я не укоряю Вас, из тысячи мужчин девятьсот девяносто поступили бы на Вашем месте, как и Вы, для этого вы все мужчины слишком достаточно эгоистичны и развращены... Какое вам дело до того, какими нравственными муками искупает женщина Ваши «блаженнейшие минуты в жизни». По Вашему мнению, все произошедшее между нами «упоительное блаженство», «преддверие рая», «луч солнца» и т. д., и т. д., цитирую эпитеты Ваших писем, а на мой взгляд, это непростительная ошибка, грязная клоака, загрязнившая мою душу... О, с каким омерзением вспоминаю я эти несчастные «три дня», которые Вы так воспеваете... Я вся содрогаюсь, перебирая в памяти грязные подробности этого безумного увлечения... Все эти отдельные кабинеты в ресторанах, номер гостиницы, куда Вы меня таскали, эти ночные ужины с ликерами, шампанским и наглыми лакейскими рожами, все это кажется мне одним сплошным зловонным болотом, и я вся трепещу от бессильной ярости на себя за то, что я допустила волочить свое тело по всей этой грязи. Вы называете моего мужа развратником, а Вы не такой же? По Вашему мнению, он не желает знать моей души, а интересуется только моим телом, а Вы

чем интересовались, когда, отуманив мое сознание ликерами и шампанским, которые Вы чуть не силой заставляли меня пить, обладали мною на тех самых диванах, где за несколько часов до нас то же проделывали другие, подобные Вам мужчины с продажными женщинами. Неужели вы не сознавали, как глубоко Вы унижаете, втаптываете в грязь нашу любовь? Каким позором окутываете мою душу... В эти минуты Вы меня, женщину, которую Вы уверяете в «святой» любви, низводили до степени кокотки... Одурманенная всем пережитым с Вами за эти проклятые три дня, я не сразу очнулась... после Вашего отъезда я еще несколько дней оставалась под Вашим влиянием, точно еще в угаре. Под впечатлением его я написала Вам один вслед другому два письма, по счастию, до Вас не дошедшие... Но вот наступило пробуждение, прояснение моей затуманенной головы... Я вдруг точно очнулась... Это было ночью, я спала... Мне привиделось во сне, будто я опять очутилась в ресторане и там лакеи, по приказанию какого-то старикашки, начали меня раздевать... Я вскрикнула и проснулась... и вот тогда-то и произошло мое просветление... Я вспомнила «все», до мельчайших подробностей, и вся затрепетала от ужаса и отвращения... Мне показалось, меня нагую вывели на площадь многолюдного города и палач начал стегать меня прутьями, под хохот глазеющей со всех сторон толпы... Я была омерзительна самой себе... Я готова была жесткой щеткой содрать кожу, чтобы с нею вместе сбросить Ваши позорящие меня поцелуи, омерзительное прикосновение диванных подушек ресторана, белья гостиницы... Совесть моя неумолимо вызывала в моей памяти некоторые особенно гнусные подробности, рисовала перед моим мысленным взором мое обнаженное тело в Ваших объятиях, и я в порыве отчаяния билась головой о подушки, кусала себе руки, не будучи в силах даже рыдать... И словно в насмешку, точно желая больнее наказать меня, судьба преподнесла мне наутро Ваше письмо, где Вы с таким пафосом воспеваете эти «три дня», для Вас они олицетворение райских блаженств, а для меня веревка на шее приговоренного к виселице. Скажу Вам истинную правду, до этих «трех дней» я питала к Вам большую симпатию; возможно, она выросла бы в настоящую любовь, и я в конце концов согласилась бы навеки связать свою судьбу с Вашей... но «теперь» у меня все чувства к Вам выел стыд. Сознание своего позора точно

огнем выжгло все остальные чувства, и я только об одном прошу Вас — не пишите мне больше никогда. Забудьте о моем существовании, и если бог даст, чего я Вам искренно желаю, Вы вернетесь с войны целым и невредимым,— не ищите со мною встреч. Сделайте это хотя бы из благодарности за то блаженство, которое я Вам дала, и из сострадания к тем душевным мукам, которые мне принесло это Ваше блаженство.

Ваша искренно Вам все простившая Т. Плонская.

P. S. Не хотела было Вам писать, но, подумав, решила все-таки сообщить. Неделю тому назад привезли мужа. В госпиталь, которым он заведовал, подлецы немцы пустили несколько снарядов. Один разорвался в перевязочной, в ту минуту, когда муж делал перевязку раненому. Державшая тарелку с ватой молоденькая сестра убита наповал, раненому тут же на столе выворотило всю грудь, а муж и помогавший ему студент-медик оба очень тяжело ранены. Жизнь мужа в большой опасности, все спасение в идеальном уходе... Я день и ночь не отхожу от него, со вчерашнего дня ему немного лучше, и у меня родилась надежда на благоприятный исход... Служа мужу в его тяжелом положении, я как бы вновь обрела себя, вернула свой душевный покой, уже не чувствуя себя такой опозоренной, и если благодаря моему уходу он подымется на ноги, я увижу в этом знамение того, что моя вина мне прощена.

Прощайте навсегда Т. П.

10-го февраля 1915 г.

Милый, дорогой Миша,
мой никем незаменимый
друг — Мефистофель.

Как я безумно рад, что твои раны оказались не настолько серьезными, как мы все думали, и что твое выздоровление идет, как ты пишешь, «гигантскими шагами». Напрасно ты упрекаешь меня за оставление тебя без своих писем, объясняя это, разумеется шутя, будто я по пословице: «С глаз долой — из сердца вон» — позабыл тебя. О том, как

я думаю о тебе, ты можешь судить хотя бы из того факта, что я установил правильную переписку с женою, которая посещает тебя, чтобы через нее иметь точные сведения о твоем здоровье. Лично не писал тебе, боясь растревожить тебя, а больше всего опасаясь вызвать тебя на письменные ответы, не будучи уверенным, допустимо ли при твоем состоянии здоровья вести переписку, но раз я знаю из твоего письма, что ты почти поправился и мучившие тебя головные боли, вызываемые контузией, прошли, я с величайшим наслаждением берусь за перо, чтобы излить тебе все, что накопилось на сердце за это время. Меня опять постигло тяжелое разочарование... Видно, моя судьба — встречать на своем пути прозаических женщин, у которых вместо сердца или «советы молодым хозяйкам», как у моей жены, или «тетрадь пошлых, избитых моралей», как у .... но нет, я не назову тебе ее имени... Может быть, ты сам догадаешься, но в таком случае молчи и ни о чем не расспрашивай. Скажу только одно, что я «ее» полюбил всеми силами измученного сердца, я отдал ей все мои чувства, всю свою душу, я боготворил ее... Был короткий миг, всего три дня, в который она, увлеченная моим чувством, поднялась над пошлостью мещанской морали и преобразилась настолько, что я искренно и наивно поверил в ее любовь и стал созидать величественное здание счастья, но увы, порыв ее оказался слишком кратковременным. Внушенные с детства «правила» вновь поработили ее душу и сердце, и она ушла в свою тюрьму, как пойманный на попытке бежать узник, с тою только разницею, что узник возвращается в тюрьму, проклиная сторожей, поймавших его, а она вернулась добровольно, благословляя изловившие ее «правила» и «принципы»...

Она оттолкнула мою любовь с изощренной, хотя и бессознательной, жестокостью, грубо, несправедливо взвалив вину на меня же, мало даже стесняясь в подборе фраз... Ее письмо, которое я ждал с таким нетерпением, с такой любовью вскрыл и бережно развернул, вместо ожидаемой радости, явилось для меня незаслуженной пощечиной... Ах, что я пережил, читая строки, написанные рукой боготворимой женщины... Слова ее как иглы впивались в мой мозг, и я сразу почувствовал себя, как если бы меня сбросили с балкона великолепного замка, откуда я любовался дивными видами, на дно сырого, полутемного, глубокого как колодезь двора...

Не знаю, как бы я пережил этот удар, если бы судьба не послала мне милого, отзывчивого друга в лице известного тебе Саши Катенина. Последнее время мы с ним как-то особенно сошлись. Он часто заходил ко мне, и мы подолгу беседовали о разных явлениях жизни. Совершенно невольно я как-то в разговоре немного посвятил его в мою тайну. Ему было известно мое увлечение женщиной, казавшейся мне столь идеально прекрасной во всех отношениях, он знал, с каким нетерпением ждал я письма от нее. И надо же было так случиться, что то роковое письмо, о котором я тебе пишу, принес мне Саша. Он радостно вбежал ко мне в мою хатку с письмом в руке и с криком: «Вам письмо! Вам письмо!» Я тут же распечатал письмо и начал с жадностью читать, но, должно быть, на моем лице слишком ярко отразились чувства, вызванные этим письмом. Саша испуганно посмотрел на меня и участливо произнес: «Что с вами? Разве случилось какое-нибудь несчастье?»

В его голосе было столько трогательного участия, столько мягкости, задушевности, на которую могут быть способны только такие чистые сердцем девушки, как она, что я не выдержал и непроизвольным жестом передал для прочтения полученное письмо.

Она серьезно и внимательно прочла письмо и только тогда, когда, прочтя, она снова сложила его, я вдруг понял, как опрометчиво я поступил, дав ей читать вещи, которые ей не могут быть доступны в ее девической чистоте.

Я злился на себя за свою оплошность, но по тому, как пытливо смотрели на меня ее большие, прекрасные, темные глаза, я понял — она ждала объяснений на роившиеся в ее голове сомнения... Она могла совершенно превратно истолковать слова письма, они могли загрязнить ее сердце, она могла в моих чувствах к «той» действительно предположить только стремление к разврату... Я мучился при одном подобном предположении и счел себя не вправе молчать. Что я говорил ей в этот вечер, я теперь едва ли бы сумел повторить, но по тому, как она внимательно меня слушала, я мог судить, насколько она серьезно относится к моим словам. Мало-помалу я раскрыл перед нею всю свою душу, трагизм моих исканий, мои разочарования... Не подумай, будто я хвалил себя, я искренно исповедовался во всех скверных чертах моего характера, во всех моих ошибках. Я был беспощаден к самому себе и не драпировался ни в какую ман-

тию... Когда я умолк, она стала говорить о себе, и только теперь я узнал, какие честолюбивые мысли роятся в ее хорошенькой головке. Она мечтает после войны поехать в Петроград, иметь счастье быть представленной государю, услыхать из его уст милостивые слова, после чего она сразу станет известной в столице и по всей России. В журналах появятся ее портреты и биографические заметки о ней, в витринах фотографов будут выставлены ее фотографии. Во всех этих мечтах, конечно, много наивного, детского, но я восхищаюсь ими, столько в них благородства и поэтической красоты... Мечтая о славе, она хочет ее не для себя только, не из каких-нибудь своекорыстных целей, не ради материальных благ, ее вдохновляет идея показать всему миру, на что способна русская девушка в наш материальный и меркантильный век.

Да, на редкость возвышенной души девушка. Живи она в средние века, может быть, это была бы в своем роде Жанна д'Арк, и будет бесконечно жаль, если такая исключительная девушка погибнет от какой-нибудь глупой пули или от заржавленного штыка грязного австрийского солдата... Но, пожалуй, будет еще более жаль, если она по неопытности, когда война кончится, полюбит недостойного ее человека... Если среди женщин мало понимающих поэзию жизни, то среди, нас, мужчин, таких еще меньше... Ах, если бы в свое время, когда я был моложе, когда сердце мое было чище и морозы жизни не застудили моей души,— я встретил бы на своем жизненном пути такую идеальную девушку и она полюбила бы меня, какой бы это был рай на земле, но смешно мечтать о невозможном. Прошлого не вернешь и прожитых годов не сбросишь со счетов... Ну, прощай, боюсь, утомил тебя своей болтовней.

Горячо тебя любящий твой друг Валя.

2-го марта 1915 г.

Неисправимый
Папильон, он же и
дорогой друг Валя!

До сих пор ты был легкомыслен, но уже успел принести несчастье одной очень достойной женщине — твоей жене, которая, скажу к слову, невзирая на все твои нелепости,

продолжает тебя любить так, как ты того, разумеется, не заслуживаешь.

Теперь, в твоем легкомыслии, ты, кажется, уже близок к тому, чтобы переступить грань не искупимой ничем подлости.

Неужели ты настолько «несмышленок», сам не видишь и не понимаешь, насколько та, которую мы все зовем Саша Катенин, в ее 19 лет, наивный и ничего не смыслящий в вопросах жизни ребенок? Одумайся, пока не поздно. Даже для такого «папильона», как ты, должны быть грани, не переступаемые ни под каким видом. Тебе уже скоро 37 лет, у тебя жена и ребенок... Думай об этом почаще. Боже сохрани тебя смутить душу этой экспансивной, увлекающейся девушки, и без того склонной к романтизму; отходи подальше, не сделай ее несчастной на всю жизнь.

Ты фантазер и создал себе какой-то нелепый идеал женщины, который тебе и самому неясен. Ты в положении человека, захотевшего на конных ярмарках найти Пегаса[3]. Нарисовать Пегаса можно, но купить — нельзя.

Если бы ты не мечтал о несуществующем, ты бы не искал другой женщины, имея такую жену, как твоя, но ты, неведомо почему, после нескольких лет взаимного обожания, неожиданно открыл в ней кучу недостатков. С чего ты взял, что твоя жена мелочна, прозаична, мещански уравновешена, погрязла в пошлых семейных добродетелях? и т. д., и т. д. Все это твои милые выраженьица. В действительности все самый лиловый вздор. Твоя жена умная, выдержанная, рассудительная женщина, с большим тактом, самообладанием и трезвыми взглядами на жизнь. С первых дней вашего супружества она поняла свою роль, быть тормозом. Если бы, носясь с тобою по горам и долам вашей жизни (выражаюсь образно в твоем духе), она бы время от времени не завинчивала ручку тормоза, ваш экипаж, управляемый тобою, давно бы лежал где-нибудь в глубоком овраге, придавив вас обоих... Ты постоянно укоряешь ее в прозаичности, но, дурья твоя голова, тряхни мозгами, подумай — может ли женщина без души играть с такою душою на скрипке, как играет Людмила Федоровна? Ведь ее игра приводит в умиление самых черствых людей, а у людей с сердцем вызывает невольные слезы. Недаром у нее отбоя нет от учеников и учениц, готовых платить ей бешеные деньги за уроки, но она не хочет нахватывать уроков. У нее неболь-

шой круг учениц и учеников, но посмотрел бы ты, как она с ними занимается, она душу вкладывает в них, вместе с техникой; это не учительница, а художница, а ты болтаешь о черствости сердца. С черствым сердцем так не отдаются делу... В одном, в чем я ее обвиняю, это в излишней ревности. Я много говорил с ней на эту тему, я доказывал ей, что к тебе нельзя применить общей мерки. Ты — «папильон», и этим все сказано. По некоторым ее фразам я могу судить, что она, как умная женщина, сознала свою ошибку, и если после войны ты одумаешься и вы вновь сойдетесь, многого из того, что было между вами, теперь не будет... Да наконец, не до конца же жизни своей ты будешь «папильоном», когда-нибудь да угомонишься же. А какой славный твой Женя! В нем масса философии, и он часто до колик смешит всех окружающих своим серьезным видом и своими иногда неожиданными сентенциями. Людмила Федоровна, по каким-то ей одной уловимым и понятным признакам, уверяет, будто у него со временем разовьется огромный талант к музыке. Ну дай бог, может быть, ему суждено в будущем стать знаменитым русским композитором и в могучих звуках изобразить переживаемый нами великий исторический момент... В заключение позволь тебе напомнить сказку об одном глупце, ездившем за своим счастьем куда-то за море. В погоне за ним он потерпел страшное кораблекрушение, чуть не утонул, испытал массу огорчений, был избит, изранен, еле живой вернулся в отчий дом и только тут увидел, что его счастье притаилось в углу его собственной комнаты.

Не обижайся, дорогой друг, на тон и выражения моего письма, ты знаешь, я из тех, кто или молчит и отшучивается, или если заговорит, то так, как думает, искренно, без церемонии выложит свои мысли. Ну, храни тебя судьба. Заочно обнимаю тебя, мой беспутный, но милый «папильон».

Твой друг Миша, ваш беззубый Мефистофель.

16-го апреля 1915 года.

Милый друг
Веруся!

Ты, наверно, давно потеряла всякую надежду получить от меня письмо и с твоей прямолинейностью осудила твою «неверную изменницу». Но, видишь ли, дорогая моя, война

совсем не то, что мы с тобой о ней думали; во многом вблизи она лучше наших о ней представлений издали, но многое, казавшееся нам ничтожным, не стоющим внимания, легко переживаемым, здесь принимает кошмарные размеры и образы. Главное же свойство войны, это захватывать человека всего; все интересы, кроме непосредственно близких, отходят на второй план, является какое-то особенное равнодушие ко всему, что так или иначе не затрагивает злободневных, близких интересов части или, вернее, того участка, на котором ты орудуешь. Поясню примером. В России все живут газетами, пропустить день, не прочтя газеты, кажется прямо невозможным, там люди самого мирного, гражданского типа с лихорадочным интересом следят за действиями союзников, волнуются по поводу захвата немцами какой-нибудь деревушки Пти-Кошон, радуются известию об отбитии прусской атаки и наступлению войск генерала Френча. Казалось бы, что нас, военных, все это должно бы особенно интересовать и, наверно, интересует, но военных дальних штабов; мы же, сидящие в окопах, совершенно ко всему этому равнодушны. Мы живем без газет, получая случайно, и то редко, старые нумера с потерявшими всякий смысл телеграммами, даже к известиям с других мест войны мы относимся сдержанно — не приходим в уныние от неудач и не проявляем буйной радости при удачах. Мы знаем, что как те, так и другие переменчивы и что до конца еще далеко. Мы поглощены всецело исполнением нашей ближайшей задачи, от которой зависит местный успех, отлично понимая, что тем же озабочена, в свою очередь, каждая часть на всем огромном фронте, а из сотен мелких успехов вырастает один общий огромный успех, склоняющий весы победы на нашу сторону. Из тех же побуждений — равнодушия ко всему, выходящему из круга повседневной жизни,— проистекает нежелание писать. По крайней мере, у меня. О чем писать на войне? О своих ощущениях. Но они так изменчивы, находятся в такой зависимости от окружающей обстановки, так иногда неуловимы, что нет возможности изложить их на бумаге со всею правдивостью, и сколько бы ни старался быть искренним, всегда, невольно, что-нибудь присочинишь... Вот хотя бы взять такое, казалось бы, огромное переживание, как убийство человека. Помнишь Раскольникова[4], какую драму он пережил. Читая, мурашки пробегают по телу и в волосах ощущается холод.

А на войне убивают вполне спокойно и спокойными остаются после убийства. Между солдатами, правда, ходит поверье, будто, убивая, не надо смотреть в глаза убиваемому, иначе после «мерещиться» будет, но, во-первых, далеко не все солдаты этому верят, а во-вторых, в рукопашном бою как-то и не приходится смотреть в глаза, смотришь не видя, таково сильно волнение... Говорю все это по личному опыту. Да, да, не ужасайся, я, твоя подруга, Лиза Катенина,— убийца! Когда я шла на войну и мы вели о ней нескончаемые дебаты, я знала, что на войне убивают и что, может быть, и мне придется убивать, но тогда эти слова звучали как-то «впустую», «беспредметно», «не реально». Смерть представлялась чем-то вроде смерти на сцене актеров по пьесе... Весь ее глубокий реализм я ощутила только на войне и, странно, не испугалась ее. Смерть на войне, это такая обыденная, неизбежно логичная вещь, что на нее перестают обращать внимание. Убит — так убит. Судьба. Она поражает только, если убито какое-нибудь крупное лицо, жизнь которого дорога для общего дела, тесно связана с ним, или кто-нибудь из очень близких сердцу... Если становишься равнодушен к смерти своих, то смерть врагов и подавно не вызывает никаких представлений. Я, никогда сознательно не причинившая никому зла, неспособная убить котенка, искренно сожалевшая каждую голодную, больную собачонку,— я убила уже двух человек. Одного застрелила на разведке. Мы засели в лесу, нас было трое, со стороны австрийцев, мы знали, идет большая партия разведчиков. Когда она показалась между деревьями, я подсчитала, их было человек десять. Пытаться взять их в плен было немыслимо, оставалось стрелять. Ты знаешь, я стреляю хорошо, на охоте папа всегда восхищался моей меткостью. Я выбрала шедшего впереди. Это был рослый, широкоплечий австриец, с зеленым аксельбантом[5], награда за хорошую стрельбу, очевидно, он был начальником партии... По тому, как он шел, можно было заключить, насколько он был далек от мысли о близости русских. Я тщательно прицелилась, если бы передо мной был медведь или кабан, я думаю, я испытывала бы то же чувство. Сознание опасности и опасение промаха. Я осторожно нажала спуск... в мертвой тишине леса гулко прокатился выстрел. Австриец как-то странно подпрыгнул, бросил ружье, вытянул руки и упал навзничь. Одновременно загремели выстрелы моих товарищей. Упало еще двое австрий-

цев. Остальные в диком ужасе бросились бежать. Чтобы не дать им опомниться, мы открыли вдогонку частую пальбу, но не думаю, чтобы кого-нибудь задели. Я имела смелость или жестокость, назови как знаешь, подойти к убитому. Он лежал навзничь, с вытянутыми вперед, словно в защиту, руками. На его ставшем как бы восковым изжелта-белом лице застыло выражение испуга, серые остекленевшие глаза смотрели прямо перед собою, но взгляд их был тускл и неподвижен. Моя пуля попала ему прямо в сердце, сквозь серо-синее сукно шинели чуть алело небольшое пятно крови. Я смотрела и сама прислушивалась к происходившему во мне.

Страшно ли мне, что я убила человека? — Нет.— Жаль ли убитого? — Нисколько.— Испытываю ли угрызения совести? — Ничуть. Может быть, я радуюсь его смерти, как смерти врага. Но я его своим врагом не считала и не считаю. Я его никогда не видела раньше, не знаю, кто он и каков как человек. Может быть, негодяй, может быть, прекраснейшей души. Наконец, не шевелится ли во мне чувство охотничьей гордости удачного выстрела, того чувства, какое я испытывала на охоте, попадая в лет бекаса... Но разве же это бекас? Охотничьему чувству тут не место. Что же, наконец, я испытываю? — Ничего. Так-таки ровно ничего. Убила потому, что надо было убить. Не убила бы я его, он убил бы меня. Этим сознанием неизбежности убийства, раз сошлись лицом к лицу, исчерпываются все ощущения. В другом случае, я зарубила одного австрийца шашкой. Мы были в офицерском разъезде[6], целый взвод. Выехав из рощи, мы увидели в версте перед собой большое селение... Вдруг из-за крайних хат на дорогу, ведущую к роще, вылетело три казака. Припав к шеям коней, они неслись бешеным галопом, нещадно нахлестывая своих маштаков... Почти следом за ними из того же селения вынесся разъезд австрийских гусар, человек десять, и, как борзые за зайцем, пустились в погоню. С первого же взгляда для всех нас стало ясным, что казачьим космачам не уйти от австрийских полукровок. Расстояние между преследователями и преследуемыми быстро сокращалось. Надо было не терять ни минуты. Офицер молча выхватил шашку и, дав шпоры лошади, бросился вперед... Мы кинулись за ним. В пылу преследования гусары не сразу нас заметили... Я скакала впереди рядом с офицером... Я видела, как передние гусары, завидя нас,

торопливо и испуганно начали натягивать поводья, как тыкались передними ногами расскакавшиеся лошади... Кто был дальше, поспешно, на полувольте, поворачивали кругом и мчались назад... Как передать тебе мои тогдашние ощущения! Моя лошадь стлалась по земле в бешеном галопе, а мне казалось, она стоит на месте. Я мерила глазом расстояние, разделявшее нас от неприятельских кавалеристов, дрожала от страха, что они успеют уйти... Не помню, как я наскочила на одного из них... Передо мной мелькнул круп гнедой лошади, синяя спина всадника, почти припавшего к гриве лошади, усатая, смуглая рожа, с оскаленными почему-то зубами, круглая, коротко остриженная голова, кивер с нее слетел или был кем-либо сбит... И вдруг какое-то ледяное спокойствие охватило меня, я выровняла свою лошадь с его, поднялась на стремена, высоко подняла над головою клинок и, вкладывая в удар всю силу мышц, весь порыв сердца, рубанула его по голове, удар пришелся по затылку. Я видела, как шея его точно красным шарфом окуталась кровью и он торчком скатился под ноги своей лошади.

— Молодец, Саша! Лихой удар!

Услышала я сзади себя голос корнета Иволгина, начальника нашего разъезда, но слова его проскользнули мимо моих ушей. Я вдруг почувствовала сильную усталость и слабость во всем теле. Точно я израсходовала всю свою силу, всю энергию в своем ударе. Я машинально задержала коня, остановилась и начала обтирать пот с лица. Когда наши проскакали, я рысью пустилась за ними. Проехав немного, я машинально оглянулась. Синим пятном на песке шоссе, неподвижно лежал ничком зарубленный мною гусар, очевидно, он был мертв, но и, как в первый раз, там, в лесу, я оставалась равнодушна, и что меня в эту минуту интересовало, это успеют ли наши захватить весь австрийский разъезд, или всем им, кроме убитого мною, удастся ускакать. Не подумай, Веруся, что я какое-то исчадие ада. Как я чувствую, чувствуют все офицеры и солдаты, а между ними есть много людей замечательно добрых, с сердцем, крайне отзывчивым и ко всем доброжелательным... Про одного из них, штабс-ротмистра Образцова, Валериана Павловича, я даже хочу тебе кое-что написать, но не ожидай от меня каких-нибудь излияний, а больше всего, не подумай какую-нибудь глупость, вроде того, что я к нему неравнодушна...

Ты когда-то пугала меня возможной опасностью для меня влюбиться в одного из однополченцев-офицеров.

— Даже Дурова[7] и та влюбилась, и сколько огорчений принесла ей эта любовь! — шептала ты предостерегающе. Но даже в те времена, когда Записки Дуровой были для меня катехизисом[8], чем-то вроде Корана для правоверного, откуда я черпала все нужные мне сведения и всю премудрость, не смея в тайне души мечтать сравняться с Дуровой, — я в одном не хотела быть на нее похожей — в ее сердечном увлечении. Я позволила себе слегка осуждать ее и объясняла тогдашними нравами, чересчур сентиментальными и романтическими. Тогда был век Светлан, рыцарей Тогенбургов, прекрасных Лаур[9] и т. д., и т. д., мы теперь гораздо в этом отношении трезвее, и я считаю для себя вполне невозможным, нося гимнастерку и рейтузы унтер-офицера драгунского полка, потерпеть от стрел Амура, выражаясь языком наших прабабушек... Это было бы чересчур комично. Мое сердце может пылать только к моему Венгерцу... Даже ты, едва умеющая отличить корову от лошади, влюбилась бы в него. Я еще в жизни не встречала такого красавца. Темно-караковый, рослый, сухой, с лебединой шеей, с небольшой, точно выточенной головкой, украшенной острыми подвижными ушами и черными как агат, огненными глазами, когда он идет, он весь на воздухе, едва касаясь земли упругими, стальными ногами. Знатоки признают его высококровным арабом, большой стоимости. Его отбил у австрийского офицера Образцов во время конной схватки. По словам Образцова, он, как увидел этого коня, решил его отбить и подарить мне. Он кинулся на офицера, тот в свою очередь бросился на него... Минуты две они кружились, нанося и парируя удары. Австриец был в лучшем положении, голову его защищал кивер на каркасе из толстой проволоки, лицо защищала медная чешуйка кивера, на самом на нем была надета венгерка толстого сукна на меху с барашковым воротником, все это вполне предохраняло его от шашечных ударов, в то время как Образцов был в суконной рубахе и фуражке. Ко всему этому, нанося удары, Образцов все время опасался повредить коня австрийца... Его спасли перевес на его стороне в силе, в уменье управлять конем и хладнокровие. Отбив сильным ударом острие направленного в его грудь палаша, Образцов в свою очередь ткнул австрийца концом шашки в горло с такой силой, что клинок прошел

насквозь... В тот же день он подвел мне отбитого им таким путем коня, я сначала не хотела было брать... Слишком в моих глазах это был ценный подарок, но он настоял. Признаться, я от радости чуть не завизжала, как это делывала дома в особо счастливые минуты. Мы и прежде были с ним друзья, но теперь своим подарком он окончательно завоевал все мои симпатии. Впрочем, он в полку пользуется общими симпатиями. Все офицеры, даже молодежь, зовут его не иначе, как «Валя», и это уменьшительное имя очень идет к нему, несмотря на его 37 лет. Он среднего роста, худощав, с умным, выразительным лицом, нервный, ловкий и сильный. Главная его черта — бесконечное добродушие, он ни на кого не сердится, хотя иногда и горячится, но и в горячности он всегда очень деликатен, благовоспитан. В полку он считается одним из храбрейших, он никогда не теряет хладнокровия. В самые опасные минуты лицо его только чуть-чуть бледнеет, ноздри слегка раздуваются, взгляд потемневших глаз делается серьезней и сосредоточенней. Только в эти минуты можно судить, сколько страстности в этом человеке, в остальное время сдерживаемой прекрасным воспитанием. С первых же дней нашего знакомства «Валя» по отношению меня взял наилучший тон, за что я ему очень благодарна. Кроме командира полка, он единственный офицер в полку, знающий мою тайну во всех подробностях. В свою очередь, при одном случае, он посвятил меня в некоторые обстоятельства его жизни. Несмотря на видимую веселость характера, Валя переживает тяжелую драму... Он два раза сильно, самоотверженно любил и оба раза был жестоко разочарован... Он, видишь ли, в женщине ищет возвышенное сердце, чуждое материальных, низменных расчетов, прозаического благоразумия; женщина, как он выражается, должна тянуть мужчину к небу, к пониманию широких, светлых горизонтов, а, к несчастью, она, наоборот, суживает их до крохотных размеров детской и кухни... Первой его любовью была его теперешняя жена. Она пленила его, будучи девушкой, своею игрою на скрипке. По его словам, в ее игре было столько души, столько поэзии, что самые черствые люди, слушая ее, смягчались. Ему казалось, что девушка, умеющая исторгнуть из инструмента такие дивные звуки, должна обладать возвышенной душой... Он увлекся ею страстно, без оглядки, всеми атомами своей души, как он сам говорит, и что же, сделавшись женою,

его кумир оказался самой обыкновенной, прозаической женщиной, прекрасной, расчетливой хозяйкой, а задушевность ее игры — просто высокой техникой, приобретенной ею в консерватории. Он точно с облаков упал. С ужасом, не веря своим глазам, следил он, как его жена, после дивной игры, уносившей его в неведомую даль, полную таинственных образов и звуков, хладнокровно откладывала скрипку и шла или на кухню, приглядеть за кухаркой, или считать белье, или беседовать с портнихой. Такое превращение «властительницы дум», «волшебницы звуков» (это все эпитеты, данные его жене знакомыми, когда она еще была девушкой) в добросовестно-мелочную экономку так потрясло Валю, что он возненавидел ее музыку, казавшуюся ему теперь насмешкой, ложью, фальшью. С появлением через два года ребенка стало еще хуже. Заботливая мать дополнила рачительную хозяйку. В доме только и разговору, что о здоровье «бэбэ». «Желудочный вопрос Жени» стал лейтмотивом, ось, вокруг которой вращалась наша жизнь. От скрипки к пеленкам переход еще резче, еще вульгарнее... Валя не выдержал и стал бегать из дому. К этому времени он вышел из полка и поступил в какое-то министерство в Петрограде. В новой жизни его ожидал еще новый сюрприз. Жена его оказалась чудовищно ревнивой. На почве ее ревности между супругами происходили ужасные сцены, превратившие жизнь в ад... Прошло около шести лет такой жизни, и вдруг Валя встречает женщину, отмеченную печатью большой оригинальности. Несчастная в замужестве, ее муж врач, большой любитель женщин, карт и кутежей, она замкнулась в самой себе, окружила себя книгами и вся ушла в таинственный мир грез и переживаний, граничащих с мистикой. Детей у нее не было, и это делало ее похожей на девушку. Она точно чего-то ждала от жизни, чего-то искала. К ней, по словам Вали, можно было приложить тот чудный образ неудовлетворенной души, зачарованной пением ангела, о которой пел Лермонтов:

И долго на свете томилась она
Видением дивным полна.
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли[10].

Семейная неурядица, неудовлетворенность в жизни как бы толкнули их друг к другу. Валя стал искать ее общества,

она охотно шла на сближение, но, разумеется, только на духовное... Жена, узнав об этом, в припадке неистовой ревности, взяв сына, уехала в провинцию, в свой город, и поселилась у тетки. Так прошло около двух лет... Оба полюбили друг друга, но тут, перед самой войной, между ними что-то произошло... Что именно, я не совсем поняла, хотя читала «ее» письмо к нему, послужившее причиной разрыва... Валя пытался объяснить, но и его объяснения были сбивчивы и непонятны мне... Я поняла только одно, что он был глубоко потрясен этим письмом и очень несчастлив. Впоследствии, когда он немногоо успокоился, он несколько раз повторял: «Насколько моя жена была олицетворением книг «Подарок молодым хозяйкам» и «Мать и ее первенец», настолько «она» воплощала в себе старинную брошюру: «Как надо жить женщине, чтобы удостоиться царствия небесного».

— А разве,— шутя спросила я,— женщине не надо стремиться в царствие небесное?

— Почему не надо? Надо только понимать и знать, в чем оно заключается.

Однажды мы сидели с Валей на камнях, близ развалин католической часовни, очень красивое место, на холму, откуда очаровательный вид на всю долину. День клонился к вечеру, и зарево заката догорало на горизонте. Мы сидели молча, любуясь расстилавшейся перед нами картиной и думая каждый свою думу. Вдруг Валя машинально взял мою руку в свою и, не глядя на меня, задумчиво произнес: «Почему в жизни устроено так, что человек никогда не встречает то, что ему нужно... Взять хотя бы меня. Отчего насмешница судьба в свое время не поставила на моем пути такую девушку, как вы? Вы никогда не будете Марфой, «пекущейся о многем»... Всякий раз, когда я вспоминаю этот, полный столь глубокого смысла, евангельский рассказ, перед моим мысленным взором ярко встает вся картина... Как живую вижу я эту хлопотунью Марфу; немного располневшая, потная, озабоченная, с морщинами заботы на лбу и выражением сварливости на обрюзгшем, преждевременно постаревшем лице, она мечется от печки к столу, вся полна одной заботы, чтобы трапеза, на которую она истратила столько провизии, вышла бы вкусной, чтобы все оценили ее искусство и отдали дань уважения как прекрасной хозяйке, умеющей и дешево купить, и хорошо сготовить. За этими суетливыми хлопотами она не слушает слов Великого Учителя...

да и что «слова». Слова словами и останутся, и сколько бы прекрасных слов ни было сказано, а придет час, и желудок потянет к столу, и вот тут-то и понадобится все искусство Марфы. Пусть-ка самый красноречивый человек сжарит так курчонка, как сжарила она... Посмотрим... и всюду-то она должна поспеть одна... Мария, как пришел Учитель, опустилась у его ног и слушает, не отрывая глаз... Ей дела нет, что старшая сестра с ног сбилась, не успела с утра присесть ни разу, куска не проглотила... и, едва сдерживая негодование, она обращается к Учителю с упреком и жалобой на сестру: «Господи! или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставляет служить. Скажи ей, чтобы помогла мне».

В ответ на эту жалобу Учитель, примолкнув, устремляет свой благостный взор на склоненную у его ног прекрасную Марию и с минуту смотрит на ее одухотворенное лицо, в ее широко раскрытые глаза, полные внутреннего священного огня, на ее полуоткрытые губы, которыми она, казалось, ловила его дыхание, исходившее из уст вместе со словами... Она ничего не видит вокруг себя, земные заботы далеко улетели и не тревожат ее души, она вся превратилась в слух и жадно на лету ловит великие изречения великой неземной мудрости... и разве мелочной, низменной Марфе, пропитанной запахами очага, понять — почему ее сестра так взволнована, какие чистые, волшебно-прекрасные грезы туманят ее голову... По понятию Марфы, ее сестра просто ленится и предпочитает сидеть и слушать, чем помогать ей в ее хлопотах об угощении Дорогого Гостя...

Снисходительная улыбка чуть-чуть пробегает по прекрасным устам Учителя, и ответ его звучит предостерегающей благостной иронией.

— Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно, Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее.

— Мне это место Евангелия,— продолжал Валя,— так нравится, так отвечает моим мыслям, что я изучил его наизусть. Как бы наша жизнь была светлее и красочнее, богаче красивыми переживаниями, если бы среди женщин преобладал тип Марии, но, как ни странно, тип Марфы гораздо распространеннее и господствует над жизнью».

Признаться, я не совсем поняла, что хотел сказать он всем этим, но в тайне души невольно сочувствовала ему... Пусть его искания несколько странны, загадочны, химер-

ны, пусть он сам не вполне ясно дает себе отчет в этих исканиях и смутно рисует себе свой же идеал, но он достоин сочувствия уже за одно то, что «ищет» и «страдает» от невозможности «найти». Много ли среди людей таких ищущих... Если и ищут, то лишь реальные, личные выгоды, а не туманные, отвлеченные образы.

Боюсь, я слишком неясно передала тебе все так, как мне хотелось, но иначе я не умею. Не взыщи. Однако против ожидания письмо вышло порядком длинное, а потому его надо кончать. Заочно целую тебя в обе твои розовые щечки и остаюсь твоя верная подруга Лиза.

20-го мая 1915 г.

Милый Миша.

Я умираю. Мне трудно диктовать, а потому буду краток. Жену прошу меня простить за все выстраданное через меня... Женичку целую. Он мал и скоро забудет меня... Прощай, дорогой друг, милый Мефистофель, твой Валя.

P. S. Хотя и поздно и на короткое время, а я все-таки встретил на своем пути ту, о которой всегда грезил... Прекрасную Марию...

22-го мая 1915 г.

Милостивый государь
Михаил Сергеевич.

Пишу Вам по поручению Вашего друга, штабс-ротмистра Образцова, скончавшегося у нас в госпитале от ран с 20-го на 21-е мая ночью. Прилагаю написанную мною под его диктовку записку... Он диктовал ее почти в полубреду... Подробности его поранения я не знаю. С ним к нам привезен вахмистр его эскадрона, легко раненный в грудь. От него я могла узнать только, что Ваш друг был изранен, защищая своего товарища, вольноопределяющегося Сашу Катенина. При отступлении от К. их эскадрон был окружен пехотой и пробивался сквозь густые цепи, куда мог. Ваш друг с несколькими драгунами уже успел было выскочить

из охватившего его кольца неприятельских солдат, но в эту минуту он увидал недалеко от себя Сашу Катенина, отбивавшегося от двух пехотинцев. Образцов повернул коня и бросился на выручку, но было уже поздно. На его глазах Саша Катенин был поднят на штыки и мертвый сброшен с лошади на землю... В это время сам Образцов был окружен и несколько человек выстрелило в него в упор... Кто его вырвал из свалки и как довезли до своих — он не помнит... До прибытия в госпиталь он находился в беспамятстве и только в госпитале ненадолго пришел в себя. Продиктовав мне записку, он снова впал в беспамятство... Перед смертью он все повторял: «Мария, Мария, где ты, не покидай меня... я нашел тебя, я нашел тебя...»

Это были его последние слова.

С уважением остаюсь
Сестра Г. общины Красного Креста
Анна Воробьева.

Федор Иванович Тютчев

(Материалы к его биографии)

Федор Иванович Тютчев скончался 15-го июля 1873 года, когда мне было тринадцать лет. Хотя последние два с половиной года я виделся с ним не более двух раз, но тем не менее в памяти моей его образ запечатлелся очень живо. Как теперь вижу перед собой его невысокую, тщедушную фигуру, с слегка приподнятыми плечами, его бледное, гладко выбритое, худощавое лицо, с огромным обнаженным лбом, вокруг которого, падая на плечи в хаотическом беспорядке, вились мягкие, как пух, и белые, как снег, волосы. Лицо его... но разве можно описать лицо Федора Ивановича так, чтобы человек, не видевший его никогда, мог представить себе это особенное, не поддающееся никакому описанию выражение?.. Это не было только человеческое лицо, а какое-то неуловимое, невольно поражающее каждого, сочетание линий и штрихов, в которых жил высокий дух гения и которые как бы светились нечеловеческой, духовной красотой. На плотно сжатых губах постоянно блуждала грустная и в то же время ироническая улыбка, а глаза, задумчивые и печальные, смотрели сквозь стекла очков загадочно, как бы что-то прозревая впереди. И в этой улыбке и в этом грустно ироническом взгляде сквозила как бы жалость ко всему окружающему, а равно и к самому себе. Если человеческая душа, покинувшая бренную оболочку, имела бы свою физиономию, она бы должна была смотреть именно такими глазами и с такой улыбкой на брошенный ею мир.

Спешу оговориться, да не подумает читатель, что в выражении лица Федора Ивановича Тютчева было что-то пренебрежительное, а тем более презрительное по отношению к окружающему его, отнюдь не бывало. Чувства пренебрежения и презрения были совершенно неведомы его светлой душе, как они были бы неведомы какому-нибудь духу, если бы таковой мог жить среди людей. Читая в душах и в умах окружающих его, как в раскрытой книге, видя недостатки и пороки ближних, будучи сам преисполнен всевозможных человеческих слабостей, которые он ясно сознавал в себе, но от которых не в силах был и даже не хотел избавиться, Федор Иванович никогда никого не осуждал, принимая человечество таким, каково оно есть, с каким-то особенным, невозмутимым, благодушным равнодушием. Равнодушие это, или, как он метко называл, l'indulgence paienne*, являлось у него не в силу христианского всепрощения и смиренномудрия, а в силу глубокого понимания тайников человеческой души и сознания, что иначе, чем так, как есть,— на земле быть не может. Поэтому-то он и делал такое резкое различие между I'indulgence paienne et I'ndulgence chrètienne**, приписывая себе, и вполне справедливо, только первое.

Это равнодушие к внешним проявлениям и условностям жизни в Федоре Ивановиче превосходило всякие вероятия и было тем удивительнее, что по своему образу жизни он всецело принадлежал к придворной среде и чувствовал себя в ней, как рыба на дне речном. Окруженный строгим придворным этикетом, Федор Иванович умудрился всю жизнь свою оставаться независимым, произвольным и, что называется, вполне сам себе властелином; он ни перед кем не заискивал, со всеми был ровен, прост и самобытен. Чуждый какого бы то ни было расчета, никогда не думавший ни о какой карьере, Федор Иванович искренно не видел разницы между людьми. Для него человеческий род делился на две половины — на людей интересных и людей скучных, а затем ему было безразлично, с кем судьба столкнула его: с наивысокопоставленнейшим ли сановником, или самым простым смертным. И с тем и другим он держал себя совершенно одинаково. Дорожа своей придворной службой и ключом

---

* языческое снисхождение *(франц.)*.

** языческим и христианским снисхождением *(франц.)*.

камергера лишь постольку, поскольку они открывали ему доступ в высшие, а потому и наиболее интересные, сферы, Федор Иванович в остальном держал себя вполне независимо. Нередко, участвуя в дворцовых церемониях, Тютчев, когда они ему в достаточной мере надоедали, преспокойно покидал свое место и возвращался к себе домой, не заботясь о том, какое впечатление произведет такое самоволие.

Так, например, участвуя в церемонии освящения Исаакиевского собора в 1858 году и испугавшись, как он пишет в своем письме — l'avenir vraiment effreyable d'une messe d'archevêque qui commencait à peine suivie d'une панихида en memoire de cinq souverains fondateurs et èdificateurs de l'eqlise (Pierre I, Cathèrine II, Paul, Alexandre et Nicolas) et d'un Tedeum non moins solennel et non moins long) (т. е. будущности поистине ужасающей — архиерейской обедни, едва начинавшейся, а за нею вслед панихиды в память пяти государей, основателей и создателей храма (Петра I, Екатерины II, Павла, Александра и Николая), и молебна не менее торжественного и не менее длинного),— Федор Иванович преспокойно отправился домой пешком, как был в раззолоченном мундире камергера, к большому удивлению и любопытству глазевших на него прохожих.

Другой раз, неся при каком-то торжестве шлейф одной из великих княгинь, кажется, Елены Павловны, Федор Иванович, заметив кого-то из знакомых, остановился и заговорил с ним, в то же время не выпуская шлейфа из рук, что, разумеется, произвело замешательство в кортеже и остановку шествия. Федор Иванович только тогда выпустил из рук злополучный шлейф, когда кто-то из придворных чуть не силой вырвал его у него. Не смущаясь подобным инцидентом, Тютчев остался на своем месте и продолжал беседу, забыв совершенно и о шлейфе, и о своих обязанностях. Но самый характерный анекдот вышел с ним при одном из его посещений великой княгини Елены Павловны, которая, сказать к слову, чрезвычайно благоволила к Тютчеву, высоко ставя его светлый ум и прямоту сердца. Дело было летом. Во дворце великой княгини Елены Павловны в Петергофе был назначен бал, куда должен был явиться и Федор Иванович. В этот день утром, приехав с дачи, Тютчев обедал в доме одних своих близких друзей и, по обыкновению, после обеда прилег отдохнуть, с тем чтобы вечером ехать во дворец. Пока он спал, его лакей привез ему парад-

ный фрак и, оставив на стуле в комнате, уехал, согласно ранее отданному ему приказанию. Проснувшись, Федор Иванович оделся и уехал, никем из хозяев дома не замеченный, как он это часто делал.

Приехав ко дворцу и идя по аллеям парка, ярко освещенным иллюминацией, Тютчев, по обыкновению, о чем-то глубоко задумался и шел, не замечая ни того, что перед ним, ни того, что на нем.

— Федор Иванович,— окликнул его встретившийся ему князь Б.,— что за фрак на вас?

— А что? — спокойным тоном переспросил Федор Иванович.— Фрак как фрак; если плохо сшит, то это дело не мое, а моего портного.— Сказав это, он продолжал свой путь, даже не оглянувшись на себя. Дело в том, что Федору Ивановичу часто надоедали его близкие друзья, указывая ему на его слишком мало щегольское одеяние, а потому он, привыкнув к подобного рода замечаниям, не обращал уже на них никакого внимания.

Не успел Федор Иванович пройти еще несколько шагов, как его снова окликнули, и снова ему пришлось выслушать восклицание изумления по поводу его костюма. На этот раз Тютчев даже не счел нужным останавливаться и, пробормотав только:

— Ах, не все ли равно, точно не все фраки одинаковы,— направился к показавшейся вдали великой княгине.

Взглянув на Тютчева, ее высочество закусила губу, стараясь удержаться от смеха, и в то же время дала знак окружающим ее, чтобы они не обращали внимания Федора Ивановича на его странный костюм и оставили бы его в покое. Поговорив с великой княгиней и побродив с полчаса по залам дворца и по парку, Федор Иванович незаметно исчез и уехал домой. На другой день он снова навестил тот дом, где был накануне, и там между прочим ему сообщили, что кто-то вчера обокрал выездного лакея.

— Ну что могли у него украсть? — удивился Федор Иванович.

— Представьте себе, его ливрею.

— Ливрею? но как же это могло случиться?

— Сами не понимает. Ливрея висела в передней и вдруг исчезла. И что удивительно, рядом на стуле лежал ваш фрак — его не взяли, а поношенную ливрею Федора взяли.

— Мой фрак? — удивился Федор Иванович и вдруг,

добродушно рассмеявшись, произнес.— Теперь, мне кажется, я знаю, кто вор,— c'est moi qui a volè le «фрак» de Феодор*.

— Как вы? Стало быть, вчера к великой княгине...

— Ну, конечно,— самым невозмутимым тоном продолжал Федор Иванович,— я, должно быть, по ошибке принял фрак Федора за свой, надел его и в нем поехал во дворец, это легко могло случиться.

Чтобы читатель мог дополнить картину, мне остается прибавить, что Федор был плечистый, рослый, выездной гайдук, а Федор Иванович, как я уже говорил, маленький, тщедушный человек, узкоплечий и узкогрудый. Можно себе представить, как должен был показаться один во фраке другого. Всякий другой на месте Федора Ивановича, если бы даже по рассеянности и попал в такое положение, был бы чрезвычайно сконфужен и обеспокоен, наверно бы досадовал и вообще чувствовал бы себя неловко, но Федор Иванович был выше всех этих мелких ощущений, он тут же искренно забыл об этом казусе, считая его недостойным какого-либо внимания.

Начав рассказывать о чудачествах этого в высшей степени оригинального человека, я не могу удержаться, чтобы не привести еще двух, трех анекдотов о нем и о его невероятной рассеянности.

Однажды, зимой, приехав к одному своему знакомому, Федор Иванович, выйдя из кареты, приказал кучеру поскорее возвращаться обратно, так как карета должна была ехать за кем-то в другой конец города, а сам направился к подъезду. Шубу свою, как и летнее пальто, Федор Иванович в рукава никогда не надевал, а накидывал на плечи, причем нередко рукавами вниз. В ту минуту, когда он брался уже за ручку подъезда, перед ним очутился оборванец, просящий милостыню. Как это случилось, не умею объяснить, но только Федор Иванович, приняв оборванца за швейцара, сбросил ему на руки шубу, а сам не торопясь стал подыматься на лестницу, к большому удивлению выскочившего швейцара, не понимавшего, каким образом мог Федор Иванович приехать зимой в одном цилиндре и во фраке. Его недоумение разъяснилось полчаса спустя, когда Федор Иванович, возвратившись, потребовал свою шубу.

---

* это я тот, кто украл фрак Федора *(франц.)*.

К чести тогдашнего полицеймейстера Трепова, надо сказать, что шуба была найдена на другой же день и возвращена по принадлежности.

Летом Ф. И. ходил всегда в пледе и в своем неизменном цилиндре, причем цилиндр этот, будучи раздвижным (шапокляк), надевался им иногда раздвинутым только с одного бока, что, конечно, вызывало у встречных невольные улыбки. В один из своих приездов к нам, в Шувалово[1], Ф. И., просидев до вечера, отправился в парк на музыку, но там появление его произвело сенсацию. Вся публика, отхлынув от эстрады, с жадным любопытством принялась глазеть на странного господина, завернутого в какую-то тряпку. Оказывается, что Ф. И. вместо пледа сдернул с вешалки ситцевую ярко-пеструю занавеску, которой были покрыты от пыли платья, и, закутавшись в нее, так и ушел, никем не замеченный.

Другой раз, в то время, когда Ф. И. гулял по Невскому, перед домом армянской церкви, где он жил, к нему подошла какая-то нищенка и начала канючить. Сначала, поглощенный своими мыслями, Ф. И. долго не обращал на нее внимания, но, должно быть, нищенка была достаточно настойчива, если ей, наконец, удалось вывести даже его из задумчивости. Взглянув на нее и поняв наконец, чего она желает, Ф. И. полез было в карман, но, к сожалению, мелочи не оказалось. Тогда он достает из бумажника крупную ассигнацию, протягивает ее нищенке и приказывает ей пойти разменять. Надо ли добавлять, что нищенка меняет эти деньги по сей день, если она давно не умерла.

Выше я говорил, что с моего отъезда в 1870 году в Москву и до смерти Ф. И. (1873 г.) я видел его два раза. В первый раз в лицее цесаревича Николая, в Москве, куда он приехал ко мне, а второй — незадолго до его смерти, в Петербурге. О втором свидании, хотя и позднейшем, у меня почему-то осталось настолько смутное воспоминание, что я боюсь как бы невольно не впасть в неточности, а потому, минуя его вовсе, скажу несколько слов о первом.

Наше свидание произошло на площадке лестницы лицея, так как Ф. И., страдая подагрой, не хотел подниматься наверх в приемный зал и предпочел остаться на первой площадке, где стоял небольшой деревянный диван.

Пока мы сидели и разговаривали, слух о его приезде быстро разнесся по всему лицею, и тотчас же на лестницу

высыпало множество воспитанников, преимущественно старших классов, которые, соблюдая, впрочем, приличие, издали с жадным любопытством разглядывали знаменитого поэта. Некоторые, под разными благовидными предлогами, спускались вниз и, проходя мимо Ф. И., низко ему кланялись, на что Тютчев отвечал добродушными кивками головы, сопровождаемыми ласковой улыбкой.

Привожу нарочно это обстоятельство, чтобы показать, насколько молодежь 70-х годов умела чтить выдающихся писателей, с которыми была знакома не только понаслышке, но и с их произведениями. Не думаю, чтобы теперь появление в стенах любого высшего учебного заведения какого бы то ни было писателя вызвало такое оживление среди учащейся молодежи, как тогдашний приезд Тютчева в лицей. Разве еще для Максима Горького сделали бы исключение... Вот, если бы приехала Вяльцева[2], тогда дело другое,— энтузиазм был бы полный.

Когда, посидев со мной минут двадцать, Ф. И. собрался уходить, несколько человек молодежи поспешили подать ему пальто, шляпу, палку. Такое внимание, видимо, его тронуло. Он с добродушной улыбкой пожал всем руки и не торопясь вышел из подъезда, провожаемый возгласами: «Будьте здоровы, Ф. И., приезжайте к нам опять».

Я пропустил сказать, что раньше того, когда мы еще сидели с Ф. И. на лестнице, к нам подошел мой тогдашний сверстник, некто Г. (впоследствии известный профессор), мальчуган лет одиннадцати, и совершенно серьезно произнес, обращаясь к Ф. И. по-французски:

— Я знаю почти все ваши стихотворения наизусть.

— А какое из них вам нравится больше всего? — добродушно улыбаясь, спросил Ф. И.

— Конечно, «Люблю грозу в начале мая»! — с энтузиазмом воскликнул маленький Г.

Тютчев еще раз улыбнулся и, как большому, пожал ему руку.

Тут будет кстати сказать, что Ф. И., когда обращался к детям, что, впрочем, было очень, очень редко, держался с ними совершенно особенного тона, совсем как бы со взрослыми, и, к удивлению, дети понимали его с полуслова, хотя он говорил с ними вовсе уже не детским языком. Как и почему выходило так — это тайна его гения.

В общем, впрочем, насколько я мог судить по себе, Ф. И.

не особенно жаловал детей. Я помню, что, когда он бывал у нас, никогда почти со мной не говорил, и если к этому прибавить его привычку сидеть, полузакрыв глаза ладонью, то получалось впечатление, будто он даже не хочет на меня и глядеть. Я так это и понимал, отчего страшно его боялся и, будучи в остальное время крайне суетливым и подвижным, в его присутствии превращался в окаменелость, едва-едва дерзающую переводить дух.

Расскажу, кстати, об одном курьезном происшествии, вызванном именно этим паническим страхом.

Однажды Ф. И. нужно было о чем-то переговорить с моей старушкой няней. Сойдя к нам в сад, он взял ее под локоть и начал прохаживаться взад и вперед по аллее, причем я шел подле, и Ф. И., по обыкновению, положив мне руку на плечо, в рассеянности пальцами сдавил шею. По мере того как беседа все сильней и сильней увлекала его, он все крепче и крепче сжимал мне шею. Задыхаясь, я тем не менее не осмеливался подать голоса и только стискивал зубы, чтобы не расплакаться. Мне было тогда лет восемь, и, по всей вероятности, моего стоицизма хватило бы ненадолго, и я в конце концов разрыдался бы, но, по счастью, няня заметила мое критическое положение и поспешила предупредить Ф. И., что он собирается совсем задушить меня.

— Э, черт! — проворчал Ф. И., отдернув руку.— Я думал, это моя палка.

Вскоре после смерти Ф. И. известный славянофил Иван Сергеевич Аксаков* написал замечательную книгу под заглавием «Биография Ф. И. Тютчева», в которой он попутно с биографическими сведениями о самом Тютчеве мастерской рукой развертывает широкую панораму политической жизни России и Европы за время 1820—1873 годов. Касаясь славянофильских тенденций Тютчева, он тут же высказывает и свои личные взгляды по сему вопросу. Если прибавить ко всему этому дивный кованый стиль и язык Аксакова, каким написана вся книга, то мы, по справедливости, должны признать это сочинение одним из выдающихся произведений русской литературы. Таковым оно и есть в действительности, но тем не менее, при всех огромных достоинствах, книга эта, как биография, страдает одним существенным

* Женатый на старшей дочери Ф. И. Тютчева, Анне Федоровне, бывшей воспитательницы принцессы Марии Александровны, впоследствии герцогини Саксен-Кобург-Готской.

недостатком: она далеко не выясняет нам характера Ф. И. Тютчева во всей его полноте и не дает ответа на весьма естественный вопрос, рождающийся у каждого, кто, не зная Тютчева лично, познакомится с ним исключительно лишь по этой биографии, а именно: как могло случиться, что такой поистине гениальный человек, как Ф. И., обладавший неисчерпаемыми научными сведениями, сверхъестественной проницательностью в вопросах внешней политики, имевший дар зачаровывать слушателя и заставлять невольно соглашаться с ним и, наконец, ко всему этому поставленный в особенно благоприятные житейские условия, в смысле возможности сделать очень многое, в сущности прошел если и не совсем бесследно, то, во всяком случае, не сыграв в истории России и десятой доли того, что он, при его данных, должен был сыграть?

Ведь если строго разобраться в том наследии, которое Ф. И. оставил своей родине, то оно далеко не велико, во всяком случае, неизмеримо меньше того, что мы были бы вправе от него ожидать. Как поэт, по дарованию едва ли уступающий Пушкину и Лермонтову, он оставил всего только несколько десятков небольших стихотворений, и в то время, когда Лермонтов, умерший на 27-м году, создал, при самых неблагоприятных для себя условиях, несколько крупных и серьезных по замыслу вещей, как, например, «Демон», «Песня о купце Калашникове», «Герой нашего времени» и некоторые другие,— Ф. И., проживя более чем в $2^1/_2$ раза, а именно 70 лет,— не дал ничего крупного, законченного, в чем бы его образ запечатлелся, как в зеркале, на вечные времена, а между тем, повторяю, положение Лермонтова, два раза ссылаемого и постоянно травимого, было далеко не похоже на положение Тютчева, этого всеобщего любимца и баловня, enfant terrible русского двора. О Пушкине я уже не говорю. Но если поэтическое наследие, оставленное Ф. И., не велико, то еще меньше осязательных, реальных последствий его общественной деятельности. Несколько статей, всего четыре, вошедших в сборник его сочинений, частные письма, только самая ничтожная часть которых попала в наши исторические журналы, да десятка два каламбуров, постепенно вымирающих вместе с людьми его эпохи,— вот и все. Разве же это не поразительно мало и не служит ярким доказательством того, что Ф. И., в сущности говоря, разменялся на мелочи и всю свою гениальность, все

свои богатые дарования растратил в разговорах. В разговорах, правда, чрезвычайно умных, отголоски которых, в свое время, влияли на ход событий преимущественно иностранной политики и тем приносили немаловажную пользу, но от которых потомству не осталось ничего. В этом случае я позволю себе сравнить Ф. И. с первоклассным певцом, очаровывающим современников, но имя которого для грядущего поколения — один пустой звук.

В своей книге И. С. Аксаков, сознавая сам небольшую продуктивность деятельности Тютчева, объясняет это явление отчасти его скромностью, отчасти прирожденной ленью, непривычкой к обязательному труду и равнодушием к внешним выгодам жизни. Бесспорно, все эти факторы имели место, но скорее, как следствия, а не как причина. Потому-то Федор Иванович и был ленив и равнодушен, что в его характере имелась черта, красной нитью прошедшая через всю его жизнь и парализовавшая его деятельность, заслонявшая от него все иные интересы и не дававшая ему удовлетворения ни в какой иной сфере. Составитель биографии — Иван Сергеевич Аксаков, конечно, лучше кого другого знал роковую причину, помешавшую Федору Ивановичу во всей полноте и яркости развить свои изумительные дарования, но тогда у свежей еще могилы, при жизни близких поэту людей, Аксаков по свойственной его натуре женственной деликатности не счел удобным касаться щекотливого вопроса и совершенно обошел его. Пощадив самолюбие некоторых лиц, Иван Сергеевич тем самым значительно затемнил ясное понимание характера и натуры Тютчева, показав его как бы с одной стороны. Я готов допустить, что в то время такое отношение Аксакова к описываемому им лицу, пожалуй, имело свой raison d'être*, но теперь, тридцать лет спустя после смерти Федора Ивановича, когда почти никого из близких ему по крови лиц не осталось в живых, нет причин скрывать истину, без которой немыслимо никакое научно-историческое описание и исследование.

Причина, о которой я заговорил и которая, как тормоз, задержала Федора Ивановича на его блестящем поприще, было его какое-то особенное, даже редко встречающееся в такой степени, обожание женщин и преклонение перед ними.

* резон, свое основание *(франц.)*.

Как древнеязыческий жрец, созидающий храм, населяющий его богами и затем всю жизнь свою служащий им и их боготворящий, так и Федор Иванович в сердце своем воздвиг великолепный, поэтический храм, устроил жертвенник и на нем возжег фимиам своему божеству — женщине. Как искренно верующий несет на жертвенник своему идолу лучшее, что он имеет, так и Федор Иванович поверг к стопам своего божества лучшие свойства своей души, все свое свободное время, весь блеск своего таланта... Чуть ли не первое и во всяком случае лучшее юношеское стихотворение Федора Ивановича было посвящено женщине; ему тогда было всего только 18 лет, но вот как грациозно, высокопоэтично изображает он одно из своих, очевидно, первых свиданий:

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край.
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где, белея,
Руина замка вдаль глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит.

Ногой младенческой касаясь
Обломков груды вековой;
И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и замком, и тобой.

И ветер тихий мимолетом
Твоей одеждою играл
И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные свевал.

Ты беззаботно вдаль глядела...
Край неба дымно гас в лучах;
День догорал; звучнее пела
Река в померкших берегах.

И ты с веселостью беспечной
Счастливый провожала день;
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень[3].

Трудно найти более изящное, более скромное и в то же время, если можно так выразиться, более влюбленное описа-

ние тайной встречи двух любящих сердец... Тут кстати сказать, что Федор Иванович, всю жизнь свою до последних дней увлекавшийся женщинами, имевший среди них почти сказочный успех, никогда не был тем, что мы называем развратником, донжуаном, ловеласом... Ничего подобного. В его отношениях не было и тени какой-либо грязи, чего-нибудь низменного, недостойного... даже в тех случаях, когда судьба сталкивала его с женщинами пошлыми и недостойными, он сам оставался нравственно чист и светел духом, как светел и чист солнечный луч, отражающийся в болотном окне. В свои отношения к женщинам он вносил такую массу поэзии, такую тонкую деликатность чувств, такую мягкость, что, как я выше и говорил, походил больше на жреца, преклоняющегося перед своим кумиром, чем на счастливого обладателя. Лучшие его стихотворения посвящены женщинам, но ни в одном из них вы не отыщете и тени чего-либо не только циничного, сладострастного, как, например, у Лермонтова и отчасти у Пушкина, но даже игривого, легкого, необдуманного.

Я очи знал,— о, эти очи!
Как я любил их,— знает бог!
От их волшебной, страстной ночи
Я душу оторвать не мог.
. . . .
. . . .
И в эти чудные мгновенья
Ни разу мне не довелось
С ним повстречаться без волненья
И любоваться им без слез[4].

Было бы излишним приводить еще другие стихотворения Федора Ивановича, посвященные женщинам, так или иначе игравшим роль в его жизни; все они одинаково дышат одним и тем же чувством в высшей мере скромного, но глубокого обожания.

Я нарочно употребил слово «обожание», и хотя на первый взгляд и может показаться странным, как можно «обожать» несколько раз в жизни, но натура Федора Ивановича была именно такова, что он мог искренно и глубоко любить, со всем жаром своего поэтического сердца, и не только одну женщину после другой, но даже одновременно.

Женившись в первый раз 23 лет (в 1826 г.) по страстной любви на вдове нашего бывшего министра при одном из

второстепенных германских дворов[5], г-же Петерсон, урожденной графине Ботмер, Федор Иванович прожил с ней 12 лет, до 1838 года, когда жена его умерла. По свидетельству знавших его в то время, Тютчев был так огорчен смертью жены, что, проведя ночь подле ее гроба, поседел от горя в несколько часов; но менее чем через год мы его видим уже вторично женатым на одной из первых красавиц того времени, урожденной баронессе Пфеффель[6]. Брак этот, заключенный опять-таки же по страстной любви, не был, однако, особенно счастливым, и у молодой женщины очень скоро появились соперницы, а через одиннадцать лет после свадьбы Федор Иванович совершенно охладел к ней, отдав всего себя, всю свою душу и сердце новой привязанности[7]. В то время ему было уже под пятьдесят лет, но тем не менее он сохранил еще такую свежесть сердца и цельность чувств, такую способность к безрассудочной, не помнящей себя и слепой ко всему окружающему любви, что, читая его дышащие страстью письма и стихотворения, положительно отказываешься верить, что они вышли из-под пера не впервые полюбившего 25-летнего юноши, а пятидесятилетнего старца, сердце которого должно бы, казалось, давным-давно устать от бесчисленного множества увлечений, через которые оно прошло.

Встретив особу, о которой я говорю, Федор Иванович настолько сильно увлекается ею, что, ни на минуту не задумавшись, приносит в жертву своей любви свое весьма в то время блестящее положение. Он почти порывает с семьей, не обращает внимания на выражаемые ему двором неудовольствия, смело бравирует общественным мнением и если в конце концов не губит себя окончательно, то тем не менее навсегда портит себе весьма блистательно сложившуюся карьеру. Это увлечение, наиболее сильное во всей его жизни, оставило на ней глубокий след, выбило его, так сказать, из колеи и сделало то, что последние двадцать лет прошли для Федора Ивановича почти безрезультатно в смысле какого бы то ни было творчества. Как захваченный водоворотом, он бесцельно метался в заколдованном круге нелепых, тяжелых, подчас унизительных условий созданного им самим положения, являясь в одно и то же время и палачом и жертвой, и когда через 14 лет он потерял ту, которую так безумно и страстно любил, не был уже способен ни на какую активную деятельность. Смерть любимого человека, по соб-

ственному его меткому выражению, «сломившая пружину его жизни»*, убила в нем даже желание жить, и последние девять лет он просуществовал под постоянным нестерпимым гнетом мучительного позднего раскаяния за загубленную жизнь той, кого он любил и так безжалостно сгубил своей любовью, и под затаенным, но тем не менее страстным желанием поскорее уйти из этого надоевшего ему мира. Вот в каких глубоких и трогательных выражениях говорит Федор Иванович сам в своих письмах об этом желании и о своем нечеловеческом горе**.

«Мое душевное состояние ужасно. Я изнываю день за днем все больше и больше в мрачной бездонной пропасти... смысл моей жизни утрачен, и для меня ничего больше не существует... то, что я чувствую, невозможно передать словами, и если бы настал мой последний день, то я приветствовал бы его, как день освобождения... дорогой друг мой, жизнь здесь на земле невозможна для меня. И если «она» где-нибудь существует, «она» должна сжалиться надо мной и взять меня к себе».

С таким горем в душе Федору Ивановичу, конечно, было не до забот о своем авторстве, не до желаний запечатлеть в памяти потомства путем брошюр и статей свои мысли, и вот в тот период, когда человек подходит к роковой черте, отделяющей его от вечности, и начинает обыкновенно подводить итоги своей деятельности, Тютчев является перед нами еще более равнодушным, чем когда-либо, и сходит со сцены, как запоздалый гость, спешащий поскорее покинуть опустелый зал, где он проскучал весь вечер.

В заключение приводим несколько стихотворений[8], относящихся к тому периоду жизни Федора Ивановича Тютчева, когда он, потеряв все, что ему было искренно дорого, в звучных строфах выплакивает свое горе. Эти стихотворения, как крик страждущей души, производят тяжелое впечатление и как нельзя лучше характеризуют состояние поэта. Все они никогда еще не были в печати, и только последнее хотя и вошло в издание сочинений Федора Ивановича Тютчева 1900 года[9], но в урезанном и искаженном виде; здесь мы его восстанавливаем в полном тексте.

* Подстрочный перевод фразы его французского письма.

** Перевод отрывков из писем.

Июнь 1868 г.*

Опять стою я над Невой,
И снова, как в былые годы,
Смотрю и я, как бы живой,
На эти дремлющие воды.

Нет искр в небесной синеве,
Все стихло в бледном обаянье,
Лишь по задумчивой Неве
Струится лунное сиянье.

Во сне ль все это снится мне,
Или гляжу я в самом деле,
На что при этой же луне
С тобой живые мы глядели?

15-го июля 1865 г.*

Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло
С того блаженно-рокового дня,
Как душу всю свою она вдохнула,
Как всю себя перелила в меня.

И вот уж год, без жалоб, без упреку,
Утратив все, приветствую судьбу...
Быть до конца так страшно одиноку,
Как буду одинок в своем гробу.

23-го ноября 1865 г.*

Нет дня, чтобы душа не ныла,
Не изнывала б о былом,
Искала слов, не находила,
И сохла, сохла с каждым днем,—

Как тот, кто жгучею тоскою
Томился по краю родном
И вдруг узнал бы, что волною
Он схоронен на дне морском.

---

* Появляется в печати впервые.

Накануне годовщины 4-го августа 1864 г.*

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня...
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?

Все темней, темнее над землею —
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

По возвращении из Ниццы в 1865 г.

Есть и в моем страдальческом застое
Часы и дни ужаснее других...
Их тяжкий гнет, их бремя роковое
Не выскажет, не выдержит мой стих.

Вдруг все замрет. Слезам и умиленью
Нет доступа, все пусто и темно,
Минувшее не веет легкой тенью,
А под землей, как труп, лежит оно.

Ах, и над ним в действительности ясной,
Но без любви, без солнечных лучей,
Такой же мир бездушный и бесстрастный,
Не знающий, не помнящий о ней**.

И я один с моей тупой тоскою,
Хочу сознать себя и не могу —
Разбитый челн, заброшенный волною,
На безымянном диком берегу.

О господи, дай жгучего страданья
И мертвенность души моей рассей:
Ты взял е е, но муку вспоминанья,
Живую муку мне оставь по ней,—

---

* Появляется в печати впервые.
** В издании 1900 года эта строка пропущена.

По ней, по ней, свой подвиг совершившей
Весь до конца в отчаянной борьбе,
Так пламенно, так горячо любившей
Наперекор и людям и судьбе,—

По ней, по ней, судьбы не одолевшей,
Но и себя не давшей победить,
По ней, по ней, так до конца умевшей
*Страдать, молиться, верить и любить**.

Ф. Т.



* Строчки, напечатанные курсивом, в печати появляются впервые.

Комментарии

Судьба литературного наследия Федора Федоровича Тютчева выявлена еще далеко не полностью. Все его произведения, за редким исключением, не переиздавались при жизни писателя, не было это осуществлено и в советское время. К сожалению, творчество писателя никогда не подвергалось серьезному исследованию, не была составлена научная библиография его произведений. Поэтому приводимый ниже список основных публикаций Ф. Ф. Тютчева, возможно, не является исчерпывающим.

Библиография основных произведений Ф. Ф. Тютчева

«Сочинения Ф. Ф. Тютчева» (Стихотворения, исторические повести и рассказы из военного быта). Спб., тип. и лит. В. В. Комарова, 1888, 305 с.

«Отомстил». Из воспоминаний солдата. Рассказ. (Для школ и грамотного народа.) М., изд. И. Ф. Жиркова, 1890, 24 с.

«Кто прав?» Роман. Спб., изд. книжного склада «Родина», 1893, 322 с.

«Герои долга». Рассказ из быта на границе. М., изд. И. Ф. Жиркова, 1896, 38 с.

«Жучка». Из воспоминаний вольноопределяющегося. М., изд. И. Ф. Жиркова, 1899, 24 с.

«Товарищ». Рассказ вольноопределяющегося. М., изд. И. Ф. Жиркова, 1899, 24 с.

«Один день на поле сражения». Рассказ. 3-е изд. М., изд. И. Ф. Жиркова, 1900, 20 с.

«На линии вечных снегов». Рассказ.— «Исторический вестник», 1901 сентябрь, 877—896 с.

«Беглец». Роман из пограничной жизни. Спб., изд. П. П. Сойкина, 1902, 339 с.

«На склонах и долинах Дагестана». Роман из времен борьбы с Ша милем. В 3-х частях. Спб., типо-лит. В. В. Комарова, 1903, 192 с.

«Сапожник и музыкант» Рассказ. М., изд. И. Ф. Жиркова, 1903, 31 с.

«Федор Иванович Тютчев» (Материалы к его биографии).—«Исторический вестник, год 24», 1903, июль, т. XCIII, 189—203 с.

«Злая сила». Роман (Из жизни на русской окраине). Спб., типогр. Т-ва «Свет». 1907, 274 с.

«Боевые картины» (Психологический этюд, посвящ. П. И. Мищенко, сцены из русско-японской войны).—«Братская помощь», 1908, № 2, 124—133 с.

«Рядовой Савватьев». Рассказ. 5-е изд. М., изд. И. Ф. Жиркова, 1913, 36 с.

«На призыв сердца». Повесть.—«Военный сборник», 1912, № 5—8.

«Сила любви». Повесть.—«Военный сборник», 1914, № 5—10.

«Гордиев узел». Рассказ в письмах.—«Военный сборник», 1915, № 11—12; 1916, № 1—2.

«Увертюра или финал?». Роман (неоконч.)—«Военный сборник», 1916, № 4—6.

В настоящем издании произведения Ф. Ф. Тютчева, за небольшим исключением, печатаются в хронологическом порядке, по последним прижизненным изданиям, с исправлением ошибок и опечаток в тексте по правилам современной орфографии. Автографы его сочинений не сохранились, и точное время их написания в большинстве случаев неизвестно.

Сын поэта

Вступительная статья

1 «...в Лицее цесаревича Николая...» — Лицей, основанный в Москве в 1868 году. Попечитель его — редактор «Московских ведомостей» и «Русского вестника» М. Н. Катков. Юноши, оканчивающие его, получали среднее образование.

2 *Вольноопределяющийся* — военнослужащий, добровольно поступивший после получения высшего или среднего образования в русскую армию и несший военную службу на льготных основаниях (сокращенный срок службы, проживание на собственные средства вне казармы).

3 *Подпрапорщик* — воинское звание (чин) в русской армии, присваивалось унтер-офицерам и фельдфебелям, выдержавшим экзамен или отличившимся в боях, и юнкерам.

4 *Подпоручик* — воинское звание (чин) обер-офицерского состава русской армии. В кавалерии (и в Пограничной страже) ему соответствовал чин корнета, в казачьих частях — хорунжего.

5 *Поручик* — следующий после подпоручика чин в русской армии, в казачьих частях — сотник.

6 *Штабс-ротмистр* — младший 2-й класс чина ротмистра в регулярной кавалерии русской армии. Обычно присваивался офицерам, фактически командовавшим эскадронами вместо номинальных командиров в чине ротмистров.

7 *Ротмистр* — офицерский чин в кавалерии, соответствовал чину капитана в пехоте и есаула в казачьих войсках.

8 *Войсковой старшина* — чин в казачьих войсках русской армии. Присваивался лицам, командовавшим казачьими отрядами, полками. С 1885 года приравнивался к подполковнику.

Кто прав?

Печатается по: Тютчев Ф. Ф. Кто прав? Спб, издание книжного склада «Родина», 1893, 322 с. Не переиздавался.

[1] *Корнет* — младший офицерский чин в кавалерии.

[2] *Камергер* — одно из высших придворных званий.

[3] *Действительный тайный советник* — второй после канцлера гражданский чин в России, примерно соответствующий военному чину генерала от инфантерии.

[4] В лейб-гвардии гусарский полк зачисляли только родовитых дворян, красивой наружности и высокого роста. Соответственной была и форма одежды.

[5] *Принципиал* — здесь: владелец фабрики.

[6] *Юнкер* — воспитанник военного училища.

[7] *Николаевский* — ныне Московский вокзал.

[8] *Канаус* — шелковая ткань.

[9] *Ротонда* — длинная женская накидка без рукавов.

[10] *Бурнус* — женская и мужская верхняя накидка.

[11] *Тапер* — пианист, сопровождающий танцы на вечерах.

[12] *Декольте* (франц.) — женский наряд, в котором шея и часть груди обнажены.

[13] *Осклабился* — усмехнулся, ухмыльнулся.

[14] *Штандарт-юнкер* — выпускник училища, знаменосец.

[15] *Лицей Каткова* — см. примеч. 1 вступит. статьи.

[16] *Пуанте* — здесь: прогулка в общественном месте.

[17] *Грум* — конный прислужник, ездовой.

[18] *Россинант* — здесь шуточное. Россинант — имя коня Дон-Кихота.

[19] *Ватерпруф* — верхняя женская одежда — непромокаемый плащ.

[20] В Петербурге было несколько улиц, называемых 1-я рота Измайловского полка, 2-я и т. д. Ныне — Красноармейские улицы.

[21] *Ваньки* — прозвище извозчиков.

[22] *Тальма* — женская верхняя накидка, вид пелерины.

[23] *Шапокляк* — вид мужского головного убора с раздвижным козырьком.

[24] *Конфидент* — доверенное лицо.

[25] *...петиметра Первой империи* — франта времен Наполеона I.

[26] Автор цитирует строфу стихотворения поэта П. И. Вейнберга:

> Он был титулярный советник,
> Она — генеральская дочь;
> Он робко в любви объяснился,
> Она прогнала его прочь...

[27] Намек на библейскую легенду о Пентефрии, которому был продан Иосиф измаильскими купцами в Египте.

[28] Автор по памяти цитирует начало поэмы А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...»

[29] *Полишинель* — один из постоянных типов итальянской комедии, Петрушка.

[30] *Славянский Дмитрий Александрович* (1836—1908) — настоящая фамилия Агренев, известный народный певец и хоровой дирижер.

[31] *...рыцарь Тугенбург* — романтический персонаж одной из баллад В. А. Жуковского.

[32] *«Ренессанс», «Шато-де-Флер»* — названия модных петербургских ресторанов.

[33] Слова из арии Зибеля из оперы Ш. Гуно «Фауст».

[34] Согласно древнегреческой легенде, певец Ивик (VI в. до н. э.) был убит на пути к Коринфу, где два раза в год происходило ритуальное состязание певцов в честь морского бога Посейдона. Благодаря свидетелям — журавлям преступление было раскрыто.

[35] Автор приводит отрывки из баллады Жуковского «Ивиковы журавли». Второй отрывок у Жуковского начинается: «Парфений, слышишь?.. Крик вдали —...»

[36] *Адепт* — приверженец.

Литератор

Печатается по: «Сочинения Ф. Ф. Тютчева» (Стихотворения, исторические повести и рассказы из военного быта). Спб., тип. и лит. В. В. Комарова, 1888, с. 251—262.

[1] *Ренессанс* — здесь: Возрождение, эпоха в развитии ряда стран Центральной Европы.

[2] *Акафисты* — песнопения в богослужении.

[3] *Вербная неделя* — предпоследняя неделя перед пасхой — церковным праздником.

[4] *Чахотка* — прогрессирующее заболевание легких, туберкулез.

[5] *«Идеже несть...»* —фраза из молитвословия.

[6] *Волково кладбище* — у Ф. Ф. Тютчева там были захоронены рядом мать, сестра, брат и тетка матери.

[7] *...Непролазная лиговская грязь* — до революции Лиговская улица (ныне: Лиговский проспект Ленинграда) отличалась плохой мостовой.

[8] *Дроги* — легкий открытый рессорный экипаж на одного-двух человек.

[9] *...красных вывесок* — в то время вывески на питейных заведениях были красного цвета.

[10] *...бутылочкою тенерифца...* — название сухого белого вина по острову Тенериф на Канарском архипелаге, где впервые изготовлено.

Денщик

Печатается по: «Сочинения Ф. Ф. Тютчева» (Стихотворения, исторические повести и рассказы из военного быта). Спб., тип. и лит. В. В. Комарова, 1888, с. 45—153.

[1] *...отданный в один из корпусов...* —в то время дворянские дети, особенно из малообеспеченных семей, пристраивались в кадетские корпуса — привилегированные военно-учебные заведения закрытого типа, выпускающие преимущественно офицеров.

[2] *Маркер* — служащий на бильярде.

[3] *Фактор* — комиссионер, исполнитель частных поручений.

[4] *Турки обстреливали нас со всех сторон...* — речь идет о русско-турецкой войне 1877—1878 годов, в которой Россия выступила в поддержку национально-освободительной борьбы балканских народов против турецкого господства.

[5] *Ланкастер* — марка одного из лучших охотничьих ружей иностранного производства.

[6] *Морсо* — здесь: куплет из оперетты.
[7] *...в утреннем дезабилье* — в утреннем беспорядке.
[8] *...да еще с Егорьем...* — награжденный орденом святого Георгия, Георгиевский кавалер.
[9] *Унтер-офицер* — военнослужащий младшего командного состава русской армии (фельдфебель, вахмистр, сержант, урядник и т. д.).
[10] *...помчался в стан* — то есть к становому приставу, полицейскому должностному лицу, заведовавшему округом из нескольких волостей.

Комары

(Из пограничных воспоминаний)

Печатается по журнальному оттиску, находящемуся в архиве музея Ф. И. Тютчева в Овстуге, Брянской области.
[1] *Плавни* — длительно затапливаемые поймы рек, покрытые зарослями тростника, рогоза, осоки.
[2] *Чумаки* — люди, занимавшиеся торгово-перевозным промыслом на Украине и Юге России.
[3] *Драбант* — румынский солдат-пограничник.
[4] *Царане* — старое название феодально-зависимых крестьян в Молдавии. С 1868 года получали за выкуп небольшие земельные наделы и термин «царане» стал обозначать земледельца вообще.
[5] *Эльдорадо* — здесь в переносном смысле: страна сказочных богатств.
[6] С 1825 года в России посессиями назывались фабрики и заводы, получавшие от казны пособия.

На линии вечных снегов

Печатается по: «Исторический вестник», 1901, сентябрь, с. 877—896.
[1] *Курды* — один из древних народов Передней Азии. В настоящее время живут в Иране, Турции, Ираке, в СССР.

Сила любви

(Из былин войны)

Печатается по: «Военный сборник», 1914, № 5—10.
[1] *Фанза* — китайское жилище, каменное или саманное, на каркасе из деревянных столбов.
[2] *Гаолян* — однолетнее растение семейства злаковых. Зерно идет на крупу, муку, корм скоту.
[3] *Чумиза* — однолетнее злаковое растение. Стебли достигают двух метров. Идет на зерно, корм скоту.
[4] *Хорунжий* младший офицерский чин в казачьих войсках, соответствующий чину подпоручика и корнета в регулярной армии России.
[5] *Японские магазинки* — магазинное оружие, созданное в 80-х годах XIX века. Применение магазинок значительно повысило скорострельность винтовки.
[6] *Курма* — вид женской одежды в Китае.

[7] *Бонза* — прозвище, даваемое европейцами духовным лицам в Японии и Китае.

[8] *Хунхузы* (краснобородые) — название участников вооруженных банд, действующих в Маньчжурии.

[9] *Хаки* — так иногда называлась болотного цвета форма.

Гордиев узел

(Рассказ в письмах)

Печатается по: «Военный сборник», 1915, № 11—12; 1916, № 1—2.

[1] *Пенаты* — у древних римлян боги-хранители домашнего очага. В переносном смысле «пенаты» — домашний очаг, родной дом.

[2] *Тать* — вор, хищник, похититель.

[3] *Пегас* — в древнегреческой мифологии крылатый конь. От удара копытом Пегаса на горе Геликон возник источник, вода которого, по преданиям, вдохновляла поэтов. Отсюда «оседлать Пегаса» — стать поэтом.

[4] *«Помнишь Раскольникова...»* — автор приводит в пример главного героя романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».

[5] *Аксельбант* — золотой, серебряный или цветной нитяной шнур, пристегиваемый к правому плечу. Принадлежность офицерской формы.

[6] *Офицерский разъезд* — разведывательный дозор во главе с офицером, высылаемый в условиях неожиданного изменения боевой обстановки, для получения более точных сведений.

[7] *Дурова* — Надежда Андреевна Дурова (1783—1866), кавалерист-девица, героиня Отечественной войны 1812 года. Писательница.

[8] *Катехизис* — поучение, наставление.

[9] *Светлана, Лаура* — романтические героини произведений В. А. Жуковского.

[10] Автор неточно цитирует последнюю строфу стихотворения М. Ю. Лермонтова «Ангел».

Федор Иванович Тютчев

(Материалы к его биографии)

Печатается по: «Исторический вестник, год 24», 1903, июль, т. XCIII, с. 189—203.

[1] *«...к нам, в Шувалово...»* — нередко испытывая денежные затруднения, Денисьева с детьми и теткой вынуждена была снимать квартиры подешевле, расположенные в отдаленных районах и даже пригородах Петербурга.

[2] *Вяльцева* — известная эстрадная певица конца XIX — начала XX века.

[3] Стихотворение посвящено Амалии Максимилиановне Крюденер, урожд. Лерхенфельд (1808—1888), первой любви поэта. Считается написанным не ранее 1834 года. С ней Ф. И. Тютчев познакомился в 18-летнем возрасте.

[4] Первая и последняя строфы стихотворения, приписываемого «денисьевскому» циклу. Но, как справедливо замечал Г. И. Чулков, «прошедшее время, введенное поэтом с первых стихов пьесы и выдержанное до конца, вызывает некоторое сомнение» в принадлежности к этому циклу. Написано не позднее 1852 года.

[5] Ф. И. Тютчев женился 5 марта 1826 года на вдове Элеоноре Петерсон, урожд. графине Ботмер (1799—1838), первый муж которой Александр Петерсон был русским дипломатом, занимавшим пост поверенного в делах в Веймаре, в то время столицы германского великого герцогства Саксен-Веймар-Эйзенах.

[6] Ф. И. Тютчев венчался с вдовой Эрнестиной Дернберг, урожд. баронессой Пфеффель (1810—1894) 17 июля 1839 года в Берне.

[7] Имеется в виду Е. А. Денисьева (1826—1864), мать Ф. Ф. Тютчева. Имя ее впервые упоминается в семейной переписке Тютчевых за 1846—1847 гг. в связи с учебой дочерей поэта Дарьи и Екатерины в Смольном институте, инспектрисой которого была А. Д. Денисьева, тетка Елены Александровны. Любовь между ней и поэтом возникла, по-видимому, летом 1850 года.

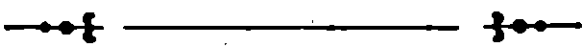
[8] Наиболее полный «денисьевский» цикл стихотворений при водится в книге Г. И. Чулкова «Последняя любовь Тютчева (Елена Александровна Денисьева)», изд. М. и С. Сабашниковых. М., 1928, с. 73—92.

[9] Во время написания статьи о Ф. И. Тютчеве автор пользовался лучшим в то время, наиболее полным томом сочинений поэта (издание второе, исправленное и дополненное, Спб., 1900, типогр. А. С. Суворина), которое еще при жизни вместе с А. Н. Майковым начала готовить в печать Э. Ф. Тютчева. Ее памяти, кстати, и было посвящено это второе издание.

Содержание

Федор Федорович
Тютчев

КТО ПРАВ?
Роман, повести, рассказы



Редактор
Л. КУЛЕШОВА

Художник
Б. ЛАВРОВ

Художественный редактор
Г. САЛЕНКОВ

Технический редактор
Н. ДЕЦКО

Корректоры
Т. ВОРОТНИКОВА, Г. ПАНОВА

ИБ № 4033
Сдано в набор 06.03.85. Подписано к печати 20.09.85. А13549. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Гарнитура обыкн. нов. Печать высокая. Бумага тип. № 2. кн.-журн. Усл. печ. л. 26,99. Усл. кр.-отт. 26,99. Уч.-изд. л. 30,18. Тираж 100 000 экз. Заказ № 267. Цена 2 р. 60 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.